

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ



18+

Алексей Иванов

Алексей Иванов

ЗОЛОТО БУНТА

Роман



**РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУВИНОЙ**

**Издательство АСТ
МОСКВА**

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
И20

Художник Андрей Фerez

Иванов, Алексей Викторович.

И20 Золото бунта : роман / Алексей Иванов. — Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2017. — 701, [3] с. — (Новый Алексей Иванов).

ISBN 978-5-17-091528-6

«1778 год. Урал дымит горными заводами, для которых существует только одна дорога в Россию — бурная река Чусовая. Но здесь барки с заводским железом безжалостно крушат береговые скалы-бойцы. У сплавщиков, которые проводят барки по стремнинам реки, есть способ избежать крушений: попросить о помощи старцев, что правят Рекой из тайных раскольничьих скитов и держат в кулаке грандиозный сплав “железных караванов”. Однако молодой сплавщик Осташа, пытаясь разгадать причины гибели своего отца, поднимает бунт против сложившегося на Чусовой порядка. Чтобы вернуть честное имя себе и отцу, он должен будет найти казну самого Пугачева, спрятанную где-то на бойцах...

А подлинное “золото бунта” — это не пугачевский клад, но ответ на вопрос: как сделать непосильное дело и не потерять душу?»

Алексей Иванов

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-091528-6

© Иванов А.В.
© ООО «Издательство АСТ»

Пётр сказал Ему в ответ: «Господи! если это
Ты, повели мне прийти к Тебе по воде».

Он же сказал: «Иди».

Матфей 14:28-29

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Купли житейские

ОТЦОВА БАРКА

Караванный вал давно уже скатился вниз, отгрохотав на переборах, а перед бойцом Разбойником всё ещё бушевало половодье. Река здесь вздулась блестящим бугром, и угрюмую скалу оторочило воротником белой пены. Пена вываливалась из-за гребня Разбойника и длинной полосой текла дальше по гладкому и быстрому плёсу, потихоньку истаявая. Так после бури на ещё сквозящем ветру бьётся и полощется, зацепившись за еловую лапу, сорванная девичья косынка.

Был день Лукерьи-комарницы. Стоя на корме лёгкого шитика с веслом в руках, Осташа вместе с рекой заходил в поворот. Из-за высоких лесов медленно вылезала серая громада Разбойника. Казалось, он перегородил Чусовую от берега до берега. Он всё рос, подымался, глыбился, будто медведь, что выбрался из берлоги и расправляет плечи, лапы, хребет. Солнце полудня столбом света спускалось с неба, пробивая воду до дна. Осташа видел, как его лодка проплывает над зелёными, мохнатыми, окатанными валунами. ...А в тот день три года назад был промозглый холод, встречный ветер резал глаза, тучи перехлёстывали блёклую синеву над головой...

Батя удержал бы барку на Рубце — так сплавщики называли стрёжневую струю от ребра бойца Молокова, — да Спиридон Кобылин, нагнавший сзади, своей баркой просто срубил потёси по левому борту батиной барки. И батя свалился с Рубца одесную, как щепка слетает с обода бешено вертящегося колеса. Бурлаки бросились вытаскивать новые потеси, которые лежали на кочетках на кровле коня. Остаться перед Разбойником без потесей — вернее гибели и не придумать. Это и Осташа понимал. Он стоял на скамейке рядом с отцом как ученик сплавщика.

Осташа вцепился в перильца обеими руками. Барка, теряя ход в западине поворота, прямиком шла носом в берег почти под камнем Кликуном. Казалось, что и Кликун вытянул шею и вздёрнул свою глупую башку, чтобы потарашиться, как батина барка отёрится, а затем её всем бортом хряснет о скалу и потопит в пене. Осташа хотел заорать, глядя то на отца, то на берег, то на каменную тушу Разбойника, обляпанную бурыми лишаями. Но лицо бати тогда было твёрдым и белым, а ветер трепал волосы, обвязанные по лбу тесёмкой, и кудлатил бороду — словно стелил длинную траву вокруг валуна. Батя вжал в усы раструб жестяной трубы и крикнул бурлакам:

— Потеси не спускать!..

— Загубишь, сплавщик!.. — прохрипел старый бурлак Гурьяна Утюгов, ходивший с батей на сплав уже десяток лет. Гурьяна батя не поверил. И Осташа не поверил, не понял: почему нельзя и дёрнуться, чтобы отгрести от берега и от скалы?..

Барка врезалась тупым носом в берег, круша подлесок. От удара бурлаки полетели на доски настила, кто-то с воплем кувыркнулся за борт. Осташу с батей едва не скинуло со скамейки. Сосны гибко качнулись над головами через всё небо, как волосы над лицом уопленника. А потом течение приподняло барку и потащило дальше, к Разбойнику, разворачивая задом наперёд. Бурлаки вставали на колени и крестились, гля-

дя, как впереди вырастает тусклая, урчащая гора воды. Над ней из пенных кипунов поднимался страшный боец. «Может, ещё гребануть пару раз — авось бы и протиснулись вдоль камня?..» — в отчаянии подумал Осташа. И любой бы сплавщик так решил, любой. Не отказываются от последней, хоть и бесполезной попытки спастись; в водовороте не отцепляются и от соломинки. А батя о гибели не думал.

— Не грести! Не грести, бога ради! — кричал он в трубу, повиснув подмышкой на перильце. Но никто уже и не тянулся к потесям. Барка, медленно разворачиваясь, теперь всем левым бортом неслась прямо на Разбойника. Её стало кренить, поднимая на водяную гору перед стеной. И вдруг с этой горы, как сани со склона, огромная барка скользнула вперёд и вниз. Пенная туча хлынула на палубу, сугробами заваливая вопящих бурлаков. А из мокрого тумана вознёсся мятый каменный парус, тенью мелькнул над баркой на расстоянии вытянутой руки и улетел назад, словно отброшенный ураганом.

Кормой вниз по течению, барка впритирку проскочила вдоль Разбойника с той излѹки, на какой гибели все и всегда. Батя успел понять, как надо поставить барку, чтобы струя сама пронесла её мимо, а боец лишь снял стружку с просмолѣнного борта.

— Поклон тебе, Переход, от народа... — цепляясь за рога ворота, в журчащей тишине сказал Гурьяна. Батя сидел на краю скамейки и молчал, сплёвывая кровь. Губы его были разорваны жёстью трубы. Рокот воды у Разбойника делался всё тише и тише.

Батя придумал, как пройти прямо под бойцом, как вернуться из лап гибели. Никто до него такого не совершал. Да никто бы и не смог повторить его путь, потому что батя никому, кроме Осташи, не указал места на берегу, куда надо ударить носом барки, чтобы барка отѹрилась и прошла невредимой. Цепким взглядом сплавщика батя успел отметить это место: под сосной, что похожа на суксунский

светёц. Это был секрет бати — и Осташи... А теперь одного Осташи, потому что нынешней весной батя попробовал вновь пройти Разбойник оту́ром.

На дне шитика у Осташи лежал мешок с припасами и кое-каким снарядам; вдоль борта — шест с окованным наконечником и длинный рогожный свёрток, под который Осташа заботливо подстелил лапника. В носу лодки, распяленный прутиками, чтобы не упал, стоял раскрытым зелёный медный складень с Николой Морским — покровителем мореплавателей. Чусовая, конечно, не море, но ведь надо же было иметь заступника.

Осташа несколькими точными и сильными гребками отвёл лодку с той струи, что ударила бы его прямо в скалу. Проплывая под Разбойником, он задрал голову, придерживая шапку на затылке. Над бугристым и морщинистым каменным рылом, над плешивым теменем висело и слепило солнце, словно нимб. Облезлые клочья лишайников испятнали скалу, будто забрызгали кровью. Чего ж: безвинной кровушкой Разбойник трижды умылся с головы до пят.

Отвернувшись от Разбойника, Осташа увидел вдали под светлыми глыбами Четырёх Братьев отцову барку, лежащую на дне. Палуба её поднималась над водой на аршин, не больше. Светлела тёсом двускатная кровля над льялом. Косо торчала мачта-щегл́а. Осташа пригляделся. Какие-то люди ползали по крылу кровли, как мухи по пирогу.

«Ну, это кумышские, — сразу понял Осташа. — Воровской народ... Такие захотят на дуде поиграть — из живого тела ребро вынут».

Он отложил весло, сел на дно лодки, размотал берестяные ленты лаптей и разулся. Потом обтёр ноги тряпкой, накрутил онúчи, вытащил из мешка сапоги и напялил; за голенище сунул нож. Снова поднявшись во весь рост, Осташа не стал подгребать, а медленно, вместе с течением, приближался к барке. Издалека походило, что это не барка затонула, а никонианская церковь.

Осташа оглядывал быстроток, а сам всё думал о батё: представлял, как батя здесь проходил. Вот он стукнулся в берег под Кликуном; барку отурило, понесло бортом на Разбойник; вот она полезла на водяной вал... И вдруг, вместо того чтобы плавно скользнуть вдоль скалы, она врезалась левым кормовым плечом в камень. Лопнули, будто пальнуло из пушки, перебитые пополам чёрные от смолы доски по́рубня на огибке и растопорщились в разные стороны. Волна комом упала в пробоину. В утробе барки загрохотали чугунные чушки, скатываясь с места. Барку проволокло боком по скале и выбросило дальше на быстроток, разворачивая обратно носом вперёд. И барка всё грузла, заливаясь водой, осаживалась в волну, неповоротливая уже, как мёртвая. Да она и была мёртвая — убилась о Разбойник. Её несло прямо на Четырёх Братьев. Будь она жива, её всё равно раздробило бы в щепу. Но она не доплыла, затонула и легла на дно рядом с устьем Четырёхшного ручья. Люди, видно, цеплялись за пыжи и огнива, за кровлю, за стойки коня — потому их и не смыло. Уцелели все — и бурлаки, и подгубщики, и водолив. Лишь колодник захлебнулся в казёнке под палубой, да батя, сплавщик, сгинул неизвестно где. Никто не видел, куда он делся со скамейки. И тела его до сих пор не нашли.

Осташа был в отца — сплавщик по крови. Он не сожалел, что батя попробовал пройти мимо Разбойника своим опасным способом. Осташа и сам поступил бы так же. Благо, барка собственная. Рисковать чужой баркой честный сплавщик не стал бы. Но сердце грызли боль и досада. Неужели батя был неправ и пройти Разбойник таким путём невозможно? Нет, нет, нет! Батя всё рассчитал, всё учёл, всё промерил. Он шёл в двадцатый весенний сплав. За двадцать лет он не убил ни единой барки. «Удача-Переход» — звали батю и сплавщики, и бурлаки. Но Осташа знал, что не было в батиной удаче никакой удачи — только знание, верный глаз, навык, твёрдая рука и крепкая воля. На Чусо-

вой удач не бывает. Но почему же батина барка разбилась? Батя должен был пройти. Должен. И не прошёл.

Кумышских мужиков на барке было четверо. Они уже сняли с кровли конёк и теперь топорами подцепляли доски. Выдернутые гвозди заботливо складывали в короб. Связка длинных тесин, перетянутая верёвкой и готовая к перевозке, покачивалась в воде у борта. Мужики спокойно и деловито разбирали барку, словно у неё вовсе и не было хозяина.

— Кончай грабёж! — крикнул Осташа, причаливая лодку к пыжу и накидывая петлю на обугленный столбик огнива.

Он выложил на палубу барки длинный рогожный свёрток и сам с веслом в руке запрыгнул наверх.

Мужики, сидевшие на коньке, как вороны на заборе, опустили топоры. Один даже вогнал топор в доску и слез к Осташе, остановился напротив и вытер потные ладони о рубаху на брюхе, нагло улыбаясь в глаза.

— А ты что за хрен посреди деревни? — спросил он.

— Я сын Перехода, и барка моя.

— Нам Колыван сказал, что сгибли Переходы, и барка ничья.

— Колыван Бугрин, что ли? — Осташа не отводил взгляда. — А он откуда знает? На потеси здесь стоял?

— Может, и не стоял, а нету больше Переходов. Кончились. — Мужик хмыкнул.

Осташа почувствовал, как душа его словно цепенеет. Он не боялся своей злобы, потому что гнев будто стягивал его грудь обручами, и зубы стискивались, глаза делались зорче, а все движения становились точными и короткими. Он не зевал замаха врага, чтобы со свороченной скулой покавиться по траве. В Кашке с ним и заречные давно перестали связываться. Осташа переложил весло в левую руку и сильно толкнул мужика в широкую грудь.

— Ослеп? Переход перед тобой!

Мужик отодвинулся, и глаза его вдруг сделались масленые.

— А на что тебе эта барка? — спросил он. — Битая, несчастливая. Тебе тятка денег принесёт, десять новых барок себе кúпите.

— Каких денег? — не понял Осташа.

— Ну, каких?.. Пугача денег.

— Каких денег Пугача?! — заорал Осташа.

Глаза кумышского остекленели, а улыбка исчезла, будто он её сплюнул.

— А почто твой тятка барку разбил, а, шенок? — спокойно спросил он. — Думал, все его за мертвяка посчитают, а он клад Пугача выкопает и заживёт от пуза где-нибудь на Руси. Все ведь знают, что он один видел, куда Чика клад зарыл.

Осташа молча перехватил весло обеими руками и с короткого замаха ударил кумышского по скуле. Того отбросило на ребро кровли, но он не упал, удержавшись за край.

— Мужики, руби его, никто не дознается! — хрипло крикнул он.

Осташа бросил весло, отбежал назад и поднял свой рогожный свёрток. Стряхнув рогожу, он наставил на мужиков унтер-офицерский штуцер, переводя гранёный ствол с одного на другого.

— Первого завалю, остальных — как получится, — предупредил Осташа. — Со мной и нож есть. Мясо резать умею.

Мужики, что уже поползли было по ребру кровли к Осташе, замерли. После Пугача на Чусовой ружьями и топорами не грозили просто так — сразу пускали в ход. Даже в драках за девок били насмерть и топтали ногами, и никто не вступался разнять — самого кончат. Народ с узды сорвался, кровь была — как вода. «Пугач закон отрешил», — говорили по каплѣцам учителя.

— Отчаянный, оторва, — садясь и утирая кровь со скулы, сказал мужик, которого Осташа ударил. — При Пугаче-то, вроде, ещё без штанов бегал...

— Пошли прочь отсюда, — спокойно сказал Осташа. — Моя барка.

Мужики угрюмо, с опаской слезли с кровли, подняли своего вожака и потащили к доске-сходне, что была перекинута с борта на близкий берег. Осташа дулом проводил их до тальника, а потом опустил штуцер.

Через некоторое время из кустов прямо от выступа скалы выползла и легла на воду лодка-наса́да. Кумышские забрались в неё; двое сели, а двое, стоя, оттолкнулись от берега и погнали насадку вверх по течению, тюкая о камни на дне окованными концами шестов.

— И Колывану Бугрину передайте, чтоб в голбце поси́дел, пока я домой не вернусь! — крикнул им вслед Осташа.

— На сплаве сочтёмся!.. — издалека ответили ему. — Со дна у Чусовой тебя тятка ни за какие сокровища Пугача не выкупит!..

В горле у Осташи скребло, будто он песка нажрался. Осташа сбросил шапку, подошёл к краю палубы, положил тяжёлый штуцер, лёг сам, дотянулся ладонью до воды, умыл окостеневшее лицо, напился. В затылок пекло солнце. Вот, значит, как теперь говорят об отце... Нужно ли тогда ему было быть честным, когда на сплаве половина сплавщиков продавалась, а другая половина — покупала? Мёртвые, конечно, сраму не имут — да и не было на бате позора. Наговор один, поклёп. Не червивело батю коварство. Батя погиб, это понятно. Но кому чего докажешь, если не бить в зубы, кровью затыкая поганую пасть?

Осташа завернул штуцер обратно в рогожу. После бунта на Чусовой много разного оружия осталось. В любом доме имелось. Вот и батя купил хорошее ружьё. «Почто купил? — сам себе удивлялся тогда батя. — В дому у нас брать нечего... Вор придёт — так я шмыг под печь, меня оттуда и ко чергой не выковырять. Ты, Остафий, и без ружья любому глаз выбьешь. А если Макаровну украдут, так вечером же сами и обратно принесут, да ещё нам два пуда хлеба пода-

рят, чтобы мы её за ворота не выпускали...» Батя обмотал шуцер дерюгой и берестой и закопал в голбце. Батя всё равно бы не стал стрелять в человека, хотя после Пугача в такое и не верилось. А Осташа стрельнул бы, рука бы не дрогнула. И когда батин подгубщик Гурьяна Утюгов принёс весть о крушении отцовской барки, Осташа выкопал шуцер и взял его с собой в дорогу.

Река уже посинела. На ярко освещённых камнях дальнего берега раскричались птицы. Солнце укололось донышком о верхушки сосен на хребте Четырёх Братьев и покраснело, словно от боли. Из тесного, сумеречного распада толчками выбивался бурный по весне Четырёхручей. Он волочил ветки, сучья, кору, оторванные куски дернины, гневливо швырял всё это в Чусовую — так вздорная баба, подметая в избе, выбрасывает мусор с крыльца под ноги пришедшему гостю.

Осташа забрался в шитик и оплыл барку кругом. Пролом был только один — на левом кормовом плече, которым барка ударилась в скалу. Трещина рассекла борт сверху донизу. В этой чёрной щели торчала заплывшая ветка, будто шерстинка между зубов у волка. Доски обшивки лопнули, но кокора, похоже, была цела. Огниво от удара растрескалось вдоль слоёв. Палубный настил задрало и расшпёрило. А в общем, барку можно было починить. В мёжень, к Прокопьеву дню, вода ещё упадёт, обнажив пролом наполовину. Днище барки всё равно лежит на камнях неплотно. В просветы можно просунуть чегёны и на распорах рычагами приподнять гузно барки, полностью выведя пролом из реки. Потом сменить огниво, прибить дощатую заплату, вколотить обратно тесины палубы и засмолить всё. Потом отчерпать воду из барки, и барка всплывёт. Заплата всё ж таки на корме, и на ходовые свойства она особо не повлияет. Да ниже устья Койвы сплавщику и бояться-то нечего, разве что Гребешок — боец опасный. А Вашкурский перебор, Камасинские мели, протоки Ди-

кого острова за деревней Кóпально — это другое дело, не смертельное.

Но Осташа решил осмотреть барку ещё и внутри. Не хотелось лезть в ледяную воду, да не положено было сплавщику оценивать барку на глазок. На палубе барки Осташа разделся догола, взял весло на всякий случай и прыгнул под кровлю на дно барки, в льяло. Воды оказалось по грудь. Внутри барки полумрак был насечён на ломти полосами света из прорех, где кумышские воры уже сняли доски. В огромном, гулком, пустом коробе барки глухо шлёпали о деревянные борта волны, поднятые Осташины движениями.

...Гурьян рассказал Осташе, как было дело. Бурлаки выбрались после крушения на берег, отогрелись у костра; потом пошарили по прибрежным кустам вниз на пару вёрст, отыскивая тело Перехода, но не нашли ничего; потом поразмыслили и двинули в Кын-завод. Батя вёл барку из строгановского завода Билимбáй, поэтому в строгановском Кынѹ им должны были помочь. Тридцать с лишним вёрст до Кына шли голодняком два дня; переползали через скалы, перебирались через притоки. В Ослянской пристани на пароме перекинулись на левый берег, перевалили гору Мултыкá.

Строгановского сплавного приказчика Кузьму Егорыча бурлаки застали в Кыну. Кузьма Егорыч распорядился дать им два межеумка, что были заготовлены на летнюю путину для межени, и сказал: коли бурлаки хотят за сплав свои деньги получить, пусть плывут обратно, перегружают чугун на межеумки и везут его на Лѣвшину пристань, как и должно было. Бурлаки, понятно, согласились; уплыли, разгрузили затонувшую барку и на межеумках побежали дальше, в Каму. Всё страшное для них было уже позади: Горчáк, Мóлоков, Разбойник, Четыре Брата пройдены, а мимо Отмѣтыша бог проведёт. Только Гурьяна совсем простыл и остался в Кыну. А поправился — и побрёл берегом Чусовой в Кашку, понёс Осташе чёрную весть.

Ступая на уже осклизлые плахи подмёта, стараясь не за-
пнуться о кйрень, хватаясь руками за брусья озд над голо-
вой, Осташа внимательно осмотрел барку изнутри. Из про-
лома живот обдало холодом свежей воды. Кроме самого
пролома, имелась только одна дыра по левому борту за ба-
ра́ном, почти у днища. Здесь выскочила доска-бока́рь, за-
менить которую было раз плюнуть. Нет, барку рано было
разбирать на лес. Можно ещё поднять, можно.

Напоследок Осташа заглянул в казёнку — дощатую ка-
морку под палубой. Залезали в казёнку из мурый. Малень-
кий лаз под потолком был очень неудобен, когда в барке
нет груза. Бурлаки прорубили здесь стенку, чтобы достать
утопленника. Осташа протиснулся в казёнку и огляделся.
Тесная конура была бы совсем тёмной, если б не два окон-
ца-прóдуха в потолке, перекрёщённые скобами, чтобы в них
не проваливались ноги бурлаков. Осташа набрал в грудь
воздуха и присел совсем под воду, разглядел в мути и сум-
раке толстое железное кольцо, намертво ввинченное в брус.
К этому кольцу и был прикован колóдник. Барка затонула,
и он тоже захлебнулся в своей темнице. Ну и смерть... Ос-
таша вынырнул, отплевался и полез обратно на палубу.

Теперь ему всё было ясно. Барку смело можно было про-
дать.

ПЫТАРЬ БАКИР

Полянка на высоком берегу над Четырёхшным ручьём каза-
лась какой-то домашней. Здесь всегда разбивали стан ры-
баки, охотники, отдохавшие рудокопы с недалёкого Четы-
рѣхбратского рудника, пока рудник ещё работал, да и про-
сто прохожий или проплывающий мимо народ. Посреди
полянки чернело кострище с рогульками, а рядом с ним
громоздился навес, покрытый горой порыжевшего лапни-
ка, стояли вѣшала — одѣжу просушить, лодку. Осташа при-

ташил с берега доску-сходню, на которой решил спать у костра, чтобы не застыть от земли.

Над полянкой подымался крутой, заросший соснами склон одного из Братьев. Прямо под склоном торчал крест на могиле колодника, захлебнувшегося в казёнке отцовской барки. Колодника наспех схоронили бурлаки. Месяца ещё не прошло, а крест уже покосился. И Четырёхный лог, и полянка были в сумерках, словно под покровом Богородицы, но чеканные сосны на гребне горы ещё горели золотом заката, будто звали к себе. По-иконному лазоревое небо за соснами не успело прогреться за день и студило взгляд. От Чусовой и от ручья две стены холода огородили полянку.

Осташа сидел у костерка и следил, чтобы не опрокинулся горшок с водой, воткнутый в уголья. По заводским слободам давно сипели самовары, что паял демидовский Суксун-завод, но кержаки-двоеданы, не отступавшие от древлеправославной веры, самоваров не держали, называя «чёртовым брюхом». И чая не пили, чтобы не отчаяться. На Чусовой работный люд, собранный заводчиками по всей Руси с бору по сосенке, давно утратил и корни свои, и отцов обряд, и прадедовскую Палею. Но пристанские — сплавной народ из коренных чусовлян — веру держали строго. Хотя давно уж вера их растрескалась на десятки толков, в которых только начётчики могли разобраться без ошибки.

По реке у дальнего берега изредка проплывали длинные связки плотов — «кобылами» или «гусями», собранные и в гребёнку, и в ёлку, и в накат. На первой сплётке — на хомуте, — на выстилке у длинного весла-дригальки обычно стоял мужик. На задних сплётках — на крёквинах, на жёростях — бабы, девки, дети. Осташа издалека слышал звонкий девчоночий смех, и ему хотелось, чтобы плот подгрёб для ночёвки сюда, к нему. Но огромная затонувшая барка не давала зачалиться, и плоты уплывали дальше. Свет над рекой угасал. Угрюмым синим огнём зажигались омуты. Над лесами расправляли плечи чёрные скалы. Луна, как небес-

ная полынья, морозно замерцала над косматыми хребтами, дико отражаясь в излучинах плёсов.

Осташе было чуть жутковато одному, хоть он и не грешил пужливостью. И места эти дикие, и злая слава здешних Царь-бойцов ведь человечесьей кровью вспоена, и ещё рядом могила колодника, умершего без причащения, неотпетого, схороненного без гроба... Да и вообще: где-то здесь, на Четырёх Братях, в земле караулят пугачёвский клад зарытые злодеем Чикой братья Гусевы... Вот станет Осташа сплавщиком — и не будет этих жутких, одиноких ночей. Костёр будет до неба, и вокруг — усталые люди, и какой-нибудь балагур будет тешить народ побасёнками в непроглядной майской тьме над Чусовой...

«Барку продам в Усть-Койве, — думал Осташа. — Там кордон Кузьинского завода. На кордоне барки всегда нужны. Жаль, придётся за полцены отдать. Скостят и за починку, и за подъём со дна. Да ещё небось обманут на сколько-то...»

Денег после бати в доме не осталось. Не на что было починить и поднять барку, а потом нанять бурлаков, чтобы притащили её в Кашку, на пристань. Или хотя бы в Ослянку. Значит, надо барку продавать. А жаль до скрипа зубового. Батя всю жизнь копил на свою барку, не стал из крепости ни себя, ни Осташу выкупать. И вот обзавёлся. Чтобы на первом же сплаве — сгнуться.

Без своей барки сплавщик на вольную и сытую жизнь никогда не заработает. Так весь век и будет чужие суда водить и кругом должным оставаться. А заводчики и купцы и сами с большей охотой нанимают сплавщика с его собственной баркой. Во-первых, свою-то вдвойне беречь будет. А во-вторых... Барка стоит рублей пятьдесят. Наёмный сплавщик за один сплав получает девять рублей за чугун, одиннадцать — за медь. По меркам бурлака или углежога, конечно, это деньги огромные. Но бурлаки и углежоги не знают, какими мощными сплавные старосты бренчат — глаза вылезают от натуги, если подымешь. И сплавщик со своей баркой за сплав берёт

рублей по двадцать. Это как залог или откуп. Разобьёт сплавщик чужую барку — у хозяина, заводчика или купца, пятьдесят рублей пропадёт, не считая груза. А свою барку сплавщик угробит — хозяин только двадцать рублей потеряет. Расчёт простой. А доведёшь барку до Лёвшиной пристани или до Оханска на Каме, где груз на здоровенные камские и волжские баржи перегружают, — продашь барку ещё с наваром рубля в два-три. Андреян Гилёв из Сулёма однажды так подгадал, что навару в девять рублей взял. Если не пропьёшь деньги в кабаках на Разгуляе — а старой веры люди не пьют, как никонианцы, — то вернёшься домой и крестьян подрядишь на плётбищах новую барку построить. Да ещё останется на жизнь зимой, да в кошель — на вольную. И потому сплавщику на сплаве без своей барки — как пушкарю без пороху: только «ура!» вопить, а больше делать нечего.

Осташа совсем задумался, глядя в костёр, как вдруг улышал сзади:

— Не шевелись! Денга давай!

Осташа не испугался, но замер, недоумевая. А сзади раздался тонкий, захлёбывающийся смех, и Осташа сразу всё понял. Он оглянулся. В темноте под горой стоял Бакирка-пытатель — всем известный на Чусовой полоумный человечко. Он целил в Осташу из длинного ружья.

Бакирка, как домовый, всегда ходил босой и без шапки, разве что шерстью не оброс. Он и сейчас стоял босиком, несмотря на земляной холод. Он был одет в какое-то немислимое тряпье, перепоясанное полоской ивовой коры; на голове громоздилась рваная штанина. Круглое татарское лицо Бакира сплошь заросло чёрными кольцами волос.

— В другой раз прибыю ненароком, дошутись! — сказал Осташа, не вставая. — Садись к огню, грейся.

Бакирка тотчас положил ружьё на землю, уселся, скрестив ноги, и протянул над углями ладони.

Бакирка был пытарем — пытал клады. Клады, должно быть, на Чусовой и вправду имелись: тайники на древних

вогульских мольбищах, разорённых русскими пришельцами; клады Ермака Тимофеевича и Ваньки Кольца; клады соленосов, что по тайному тракту в лесах несли в Сибирь мимо таможенных застав строгановскую соль; раскольничьи клады; клады чусовских разбойников — Зацепы, Полушки, Пантелея-казака, Степана Пульникова, Фелисаты Бабыя Дружина, Парамошки Попова, Сивой Лапы, Андрея Плотникова — Золотого Атамана... Да и много ещё чьих захоронок. После Пугача стали искать клад Чики-Зарубина. Кое-кто из пытарей, случалось, и находил чего, но по большей части ерунду — ржавый меч, рваную кольчугу, медную побрякушку.

На Чусовой искать клады пробовали многие. В основном между делом, в охотку, на забаву. Но были и пытари одержимые, которым ничего на свете не надо, лишь бы шариться по глухим урманам, искать брошенные вертепы, долбить каменистую землю тяжёлым заступом в безумной надежде откопать счастье, славу, удачу. Бакирка был из этих.

— Откуда ружьё-то взял? — спросил Осташа.

Он уселся, подтащил ружьё к себе и осмотрел. Ружьё было солдатским. Ствол заржавел, ложа и приклад покоробились, разбухли, шомпол был потерян, а отверстие под него забито землёй. На кольце болтался лоскут отгнившего ремня. Осташа со скрежетом открыл замок. На затравочной полке запеклась какая-то накипь, пружину и шептало надо было менять, но в губках курка и прижимного винта ещё был зажат кремень.

— Бакир на Пещерном камне нашёл. Полез в пещеру, думал — клад найдёт, а нету ничего. Глядит сверху — что-то на камне торчит. Полез Бакир, смело лез, чуть не упал совсем. — Бакирка счастливо засмеялся, блестя в темноте зубами. — В щеле два солдата лежат. Одни кости остались, мяса нет, одежда плохая, брать незачем. Ведь четыре года лежат, давно! В Пугача стреляли. От сапог подмётки только, а сумки патронные и ремни Бакир пальцем протыкал. Пуговиц

целый кулак набрал, в Волеговке на хлеб поменял. А ружья там два было. Одно оставил, чтоб мертвец не обиделся.

— Везёт дуракам, — позавидовал Осташа Бакиркиной находке.

Бакирка и вправду был дурачок. Тронулся он в пугачёвский бунт. До того работал на Старой Шайтанке откатчиком, подымал тачки с коробами угля на верх домны. В слободке на самой окраине у него избушка стояла. Жена была, говорили, красавица, Гюльшат звали. В ту зиму, когда Батыркой и Обдей с башкирскими ордами долбили в заиндевевшие частоколы Кунгура, Белобородов с отрядами прокатился по Чусовой. Шайтанку они заняли без боя, но были до черноты лица обозлены яростным непокорством Старой Утки. В Шайтанке началась расправа, месть за кровавый уткинский приступ. Висельники закачались на воротах; порубленными мастеровыми завалили глотки погашенных домен; до полусмерти били и секли баб, что хватались за своих мужиков, повязанных бунтовщиками. Пока работным, согнанным на площадь у плотины, с крыльца разорённого господского дома читали грамоты царя Петра Фёдоровича, бунтовщики из тех, которые о кресте забыли, рыскали по домам Шайтанки.

У Белобородова в войске были два братца прозвищем Китайчата. Конечно, не из Китая они взялись, а были беглые каторжные из Нерчинского острога, буряты. Они и вломились к Бакиру в избу. Бабу его беременную изнасиловали, потом горло перерезали, как алтайской кобылице, предназначенной на заклание, да потом ещё вспороли живот и достали младенца, положили в приготовленную Бакиром зыбку — для смеха, а в живот засунули кошку. Бакир домой вернулся и увидел горенку свою, залитую кровью, как бойня, увидел окровавленного нерождённого младенца в зыбке, услышал, как кошка орёт из тела мёртвой жены. А Китайчата ничего, ржали. Та картина Бакиру стала как дробь, засыпанная лошади в ухо, — всегда в голове, и в конце кон-

цов свела с ума. Китайчата же и после Белобородова по лесам вокруг Бисёрти долго безобразничали, пока местные мужики не загнали их в болото и кольями не вколотили в трясину.

А Бакир с того дня стал ни на что уже не годен. Даже самую простую работу выполнить не мог. Тачку толкает — колесо отломит, канаву рыть заставят — так накопает каких-то собачьих ям, за грибами пойдёт — на неделю потеряется. Его и били батогами, и в холодную сажали, да без толку. Плетью в человека не вернёшь того, что бог отнял. Заблудившего в лесу и зверь не трогает: его ведь леший водит и бережёт. Отступились и отпустили Бакира на все четыре стороны.

И Бакир по простоте душевной принялся клады искать. Как ни странно, всегда что-нибудь находил. То монету золотую старинную на хлеб выменивал, то рукоять меча с самоцветом в крыже, то почерневший серебряный крест. Зимой он побирался, подавали ему охотно. Весной на сплав бурлаком ходил; на сплаве-то народ общим умом живёт, своего ума не надо. За сплав Бакиру не платили, только кормили на чужой кошт. Летом Бакир землю рыл, воровал. Его ловили и били, но не сильно. Бабы его любили за лёгкий и весёлый нрав — ну и что, что дурак. Бывало, и в тальнике его на себя заваливали. Хоть пристанские кержаки жён своих держали в строгости, без своего благословения и лучины нащепать не позволяли, секли как сидоровых коз за малейший грех, а всё ж пристанским жёнкам вольнее было, а в кое-каких толках и бесстыднее, чем заводским. Вот Бакир и жил, как птаха: поклевал — поёт, не поклевал — тоже поёт.

— Ну как, откопал клад Пугача? — насмешливо спросил Бакирку Осташа. — Если жрать хочешь, наливай из горшка. Только себе берестяную уточку сделай, не погань посуду.

Бакирка поднял валявшийся поблизости обрывок бересты и начал складывать уточку, даже не очистив бересту от коры и грязи.

— Нет, ещё маленько не откопал, — сказал он. — Крепко Переход денгу спрятал.

— Да нет тут никакого клада...

— Есть, — убеждённо возразил Бакир. — Вот, Астапа, смотри.

Он встал и выволок из лапника в навесе кованый бондарный обруч. На ржавом ободе виднелись отчеканенные буквы: «ЦРЬ ПТРЬ ФДРЧЬ».

— Это с винного бочонка, — пояснил Бакир, отнимая у Осташи обруч и засовывая обратно в лапник. — Вино выпил кто-то. А золото здесь. По приметам знает Бакир.

— По каким приметам?

— По страшным. Бакир сам видел, правду говорит. Ночью по скале семь кошек бегают, мяукают. Две рыжие, пять чёрных.

— Ну и что?

— Рыжий кот — на золото. Два бочонка золота Чика тут спрятал. Чёрный кот — мертвец, шайтан. Четырёх братьев Чика тут положил золота стеречь, закопал, спрятал. Семь кошек — на семь голов клад заговорён. Понял, Астапа?

— Семерых, значит, тебе убить надо и головы их сюда принести, чтобы клад открылся?

— Надо. Только Бакир шибко хитрый. Людей Бакир не убивал, жалко. Бакир собак убивал, обманул шайтана. Закопал собачьи головы. А где клад? Не открылся Бакиру! Другие шайтаны ещё стерегут. Пугач, Чика, Белая Борода — совсем злой люди были.

Осташа вспомнил, как на прошлом весеннем сплаве его дружок из Кумыша Никешка Долматов, ходивший с батей бурлаком, рассказывал, что стали в Кумыше собаки куда-то исчезать. Все думали, что волки их дерут. А это, оказывается, Бакир клад расколдовывал... Мысли Осташи вновь перескочили на батю. В нынешний сплав с батей Никешка без Осташи не пошёл. А Осташа не смог: батя велел с Макаровой дома сидеть: расхворалась карга Макариха

не к часу. Пошёл бы Осташа с батей — может, и батя не пропал бы...

— А каких ты ещё шайтанов тут видал?

— Много шайтанов. Один раз видел — конь пасётся. Бакир за ним. Конь засмеялся человеческим голосом и провалился. Другой раз ночью видел Бакир на скале петушка огненного. А ещё другой раз просто так шёл Бакир по скалам, и вдруг как из пушки ударило! Обмер Бакир, побежал, потом смотрит вокруг — пусто! Это клад отозвался, Бакир над ним прошёл. А где прошёл — забыл! Беда! А совсем другой раз спит Бакир и слышит из-под земли... — Бакир завыл, подражая голосу мертвецов: — «Ску-ушно ли тебе, братец, в земле-е?...» — «Ску-ушно, братец!..» Страшно Бакиру стало! Ой, страшно!

— Ну ты на ночь-то давай... — поёжился Осташа.

— Вдвоём не страшно, вдвоём что!.. А Бакир один. Как-то раз вечером видит Бакир: девка тут сидит. Ну, думает, не страшно, весело ночью будет. Девка приго-ожая!.. Люби меня, говорит, Бакир, только поясok не развязывай. Бакир-то и спросил: почему? «А живот-то у меня распорот, выпадет сердце!..» Бакир глядит: девка смеётся, а у неё и горло перерезано! Закричал Бакир, руками замахал, убежал!.. Это шайтаны, что клад стерегут, на Бакира выходят! Трус Бакир. Надо было Бакиру ту девку полюбить — и открылся бы клад. А Бакир — коян, заяц. Бакир с вогуличем Шакулóй в Ёкве говорил, обещал вогулич со святой горы вогульской разрыв-траву принести, папоры цвет... Ждёт Бакир.

Батя в то лето после Пугача сказал Осташе: «На Чусовой каждый будет знать, где Чика клад Пугача зарыл, да все не там искать станут. Ну и пусть ищут. Клад тот не на удачливого положен, а на истинного царя Петра Фёдоровича, когда тот снова объявится». А над Бакиркой батя попросту посмеивался: «Не для нас клад и не для пытарей. А Бакирке же бог указчик. Пускай он на Четырёх Братьях копает.

И задёлье для пустой головы, и к людям близко». Батя знал, где клад. Он сам с Чикой и братьями Гусевыми уплыл его прятать. Только ничего потом об этом не рассказывал.

— Нету клада на Четырёх Братьях, — сказал Бакирке Осташа и приврал, поддразнивая: — Мне батя говорил.

— Шайтан есть, а клада нет? — засмеялся Бакир. — Бакир сам видел в логу: ночью земля светится! Думал, утром достанет клад. А утро пришло — где земля светилась? Тут? Не-ет, вон там! Или там? Где? Не нашёл Бакир место, закрутили его шайтаны! Твой, Астапа, тятка — хитрый был: клад не знал, а всем сказал, что знал.

— Как же это не знал? — обиделся Осташа.

— А так и не знал! Он ведь землю Чике не рыл. Он сбежал. Братья Гусевы рыли, братья знают, только братья сами в земле на кладе лежат. Тятка твой, Переход, всем говорил: я клад прятал! Я клад прятал! Вот я какой человек большой! Может, за то и наказали его шайтаны, утопили! Я ведь весной прямо с ним на этой вот барке плыл. — Бакир ткнул пальцем в сторону Чусовой.

— Да ну? — изумился Осташа и даже чуть приподнялся. — И ты видел, как барка об Разбойник ударилась, как она на дно пошла?

— Не-е, того Бакир не видел. — Бакирка потряс кудлатой головой. — Бакир испугался. Кумыш, Горчак проплыли — и страшно стало Бакиру. Прыгнул в воду с барки и уплыл на берег.

Бакир сложил перед грудью ладони и показал, как он прыгнул с борта в Чусовую.

— А куда прыгнул? — неожиданно заинтересовался Осташа. — На левую сторону?

— Туда, — согласился Бакир.

— Отчего же перед Молоковым бойцом ты на левую сторону прыгнул? Не в первый же раз на сплав шёл, и здешние места все знаешь. Спасти́сь хотел — прыгал бы направо, а налево тебя сразу на скалу понесёт.

— И понесло, ух, шибко понесло! — обрадованно согласился Бакир. — Бакир думал — смерть! Волна как дом, и вся об камень! Бакир за доску держался! Как спасся Бакир — не помнит!

— На правый борт надо было прыгать, — повторил Осташа.

— Налево Бакир прыгнул, — кивнул Бакирка. — Надо было.

— Почто?

— Надо, Астапа, верно.

«Дурак», — подумал Осташа.

Если по звёздам, так было уже за полночь. Костёр прогорел. Сосны на гребне высокой горы под луной стояли как стеклянные. Осташа подгрёб угли, улёгся на своей доске поудобнее и натянул армяк на голову.

— Давай спать, Бакирка, — сказал он. — Мне завтра ещё грести до Усть-Койвы да торговаться. Голова нужна свежая. Спи и ты. Может, завтра клад отыщешь.

Осташа только закрыл глаза — и сразу его понесло, как барку по стрежню: замелькали скалы, деревья, повороты...

Осташа проснулся перед рассветом. Бакир держал его за ногу и тихо тянул к себе.

— Ты чего? — сонно спросил Осташа.

Бакир тихо засмеялся, бросил ногу и отбежал. Он пытался стянуть с Осташи сапог.

— Ах ты вор! — рявкнул Осташа, подскакивая.

Бакир повернулся и дунул в гору.

СЧАСТЬЕ ВЫШЕ БОГАТЫРСТВА

Из воды выскочила и с шумом бросилась в кусты порёшная — выдра, когда Осташа столкнул с отмели шитик. Над Чусовой где-то за Разбойником нежно розовело небо. Пунцово горели два облачных пера, отражаясь в гладком

плёсе. Осташа разбил гладь шестом, и отражения рассыпались огненными лоскутьями.

Птицы ещё не пели, и в тишине звонко цокал о камни железный наконечник шеста, словно маленький молоточек о наковальню. Было холодно. Лёгкий туман стелился над отмелями. Из-за гор выглянул слепящий край солнца, и туман начал исчезать, оседая росой на короткой прибрежной травке.

Осташа миновал косые гребни Отмётыша, каменными ножами вонзившиеся в Чусовую. Оглянувшись, он долго рассматривал сѹводь за бойцом — сейчас безобидную, безопасную, а на сплаве — смертоносную. Мелкая волна ластилась о белую скалу, вылизывала камень, как собака своего щенка. Немало барок заглотила собачья пасть этого противотока.

По левую руку на устье речонки Шумиловки зеленел моховой горб землянки. Над землянкой не было ни дымка, ни пара. Здесь жил пермяк-бобыль по прозвищу Ера́н, что значит дикий, чужой. Он и был всем чужим — без бабы, без детей, без товарищей. Даже единственная корова у Ерана была как лосиха — тощая, жилистая. Паслась сама по себе неизвестно где, приходила по вечерам доиться, зимовала с Ераном под одной крышей. Ерановы псы не облаивали лодку Осташи. Значит, Еран с собаками ушёл на охоту. Напротив Ерановой берлоги на правом берегу Чусовой громоздился камень Воронки — будто огромный сундук-лубянка с сосновым бором на крышке.

За кручей Рассольной горы появилась пристань в устье Рассольной речки. У свайных причалов стояли две большие недостроенные барки, как два лаптя у порога. Их рулестёрна безвольно вывернулись набок и смотрели вниз по течению. За причалами на пологом берегу было скáтище; здесь склон расчертили бревенчатые спуски — покáтнѹ. На покатнях громоздилась ещё одна недостроенная барка, подпёртая в бок короткими и толстыми брёвнами-попáми,

чтоб не съехала в воду. За баркой стояли заботóванные склады байдáнов, брёвен-белотёлов. Лежали вороха свежеполозованных толстых досок — батанцóв баркам на бортовíны. По берегу, засыпанному стружкой и грязным опилом, валялись корявые, серые, высохшие кáржи — утонувшие, но вытащенные из русла пни.

На Рассольной пристани строили суда для Кусы́нского завода. Их спускали к кордону в деревне Усть-Кóйва. От Кусы́ до Усть-Койвы по реке Койве железо и чугун везли в шитиках, а на кордоне перегружали в барки. Проплывая мимо пристани, Осташа видел под горой в урочище крыши и трубы изб деревни Рассольной. За крышами торчала луковка часовни. За часовней, ссыпаясь по склону горы, светлели отвалы двух рудников. Под рудниками речка Рассольная была подпружена; пруд блестел на солнце, как серебряный. На вешняках плотины медленно вращались деревянные колёса медведок — дробилок для руды.

— Эй, парень, причаль!.. — услышал Осташа с берега.

За устьем речки Рассольной, под взлеском, среди куч щепы и мусора горел костерок, вокруг которого сидели какие-то мужики. Осташа толкнулся шестом, направляя шитик к отмели.

Мужиков было пятеро, и все уже под хмельком, несмотря на утро. Они расселись на горбылях, на обрубках-ёлтышах, жевали чёрный жвак — перетопленную лиственничную живицу, плевали под ноги жёлтой слюной. Над огнём висел котёл; в котле деревянной поварёшкой-чумичкой ворочала гущу какая-то баба в туго повязанном чистом белом платке.

— Чего хотели? — спросил Осташа, оглядываясь.

— Вылазь, дело есть. Гостем будешь.

Осташа вылез на берег, подтащил лодку и поднялся на угор к мужикам. Здесь верховодил пожилой толсторожий дядька с морщинистым лбом и большой кудлатой бородой.

— Ты чей? — сразу спросил он.

— Строгановский, с Кашки. Чего надо-то?

— Щёрбу станешь? Постное, как раз для вас, кержаков.

— Давай, — охотно согласился проголодавшийся Осташа. — А пост, кстати, кончился. Пасху уж справили, коли ты не заметил. Не надо, тётка. — Осташа рукой остановил бабу, доставшую помытую деревянную чашку. — Мы из своего едим, не скоромимся.

Он пошёл обратно к шитику за посудой. За спиной его кто-то из мужиков хмыкнул. Мужики, судя по одежде и выпивке, были заводские, никонианцы. Зато здешний народ, до которого не дошли пугачёвцы, сохранил добродушие и приветливость, что калёным железом были вытравлены у тех, по кому прокатилась телега бунта. Говорят, в Кусье до сих пор на дверях в избах и засовов не делали, а если уходили куда — только батожком дверь припирали. В Кашке давно на ночной стук в ставню сначала ружьё из запечья вынимали, потом спрашивали, кто пришёл.

Осташа сам своей берестяной уткой налил себе ухи и присел у костра, по-татарски скрестив ноги.

— Меня дядей Федотом зови, — сказал артельный. — А ты куда правишься, в Усть-Койву?

— А что, книзу-то я в Кын попаду?

— Не кудакай, дорогу осётуешь, — сказал Федоту мужик помоложе, в залатанном армяке.

— Зубастый парень, — одобрил артельный, широко улыбаясь.

— А мы, кержаки по-вашему, на Масленицу в Баронскую не ездим, потому и зубастые.

Мужики заржали. Строгановские и демидовские на Масленицу устраивали кулачный бой на льду Межевой Утки, как раз между деревней Баронской и пристанью Усть-Утка. В этом году, говорят, строгановским набили рожи и весь лёд был засыпан выставленными зубами.

— Мы чего тебя попросить-то хотели, — приступил артельный. — Коли ты в Усть-Койве будешь — найди, слушай, там нашего мужика, Афанасием зовут. У него ещё борода-

ща вся чёрная, а голова как снег. Скажи ему, что Федот Михеев просит соли привезти фунтов пять. Соли, понимаешь, нам надо.

— Как же это вы, дядя Федот, в Рассольной — и без соли?

— А что — Рассольная? Одно название! — обидчиво сказал молодой мужик с заплатами. — Здесь соль-то добывали, считай, при Анике Фёдоровиче, а это когда было? Трубы, что тогда навертели, все сгнили, не найти. И солонцов-то уже не найти, не то что труб. Зверьё распугали, а без зверя как? Самим землю жрать — пробовать? Да и цырнёв у нас ни единого нет рассол выпаривать, да и не солевары мы.

— Нам, парень...

— Осташа меня зовут.

— Нам, Осташа, соль нужна медвежатину засолить, — пояснил Федот Михеев. — На кашу-то у нас и так хватает. Ерана знаешь, пермяка? Вот Еран нам вчера целого медведя подарил. Мы пока что мясо в ручей положили, но ручей в дорогу не возмёмшь. Засолить мясо надо.

— Это как это «медведя подарил»? — изумился Осташа. — Целого медведя — за здорово живёшь? Не бывает такого, мужики!

— Еран его раненого под Гусёльным бойцом добил. Осмотрел и решил, что хозяин человечину ел. Вот и отдал нам даром, как падаль.

— А с чего он взял, что медведь человечину ел?

— Брюхо у него ножом пропорото было. Значит, подмял косолапый человека, а человек успел его порезать. А мы думаем, что не жрал медведь человечину. С пропоротым брюхом не до жратвы ему стало. Напал на человека, заломал и бросил.

— А не колдуна ли Еран вам подсунул? — засомневался Осташа. — Под шкурой-то красной рубахи не было?

— Ну, ты, парень, страстей нагонишь... — даже обиделись мужики. — Хочешь шкуру посмотреть? Акулина, проводи его.

— Медведи-то раньше людьми были, — наставительно заметил Осташа.

— Ну-ну, ага. А в собак сатана за обжорливость превращает...

Осташа отставил чашку и поднялся. Баба повела его в лес. Она тоже была пьяненькая, а потому и молчала, чтобы себя не выдать.

На опушке поляны на разлапистой берёзе висела скоблёной мездрой к солнцу и сохла растянутая медвежья шкура. Осташа развернул скрученный край брюшины и увидел в шкуре два небольших разреза. Меха вокруг них был чёрный от спёкшейся крови. И вправду медведя били ножом в живот. А мездру мужики выскоблили худо, но всё ж прилипших лохмотьев красной рубахи на ней видно не было.

— И что, никакого слуха не прошло, что медведь на человека кидался? — спросил Осташа, когда вернулся обратно и уселся у костра. — Никто не пропадал? Мертвяков не находили?

— Мы по лесам-то особо не шастаем, не вогулы, — ответил дядя Федот. — Да и опаска. На Гусельном, говорят, часто медведей видят, нам туда лучше не соваться. Так что никого не находили. И слуха, что человек из лесу не вернулся, тоже не было. Пёс его знает, где медведь ножа отведал.

— Да уж... — Осташа выдрал клочок травы и стал протирать свою чашку. — А вы, мужики, значит, обмываете приобретение?

— Нет, не то. Мы, видишь, решили от артели отколоться. Хоть нас, мужиков, в Рассольной всего-то по четырём рукам сочтёшь, а вот решили, и шабаш. На барках, на лесопилке много не заработаешь. Пойдём руду ломать. — Дядя Федот подгрёб в костёр щепок.

— Федот Петрович горку рудную нашёл, — пояснил молодой мужик. — Сбил нас в артельку малую. Мы ему окладную выставили.

— А много на руде заработаешь? — простодушно спросил Осташа, и мужики засмеялись.

— Какой оклад возьмёшь, столько и заработаешь, — пояснил дядя Федот. — Побольше, чем здесь на плотбище. А сколько — не спрашивай. Не принято у нас отвечать.

— Понятно, — кивнул Осташа. — И где же эта горка рудная?

— На Тесовой речке, — ответил дядя Федот и хитро сощурился.

— А что это за речка Тесовая? Не слыхал о такой. Где она?

— Где я затёсы поставил, вот там и она.

— А-а, тайна, значит, — догадался Осташа.

— Конечно, тайна. Разболтаю — так кто другой ушлый объявит руду своей, и плакал мой оклад.

— А как ты, дядя Федот, руду находишь? Вроде все горки одинаковы... Всякий раз, что ли, дудку бьёшь?

— Зачем же сразу дудку бить? — улыбнулся довольный Осташиным вниманием дядя Федот. — Так сто лопат изотрёшь, прежде чем на одну лопату железа добудешь. Правила есть свои, как и у вас, пристанских. Хитрости разные. Я-то вот просто по выскирам щупом тычу, где руда голос подаст. А дед у меня всю тонкость знал. Мог руду и по блеску речного песка-сверкуна определить; и в ручьях, что над рудой текут, говорил, вода кровью на вкус отдаёт; и по затёсу на стволе определял, что за порода под корнями у дерева; и по мху. Жаль, я так не могу. Но уж как могу — так не спускаю.

— А не жутко руду в дудке ломать? Я один раз только голову в кычку засунул — так оттуда прямо могильным холодом дохнуло.

— Жутко, парень, — согласился дядя Федот. — Ну да мы стараемся близкую руду работать, чтобы рудник просто ямой был. В дудке-то крепёж уставить и вандрутами распереть — так половина сил уйдёт. Да и сгибнуть можно в дудке от воды подземной. Это уж когда прижмёт — в дудку-то лезешь. А так нам солнышко-то любо, под землёй ещё наежемся. А ты, Остафий, коли пристанской, так шитики, насады умеешь ведь ладить, да? Пошли с нами в артель. Мы

будем руду ломать да на медвѣдках дробить, а ты будешь лодки строить и возить руду в Кусью. Плату — по справедливости. Давай, а? Парень ты, вижу, крепкий.

— Спасибо, конечно, дядя Федот, но я с Чусовой — никуда.

— А кто ты там, на пристани?

— Сплавщик.

— Да ну?!.. — дружно изумились мужики, с уважением глядя на Осташу. — Такой молодой — и сплавщик?

— Я с малолетства хлеб с плесенью ел, хорошо плаваю, — усмехнулся Осташа. — Вы к моим летам добавьте ещё те, что у меня отец и дед на скамейке простояли, — мало не будет.

— Понятно, значит — потомственный... — Дядя Федот покачал головой. — Лихое дело у вас. Ведь всякий сплав по кромочке ходите. Вам голову сломить — как шапку сронить.

— У нас, у коренных, кровь такая — шальная. Мы же, сплавщики исконные, род свой ведём от чусовских казаков, от дружины Ермака Тимофеевича, — убеждённо сказал Осташа. — Сами-то вы, мужики, пробовали хоть раз себя на сплаве?

— Нужда ещё в бурлачество не гнала, а по доброй воле кто ж к бесу в зубы полезет?

— Ты лукавого не поминай, дядя Федот... А лучше хоть раз попробуйте. Кто хоть раз с Чусовой по весне схлестнулся — навек запомнит. Всю жизнь тянуть будет снова и снова себя испытать.

— Испытать... — усмехнулся один из мужиков. — Это не себя испытать... Это как к хмельному пристраститься. — Он цокнул ногтем по боку стоящей рядом долблёной баклаги. — Коли пристрастился — за бороду не оттащишь.

— Нет, у нас не то, — не согласился Осташа. — Чусовская вода — не брага. Не хмелит — протрезвляет. Говорят, на сплав пойти — всё равно что на кулачный бой... Даже нет, всё равно что с туркой на саблях сразиться. Может, и так — не сражался. Но когда с Чусовой схватишься и по-

бедишь — как родишься заново. Мой батя говорил: будто душу омоешь. Можно, конечно, и сгнать, так ведь сгнать везде можно. Рудокопов в дудке заваливает, углежог в кабане заживо сгорают, лесорубов деревьями давит. Я уж про тех, кто в домнах железо варит, и не говорю.

— Всё то, но тут — работа, а у вас — просто сеча на всём скаку. Нет, Остафий... Счастье выше богатства. Молодечеством счастья не добудешь. Кайлом махать, конечно, кушнее, да зато надёжнее.

— Может, и так, — пожал плечами Остаха. — Только судьбу себе не выбирают. Как мы Чусовую не выбирали. Другой-то реки всё равно нету. Надо по этой плыть — и живым остаться, и людей сберечь, и груз довести. В том и вся премудрость. Меня так батя учил. Дорога — она доведёт до цели; главное — не убиться в пути.

— Что-то разговор у нас серьёзный завязался... — вздохнул дядя Федот и мигнул бабе. — Ты уж прости, Остафий, но мы люди не раскольные, грешны: в брюхе аж горит, залить надо. Достань-ка чарки, Акулина.

Мужики приободрились, но для Остахи приняли сокрушённый вид: мол, без чарки с таким разговором не управиться. Остаха поднялся на ноги. Он не хотел смотреть, как будут пить.

— Ладно, люди добрые, спасибо за приют, — сказал он. — А у меня ведь и самого дела есть. Я уж поплыву. Афанасию вашему передам насчёт соли, не забуду. Бывайте здоровы.

— Ну и тебя храни бог, — сказал дядя Федот, а мужики стащили шапки и поклонились.

В УСТЬ-КОЙВЕ

Сразу за деревней Рассольной правый берег поднялся и оскалился утёсами. Сизая на ярком солнце глыба Гнутаго камня и вправду словно была согнута кем-то пополам об коле-

но. Зубец Башни прятался за ёлками — его с воды и не различить было, если не знаешь, что он есть. А перед Гусельным бойцом в Чусовую сползал шорох — щебневая осыпь, на которой Еран позавчера подстрелил раненого медведя.

Чусовая ударялась в огромные каменные гусли бойца Гусельного, словно хотела сыграть на струнах сосен, как Кирша Данилов играл под тагильскими домнами. Но каменные гусли молчали, и река сама журчала и пела за ребром бойца. Беспокойной струёй она убегала к Кобыльим Рёбрам, что торчали из высокого склона. Рёбра были облеплены колкáми елей, точно кусками мяса. А за распадом в шерсти мха топырились собачьи титьки бойца Сосуна. От Сосуна, насосавшись, Чусовая отваливала и катилась к Усть-Койве, правым боком сдирая стружку о пласты Дыроватых Рёбер. Они выщербились из крутого откоса, как задиры на доске, обструтанной против волокон. Яростно пробуравил Осташу пустой, совиный глаз скалы — огромная дырина в утёсе, которую усть-койвинцы уважительно звали Царскими Воротами. За этими Воротами открывалось царство изломанных валунов и плесневелого бурелома. В расщелинах камня вокруг Ворот торчали лучинки стрел, пущенных вогулами в эту дыру на удачу.

За скалой в два ряда потянулись избы Усть-Койвы, выстроившись по правому берегу Чусовой почти на пару вёрст. Осташа причалил возле плоскодонного полубárка, на котором, закрыв лицо шапкой, дрых перевозчик. Осташа растолкал мужика, поручил ему пригляд за лодкой и штуцером и пошёл искать этого самого Афанасия из Рассольной. Афанасий и ему бы пригодился как свидетель при совершении купчей на барку с кордонским приказчиком.

Осташа долго барабанил в калитки, кидал камешки в ставни изб, объяснял глупым бабам и мальчикам, кого ему надо, пока сам в проулке не наткнулся на Афанасия. Афанасий не сразу поверил в заказ на пять фунтов соли от какого-то совсем незнакомого человека, а потому расспросил Осташу

основательно. Убедившись, что Федот Михеев и вправду заказал соль, он всё же не согласился быть свидетелем купчей, но зато сказал, что в Усть-Койве сейчас находится строгановский сплавной приказчик Кузьма Егорыч, и пусть Осташа идёт к нему вот туда-то и туда.

Кузьма Егорыч остановился в доме знакомого кержака. На заплоте сидели два голубя, оба — срыжя: знать, здешний домовый каурых любил. Осташа пошаркал сапогами на крыльце и, сняв шапку, толкнул дверь. В просторной горнице было солнечно и чисто. Хозяин, видно, куда-то ушёл; ребятня, как и положено, укатилась за реку удить на перекатах; баба хозяйская в закуте за занавеской бренчала печными заслонками. Кузьма Егорыч сидел за широким столом и кушал борщ прямо из чугуна. Перед ним на полотенце лежал заранее наломанный хлеб. Кузьма Егорыч перед каждой ложкой борща бережно брал кусочек длинными веснушчатými пальцами и отправлял в рот, опрятно сдвигая набок длинную и редкую бороду. Был Кузьма Егорыч рослым, но каким-то рыхлым, одутловатым. Большое и плоское лицо казалось бледным по сравнению с рожами бурлаков и сплавщиков, прокалённых на сплавах солнцем и непогодами. Намазанные маслом и разделённые надвое волосы лежали на голове плоско, как приклеенные. Маленькие глазки были утомлённо прикрыты тяжёлыми красными веками.

— Ну, садись, — тихим, тонким голосом пригласил Осташу Кузьма Егорыч и кивнул на скамью у стены.

— Просьба у меня к тебе, дядя Кузьма, — сказал Осташа. — Будь мне свидетелем купчей на отцову барку. Кордону её продам.

— Труд мзду требует.

— Двугривенный.

— Не щедр ты, братец.

— Так ведь и труд не велик — титлы нарисовать.

— Не в труде цена, а в том, кто его делает, — наставительно изрёк Кузьма Егорыч.

— Я и за двугривенный много народу в свидетели найду.

— В батю волчонок пошёл, — спокойно заметил Кузьма Егорыч, отодвигая чугуны и сыпая хлебные крошки с полотенца в ладонь.

Осташа шмыгнув носом, прищурившись, и скрестил пальцы на руках.

— Ты мне скажи сразу, без страха, Кузьма Егорыч, с глазу на глаз ведь сидим: сколько тебе заплатить надо, чтобы ты будущей весной меня сплавщиком на хозяйскую барку поставил — хоть от Кашки, хоть от Билимбая или Кына, да хоть от Ослянки в наём?

Все знали про поборы сплавного старосты: хочешь идти сплавщиком на хозяйской барке — плати. Кого куда поставить — приказчик распоряжается.

— Думаешь, Кузьма Егорыч шибко закорыстовался? — совсем тонким голосом громко спросил староста. — Думаешь, изба у него золотом крыта? Да я за эти деньги через вас спиной отвечаю! Вы барку убьёте, а хозяева с кого спросят? С меня! Нечего, мол, было еловый пенёк на скамейку ставить!

Строгановы не дали Кузьме Егорычу выкупиться из крепости — это тоже все знали. Крепостного старосту легче в кулаке держать. Но чтоб Кузьму Егорыча хоть раз растянули — про такое никто и слыхом не слышал, хотя на каждом сплаве барки убивались и бурлаки тонули.

— А ты мне слезу не дави, — зло сказал Осташа. — Мне ведь тебя благодарить пока не за что. Или тебе денег от меня мало, надо ещё и шапку поломать?

— Тьфу на тебя, щенок, — тихо ответил Кузьма Егорыч. — Не будешь ты у меня сплавщиком — никогда. Это я тебе обещаю. Отцову барку продашь, и ступай на плотбища. На железных караванах тебе только у потеси до кровавого пота бурлачить, а не со скамейки сплавщицкой кукарекать.

Кузьма Егорыч устало прикрыл глазки, но борода его тряслась. Осташа понял, что староста изо всех сил сдерживает свою ярость, чтобы не сорваться на брань.

— За что это ты меня так невзлюбил, дядя Кузьма? — спросил Осташа, чуть пригибаясь, чтобы увидеть глаза Кузьмы Егорыча. — Никак за батю, который тебе никогда копейки не платил и спину перед тобой не гнул?

— Шут с батей с твоим, с Переходом. Он своё получил.

— А мы с тобой своего ещё ждём, так что к шуту посылать ты пока поостерегись, дядя Кузьма. Не дашь мне барку добром сейчас, за мзду, пока я никто, — так потом вообще ничего от меня не получишь. Я и сам найду к весне купчину, чтобы сплавщиком наняться. А как один раз свожу барку начисто, так и пойдёт ко мне заказчик мимо тебя. Имя Перехода на Чусовой много значит.

— Раньше значило, а нынче — нет. Опоганил батя твой ваше имя. Барку по умыслу убил, сбежал и казной пугачёвской попользовался.

Осташа почувствовал, как опять у него от гнева повело скулы.

— Тебе ли байки эти повторять, дядя Кузьма? Ты ли батю не знал? Я говорил с тобой, так вроде не оплевался, чтоб напраслину терпеть. Какая казна, какой умысел? Мёртв батя!

— Не знаю, я его не отпевал. А Колывана Бугрина народ слушает — и Колыван про твоего батю говорит, что попользовался, барку убил и сбёг. И чем доказать ему есть.

— Колыван бате старый соперник. Сколько заказов купцы у него отбирали и бате отдавали? Колыван — сильный сплавщик, но до бати не дорос, а душа у него чёрная, вот и лает.

— Чего ему лаять, коли Удачи-Перехода не стало?

— Чтобы меня охулить, потому что я Колывану соперник буду не хуже бати.

— Да кто тебя знает-то, сопляка? Кому надо тебя оплёвывать? Мало ли, что имя Перехода! У Колывана вон девка Неждана, так что — сгибни Колыван, купец пойдёт её в сплавщики нанимать? Нету тебя, понимаешь? Я вот смотрю на тебя в упор — и не вижу! Нету теперь и имени Переходов!

Теперь всякий знает: Переход за корысть барку убьёт, Переход у царя Петра Фёдорыча деньги украл! Кто теперь тебе поверит, кто заказ даст? На меня одного у тебя надежда была, а мне на тебя плюнуть и растереть, и мзда твоя не нужна!

Лицо у Кузьмы Егорыча тряслось, но слова его были обдуманы, прозвучали не в запале ругани. И Осташа, зверея, чувствовал, что тонет, как в трясине, — ни рукой, ни ногой не шевельнуть. За Кузьмой Егорычем стояла неправая, но сила — тупая, равнодушная, подлая.

— Думаешь, один ты, вы́жига, на сплаве хозяин? — хрипло спросил Осташа. — Я за правдой на совет сплавщиков пойду: к Байдину в Шайтанские заводы пойду, к Вóлеговым, к Мезéниным на Плешаковку, к самому Конону Шелёгину в Ревдú!

— Ну и что? Считаешь, старики тебе поверят, а Колывану — нет? Вó тебе! — и Кузьма Егорыч сунул под нос Осташе кукиш.

Осташа не удержался, отшиб кукиш так, что Кузьма Егорыч локтем сбил со стола чугунок и зашипел от боли. Осташа встал, нахлобучил шапку и пошёл прочь.

— Если двугривенный надо — сходишь на кордон сам, — сквозь зубы сказал он уже с порога. — Разменяй на медяки, да в карман насыпь — медяк от судорог помогает. — И грохнул за собой дверь.

Кипя, он широко шагал по улице Усть-Койвы мимо высоких заплотов с воротами под кровлей, мимо крепко рубленных домов на подклетах, с маленькими окошками и висячими крыльцами. Встречных он не замечал, не кланялся. Подвернувшуюся добродушную псину стегнул прутом поперёк хребта. Доски настилов вдоль разъезженной дороги прогибались под Осташей так, словно бы он стал вдвое тяжелее. Выйдя за околицу, Осташа по мостку пересёк ложок с весенними размывами глины на дне, потом — еловый перелесок. Слева за еловыми лапами вспыхивала под солнцем Чусовая. На широкой отмели, которая в межень обнажит-

ся до середины русла и побелеет, будто костяная, лежали две барки, уже приготовленные для будущего каравана. За перелеском начался кордон Кусяинского завода.

Обнесённый частоколом, как разбойничий вертеп, он был построен на стрелке Чусовой и Койвы. Осташа обогнул угол и вошёл на огороженный двор. Здесь в ряд стояли могучие, приземистые амбары со взвóзами, разбитыми конскими копытами. В амбарах под замками хранился в ларях на вес скобяной товар и пушечные ядра, поленицами лежали штýтки меди. Горы чугунных чушек, которым нипочём были дожди, громоздились вдоль частоколов. Под навесами, укрытые промасленными рогожами, высились кучи железных полос, листов и прутков. Возле дальних ворот мелькали люди, таскали по сходням с берега Койвы грузы только что пришедшего каравана. Приказчик командовал; писарь у раскрытых ворот амбара пересчитывал товар; артельные руководили разгрузкой шитиков. Протока меж островом в устье Койвы и свайными причалами кордона плавучими перестýгами разлинована была на большие ячеи ба́нов. Шитики беспорядочным косяком качались в ячеях у берега.

Обходя лужи, Осташа направился к конторе. На крыльце, прислонив ружьё к перильцам, сидел пожилой солдат в мундире. Его шапка пирогом потеряла весь артикул, обвисла над ушами, позумент с неё облез. Сняв сапог и закатав штанину, солдат смазывал какой-то дрянью своё синее, распухшее колено.

— Сразу застрелишь или пройти можно? — спросил Осташа, останавливаясь у крыльца.

— Могу и сразу, — согласился солдат, не подымая головы. — Не видишь — заперто. Нету никого. Приказчик вон там, на разгрузке.

— А ты чего тогда сторожишь? Щели в половицах?

— Казну кордонскую, дурак. Подожди, Илье Иванычу сейчас не до тебя. Сядь вон там, на чурбак, от оружия подальше.

Осташа уселся на чурбак у крыльца.

— Колено-то где повредил? — уже миролюбиво спросил он.

— Осколком гранаты турецкой под Козлуджем разбило. Вот и списали из гренадерской роты, с глаз долой от Александра Василича.

— Значит, против Петра Фёдорыча на Чусовой ты не воевал?

— Вор твой Петр Фёдорыч. Но я не воевал. А коли и воевал бы, тебе-то что?

— Да ничего. — Осташа пожал плечами.

— Эй, служба, дай водицы попить, — раздался вдруг голос откуда-то из ближайшего амбара.

Солдат вздохнул, вытащил из-за спины медный ковшик и протянул Осташе.

— Не почти за труд, парень, отнеси воды арестанту. В окошко ему подай. Тяжело мне самому ковылять, да и расплескаю.

Осташа поднялся с чурбака, зачерпнул воды из бочонка, стоящего под потоком, и пошёл к амбару. Волоковое окошко-щель было шириной с ладонь. Осташа сунул в него ковшик и увидел, как две осторожные руки приняли ковш и утянули в темноту. Через некоторое время ковшик выполз обратно пустой.

— Слышь, покажись-ка, — попросил Осташа арестанта.

Бледное лицо появилось в щели окошка.

— Я тебя по голосу узнал, — сказал Осташа. — Ты ведь Кирюха Бирюков из Старой Утки, да?

— Верно, — удивился арестант. — А ты кто?

— Осташка Переход. Мы с тобой сопляками в бабки лупились, пока наши батьки свои сплавные дела обсуждали.

— Не помню, — виновато сказал арестант.

— Память у тебя не сплавщицкая...

— Так я не сплавной, я по плотбищному делу был.

— Эй, кончай с арестантом говорить! — издалека прикрикнул солдат. — Ну-ка поди оттудова!

— Ладно, я ещё вернусь, — пообещал Осташа и пошёл обратно к крыльцу. Он снова уселся на чурбак и спросил солдата: — Что за тать у тебя под замком сидит?

— А я почём знаю? — хмуро ответил солдат. — Моё дело — стеречь, а исповеди пусть поп слушает. Этого татя со сплава сняли. Его везли откуда-то с заводов в Оханск, чтоб дальше по Казанскому тракту гужом отправить, да барка пробилась на камнях у Воронков, плыть не смогла. До ближайшей оказии велели татя закрыть в амбар.

— Верно, знатный разбойник был. То-то я гляжу — борода от глаз, волосья колтуном, руки в шерсти, за плечом мешок с отрубленными головами.

— Тебе чего от меня надо? — разозлился солдат. — Я его, что ли, заковывал?

— Я с этим татем сызмальства знаком. Хороший парень, работающий и добрый, только глупый.

— Ну, давай я тебя умного к нему под замок посажу. В остроге побратаетесь, уму поучишь его.

— Лучше дозвожь мне ещё с ним поговорить.

— Не положено.

— Ему ж в ад идти. Хуже, чем в солдатчину.

Солдат, отвернувшись, молчал. Осташа снова встал и пошёл к амбару.

— Кирюха, — позвал он, — это опять я, Осташка. Ты за что сюда попал-то?

Кирюха подошёл к окну, но ответил не сразу.

— Девку мою приказчик велел прислать к себе помыть. Она не пошла. Он велел высечь её до полусмерти. Я за это его в лесу подкараулил и пальнул в него. Жаль, не убил. Разиня я. Мало что промазал, так и пыж свернул из лоскута, который от своей рубахи оторвал... Приказчиковы псы нашли пыж, стали по всему заводу рубахи перетряхивать. Отыскивали мою.

«Не везёт Старой Утке на хозяев и начальников, — подумал Осташа. — Федосова, управителя тамошнего, Золо-

той Атаман убил. Курлова, сержанта, что оборону от Белобородова держал, на батарее зарубили. Паргачёва, которого Белобородов начальником поставил, повесили. Демидовы после бунта завод заводчику Гурьеву тотчас продали, Гурьев тотчас перепродал графу Ягужинскому, граф — Савве Яковлеву, этому волчине... Яковлевский приказчик тоже вот, оказывается, под пулю чуть не угодил...»

— И куда тебя везут? — спросил Осташа Кирюха.

— Не знаю. Может, в острог, может, в каторгу. Я ведь не сразу отдался. Одного приказчиного прихвостня убил в драке-то и в лес бежал. Полгода с Кондаком-разбойником в пещере прятался, пока не выследили и не взяли.

— В какой пещере?

— В Пешерном камне, который за Омутным бойцом.

— В левой пещере или в правой?

— Я же не сорока по скалам прыгать... В левой.

— Так ведь там, говорят, проклятое место. Вогульцы идолопоклонствовали. Говорят, вся пещера костями человечьими засыпана.

— Я и сам, видно, проклятый человек, — грустно сказал Кирюха. — А про пещеру брешут. Идолок там есть, бронзовый, только маленький. И костей много, но все звериные. Пещера хорошая, надёжная. Там у нас даже окошко было, чтобы смотреть, не идёт ли кто незванный.

— Чего же тогда вовремя солдат-то не усмотрели?

— Кондак проспал. Пьяный был, скотина. За то и смерть ему.

— Убили, что ли, когда брали?

— Не, потом сгиб. Мне бурлаки рассказывали, которые меня везли. Кондака в казёнке к стене приковали. А барка об Разбойник ударилась. Затонула под Четырьмя Братьями, и Кондак вместе с ней. Поделом вору мука.

«Вот, значит, кого вёз батя!» — удивился Осташа.

— Чего ж ты о подельнике своём так плохо говоришь? — с каким-то даже осуждением спросил Осташа.

Из-за бати он чувствовал и свою вину перед тем разбойником, который так страшно и нелепо погиб в тонущей барке.

— Да подлец он, чего уж там, — тоскливо отмахнулся Кирюха. — Душегуб. Была бы у меня сноровка одному перезимовать, иль был бы я в расколе, чтобы в скиту спрятаться, так сроду бы к такому не припал, а след увидел бы — и в след плюнул. Кондак четыре года на Чусовой ошивался, клад Пугача искал. Такой человек был поганный, что не открывался ему клад. Был бы клад на головы заговорён — Кондак бы вдвое больше голов принёс; пришлось бы голодать — товарища бы съел. Это я сейчас понимаю. А тогда задурил мне Кондак голову. Говорил, что точно место клада знает, нашёл, догадался, только не взять клад зимой, надо весны дожждаться. Тогда я ему ещё верил. Он ведь врал мне, что зовут его по-настоящему Сашка Гусев. Он из тех Гусевых, что должны на кладе у Четырёх Братьев лежать, только он вывернулся от Чики-Зарубина и утёк. Потому и не знает место клада.

Это известие как обухом в лоб шибануло Осташу. Он даже отшатнулся от окошка амбара.

— Эй, Осташка, ты куда?... — позвал Кирюха. — Не бросай меня, брат!.. Выручи, дай ножик! Я окошко обстругаю и утеку! Я другое место знаю, где спрятаться, не найдут меня! Не жить мне без Дашки, понимаешь? Нигде не жить — ни в Сибири на каторге, ни в остроге, ни в соседней деревне!.. Дай ножик!..

Кирюха молил, но Осташа повернулся и пошёл прочь, обрушился на чурбак возле крыльца, где по-прежнему сидел солдат-караульный. Теперь он дымил из-под усов короткой глиняной трубкой.

Будет ли когда-нибудь ему покой от этих проклятых дядьёв Гусевых? Ведь почти четыре года прошло, как они исчезли... Осташа вспоминал тот день того страшного пугачёвского года, когда они с батей вернулись со сплава и об-

наружили в своём доме Гусевых; вспоминал то утро, когда проснулся, будто его домовой толкнул, и увидел, что ни ба-ти, ни Гусевых в избе нет. Макариха сказала, что ночью пришёл какой-то человек и куда-то увёл и Гусевых, сынов её, и батю... И неделю о них ничего не было известно. Макариха голосила по сыновьям и рвала волосы. Осташа молчал с очерствевшим в страшном предчувствии сердцем.

Батя возвратился в Кашку только на восьмой день — один. Он кратко и устало рассказал, что той ночью в Кашку к Гусевым приплыл пугачёвский атаман Чика и привёз с собой царёву казну. Гусевы с пугачёвцами кровью повязались и потому сделали, что Чика приказал: приневолили батю. Ведь батя всю реку знал, и Гусевы силком взяли его с собой, чтобы он нашёл подходящее место клад схоронить. Потом, понятно, Гусевы думали батю в землю в сторож к золоту закопать. И чего там случилось — батя не захотел говорить. Только сказал, что клад спрятан, и спрятан так, что на Чусовой все будут знать, где он, но никто не сможет достать. «Казна та — царя Петра Фёдоровича, и только Пётр Фёдорович возьмёт её, когда придёт, а больше никто не возьмёт, даже я не возьму», — тихо и твёрдо сказал батя.

А Гусевы так и не вернулись. Может, зарезал их батя?.. Нет, Осташа не верил, что батя мог их зарезать. Не таким он был человеком. Но куда Гусевы провалились — Осташа не знал, а батя не говорил. И даже велел никогда не спрашивать его об этом деле. Ну а народ-то решил, как проще: зарезал, чего уж тут гадать. И никто Переходу того в вину не ставил: туда Гусевым и дорога.

— Что, не дал ты арестанту ножика? — перебил Осташины мысли солдат и указал трубкой на голенище Осташино-го сапога.

— У меня спина по плетям не чешется, — мрачно ответил Осташа.

— А ты мне отважным парнем показался...

— Крестись, чтоб не казалось.

— Дай ты ему ножик, пусть бежит. Дай, и сам сразу уйди. Никто тебя здесь не видел. Придёшь завтра как в первый раз. На тебя и не подумают.

— Так на тебя подумают, дядя, — зло возразил Осташа. — Думаешь, колченогих под батоги не кладут?

— А у меня ножа не было, приказчик видел. Зачем мне нож? У меня штык. Штык при мне останется.

Осташа внимательно посмотрел солдату в глаза. Глаза были усталые, выпуклые, бесстрашные.

Дать, что ли, ножик этому Кирюхе-ротозею?.. Иссохнет ведь парень по своей девке. Осташу не пугала каторга, острог. Чем жизнь слаше каторги? Не пугала неволя — и без того все в крепости. Пугало отлучение. Отлучи его самого от Чусовой, отними у него весенний вал, барки, рёв бойцов над рекою... Нет, отлучённому лучше умереть. Осташа встал и в третий раз пошёл к амбару.

— Эй, Кирюха, — позвал он. — А где ты спрячешься, коли убежишь?

Парень подскочил к окошку, жарко зашептал:

— Отсюда через две версты по левую руку река Пóныш впадает, знаешь? Её тайный тракт пересекает, вон на той прогалине выход с него, видишь?..

Осташа знал про этот тайный тракт, который теперь уж ни для кого не был тайной. Его сто пятьдесят лет назад проторили строгановские соленосы, чтобы в обход верхотурской таможни беспощинно таскать в Сибирь соль, а оттуда — рухлядь. Сейчас тракт уже заброшен был: кому он нужен, если проложена хорошая казённая дорога, а таможни в Верхотурье давным-давно нету.

— Вот от того места, где тракт Поныш перескочит, вниз по реке на версту под Кладовым камнем пещера есть. Входец совсем маленький, только вплотную найдёшь, — всё пояснял Кирюха. — К пещере даже тропочки нет, надо знак знать — кедр-езуйтка там стоит, двойняк, который корнями сросся. От него напрямик в гору. А в пещере петля под-

земная. Залезешь в неё, сам не заметишь как, и будешь ползать по кругу, пока не околеешь, ежели вылаза не запомнил. Коли меня и в пещере накроют, я в петлю улезу и с другой стороны убегу. Мне бы только отсюда утечь — я как оборотень над пнём исчезну!..

— Откуда вызнал-то про пещеру?

— Откуда-откуда... Кондак показал.

Осташа подумал, вытащил из-за голенища нож и протянул его в окошко.

— Брат, спаси тебя бог, брат... — забормотал Кирюха и вдруг заплакал: — Свидимся — с меня долг, Осташка... А не свидимся — век за тебя буду молиться... Вам, сплавщикам, всегда надо, чтобы за вас молились...

— Ну, раскис, как баба, — буркнул Осташа и плюнул в крапиву под стеной. — Ты мне вот ещё одно что скажи: этот Кондак твой — он и вправду Сашка Гусев был?

— Откуда же мне знать? Только я так понимаю, что Гусевым-то ему незачем зря называться было, если он не ведал, где клад схоронен.

КОЛЫВАН

Деньги были завязаны в кошель, а кошель лежал в рубахе над поясом и грел брюхо. Осташа упором подымался вверх по течению домой. Под Четырьмя Братьями он вновь осмотрел барку — теперь уже не отцову, а Кусьинского кордона. Колывановы прихвостни продолжали грабёж: кровлю с коня содрали до стропил, принялись разбивать палубу. Осташа только злорадно ухмыльнулся.

От каменной подковы бойца Мёлокова была видна вдали обросшая иглами сосен громада бойца Горчака. Напротив Горчака светлели крыши деревни Кумыш.

Устье речки Кумыш загромождали насады и полубарки. В деревне стоял государев кабак, и сплавной народ пред-

почитал ночевать в Кумыше, чтобы не расходовать ночь даром. Непогожее утро только разъяснилось. По судам ходили работнички, держались за головы и постанывали. Деревня привольно раскинулась по лугу и радовала глаз чистым, дождевым серебром кровель и венцов: она ни разу не горела, и все дома были старые, выцветшие до седины. Белые дымки поднимались к мутному, похмельному небу.

Кумыш журчал, огибая могучие носы сплавных судов. Он бежал издалека, но, как пёс-недомерок, так и не вырос, оставшись речкой-шенком. Где-то в лесных едóмах и па́пор-тах он проваливался под землю и три версты протискивался сквозь изъеденные дырами каменные недра, а потом кипуном выбивался из-под скалы, бурлил и рычал, но успокаивался в тишине под еловыми лапами и снова шустро катился дальше к Чусовой.

Осташа причалил лодку, вылез на берег и огляделся. По-дальше, у поворота, девка, подоткнув подол, тёрла дресво́й деревянные плошки. Осташа направился к ней, и вдруг дорогу ему преградил малец лет десяти-двенадцати.

— Тебе чего от девки надо? — спросил он с вызовом.

— Ну... а чего всем мужикам от баб надо бывает? — как взрослого, с деланым недоумением спросил Осташа парнишку.

Парнишка тотчас заулыбался во весь шербатый рот.

— Так сразу, что ли? Не выйдет.

— Ну, пособи.

— Это сеструха моя, — вздохнув, сказал парнишка. — Мне тятка велел, чтобы я всегда смотрел, когда она посуду мыть ходит, как бы сплавные со хмеля её на судно не заволокли.

— Да-а, не повезёт мужикам, — посочувствовал Осташа. — Тогда скажи мне, где дом Колывана Бугрина?

— А тебе почто?

— Вот ведь ты какой суровый кержак! — Осташа хлопнул себя по бокам. — Ну ничего ведь не скажет, пока про

всю родню до третьего колена не вызывает! Хочу я попросить Колывана, чтоб он всех мальцов в пучок связал, а то мне печь растапливать нечем.

— Полно тебе, — продолжая улыбаться, сказал мальчишка. — Я сын Колывану буду, Петрунька. Охота знать-то. К тятке все на поклон идут, да он не всех велит пушать. Ну чего тебе надо?

— Да ты не поверишь, Петрунька. Бока ему наломаю.

— Да ну? — изумился мальчишка. — А не брешешь?

— Если он мне наломает, то считай, что набрехал.

— Тогда и от меня ему отвесь.

— Вот так дитятко дядя Колыван вырастил, помощничка!..

— Я ему не помощник. Знаешь, как он меня дерёт? Тебя бы так тятка драл, так ты бы давно уже помер. Он мне уши, как у зайца, все выкрутил, и зад у меня, как репа, распух. Я будущим летом сбегу от него, надоело. А ты кто будешь?

— Сплавщик.

— Возьмёшь меня весной на сплав бурлаком?

— Возьму, — серьёзно согласился Осташа.

— Брешешь, — с сожалением не поверил Петрунька.

— Все у тебя «брешешь» да «брешешь». Ты что, правдивых людей никогда в жизни не видел?

— Не видел, — согласился Петрунька. — Все брешут, и тятка брешет, и я брешу, а он меня лупит, если поймает. Как ты меня возьмёшь бурлаком, если мне всего одиннадцать годов?

— Так и возьму. Тятка твой, кстати, с десяти лет бурлачил, вот. Ты меня запомни. Я Осташа Переход из Кашки. А теперь рассказывай, где ваша изба.

— Ладно, я сам доведу, — подумав, решил Петрунька. — А сеструху пусть хоть чёрт уволочёт, ему же хуже.

Грузные, кондовые дома Кумыша слепо глядели на широкую улицу тусклыми пузырями окошек. Мостки вдоль высоких заплотов были сбиты из расколотых пополам брёвен. В огромных лужах посреди улицы лежал всякий хлам:

кучи тряпья, черепки битых горшков, плашки раздавленной бочки, сломанное тележное колесо; плавали разбухшая солома и лепёхи навоза. Над дальними крышами поднималась глыба Горчака с соснами поверху.

Осташа узнал дом Никешки Долматова, своего приятеля по сплавам, а вскоре Петрунька уже подвёл его к своему крыльцу. Крыльцо было хоть и висячее, но без гúльбища, угрюмое и нелюдимое: мол, или поднимайся и входи, или проваливай отсюда, а посиделок нам не надо, кедровыми скорлупками тут сорить...

— Погоди, — велел Петрунька и упрыгал по ступенькам наверх.

Осташа был из раскольников часовенного толка, как и почти все на Чусовой, а Кумыш упрямо держался беспоповства. Осташа знал, что Колыван в Кумыше староста, в дому его каплица — тайная моленная горенка, а потому Осташе, часовеннику, в дом хода никак нет. Да не больно-то и хотелось. Осташа ждал и разглядывал под свесом кровли крыльца врезанную в повóрину чёрную иконку: апостол Пётр с бурым морщинистым лицом, белой бородой и растопыренными ушами — чтобы молитвы мимо не пролетели.

Проскрипела на истёртых пятках дверь, и по лестнице не торопясь спустился Колыван, за спиной которого семенил Петрунька. Колыван, не оглядываясь, дал ему затрепшину, и Петрунька молча полетел обратно к речке, шлёпая по лужам. Колыван стоял и, не здороваясь, разглядывал Осташу.

— Вырос, — спокойно подвёл он итог.

Был Колыван невысокий, но кряжистый и плечистый. Лицо его, широкоскулое и широкоглазое, было понизу обведено густой, но подрезанной бородой с проседью. Смотрел Колыван всегда исподлобья, словно бы его уже обидели.

Осташа сразу ощутил, что перед ним — враг, ничем не прикрывающий свою враждебность, а потому холодный и собранный.

— Я тебе вот что хочу сказать, дядя Колыван, — так же спокойно и негромко заговорил Осташа. — Барку отцову я продал приказчику с кордона Кусьинского завода. Так что за разбой свой ты перед ним отвечать будешь. Мне от твоего разбоя ни убытка, ни унижения.

— А ты докажи, что с моих слов воровали.

— Это ты сам доказывай — приказчику. В Кусье слово Перехода уважают. Там ты напоганить ещё не успел.

— Поганил батя твой, вор. Придёт время, и в Кусье узнают, что веры слову Перехода больше нет, потому как Переход за корысть барку разбил.

— Удивляюсь я тебе. — Злоба медленно закипала в груди Осташи. — Ведь ты же правду знаешь. Знаешь, что и я её знаю. Зачем мне так говоришь? Никого ведь нет вокруг. Подвесил бы я решето на нитке — так оно от твоих слов крутилось бы, как колесо водобойное.

— А ты докажи свою правду.

— У тебя у сына всё «брешьешь» да «брешьешь», и у самого всё «докажи» да «докажи». У вас в Кумыше что, простой правды никогда не слыхали?

— Нету, сопляк, ни правды, ни брехни, если ты ещё не понял. Есть то, чему верят. А веру тому доказать надо.

— Бога и веру даже сам Мирон Галанин не доказал.

В расколе столицей стал тайный Авраамиев остров на Ирюмских болотах, где сидел бывший крестьянин, а ныне старец и правопреемник огнепального протопопа Мирон Галанин. Вокруг Галанина, как вокруг паука, раскинулась паутина древлеправославной веры — от Кондинских скитов на былых вогульских капищах и мёртвого Пустозёрска на Печоре до разорённых царёвыми полками яицких станиц. Керженец и Повенец, Иргиз и Ирюм держали древлеправославную Русь, словно рваный, прожжённый, пробитый пулями парус. Колыван Бугрин вместе со старцами тайных чувовских скитов дважды ходил к Мирону Галанину на Дальние Кармаки за благословением, за праведными кни-

гами, за духовными письмами. Мирон Галанин был вероучитель, но не праведник, не святой и не апостол. Но для Колывана, как и для беспоповцев, слово Мирона было законом. А для часовенных — только поучением, которому можно и не последовать, если другие старцы перетолкуют.

— Ты отца Мирона не трожь, паскудник, — угрюмо предупредил Колыван. — Не вашему толку его понять. Меньше под никонианцев надо подстилаться.

— Дозвольте, батюшка, в дом пройти, — вдруг раздалось за спиной Осташи, и он вздрогнул. Это сзади неслышно подошла девка, сестра Петруньки.

Осташа оглянулся и шагнул в сторону. Девка стояла опустив глаза, держала в руках стопу помытых плошек. «Неждана», — вспомнил Осташа, как зовут дочь Колывана. Он видел Неждану только голенастой девчонкой и совсем не узнал её теперь.

— Ты почему без моего дозволения на реку идти посмела? — сквозь зубы спросил Колыван.

— Я думала, батюшка, вы совсем из дому ушли, до вечера не вернётесь, — девка отвечала покорно, но без робости.

Колыван молча ударил её по руке. Все плошки разлетелись, покатались по мосткам, поплыли по луже.

— Собери и вымой, теперь позволяю, — сказал Колыван.

Неждана нагнулась и принялась собирать посуду. Осташа нагло, напоказ Колывану, смотрел на девку, на её крутые бёдра и круглый зад, плотно обтянутый сарафаном. Борода зашевелилась на скулах Колывана, но Колыван молчал. Неждана выудила из лужи последнюю плошку, распрямилась и пошла обратно к реке. Взгляд её чёрных красивых глаз из-под низко повязанного платка полоснул по лицу Осташи.

Осташа не посмотрел вслед девке, но сощурился на Колывана, словно со знанием дела и бесстыдством намекнул: «Хороша!..»

— Ты всё сказал? — тихо спросил Колыван.

— Это ты ещё не всё сказал. Докажи мне, что батя мой корыстовался и честь сплавщика замарал.

— Бате твоему царь Петр Фёдорович казну доверил, а он её увёл...

— Ну, ты это Бакирке-пытарю спой, — перебил Осташа.

— Откуда тогда у твоего бати своя барка? С каких заработков?

— Да с тех же, что и у тебя. Только у бати твоей семьи не было — я да Макариха, которая необложна. Вот и скопил.

— Я десять лет коплю, да не скопил, а он за три года сумел? Пустое! Он помаленьку из царёвой казны таскал, чтоб незаметно было, — вот и натаскал на барку.

Колыван говорил верно: за три года, хоть всё откладывай, не собрать на барку. Откуда же батя взял деньги? Осташа не знал, не знал. Но он знал другое: что бы там ни было, батя никогда бы и гроша не взял из царёвой казны. Ведь он сам же сказал: придёт Пётр Фёдорович снова и заберёт казну, и никто больше на неё права не имеет. Осташа верил бате. Батя не врал. Батя не вор. Но веру эту нечем было доказать.

— Коли он потихоньку таскал, зачем же этой весной барку убил и сбежал, как ты говоришь? И так никто его за руку не поймал, ему и без того хорошо было!

— А я тебе, дураку, скажу зачем. Знаешь, кого он в своей казёнке арестантом вёз?

— Знаю. Сашку Гусева вёз.

— Ну, молодец, коли выведал... — Колыван встряхнул головой, словно сбросил, как шапку, какую-то мысль. — Вот... Я тебе обскажу, как дело сделалось... Гусевы Петру Фёдоровичу в Илеме крест целовали — это все знают. Потому Чика и передал им царёву казну. Сам же он казны не прятал — отдал Гусевым и уплыл из Кашки обратно. А Гусевы-то кабатчики были, с Чусовой не знакомы... Где казну спрятать? Вот они силком и потащили Перехода с собой.

Осташа обо всём этом и так догадался, но Колыван будто заученный заговор произносил — не мог начать с сере-

дины. Он даже попробовал взять Осташу за пуговицу, но Осташа отвёл его руку — Колыван и не заметил.

— Переход хитрее Гусевых оказался, всех четверых! Ночью зарезал дураков — и Чупрю, и Малафейку, и Яшку-Фармазона, только одного Сашку не дорезал, Сашка-то и сбежал! А Переход зарыл клад, и с концами дело! Сашка же побоялся объявиться — его ведь сразу скрутят и под стражу! Вот он и прятался по лесам, по пещерам, разбойничал, значит... Но зимой взял его караул. И Переход испугался, что Сашка под пыткой скажет, кто клад прятал, или объявит, где клад спрятан, если сам сумел о том догадаться!.. Я ведь нынешним сплавом с Переходом одним караваном бежал. И я видел в Ревде, как Переход деньги давал караулу, чтобы Сашку на его барку посадили. А дальше Переход барку разбил на Разбойнике, Сашку утопил в казёнке, а сам вроде как мёртвым стал считаться: за мертвяком розыск не учиняют! А потом можно брать клад — и дёру! Кто спохватится?

— Батя не таков! И барки батя не убивал! — крикнул Осташа.

— Если б не хотел барку убить, так не сунулся бы оту-ром Разбойник проходить!

— Он уже проходил Разбойник оту-ром! Я сам при том был! Можно так Разбойник пройти! Бате не повезло! Не было у него умысла барку убить!

— Один раз случайно можно пройти, дважды — нет! Не повторить такого, я тебе, щенку, как старый сплавщик говорю! Был умысел!

— Не было! Был бы жив батя, на том заряженное ружьё бы не испугался поцеловать — не выпалит, потому что нет на бате вины! Следующим сплавом я сам Разбойник оту-ром пройду! Пусть все увидят, что возможно такое, и не было у бати умысла барку убивать!

— Да кто тебе, поганцу, барку доверит?

— Найду — кто! Из-под земли достану! Сам рожу!

— Не найдёшь! Это я тебе обещаю!

— Ещё пообещай, что твой кобель под забором ногу задирать не станет! Найду барку! Чусовая рассудит, кто прав, а кто врал! Завидуешь ты батя! Батя ни одну барку за двадцать лет не разбил, а ты две разбил, и вторую-то по умыслу!

— Ты о чём это лаешь, пёс?.. — зверя, двинулся бородой вперёд Колыван.

— Задело? — оскалился Осташа. — За Шайтан-боец тебя никто не винит, а на Горчаке ты барку убил по умыслу! Ты яковлевское железо вёз с Новой Утки, а Яковлев тогда только сел на Чусовую. Ему кровь из носа надо было втиснуться между Строгановыми и Демидовыми со своим железом! Он любые деньги готов был заплатить, чтобы железо поднять! Ты об Горчак барку и смазал бокарями, а потом своих же кумышских и нанял железо вытаскивать. Мастер ты сплавного дела, Колыван, слов нету! Так барку шваркнул, что только два пёрубня поменять надо было, даже огни не поломал! Барку тебе за неделю починили, и с нею ты при своих остался, а на подъёме железа лапу погрел. Это ты на сплавно деле корыстовался! Чусовая твою чёрную душу ещё в молодости твоей пометила, когда раздавила тебя об Шайтан! А батя чист был душой! Его Чусовая хранила! Батя тебе как бельмо на глазу был, как кость в горле! Он один у тебя славу лучшего сплавщика отбивал! Не стало бати — и ты имя его помоями окатил! Пчела у сатаны жало на людей просила, на себя выпросила! Я тебе, Колыван, не прошу за батю, ты помни! Ты представь, сколь у меня на душе накопело за твой поклёп? Хочешь — отплачу? Нежданы не жаль? Ворота в холстину толщиной станут, когда весь дёготь отскоблишь!

Колыван без размаха ударил Осташу в бровь, но Осташа уже ждал такого удара, набычив шею. Отшатнувшись, он поймал глазами Колывана, и его кулак врезался Колывану в скулу. Колыван кувыркнулся в грязь. Осташа подскочил и нагнулся, чтобы поднять его и ударить снова. Но Колыван нашарил в луже обломок тележной оси и снизу

шарахнул Осташу по рёбрам. Осташа словно сломался пополам от яркой боли. Пока он распрямлялся, Колыван, гребанув ногами, уже встал, занёс дубину и хватил Осташу по левому плечу, отбив руку. Осташа, хрипя, кинулся к Колывану, но тот опять взмахнул осью и теперь попал Осташе по голове. Всё поплыло в глазах у Осташа. Он ещё пытался устоять на ногах, и тогда следующим ударом Колыван сшиб его на мостки. Бросив ось, Колыван ногами бил Осташе в грудь, в рёбра; шатаясь, целил и не попадал в лицо.

Когда Осташа уже перестал и вздрагивать, Колыван оставался, тяжело дыша, постоял, держась за перила крыльца, потом харкнул кровью Осташе на спину, отвернулся и стал медленно подниматься по ступенькам, хватаясь за стену.

...Осташа очнулся от тряски. Перекинув его руки через себя, его куда-то тащили Никешка Долматов и Петрунька. Ноги Осташа волоклись по мосткам. Осташа брыкнулся, и Никешка с Петрунькой остановились, привалили его к заплоту.

— Жив ли ты?.. — испуганно спрашивал Никешка, пытаясь заглянуть Осташе в лицо, перепачканное грязью и кровью.

— Пить дайте, — прохрипел Осташа, закрывая глаза.

Ноги Петруньки тотчас зашлёпали по лужам. Осташа медленно сполз по заплоту и сел, опираясь на доски спиной. Никешка бегал вокруг и квохтал, как курица. Осташа с трудом поднял руку, сунул палец в рот и провёл по зубам. Вроде все целы, только шатаются.

Оказывается, уже моросил дождик, холодил грудь и живот. Рубаха висела мокрыми ключьями. Осташа сунул ладонь за пазуху. Кошеля не было.

В разбитые губы сунулся ковшик. Осташа взял его обеими руками и выпил, проливая на грудь. Потом открыл глаза. Никешка сидел напротив на корточках, точно собака. Петрунька угрюмо стоял поодаль.

— Жалко батьку-то? — спросил его Осташа.

— Не жалко, — зло сказал Петрунька и шмыгнул носом.

— Когда-нибудь я его убью.

— Пойдем, Остафий, до меня, — попросил Никешка, будто был в чём-то виноват. — Помоешься, отлежишься, маманя накормит, рубаху заштопает...

— Домой поплыву, — ответил Осташа и начал медленно подниматься, цепляясь за доски забора. — Нагостевался... Кто тебя позвал-то?

— Да вот он... — Никешка кивнул на Петруньку.

— Не провожайте, — сказал Осташа и фыркнул кровью из носа.

Он потащился вдоль забора к реке. Никешка и Петрунька робко шли позади. Осташа остановился передохнуть, оглянулся и погрозил им кулаком.

На берегу Кумыша, преодолевая дурноту, трясаясь от холода, Осташа возле своего шитика встал на колени и начал мыться. Бурая вода текла в рукава, за ворот. В голове всё раскачивалось, руки еле двигались, ломило в груди, ножом полосовало между рёбер. Осташа вытащил из лодки шест и, опираясь на него, поднялся во весь рост.

— Эй, сплавщик, — услышал он сзади и медленно, как мельничный жёрнов, оглянулся.

На берегу стояла Неждана, от дождя накинущая на плечи шабур. Руками она придерживала его за отвороты. Теперь, когда Неждана не опускала лица, Осташа увидел, как она красива проклятой, Колывановой красотой.

— Ничего не забыл на берегу, сплавщик? — насмешливо спросила Неждана.

— А я ничего на берег и не брал, — глухо ответил Осташа.

Неждана подошла поближе, оглянулась и, отпустив отвороты шабура, стала расстёгивать у горла рубаху. Глядя Осташе в глаза без стыда и страха, она сунула ладонь к телу, почти обнажив белую большую грудь, и вытащила грязный и мокрый кошель.

— Твоё? — спросила она.

— Кто нашёл, тот и хозяин...

— Тогда дарю, — просто сказала она и протянула кошель Остахе.

Осташа не брал. Неждана подержала кошель на весу, потом гибко наклонилась и положила его у ног Осташи.

— Приходи ещё, — просто сказала она, повернулась и пошла по дороге в деревню.

Осташа глядел ей вслед, но вместо благодарности испытывал лишь жгучую, палящую ненависть. «Видать, девку в грозу с серебра умывали — красивая... Снасильничаю — будет знать Колыван», — зло подумал он.

ЛЮДИ ЛЕСА

— Я двадцать лет в себе гордость изживал, — как-то раз сказал Остахе батя, — да, видно, не изжил — все бесы в тебя пересели. А гордость — мать всякому греху, погибель души и тела.

«Почему двадцать лет?... — думал Осташа. — Двадцать лет, которые на сплавах провёл?..»

Гордость и погнала Осташу из Кумыша на ночь глядя, избитого и голодного. Надо было у Никешки отлежаться. Но воротило с души при мысли остаться на глазах у тех, кто видел, как его охаживал Колыван. Припоминалось, что тогда стояли в сторонке две какие-то бабы с вёдрами, прикрыв от страха ладонями рты, и мужик какой-то пялился из ворот, скребя затылок под шапкой... Да и вообще: скорый отъезд — лучшая помощь от беды и от болезни.

Словно сшитый на живую нитку — вот-вот порвётся, — Осташа с трудом налегал на шест, толкал шитик вверх по реке, ничего не замечая вокруг. Уже в сумерках он прошёл деревню Чизму вдоль левого берега, чтоб никто не узнал его и не окликнул, и под тусклым, морозящим небом причалил на ночлег напротив бойца Большого Стрельного. Здесь на поляне стоял прошлогодний стог, загнивший от

осенних дождей, а потому брошенный хозяином и раздёр-
ганный за зиму зайцами, косулями и лосями. Осташа, обес-
силев, и огня зажигать не стал. Залез в тёплую, преющую
гущу сена и заснул.

Наутро он понял, что к побоям впридачу ещё и подхва-
тил простуду. Тело стало непослушным, словно раздутым, вя-
лым и горячим, будто у варёного утопленника. Шея не дер-
жала головы, в глазах мерцало, клубился по краям зрения ка-
кой-то багровый туман. Надо было сплыть в Чизму, к людям.
Но Осташа, ничего не соображая, упрямо залез в лодку и по-
гнал её дальше. Он тупо бил в дно шестом, не здоровался со
встречными плотофонами, не отвечал на оклики с берега. Он
и не видел уже никого — только нос шитика, вспахивающий
крово-красную, ослепительную волну.

Осташа и не помнил, сколько сумел пройти в тот день.
Очнулся он совсем нагим, лежащим на широкой лавке в низ-
кой избе с земляным полом. В избе было темно и жарко.
Пахло сушёными травами и раскалёнными камнями чувала.

— Сорумпатунгкве? — донёлся до Осташи девичий голос.

Осташа понял, что это по-вогульски спрашивают у ко-
го-то, умрёт он или нет? Ответа он не расслышал.

Его обкладывали мешочками с горячим песком, натира-
ли мазями, поили каким-то снадобьем.

— Эри исылтангкве алпи аги, — сказал голос старика. —
Мот сырыл сорумпатунгкве. Шакула вангкве.

«Шакулá... старик-вогул из Ёквы... — вспомнил Оста-
ша. — Вот я где... Как я сюда попал за тридцать вёрст?.. Ле-
чит меня, что ли, знахарь?..»

И вдруг Осташа почувствовал, что на него легла голая
девка. Она была, наверное, лёгкой, как лукошко с ягодами,
но сейчас показалась тяжёлой, как чугунная пушка. Тело её
было раскалённым, тугим и гладким. Девка обвила Осташу
руками и ногами. Волосы её упали на его лицо. Её твёрдые,
как камешки, соски упёрлись в его грудь. Осташа, раздав-
ленный непосильной ношей, хотел закричать, заругаться,

но дыхания не хватило, и он только захрипел. А тело девки словно бы начало легчать, остывать, впитывать Осташин жар, от которого уже высохли глаза и спеклись мозги. Девка, словно измучившись, сползла Остахе под бок, обнимая его по-прежнему, и точно благодать снизошла на Осташу. Он собрал волю и дрожащей рукой прижал девку к себе, ощущая, как Шакула накрывает их шкурой и подтыкает её по краям. А потом сладкое забытье слизало все мысли, как волна слизывает следы с приплёска.

Осташа проснулся только наутро. На лавке под шкурой он лежал один. Была ли вчерашняя девка, или померещилось в бреду?.. Осташа чувствовал себя очень слабым, но уже не больным.

Из щелей неряшливой берестяной кровли торчали спицы солнечного света. Осташа сел на лавке, спустил босые ноги. Избушка была загромождена всяким хламом и дребеденью: коробами и туесами, ворохами шкур и тряпья, хвостом, треснувшими корчагами — чёрт-те чем. Понятно было, что вогулы здесь не жили: держали дом для русских гостей и хранили ненужный скарб.

Портов и рубахи Осташа не нашёл, а потому завернулся в шкуру и, хватаясь за стены, побрёл к выходу, откинул полог и выбрался во двор.

Вогульская деревня Ёква десятком низких домишек и десятком чумов расползлась по берегу Чусовой в излучине. Над берестяными крышами высоко возносились тонкие мачтовые сосны. Косматое солнце слепило сквозь их ветхую хвою. Вдали по правую руку вставали над лесами три красноватых чела Собачьих Камней, словно старые небелёные печи. Огненно рябила речушка Ёква, бежавшая сквозь деревню и падавшая в Чусовую. Ярko зеленела свежая трава на берегах, на склоне Собачьих Камней.

Вогулы переняли у русских привычку огораживать дворы, но как это делать и зачем — не вникали. Двор Шакулы был охвачен шаткой изгородью: старик вогул натыкал так

и сяк палок, прутьев, обломков жердей, перевил их двумя-тремя лещёнами и тем был доволен. В ограде стоял и чум Шакулы, где старик жил, пока не донимали морозы. Повсюду на дворе валялись рваные полотна и закрученные полосы бересты, куски сосновой коры, ломаный сушняк для очага, угли, кости, щепки, глиняные черепки. К низким стенам были привалены связки тальника, длинные шесты, высокие долблёные ступы с круглыми пробками в дырах от сучков. На концах стропил висели мотки лыковых и берёзовых верёвок и неразобренные упряжи. На крыше лежали вверх полозьями нарты; на сушилах и на ограде были растянуты сети с белыми прядями невыпутанных водорослей и гроздьями деревянных кибасьев. Шакула разметал своё немудрящее хозяйство по двору, не боясь воровства.

Он сидел на корточках и плёл из прутьев большой круглый вёнтёрь рыбакам на продажу. Осташа, сначала опершись рукой, тоже опустился на колоду. На колоде Шакула, видно, рубил мясо: она была измочалена топором и пропитана кровью до черноты.

— Здорово, Шакула, — сказал Осташа. — Как поживаешь?

— Живу, — кивнул старик.

— На что это у тебя домовый осерчал и всё добро разбросал? Только посуду в помойный ушат не сунул. Была бы лошадь — и та лежала бы в яслях вверх ногами... Ты бы хоть раз в год вокруг избы подмёл.

— Это коту делать нечего, вот он яйца и лижет, — хихикнул Шакула.

— Ну и как я к тебе попал? — помолчав, спросил Осташа.

Шакула искоса глянул из-под бровей.

— А сродник мой, Копчик, решил лося добыть, просил меня с ним вместе мёнгквам поклониться — на удачу. Я пришёл к Копчику. Поймал я курицу лесную, поднялись мы на Дунину гору к лиственню священному, глядим оттуда: в кустах в вóложке, что за островом возле устья Сыл-вицы, каёк русский стоит, а в каюке вроде мертвец. Пош-

ли тогда к каюку. В каюке ты лежал, без памяти. При тебе деньги мешок, ружьё. Копчик сказал: твоя курица — значит, тебе менгквы и добычу дали, а мне — лось будет. Я твой каюк сюда и пригнал. Думал, ты помрёшь дорогой, всё мне отдашь, а ты не помер. Бойтэ говорит мне: красивый парень, попробую лечить, помоги. Я помог.

Осташа хмыкнул, слегка оскорблённый расчётом Шакулы.

— Коль я не помер, отдавай ружьё и деньги мешок. И порты с рубахой тоже. И сапоги.

— Всё под лежанкой у тебя. Я ведь старый, не хочу, чтобы мне мстили. Я говорил Бойтэ: почто его лечить? Вижу, и так его Ханглавит заберёт.

— Какой ещё Ханглавит? — буркнул Осташа.

Шакула на вентере довёл ряд до конца и принялся за новый.

— Чусва по-вашему. Пермяки Чусвой зовут, рекой теснин. А по-нашему — Ханглавит, быстрая вода. Чусва тебя всё равно заберёт, я вижу. Ты в земле не будешь спать, налимь тебя съедят.

— Тьфу на тебя, — в сердцах сказал Осташа, напуганный словами Шакулы. — Тоже мне, пророк выискался... Чёрт бы тебя осётовал.

Шакула пожал плечами и промолчал. Осташа слышал байки, как однажды Шакула сплавщику Никите Паклину из Старой Шайтанки предсказал, что тот утонет, — так и случилось. Пророчества Шакулы на смерть были так же верны, как встреча со святым Трифоном Вятским, собирающим души утонувших бурлаков.

— А когда, пророчишь, утону? — хмуро спросил Осташа.

— Не скоро, — ответил старик, глянул на Осташу и улыбнулся.

Осташа с облегчением улыбнулся в ответ.

— Что для сплавщика гибель на сплаве? — сказал он. — Бывает. Бог спасёт, а как срок придёт — все помрём. Ты мне дай чего-нибудь поесть, а то до срока околею.

— Я тебе у лежанки туёс с молоком поставил, почему не смотрел?

Кряхтя, Осташа встал и поплёлся обратно в дом. Нашёл под лежанкой свою одежду, оделся и обулся, проверил штуцер и кошель, взял туёс и выбрался обратно во двор.

— А как же ты, Шакула, в лодку-то мою залез? — оттирая молочные усы, спросил Осташа. — Ты, говорят, плавать-то боишься. Даже на левом берегу никогда не бывал.

— Я и не залезал в твой каюк, на верёвке его тащил. Долго тащил, два дня. А плавать я не боюсь и на левый берег по льду пройти могу, вот. Только у нас старики говорили: кто чем живёт, тот тем и ходит. Я лесом живу, что он даст — то ем, тем пользуюсь, лишнее продаю. Лесом и хожу. На что мне река? Это не моя дорога. Это ваша дорога, русских, что без ума и страха.

Шакула был ясачным воголом и вправду жил лесом: бил зверя, ставил силки, собирал грибы, ягоды и травы, брал дикий мёд и живицу, обколачивал кедры, драл лыко... А ещё Шакула понемногу курил смолу и гнал дёготь, плёл вентери, корзины и мёрды, вертел клячем витвины — верёвки из гибких виц, резал из сучков клевцы на бороны, гнул пёстери, туеса и коробы, мастерил из бересты обувь — вёрзни, бахóры и бредовики́, строгал всякий мелкий щепной товар — ложки и кочеды́ки, бутырки и калга́ны. Да много чего делал Шакула, даже берёзовым соком торговал.

— Почему это русские без ума и страха? — обиделся Осташа.

— Потому что глупые. От страха люди умные делаются, а разве вы умные? Чего натворили-то? Глазам смотреть горько!

— А чего мы натворили? — удивился Осташа.

— Прошлой весной у нас половину павы́ла водой снесло. Эту весну на Собачьих Камнях сидели, да обошлось. Как вы, русские, начали тут хозяйничать, сбесился Ханглавит. Каждую весну по лугам, по лесам течёт, кричит, как

медведь, скалы грызёт, деревья рвёт. Старики такого не помнили прежде. На кого Ханглавит злится? На вас. Вы его дразните, беды не чуя.

Осташа пренебрежительно рассмеялся.

— Это, дед, только воду на прудах спускают для сплава. Ничего с твоим Ханглавитом не сделали, жив-здоров он. А пруды для заводов нужны, чтобы железо плавили да ковали.

— Куда вам столько железа? — Шакула даже отодвинул вентерь, требовательно глядя Осташе в глаза. — Куда, скажи? Сколько человеку ножей, наконечников, пуль, топоров надо? Сто! Больше не надо во всю жизнь! А вы лодки гоните, каждая как пять моих домов, и лодок тех сосчитать нельзя! И так всякую весну! Беда!

Осташа только махнул рукой на вогула, снова прикладываясь к туесу. Старику не понять было горного дела.

— Это всё Ермак ваш, — убеждённо сказал Шакула, вновь принимаясь за вентерь. — Старики рассказывали, что он велел болбанов наших рушить. Ладно, не нравится тебе бог, плохой, — так убей его, прогони, обругай, не корми, сожги идола. А Ермак говорил — кидай в воду! Вот всех и поскидали в Ханглавит. Почти все наши боги и попали в реку. Это лесные-то боги! Чего им там делать? Они же в реке ничего не умеют! Драться начали, грызться, пучат реку по весне, гонят! А которые боги смогли — те на берег поползли, да здесь и окаменели. Стоят теперь скалами, в злобе бьют ваши каюки, топят вас. Так вам и надо.

— Что ж, до русских на Чусовой и не было скал, что ли?

— Конечно не было. От вас скалы начались.

— А чего ж пермяки Чусовую рекой теснин прозвали?

Шакула задумчиво посмотрел на Осташу, потом на реку за соснами, но, видно, ответа не нашёл.

— От вас скалы начались, — повторил он. — Богов наших Ермак в реку прогнал, от них и скалы. А в лесу плохие боги остались, мелкие, слабые, глупые. Вон посмотри на моих ургаланов... — Шакула кивнул на резные чурки, что

в ряд были приставлены к стене дома в крапиве за углом. Такие чурки, идолки, в которых всеялись боги, у Шакулы назывались «ургаланы». — Весной я всех богов кормил, и салом мазал, и кровью поил, грел у огня. Думал, хорошая будет охота. А боги-то плохие, никудышные. Побежал я за лосем — ушёл от меня лось. Побежал за оленем — и олень ушёл! Хотел кабана взять — кабан меня чуть не разорвал, целый день я на берёзе сидел. Не-ет, плохие боги. Раньше хорошие были, да Ермак всех утопил. Плохо вогулам.

Осташа рассмеялся.

— Я тебе, старче, денег дам, что ты спас меня, — заверил он. — Не надо тебе будет за кабанами на старости лет бегать.

— Ты не мне, ты Бойтэ дай, — возразил Шакула. — Она ж твою болезнь забрала. Я только каюк привёл, это ничего не стоит. Всё равно домой шёл.

— Значит, это она меня лечила?

— А кто же ещё? Разве ты мог подумать, что это был я? — и Шакула затрясся в мелких смешках, сузив глаза.

Осташа вспомнил сладостно-стыдное ощущение нагого девичьего тела рядом с собой и ухмыльнулся.

— А как она меня вылечила? Нашаманила, что ли?

— Откуда же мне знать? Ты у неё спроси.

Осташа в тревоге ощупал волосы, посмотрел на отросшие ногти — нет, ничего не срезано. А то ведьма срежет чего с тела и по той части человека сглазить сможет. Но если лечит — то засовывает срезанные части в дырку в осине, а потом читает заговоры, и все волосатики из больных членов за отрезанными частями бегут, а ведьма их в дырке глиной замажет-закупорит. Ежели Осташа не из-за волосатиков болел, а в беспамятстве на него трясавица напала, то другое дело. У сатаны на привязи девять сестёр-лихорадок; он их иной раз спускает полетать. Когда лихорадка человека в губы поцелует — на него трясавица потом и нападёт, взрвнует. Спасться можно, если рожу сажей вымажешь:

тряса́вица придёт трясти — и не узнает. Осташа и лицо потёр ладонями — нет, чистое.

— Она ведьма, дочь-то твоя? — успокоившись, на всякий случай всё же спросил Осташа.

— Не-ет, какая там ведьма, глупая совсем. — Шакула покачал головой. — И не дочь мне она. Я её у настоящей ведьмы отнял.

— Это как? — заинтересовался Осташа.

— Давно уже, десять зим назад. Я ведь из мангквла самы́нпатум — совиного рода. Наш род, пока был он, у Совиной горы жил, Мангквлаур по-нашему, а по-вашему — гора Подпóра. Я тамошние места хорошо знал. Там на Синем болоте, что среди гор висит, жила ведьма, которая яд варила. А у нас на Ёкве завелась росомаха, тулмах, всё драла, одна беда с ней. Ни стрелы, ни ловушки не помогали. Умная была, башка большая, как у тебя. Я решил приманку ей ядовитую бросить, отравить. Думаю: может, ведьма та ещё жива? Яду даст. Пошёл. Пришёл на Синее болото. Домик маленький, ведьма на полу спит. А в болоте торчит бочка, и в бочке будто скребётся кто-то и голосом человеческим плачет. Я взял да и достал бочку. А в бочке девочка, ей лет семь было. Сидит голая, связанная. У бочки все стенки дырявые. Понятно мне стало: в дырки гадюки наползут и девочку съедят, а обратно, толстые, не вылезут сквозь дырки-то. Только головы выставят и шипеть будут. Ведьма их клещами за головы вытащит и будет в горшке на огне варить. То, что получится, — яд. Я в горшок посмотрел, который в углях стоял, — там ещё на дне яду осталось с прошлого раза. Значит, ведьма кого-то уже скормила гадюкам. Она детей воровала. Я надел рукавицы, поднял горшок да ведьме на рожу и вылил. Она завывала и околела. Только на ногу себе капнул — дырку прожёл насквозь. Сейчас покажу тебе дырку..

Шакула отложил вентерь и взялся было за кожаный чулок на ноге, но Осташа замахал руками:

— Не надо мне твоей дырки!.. Тыфу, что за дрянь!..

— Ну, как хочешь, — немного даже огорчился Шакула. — Дырка большая, хорошая... Ладно, ладно, не покажу. А девочку я себе взял. Будет вместо дочки, решил. Жены-то мне не досталось. Когда молодой был, всех девок наших русские забирали. Хотели, видно, чтоб совсем мы кончились. Я думал, девчонка вырастет, мне внуков народит, учить стану... Ваш Пугач бешеный всю мою старость отравил хуже той ведьмы с Синего болота... Горе.

Шакула замолчал, глядя в землю, потом легко вздохнул и снова взялся за вентерь. Осташа знал, что за беду принёс вогулу Пугач. Вся Чусовая знала о той беде, и многие мужчины ею пользовались. Осташа снова ухмыльнулся, но уже недобро. Шакула этого не видел.

— А где же Бойтэ прячется-то? — спросил Осташа, оглядываясь.

— Она не прячется. В чуме лежит. Она ж твоей болезнью болеет. Может, умрёт.

— И не жалко тебе её? — удивился Осташа.

— Как не жалко? — Шакула пожал плечами. — Жалко. Привык я, полюбил. Да что сделаю-то? Лечить не умею, а она на себя колдовать не может. Вот, жду, что будет, с тобой говорю.

— Пойдём, хоть глянем на неё, — предложил Осташа.

— Ну, пойдём.

Шакула встал и, слегка прихрамывая, повёл Осташу к чуму. В чуме был полумрак, только из прорехи дымохода на стенку из оленьей шкуры падал столб света. Почти у стены на камнях курились угли прогоревшего костра. Было дымно и жарко. На земле валялась разворошённая гора лапника, а на лапнике, раскидав руки и ноги, отвернувшись, лежала в беспамятстве Бойтэ. Она была почти нагой, от пота мокрой и блестящей. Мокрые волосы облепили голову и плечи, мокрая чёрная тряпка плотно обвивала бёдра.

— Привязал её, чтобы на угли не скатилась, — пояснил Шакула, кивая на вбитый у входа колышек. От колышка тянулся ремень, накрученный на Бойтэ поперёк живота.

Осташа стоял и жадно смотрел на голую, ничего не понимавшую девку-вогулку, которая заживо жарилась в огне его простуды. Ему немного жаль было её — наверное, куда меньше, чем Шакуле, — но жалость лизала душу где-то с самого края. Под ложечкой горячо запекло от другой мысли: вот девка, даже без рубахи, доступная, в забытии, а значит, безответная, покорная, которая после и не вспомнит обиды... Да и вообще, обижается ли она?..

Но мысль эта была какая-то поганая, давила горло, словно сухой кус. Стыдно было бы бате признаться в такой мысли. Да что там бате — Никешке и то стыдно.

«Ладно, можно всё, да не всегда», — подумал Осташа.

— Я поживу у тебя, Шакула, — сказал он вогулу. — За покой заплачу. Подожду, пока девка твоя оклемается. Всё ж таки жизнь мне спасла, наверное.

ЖЛУДОВКА

— Эй, парень, жлудовка-то где здесь живёт?

На прибрежной отмели встал шитик с четырьмя молодыми подвыпившими мужиками: по замашкам — мастеровые, а по рванью — демидовские. Тот, что спрашивал, явно прятал за нахальством смущение. Он глядел на Осташу весело, залихватски и чуть заискивающе: мол, ты же тоже мужик, всё понимаешь...

Осташа, стоя по колена в воде, сматывал на палку брёдень, сразу расправлял ячеи и выбирал из них всякий мусор и траву. Он исподлобья глянул на заводского.

— Нету её, — ответил он.

— А куда делась-то? — Мастеровой понизил голос, хитро подсказывая ответ: — Занята?..

— Умерла она весной.

Мужики в шитике замолчали, спяну неповоротливо соображая, что же делать. Тот, что спрашивал, убрал улыбку,

хмуро и оценивающе поглядел на Осташу, на багор, что торчал из Осташиней лодки, лежащей под обрывчиком берега на песьяне, и оглянулся на своих:

— Н-ну, ладно... Погребли, ребята, обратно. Теперь будет на что у Петровича второе ведро купить.

Шитик сполз с отмели, неуклюже развернулся на реке, сплывя почти до Собачьего камня, и пополз к порожней, а потому высокой барке, что на якоре стояла у левого берега напротив устья Ёквы. Барку, видно, сплавляли от плотбища на Илимской пристани к казённым причалам Осянки, где в только что опустевшие амбары уже привезли новые полосы откованного в Кушве железа.

Бойтэ, сидя на корточках, шуршала дресвой по стенкам котла неподалёку от Осташа, отскребала жáгру. При словах о смерти жلودовки тонкие руки её даже не дрогнули: двигались всё так же мерно, как жерди-шатуны, которые от зубчаток водобойных колёс над вешняками прудов качали рамы с полотнищами пил на лесопильных мельницах под плотинами.

Осташа угрюмо молчал, сматывая бредень, и тогда Бойтэ спросила:

— Почто меня мёртвой назвал?

— Живая же, — буркнул Осташа. — Ничего тебе не делается.

— Словом колдуют, не ко́бями.

— Крестись, и кобенить не будет, — зло сказал Осташа, вышел из воды, бросил свёрнутый бредень на дно шитика и сел передохнуть на ступеньку лестницы. Лесенку из берёзовых жердей сколотил Шакула и спустил с обрыва на приплёсок, чтобы ходить к воде прямо со своего двора, а не тащиться к дальней деревенской дорожке.

Под горячим ветром над берегом чуть качались дырявые космы высоких сосен. Огни прыгали по Чусовой, в огнях ныряли чайки. На гребнях скалы в ряд стояли тонкие и острые ёлки, как свечи вдоль иконостаса неба.

Бойтэ сполоснула котёл, распрямилась, держа его за ухо, и направилась к лесенке. Осташа дорогу не уступил.

Бойтэ остановилась, не глядя ему в глаза, помолчала.

— Чего тебе надо? — тихо спросила она. — Почему домой не едешь, здесь живёшь, на меня смотришь?

— Любуюсь, — с вызовом ответил Осташа, не отводя взгляда.

— Зачем меня деньги лишил? — будто не услышав, Бойтэ кивнула в сторону барки, стоявшей у противоположного берега.

— Я даже яичками пасхальными не делюсь. А деньгу за себя Шакуле уже отдал. Большую. Больше ихней.

Бойтэ наконец подняла глаза и с какой-то прощающей жалостью глянула в глаза Осташе. Лицо у неё было смуглое, кошачье, треугольное, глаза — жёлто-зелёные, словно осенние, а пышные, неприбранные волосы — совсем светлые, как седые.

— Красивый ты, хороший, — сказала она. — Не буду я для тебя.

— Силой возьму, — охрипнув, предупредил Осташа.

В лесных глазах Бойтэ мелькнула давно отгоревшая боль, словно за праздничной листвой бабьего лета качнулась чёрная, уже облетевшая ветка. Грустно улыбнувшись бледными, нецелованными губами, Бойтэ котлом спихнула Осташу со ступеньки и прошла наверх. Лесенка даже не скрипнула под её лёгкими ногами, только подол рубахи с запахом сена и девичьего тела обмахнул Осташу по лицу.

Всё вроде бы Осташе про себя было понятно. Колыван в душу плюнул, Неждана Колыванова по сердцу царапнула, а тут и девка подвернулась блудная. Сорвать бы злость — и домой. Но пока ждал, чтобы Бойтэ от болезни оправилась, слишком уж сильно засматривался на неё, и злость куда-то пропала. Осташа знал про себя, что злопамятный, а вот пропала злость, не вспоминалась. И как-то жалко было эту девку — даже стыдно за себя. Не поднималась на неё

рука. А чтоб за плату, как со всеми, — она, видишь, не согласна. Тьфу, досада.

Жлудовкой Бойтэ, понятно, не родилась. Жила, найденная и пригретая Шакулой, как все. Ей было тринадцать лет, когда по льдам Чусовой покатилося вниз кровавое половодье пугачёвщины. Воры только до Кашки дошли, где пировали и лютовали вместе с дядьями Осташиными, братьями Гусевыми. А кто уж придумал от Кашки за десять вёрст до Ёквы прокатиться, Осташа не знал. Может, и Гусевы, чтоб их в пекло за ребро волокли. Только эти гулёбщики полтора дня в избе насильничали девчонку-вогулку. Разворотили её, как быки — калитку. Девчонка-то выжила, только душу, видать, ей измолотили хуже, чем сноп цепями. И детей у неё уже быть не могло, а потому грех сокрытым мог остаться. Вот потихоньку-помаленьку всякий пропащий люд, что на сплавах по Чусовой с караванами бежал, и приучил вогулку грехом деньги добывать. И прозвали её жлудовкой. Хоть и жалели, но брезговали за человека считать.

Батя как-то говорил, что за общий людской грех под святым именем царским пришёл наказанием на Чусовую Пугач-антихрист, соблазнивший и обольстивший немало безвинного народу. И каждый из тех, кто выжил, за этот грех ответит, хоть и сам не грешил. По греху и Бойтэ Осташе близкой была: она честью расплатилась, и Осташа от поклёпа колывановского — тоже честью. Может, это Осташу и зацепило в Ёкве?

Хотя, наверное, вряд ли. Плевал Осташа на все эти стариковские рассуждения. Грехи не оплакивать, а исправлять надо. В скитах — молитвой, а на сплаве — делом. Так батя учил. Пёс его знает, что Осташу при жлудовке держало.

«Всё равно возьму своё, и тогда домой поеду», — решил он.

Он караулил девчонку, не решаясь завалить её в чуме или в дому. Не то чтобы Шакула его смущал, нет — он же заплатит, чего тогда смущаться? Прочие жители деревни его не беспокоили — всё равно жлудовка не станет орать и звать

на помощь. Заминка была в том, что до сих пор Осташа баб ещё не пробовал. Дружки его уже отметились, тот же Никешка, к примеру. А вот Осташе случай не подвернулся. По рассказам парней постарше Осташа всё знал. Тот же Никешка, у которого женатые братья долго жили в отцовом доме ещё не отделённые, чего только не растрепал, подглядывая по ночам. Да и в Кашке на игрищах Осташа достаточно погонялся за девками, задирая для смеху подолы. Но вот главного пока не случилось. И дело такое по первости надо было сделать подальше от чужих глаз и ушей — мало ли какой позор выйдет.

...Третьим утром Бойтэ собралась в лес — то, что надо. Она уже ушла, а Осташа всё решал, брать ему штуцер с собой или нет. На медведя можно напороться. Окрестные дивьи леса считались божелесьем — были отписаны от казны вогулам. Порубок здесь не велось, а потому и зверь уцелел невыбитый. Осташа побаивался, не засмеётся ли Бойтэ: мол, ружжо-то взял меня уговаривать, да? Одними руками не справишься с девкой? Но Осташа в конце концов плюнул на свои опасения, забросил за спину тяжёлый штуцер и побежал по тропке вдоль Ёквы вслед за вогулкой.

Во всей этой кутерьме с простудой он, оказывается, проглядел весну, вскипевшую зелёной пеной, — словно молоко, убежавшее из горшка, прокараулил. Маленькая, узкая Ёква шустро струилась сквозь урёму, юлила на луговинах, подныривала под копны зелёных кустов или вдруг замирала тихим омутом, боязливо скосившим глаза на небо. А солнце словно нарвали на клочья и весело расшвыряли по лесу, и в солнечных пятнах свистели и тилиликали пичуги. Высокие и заросшие горы, от тепла сытые, как послеобеденный вздох, подымались и справа, и слева, будто ладонями подгребали урёму к речке. В небе качались вершины сосен, а над ними, как гуси, растянули белые, слепящие крылья редкие облака.

Осташа шагал по узкой тропке в вогульском лесу, но ему совсем не было страшно. Заблудиться он не заблудится. Реч-

ка рядом — главная примета. Да и вообще, батя говорил, что у настоящего сплавщика глаз должен быть таким зорким и цепким, что в лесу заблудиться — стыд. А медведя, коли тот пожалует, он уколошит, если что. Осташа не верил в страшилки, что медведь подкрадывается незаметно, что коня обгоняет, что со склона кувырком скатывается. Медведь — он неуклюжий, глупый, малину жрёт, грибы сырые. Башка как помойное ведро. Осташа вспоминал, как в детстве он с прочей ребятнёй ходил по весне за саранками. Искали сухие, ломкие дудки, рыли мокрую землю, набивали пазухи сладкими луковками, и непременно, рано или поздно, раздавался вопль: «Медведь!..» Огольцы россыпью мчались со склона в деревню, визжали и падали, вываливали добычу. А Осташа, похолодев от страха, всё-таки оставался на месте, прижимаясь к какому-нибудь упавшему стволу, выжидал, потом осматривался, а потом собирал потерянные приятелями луковки и возвращался в деревню последним — гордым и с самым большим урожаем. Вот и весь «медведь!..»

Страшнее, что рядом не просто речка, как родная весёлая Кашка, а священная вогульская река — Ёква, которая течёт с горы Высокой Ёквы, а «Ёква» значит «Святая Мать». Так вогулы свои молебные горы называют. И здесь кругом в лесу от нечисти мленье, а на горе — кумирня, вокруг неё тын с черепами. За тыном стоят чёрные идолы, амбарчики на курьих ножках, в которых лежат деревянные мертвецы с красными, накрашенными ртами. Ну и пусть себе лежат. Осташа их не потревожит. Не боится же их некрещёная вогульская девчонка... Осташа споткнулся, будто ему оборотень под ноги кинулся. А где девчонка-то?

Осташа завертелся на месте. Впереди за листвою зеленел лужок, и Бойтэ на нём не было. Идти так быстро, чтобы скрыться в дальнем лесу, Бойтэ не могла. Только что Осташа видел, как мелькнула за деревьями её светлая неподпоясанная рубашка. И вдруг он услышал позади себя лёгкий звук шагов.

Он тотчас юркнул за куст, цепляясь дулом штуцера, и повалился на землю. В просветах между корней Осташа увидел босые ноги, прошлёпавшие по тропинке. За кустом раздался тихий смешок, будто девчонка потешалась над тем, как она запутала парня.

Осташа проворно переполз чуть подальше, к опушке, и увидел Бойтэ, идущую по лугу. Бойтэ была совсем голая, как напоказ. Она волокла рубашку по яичной накипи матери-мачехи. В другой руке она несла узелок. Светлые волосы разметались по плечам, по спине с натянутой тетивой позвоночника, пушились вокруг головы. У Осташа перехватило в горле и затяжелело под ложечкой, когда он увидел тело Бойтэ — не безвольное в болезни, а живое, движущееся, упругое. Если Бойтэ догадалась, что Осташа за ней следит, то дразнила его, искушала, когда нагло вышла голой на луг. И для Осташа не только в этой вызывающей наготы, но и в походке, в осанке, в каждом движении вогулки вдруг оказалось столько призыва, обещания, запретной сладости, что взмокла рубаха под мышками. Хотя Бойтэ вовсе не была ядрёной девкой, каким вслед от восхищения цокали языком кашкинские парни. Наоборот, была она худенькой, как мальчишка, и круглый задок только чуть-чуть раздавался ниже узкого перехвата пояса.

А шла Бойтэ, оказывается, не по лугу, а по старому рудничному двору с проплешинами от кострищ, на которых обжигали руду. Земля была взгорблена разъехавшимися земляными кучами, что уже сплошь затянулись травой. На склоне горы чернела дыра копани, с двух сторон ограниченная толстыми замшелыми стойками крёпи. На стойках сверху лежала просевшая деревянная балка. Заросший можжевельником склон горы толстой складкой набряк над жерлом копани, будто гора нахмурила чело. Земляные стены штольни оплыли, проросли. Только ручеёк, вытекавший из рудника, проточил себе светлое песчаное русло через весь двор к тёмному зеркалу маленького пруда, что потихоньку

прососал ветхую плотину и журчащими языками свесился в русло Ёквы. Ёквинский рудник, как слышал Осташа, забросили лет тридцать назад. Говорят, вогулы его заколдовали: вместо руды посыпалась обманка, а четверо рудокопов так и не вернулись из горы — просто ушли в штольню и не вышли, и обвала никакого не было.

Как поганый гриб на могучем пне срубленного кедра, на окраине рудничного двора, на дальней опушке торчал вогульский идолок высотой всего-то по пояс человеку. У него был раззявленный трухлявый рот и зелёная шапка мха на голове. Бойтэ подошла к идолку, присела на корточки, забормотала что-то, оглаживая идола по разохшимся щекам, потом сунула ему в рот руку и вытащила нож и горсть монет. Зажав монеты в кулаке, она распрямилась, постояла и вдруг с яростью швырнула деньги в сторону штольни. Осташа увидел только, как мелькнула белая рука, по кругу мотнулись светлые волосы вокруг плеч, да зашаталась длинная трава над мелким ручьём. По движению локтей Осташа понял, что Бойтэ царапает себе лицо, горло, грудь, но ни всхлипа до Осташи не донеслось. А потом правый локоть Бойтэ опустил, дёрнулся назад, нож упал к ногам, и Бойтэ, застонав, склонилась над идолом, держась руками за его моховую макушку.

«Брюхо, что ли, она себе распоролась?..» — потрясённо подумал Осташа, приподнимаясь. Сзади он видел, как по ляжкам Бойтэ потекли красные струйки. Но девка снова присела, как-то стыдно и безобразно раздвинула колени и начала тереться животом о рожу идола. Потом она вдруг оттолкнулась от него и задом шлёпнулась в траву. Края трухлявого рта у идола были свежечёрные, мокрые от крови.

А Бойтэ уже развязывала свой узелок и вытаскивала небольшую резную чурку, грубую куклу. Осташа видел такие чурки у Шакулы. Шакула говорил, что это «ургаланы» — малые идолки, хранители душ. Надо на охоту бога позвать — не переть же с собой большого идола: посадил бога в урга-

лана, и хорошо. Надо предка покормить — в ургалана его приглашаешь и кормишь. Этих ургаланов у Шакулы был целый короб. Он их и с собой брал, и бил, и советовался с ними. И теперь Бойтэ шептала что-то ургалану, тёрла его о живот, обмазывая кровью, а потом вдруг бросила на землю, прижала рукой и начала тыкать ножом — резать лицо,ковырять глаза. Единым махом вскочив на ноги — Осташа у девки, как у кошки, и рывка не заметил, — Бойтэ побежала к пруду и кинулась в воду.

И пруд словно захлестало десятком веников — столько брызг, солнца и плеска вмиг на нём разбушевалось. Бойтэ металась в воде — не уследишь. А потом, успокоившись, медленно вышла на берег. Ургалана с ней уже не было. Потемневшие, мокрые волосы сплошь облепили голову и плечи, как платок. Капли, сияя, ползли по телу, словно Бойтэ обсыпали звёздами. Осташа удивился: у Бойтэ, узенькой и тонкой, как лодочка, были неожиданно бабьи, круглые, как пушечные ядра, груди. Поперёк живота протянулся свежий красный порез.

Словно устав, ссутулившись, Бойтэ вернулась к идолу, не глядя провела ладошкой по его затылку, зашла идолу за спину, отодвинула густую ветку черёмухи на опушке и скрылась за ней. Осташа лежал, поражённый всем, что увидел. Бойтэ не появлялась. Осташа уж и не знал, хочет он теперь девку или нет. Не на то он рассчитывал, увязавшись ей вслед. Думал — у неё лесные дела всякие, травы собирать идёт, мало ли чего... Осташа бессмысленным взглядом смотрел на идола и вдруг вспомнил, как Бойтэ сидела перед ним на корточках, как сросшейся репкой раздвоился, округлившись, её задок.

«Всё, — лихорадочно подумал Осташа. — Покамлала, и хватит, а сейчас — мне...» И вдруг он понял, что вогулки всё ещё нет на поляне, нет, и нет уже давно.

Осташа вскочил и бросился на луговину, перебежал рудничный двор, вломился в лес, стал продираться в тесных за-

рослях, хватавших его за штуцер. Он чуть не вывалился на другую полянку, поменьше, но успел остановиться, ухватившись за ствол осины. Посреди полянки в траве навзничь разметалась жлудовка, а на ней громоздился какой-то рыжий мужик, даже порты не спустивший. Он дёргался всем телом, взрывая землю коленями и пальцами босых ног. Осташе и одного взгляда было достаточно, потому что узнавание колоколом бухнуло в лоб: этот мужик был Яшкой Гусевым! Тем самым Яшкой Гусевым, Фармазоном, который должен был четвёртый год долёживать под землёй на Четырёх Братьях, оберегая пугачёвский клад... А вместо этого Яшка, как и братец его Сашка, шлялся по земле, прячась от людей, и сейчас драл вогулку, которую Осташа присмотрел для себя.

Душа Осташи перевернулась кубарем, словно попала в водоворот, опаливший грудь ледяным холодом.

— Да сдохнете вы все когда-нибудь или нет?.. — беззвучно прошептал Осташа белыми губами, падая на колени и сваливая с плеча штуцер.

Руки его, раскрывшие затвор, не дрожали, но Осташа на них и не смотрел. Он не отрывал взгляда от Яшки на жлудовке — на Бойтэ, которая так могуче потянула его к себе... Нет, на жлудовке, на жлудовке, на сучке!.. Осташа провёл пальцем по кремню и по винту, сыпанул порошу на полку, закрыл затвор, вкатил в ствол пулю и приплющил её пыжом, взвёл курок, вздёрнул штуцер, прижал приклад к плечу и прищурился, выискивая гранёным концом ствола рыжую башку Гусева. Все знают, что Яшка мёртв. Убить мёртвого — не грех. Да и пусть грех убить Яшку, человека, плевать: смерть Фармазону и по делам его прошлым, и за то, что сейчас, именно сейчас он отнял у Осташи девку, а девка эта Осташе уже вроде нужнее становилась, чем удавленнику — глоток ветра.

Ствол смотрел Яшке в висок. Осташа помнил, что у его штуцера разлёт большой: можно и вогулке башку прострелить... Чуть дрогнув зрачками, Осташа посмотрел на Бойтэ, которая, захрипев, отвернула от Яшки исцарапанное ли-

цо, облепленное мокрыми волосами. Лицо было прозрачно-пунцовое, отупевшее, как у дурочки, с опустевшими распахнутыми глазами, с раскрытым ртом... Осташа надавил на собачку.

Громыкнуло-бабахнуло, кислятиной шибануло в нос, ударило в плечо так, что лязгнули зубы. Яшку словно пинком сбило с девки. Он перекатился по траве и вскочил на четвереньки, ничего не сообразив. Правая рука его подогнулась, и Яшка ничком ткнулся в землю. По правому рукаву поползло красное пятно. Вогулка, как раздавленная, бессмысленно таращась, стала на задугу отползать назад. Осташа, путаясь в ветвях, проламывался на поляну. Добить Яшку, прикладом дать ему по темени... Яшка вскочил, шатаясь, подхватил торбу, валявшуюся рядом, и кинулся в лес, в кусты. Торба зацепилась за ветки, вырвалась из рук. Осташа совсем было настиг Яшку, махнул штупером, но не попал по голове. Зажав ладонью рану на плече, Яшка склонил голову и боком, как заяц, побежал сквозь заросли, скрылся в урёме и тотчас как в омут канул.

...Осташа долго рыскал вокруг поляны, искал следы, капли крови на листе — ничего не нашёл. Яшка Гусев снова сбежал от смерти.

Вогулки уже не было, когда Осташа вернулся на поляну. Да ему и не до неё стало. Смыло все мысли, все желания. Осташа тяжело уселся в траву, за верёвку подтащил к себе Яшкину торбу и высыпал всё её содержимое. Сухари в мешочке, соль в узелке, запасные онучи, шапка, нож, оселок, рыболовные крючки в куске сосновой коры, ложка, тугой бумажный свёрток, обмотанный суровой ниткой, позеленевший медный складень... Осташа поднял складень и раскрыл. Этот складень принадлежал Макаровне. Когда пришла весть, что Чика-Зарубин положил всех Гусевых на клад, Макаровна надела чёрный платок по сыновьям, обещавшись не снимать его до смерти. С того дня прошло четыре года. А складень у неё исчез прошлым летом.

ПСЫ

Окна, что смотрели на улицу, были застеклѣны, а прочие — просто затянуты пузырями. Батя купил обломки стѣкол в разгромленной пугачѣвцами Шайтанке, там битого стекла много было. Батя привѣз стѣкла домой в Кашку, сам вставил в свинцовую оплѣтку. Макариха тогда ещё ворчала: «Почто деньги тратить?» — а теперь вот сидит у стеклянного окна, не у пузыря. Светец, чтоб Осташа лучину не изводил, подальше в закур задвинула.

Без бати вся изба как-то враз Макарихина сделалась. Батя, как хмельной домовой, был громыхалой — всегда у него дверцы хлопали, посуда брякала, дрова в печи трещали и стреляли, даже воробьи за окном дрались и галдели. А теперь — тихо везде. Осташа давился постной репной кашей, политой льняным маслом, и угрюмо зыркал по сторонам. При бате порядок был в доме, батя всякого хлама и рухляди не терпел. А теперь вдоль стен какие-то бочки разошедшиеся стоят, корчаги треснутые, лопнувшая конская дуга; все полаты завалены узлами с тряпьем. Красивые тагильские подносы с росписью под лаком на полименте, что у бати для красоты на верхней полке поставца сверкали, Макариха сняла: слишком мирские, дескать, — грех. На печи сушится мешок с хлебными корками.

Корки Макариха весь год собирает, чтобы на сплаве нищим и голодным бурлакам втридорога продать. Батя однажды тихо сказал Макарихе: «Не с хлеба те сухари бы делали — в выгребную бы яму твой мешок кинул. Убери, чтоб никогда я не видел. А станешь продавать — выручку твою швырну в перебор, ищи, ныряй».

Макариха сидела у окна на лавке, поставив ноги на тюрник, скамеечку малую, и работала на крѣснах. Руки Макарихи словно сами собой сноровисто двигались внутри большой деревянной рамы, разбирали нити, встряхивали лоток. Кросны шуршали и стукали, пощёлкивали. Полоса

ткани выползала толчками и складками стелилась Макарихе на колени. И кросны тоже батя из Ревды привёз: они были на болтах, с железными шпильками и рычагами. А Макариха по бате небось и слезинки не уронила. По сынам своим Гусевым, псам, до гроба обещала чёрное носить, а батя на упокой и свечки не нашла.

— На что жить дальше собираешься? — спросила Макариха.

— Барку же продал, — буркнул Осташа. — Хватит.

— Иван Данилыч Путинцев приходил по твою душу. Говорил, что согласен взять тебя себе помощником. Или на плотбище пристроить...

— Я сплавщиком буду, — резко ответил Осташа.

Макариха пожевала губами.

— Сумеешь ли? — осторожно спросила она, не глядя на Осташу. — Не пустят ведь. А Кузьма Егорыч уже грозился оброк с тебя как со сплавщика содрать — весь рубль...

— А тебе какое горе? — Осташа оттолкнул чугун с кашей. — Это моё дело, не твоё. Ты мне не мать, не бабка. Живи в батином доме да помалкивай.

Он встал, пихнул коленом лавку и пошёл из горницы; попил в сенях из ведра и на крыльце сел на ступеньку.

Уж лето давно на дворе, а всё удивительно: как это — выйти из избы в одной рубахе и не мёрзнуть? За зиму, наверное, так душа промерзала, что только к осени и успевала оттаять, а там и опять холода. Осташа сидел на ступеньках, глядел за ворота.

День клонился к сумеркам. Сизый дым плыл по пенным разводьям Кашкинского перебора, что разноголосо шумел на Чусовой у подножия Дождевого бойца. А Дождевой упрямо выпятил грудь и широко развернул плечи над острозубым лесом. Раньше с Осташино крыльца был виден только нахмуренный лоб Дождевого, торчавший над крышей избы Прохора Зырянкина. После того как Гусевы извели Зырянкиных и спалили подворье, Дождевой стал виден весь.

Но сделался он каким-то укоряющим и грозным, будто библейская скрижаль, на которой был написан закон, что попрали Гусевы. Может, потому на пепелище никто и не захотел строиться, словно присесть на скамью при чьей-то казни. Высокая крапива торчала на пустыре нагло и погано.

Осташа поднялся со ступеньки, вышел на улицу, пошёл к пруду на речке Кашке. Дёла у него никакого не было, но оставаться в доме вместе с Макарихой не хотелось. На чурбачках у ворот грелись старики, кланялись Остахе первыми. «Это не мне, это они батиной памяти кланяются», — понимал Осташа, снимая шапку. Сестры Зворыгины уставились на него, и та, что побойчее, Верка, пропишала: «Остафий Петрович, потолковал бы с нами, дурами!» — а другие звонко засмеялись. Осташа не ответил. «Раньше для них я был просто Осташка...» Даже глупые козы будто что-то почуяли, уважительно прошли стороной, кивая и косясь, словно в руках у Осташи была хворостина.

Пруд на закате тлел малиновым светом. В крошеве щепок неподвижно плавали бревенчатые клетки для сплава дров. Чернели цепи-«кобылы» из чурбаков, нарезавшие гладь пруда вдоль берега на прямоугольные ячеи банов. В воде мутно отражались сваи причалов гавани, стены амбаров. На скатище по рёбрам склизней, вытертым до блеска днищами барок, прыгали и кричали чайки. Под большими чугунными чанами, где вываривался вар, ещё курились угли. Пахло дымом, рекой, мокрой древесиной бесшабашных плотов, сплавленных в половодье, — их уже рассыпали на брёвна, а брёвна закатали на берег и на просушку за плотбищем составили в костры.

Возле рам лесопилки, мерно качающихся взад-вперёд, ещё сутились мужики, стучали топорами, стаскивали в кучу свежие доски. На гребне плотины в вытопанной траве сидел Иван Данилыч, плотинный мастер: ждал, когда можно будет остановить лесопилку, на цепях опустить тяжёлые заслонки в вешняках. За спиной плотинного мастера на

кóзлах вращались деревянные оси. Они повизгивали и пузырили разогретым дёгтем. Оси вели от водобойных колёс к большим деревянным шестерням, которые кривыми шатунами двигали лесопильные рамы. Оба водобойных колеса ещё шлёпали пліщами в кáузах, взблёскивали под солнцем.

«Всю жизнь вертеться на пруду, как колесу в ларе? — подумал Осташа. — С водяным в шапке из зелёной кўги раскланиваться, по утрам под плотину мешки с золой высыпáть?.. Нет!»

Осташа медленно пошагал вдоль пруда и плотбища на подъём в гору, прочь от Чусовой. Улица превращалась в Алапаевский тракт. Из Кашки казалось, что он уходит нáполдень, но в лесах он сворачивал вдоль склона горы Старухи и выныривал у пристани Усть-Утка, пересекал Чусовую и змеился дальше, подсаживая на себя по пути угрюмые висимские заводы и раскольничий Невьянск с кривым когтем башни, вечно падающей на крытые щепой крыши. И где-то за полсотни вёрст от Кашки, за горбатыми увалами, за утёсами, за чёрным лесом столбами под самое небо стояли дымы Алапаевска. Там в брюхах закопчённых доменных печей, как геенна в преисподней, сияя, варилось железо, остывало в излóжницах, отковывалось под молотами, удары которых взрывались снопами искр.

А потом всю зиму обозы, скрипя, везли по тракту железо в Кашку, и в колеех под полозьями тяжёлых саней лёд раздавливало в воду. В гаванях хрипящие от надсады бурлаки таскали прутья и полосы, чушки и листы в разъятые чрева огромных барок. И вслед за ледоходом выходил караван, падал в вешнюю Чусовую и катился по вздутой реке сквозь теснины скал, чтобы в пене и плеске, замедляясь, выкатиться на простор Камы. А уж там, на Лёвшиной пристани, в Оханске или в Нытве, его переймут, перегрузят железо на баржи и тихим ходом повезут дальше — в Россию.

На склоне горы под тяжёлыми лапами елей лежало кладбище Кашки. Кособочилась старая часовня с позеленевшей

от мха луковкой. Осташа окинул кладбище взглядом. Ряды крестов были как чередующиеся рёбра коко́р у барки: справа-слева, справа-слева, жизнь-смерть, жизнь-смерть. Зачем он сюда пришёл? Мать похоронена в Кыну, куда её, больную, повёз к лекарю батя, да так и не успел довезти живой. Лушу, батину приёмицу и дочку Макарихи, не нашли, не похоронили нигде. Да и батю забрала Чусовая, не оставив ответа на Осташин вопрос. К кому он, Осташа, пришёл сюда? Может, к Марусе?

Осташа не помнил, где её могила. Он оглянулся, будто ждал от кого-то подсказки. И деревня, и пруд с плотиной, и плотбище были вдаль, внизу, в тени. Солнце уже зашло за гряду, но здесь, на высоком погосте, было ещё светло от пунцового облака и как-то красновато, словно от свечей в подземной каплице. Туман затягивал плоскость пруда, и казалось, что пруд налит парным молоком. Длинная дорожка Чусовой тоже дымилась, а над этим белым дымом тремя раскольничьими голбцами придорожных крестов стоял боец Дождевой.

Осташа сдвинул с порога часовни медные монеты — чьё-то тайное подаянье — и сел, глядя в гаснущее небо над дальними хребтами. Вот так бы сидеть на берегу с Маруськой, с удочкой, заброшенной не для добычи, а для забавы, — а не на кладбище, точно и места веселее нет... Всю жизнь жердиной об колено переломил Пугач.

...На Марусю Зырянкину Осташа стал поглядывать только последним летом до пугачёвского бунта, когда и ему самому, и Марусе было по четырнадцать. Здесь же, неподалёку от кладбища, в малиннике на склоне горы над Кашкой он бродил тогда, разомлев от жары. Топтал кусты, грёб горстями ягоды вместе с листвой, процеживая ветви между пальцев, и вдруг чуть не подпрыгнул, когда рядом раздался такой девчоночий визг, что, наверное, на версту вокруг все дятлы с деревьев посыпались. Это Маруся Зырянкина, которая тоже собирала малину и отбилась от старшей сестры Насти, услы-

шала треск кустов и перепугалась — думала, медведь. Осташа выскочил на опушку малинника и увидел Марусю, сидевшую на корточках за еловым стволом. Лукошко валялось поодаль. В траве горели алые брызги рассыпанной малины.

— Вот д-дура!.. — в сердцах, но облегчённо выдохнул Осташа. Он и сам струхнул от визга. А Маруся вдруг заплакала. С ней, уже почти невестой, у парня на глазах приключился детский грех.

И можно было поглумиться над девчонкой, а потом рассказывать об этом друзьям, потешаясь и сплёвывая себе под ноги, будто бывалый бабий ходок. Сил и сноровки совладать с Марусей хватило бы. Осташа не раз видел, как на покосах за Кашкой парни гурьбой ловят девку, задирают подол сарафана на голову и завязывают лыком. И стоят, гогочут, глядя, как девка, извиваясь в траве белым телом, пытается освободиться. Называлось это «завернуть в кúколь». Уже года два, как парни постарше начали брать Осташу с собой, когда задумывали «кúколить» девок. Надо сказать, что и не всякая девка была против, хотя и всякая верещала. Но Осташе противно было стоять в гурьбе. За ржаньем парней он видел, что те попросту трусят остаться с девкой один на один, когда девка, скорее всего, не даст себя в обиду, да ещё и рожу обидчику расцарапает. И ещё было противно от вранья, которое все молча соглашались не замечать, когда от девки-то хотелось любви и ласки, а делали вид, что нужна лишь срамная потеха.

И Осташа тогда не посмеялся над Марусей, а молча подал ей руку, свёл к речке, постерёг, пока она замочит и просушит сарафанишко, а потом проводил к тракту, где уже металась, ревела и аукала Настя, потерявшая сестрёнку. Вроде бы — и всё. Осташа друзьям ничего о том не рассказывал: ещё посмеются, что упустил случай завернуть Маруську Зырянкину в куколь. Но, встречаясь с Марусей на улицах, Осташа вдруг почувствовал, что ему приятно, когда Маруся краснеет при этих встречах; приятно, что между ними есть

тихая и какая-то нестыдно-стыдная тайна. А Маруся поняла, что Осташа не растреплет никому про её грех, и в глазах её затеплились благодарность, уважение. И Осташа ощутил сладость тайной гордости за то, что он — сильный, он — как взрослый. Он знает что-то, чего не знает больше никто, и он покровительствует этой девчонке. В его власти сделать её счастливой или превратить её жизнь, хоть и на время, в сплошное позорище. В кои-то веки не потеха на показ, а негласное доброе дело — как у бати — вдруг внушило Осташе уважение к себе.

А потом случилась беда с Лушей, и в ней виновен был отец Маруськи, что пошёл в целовальники на кашкинский постоянный двор, который отняли у проворовавшихся братьев Гусевых. А потом белобородовские бунтовщики выпустили Гусевых из-за решёток осланьёй в Илеме. и Гусевы с шайкой Митьки Оловягина прикатили в Кашку по льду Чусовой, спяну разворотив всю дорогу, обтыканную ёлочками. При всём честном народе на площади у плотины они стояли на коленях, размазывая лживые слёзы по косматым рожам, будто бы горевали по загубленной Луше. А потом Гусевы со своими варнаками ринулись к дому Прохора Зырянкина.

Сыновья Прохора, отделившись, давно жили в Харёнках. Дочерей разобрали замуж — всех, кроме младших Насти и Маруси. Осташа в тот день сидел в подполе, запертый Макарихой. Батю, связанного, Гусевы держали в избе плотинного, ещё не решив, повесить его или побрататься с ним. ...Настю и Марусю насиловали в конюшне всей оравой так, что кони выбили задние ворота и разбежались по двору. Потом Гусевы сотоварищи пили Прохорову брагу, потом снова насиловали девчонок, а потом потащили Прохора и жену его на площадь казнить, оставив совсем упившихся дружков дрыхнуть посреди разгромленной избы.

Сестры Зырянкины, помогая друг другу, сумели встать с истерзанной соломы в стойлах, вернулись в дом, кухонными ножами перерезали спящим глотки, забрали ружья и ушли.

Когда Осташа, ободрав плечи и бока, вылез из окошка подклета, обезумевший народ с криками бежал по улочкам Кашки к Алапаевскому тракту. И Осташа побежал, не зная, что батя валяется в сугробе под виселицей у плотины. Толпа покатила по дороге в гору, к кладбищу, к лесу, в котором уже скрылись девки-убийцы, уходившие в скиты. Все как с ума сошли — в гневе бежали карать смертью двух насильованных девчонок, хотя и сами только что вздёрнули в петлях над плотиной ничем перед миром не виноватых Зырянкиных.

— Васюту!.. Васюту, друга!.. В спину ножом!.. — рыдал в бегущей толпе, цепляясь за брата, Чўпря Гусев и рвал на горле ворот краденной рубахи. — В петлю сучек!.. В прорубь головой!..

Настя и Маруся услышали шум погони, остановились, развернулись. Осташа видел, как они вышли из заснеженного леса на опушку и медленно пошли вниз по дороге к толпе, подняв и неумело прижав к плечам длинные ружья. Ещё по ружью висело у них за спинами. Обе они уже были во всём чёрном до пят, как схимницы, в чёрных платках, повязанных над самыми глазами, синь которых промёрзла до дна. Друг за другом Настя и Маруся, не целясь, выстрелили по толпе. Толпа с воем шарахнулась назад, рассыпалась по сугробам на обочинах, завизжала, завывала. Несколько выстрелов грохнуло в ответ. Маруся опустила ружьё и боком тихо легла на дорогу. Настя бросила свое ружьё, стянула с плеча запасное, снова подняла его и опять выстрелила. Потом и это ружьё бросила, наклонилась к Марусе, стащила с неё третье ружьё и, держа перед грудью, пошла вперёд. Выстрелить в последний раз она уже не успела — словно натолкнулась на что-то, уронила руки и прямо, как дерево, упала навзничь.

Мёртвых сестёр Зырянкиных долго топтали с криком, хрипом и рыданиями. А затем толпа вразброд повалила обратно, плюясь и кашляя, поддерживая воющих баб в раз-

дрызганных одеждах и качающихся, будто пьяных, мужиков. Сашка Гусев хватал всех за плечи, совал в лицо свой нательный крест, в который ударила пуля Маруси: медный крест скорчился, как береста на огне, словно лапками хотел прикрыть живот. Потрясённые мальчишки, и Осташа среди них, остались на дороге, с ужасом глядя на жуткую кашу из грязного снега, чёрного тряпья, волос и крови...

Осташа сидел на пороге часовни и вспоминал, стискивал челюсти, чтобы не клацали зубы, сжимал кулаки. Глаза его надулись и высохли, будто он долго глядел в огонь. Тьма уже затопила долину Чусовой, только чуть отсвечивали крытые тёсом крыши деревни, да луна плавала в пруду, как тарелка. И тускло белел над долиной развёрнутый каменный складень бойца Дождёвого, под которым, как судьба у ног пророка, бурлил Кашкинский перебор.

Нет, всё не так, всё неправильно, всё — ложь! За что в кровавое толокно растоптали Маруську Зырянкину, ещё и в куклы не доигравшую? За что замучили жену Бакирки — так, что, только разум отняв, бог смог утешить татарина? За что вогульская девчонка Бойтэ стала жлудовкой, и теперь всякая пьяная рвань лезет к ней под рубаху со своими грязными копейками? За что его, Осташу, гонят от реки, как шелудивого пса, хотя он сплавщик и сын сплавщика? Почему Колыван Бугрин поганит батину память, хотя при имени бати должен шапку снимать, как сплавщицкая честь велит? Почему рыщут по урманам Гусевы, которым и в пекле дров не хватит? И не могла Чусовая, что двадцать лет хранила батю, лучшего человека на земле, поглотить его без следа, словно дохлую рыбу! Не может того быть! Нельзя так! Всё неправильно! Всё ложь!

Осташа не понимал, что, задыхаясь, он уже бежит с горы в деревню, домой. Макариха не спала, молилась у кивота, стояла под лампадой на коленях и держала в руках лёстовку. В красном свете лампадного огонька отблёскивали тяжёлые ризы окладов, словно мокрые от воды натёки

на стенах пещеры, и сама Макариха казалась языческим идолом, что отбрасывал на половицы клином расходящуюся чёрную тень.

— Корову!.. Корову отравлю!.. — хрипел Осташа, бросаясь к запечью, где спрятал свою торбу. — Избу спалю, карга!..

Макариха с лицом, перекошенным от гнева, поднималась с колен, разворачивалась.

— Чужой век заел? — зло спросила она. — Ты чего молитву поганишь, калёта?

Осташа вытащил из торбы складень Яшки Гусева и что было сил швырнул его в грудь Макарихе.

— Всё говори! — заорал он. — Всё, что знаешь! Избу спалю, не пожалею! Кто из псов твоих жив ещё? Почему живы они? Кто за батей приплыл, чтобы клад Пугача прятать? Чика?.. Говори!

Макариха нагнулась, поднимая складень, медленно сложила его медные листочки и ответила:

— Яша жив — ты сам, значит, увидел... А с царской казной Ипат Терентьев из Старой Утки приплывал. Более ничего не знаю. И молчи. Служенье мне не скоромь.

ФЛЕГОНТ

Чего ходить вокруг да около, просить плотинного словечко замолвить, сплавному старосте кланяться, караванным в глаза заглядывать, купцов за рукава хватать?.. Всё равно не они дела сплава решают. На сплаве не важно, строгановская ли ты душа, демидовская, Яковлева или казны. Как Конон Шелегин скажет, так и будет. Он сплавом уже двадцать лет из Ревды, с Угольной горы ворочает. И ни разу перек его слова никто ничего своего не взял.

Надо было бы дожидаться случая, чтоб не бесплатно вверх по Чусовой полтораста вёрст идти. Но вверх товары подымали зимой, по льду, и сейчас, в разгар лета, оказии не бы-

ло. Осташа загрузил шитик и двинулся без попутчиков. Ему и дня не хотелось проводить под одной крышей с Макарихой. Пока есть деньги и оброк не висит над головой, нужно успеть повернуть свою жизнь в русло Чусовой. Не успеешь теперь — потом уже не до того станет: впрягайся в ямку, из которой тебя только смерть выпряжет.

Уже подступала межень. Непролазная жара загустела в теснинах. Скалы, горячие до звона и белизны, были обмётаны сизой дрожью лишайников. На гребнях, на взгорьях, все в солнце, пылали кремлёвые боры. Блестели пески-сверкуны. Пересыхали ёрами ивняки в поймах ушедших под землю ручьёв. Ястребы плавали над хребтами, словно не могли затонуть в зное, как в масле. Чумная зелень пёрла на заливах, удобренных половодьем. Урёмы пахли пылью и мёдом. Застенчиво золотились рожью редкие займища в лесах. Пахло гарью каких-то дальних пожаров. Река опала. Плёсы, словно плёнкой покрытые, только морщились рябью, как молочная пенка, если вдруг воздух вздрагивал бессильным ветерком. Залпами дробы проступили переборы на поворотах. Острова, косматые от тальника и птичьего щёбета, лежали, как коровы на мелководье.

Вниз по Чусовой шли вереницы шитиков. Узкие плоты еле тащились, перетирали на отмелях лычаги и рассыпались на брёвна. Девки с баграми бродили по приплёску, скатывая их обратно в сплётки. Полубарки и межеумки, плоские, как блины, выползали на огрудки; бурлаки, даже не матерясь, устало лезли в воду, разводили в стороны крылья неволь, тянули бечеву, по аршину за рывок стаскивая судно на глубину. Межённые сплавщики на скамейках не стояли орлами, а сидели квашнёй, шапками утирали мокрые красные рожи. Только у ласточек хватало сил стремглав носиться над водой — но ласточки божьи птицы: их Христос благословил за то, что они у римлян гвозди украли.

Осташа повсюду видел следы миновавшего сплава. У берегов над титьками мелких волн торчали закаменевшие ко-

ряги якорниц, оторванных от барок; змеями блестели под водой обрывки их цепей. В узкой протоке у Золотого острова громоздились сразу три барки, летом непривычно высокие и серые от высохшей осмолки: деревне Пермяковой, знать, выпал хороший навар на переносе медных штык. Обмелевшие барки, словно огромные сараи посреди реки, высились на перекатах. Их, видать, решили оставить без разгрузки до осенних паводков. На кровлях их палаток дрыхли караульщики-водоливы, которые замотали головы рубахами и выставили отросшие, нечёсанные бороды — сырые, как банные веники. За Мостовым бойцом, похожим на съехавший с откоса амбар, за каменными ладонями Волеговских Гребней, на поляне против груды камня Гамаюна лежали огромные вороха брусьев, издырявленных досок, корор. Это были разобранные на пустой лес барки, убившиеся под бойцами. Осташа видел и свежие, жёлтые кресты на скалах — на Большом Владычном, на Свинках, на Буrom камне над плёсом Вёлчник. Страшно было взглянуть на небольшой Рёвень-боец: белый, как кость, он выглядел из-под чудовищного, переломанного, разодранного корыта судна, вверх дном нахлобученного на скалу, — как проснувшийся в могиле мертвец из-под крышки гроба.

Осташа поднимался по Чусовой, и сердце его прояснялось, будто он летел к восходу. Всё здесь было ему ясно и понятно, всё без тайных умыслов, пачкавших душу. Вот на излучине Журавлиное Горло старик в лодке опускает на дно реки плетёную вёршу, и не надо ему этой плотвы, а ждёт он ночи, чтобы подчалить к обмелевшему полубарку, залезть на порубень и спереть чего — чего удасться. Вот под Еленкиным берегом купаются нагишом девки из Мартьяновой деревни и видят, козы, что Осташа подплывает, но притворяются, что не видят, чтобы с визгом вылететь из воды и скрыться в кустах, блеснув голыми задами. Вот на Пегушином переборе трёхзвеньевой плот завернуло свинячьим хвостиком, и на первой сплотке, на кичке, стоит пьяный

мужик в порванной рубахе, не замечает, что плот идёт на камень, а жена у мужика на заднем звене молча ждёт, сжимая жердину: стукнется кичка в таш, кувыркнётся мужик в воду — и протрезвеет.

Вся жизнь с заводов перетекла на берега, где по опушкам поднялись шалаши и балаганы, задымили костры. На время межени и сенокоса заводы останавливались, а приказчики распускали народ, не глядя на долги. Теперь по лугам мужики ладили подводы и точили серпы, бабы заготавливали жерди, сучили верёвки из лыка, дети собирали ягоду, псы валялись в одуванчиках. Даже старики, вывезенные из запечья на луг, тихо сидели на полешках у костерков-дымокуров и плели лапти, гнули из луба туеса и бурачки. Стада, спасаясь от гнуса, стояли на перекатах, и хозяева забыли бояться: вдруг водяной оседлает скотину — и она сдохнет?

В калёном зное жизнь закалилась и на пристанях — на Усть-Утке и Сулёме, Илеме и Плешаковке, Старой Шайтанке и Старой Утке, Курье, Трёке и Каменке. Отощали, отступив, пруды, спустившие половину вешнего запаса. Причалы словно отползли от Чусовой. Истёртые ледоходами ряды свай торчали из сухой земли, усыпанной битым камнем и мусором. Ряжи расчертили зелёные полосы мха в пазах меж брёвен — сюда мутная весенняя вода набила грязи, песка и глины. Короткая травка обметала края площадок, намертво истоптанных бурлаками при погрузках. Крапива и лопухи по-дурному вымахали под стенами пустых амбаров. Плотины лежали как перевёрнутые телеги — с остановившимися колёсами над безводными вешняками, в ларях которых валялись дохлые собаки и спутанные космы водорослей. Затворы из неподъёмных листовенничных плах плотно перекрыли все водосбросы, и речки ниже плотин превратились в полосы белых пыльных камней. Медленно вращалось единственное колесо над последним открытым пробором, визжало и скрипело, обессиленно двигая желез-

ные тяги к рамам лесопилок. В кузнечных избах усталым набатом звенели о наковальни редкие молоты, что ковали для страды косы, тележные дрючья и скобы.

На восьмой день Осташа добрался до Старой Утки и задержался — ходил узнавать об Ипате Терентьеве, который привозил Гусевым пугачёвскую казну. И не хотелось снова шоркать душу об эти занозы, но было надо. Впрочем, село стояло почти безлюдное, избы заперты. На сонном пруду даже детвора не визжала. Осташа пошёл на завод. Под стеной плотины глыбились домны из красного, закопчённого до черноты кирпича. Похожие на медведей в клетках, они были опутаны деревянной опалубкой с мостками, по которым в рабочее время к колосникáм катили тачки с углём и рудой. Сейчас задранные трубы не дымили, народ не бежал, в тенёчке пустой и прохладной механической фабрики лежал телёнок, и только стрижи вились над крутыми гóнтовыми крышами и верещали в тишине. Куры, дёргая головами, бродили по кри́чным дворам, сидели на угольных ларях, и при виде Осташа малиновый петух на верхушке шлаковой кучи начал яростно кидать пыль когтями и распустил крылья. Сторож, кормивший кур, тоже ничего не знал об Ипате Терентьеве. А если и знал, то всё равно бы не сказал: после пугачёвщины народ не болтал лишнего. У каждого за душой имелся свой грех. И напоминанием о нём были рвы и валы вокруг завода, бревенчатые бастионы с пушками, раз и навсегда повёрнутыми на пруд — туда, откуда сквозь картечь налетел бунт, весь в дыму от горящих возов.

С откоса плотины, заросшего ромашкой, Осташа глядел на просторную гладь пруда, отдувающую прохладой; на чехарду крыш села по склонам гор; на хоромы управляющего и приказчиков рядом с резной и фигурной церковкой. Смотрел на облака над далёкой горой Сáбик, синей и прозрачной, как вода. Смотрел на угластый короб крепости, в котором, как в кузове телеги, громоздились бурые бутылки и кованые сундуки завода, ещё десять лет назад деми-

довского, а теперь — Саввы Собакина, по-новому — Яковлева. Но Осташа всё думал о бунте.

...В Сысерти заводчик Турчанинов гарцевал на лошади по крепостному валу под пулями крестьян Ивана Грязнова, радовался, что взорвал лёд на пруду, и теперь мятежники устелят телами подступы к заставам, с которых лаяли им в лицо пушки. А здесь Белобородов кинул своих на непорушенный лёд, и вскоре батареи Старой Утки на плотине повернули жерла, вспахали народ ядрами и кровью мастеровых обрызгали домны от фундаментов до стрижиных гнёзд... Нет, никуда не деться от той зимы, от тех снегов, от того огня.

На следующий день к вечеру Осташа поднялся до Уткинской Слободы. В Слободе он хотел зайти к дяде Флегонту, попу слободского храма. Батя очень уважал Флегонта и всякий раз перед сплавом навещал его. Потом, уже во время сплава, когда батина барка пролетала мимо церкви, Флегонт всегда выходил на край скалы и смотрел, а батя махал ему тряпичей — непременно белой. Осташа даже не задумывался: почему?..

Флегонт был единственным, кто мог сейчас помочь Осташе. В торбе у Яшки Гусева была какая-то грамота, свёрнутая в трубку и обмотанная ниткой с печатью. Осташа печать сорвал и грамоту развернул. Толстая, закапанная воском бумага была густо исписана раскольничьей тайнописью. Осташа в ней ни одного слова понять не смог. Видно, Яшка Гусев, скрываясь от людей, прятался в скитах на Весёлых горах и служил старцам гонцом, ходил с посланиями на Яик и Иргиз, на Ирюмские болота к Мирону Галанину и на Керженец. Конечно, надо было грамоту отдать кому-нибудь из тех, кто держит связь со старцами, а не хранить её у себя. Да хоть Макарихе отдать — она бы переправила письмо хозяевам. Но вдруг по грамоте можно узнать, где и почему укрывается Яшка, кто и от чего его укрывает? Да и батя к скитам относился как-то с оглядкой. Мол, старцы души спаса-

ют, грехи людские отмаливают — это хорошо; но не дело скитникам в мирские дела соваться, сплаву свою волю навязывать и бунтовать против власти. А после того как старцы Пугача поддержали, батино уважение к ним и вовсе на нет сошло. Потому Осташа и не вернул грамоту.

И ещё одно: в бумажной трубке лежали шесть медных родильных крестиков, и на их исподах Осташа разглядел выцарапанные буквы: «НЗР СЛНВ», «ВС КДНВ», «ПРХР ПТНН», «ЛФР ГЛВ», «ТРФМ КТВ», «КЛВН БГРН». Что они означали?.. Обо всём этом Осташа мог спросить только у человека, не связанного ни со старцами, ни со сплавом. И другого такого человека, кроме попа Флегонта, Осташа не знал.

Раскольники часовенного толка не были столь же непримиримы, как другие: калёным железом не выжигали на зипунах капли, капнувшие с кровли никонианского храма, вертепа по-ихнему. Но всё же Осташа решил сначала замолить грех и причалил за Гуляй-камнем, что высился на берегу в красное лесье, как ядрёный гриб-боровик. Осташа поднялся на гору к слободскому кладбищу в лиственничной роще. Кладбище лежало на Георгиевских камнях, и здесь была старая часовенка, куда из Соликамска привозили намоленную икону — медный складень святого Егория. Складень этот на оборону Соликамска послал ещё Иван Грозный, и Егорий не раз защитил город от татарских набегов. Икону привозили на Пасху, если Пасха приходилась до начала сплава: святили вешнюю воду и вал и на барке везли икону до Камы. Все сплавщики знали, что после такого освящения убитых барок куда меньше случалось. А барка с иконой за полвека ни разу даже не отурилась.

Уже смеркалось, когда Осташа задул лучину перед кивотом, вышел и притворил за собой косую дверку часовни. Мимо Георгиевских камней Осташа поплыл к перешейку мыса, на котором стояла Уткинская Слобода. На Уткинской казённой пристани вечно толкся разный чужой и тёмный

народ, а потому Осташа не решился просто положить шитик на берегу и пойти к церкви. Он заволок лодку на постоялый двор, где под телегами уже укладывались спать ямщики, договорился с хозяином и по взвозу поднял шитик на сеновал. Он увидел, как мужики высовывают из-под телег головы с сеном в волосах, провожая глазами ладную, лёгкую лодочку, и дал ещё грош сторожу. Потом направился к храму.

Храм стоял на бывшем крепостном дворе. Когда-то церковь в Уткинской Слободе была раскольниковой, но в ней огненную купель приняли слобожане во главе с Федькой Иноземцевым, беглым стрелцом и уставщиком. Новый храм на куревьище власти возвели в никонианской ереси, чтоб слобожане больше не жглись. Ну а крепость в Слободе поставили ещё в старину, ещё при Строгановых, для защиты от башкирцев и татар. Сейчас от крепости остались только две низкие и кряжистые башни — косые, со съехавшими вбок венцами и с дырявыми шатрами. Башни соединяло прясло гнилого частокола, который разошёлся растопыренными пальцами, наклонясь наружу над мелкой и грязной канавой бывшего рва. Осташа с любопытством разглядывал развалины, сравнивая с заводскими крепостями, что построены совсем не так: с шанцами и бастиянами, с флешами и рядами фашин по верху стен и без всяких башен. От слободских развалин пахло прелью, ещё не исхоженными лесами, Ермаком в орлёной царской кольчуге, а от заводских крепостей — свежим железом, розгами и солдатами.

Изба попа Флегонта была уже заперта. Попадья на стук в ставню не открыла, только пригрозила:

— Прочь, прочь иди, нету самогó, а я с топором!

Осташа не удивился — и здесь помнили Пугача. Он пошёл к церкви, поднялся по лестнице на гульбище и наткнулся на большой и ржавый замок в дверных петлях. Вот так!.. Куда же поп провалился? С высоты гульбища и с высоты скалы, на которой стоял храм, Осташа видел широкую

излучину Чусовой меж холмов, застроенных домишками Слободы. На перекате в чёрной воде дрожал месяц. Вдоль пруда на речке Утке горели костры ночлежников с Уткинской пристани, и над прудом висел слоистый белёсый дым.

Осташа спустился с гульбища, обошёл церковь и ногой потыкал сквозь бурьян в волоковое окошко подклета, не до конца задвинутое заслонкой.

— Дядя Флегонт... — на всякий случай позвал он.

Окошко вдруг тихо открылось.

— Кто там? Ты, что ли, Осташка?.. Лезь сюда! — шёпотом велел поп. — Лезь-лезь, не спрашивай...

Удивляясь, Осташа сел, просунул в окошко ноги и протиснулся в узкий проём. Флегонт поймал его и тотчас заволокло окно.

— Ты чего, дядя Флегонт, тут прячешься? — спросил Осташа.

— Не базлай, говори, чтоб чуть слышно было, — в темноте сказал поп. — Садись вон на кадушку, будешь со мной караулить.

— А чего караулить? — присаживаясь, любопытствовал Осташа. — С тебя и взять-то, кроме грехов, нечего...

Флегонт усмехнулся.

— Я тебе могу сказать, ты — Перехода сын. Кроме Перехода, никто бы мне сейчас и не пособил... Укладочка у меня тут захоронена, а от кого, кому и зачем — не спрашивай. Дьячок наш, бутылочный ополóсок, донёс мне, что видел на постоялом дворе двух людей издалёка. Говорили они тайком друг с другом, что хотят ночью забраться в храм и укладочку мою прибрать. Вот, сторожу.

Потихоньку глаза Осташа привыкали к темноте. Он различил толстого, здоровенного Флегонта, сидевшего то ли на коробе, то ли на сундуке. Флегонт приготовился караулить основательно: рясу подвязал верёвкой, космы прижал шапкой; за его плечом стоял, прислонённый к стене, увесистый осло́п.

— А чего не в доме укладку хранишь? — спросил Осташа.
— Ты моих бесенят не видел.
— Тогда сказал бы караулу на пристани...
— Не я укладку собирал, не мне разбирать, а караулу про то и вовсе знать не надо.

— Перепрячь ещё куда.

— Куда? Я ведь не Демид, который сто гор купил с пещерами. Где уж смог, там и спрятал. Мне главное поймать хоть одного из тех мужичков, которые за чужим добром рыщут. Узнать, кто они такие и откуда про укладку узнали... Вот ты мне и поможешь. Сам-друг справимся.

— Помочь-то помогу, — нехотя согласился Осташа, — только не по душе мне это, дядя Флегонт. Откуда я знаю, в чём тут дело? Батя говорил, что все тайны людские — от лукавого. Господь своего от людей не таит.

Флегонт вздохнул. Слышно было, как под его грузным задом скрипнул от натуги берестяной короб.

— Не я, Осташка, эту тайну выдумал. И мне её против моей воли навялили. И деться мне некуда. А ты такой же, как батя твой, царство ему небесное. Он тоже всегда спрашивал: «От бога или от барина?» Как, нашли тело?..

— Не нашли.

— Я за упокой души его молюсь... Молюсь, знаешь, да сам думаю: почто Господу просьбы мои, от меня — в суетах погрязшего? Переход — святой человек. Может, и сам-то спасусь, только когда он в вертограде обо мне вспомнит... Или где он там ещё? На ваших блаженных островах Макарийских?... Горько мне, Осташка. А тебе небось вдвойне. Но не ропщи, грех.

— Ну уж, святой... — пробурчал Осташа, хотя сердце согрели слова Флегонта об отце.

— Суесловлю, — вздохнув, согласился Флегонт. — Но твой батя по-праведному жил. Слышал я разговоры о Переходе: мол, жил по совести — оттого и берегла его Чусовая. Ты в это не верь. Какая за правду награда в нашем ми-

ре? Никакой. И Чусовая никого не бережёт — наука сплавщицкая бережёт, сам знаешь. А батя словно послан к нам был, чтобы сказать: можно жить по совести и выжить, можно. В народе-то как считается? В миру, мол, без греха не прожить, хочешь или не хочешь. А батя твой словно спорил: можно прожить! Вот и скорблю о нём. Иконы-то, знаешь, коли в ветхость придут, так не рубят их, а в воду отпускают...

У Осташи повело горло. Никто о бате не горевал, кроме него, а вот ещё и поп Флегонт, оказывается... Дядя Флегонт, о котором Осташа и не вспоминал. И вдруг Осташа начал рассказывать: и про Колыванов поклёп, и про то, что его от сплава отлучают, и про Гусевых с Макарихой. Флегонт слушал молча, кивал в темноте.

— Давай мне грамоту свою, — сказал он. — Я их тайнопись знаю... И лучинку уж зажги.

Он развернул на колене толстый лист, склонился и начал читать, что-то бормоча. Потом распрямился, скрутил грамоту обратно трубочкой, посмотрел на Осташу, замершего в ожидании, и сквозь трубочку дунул на лучину.

— Это ваш раскольниковый благочинный Асаф Карчагин пишет из Бударинского скита на Яике, на Урале по-новому, всем вашим иереям на Весёлых горах и Ирюмских болотах. Весной он перед смертью атамана Чику исповедовал, который прятался в яйцких пúстынях под фамильей Зуморшеев. Чика ему открылся и просил передать в скиты, где золото награбленное спрятал.

— И... что? — цепenea, спросил Осташа.

— А то, что на Чусовой он казны не прятал. Не сказано о том.

— Чьё же золото батя зарыл?

— Ну, чьё... Белобородова, наверное. Я вот чего думаю, Осташка... Екатеринбург Белобородов не взял. Князь Гагрин разбил его на Сылве при Тебеняках, и пришлось ему утекать в Касли к Пугачу. Золота при нём не было, одни

порты с дырой на задуг. И к Гагину казна тоже не попала. Значит, осталась она на Чусовой, точно. Её твой батя и спрятал. Он ведь поначалу верил, что Пугач — это Пётр Фёдорович. Верил-верил, не спорь, я сам с ним о том говорил не раз, знаю. Видишь, как божий промысел разъясняется... На бате твоём благодать божья почилла. Я, дурак, убеждал Перехода: не царь это, а Пугач, беглый казак. А от Перехода пря: «Чужое имя на себя брать грех, чай, под своим крещёны, чужой души в себя не вставишь, значит — царь». Я думал, Переходу ума не хватает понять, а ума-то мне самому не хватало. То ведь бог Перехода берёт. Не верил бы Переход, что казна царская, — не взялся бы укрывать, он ведь ни перед кем не плёжил. А отказом он себя на смерть бы обрёк. Гусевы бы те же убили батю твоего, или этот Ипат Терентьев... А батя верил и спрятал для царя — тем самым живым залогом для казны стал. Ну а как дошло до него, что Пугач-то — сам Антихрист, то отрёкся он от клада, будто и не знал ничего. Я думаю, так было.

Осташа ничего не мог возразить. Про такое он думать не умел.

— Ну а про это что скажешь?.. — робко спросил он и высыпал в протянутую ладонь Флегонта медные крестики. — Там и написано чего-то...

— Зажги-ка снова лучину.

Флегонт долго рассматривал крестики, вертел в пальцах.

— Я так понимаю, имена это нацарапаны... Назар, Евсей, Прохор, Алфёр, Колыван... И фамилии тоже. Прикинь, какие подходят?

Осташа глянул на крестик, где было написано «КЛВН БГРН», — тут и гадать не надо было: Колыван Бугрин. Осташа знал ещё сплавщика из Трёки Евсейку Кудинова и слышал про молодого Алфёрку Гилёва из сулёмских Гилёвых: нынешним сплавом тот первый раз барку провёл.

— Из шести трое сплавщики? — удивился Флегонт. — Ну, надо думать, что и другие трое — тоже.

— А откуда у старцев родильные кресты сплавщиков? За-чем они им? — Осташа был изумлён и даже встревожился, чуя что-то тёмное, злое, тайное.

Флегонт долго размышлял и скрёб бороду.

— Я тебе вот что скажу, — решительно произнёс он. — Не случайно тут всё: Переход и Гусевы, скитники и сплавщики. Тут всё прочно друг с другом перевязано. И сердце всего — мамона. Казна. Всё вокруг казны. Людишки — дрянь, я это понял; любоимение им всего выше. Я не корю никого, я и сам дрянь. Но только золото могло всех в один мешок запихать. Чья казна? Пугача! Белобородов — пёс его. Кто Пугача с объятями встречал? Скитники, потому что Пугач обещал веру их на свет из теснин вывести. Кем скитники кормятся? Сплавщиками — из тех, кто под рукой Конона Шелегина ходит. Сплавщиков они и держат за горло анафемой своей. Казна у бати очутилась, а кого за ней отрядили? От скитов — Яшку Гусева, а от сплавщиков — Колывана. Не дурак же Колыван клад искать, не пытарь, а сплавщик, и сильный сплавщик, первый после Перехода. Вот и вся тайна. Поверь мне, старому греховоднику, Осташка: у каждой тайны дно из золота.

— Тайны — от лукавого... — растерянно сказал Осташа. — А ты говорил про батю...

— И не таких праведников майдан топтал, — зло ответил Флегонт. — Вспомни Писание, кто вопил: «Распни его!»? Я батю твоего со Спасителем не сравниваю, то великий грех — но жить по правде всякий может, если душой не торгует. Сам Антихрист на Русь пришёл, чтобы таких, как батя твой, в прах сверзить. Это я говорю: отрёкся Переход от клада, и шабаш! А батя твой четыре года один против бесов держался и во врёющие воды ушёл, а искушению не поддался. Да что ж за жизнь такая — что ни крепкий человек, то сгубят!.. Тяжко, Осташа, мне, знаешь как? Себе мерзок, когда таких человек звал!

— А думаешь, батю убили?

— Думаю, убили. Не знаю как. Сам ты, что ли, в его смерти тайны не чувствуешь?

— Как не чувствовать...

— А где тайна — там лукавый. И подручных у него — легион.

— А кресты — это что?

— Ты, Осташа, не обижайся, но я тебе о вере вашей скажу... Еретики вы все, раскольники и староверы. Кто больше, кто меньше, но еретики. Раньше, ещё при Аввакуме огнепальном, вашей веры людишки в теснины и рассёдины бежали души спасать, уносили их от Никонова ока. А сейчас-то чего не бегут? Сибирь, что ль, в овчинку уменьшилась? Беги хоть в Беловодье, хоть до второго пришествия — а не бегут! Им лучше двоеданами здесь быть, чем бежать куда ещё! Спрятались на Чусовой под ёлками, как падшие ангелы под траву-прострел! Но все скиты ваши — и на Вёсёлых горах, и на Ирюмских болотах — властям известны. Чего ж ваши учителя всё равно сидят там как приколочённые? Знаю я ответ: они как-то по-другому теперь души уносят и спасают. И крестики эти — тому свидетельство. А бог-то сатанайов и под прострелом узрел — да пронзил их всех перунами, громовыми стрелами!

Холодом и какой-то дикостью пахнуло на Осташу от слов Флегонта.

— Ты, дядя Флегонт, о чём говоришь? Мы православные. Какое спасение души ещё может быть, кроме поста, молитвы, пустыни?.. Прочее всё — шаманство, идольничество.

— И я о том. Ды́рники — эти из ваших, а разве они не идолу молятся? Боюсь, что старцы ваши наморочили, подменили образ кумиром, а вам о том и неведомо, потому что ваши служенья от вас самих же в тайне. Давно уже у меня мысли о том, честно признаюсь. Только за руку никого не поймать. Но сам подумай: откуда у старцев, у Мирона Галанина власть такая — не только над сплавщиками, а даже

над купцами-миллионщиками? От кого хлеб их? Почто они так рьяно пекутся на Яике — о киргизах, на Ирюме — об остяках, на Чусовой — о вогулах? Всякого иноверца крестить готовы! В ваших каплицах черти на потолке живут. Боюсь я, что выволокли ваши старцы из древнего шаманства какую-то шибко тёмную прелесть и к делу своему приставили. А дело — мамона, как тебе я и говорил. Если б не мамона, то незачем было бы старцам в мир соваться и сидеть на Весёлых горах у царя и Синода под носом. Дела веры, даже ереси, и в чашобе на поляне решить можно.

Глухое несогласие, недовольство словами Флегонта тяжестью легли на сердце Осташи. Флегонт почуял это и добавил:

— И тебе, Осташа, я вот чего скажу... Вижу душу твою неукротимую... Тебе сплавщиком быть — спасение. Не станешь сплавщиком, так станешь убийцем или подашься в расколоучители. Ты эти мои слова запомни.

Осташа уже раскрыл было рот возразить, как вдруг Флегонт прихлопнул его губы ладонью и прошептал:

— Тихо!.. В окно скребутся!

Оба они замерли, глядя на узкую синюю полосу перед заслонкой волокового окошка. И в полоске появились чьи-то пальцы, тихо отодвинули дощечку в сторону. Сноп лунного света косо просунулся в подклет, осветив земляной пол, лубяные короба, круглый бок кадушки из клёпок-пиповки. Осташа увидел, как Флегонт убрал кончики лаптей в темноту. Снаружи выжидали.

Потом проём окошка заткнуло чьё-то тело. Осташа понял, что вор лезет в подклет вперёд ногами и вверх задом. Протиснувшись, он мягко прыгнул вниз, но не успел и распрямиться, как сверху на него, будто подушка на кота, рухнул Флегонт.

— Осташка, вали его!.. — сипло крикнул поп.

— Микита, засада!.. — удушенно рывкнул вор из-под Флегонта, пытаясь перевернуться.

Осташа подскочил к косматой ворочающейся гряде под окном, не разбираясь, где чьи руки и ноги. Посыпались короба и теса, затрещала, разрываясь, береста. Флегонт со стоном откатился в сторону — Осташа увидел его белые в темноте пятерни, прижатые к чёрному брюху. Мужик спиной к стене поднимался в рост, в его кулаке был нож.

— Не подступай, пырну, — предупредил он.

Всклокоченная борода вора стояла дыбом, левый глаз слепо блеснул бельмом. Осташа так и замер, раскорячившись в полуприседе — как он собирался навалиться на дерущихся. Мужик быстро повернулся и словно нырнул в узкое окошко. Босые пятки его, соединившись, мгновенно уехали в проём — снаружи напарника дёрнул на себя другой вор и вытащил его из подклета. Топот простучал по двору и затих.

Осташа кинулся к Флегонту. Тот уже сидел, держась одной рукой за бок, а другую руку вытирая о бедро.

— Н-ну, псы... — сипел Флегонт.

— Порезали тебя, дядя Флегонт? — встревоженно спросил Осташа, опускаясь на корточки и вглядываясь в сморщенное лицо Флегонта.

— Да есть чуть-чуть, — прокряхтел Флегонт. — Д-дубина же я... Надо было его сразу ослопом по башке... Ведь брал же я ослоп с собой, брал!..

КОНОН

Прошка Крицын, внук Конона Шелегина, запрягал лошадь и презрительно поглядывал на Осташу. Был Прошка дорожен и коренаст, зад, как сундук, брюшко уже поднапрягло опояску. Локти Прошка держал врасстырку, болтал ручищами в подвёрнутых рукавах. Осташа, сощурившись, молча глядел, как Прошка ходит вокруг лошади и телеги, поправляет упряжь, подёргивает ляжками, мотает головой, словно

ему ворот жмёт. «Ну, как ещё поломаешься передо мной? — думал Осташа. — А то ведь я, дурак, только до Шайтанки кланяться собирался...» По сравнению с Прошкой Осташа был совсем тощим и маленьким.

Он сидел на чурбаке во дворе усадьбы Конона Шелегина под Угольной горой. Жилище Конон отгрохал на века: домина о трёх ко́нях и в два яруса; службы покоем охватывали двор, замкнутый целым тыном с крытыми воротами. Такие усадьбы ценою в три барки не сплавщики, а скупщики золота строили — в Екатеринбурге. Не хватало только, как в Невьянске на башне, двуперстной вётреницы или сияющего петуха из прорезного медного листа над дымником. Вместо петуха при Кононе состоял зять Калистрат Крицын.

Усадьба стояла ближе к окраине Ревды, челом на широкий пруд, за которым под самые слепящие облака рёбрами дохлой кобылы торчали трубы демидовского завода. Одним углом домина Конона врезался в набыченный склон Угольной горы, заросший курчавой малиной. Осташа понимал, что это не случайно. Конон был раскольниковым старостой, и в подклете у него наверняка была каплица — тайная молельня. Подземный лаз вёл оттуда куда-нибудь в укромное место, где тихо зеленел в овражке замшелый голбец. Те, кого мир видеть не должен, приходили к Конону тайком и уходили тайком, промышляя своими тёмными делами. Какими? Может, книги расколоучительные носили, может — учителей прятали. Может, и деньги хоронили, потому как Конон весь сплав за горло держал. А может, и ещё что, ведь не зря же говорили о Кононе, будто вокруг него появились людишки какого-то нового толка — «истязлецы́», или «истязельцы».

Конону было уже под девяносто лет, и на сплавы он, разумеется, уже не ходил. Рассказывали, что отец у него слыл первым лодейщиком в Верхотурье, а потому Конона прибрал к рукам тобольский царёв дьяк Семён Рёмезов, который и придумал караваны с невянским и каменским железом плавить весною по Чусовой. Ещё пока царь Пётр мо-

лодым был, провёл Ремезов первый караван от Уткинской пристани, и на том караване на струге у стерна стоял молодой Конон Шелегин. Три десятка лет Конон ходил от Уткинской пристани с каждым караваном. Потом за цену целой барки его купил Акинфий Демидов и поставил на ревдинские караваны. Ревдинский завод тогда только-только первый чугуна изрыгнул. Ещё сорок лет Конон плавал от Ревды. В тот год, когда Пугач собирал казаков и башкирцев на Яике, Конон провёл свой семидесятый караван и удалился на покой. Все думали, он в скиты уйдёт, но как бы не так.

Были у Конона и крушенья, и несчастья, на волю он так и не выкупился, но заработал главное — уважение Чусовой. Конон от сплава всю жизнь скиты кормил. На скитских старцев опирались купцы и заводчики, выручаясь деньгами и народом. Потому в караванном промысле скиты всегда на Конона кивали, а заводчики перечить не могли. Всю власть на сплаве Конон потихоньку под себя подтянул, как на Ирюме Мирон Галанин все толки раскольничьи в своей горсти сжал. При Кононе и при скитах осели и другие старые сплавщики, благо что до таких лет разве один человек со всей пристани доживал. И теперь у Конона в упряжке оказались все караванные старосты по всем семнадцати пристаням, частным и казённым, все купцы с Чусовой и половина купцов с Ирбитской ярмарки.

Конон Шелегин, крестьянин из гонимых раскольников, почти слепой, весь изработанный, подневольный крепостной Демидовых, был царём на Чусовой. Его слово здесь решало всё. Только у Конона Осташа и мог добиться справедливости, хотя был строгановским, а Конона раньше никогда и в глаза не видел.

По ступенькам крутой лесенки с висячего крылечка Каллистрат Крицын сводил за локоток Конона с палкой в руке. Прошка, завидев деда и отца, побыстрее погнал лошадь со двора. Осташа встал, снял шапку. Конон ступил на зем-

лю, вышел из тени, поднял лицо к небу, не спеша перекрестился. Калистрат легонько направил старика к скамейке и мельком кивнул Осташе: мол, подходи. Конон медленно пошагал по пригреву. Руки и ноги его еле шевелились, застомёв от вечной сырости сплава. Конон палкой слепо тыкал в землю, точно показывал: сюда через шаг ступлю.

Калистрат присел на скамейку рядом с Кононом. Осташа стоял перед ними, смяв шапку в ладонях.

— Век здоровья, дядя Конон и дядя Калистрат, — буркнул он.

— Слышу — вроде не поклонился, — сказал Конон Калистрату, подставляя для ответа волосатое ухо. — Башку-то хоть опростал?..

Голос у Конона был грубый, суровый, глухой. Звучал он словно сразу со всех сторон — как у домового.

— Не опростал бы, так я с него шапку вместе с волосьями живо бы сдёрнул, — ответил Калистрат.

Осташа хмуро глянул на Калистрата. Калистрат тоже числился в сплавщиках, но перестал ходить на сплавы вместе с тестем, хоть и был на три десятка лет моложе. Сейчас он при Кононе считался за главного приказчика. Впрочем, среди сплавщиков про него ходила байка, что Конон Калистрата держит, как козла в конюшне — анчүток отгонять.

— Ну, и чего надо? — устало спросил Конон.

— Пришёл просить, чтоб ты за меня слово замолвил. Сплавной староста не берёт меня в сплавщики, — осторожно объяснил Осташа. — По обычаю, я должен в сплавщиках быть. Я пять раз при бате в учениках прошёл.

— Старосте виднее, кого брать, кого не брать, — хмыкнул Калистрат. — Жалуйся хозяевам.

— Хозяева старосту и послушают, а не меня. А староста лжёт. Он мне за батю мстит, что батя ему не кланялся. Если дядя Конон за меня не заступится, не быть мне сплавщиком.

— А дядя Конон на Чусовой каждую соплю подтирать обязан? Батя твой и дяде Конону не кланялся, а сплавщиком был.

— За батей чёрная слава не шла по пятам, как за мной. Батя мог и сам. А мне никто не доверит барку, если дядя Конон доброе имя бати не подтвердит. Дядю Конона все слушают.

— Вот батю и благодари за чёрную славу, — Калистрат пожал плечами. — Ты лучше в скиты иди, там старцы за всех ходатаи.

Осташа подумал и негромко ответил:

— Я ведь не у Господа, а у мира воли прошу. Господь и без старцев знает, что на батю Колыван Бугрин поклёп возвёл.

— Колыван Бугрин — первый сплавщик на Чусовой. Он знает, что слово его доброго стоит. Он зря не скажет.

— Колыван при бате на скамейке не стоял, как ты при дяде Кононе подсел, — снова сдержил Осташа. — Он своими глазами батиного предательства не видел. Почему говорит — я не знаю, хотя и есть догадка. Но не в том дело. Колыван честь сплавщицкую порочит. Уже за это одно дядя Конон за батю вступить должен. Да и знаете ведь вы батю, хоть в друзьях и не ходили, что не мог батя того сделать, в чём его Колыван обвиняет.

Калистрат раздул ноздри, услышав от Осташи, что он «подсел на скамейку Конона». Но Конон, слепо усмехнувшись, похлопал зятя по колену, остужая пыл.

— Не Колыван, а само дело против твоего бати говорит, — сквозь зубы произнёс Калистрат. — Исчез Переход — и клада нет. Трудно ли связать воедино?

— Да что ж вы все батю к кладу лепите, будто уж и людей с совестью не бывает? — зло спросил Осташа. — Смерть не спрашивает, кому когда помереть удобнее. Коли так обернулось, это ещё ничего не значит!

— Богу не значит, а миру значит. Хочешь батино имя обелить — найди казну Пугача.

— Ты, дядя Калистрат, меня как лешака, что ли, отваживаешь заданиями невыполнимыми? — ощерился Осташа, досадуя, что Конон молчит. — Может, мне для тебя дерево вырастить ветками в земле, а корнями в небе? Или из песка верёвку свить?

— Почему — невыполнимыми? — хмыкнул Калистрат. — Ты — отцова кровь, на тебя клад аукнется. Это ведь ежели чужой человек клад возьмёт, так его невидимка схватит и держать будет, пока тот клад не выпустит. А ты — бери. И уноси.

— Кому? Вам? — Осташа сощурился.

— А кому ещё? Государыне-блуднице? Никонианцам в монастырь? — глаза Калистрата глядели как ружейные дула. — Или себе? Так тебе с казной почто сплавщиком быть? Ты на казну всю Чусовую купишь вместе со всеми Демидами!

— А без казны вы человеку доброе имя не вернёте?

Калистрат не отвечал — глядел на Осташу и ухмылялся. Конон вроде и не слушал, жмурился на солнышко.

— Тьфу честь ваша сплавщицкая!

Осташа подумал и плюнул под ноги Калистрата, уже не боясь гнева стариков. Понятно стало, что не будет ему здесь прока. Но отчего же Конон молчал? Конону-то какая корысть?

— Нечем мне доказать, что батя честен, кроме веры своей в него! Но помяните моё слово — я докажу! — предупредил Осташа. — Ладно, найду я казну, только вы её не получите! Да я и сам её брать не буду, потому что батя не брал — значит, нельзя и мне! Но найду и всем докажу — батя честен был!..

Осташа помедлил, испытующе глядя на сплавщиков, и решительно надел шапку.

— И провались ты, дядя Конон, с твоей властью, коли власть твоя правде не радеет! — отчаянно добавил он. — Ко-

му нужна-то она, кроме тебя да захребетников твоих? Сам семьдесят раз на сплав ходил, а совести и на один раз не заработал!

Калистрат уже было вскочил, но Конон — даром, что слепой, — как-то сумел схватить его за шиворот, удерживая на скамейке. Он криво улыбался, мучительно вглядываясь почти прозрачными, почти невидящими глазами в Осташу.

— А щенок из тех, что не тонут, — пробормотал он то ли с одобрением, то ли с ненавистью.

— От бати своего спóрышек... — прошипел Калистрат.

Спорышек — это яйцо, что петух снёс в навозную кучу; из этого яйца змей-василиск вылупляется.

— Вижу я... — продолжил было Конон.

— Да отемнел ты давно!.. — крикнул Осташа, перебивая.

— Вижу я, — упрямо гнул Конон, — что сплавщиком тебе не быть. Не дам. Расплатишься за себя, и за батю тоже, хотя ни ты, ни Переход небось и не знаете, за что платите...

— А за что?!

«Пугачом мир за грех свой платил», — говорил батя. Но какой грех-то? Какой грех у подневольного, у проданной души?

— И коли тебе сплавщиком не быть, я тебе поясню. Ты теперь как мёртвый для сплава, и слово твоё людям — персть и блазн. Чего, думаешь, мы, старики, тут при сплаве делаем? Сидим и пальцами тычем: этого бери в сплавщики на такую-то барку, этого на такую-то, а этого в шею гони? Кто бы нас, кто бы меня тогда слушал? У всякого купца и заводчика, у всякого приказчика и сплавного старосты своя голова на плечах! И других ему не требуется. А мы, старики, не сплавщиков назначаем, а всем сплавом руководим. Это мы говорим: та барка уьётся, а та дойдёт, понял?

Осташа слушал и ухмылялся, повернувшись боком.

— Каждая барка — это узда на купца или заводчика. Тот купец обманул — покарать его! Тот заводчик шибко подниматься начал, отчего нашему делу ущерб, — его обрушить!

Эти вклад дают щедрый — и скатертью дорога! Здесь, на горах, купцы да заводчики как хотят, так и куролесят, но вся сила их с Расеи сюда по одной-единственной жиле течёт — по Чусовой! Кто на Чусовой хозяин, тот у становой жилы любого купца и заводчика нож держит и заставляет его плясать, как для дела нужно!

— Для какого дела? — тотчас с презрением спросил Осташа.

— Для дела нашей веры! Чьим иждивением скиты живут? Манны себе пока не вымолили!

У Осташи от таких слов дрогнуло в коленях. Он чуть отступил, сжимая кулаки.

— Слышал я уже сказки об этом... — хрипло сказал он. — А батя мой говорил, что не может того быть! Это церковники-никонианцы власть без правды и без искупления забрали, а наша вера того не приемлет. Или ты, дядя Конон, в единоверие склонился? Наша вера за власть и волю всегда ответ держит! Аввакум в Пустозёрске заживо сожжён!.. Коли ты про такую власть свою говоришь — докажи! Ведь сами у меня за батю доказательств требуете! Докажи, чем платишь за тех, кого на сплаве убиться приговорил? Что-то ты, и от сплава отойдя, в скиты не подался грехи замаливать, да и другие не побираются!

— А веру держать? Веру-то? Это не искупление, что ли? — зарычал Калистрат, но ни Осташа, ни Конон на него не оглянулись.

— Вера на крови праведников стоит, а не на жертвах безвинных! — Осташа гневно глядел на Конона. — Пугач тоже кричал, что царём будет самым добрым, да только и близких своих сгубил, не то что прочий народ! Ежли правда то, что ты говоришь, — то отступник ты хуже Никона и душегубец, как Пугач!

— С Пугачом меня не равняй! Пугач — царёв ургалан языческий! — Конон повёл рукой, словно отгонял от себя

морок. — В нашем деле каждый своё платит — и я, и заводчик, и сплавщик, что барку бьёт. А как сплавщик платит — тебе того знать не надо. Тебя в сплавщики не возьмут.

— То-то батя и не шёл к тебе!

— И без Перехода обошлись!..

Калистрат ловил глазами глаза Осташи, но Осташе уже не было дело до него, если сам Конон заговорил.

— Я ведь не мальчик, Чусовую знаю! — скрестив от извода пальцы, предупредил Осташа. — Будь у тебя хоть три башки, дядя Конон, всё одно не угадать тебе, какая барка пробежит, а какая на бойце убьётся! Хоть сто приказов дай, а Чусовая по-своему сделает! Не на чем стоять твоей власти, потому что над Чусовой ты не властен! Чусовую не колдуешь, чтоб как собака служила!

— Всё можно, — закрывая глаза, тихо сказал Конон.

— Сгинул же Переход, праведник, в сраме и смраде, — добавил Калистрат в подтверждение.

— Думай, чего помелом поганым метёшь! — рывкнул Конон.

— Ага-а!.. — Осташа даже присел, поражённо глядя на Калистрата. — А мне ведь говорили уже, что дело тут подлое!..

— Перехода гордыня сгубила, — высокомерно сказал Калистрат.

Конон нахмурился и опустил голову, сжал ладони на рукоятке своего посоха.

— Переход оту́ром хотел Разбойник пройти... — продолжал Калистрат.

— Можно Разбойник оту́ром пройти! — опять перебил Осташа. — Я сам с батей в первый раз его оту́ром прошёл! Дай мне барку — я снова оту́ром пройду! Ведь не дашь!.. Если я оту́ром пройду Разбойник — все поймут, что вы батю сгубили! Без царёвой казны поймут!

— Да иди! — поднимая лицо, с холодным презрением ответил Конон. — Найди барку и иди! Хоть волчком вокруг Разбойника уейся! Все равно тебе сплавщиком не быть!

— На ваш лад и не надо мне! — отбрасывая последние надежды, отказался Осташа и попятился. — Понял я, дядя Конон, что богомерзкое дело ты затеял и ведёшь его с успехом, раз совесть и честь сплавщицкую похерил без страха! Да ладно. На дела твои мне — как и тебе на меня — плевать! Сам перед богом ответишь. Но имя батина тебе на поруганье я не оставлю! Правду мне один добрый человек говорил — повязано тут у тебя всё! И сплавщики, и казна царская, и батина смерть! Я у тебя до кишок докопаюсь! Знаю я, что Гусевы, Сашка и Яшка-Фармазон, живы остались! Яшку сам я видал и даже из торбы его крестиками родильными от сплавщиков разжился! Кто их у сплавщиков собирал, а? На что? Не пояснишь мне? При чём тут батя и казна, не растолкуешь? Радуйся, что сейчас я ничего ещё не понимаю, — но я пойму, обещаю тебе!..

Лицо у Конона окаменело, когда Осташа сказал о крестиках и Гусевых. Осташа отступил ещё на пару шагов — чтобы Калистрат не схватил его. Впрочем, от Калистрата, наверное, Осташа мог бы и сам отбиться. Но кто знает, сколько мужиков у Конона в домине сейчас за ставнями прячется? Хорошо, хоть Прошка со двора убрался.

— Эх, дядя Конон! — издалека крикнул Осташа. — А ведь и ты честным сплавщиком был когда-то! Барку вёл мимо бойцов и думал только о том, как барку не убить, — не важно, чей груз она везла! Что за бес в тебя вселился? Чего тебе не хватало-то? И даже если для веры нашей ты мзду собираешь — не впрок это! Душу губишь! Таким служеньем на крови ты веру только порочишь хуже попов никонианских!..

Осташа пригнулся — над его головой, вращаясь, пролетела палка Конона.

— Калистратка, лови его! — рыкнул Конон.

Но Осташа не стал ждать, развернулся и помчался к воротам, плечом вышиб калитку и дунул прочь от Угольной горы.

МЕЖЕУМОК

Осташе повезло: потолкавшись на Ревдинской пристани, он отыскал оказию. Федька Мильков, приказчик илимского купца Сысолятина, собирал бурлаков на межеумок до Илимма. Сысолятин богател тем, что скупал оставшийся от Ирбитской ярмарки лежалый и нераспроданный товар, который после весеннего сплава падал в цене даже ниже, чем стоил хозяину. Осташа и так был доволен оказией, но удачей оказалось то, что межеумок вёл Алфёрка Гилёв — молодой сплавщик, чей родильный крестик потерял Яшка-Фармазон.

Руки у Конона были длинные, потому Осташа ночевал в шитике посреди пруда, опустив на дно лиственничную якорницу. На пруду было спокойнее. По дальнему берегу, под Сороковой горой вдоль плотбища и пристани горели костры. Огни отражались в воде длинными языками. По слободкам брехали собаки, но молчал, не грохотал остановленный завод. Трубы не пыхали пламенем, дым не мутил неба, исколотого звёздами. Горы чернели угрюмые, словно угроза, только у Волчихи под луной светилось покатое плечо, как лощёное.

Осташа скорчился на дне лодки под коротким зипуном. Он думал про Конона, про батю, про себя. Отчего ему нет в жизни пути? Будто малец, которому пора уже самому топтать, а мать ножом меж ног по земле не черкнула, пути не перерезала. Бедовик он, что ли, который всем несчастье приносит и от которого все открещиваются? Нет, в бедовость свою Осташа не верил.

Если даже Конону Шелегину на сплавщицкую честь плевать, то дело только в царёвой казне. Прав дядя Флегонт. Батя один знал, где она запрятана, и батю берегли. Но вот что-то случилось, батя стал не нужен — и его сгубили. А что случилось? А, наверное, ничего не случилось. Просто Конон понял, что батя не скажет о казне, и всё. Ничем батю не заставишь сказать. И вот тогда взялись за него, за Осташу.

Да, батя не открыл ему, где спрятан клад. Но Осташа мог что-то видеть, что-то слышать, о чём-то догадаться. Клад — вещь колдовская, он и сам, без бати, мог на Осташу отозваться. И теперь Осташу хотят заставить пройти эту дорогу до конца — найти золото. Ему легче, чем всем остальным. И потому для него перекрыли путь на барку. Найдёшь казну — будешь сплавщиком. Не найдёшь — сгинешь. А бояться, что Осташа с казной утечёт, глупо. Куда убежишь от скитов, между которых по всем трактам, по всем тропам ходят тайные люди — кто с книгами в котомке, кто с кистенём в рукаве? Можно просидеть на золоте в какой-нибудь глуши год или два, как дырники сидят, но всё равно потом выйдешь, покажешься, и тебя отыщут. Только разговор тогда будет короткий.

А что делать? Казну Осташа никому не отдаст, потому что батя не отдал, а батя лучше Осташа понимал, чего можно делать, а чего нельзя. И как же без казны стать сплавщиком, если Конон не пускает, сплавной староста мстит, денег на свою барку нет и не найдётся, а имя Переходов по всей Чусовой ославлено? Если уж купцов в оврагах не караулить, чтобы денег на барку добыть, то выход один: вернуть имя. А чтобы имя вернуть, надо доказать, что батю убили. Доказать можно, если Разбойник отуром пройти... Но для того нужна барка, а её нету!.. И убийцев, получается, тоже нету, ведь никто батю не стрелял, не давил, не рубил... Чего делать, кого искать, как быть?.. И дальше Осташины мысли расползались во все стороны.

Эх, сейчас бы о том с дядей Флегонтом потолковать... Но Чусовая — длинная, за ответом на каждый вопрос не будешь грести триста вёрст. Думай сам, решай сам. «Я главное знаю, — сказал себе Осташа, — а уж как под это главное всё остальное расставить, чтобы ладно вышло, скумёкаю — не дурак. Все тайны от лукавого. Вот и буду хвататься за каждую и разгадывать. Здесь любой узелок к общей отгадке ведёт, потому что весь клубок вокруг единой сердце-

вины накручен — вокруг царёвой казны. И нечего метаться как курице в курятнике. Богу веришь — бога слушай. Он мне послал Алфёрку Гилёва: чем тайна родильных крестиков хуже тайны оживших Гусевых? Вот за эту тайну и возмусь. Даст бог день, даст бог хлеб».

Осташа приподнялся на локте, попил воды из пригорш-ни и улёгся вновь, перевернувшись на другой бок. И уснул мгновенно, плотно, словно рукой мертвеца обведённый.

На рассвете открыли затвор плотины, прудовая вода пошла в Чусовую, и Осташин шитик потянуло к водосливу. Осташа проснулся от поскрипыванья натянутой верёвки якорницы.

...Купцы почти до полудня ждали, пока пруд нальёт обсохшую на жарё Чусовую, чтобы отвалил демидовский караван из пяти полубарков. Ещё почти час пришлось ждать, пока издали донесётся выстрел с вершины Лебедевой Толчеи — бойца весной опасного, а сейчас просто муторного. Это означало, что демидовский караван прошёл. Скрежеща цепями, затворы над водосливами поползли вниз, а купеческие суда тоже тронулись, толкая друг друга и сцепляясь грёбями под брань бурлаков и сплавщиков.

Сысолятинский межеумок побежал первым, никого не задев. Был он широкий и плоский, как сковорода, чтобы не погружаться в воду глубже, чем на восемь вершков, и пореже садиться на огрудки. По носу и по корме его поверху перестилали палубы, на которых у парных гребей стояли бурлаки. Посерёдке, над открытым льялом, двускатной палаткой на коне был натянут полог из парусовки. Скамейку свою Алфёр велел поставить перед пологом, как обычно делали меженные сплавщики.

«Всего-то единый раз сам сплавщиком прошёл этой весной, а уже меженным отправляют...» — хмуро и завистливо думал Осташа про Алфёра, налегая на гребь. В меженные, летние сплавщики брали только самых опытных. В межень хоть и не опасно, зато река почти непроходима. Если за-

водчик решал свой малый караван отправить в межень, то спускал пруды, «наливая» Чусовую. Иначе сидеть его полу-баркам на мелях до осеннего половодья. Под такие спуски воды и старались подгадать купцы, бесправные на Чусовой. Федька Мильков, сысолятинский приказчик, не зря споил в кабаке плотинному мастерку три четверти водки: выведал, когда Демиды прикажут сделать спуск. Вон Федька — лежит с перепоя на кормовой палубе ничком и только блюёт за борт.

На весенний сплав Осташе в этом году сходить не пришлось, и потому так отрадно было хоть сейчас постоять на свежих досках палубы, ощущая, как судно несёт течением. Струились мимо весёлые травяные горки, окутанные густым медвяным духом, приземистые скалы, частые деревни плотно населённых демидовских вотчин. Солнце палило, будто жара нынешним летом застряла на Чусовой, точно барка на отмели. Осташа чувствовал, как под руками упруго выгибается и поскрипывает гребь. Сплавная работа лечила душу, смывала с неё обиду и зависть, словно грязь с подошв.

Чего уж злиться на Алфёрку? Ну, повезло ему. Гилёвы на Чусовой были семьёй сплавщиков многочисленной и уважаемой. Подлости за ними не водилось, и свою дань мертвецами они заплатили Чусовой сполна. Ниже Сулёма на Чусовой даже стоит боец, прозванный Гилёвским: здесь лет двадцать назад за три года утонуло три сплавщика из Гилёвых. Алфёрка в свою породу пошёл: все Гилёвы коренастые, короткие, какие-то круглые. Алфёр Осташе по годам примерно ровней приходился, разве чуток постарше, но выглядел совсем как подросток. Держался он с ранней мужицкой солидностью, не напускной, а семейной. Гилёвы все такие были, но у Алфёрки выходило как-то потешно. Осташа усмехался и поглядывал через плечо на то, как Алфёр командует, стоя на скамейке, как он всматривается в реку и морщит чистый мальчишечий лобик.

И всё же межеумок оставался межеумком, а не огромной баркой. На барке у одной потеси стоят по десять бурлаков, а тут на всё судно вместе со сплавщиком было только девять человек. Правой гребью работал здоровенный парняга из Ревды, Осип. Оська только ломался возрастом на мужика, а потому всё время сердито молчал, боясь своего надтреснутого баска. На пристани его провожала матушка, совала ему узелок, а он отворачивался, прятался. На борт поднялся весь красный, бросил узелок на тюки под навесом и сразу вцепился в гребь. Судя по силище, выйдет из него года через три знатный подгубщик.

Узелок заботливо прибрала молодая беременная баба, стоявшая на гребі рядом с Оськой. Баба была из мелких, а живот её под сарафаном так знакомо круглился, что только дурак бы не догадался: баба — жена Алфёрки Гилёва. Алфёрка на бабу не глядел. На левой кормовой гребі работала другая баба, высокая, плоская и широкая. Эта, видать, была заводская, изрöбленная. В груди у неё хрипело, а на сером лице горел ядовитый румянец. Рядом с чахоточной Алфёр поставил мужичонку из проштрафившихся конторских. Конторский был в драном сюртуке на голое тело и с бабьим платком поперёк плечи. Он тихо стонал и охал, косился на Федьку: вчера вместе плотинного спаивали, а сегодня опохмелки нет. Третьим из Федькиных кабацких подручников был Платоха Мезенцев, старый бурлак. Федька прокутил деньги, положенные на Платохинова напарника, и сейчас Платоха грёб один, только дико таращил глаза, будто ни за что в пекло попал.

Осташе в напарницы пришлась резвая бабёшка Фиска из Северки. Фиска второй год жила соломенной вдовой от мужа с забритым лбом, и жизнь её, похоже, катилась колесом по кочкам. Под Фискиным задорным глазом темнел свежий синяк.

— Ох, люблю раскольничков, молодых-холостых-неженатых! — приговаривала Фиска, подмигивая Остахе

подбитым глазом. — Ох, повезло мне с соседусшкой, по стати вижу: мужичок, всё торчок! Ну, Осташка, не дай промашку! Любо, вижу, тебе с бабицей-то туда-сюда гребло толкать?

Осташа не отвечал, но ему постыдно нравились Фискины срамные намёки. От Фиски уже с утра пахло водкой, и потому для Осташа она была как бы дозволенной бабой: всё равно добро пропадает. Осташа мельком, но цепко осматривал её: и на рожу хороша, пусть и с припечаткой, и груди под сарафаном колышутся, как тугое коровье вымя, и крепкий зад растягивает подол — того гляди, треснет. От Фиски так и тянуло ласковым паскудством, в котором Осташа поскользнулся, но не спешил выправляться: что с гнильцой, то сладенькое.

— Двугривенным-то тебя свёкор одарил? — с усмешкой спросил он. — Щербатая деньга к прибытку?

— А-а!.. — Фиска махнула рукой и звонко рассмеялась, словно горох просыпала. — Свёкор у меня давно на кокуе под голбцом червей кормит. Сирота я, сирота горемычная, никто не приласкает, по голове не погладит! Выискался тут один молодец с красных крылец, на миру песни пел, на юру дрыном поддел... Пожалел бы ты меня, раскольничек, нету мне любви на этом свете! Ничего мне не надо, кроме слова ласкового, прибегу — только свистни!

— Свистеть на судне — к беде, — буркнул Осташа, заметив, как укоризненно глянула на него беременная жена Алфёра.

Ревдинская вода растеклась по Чусовой вёрст на двадцать и бодро проносила суда над отмелями и огрудками. Алфёр командовал толково. Сам Осташа шёл бы не так, но и Алфёр умело огибал донные валуны и стороной обходил скалы. Только пару раз межуемок громыхнул днищем на каменных ершах.

На длинном плёсе вдоль Магнитных гор, сплошь издырявленных копиями, Алфёрова жена обнесла бурлаков су-

харями. Бурлакам купец Сысолятин всегда нравился за то, что на своих судах кормил работников за свой кошт. Опустив глаза, Алфёрова жена протянула Осташе раскрытый мешочек и тихо сказала:

— Кушайте, Остафий Петрович.

«Выходит, Алфёр узнал меня», — подумал Осташа, обмакивая сухарь в воду за бортом.

В синевато-красном, воспалённом дыму сухого заката проплыл знакомый Осташе Билимбай: ряды судов вдоль причалов и кирпичные трубы завода за побелевшими кровлями изб. Ревдинский караван сделал хватку на устье речки Битима, но Алфёр повёл межеумок дальше. Осташе было понятно почему. Ещё у Шайтанских заводов Федыка Мильков наконец поднялся и взялся за гребь рядом с Платохой, взбодрённый близостью кабака. Осташа усмехнулся хитрости Алфёра: сам бы он попросту причалил за ревдинцами, а Федыке дал бы в зубы. Но Алфёр решил увести межеумок подальше от жилья. Проплыли Коновалову деревню, Вересовку, Крылосову, и уже в темноте зачалились у берега вслед за камнем Нижний Зайчик. Разозлившийся Федыка молча прыгнул с борта на мелководье и, не дожидаясь костра, утонул по тропе за скалу. Алфёр только тяжело вздохнул.

Мужики пошли за дровами, запалили огонь. Алфёрова жена и Фиска засуетились у котла. Осташа вырезал из лещины удилище, высучил из рукава нитку, отцепил от шапки крючок и забрался на камень порыбачить. Затихшая река, подёрнутая тонким прозрачным дымком, в темноте казалась даже чуть выпуклой. Сзади подошёл Алфёр.

— Дозволишь присоседиться, Петрович? — негромко спросил он.

— Садись, камень не казённый.

Алфёр присел рядом, долго глядел на неподвижный берестяной поплавок-бабашку, словно вплавленный в блестящую воду.

— Что, Петрович, не сложилось у тебя дело с Кононом? — спросил наконец Алфёр. — В Ревде все рассказывают, как Конон в тебя костылём кинул...

— Сам видишь: ты на скамейке, я на кочетках.

— Меня хоть и взяли, но я не от того тебе скажу — к лучшему это, — вдруг произнёс Алфёр. — Не думай, на Чусовой не все верят, что Переход барку убил и казну украл.

— Да мне уж и разницы нет, чему верят, чему не верят, — зло ответил Осташа, дёргая лесу.

— Это не ты, это обида твоя говорит. Я тебе не враг, не соперник. Меня батюшка в смирении, в уважительности воспитывал. На Чусовой всем места хватит. Ты послушай...

— Ну, слушаю, — согласился Осташа.

— Если ты хочешь сплавщиком стать, тебе не имя Перехода обелять надо, а в Кононов толк перекинуться... Все сплавщики, что под Кононом, — в его толке...

— Истяжлецы, что ли? Новые-то?

— Да они не новые... У нас в Сулёме до Весёлых гор близко, мы про них многое знаем, чего дальше не расходится. Истяжельство ещё старец Иова, давно покойный, завёл, и у него в послушниках Прёнчище Метёлкин был — слышал о нём?

— Это который с Дегтярских рудников? Он после Пугача тоже себя Петром Фёдоровичем объявлял, только разгультяясь ему не дали, сразу схватили и в Екатеринбург повесили, да?

— Он. Только по толку истязельческому он и вправду Петром Фёдоровичем был...

— Не много ли Петров Фёдоровичей-то? И Пугачёв, и Метёлкин, и Богомолов на Волге? Как ещё Андреян Плотников, Золотой Атаман, себя царём не назначил-то?..

— Не в том дело. Мне вот нельзя говорить-то, а я тебе говорю, так ты слушай... Иова свой завет старцу Гермону передал. Метёлкин-то и бегал между старцем Гермоном и Мироном Галаниным, между Мироном и Кононом Шеле-

гиным, между Кононом и Гермоном... Мирон в конце концов признал истязательство — значит, есть за ним правда. Мирона Галанина не обманешь. Всё это чуть-чуть до Пугача было... Ну а после Пугача Прончище и попробовал подняться, пока народ ещё взбаламучен был, только ему сразу голову скрутили. А толк Иовы Гермон давно под себя перевёл. Конон у него в первых последователях, даже Крицына Калистрада, зятя своего, уставщиком поставил. Так что если хочешь в сплавщики — иди лучше к старцу Гермону за Потную Горку. Гермону ведь до Перехода дела нет, он о Переходе небось и не слышал вовсе. Возьмёт тебя. А Конону только соглашаться останется.

Осташа очень удивился, что есть ещё какой-то способ попасть в сплавщики, о котором он и не догадывался. Он глянул на Алфёра. Алфёр следил за поплавком.

— Ключёт, — Алфёр кивнул на бабашку.

Осташа ожесточённо выбросил удочку в реку.

— Вера — не лишай, на сучок не переведёшь, — со злобой сказал он. — Её даже ради хорошего дела менять — всё одно отступничество. Ты бы мне ещё посоветовал в магометане податься.

— Вот и я о том же. Радуйся, что не берут тебя в сплавщики, потому что вера твоя целее.

Алфёр всё так же глядел на воду, словно и не заметил отсутствия полавка.

— Что же за толк такой — истязательство? — осторожно спросил Осташа.

— Того мне говорить нельзя... Да я порядком и не распознал ещё. Я же только-только после Крещения таинство принял, полгода всего... Знаешь, кто обмирал, да выжил — тот свет видал. Он всё бы о нём рассказал, да как дойдёт до трёх заветных слов — так язык коснеет. Вот и у меня с истязательством так же. Но одно я понял, главное: то, как этим толком Конон промышляет, — ересь. Душе погибель. Не суйся туда. Обратного пути не дадут. Дорожка только

в один конец. А кто с чертями связался, тому всегда чертям работу надо давать, иначе разорвут. В нашей вере толк истязельский — как Пугач на царствии, хотя по истязельству Пугач — царь по праву. У истязельцов смирение убито и гордыня верх взяла, чего человеку от бога не положено. А у тебя батюшка тебе ясно ответ давал, как сплавщиком быть. Трудно, конечно, только сам помни завет нашей веры: беги от торных путей. Вера в удаленны неколебима.

Алфё́р подтянул ноги, обхватил их руками и положил подбородок на колени. Он молча глядел куда-то за реку, за берёзовый перелесок на другом берегу. Оста́ша не знал, чего сделать, чего сказать. Ночь была тихая, тёплая, звёздная. У костра гомонили мужики, дождавшиеся Феды́ки со жбаном, слышался хохот Фиски. Чусовая нежным, бабьим изгибом уходила за поворот. Наду́тым ры́бьим пузы́рём белел взлобок скалы со смешным именем Нижний Зайчик. Хотя и камень, хоть и чусовской боец, а никакой не боец. Настоящие бойцы там, дальше, за Гуляй-камнем — в утрюмой вайлу́те стиснули горло реки, вывернув кривые локти под ветер-лесобой. И там, в горах, в еловых у́ймах, на свет из подземных скитов, как змеи из нор, выползают толки один уродливее другого, словно вера Аввакумова истлела, как мшара на жарё, и вместо сокровища в кладовой яме только смрад и мертвецы.

— Алфё́р Иванович, Оста́сий Петро́вич, ужинать жалуйте, — позвала сзади Алфё́рова жена.

— Идём-идём, Ефимья Ивановна, — ответил Алфё́р.

— Постой. — Оста́ша вдруг схватил Алфё́ра за рукав. — Хочешь, я сейчас у Феды́ки жбан растопчу и в глаз ему дам?..

— Да бог с ними со всеми, — отмахнулся Алфё́р. — У каждого своя радость...

И Оста́ше стало понятно, что заботиться пьяными или похмельными бурлаками Алфё́ру просто тыфу в сравнении с бедой, в которую он попал.

Алфёра ушёл в хворостяной шалаш-бугру на опушке поляны, и Ефимья отнесла ему ужин в шалаш. Осташа уселся возле костра. Осыка, намаявшись, уже уснул голодным. Чахоточная баба отошла в сторонку. Федька Мильков браги не жалел, и конторский мужичишка скособочился, как гриб-сморчок, задрёмывая между Федькой и Платохой.

— Я на мережу вот такого сома брал!.. — горячась, доказывал Федька Платохе и широко разводил руки.

— Да брешешь, — гудел Платоха. — Сом? На мережу? Такого?..

— В прошлом году брал, провалиться мне! С Холостяка на Сулёмском плёсе прямо в Купальную ночь! В яме сразу за Холостяком, у Песьянова ручья! Я, дурак, обругал его, сома-то, — а сом у водяного конь, водяной мне все лесы и заплёл бородой! Ераску Беспалого в Илеме знаешь? Вот спроси у него — было!

Пьяненькая Фиска визгливо смеялась, махая на мужиков рукой, словно говорила им: «Да ну вас, врулей!» Но Федька с Платохой спорили для себя, на Фиску не смотрели. Осташа, отвернувшись, чтобы не поганить еду, быстро сметал затируху. Он всё ещё перебирал в уме слова Алфёра, будто искал Алфёровой тоске другое объяснение, попроще, чтобы не осквернить мечту. Но ничего не придумывалось. Осташе хотелось вскочить, распинать костёр, нахлобучить жбан Федьке на башку так, чтобы клёпки разъехались лепестками. Хотелось хоть что-то сделать, отомстить за то, что кто-то уже успел излапать его веру.

Фиска мягко навалилась на плечо Осташи своим плечом; изогнувшись, приникла горячим боком.

— Ой, раскольник, подмёрзла я что-то, — сладко пробормотала она. — Погрел бы ты меня, что ли, полой вон кафтана закинул...

— Пошли в лес, погрею, — вдруг хрипло сказал ей Осташа.

— Да верить-то вам... — жеманилась Фиска. — Заведёшь за куст, а там: «Грех, грех!» — и бежать...

— Сама не убеги, — недобро предупредил Осташа.

Фиска пьяно и размыто посмотрела Осташе в лицо, ничего не заметила. Закряхтев, она оттолкнулась от Осташи и поднялась на ноги, одёрнула подол. Осташа тоже встал и сразу шагнул в темноту от костра, дёрнул Фиску за руку. Платоха и Федька, похоже, и внимания на них не обратили.

Никешка Долматов в первый раз поимел бабу у себя в Кумыше в бурьяне за баями, а потом двадцать раз рассказывал об этом Осташе, перебирая все мелочи. Он сам дивился своей отваге и поражался, как это всё у него получилось, если он перед бабой трусил, будто чёрт перед петушиным криком. Но Осташа сейчас ни о чём таком и не думал. Он был точно ядро, выстреленное из пушки, — ему надо было ударить всем телом со всего разгона во что-нибудь живое, и чтобы сразу вдребезги. Он толкнул испуганно охнувшую Фиску в дерезняк, повалил на папорот и сам навалился сверху, стискивая бабу и со страстью, и с ненавистью. Ему эта любовь была вовсе не любовью, а точно он кол в колдуна заколачивал. И нарыв прорвался, затопив острой и сладкой болью, а потом уж стало можно вздохнуть.

Осташа сполз с Фиски и встал на колени, подтягивая штаны и завязывая на брюхе верёвочку. Фиска тоже села, некрасиво раздвинув и подогнув голые, полные, белые в темноте ноги. Платок её сбился на левое ухо, растрёпанные волосы волной укрыли подбитый глаз, губы размазались по лицу.

— Так, что ли, да?.. — спросила Фиска и заревела. — Так, что ли?.. Да что же я сделала-то тебе? Да за что же ты меня?.. Господи, что за жизнь такая — без детёнка, без мужика!.. В петле слаще!.. Да что же вы все, мужики, злые-то такие, кто вас сглазил?..

Осташа смотрел на плачущую Фиску, и ему было и жалко, и противно, и стыдно, и досадно. Он поднялся на ноги.

— Ну, чего ты, — пробурчал он и наклонился, подавая руку. — Давай вставай...

— Да уйди ты, постылый, — тихо сказала Фиска.

Осташа распрямился, стискивая челюсти, со свистом выдохнул, развернулся и пошagal прочь. Нет, не того он ожидал от бабьей любви... Он плюнул на пень, как в чью-то рожу. О таком он с Фиской не договаривался. Полюбились — и в стороны, обоюдно довольные. И больше ничего. Её печали — не его забота. Но саднили душу вскользь брошенные жестокие слова: «Кто сглазил?» А никто не сглазил. Просто, если б не Пугач, не такой была бы у него первая любовь с Маруськой Зырянкиной.

Осташа молча прошагал мимо костра. Федька с Платохой, ничего не заметив, всё спорили про стерлядок и лещей. Осташа перепрыгнул с берега на палубу межеумка, во льяле достал из-за тюков свою котомку и лёг на доски, ткнув барахло под голову. Хрустнула в котомке бумага яицкой грамоты, звякнули крестики.

«А кресты, видать, истяжлецы с себя и отдают Конону», — подумал Осташа, засыпая. И ему уже сразу начало сниться, что он вернулся домой, а бати нету, и всё унесли воры, только кивот не тронули.

ЗА КАМНЕМ ЧЕГЕН

Федьке нос разъело, и теперь добром его уже было не остановить. С утра он с Платохой опохмелялся, а потом всё катилось по наезженной дорожке. К обеду Федька и Назарыч, конторский пьянчужка, уже валялись на палубе, а Платоха подносил Фиске. К ночи Платоха и Фиска падали, а Федька вставал. Он исхитрялся добывать хмельное чуть ли не в глухом лесу. В Уткинской Слободе, на Каменской пристани, в Трёке и в Курье он вообще бежал за межеумком по берегу и заскакивал в попутные кабаки.

Алфёр день простоял в Старой Утке, ожидая спуска воды из пруда для каравана Сылвенского завода. Когда же воду пустили, Федьку, Платошу, Назарыча, Фиску и молодого

Оську, которого Федька потихоньку прибирал к рукам, Алфёр не смог найти даже по кружалам. «Дак сам смотри, сплавщик, что за пристань!.. — орал потом пьяный Федька, пытаясь обнять Алфёра. — Винокуренным бойцом начинается, Бражкиным кончается!.. Куды деваться хрещёному?..»

Воду Алфёр упустил, и ниже бойца Слизкого потянулись броды, отмели, огрудки. Межеумок забренчал дном по каменистым ершам. За трухлявыми глыбами Дыроватого камня возле устья ручья Крутой Лог навстречу межеумку попался рудный обоз. Две лошади, впряжённые цугом, шагали по мелководью и тянули вверх по течению большую лодку, груженную рудой с недалёкого Пестерёвского рудника. Межеумок тащило прямо на обоз. Возчик заругался, замахал шапкой, заметался в воде вокруг лошадей. Лошади шарахнулись к берегу, и он отскочил в сторону.

— Э-эх, савраски!.. — умиленно застонал Платоха, налёг на гребь и затабанил, чтобы межеумок прошёл правее.

— Куда-а?!.. — заорал Осташа.

Он работал носовой левой гребью; Алфёр, махнув рукой на сплавщицкий гонор, ворочал правую носовую гребь. На корме слева стояли чахоточная и Алфёрова жена. Федька с Фиской пили под навесом, Назарыч валялся тюком, Оська корчился в судорогах рвоты над бортом. Межеумок грузно разворачивало на мелком стрежне и волокло кормой на буруны недалекого перебора Чегён.

Чегеном его прозвали не зря. В межень перебор обсыхал так, что посреди реки выступал длинный остров — огрудок. Проходить перебор надо было впритирку к правому берегу, по дуге. Суда не всегда успевали отгрести и развернуться, а потому их забрасывало водой на галечниковые отмели вокруг огрудка. Сниматься с них приходилось с чегенями — с длинными и крепкими жердями вроде ваг, которыми пни корчуют. Чегени подсовывали под дно и приподнимали судно, сталкивая на глубокую воду. Камнем Чеген звали низкие, бурые, замшелые скалы перед островом;

ручём Чегени — речушку за камнем. По берегам этой речушки все хорошие сосны давно были порублены бурлаками на слегу.

Межеумок бортом вперёд вынесло на перебор. Вокруг запрыгали мелкие волны. Под днищем забабахали камни. Судно затряслось, теряя ход, наконец с шорохом и хрустом обессиленно заползло на мель и намертво встало, выпустив вниз по течению длинный поток пузырей и мути.

Осташа поднял гребь и бросил на доски палубы. Алфёр молча опустил руки, отвернулся к берегу, заросшему непролазной дрёмой, и понуро замер возле огнива.

— Ты уж меня не останавливай, — сквозь зубы тихо сказал Осташа Алфёру, вытащил из-под сплавщицкой скамейки длинную палку с вершковыми зарубками — ею Алфёр измерял глубину — и пошёл на корму.

Платоха чесал башку, глядя на перебор. Осташа, не окликаая, кулаком смазал его по уху, и бурлак без вопля бултыхнулся за борт. Осташа шагнул к Оське, висящему над водой, и ногой дал в зад — Оська, замычав, тоже кувыркнулся в воду. Откинув полог навеса, Осташа спрыгнул в лялю.

— Что там за беда?.. — начал было для куража гневаться Федька, вальяжно лежавший на тюках. Осташа молча цапнул его за бороду и поволок наверх, а ногой безжалостно раздавил плоский бочонок-клягу с хмельным.

— Ты чего, сучонок, творишь?!.. — заорал Федька, не успевая встать с карачек. — Покалечу!..

Осташа толкнул его спиной вперёд прочь с борта и пнул вдогонку шапку, свалившуюся с Федькиной макушки.

Фиска суетливо ползала по тюкам под навесом, что-то быстро собирала. Осташа с наслаждением огрел её палкой по спине, потом по круглой жопе и снова поперёк хребта. Фиска птицей вылетела из-под навеса. Осташа замахнулся снова и принялся охаживать Назарыча. Старик, ничего не соображая, закрывался руками. Осташа сгрёб его в охапку, вынес и бухнул за борт вслед за всеми прочими, а потом

начал выкидывать и чегени, заранее заготовленные и сложенные с краю поверх груза. Только после этого на душе его стало горячо и чисто, и он тоже спрыгнул в воду.

Алфёрова жена и чахоточная баба уже стояли у борта рядом с очухавшимися бурлаками. Сам Алфёр выуживал расплывшиеся ваги. Глубина здесь была — по колено. Федька, нагнувшись, шумно пил из ладоней, Оська дрожащей рукой вытирал рот, Фиска перевязывала платок.

— Ловок ты руками махать, — одобрительно пробурчал Платоха, выжимая бороду.

— На сплаве у Трёки народ от хмельного трёкается! — тяжело дыша, прорычал Остаха. — А вы, сапожники, что за гульбу развели? Вот теперь давайте судно снимать. — Он перевёл дух. — Командуй, сплавщик...

Над обмелевшей излучиной, над грязными кустами островка носились стрижи. Чусовая широко журчала по всему пространству перебора — певуче на галечнике и с ворчливым рокотом на стрежне под вогнутым берегом с нечёсанными космами урёмы. Позади, на склоне над поворотом, светлели, как протёртые, каменные выступы Чегена. Облака сгрудились вдали на западе, словно ушедший вперёд караван.

Фиска и чахоточная баба отцепили от борта межеумка длинный открыл из широкой доски — неволю — и потащили его в сторону. Одним концом неволя была прикована к носовому пыжу межеумка. Бурлаки разбились на пары и стали втискивать под днище межеумка три длинных чегеня. Алфёр, отойдя подальше, чтобы видеть, крикнул:

— И-и... неволю... раз!

Фиска и чахоточная повернули неволю стоймя. Вода, заурчав, вздулась перед неволей, как перед плотиной. Бабы изо всех сил упёрлись руками в доску. За ними по течению потянулся язык пены, словно бабы оказались раскалёнными, и вода вскипела. Борт межеумка дрогнул и чуть приподнялся.

— Чегени — давай! — крикнул Алфёр.

Бурлаки потянули вверх свои концы чегеней. Осташа оказался в паре с Алфёровой женой — с Ефимьей. Она, хоть и беременная, налегла на работу в полную силу. Осташа видел, как напряглись её бедра под мокрым сарафаном. «Скинет младенца с натуги, дура...» — подумал он, пытаясь всю неимоверную тяжесть взять на себя. Но легко было посадить межеумок на мель — трудно сплавить. Назарыч тоненько застонал. И тут с сосущим звуком весь большой борт судна тронулся вверх, а потом сдал назад и грузно плюхнулся в воду с плеском и глухим грохотом, окатив бурлаков брызгами и волной. Фиска и чахоточная вздёружили неволю, освобождая струе ход. Межеумок на аршин сполз ближе к стремнине. Вокруг него медленно расплзлось в воде облако рыжей донной грязи.

— Пошла!.. — радостно закричал Алфёр. — Ну, теперь ещё разов пять — и снимемся!..

— Перекурите, братцы, — вдруг раздался сзади незнакомый голос.

Бурлаки, и Осташа с ними, удивлённо оглянулись. Рядом с Алфёром по колено в воде стояли два каких-то мужика, подошедших совсем незаметно. Один был пониже ростом, даже красивый, но весь какой-то серый, стёртый, обычный; другой — рослый, вихлявый, разболтанный, с бельмом на глазу. По бельму Осташа, чуть споткнувшись в мыслях, и вспомнил его. Этот бельмастый залезал в подклет слободской церкви за укладочкой дяди Флегонта. Ощущение опасности царапнуло Осташу по лицу.

— Ты, что ли, здесь молодым сплавщиком будешь? — спросил серый и взял Алфёра за локоть. — Отойдём на бережок, переговорить тебя зовут...

— А ты кто таков?.. — убирая локоть, недовольно сказал Алфёр. — Мне с тобой разговаривать нечего, я тебя не знаю.

— Давай, не балуй, — серый потянул Алфёра за одежду.

— Эй, тебе чего надо от сплавщика нашего? — почуяв что-то нехорошее, утрюмо выпрямился Платоха, бросая в воду чеген.

— Не балуй, — негромко, убедительно повторил серый и дёрнул плечом, вытряхивая из рукава в ладонь шипастый чугунный клубок кистеня, привязанного верёвкой к запястью. Кистень — это было без шуток; за него власти простого мужика на каторгу ссылали, как за ружьё или самопал. Бельмастый молча вытащил нож и поводил им перед собой, показывая бурлакам. Алфёрова жена зажала рот руками, с ужасом глядя на пришельцев.

— Не бойсь, — исподлобья зыряка на бурлаков, сказал серый. — Поговорят, кому надо, с вашим сплавщиком, и обратно отпустят...

— Ладно, я схожу с ними, — сдавленно сказал своим Алфёр, покрасневший от принуждения и негодования. — Подождите.

Втроём они развернулись и пошлёпали по мелководью к берегу. Серый так и держал Алфёра за руку. Бельмастый настороженно оглянулся, но бурлаки как стояли у чегеней, так и стояли, молчали. Только Чусовая журчала, обтекая межеумок и остров с колтуном кустов на загровке.

По берегу мужики повели Алфёра к камню Чеген, потом указали тропинку наверх. Видимо, тот, кто хотел переговорить со сплавщиком, прятался в мелких ёлочках над обрывом.

— У меня в шитике штуцер есть, — Осташа посмотрел на Платоу.

Осташин шитик лежал на межеумке в мурьё — в узком пространстве между грузом и палубой, где бурлаки обычно хранили свой скарб. Но Платоха прищурился на мужиков, что карабкались вверх по откосу берега, и сплюнул в воду:

— Уже поздно... А может, ещё рано. Подождём на бережку.

Бурлаки побросали чегени, гурьбой побрели к приплёску и расселись на больших камнях, валявшихся в траве. Назарыч покряхтывал — то ли надорвался, то ли сочувствовал Алфёру. Осташа ещё раздумывал: не достать ли ему всё-та-

ки штуцер?.. Не нравилась ему эта встреча. Тайком выслеждали, отвели в сторону, неизвестно, к кому и зачем... Опять эти гнетущие тайны.

Алфёрова жена медленно пошла по тропинке к обрыву Чегена, не отрывая взгляда от скалы.

— Ефимья Иванна, остановись-ка, — предостерёг её Платоха.

Ефимья остановилась на полпути. И вдруг охнула.

Над обрывом Чегена затряслись ёлочки, словно в них кто-то боролся. Потом на тропку выскочили давешние мужики — серый и бельмастый. Они помчались вниз, делая такие прыжки, что башку расшибить можно вдребезги, если споткнёшься. А потом из ёлочек вывалился на обрыв Алфёр в разорванной рубахе.

— Осташка, беги-и!.. — тонко закричал он.

В Осташу словно кол вколотили — так его зажало внезапностью этого крика. При чём тут он?.. Пришли-то за Алфёром!.. Но вслед за Алфёром на обрыв вырвался ещё один мужик — кудлатый, чёрный, бородатый до глаз, с ружьём в руках. Вскинув огромное ружьё, он единым точным движением прицелился в бурлаков, застывших на камнях от изумления... Нет, не в бурлаков — на черта они ему сдались!.. Он прицелился в Осташу!.. Алфёр неловко толкнул мужика, и тотчас грохнул, полыхнул выстрел. Пуля гулко, сочно чокнула по камню возле Осташиных ног и свечой ушла в небо, взвихрив столбик белой каменной муки. А кудлатый мужик в ярости перехватил ружьё и прикладом что было сил ударил Алфёра в грудь. Раскинув руки, Алфёр закачался над обрывом, теряя равновесие, и канул вниз. Он перевернулся вверх ногами, ударился о каменный выступ лопатками и затылком и покатился в пыли по сполóженному подножью скалы.

— Беги! — Платоха пихнул Осташу в плечо и словно разбил стеклянную посудину. Серый и бельмастый мужики уже пролетели мимо Ефимьи и были совсем близко. Оста-

ша перескочил через камень и бросился вдоль берега по тропе вниз по течению.

Вырывая траву, что путалась в ногах, расшвыривая кусты, перепрыгивая валуны, Осташа домчался до Ямной речки, сиганул на другую сторону, поскользнулся на топком месте и шмякнулся в грязь. Он быстро перекатился на спину, чтобы ногами в рожу встретить подбегавших мужиков. Но те перемахнули через речку чуть в стороне, только бельмастый сипло бросил:

— Мотай живее, пристрелит!..

Вдали раздался ещё один выстрел, в еловых лапах над Ямной речкой фыркнула пуля.

Осташа поднялся и припустил дальше, к Ямному камню, слыша впереди топот убегающих мужиков. Тропа ползла на склон. Осташа искровянил ладони, цепляясь за ветки, и наконец выбрался на проплешину темечка Ямного камня. Оба мужика, тяжело дыша, сидели тут же — с кистенём и ножом наготове. Они молча глядели на Осташу. Осташа, хрипя, прислонился спиной к сосне и съехал вниз, разбросав ноги.

С невысокого Ямного камня была видна вся длинная излучина Чусовой с островком, за которым застрял на мели межеумок, издалека маленький, как берестяная табакерка-тавлинка. Почти под Ямным камнем желтел и искрил перекат. За плечом из леса на береговой круче высывались ровные, как страницы, плиты бойца Сокол. Последняя плита была словно толстая книжная доска, что отсекала Чусовую ниже по течению, будто река кончилась, как дочиталась. Отчаянно-ярко сияло солнечное небо. Никто не пробирался по тропе вслед за беглецами.

Осташа увидел, что бурлаки под откосом камня Чеген обступили что-то тёмное, лежащее на земле. Так птицы толпятся вокруг выброшенной на песок рыбины.

— За тебя парень жисть-то отдал, — сказал серый Осташе, кивая в сторону Чегена.

— А кто тот чернявый, с ружьём?..

— Нам почём знать? Выловил нас и говорит: я вам ваше дело сделать помогу, а вы мне — моё. Надо, мол, судно перехватить и с него молодого сплавщика привести для разговору... Мы привели, а он давай ружьё заряжать... Мы и стреканули. На смертоубийство уговору не было.

Осташа глядел на этих мужиков — оборванных и усталых. Не было сейчас в них ничего опасного, страшного.

— А чего этот чернявый сам не вышел к сплавщику?

— Нам почём знать? — с досадой повторил мужик.

Осташа расслабился и почувствовал, что даже лицо его, набухшее страхом, обвисло.

— Чернявый-то ваш волосом кудряв, да? — обречённо спросил он. — И левым глазом на нос косит? Зовут Куприян, да?

— На левый глаз косой, а как звать — не назывался...

Это всё Гусевы, какие-то бессмертные Гусевы. К Сашке, что плыл в казёнке батиной барки, и к Яшке-Фармазону, что любился с вогулкой на заброшенном Ёквинском руднике, теперь присоединился и Чупря. Тоже живой. Интересно, а Малафейка, последний-то из Гусевых, псов, — под землёй на кладе лежит или, как и его братовья, бродит вокруг батиной тени?

— Ты, что ли, тоже сплавщик? — хмуро спросил у Осташи бельмастый.

— Сплавщик, — кивнул Осташа.

— Значит, тебя этот Куприян застрелить хотел? Побоялся, что сам ты не подойдёшь, когда рожу его увидишь...

— А мы-то не знали, — добавил серый. — Он говорит: приведите молодого сплавщика. Потолковать, говорит, хочю. Мы и привели не того, коли вы оба молодые... Мы ж не знали, чего этот Куприян задумал...

— Чупря, — поправил Осташа.

— Какая чупря?.. — не понял серый.

— Чупрей его у нас зовут. Чупря Гусев из тех Гусевых, что прятали царёву казну. Вы запомните. Если он до меня доберётся, я хочу, чтоб народ знал, кто Перехода-младшего убил.

— Вон оно что... — Серый поглядел на Осташу как-то странно: и с уважением, и с жалостью. — У вас тут каша-то позавчерашняя... Ладно, запомним. Только с нас прок малый — мы не здешние.

— А чьи? Говорите, не бойтесь. Вот его, — Осташа ткнул пальцем в бельмастого, — я уже видел в Слободе, ночью в подклете церкви...

Бельмастый усмехнулся, качая головой.

— А у нас дело про свою казну. Мы с Нейвы-речки, с Мурзинской слободы. Артель наша на целое гнездо занорышей вышла, накопили самоцветов — тёмпасов, шерлов, югов, хрустелей, фатисов... Мы их тайком от властей Невьянскому монастырю продаём, а уж монастырь там дальше сам торгует. Небось навар имеет впятеро против нашего — ну да ладно. В общем, обманул нас игумен с ценой, какие-то гроши заплатил. Мы решили укладочку с тальянами перехватить. Знаем, что монастырь отправляет камни попу в Слободу, а поп уже их куда-то дальше пересылает. Нас с Антипой общество и отрядило пошарить у попа. Как пошарили — сам знаешь. Тут и Чупря этот выплыл неведомо откуда. Дескать, он нам — укладку, а мы ему — сплавщика. И всё по-тихому, никому ни слова. Но мы на душегубство не согласные. Общество поймёт.

— И что, домой двинете? — спросил Осташа.

— Теперь домой, — мрачно согласился бельмастый.

— Мне бы так: не получилось — и пускай...

— Ну, кому уж — что, — пожал плечами Антип. — А мы тогда пойдём. Не взяла наша. Не наши тут правила...

Мужики переглянулись, поднялись и, не оглядываясь, пошли прочь с Ямного камня, по тропинке к бойцам Соколу и Балабану. От брода по просёлку они двинут через

Пестерёвский рудник на Старую Шайтанку, от которой тракт уходит через Большие Галашки на Невьянск...

«Вот так просто встали — и ушли домой», — подумал Осташа. И ему стало завидно и тоскливо.

Ведь с каждым шагом он отступал. Вот и ещё врагов прибавилось — Чупря вынырнул из могилы. Вот и ещё друзей убьют — убили Алфёра. Не успел Алфёр ничего рассказать о толке Конона. А Конон вот успел послать Чупрю, чтобы тот Осташу пулей взнуздал и отнял родильные крестики. Одна удача, что Чупря ошибся. Да этой удаче и радоваться-то грех. Алфёру-то за что?

Осташа снова огляделся. Мурзинские мужики ушли, он был один, и оттого стало не то чтобы страшнее, а тягостнее. Дыхание выровнялось, а душу лихорадило. Сидеть тут на Ямном камне и ждать, что ли, всю жизнь, пока Чупря подберётся поближе?..

С собой у Осташи ножа не было. Он подобрал обломанный сук с острым концом, подскоблил остриё ногтями, оборвал ветки. «Встречу Чупрю — так хоть якорину в него всажу... Кто змею убьёт, тому сорок грехов простится», — решил Осташа и полез в чашу, стараясь не хрустеть ногами по калужью.

Стороной, таясь, он обошёл излучину, не теряя Чусовой только по дальним и редким прогалам в вершинах леса. Когда по прикидке он поравнялся с Чегеном, то повернул к реке обратно. Пригибаясь за валежинами, прячась за толстыми стволами елей, густо ошетилившихся мёртвой «паутинкой» тонких сухих усиков, он выбрался на взлобье камня. Мелкие ёлочки у обрыва были поломаны, мох истоптан — и всё. Чупря ушёл так же незаметно, как и появился, — точно оборотень. И жалко. Осташа уже примерился к мысли, что сейчас ему придётся суком вспороть Чупре брюхо. Осташа с досадой выбросил свой сук, тропую открыто спустился на берег и по воде напрямик пошагал к судну.

Бурлаки уже почти спихнули межеумок на глубину. Осташа молча обошёл их, забрался на борт и полез в мурью. Бурлаки ждали его, не налегая пока на чегени. Сжимая в кулаке родильный крестик с процарапанным «ЛФР ГЛВ», Осташа вышел на палубу. Бурлаки смотрели на него снизу вверх.

— Алфёр говорил, ты тоже сплавщик, да? — осторожно спросил Федька. — До Шайтанки судно доведёшь?..

— Доведу, — угрюмо согласился Осташа и спрыгнул с борта.

Никто и не заикнулся, чтобы он брался за чегень. Фиска смотрела на него вытаращенными глазами, словно бы узнала, что Осташа — сам царь Пётр Фёдорович. Но Фиска была уже в прошлом, до неё Осташе дела уже не было. И никогда больше не будет.

...Кто знал, сколько времени ещё придётся выталкивать межеумок на струю? Может, до завтра? Чтобы мёртвое тело не вздуло на солнцепёке, пришлось его притопить. Ручей Чегени подпрудили насыпью, и теперь Алфёр, придавленный камнем, лежал на дне в прудочке. Его чисто промытые волосы колыхались как живые. Ходуном, словно на ветру, ходила рубаха. Странно было смотреть на Алфёра, неподвижно лежащего под водой. Что-то в том было и страшное, и сказочное, и язычное — будто сквозь воду, как сквозь окошко, Осташа смотрел на иной, чужой мир, в который ушёл Алфёр. Ушёл насовсем, но ещё недалеко удалился.

Ефимья стояла возле пруда, будто караульная. Она словно побелела лицом, даже губы исчезли. И пугающе выпирал её живот, такой неуместный рядом со смертью. Осташе было и стыдно, и тягостно, и что угодно хотелось сделать, лишь бы всё повернуть обратно. Он же не виноват!.. Он не знал, зачем мурзинские мужики потащили Алфёра на камень Чеген! Да захоти он идти вместо Алфёра, его бы не взяли, прогнали!.. Ну что же тут поделаты!..

Осташа перекрестился. Хотя это он ещё мог делать без вины.

— Алфёра Иванович просить вас хотел перед смертью, чтоб вы крест родильный ему отдали, или батюшке бы принесли, чтоб в могилу зарыть... — тихо сказала Ефимья, не поворачивая головы.

Нестерпимый жар опалил душу Осташи, раскалив уши и скулы. Значит, Чупря требовал с Алфёра родильные крестики, и Алфёр понял, что они — у Осташи... Осташа вошёл в воду пруда, наклонился, чтобы Ефимья не увидела его лица, приподнял неожиданно лёгкого в воде Алфёра за плечи и надел гайтάν с крестиком ему на шею. Потом положил тело обратно на песок и убрал крестик за ворот рубахи.

— Благослови вас бог, — еле слышно произнесла Ефимья и протянула Остахе плотно свёрнутый листочек бумаги, влажный от её пальцев. — Коли вы Алфёра Ивановича годами младше, он просил вам передать...

Осташа вытер руки о бока, взял листочек и развернул. Это была «Лодья несгубимая» — тайный сплавщицкий заговор на прохожденье барки мимо бойцов.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Тайна беззакония

БОЕЦ САРАФАННЫЙ

Алфёра схоронили у деревни Родина в трёх верстах ниже Чегена. Деревня-то — две избы и два креста на лесном приплёске под хребтом Малиновая Гора. Отсюда ещё четыре версты было до Старошайтанского завода.

Осташа довёл межеумок без приключений, и Федька-приказчик побежал на пристань за сплавщиками. Но Старая Шайтанка готовилась спускать свой караван с железом Сылвы, и сплавщики почти все были разобраны. А те, что оставались, ломили за работу по рублю — деньги же Федька пропил. Вечером, поразмыслив, он снова ударил шапкой Осташе в ноги. Осташа согласился вести межеумок прямо до Илима. Федька и рад был: с Осташей на переплату по-сплавщицки уговору не шло.

Ильин день с треском ярких гроз обломил иссохшую ветку перестойного лета, и зачастили дожди. Дорога от Шайтанки до Илима была не долгой — пятнадцать вёрст — и в межень не опасной. Это по весне Владычные бойцы, Бóлеговские Гребни и Узенький с Мостовым обносили бревенчатыми открылами, а сейчас...

Но на переборе Пегуши перед Сарафанным бойцом их нагнала вода, спущенная Старой Шайтанкой. Словно бесы

пролетели в Чусовой мимо межеумка. Река начала вздвигаться с просторным рокотом. Вверх кормой межеумок понесло под Высокой горой, прослоённой камнем, как расстегай. Впереди за быстройоток появился боец Сарафанный. Под ним уже клокотало. Река, ударившись головой, как гривастый табун, сваливала влево. И Осташе сделалось жутко: впервые он проходил камень-боек один, без бати — словно из бани в прорубь окунулся.

— Левый с кормы табань, правый с носа гребни! — крикнул он.

Межеумок грозно качался на волне, для которой был слишком хлипок. Он переваливался и черпал воду бортами. Всё вокруг намурилось: дождевое небо, сырой метельник по берегам. Гора впереди словно в пляске мотала каменным сарафаном, колыхала складками и топотала по реке, брызжа прибоем. И Осташа впервые почувствовал нутром холод сплавщицкого одиночества, когда вот он несётся на скалу, и барки для него уже нет, потому что барка — это он сам. И он один на один со скалой, которая пляшет в бесовских кобях, машет подолом. И никто, кроме него, сплавщика, этой пляски не видит, а потому и такого страха божьего не чувствует. И в этом полёте, за которым, быть может, ждёт гибель, в прыжках и корчах каменного бойца то ли проявился и вправду морок бесовский, а то ли прорезалось в глазах истинное и чистое зрение души.

— Ещё правый с носа! — кричал Осташа.

Сейчас без слова заветного, что от зубов заучено и по одной памяти произносится, душа лопнет, переполнившись, и грудь треснет, надувшись от крика. Весь путь от могилы Алфёра Осташа твердил его заклятье — «Лодью несгубимую» сплавщиков, миновавших лихо. «Встану я, раб твой, благословясь, пойду, перекрестясь, из избы дверьми, из ворот воротами, на чистую реку, на каменный берег, на дощатый помост, на нешатучий чёлн. В море-окиане на острове Буяне лежит бел-горюч камень Алатырь, над ним древо

карколист, на вершине древа карколиста сидит птица Гагана, на ветвях висят Козьма и Демьян, Лука и Павел, великие помощники. Заступись за меня сила божья, Богоматерь Пречистая, все святые, все иноки древлеправославные и мученики новоявленные. Еду я не в санях, крытых бобрами, да соболями, да куницами, еду на челне кремлёвом...»

Бурлаки гнулись на вёслах, и в гребках их рубахи трещали под мышками. Осташа уводил межеумок левее, так, чтобы пройти над островом, который сейчас был затоплен, — только ветки кустов, соря листьями, тряслись над быстроходом. Если расчёт верен, межеумок должен задеть остров днищем и сбросить ход. Иначе ничего не сделать: скорость вынесет судно в полую струю и хряснет рылом в камень.

«Ждут меня на встречу сто двадцать камней-бойцов, сто двадцать сатанаилов, сто двадцать дьявоилов, сто двадцать полканов, не пешие, не конные, не рождённые, не кованые. В чёрной избе моей за дубовым столом стоит трясавица на по́лице, — не замечая, бормотал Осташа уже вслух. — У меня зубы целы, вода проточна. Козьма и Демьян, Лука и Павел и Никола Угодник, соберите нечистых в тенёта шелкóвые, в кади железные, сварите в котлах кипучих, в сере горючей, чтоб изо лба им глаза в затылок выворотило! Сгоните птицу Гагану, пусть склюёт Акир и Ор, чёрных аспидов! Ты, трясавица, не вертись, ты, притолока, не свихнись. Дайте мне, святые, иноки и мученики, на всех нечистых медвежий рот, волчьи губы, свиные зубы! Суд судом, век веком!..»

Сизые каменные плиты уже нависли над головой, когда под днищем межеумка засвистело и зашипело: это межеумок потащило пузом по кустам на острове. Вода вокруг закипела, завертелась, людей дёрнуло к скале, словно в небе блеснул чей-то властный приказ пасть пред бойцом на колени. Но бурлаки не пали. Отток струи уже перехватил межеумок и поволок его вдоль Сарафанного.

Осташа ещё договаривал, не в силах остановиться: «Полетят над моей лодьёй несгубимой три врана, три братёни-

ка, понесут три золотые ключа. Как из синего неба дождь не канет, так жизнь моя из тела белого не побежит. Как от кочета нет яйца, так от камня нет мне погибели. Проведите меня-молодца мимо камня-бойца до чистой воды, до большой реки, до синего неба, до ясного облока. Гонит Илья Пророк на колеснице гром с великим дождём: над тучей туча взойдёт, молния осяет, гром грянет, дождь польёт, порох зальёт. Пена изыде, язык костян. Как у замков смычи крепки, так мои слова метки, аминь!»

Межеумок, словно встряхиваясь, как жеребёнок после купанья, уже миновал Плешаковскую пристань, на причале которой мужики что-то весело орали в одобрение, миновал бойца Худого, чехарду домиков Мартяновой деревни по обоим берегам. За глыбами камня Востренького, за кривым сундуком бойца Палатка Осташа перевёл своё судно на край течения, и вскоре мимо него с шумом и урчаньем понеслись огромные, как возы с сеном, полубарки старошайтанского каравана, грозно растопырившие потеси на полреки. Не отойди Осташа в сторону, они разбили бы межеумок, как пушечные ядра.

Отдышавшись, поплыли дальше, но в памяти Осташи отпечаталось, как мелькнул в глазах морок под Сарафанным бойцом... Осташе не хотелось признаваться себе, но это была правда: большой сплавщицкой уверенности он в себе ещё не чувствовал. Рановато ещё. Значит, подействовал заговор, коли межеумок всё же вывернулся из-под Сарафанного. А батя вот заговоры не признавал... Как-то он говорил Осташе: барку вести — что душу блюсти. Каждый знает, что такое грех. Никто не грешит от неведения, не дети же малые. А откуда знание греха? От веры. Так и в сплавщицком деле. Вместо веры — наука, умение. И по умению всякий сплавщик может верно рассудить, как ему барку провести, чтобы не убить. Ежели не может — значит, плоха его наука. Мало на скамейке простоял, ворон считал да зевал по сторонам, а не навык перенимал. И когда сплавщиц-

кой науки не хватает, начинают беса понужать: помоги. Тот и рад стараться. Заговоры эти — от беса.

Но как же от беса, коли Богородицу и апостолов призываешь? Как же от беса, если доброе дело выходит? Со злым умыслом к заговору очень редко прибегают: один-то раз во зло употребить можно, только больше ни единый заговор тебе никогда не поможет. И читают-то заговоры по божьим дням, по лёгким и постным: по вторникам, средам и субботам. Осташа не мог разобраться. И не было рядом бати, чтобы спросить напрямую. А значит, надо идти туда, где все ответы, — в скиты на Весёлых горах. Если там гнездится толк истязельческий — сплавщицкий, то и ответы там. Хотелось бы, конечно, допытаться: кто и как батю убил, почему Гусевы живы, где казна пугачёвская. Может, и получится вызнать. Но главное, чего батя от Осташи хотел, — чтобы и Осташа честным сплавщиком стал. Тайны подождут, даже батина тайна, потому что правда веры в работе сплавщицкой будет поважнее всего прочего. Без веры и душу не спасёшь, и сухаря не съешь. А без души нет работы сплавщика, потому что наука ведёт, а вера хранит.

...В Илеме под моросью толпа каторжных, за ноги скованных общей цепью, кайлами ломала висок рыжего от лишаёв Илимского камня: вырубали плиты для новой пристани. Берег перед устьем речки Илимки подкопали, и здесь уже громоздился новый недостроенный причал — плитняковая стена со скошенными углами. Пока что высотой она была человеку по плечи. Каторжные огромной свилеватой балдой трамбовали землю в каменный короб пристани: глухой удар, от которого вздрагивал берег, — и звонкий шелчок дальнего отголоска на бойце Тюрике. За стройкой тянулся гребень плотины, весь в пожухлой траве. Вдоль пруда по плотбищам на городках илимские мужики уже выкладывали плахи-лыжины для днищ больших барок.

Пока Федька Мильков, суетясь и махая руками, описывал купцу Сысолятину, какова получилась ходка, Осташа

с другими бурлаками обедал на берегу. Слушая Федьку, Сысолятин качал головой, всплёскивал пухлыми ладошками. Он был похож на жабу — маленький, толстый, лысый, большепотый, говоривший визгливым бабьим голосом. Потом он велел бурлакам оттянуть межеумок к причалу. До вечера пришлось ещё разгружать товар и таскать его в сысолятинский амбар. Федька стоял в проходе с толстой засаленной тетрадью в руках и пересчитывал тюки. Рожа у него была суровая, вид — требовательный и неподкупный: будто и не он неделю назад был готов пропить всё, что Сысолятин имел. Вечером купец рассчитал бурлаков, а Федьку и Осташу позвал к себе.

Деревня расплзлась за прудом по взгорью горы Головашки, отгородившись от Чусовой стеной могучих амбаров. С площади в просветах меж домов был виден дальний извив реки под бойцом Тюриком, плоскость длинного косога пруда, расчерченная нитками перестяг, недостроенные барки на плаву, заваленное хламом и щепой плотбище на склоне Илимского камня. Тёмная, мокрая, ветхая рогожа неба провисала над Илимом, занавесив закат за Сулёмским плёсом. На площади в пожухлом бурьяне стояли лавки, запертая на замок кривая часовенка, пристанская контора с воинским присутствием и сысолятинские хоромы. Были они победнее, чем у Конона в Ревде, но тоже на два яруса и в две связи. Купец повёл Федьку и Осташу на летнюю половину своей избы, где в углу горницы громоздилась горка кованых невянских сундуков. Купчиха здесь уже держала на столе горячий самовар.

Осташа от заморского чая отказался — кто чай пьёт, тот отчаивается. Купчиха налила Сысолятину стеклянный стакан в медном подстаканнике и придвинула корзинку со сладкими баранками. Федька сам себе напузырил стакан, да ещё и разлил по столу, но быстро стёр лужу рукавом.

— С кем, хозяин, баранками делишься, с тем на том свете свидишься, — льстиво сказал он.

— Ну, Федюня, — поднося к губам блюдце, ласково произнёс Сысолятин, — Расскажи про денежки. А ты, Остафий Петрович, говори, верно ли. Рупь двадцать ты, Федюня, пропил в Ревде — на то уговор был. По два рубля сплавщицких Алфёр и Остафий Петрович получили. А где ещё рупь сорок?

Федька и вправду отдал Ефимье все деньги, что полагались Алфёру, хоть Алфёр и не довёл межеумок до Илима. Если судно дошло до нужной пристани, доля каждого отдельного сплавщика всегда считалась только по то место, куда сплавщик вёл. Довёл Алфёр до Чегена — и деньги, значит, ему только за путь от Ревды до Чегена, рубль семьдесят. Сгиб — не сгиб, это не важно. Федька поступил великодушно. Правда, с Осташей он рассчитался как с бурлаком: дал рубль, хотя по обычаю должен был заплатить ещё тридцать копеек за работу сплавщика от Чегена до Илима, но Осташа решил не торговаться.

Федька склонился над стаканом, вроде как дул на чай, а сам из-за самовара яростно подмигивал Осташе — мол, не выдай!..

— Так то с меня в конторе на Старой Шайтанке содрали за спрос!.. — выныривая на глаза Сысолятину, соврал Федька, вытаращившись на купца. — Ты, хозяин, мне ещё три алтына должен — из своих отдавал!..

— Из своих, значит... — огорчился Сысолятин.

Федька решительно закивал лохматой головой, подтверждая: да, из кровных, от жены, от деток малых оторванных.

Сысолятин поставил стакан и, кряхтя, полез из-за стола. Перекрестившись на образ, он пошёл вдоль стенки, заходя Федьке за спину — вроде бы, чтоб Федька не увидел, как он деньги отсчитывать будет. «Неужель отдаст, дурак?» — удивился Осташа. Федька пил чай с видом честного человека, которому незачем оглядываться.

Но Сысолятин — даром, что на бабу походил, — вдруг сгрёб Федьку за шиворот и потащил из-за стола. Лицо у Федьки запрыгало от страха. Федька поперхнулся чаем, но

ещё успел, цепляясь ногами за лавку, бережно поставить недопитый стакан на стол. Сысолятин уронил лавку и поволок Федьку к выходу. Ошалев, Федька нелепо хватался за стол и стены. Сысолятин ногой открыл дверь и отвесил Федьке такого пинка, от какого Федька кубарем покатился по сеним, а на лестнице загромыхал и застучал, будто упавшая кадушка.

— Увижу на своём дворе — убью! — крикнул Сысолятин Федьке вдогонку и захлопнул дверь.

Пригладив ладонями волосы и бороду, он сокрушённо посмотрел на образ и снова перекрестился.

— Осташка!.. — вдруг донёсся с улицы Федькин крик. — Скажи ему!.. Вместе ж под Сарафанным погибали!.. Три алтына!..

Сысолятин засопел, подошёл к косячатому окошку и дёрнул за верёвку, пропущенную сквозь раму и привязанную снаружи к ставням. Ставни затворились. В горнице разом сделалось сумрачно. Тотчас в ставни замолотило — это Федька в бессильной ярости кидался комями грязи. Сысолятин, вздыхая, молча вернулся к столу, снял с самовара крышку и сунул в трубу, к углям, лучину. Потом вынул огонёк и приткнул лучину в светец, а сам сел на прежнее место.

— Пей кровь мою!.. — глухо донеслось с улицы.

— Ну а ты кто будешь, Остафий Петрович? — спросил Сысолятин, снова наливая чай в блюдечко.

— По родителю — Переход, — сказал Осташа.

Он испытующе глядел на купца. Сысолятин не поднял глаз — значит, знал.

— Говорят, батька твой барку убил и царёву казну присвоил...

— Язык не метла, в закут не поставишь.

— Деньги-то свои ты вон Федьке простил. Знать, хватает?

— И ты Федьке пропой простил.

Сысолятин нагнул голову и стал чесать щёку, наконец-то подняв глаза на Осташу.

— Федька — питух, не вор. Пропитого не жаль. То от нас, грешных, вместо милостыни. А украденного всегда жаль.

— Что ж, я пойду тогда, — зло сказал Осташа, забирая с лавки шапку.

— Не ерепенься, — осадил его Сысолятин. — Коли я тебя за вора держал бы, разве ж позвал бы тогда к себе? Живём среди людей, судим по людскому мнению... Ты, значит, от бати навывк перенял?

— От кого ж ещё? — Осташа пожал плечами. — Батя ни одну барку не убил, даже последнюю, которая за Разбойником затонула. Я её уже продал на Усть-Койвинский кордон — за полную цену, только с вычетом на починку и перегон.

— А сейчас под Кононом Шелегиным ходишь?

— Под богом, — хмуро ответил Осташа.

— Молодец, — одобрил Сысолятин. — Это хорошо... Мне Кононовы подручники в сплавщиках не нужны — утопят товар. Конон меня не любит.

— Кого он любит-то? — буркнул Осташа.

Сысолятин допил чай и поставил стакан верх дном в блюдце — чтобы бесы в порожнюю посудину не нагадили.

— Пойдёшь ко мне вместо Алфёра весной на уговор?

Осташа почувствовал, как бледнеет. Сердце тошнотворно торкнулось в горло.

— А чем я тебе приглянулся? — хрипло спросил он.

— Голова у тебя устроена по-купчески. За себя говоришь, не обществом. Я народу не верю. Народ Пугачу кланялся. А вот человеку я поверю, если его корысть увижу. Твоя корысть — на виду. Я не о деньге говорю, сам понимаешь.

Осташа кивнул — получилось как-то судорожно.

— Весной-то что будет? Полубарок, колбменка? — спросил он, словно хотел оттянуть окончательный ответ, словно все эти недели и не ждал, замирая: когда ж его позовут в сплавщики?

— После Ирбита меньше чем барка у меня и не бывает. Чай, не пряниками вразнос торгую... Но учти: коли со мной

на весенний сплав подражаешься — всем остальным отлуп. Уговор дороже денег. По рукам, сплавщик?

— По рукам, — решительно согласился Осташа. — А точно, что у самого-то не отменится чего?

— Коли светопреставленья до весны не случится — так ничего не отменится. Слово.

НА ВЕСЁЛЫЕ ГОРЫ

Ефимья Гилёва в Илеме встретила своего сродственника — местного лесовозчика Агафонку Юдина по прозвищу Бубенец. Агафон уболтал Осташу довезти его с Ефимьей на шитике до Сулёма — всего ведь четыре версты. Осташа довёз, и пришлось идти к Гилёвым на поминки по Алфёру. Идти ему не хотелось, но Бубенец трещал за всех — и за Ефимью, почерневшую от горя, и за Осташу, угрюмо молчавшего о своей вине. И, по словам Агафона, всё получалось ясно и убедительно: напал разбойник и убил сплавщика. Чего тут не понять? Бывает такое.

Осташа и сам чуть в это не поверил. Но он поднимал глаза на погасшую Ефимью, мёртво сидевшую за поминальным столом, и злость смывала с памяти всю склизь трусливых придумок. Ни при чём тут разбойники... Это за него Алфёра убили. А в чём он виноват?! Не он же Алфёра убивал!.. Это Чупря ударил прикладом. Это мурзинские шатуги перепутали, кого надо привести к Чупре. Это пьяные бурлаки посадили межеумок на мель. Это сам Алфёр предался Конону и стал истязельцем — за то и поплатился. И Осташа не хотел мучиться этой виной, хотя и жалко было Алфёрку.

Вечером Бубенец выпросил у богатых Гилёвых лошадь с телегой, чтобы наутро поехать в скиты на Весёлые горы, и Осташа понял, что всё не зря, что бог его ведёт неисповедимым путём и что ему дорога — туда же.

— Тебе в скиты почто? — спросил Осташа Бубенца, когда они укладывались спать на сеновале.

— Слух прошёл, что явился туда учитель из Выговской кинóвии, принёс полный список «Винограда российского» и новые Поморские Ответы, — охотно пояснил Агафон, подгребая сено под голову. — Читать будут, перетолк будет с прениями. Охота послушать умных людей. У нас поморского толка ходоки редко бывают. А этот к самому Мирону Галанину направляется. В чём-то там Мирон Иванович с Повенцом и Керженцем разошёлся.

— Ты, что ли, староста какой? Книжник? Учитель?..

— Рад бы в рай, да грехи не пускают, — хихикнул Агафон. — Я, понимаешь, учёность люблю, знать всё люблю. Надо мне. Из учителей там старец Гермон и старец Павел говорить станут, а от уставщиков — Евстигней Петров с Невьянска и Калистрат Крицын с Ревды. Эти много скажут полезного, а я слушаю.

«Калистрат?..» — подумал Осташа. Если Калистрат и старец Гермон — точно, значит, в истязательствах дело... Всё на них сводится: и надменность Конона Шелегина, и скорбь Алфёра под Нижним Зайчиком, и крестики Яшки-Фармазона, который тоже при скитах подвизается... Но дело даже не в том. В пути Осташа всё вспоминал слова Конона, вроде впустую сказанные — да не впустую, оказывается. «Разве Чусовую заколдуешь?» — крикнул тогда, в Ревде, Осташа. «Всё можно», — усмехнулся Конон. И вправду. Там, перед Сарафанным бойцом...

...Рано утром, пока ещё и хозяйка не встала, Осташа и Агафон уже выехали из Сулёма по Старой Шайтанской дороге. Осташа дремал, лёжа в телеге под рогожей. И шитик, и штучер, и Яшкину грамоту с родильными крестиками он оставил у Гилёвых, не усомнившись в честности хозяев. Агафон, держа вожжи, бодро шагал по грязи на обочине и болтал обо всём, что видел. Дорога тянулась по протяжным увалам то через лес, то через перелесья, кое-где рас-

паханные, а кое-где оставленные на покос. Где были покосы, там уже дымили костры и мелькали в травах светлые рубахи косцов. Тусклое небо было затянуто мелкой дрожью облаков, только на севере облака набрякли угрюмым сумраком — понизу их обдало, словно тёмной водой, мрачным отсветом Весёлых гор. Как-то по-особому ярко в сизой дали на взгорьях зеленели леса, отмытые дождями.

— А ты, Агафон, чего от сенокоса убежал? Или тебе коней кормить не надо? — лениво спросил Осташа.

— Я возчик не из бедных, меня сызмальства домовая мохнатой лапой по пузу гладил. Сена накосить я батраков нанял. А сам вот душу потешу умным словом. Моя работа зимой придёт.

— А чего тебе эти перетолки? Разве что поймёшь, когда по книгам лупить начнут?

— Когда поймёшь, когда и нет. Вообще интерес у меня. Не всё ж коню под хвост смотреть. Ты вот сплавом душу правишь, а я беседой учительной.

— Так мне на сплаве всё ясно.

— Чего ясно-то? Почему вода бежит, откуда скалы взялись, отчего одному человеку удача, а другому — беда? Ничего тебе не ясно. А ведь всё равно ходишь, смотришь, слушаешь.

Осташа недоверчиво покосился вокруг, удивлённый мнением Бубенца.

— Всё одно не пойму я тебя. Коли смысл не по уму, чего уши топорщить?

— Не знаю, чего, — хмыкнул Бубенец. — Нравится мне. Может, пригодится, может, нет. Не важно. Сам лад на дело настраивает. Послушаешь, и вроде как всё не зря, всё по-хитрому в мире устроено. Уваженье от этого и к себе, и к делу своему... Да ко всему. Я даже бабу свою после перетолка месяц, наверное, не бью, честное слово.

Осташа и Бубенец дружно посмеялись.

— А башка не распухнет?

Бубенец поднял шапку и погладил себя по плечи, кругло торчащей из волос. Голова его напоминала усатый и бородатый огурец.

— Не распухнет, крепкая. Да сейчас-то чего? Сейчас так, учителя небольшие. Вот когда бы сам Мирон Иванович...

— Слышь, Агафон, а ты видал Мирона-то Галанина?

— И видал, и слышал, — гордо подтвердил Бубенец.

— А кто он такой, Мирон этот? С чего ему почёт?

— Почёт ему с того, что он учитель наш, собиратель толков. А учителем он потому стал, что восприемник самого Аввакума...

— Ему что, Господь полтора века отмерил? — не поверил Осташа.

— Ну, уж не напрямую же, конечно, восприемник... Аввакум ещё в Пустозёрском срубе завещал дело своё продолжить беглому тюменскому попу Доментиану. Доментиан с Печоры вырвался. На Кондинской займке на Исёти старец Авраамий его постриг в монахи под именем Даниила. Доментиан Авраамию завет Аввакумов передал. Потом он, Доментиан-то, гарь устроил на речке Берёзовке, сотни душ в огненную купель окунул и сам сгорел... Авраамий же, Венгерский прозвищем, был инок монастыря на Кондёрке. Там он сдружился с другим учителем — строителем Иванищем Кондинским. Авраамий и в Москву ездил бить челом о монастырских нуждах, и в Тобольске лаялся за старую веру, за что его в Туруханский край сослали. Оттуда вернулся — жил по разным монастырям, займки ставил. Власти ловили его, да народ скрывал или отбивал. Авраамий с Иванищем прильнули к бывшему стрельцу Федьке Иноземцеву в Уткинской Слободе. И там смута началась, когда отказались они по никонианскому обряду крест на царство Петру с Иваном целовать. За смутой — опять гарь. Авраамий-то с Иванищем гарей не жаловали, даже к Аввакуму человека посылали, чтобы тот гарь отсрочил, да Аввакум уже сам сгорел. На Уткинской гари боле сотни душ пы-

лало... После неё Иванище с Авраамием и бежали на Ирюм, где на Бахметьевских болотах на островах положили начало своей пúстыни. Иванище там и дни свои скончал. Авраамий же продолжал учить по древней Палее. Какая-то жён-ка стрелецкая, Ненилка прозвищем, под пыткой указала на Ирюмские болота. Тюменский воевода туда солдат послал. Взяли Авраамия, привезли в Тобольск, хотели запытать в подвалах, а потом тайно загрести мёртвое тело за городом без погребального напутствия. Авраамию помог монастырский служка, и старец бежал. Вернулся на Ирюм да умер, завещав похоронить себя на острове в болотах, который мы Авраамиевым и зовём. Перед смертью книги учительные и завет передал иноку Тарасию. Тарасий же дело продолжил. Когда в двадцать втором году царь Пётр повелел присягу приносить царю безымянному, в Таре и в других крепостях со слободами опять бунт начался. Тарасий от розысков снова на Авраамиевом острове прятался. А затем на соборе благословил вятского беглого попа Семёна Ключарёва завет нести. В середине века сего тобольский митрополит Сильвестр люто взялся за нашу веру и сумел изловить Семёна с сотоварищем его Гаврилой Морокой. Но Семён уже завет Мирону Галанину передал.

— Ну и память у тебя, — восхищённо сказал Осташа, слушавший Агафона очень внимательно. Он даже приподнялся в телеге на локте и сдвинул шапку на затылок, чтобы уши не закрывала.

— Ну дак! — гордо хмыкнул Агафон. — Чего проку узнавать, если не помнить?

— Ниточка-то длинная от Аввакума до Мирона Галанина...

— И что из того? Благодать — не медный пятак, от человека к человеку переходит и не стирается.

— А Мирон-то сам — кто он? — напомнил Осташа.

— А Мирон Иванович ирюмским крестьянином был. К вере ревность большую имел, за то и доверил ему завет Семён Ключарёв. Мирон на Авраамиевом острове написал

«Историю про древнее благочестие». Народ к нему на чтения ходил. Как царёвы нюхачи закружили по Дальним Кармакам, Мирон стал людишек причащать перед новой гарью. Но сожечься не успели — солдаты всех похватали чуть ли не с огневищами в руках. Мирона Иваныча сначала в Тюмень услали, потом, как положено, в Тобольские казематы. Четыре года он в горé без солнца сидел. Затем перевели его в Екатеринбург, посадили в заречный тын с колодниками. Затем отправили на смёртные работы в Мраморское на гранильную фабрику. Там Мирона Иваныча уже чусовские жители подкармливали, оттого он и пристален так к нашей жизни. Пятнадцать лет он на каторге провёл; не умер — дак отпустили. Он на Ирюм и ушёл обратно, на Авраамиев остров.

— А ты-то его где видел?

— В прошлом году ездил на большой собор в Невьянск. Там злые перетолки были, злые. Вот там и видел. Про себя Мирон Иваныч сам рассказывал, а про Авраамия читал учительную книгу свою самописную — «Рукопись о древних отцах». Я её потом выпросил на ночь и списал себе. Хочешь, дам прочесть?

Настоящих книг Осташа читал всего-то две, и обе под батиным присмотром. Хотелось, конечно, Мироновы сочиненья прочесть, но боязно было на себя ответственность брать.

— Придёт время, и попрошу тебя, — согласился Осташа. — Ты только не забудь... А-а, да ты ж у нас всё помнишь!

Агафон важно кивнул.

— Вся премудрость в книгах, — наставительно заметил он. — Народ-то помнит не дело, а одну только байку о деле. Вот мы с тобой за Большими Галашками будем горочку малую проезжать... Под ней схоронен Галаня, который деревню-то и основал. К Галане под бок подселились уже Кадниковы, да Кузнецовы, да Баклыковы; их корень и сейчас здесь. Вот этот Галаня смастерил из бёреста крылья, залез на кедр и сиганул. Ногу сломал, понятно. Пока лежал, Кузнецовы

ему избу подпалили: дескать, Галаня с чёртом связался. Галаня обиделся, ушёл на лыжах в Невьянск и с ногой хромой замёрз у того пригорка. Это байка. И по ней не узнаешь главного: с чего Галаня решил летать научиться? Чего ему надо было? На облаках хлеб не сеют, не жнут. Вот об этом только в книгах и можно узнать. А байка что? Тьфу.

— Чего ж тут непонятного? — удивился Осташа. — Всё понятно, зачем крылья человеку...

— Тебе понятно, а мне, дураку, нет, — обидчиво сказал Агафон.

Осташа задумался и вздохнул с сожалением:

— Хорошо тебе... Ты узнал — и поверил. А как мне быть, когда поверил — а узнать не можешь?

ТАЙНА БЕЗЗАКОНИЯ

Осташа думал, что скит — это что-то дикое и тайное, вроде берлоги. Но под еловой тушей Поперечной горы он увидел здоровую истоптанную поляну, на которой сбился целый табор. Правда, шума не было. Дымили костры; на самом большом, возле которого толклись бабы в чёрных платках, в общем котле готовился обед. Кругом стояли телеги, торчали балаганы, два пастуха собирали лошадей в табун, чтобы гнать на выпас у речки Егоровой Каменки.

Перетолк, похоже, уже начался. Агафон торопливо принялся распрягать свою конягу, а Осташа отправился посмотреть на людей. Вдруг мелькнёт Яшка Гусев?

— Старец-то Павел в той домушке живёт? — спросил Осташа у незнакомого мужика, мазавшего дёгтем ступицу снятого колеса, и добавил на всякий случай: — Бог в помощь...

Мужик хмуро оглядел Осташу, покосился на кривую и замшелую избу возле ближайшей сосны и нехотя ответил:

— Там послушники живут, что при старце, а старец — в келье на склоне. Отсюда не видать.

— Никак ехать собрался? — неловко улыбаясь, спросил Осташа снова. — А на перетолк-то не пошёл?..

— Хочешь, так иди, — буркнул мужик. — Я сюда попрощаться приезжал... Тебе чего надо, парень?

Осташа знал, что «попрощаться» — значит поклониться тайным могилам здешних старцев, коих по Весёлым горам было до сотни.

— Человека ищу. Яшку-Фармазона. Может, слышал про такого?

— Фармазонов у нас не бывает. Это барский толк, не наш.

— То прозвище пустое...

— А ты кто, царицын доглядчик?

— Чего, и спросить нельзя? — обозлился Осташа.

— И без тебя на Чусовой расспросчиков по пятку на каждый омут. Гуляй давай.

Осташе, конечно, хотелось смазать по шапке недоверчивому кержаку, но он развернулся и пошагал по утоптанной тропе наверх.

Поперечная гора сама вползала по отрогу на Белую гору, но на полпути остановилась и осела. Верхушка её была зачищена от леса, который пошёл на рудничные нужды. Вход в обвалившийся рудник старец и приспособил под скит. Сейчас перед срубом кельи, торчащим из склона, шёлком зеленел луг, чисто промытый дождями. В густом и высоком кипрее у жердяной изгороди стояла одинокая старушка. Подперев щеку ладошкой, она смотрела на келью.

— Старца ждёшь, бабушка? — спросил Осташа.

— Любуюсь, внучок, — пропела старушка. — Умиление-то какое божье... Давеча поутру видела, как старец-то Павел после молитвы утренней вышел на порожек, а к нему из лесу две косули пришли, и он их с ручки кормил, а они ему головками так кивали, кивали, — старушка и сама закивала. — Старец-то седенький-седенький, и глаза у него такие ласковые, и говорит-то тихонечко...

Осташа потоптался рядом со старушкой, которая не отрывала взгляда от кельи, и пошёл дальше. Он обогнул вершину Поперечной горы, и перед ним, как выдох полной грудью, во все стороны раскатились сизые влажные дали. Весь окоём вокруг расплескался покатыми лесными вершинами: за Белой горой прятались Голая гора, Чауж, Палачова гора, под которой спал старец Иова, Карасыи горы и Баклушины. По левую руку качались Шульпиха с Вахромихой и Красный Столб. Направо отшатнулись Юрьев Камень с Приказчицей и совсем уж далёкая Негасимая гора. Внизу тускло блестел широкий и какой-то непривычно плоский Черноисточинский пруд; на его берегу чернели крохотные былинки труб Черноисточинского завода. Над прудом и Поперечной горой в небе протянулись полосы низких облаков, будто облака скатились с Белой горы, разматываясь как свитки, но остановились, наткнувшись на громаду Старика-камня, окружённую угорами пониже — Кулигой, Боровой, Зольниками, Билимбаем, Сухарной горой и Сутуком.

На этой стороне горы и собрался народ. Здесь был поставлен большой навес на столбах, будто над артельным столом, но стола не было. Под навесом шли раскольничьи перетолки — если, конечно, наставники допускали к ним простой народ. Сейчас — допустили. С полсотни кержаков полукругом сидели на скамьях и просто на земле перед двумя учительскими престолами. Десятка два мужиков и баб, которым не хватило места, стояли за спинами сидящих. Осташа подошёл и тихонько прислонился к столбу навеса, оглядываясь.

На левом престоле восседал здоровенный, сивый от седины раскольник из чусовлян. На правом престоле на самом краешке приютился пришлый старичок, лысенький и остроглазый. За его спиной стоял третий старец с высоким лбом, криво перепаханным глубокими морщинами. Среди слушателей на почётном месте торчал с непокрытой головой Калистрат Крицын. Осташа с удивлением узнал

в его соседях и некоторых известных сплавщиков — Онисима Иваныча Колупанова с Плешаковки, Созонта Базина по прозвищу Семь Сундуков и Довлата Халдина из Демидовской Шайтанки, Овсея Гилёва из Сулёма, приходившего погибшему Алфёрке двоюродным дядькой, Гришку Гуляева из Трёки, Гордея Проклянёныша из Успенки. Среди сплавщиков сидел и Колыван Бугрин — Осташа сразу цепил его взглядом.

— Слышь, дядя, а на престолах кто? — шепотом спросил Осташа у стоящего рядом мужика.

— На левом старец Гермон, справа — старец Калиник с Выга и наш весёлогорский старец Павел, они оба заедино...

— А о чём речь?

— О разлучении души с телом.

Осташа даже обомлел. Это ли главный-то вопрос на сплаве?.. На полом вешняке мельницы молотят! Ну и старцы!.. Не зря батя говорил: все эти перетолки — сутолока речей и заушь разуму.

— И о чём договорились старцы? Сколькими гвоздями душа к плоти приколочена? — насмешливо спросил Осташа у соседа.

Мужик сердито дёрнул бородой и не ответил. А выговский старец Калиник, словно услышав Осташу, говорил кержакам, наставительно подняв палец:

— ...и апостол Павел в послании к Тимофею о том же нам рек: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые польстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням»!

«Воистину басни», — согласился Осташа, заметив в стороне девку. Девка, видать, была с отцом, стояла поодаль, плотно закутав голову в платок. Но Осташа всё равно разглядел в тени платка весёлые смородиновые глаза, словно мохнатые от густых ресниц, и свежие, яркие губки. Чем-то она вдруг напомнила Осташе Неждану Колыванову, хотя

была поменьше ростом, да и побойчее вроде бы. Весь интерес у Осташи тотчас обратился на девуку, хотя и перетолк Осташа продолжал слушать внимательно.

— Макарий Великий говорит: «Когда человеческая душа выходит из тела, совершается некое великое таинство, ибо если она виновна в грехах, то приходят полчища демонов, злые ангелы и тёмные силы, берут сию душу и увлекают её на свою сторону», — гудел у престола старец Павел. — И великое таинство — не человеческое дело. Коли пастырской благодатью в канон не облечено — нет у людей на то сил, и всё тут.

— Что значит — душу с телом разженить? — дребезжал выговский посланец Калиник. — Вы вспомните «Слово об исходе души» святого Кирилла Александрийского. Как учитель исход души толкует? Одним смыслом толкует: смерть! Иного нам не заповедано!

— Ну, братия?.. — будто подталкивал народ к спору старец Гермон и с прищуром глядел на сидевших вокруг.

— Ежели душа во сне покидает человека, то человек волен отпускать свою душу, как волен засыпать, — не подымая глаз, сказал вдруг Колыван словно через силу, словно бы не свою мысль. — Тело без души всё равно не мёртвое тело, а со Святым Духом, которым вдохновлены и душа, и плоть...

— Что притчи говорят, святые предания? — громко спросил Калистрат, явно гордясь своей учёностью. — У преподобного Василия Нового были ученики Григорий и Феодора. Феодора умерла, и во сне Григорий услышал её рассказ о смерти. Утром при благословении преподобный Василий спросил Григория: «Где ты был в ночь сию?» Григорий отвечал: «Спал на одре своем». Старец сказал: «Знаю, телом почивал на одре, а душой был в другом месте». Значит, душа Григория, сокрушась в соболезновании, летала на встречу с душой Феодоры. Плоть же без души жива оставалась.

— Говори, народ, толк общий, — кивнул собравшимся Гермон.

— У грешников ангелы душу сквозь рёбра вынимают, — неуверенно сказал мужик с рябым и глупым лицом.

Перетолк молчал. Рябой снял шапку и напоказ перекрестился.

— В Прологе на первый день июля в повести святого Нила говорится: «Душа человека посреди есть Ангела и беса. И Ангел ибо влагает, и показывает, и учит, ещё к добродетелям; бес же влагает, ещё суть греха. Душа власть имеет, ещё последовать ему же любо хочет или Ангелу, или бесу», — добавил и кто-то из сплавщиков. — Власть имеет — вот как сказано! Душа сама двигаться может, куда человек её направит!

— Коли кто мается на одре, а помереть не может, просит доску в потолке вынуть да угол крыши разобрать, — рассудительно сказал другой сплавщик. — Значит, с разумом, сам душу свою отсылает...

Старцы Калиник и Павел молчали, раздумывая. Осташа покосился на черноглазую девку. Та заметила, но сделала вид, что не замечает, крепче взявшись руками за кончики платка.

— Есть молитвенный «Чин на разлучение души от тела, егда человек долго страждет», — услышал Осташа негромкий голос Бубенца, тоже нашедшего, что сказать. — Люди сами просят разлучить душу с телом, то есть по своей воле отправляют душу вовне...

— Бесы и волхвы тоже могут совершать много дивного. Попомните: чёрт смущает, бес подстрекает, дьявол нудит, сатана творит лживые чудеса. Лукавый может и душу выпускать на волю, с его-то наущенья Аендорская волшебница вызвала Саулу тень умершего Самуила, — угрюмо сказал старец Павел. — Но в ветхозаветные времена подобное каралось смертью.

— Я уж говорил тебе, отче, — старец Гермон повернулся к Павлу, — чтобы ты не путал душу умершего с истяжённной душой живого... У мёртвого душа никакой воли не имеет. Ну, Калистрат свет Назарыч...

— В притче о богаче и Лазаре просит богач Авраама послать Лазаря к своим братьям, — заговорил Калистрат, польщённый приглашением. — Ежели мёртвая душа богача волю имела, то не просила бы, верно? А истязённая душа живого человека воли не теряет и силу имеет волю эту исполнить, потому как Святой Дух воедино объемлет и плоть, и душу, из неё истязённую.

— Помогай, отче, — проворчал Павел Калинику.

— Какова ж воля у истязённой души, коли сам Иоанн Златоуст сказал: «Невозможно блуждать душе, уже отделившейся от тела»? — произнёс Калиник и поджал губы, чуя слабость своих слов.

— То сказано о душе мёртвого человека, сам понимаешь, — насмешливо возразил Гермон. — Народ согласен?

— Тот же Златоуст о дьяволе говорит: «Он прельщает и соблазняет нерадивых, однако ж не удерживает насильно и не принуждает», — подтвердили из толпы. — Значит, душа живого человека имеет волю отжениться от дьявола. И коли ты от дьявола отженился и душу истязает — это дело богу терпимое.

Гермон довольно закинул ногу на ногу, протянул руки и на колене сцепил пальцы в замок, чуть подрагивая носком добротного сапога. Мужик, стоявший рядом с Осташей, сердито буркнул:

— Беса качает наш праведник-то...

— Святой Василий Великий говорит: «Приидет угрюмый Ангел, насильно поведёт и повлечёт душу твою, связанную грехами, часто обращающуюся к тому, что оставляет здесь, и рыдающую безгласно; потому что уже сомкнулось орудие плача», — опять влез Калистрат. — О чём та речь? О том, что хоть и во грехе, душа сама по своей воле бесу не дастся! Насильно её Ангел угрюмый уводит! А грехи истязательские наши старцы отмаливают, и справедливостью дел толка нашего ковчежец добра против ковчежца зла переполняется.

— Да не знаю я толка истязельческого! — вдруг вырвалось у Калиника, повернувшегося к Калистрату. — Знаю ересь истязельческую! Из того, что Мирон Галанин её толком признал, она толком не стала! Он хоть само душегубство толком пусть признает, но ничто не толк, если не соборно!

— А Невьянский собор? — тотчас напомнил Гермон.

— Как там дело сложилось — сам знаешь! — запальчиво отрезал Калиник. — Криком изба не рубится!

— Ну, о том с отцом Мироном и спорь, не с нами, — усмехнулся Гермон, растопырил ноги и упёрся руками в колени, словно пристраивал руки покрепче, вроде как драки не хотел.

Осташа снова посмотрел на черноглазенькую. Девка и сама косилась на Осташу. Неожиданно пойманная на ответном взгляде, она смутилась и отвернулась.

Старец Павел тоже опустил руки, непокорно покачал головой и тихо, но веско произнёс:

— Бесовство.

Толпа слушавших недовольно загомонила. Кто-то из мужиков сдёргивал шапку в бессильном негодовании, а Колыван почему-то вдруг нахлобучил её, словно прятался. Мужик, что стоял рядом с Осташей, удовлетворённо хмыкнул.

— Какое ж бесовство? — Калистрат даже поднялся на ноги. — Блаженный Иоанн Милостивый говорил: «Когда душа выйдет из тела и начнёт восходить к небу, её встречают бесы и подвергают многим истязаниям. Во время шествия души святые Ангелы не могут помочь ей, помогают ей единственно покаяние, добрые дела, а более всего милостыня». Мало ли у истязельческого толка добрых дел, чтобы душу сохранить и отогнать мрачных муринов, ефиопов и бесов-мытоимцев?

Подтверждением Калистрату был общий гул одобрения.

— В четвёртом слове Исаии Отшельника сказано: «Когда душа выйдет из тела, ей сопутствуют Ангелы, — заговорил и ещё кто-то из сплавщиков. — Навстречу ей выходят

тёмные силы, желая чем-нибудь удержать её; в то время не Ангелы противоборствуют врагам, но дела, совершённые душой, ограждают и охраняют от грехов, не допуская им прикоснуться к ней». Душа по благодати дел её и без телесной оболочки недоступна дьяволу.

— Ангел-хранитель всегда при душе, — поддакнули из толпы.

— Да поможет ли он, когда раскроют свитки и прочтут хартии, где жизнь человеческая описана? — гневно спросил Павел.

— Даже никонианцы в молебном каноне ко Господу и Пресвятой Богородице на разлучение души с телом поют тропарь: «Горького мытарств начальника миродержателя отжени далече от меня»! Неужто древлеправославной веры люди сатане доступнее?

Осташу удивило, с какой угрюмой надеждой Колыван глядит на каждого говорящего.

— Главная проверка — произнесение имени Иисуса, — громко сказал Гермон. — Кто из сплавщиков святого имени боится, а? Выйди сюда!

Пространство перед престолами оставалось пустым.

— Крест — бесам язва! — крикнули из толпы.

— Сказано: «Пиявки облипают тело живое и сосут из него живую кровь; но если обдать тело солёною водою, то пиявки тотчас отпадут. Так и Господь осолит естество наше солью благодати Святого Духа, и бесы все должны были отскочить от него, поражённые», — победно произнёс Гермон. — А естество — и плоть, и душа. Есть небось среди наших и корыстолюбцы, и греховодники — но толк тут ни при чём!

— Если б от толка вашего только благодать на души снисходила — другой бы разговор был, — упрямо возразил Калинин, хоть и подавленный, но не сдавшийся. — Но ведь старосты ваши мзду с того имеют!..

— Мзда на скиты идёт! — сразу гневно перебил Гермон. — А какие скиты на Руси своим хлебом живут — покажи?

— Скиты подаяниями и дарами живут, а в вашем толке на скиты — по́дать! И то — тлетворно, а потому и дело само тлетворным становится. — Осташа понимал, что старцу Калинику нечего сказать, а потому старец бил по уже мирской сути дела, не по вере, которую опровергнуть не смог. — Зло само себя плодит, его сеять и жать не надо! Оно с малого зерна великим снопом прирастёт! Святой Андрей, Христа ради юродивый, притчу рассказывал об иноке из Царьграда, многими добродетелями украшенном, но сребролюбивом. За душу инока того спорили Ангел и бес, и бес доказал, что инок этот есть язычник, потому что поклоняется золотому тельцу. И никакие добродетели не спасли душу инока, увлечённую в пекло! Так и ваши учителя, что имеют в каплицах рядом с обра́зами аксамиты, маргариты и скры́ни пёнызи, тельцу поклоняются, а потому язычники, и требы ваши — языческие, и обряд — языческое заклинание!

— Григорий Богослов определял: «Заклинание есть изгнание демонов», — сразу спокойно возразил Гермон. — А святой Иустин Мученик говорил: «Всякий демон побеждается и покоряется через заклинание именем Сына Божия».

Осташа тотчас вспомнил, как перед Сарафанным бойцом читал «Лодью несгубимую», сплавщицкий заговор. По именам, по делу — конечно, Господь его выручал. Но было в образе этого чуда что-то бесовское, было: Осташа это чувствовал, будто в тёмном амбаре слышал кошку, а поймать не мог.

Старец Калиник долго молчал — похоже, огорчился поражением. Насупленный Павел отвернулся, бездумно оправляя за поясок выбившуюся рубаху.

— Апостол Павел кесалонцам завещал не спешить колебаться умом и не смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, — расслабленно и тихо сказал Калиник. — Он говорил: «Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придёт, доколе не придёт прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели... ибо тайна беззакония

уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь»...

Осташа в который раз глянул на черноглазую. Поджав губки, чтобы не улыбаться, девка тарасила на него озорные глазёнки. Осташа ухмыльнулся и чуть заметно кивнул головой в сторону опушки: мол, прогуляемся потом, красавица?.. У девки на щёчках появились ямочки.

— ...И кто ж таков взят был? — выкрикнули из народа.

— Да кто... Пётр Фёдорович, царь наш по праву, что даровал волю, крест и бороду... Которого вы, еретики-истязельцы, Пугачом зовёте и ургаланом языческим считаете! — неожиданно гневно закончил Калиник.

В толпе опять начался ропот, и вдруг закричал мужик, стоявший рядом с Осташей:

— Да срам слушать то!.. Кого Пугачом ни поверь, все словоблуды! Какой царь, какой праведник!.. Праведника в безвестности ищите! Он ведь не на виду, не на горё из мертвецов сидит!.. Тьфу!

Мужик в досаде плюнул, развернулся и пошагал прочь от перетолка, который разом возмущённо загомонил.

— Ну, Корнила Нелюбин у нас всегда наособицу, — хмыкнул Калистрат так, чтобы все слышали.

— Потому как один он умный среди всех нас, дураков, — зло объявил старец Павел, натягивая на широкие худые плечи армяк и собираясь уходить. — Отцы наши в рассёдины земные укрывались веру спасать, а мы в кúплях житейских погрызли вместо спасения...

— Чусовая, отче, сама как расседина земная! — вслед ему крикнул старец Гермон.

Осташа не мог удержаться, чтобы не бросить взгляд на черноглазенькую. Девка смутилась, совсем закрыла кулачками лицо и только чуть заметно качнула головой: «Ладно, увидимся на опушке...» У Осташи сама собой развернулась грудь, но вдруг в душу ему словно холодной водой плеснули — это Колыван глядел на него сквозь толпу. Сначала Ос-

таша подумал, что Колыван глядит на уходящего Корнилу. Однако нет: Колыван глядел именно на него. «А что сказали?.. — забеспокоился Осташа. — Что сказали-то, чтоб до меня и до Колывана обоих касалось?..»

— И далее апостол как про вас говорит, про учителя вашего, коего вы от мира скрываете... — всё гундел в общем гаме Калиник, которого уже никто не слушал, — коему учителю он грядущее предвещет: «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьёт духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего, того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякой силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения»!..

ОТЧИТКА

Толпа на поляне раздвинулась кольцом, оставив прозор для отчитчика. Здесь уже стояла старушка во всём чёрном, держала в руках чашку со святой водой и лохматую кисть-кропило. Мрачный, обиженный отец Калиник молча принял поданную Гермоном большую тёмную икону, поцеловал её, накинуд полотенцем и двинулся к толпе. Он занял своё место и перекрестил народ.

Осташа покрутил головой — черноглазенькой не было. «В лесок отошла?..» — с надеждой подумал он и начал потихоньку пятиться от толпы. Люди стояли спиной к Осташе, слушали Калиника, громко читавшего канон. Осташа юркнул за ёлку.

Хорошо было бы полюбоваться с девкой, чтоб шустря и весёлая была, как Фиска, и при том обликом на Неждану Колыванову смахивала. Сейчас, днём, конечно, не полюбишься, а поцеловаться, уговориться — можно. В тёмном ельнике среди подлеска трудно было что-либо найти сразу.

Осташа пошнырял вдоль опушки, забежал в чашу поглубже, но черноглазенькой не увидел. Подумал и тихонько позвал: «Э-эй, красавица!..» Ответа не было. Осташа постоял, озадаченный, и вдруг услышал с поляны дикий, совсем нечеловеческий вопль.

Забыв о черноглазенькой, он вылетел из леса. Толпа посреди поляны отшатнулась от кого-то, кто корчился на земле. Осташа протолкался поближе и увидел какую-то девку, корявую и кряжистую, что стояла на карачках в пожухлой траве. Она громко, по-мужицки хрипела. Калиник издали перекрестил её, и девка снова истошно завопила. Её начало колотить так, что затряслась голова и сбился платок, опростав нечёсанные космы.

— Припадочная, что ль? — спросил Осташа у соседей.

— Кликуша...

Осташа поднял взгляд и тотчас наткнулся на глаза своей черноглазенькой. Только теперь эти глаза были пустые и мрачные, а лицо девчонки как-то обвисло, постарело, и в нём проступили какие-то жуткие, собачьи черты. Под руки девчонку держали мужик и баба — оба бледные и мокрые от пота.

— Я к нему не пойду, — сказала девчонка совсем не своим, не девичьим голосом, скрипучим и глухим.

— Пойдём, пойдём, Манечка... — сдавленно бормотал мужик, подталкивая девчонку вперёд.

Осташа глянул туда, куда смотрела девчонка. Там перед толпой старец Калиник поднимал икону, прикрытую полотенцем.

— На колени опустите, — издали сипло велел он.

Черноглазенькая вдруг начала вырываться, поскуливая сквозь зубы, а мужик — видно, отец — всё бормотал:

— Давай, доча, на коленки, давай, надо... Держи её, старая!..

Он неловко пнул девчонку сзади по ногам, и девчонка сама как подрубленная упала на колени рядом с рослой девкой-кликушей. Калиник медленно приблизился и рез-

ко сорвал с иконы покров, выставил икону девкам напоказ. И кликуша снова завопила, утыкаясь головой в землю, чтобы не видеть образа, а черноглазая завизжала, заверещала и попятилась, толкнувшись задом в ноги толпы. Народ во-круг охнул и закрестился.

— Кропило с чашей, живо! — крикнул Калиник, держа девок под иконой, как под дулом ружья.

К старцу уже спешили два мужика из скитских послушников, один — с чашей святой воды, другой — с кропилом.

Калиник одной рукой прижал икону к боку, а другой схватил кисть, обмакнул в чашу и махнул на девок. Девки завизжали, как в бане, когда на раскалённую каменку случайно опрокидывают полный ковш. Калиник брызгал на девок снова и снова, подаваясь вперёд при каждом взмахе, словно он что-то бросал. С утробным рёвом девка на карачках принялась вилять всем телом, как собака, а черноглазенькую вдруг стало выгибать коромыслом, точно её ломало пополам. И обе залаяли. «Увв!.. Увв!.. Увв!» — гулко брехала с карачек одна, «Аф!.. Аф!.. Аф!..» — тявкала, извиваясь, другая.

Ужас прошелестел по толпе:

— Бесы говорят!..

Осташа, потрясённый, замотал головой, отступая назад, и воистину услышал сам: «По!.. што!.. при!.. шёл!..» — с карачек, и тоненько в ответ: «Про!.. ве!.. ли!..» Потом: «И!.. зы!.. дешь!..» — «Воз!.. вер!.. нусь!..»

Калиник всё кропил и кропил бесноватых святой водой, пока те в корчах не повалились на землю, ногтями сдирая траву и дёргаясь. Их лай перешёл в скрежещущий вой, в котором ещё улавливалось непонятно чьё: «Й-й-и-и!.. Не уй-й-й-ду!.. Не возьми-и-о-ошь!..»

— Бейте их, секите! — крикнул Калиник.

— Страх-то какой, святы Господи!.. — по-бабьи охал рядом с Осташей какой-то мужик. А сзади слышалось, как в толпе в голос читают «Отче наш», захлёбываясь словами.

Отцу и матери черноглазенькой из толпы сунули заранее нарезанные прутья — крепкие, толще пальца; корявую девку обступили сразу трое. Путья засвистели в воздухе, хлестко шлёпая по телам. Визг бесноватых подбрасывал толпу, как горох в сите. Девки, уворачиваясь, принялись кататься по траве, пытались вскочить, и тогда их попросту пинали по плечам и в рёбра.

— Ой, щёкотно, государи мои!.. Ой, моченьки нету, щёкотно, йи-и, ха-ха!.. — вдруг в безумном смехе затряслась черноглазая.

Мать её со стоном схватилась за сердце, выронила прут и опустилась на землю. Бабу подняли и повели прочь, обмахивая ладонями. Её место занял парень с дрожащей челюстью. Он замахнулся неловко — но ударил сильно.

— Ой, ещё давай, миленький!.. Ой, сладенько мне!.. Ой, хорошо!.. — визжала черноглазая, валяясь на спине, елозя и суча ногами.

— Дай поцелую! Дай поцелую!.. — ухала кряжистая девка, бросаясь в ноги толпе.

Люди, что секли девок, прыгали, будто плясали, выдёргивали ноги из ловящих рук бесноватых, били наотмашь — от себя, чтоб анчутки не залезли на них по прутьям. Старец Калиник брызгал святой водой на всех — и на девок, и на мужиков с прутьями.

— Убьёте же!.. — изнемогая, закричали в толпе.

— Сыпь! — гневно крикнул в ответ Калиник.

Девки и проблевались, и обмочились, перемазались кровью и грязью и уже перестали вздрагивать. Толпа обступила их, преодолев страх, и принялась хватать за локти мужиков, всё ещё пытавшихся ожечь бесноватых прутом.

— Выбили, выбили бесов! — твердили со всех сторон. — Да хватит же, а то и дух выбьете!..

— Уйди, з-запору с-сук!.. — орал и обливался слезами какой-то мужик, метавшийся в руках толпы. К толпе от

речки бежали послушники с вёдрами. Калиник опустил кропило — он вычерпал им чашу со святой водой досуха. Он был бледен, тяжело дышал. Да и вся толпа еле переводила дух. Послушники окатили девок, окатили мужика, впавшего в неистовство. Но и без того, оказывается, низкие тучи уже залепили всё небо над Поперечной горой, и сверху сеялся дождик.

— Эх, страх какой — бесам отдаться... — услышал Осташа рядом с собой и оглянулся, ещё плохо соображая. Это был давешний Корнила Нелюбин с потемневшими, расширенными глазами и с бородёнкой, свившейся в жгут. — Страх, что живёшь и не знаешь, что бесы в тебе, как черви в коровьем брюхе...

Осташа перебрал плечами. И ему тоже стало страшно. Он думал, что всегда учует беса в себе — ну будто булыжник вместо шάνги проглотил. А вот ведь девка — смущалась, заигрывала, а и не ведала, зачем её тятенька с маменькой на Весёлые горы повезли...

— Это чья девка-то была? — спросил Осташа.

— Лаврентея Баташова с Кына младшая дочка... Мамка забоялась, чего это она в каплице всякий раз в обморок падает... А другая — дочь Ипата Терентьева...

— Кого?.. — тупо переспросил Осташа.

— Ипата Терентьева, хитника скитского, — повторил Корнила.

В это время к Калинику, который всё ещё сжимал в руке кропило, подошли старец Гермон и Калистрат.

— Надо тебя, отче, и к нам в Ревду позвать, — уважительно сказал Калистрат.

У Калиника, стоявшего с растрёпанными волосами и задрожавшими как после битвы рукавами, вдруг дрогнула рука с кропилом, словно старец хотел замахнуться.

— Только посмей, — тихо и грозно предостерег Гермон.

КОКУЙСКИЙ ЛЕШИЙ

Дочь Ипата Терентьева звали Кикильей. Избитая на отчитке до полусмерти, она весь день пролежала на земле под навесом. Вечером Осташа принёс ей плошку со сбитнем, выпрошенную у семейных кержаков в таборе под горой. Кикилья, кряхтя, села и выхлебала всю плошку, как здоровая, уставшая после косьбы баба.

— Я до батьки твоего с тобой пойду, — осторожно сказал ей Осташа. Девка ничего не ответила.

Вышли с рассветом. Кикилья косолапо шагала первой. Осташа с неприязнью рассматривал её: сарафан от застиранности серый, как тряпка, которой дома Макариха полы моет; большой платок весь в незаштопанных прорехах; берёзовые лапти-босовики ошетинились полопавшейся, чёрствой берестой; мужицкий шабур в засохшей грязи... Что за баба?.. За Кикильей брёл ободранный коняга, впряжённый в лёгкие летние сани-бендюги, наскоро связанные мочальной возжанкой. На бендюги Кикилья погрузила два мешка с мукой. Осташа плёлся последним. Невыспавшийся, голодный, он смотрел по сторонам зло, недовольно.

Хитниками на Чусовой звали тайных золотодобытчиков. Они брали только верховое, лёгкое золото — срывали верха с паздёры и ради верхов портили месторождение, как те поганые привычкой смологоны, что под живицу лупят кору с дерева кольцом у комля. Горное начальство отправляло изловленных хитников на каторгу — не сколько за воровской промысел, сколько за то, что на вскрытых золотоносных песках уже не имело смысла ставить прииск. Хитники брали золото вдали от людских глаз, на дальних сузёмах. Дробили рухляк и каменные хрящи под скалами на безымянных речушках, тёрли глины-мёсники под обрывами берегов, на елянях сдирали тощие дёрны-заволо́ки, трясли в самодельных бутарах дрызги и севунцы. Дело это было опасное и трудоёмкое. В охотку и поодиночке мало кто за него брался.

Обычно скиты нанимали пропащих людишек, беглых крестьян и каторжан или уцелевших пугачёвских бунтовщиков. Потихоньку, сами того не заметив, старатели превращались в скитских рабов и в конце концов пропадали совсем, только через два-три года на заброшенных отвалах ручьи и ветры вылущивали из песков-относов отшлифованные ядра проломленных черепов. Хитников боялись хуже душегубов. Где золото, там и бесы, и хитники прятали кресты, а без креста человек человеку — никто.

Корнила Нелюбин успел сказать Осташе, что эту Кикилью, озверев на безбабье, насильничала вся артель Ипата Терентьева, а потому и нужна была отчётка, чтобы спятившую девку в разум вернуть. Кикилья под кропило вставляла не впервые. Осташа присматривался к Кикилье и с брезгливостью, и с любопытством. Но Кикилья была тупа, ничего не чувствовала. В роже её виделось что-то свиное: расплющенный нос, вывороченные губы, белёсые брови и ресницы... Но статью Кикилья напоминала кобылицу: здоровая, терпеливая, прилюдно пердевшая, не ведая стыда и приличия.

Не дорога даже, а тайный узенький пúтик юлил меж гор, уводя неведомо куда. Корнила пояснил Осташе, что Ипатовская старательская артель моет пески где-то на речке Тискос. Но где такая речка, Корнила не знал. Осташа не очень уверенно определялся, куда же ведёт его Кикилья. От Поперечной горы они перешли на Белую, затем справа за распадом опять блеснул Черноисточинский пруд, и леса снова вздыбились Голой горой. За ней по мелководью перешлёпали сначала речку Чауж, а потом Бобровку. Осташа думал, что вдоль Бобровки они пойдут к большому Елизаветинскому скиту, но Кикилья попёрла прямо на отроги крутого Красного Столба. Перевалив через плечо горы, миновали рощу больших раскольничьих крестов под кровлями и заночевали у ручья Смородинки. Кикилья стреножила коня, наломала лапника и завалилась спать, даже не озаботившись

костром. Осташа, продрогнув, соорудил нодью, погрыз сухарей и тоже задремал. За весь день он не видел никого, кроме этой дуры, и даже с ней не перемолвился ни словом.

Хмурым утром они поднялись на покатую Вахромиху, с вершины которой меж сосновых стволов виднелась вся цепь Весёлых гор — Красный Столб, Ольховая, Каменка... За этой цепью призрачно мерещились Елевой хребет и Караси горы. Там, на севере, было чуть темнее, словно воистину там и была полночь: это снизу мрачно отсвечивали дальние увалы. Леса вокруг стояли нетронутые, словно совсем безлюдные. Но Осташа знал, что под всеми горами повсюду в тёмных едомах таятся скиты, тихо движутся люди, звучат молитвы, в узловатых пальцах дрожат лестовки.

Кикилья спустилась к броду через Межевую Утку, а над бродом стоял голбец, и под иконкой ещё теплился полурастаявший огарок свечи. Осташа не видел никого, но чувёл чужое присутствие: и навстречу им, и наперерез незаметно проходили люди, не показавшие себя, а может, и не только люди. Да и тот же Межеуткинский скит был где-то совсем рядом — только шиш найдёшь. Старцы даже у екатеринбургского горного начальства сумели выкупить на свои горы право божелесья. Заводчики не осмелились сунуться в эти чащи с топорами, не положили лес постелью, как вокруг заводов. Вайлуга хвойным мороком заволокла тайну беззакония. Знай смотри под ноги, чтоб ненароком не раздавить серую лесную мышь, — а то заблудишься и не выйдешь никогда.

Хорошо, что похолодало и прибило комаров, а то бы живём сожрали на Селивановских болотах. По рёлкам Осташа и Кикилья вышли на Синюю гору. Между ней и горой Верхней Выей с висячего Утиног болота и начиналась река Межевая Утка. Со склона Осташа всё косился на косматые заросли болотных хмызей внизу: где-то там, по слухам, болота недавно изрыгнули из прорв два чёрных Ермаковых челна с конскими головами на носах... По гребню Синей горы Кикилья прошла на гору Болтун, а потом путик сва-

лился в низину, загромождённую лесобоем. Сквозь ломаный и плельный лес он вдруг вывел на сухую гору Кокуй.

На вершине Кокуя, как серые зубы, ещё торчали из земли столбы священных вогульских чамий. Здесь в избушках на курьих ножках много веков спали деревянные вогульские мертвецы придорожного кладбища — кокуя. Совсем нехорошее, лешачье место. Не всех, видать, бесов Ермак в Чусовую поскидал... Под горой ручей Кокуй впадал в речку Серебряную, кольчужно блестящую в еловых берегах. По Серебряной сибирские татары с бухарскими саблями у поясов ходили в набеги на строгановские деревянные кремни по Каме и Нижней Чусовой. Потом этой дорогой прошла Ермакова дружина, грузно втаптывая нежить в землю и дыбом ужаса топорща священные кедровые рощи на макушках ёкв. На Ермаковом Кокуй-городке Кикилья остановилась на ночлег.

Здесь на берегу ручья была выкопана землянка. Вокруг валялись дрова, разошедшиеся лодки. Осташа пнул одну и проломил борт. Забравшись в землянку, разделённую пополам перегородкой, Осташа догрыз свои сухари и остался голоден. Кикилья возилась за стенкой, чем-то шуршала.

— Может, муку разболтаем?.. — громко и зло спросил Осташа.

— Не твоё, — глухо ответила Кикилья.

Осташа плюнул и вылез из землянки. В тусклых сумерках за кустами неярко светилась Серебряная. Вершины леса уже терялись во мгле, тихо шумели. Осташа побродил вокруг и залез на насыпь, которая некогда ограждала Ермаков стан. На дне измельчавшего и оплывшего рва из луж торчали рябины, чуть тронутые нервной краснотой, а потому почти слившиеся с сумраком. Тонкие берёзки насорили по берегу белыми листьями. Берёзки росли среди больших земляных куч. В этих кучах еле угадывались очертания сгнивших лодей.

Народ считал, что это Ермаковы суда. Но батя говорил Осташе, что вряд ли, потому как после Ермака Серебряную

объявили Государевой дорогой в Сибирь. По ней с лодьями проходили многие другие казацкие дружины, что на сибирских просторах среди орд татар и остяков ставили Тобольск, Туринск и Татарск, Тарту, Тавдú и Тюмень. А на стругах Ермака, говорил батя, бесславно сплыла в Чусовские Городки неудачливая артель боярина Хитровó, что ещё при царе Алексее Михайловиче два года рыла здешние косомеры в бестолковых поисках серебряных руд. Кокуй-городок лежал вокруг Осташи уже никому не нужный, забытый, затоптанный, заросший — словно плот, половодьем заброшенный на пригорок и теперь замшелый, трухлявый и развалившийся. Только злой леший бродил вокруг, издалека белея берестяным лицом, да высматривал, как отомстить Ермаковым потомкам.

Кикилья, оказывается, решила помыться, пока Осташа бродил по Кокуй-городку. Она натаскала воды в щелястый ушат, что стоял посреди землянки, нагрела в печке-чувале камни и бросила их в кадушку. Когда Осташа вернулся, землянка была тускло освещена лучинами и заполнена вонючим паром. Кикилья, голая, сидела в кадушке нараскоряку и тёрлась собранной в жом мочальной верёвкой. У Осташи что-то толкнулось в животе при виде Кикильи. В ней, уродливой, грязной, мокрой, всё равно было что-то пьяно-бабье. Видно, она была такая тупая и страшная, будто и не человек вовсе, и похоть не сдерживалась опаской, как перед обычной девкой.

— Насильничать будешь? — глядя через плечо, спросила Кикилья, будто промышчала обиженно.

— Сдалась ты мне!.. — в сердцах бросил Осташа и ушёл за перегородку.

Он сдвинул с лежака тряпье Кикильи, чтобы завалиться спать, но из тряпья выпал сложенный в восьмую долю листок бумаги.

Осташа поднял его и не удержался — покосился на Кикилью за перегородкой и развернул. На листке было напи-

сано: «Павел от Меркула Степанова Опалёнкава имел девять чарок, и в том слово бох свидетель». «Что за чушь?..» — удивился Осташа, пряча записку обратно в тряпье, а потом понял: значит, Кикилья не только бесов отчитывать приезжала. Она ещё и намытое хитниками золото сдала старцу Павлу. Чаркой в скитах называли золотник. Только почему какой-то Меркул добычу сдавал, если артель-то была Ипата Терентьева? Да чёрт с этим, не Осташино дело.

Пропотев на пару, Осташа ночью так замёрз без огня, что утром еле встал. Жрать было нечего. На Кокуй-городок сеялся холодный дождик, по Серебряной плыли сбитые листья. Кикилья, видать, была так тошна, что ночью, пусть и в непогоду, кокуйский лешак всё ж таки не сунулся в избушку, хотя Осташа с вечера не зааминил ни дверь, ни оконца. А может, леший заодно с Кикильей был? Не то бы с досады выл под порогом, ворочал крышу, выгоняя из дома. Выйдешь — и сгинешь... Нет, нечистое здесь место.

Умываясь на приплёске, Осташа глядел вниз по еловому ущелью речки и тоскливо думал, что вот связать сейчас два бревна берёзовыми прутьями да и уплыть отсюда, пока он ещё знает, где находится... Там, дальше, Серебрянский завод, потом — и Чусовая, а от деревни Усть-Серебрянки до Кашки совсем недалеко. Куда ему тащиться к этим хитникам? Чего он там может узнать? Ещё убьют, пожалуй...

— Ты знаешь, как твой батя казну пугачёвскую прятал? — напрямик спросил Осташа у Кикильи.

Всё равно девка дура, ничего не поймёт, можно и не таиться.

Кикилья запрягала коня в волокушу.

— Он не прятал, — не оборачиваясь, прогудела она. — Он казну Якову Филипычу отдал и ушёл...

Яков Филипыч — это Яшка Гусев, Фармазон.

— Большая казна-то?

— Семь бочонков, а с золотом — два...

— А кто её дал твоему батьке?

Кикилья молчала — видно, и сама не знала. Но на этот вопрос даже сам Ипат Терентьев, наверное, не стал бы Осташе отвечать. Да и важно ли? Тайну батиной гибели этот ответ не осветит.

Осташа ощутил себя дураком и разозлился. Здесь надо колдуном быть, который может незаметно все узелочки на человеке развязать, чтобы чары навести. А Осташа не мог объяснить себе, чего же хочет ещё узнать про Ипата. Зачем же тогда надо было так далеко тащиться, если спросить нечего, а отвечать некому? Осташа постоял за спиной Кикильи, нелепо помахивая своей пустой торбой, и наконец сказал:

— Ухожу я обратно на Чусовую. Прощай, красавица.

Он закинул торбу за спину, повернулся и бездумно пошagal по берегу Серебряной. Сколько ещё можно биться лбом во все запертые двери?..

И вдруг Кикилья сзади сшибла его с ног так, что шапка улетела в воду, и навалилась всей тяжестью сверху, выламывая руки.

— Ты чего?!.. — заорал Осташа, пытаясь вырваться, задёргал локтями и заколотил ногами. Он почувствовал, как его запястья обвивает колючая мочальная верёвка. — Вяжешь, сука?!..

Кикилья была тяжёлой и сильной, как медведь, — играючи ломала сопротивление. Придавив Осташу коленом в хребет, она связала ему ещё и ноги, а потом встала, отряхивая подол. Осташа изогнулся и перевернулся на спину, как рыба.

— Ты почто меня связала?! — крикнул он.

— Со мной на Тискос поедешь.

— Да чего я там не видал?!..

— Коли тебе батюшка нужен был, так батюшка на тебя должен посмотреть.

— Мне ж до твоего отца дела больше нету!.. — отчаянно завопил Осташа. — Развяжи меня, блядь!..

Кикилья наклонилась — Осташа подумал, что сейчас получит по морде, — но девка легко подняла его и потащила к бендюгам, навалила на мешки с мукой. Осташа, матерно ругаясь, завертелся, чтобы скувырнуться на землю. Но Кикилья схватила его за волосы, обмотала шею верёвкой и привязала к оглобле. Свалишься — удавишься насмерть.

— Со мной поедешь, — без выраженья повторила она.

— Как тебя, кобылицу такую здоровую, мужики-то насиловали? — прохрипел Осташа, выворачивая на Кикилью глаза.

Кикилья поправляла мешки, разворошённые Осташей.

— Сила-то в ступнях, — беззлобно пояснила она. — Подшибут да на колени уронят — у кого ж сила-то будет?

Конь тронул, волокушу затрясло на кочках. Осташа чуть не заплакал жгучими слезами бессилия и бешенства. Проклят будь кокуйский леший — встал на пути елью мохнатой, лёг белым мхом, навёл волю на неволю!

ХИТНИКИ НА ТИСКОСЕ

Только связанный, Осташа понял, что же его, не связанного, тяготило в этих лесах и горах. Не было тут ясной дороги, к которой он, чувствянин, привык. Тропки, путики, засеки, памятки — всё только для посвящённых, всё непонятное, всё тайное. Последняя знакомая дорога — Серебряная, и та осталась позади, за лесами. Как отсюда выбраться? Осташа не умел находиться по звёздам, не отличил бы полудень от полуночи по веткам или мхам, даже с маточкой в руках вряд ли вышел бы. А без людей, без рек — ему здесь гибель. Он — человек реки, а люди леса — это вогулы, это скитники. У каждого свой мир. Зря он сюда сунулся.

Сани волоклись по сумрачной нехоженой кóйге, валились с бока на бок на лесном хлáмнике, скользили по жухлой травке редких еланей. Осташа лежал лицом вверх, и ему

казалось, что, переступая через него, над ним идут вогульские орлы-великаны, волочат по земле распущенные крылья. Низкие мутные тучи медленно скручивались узлами, из которых начинал капать дождь, или расплетались пряжей, расползались по небу, как разваренная каша. Здесь были немеряные, ещё никем не поделённые леса, куда мало кто заходил. Здесь пахло нетронутой прелью, смолой, грибами, дождём. Птицы уже не пели. Вогульские бесы тут и не прятались, а сидели в дуплах, в вихоревых гнёздах, прямо днём глядели открытыми глазами, ухмылялись рылами наростов-вылей.

Так и шли по борам-верешатникам, что стоят по колено в вёре, по тонким и частым высокбоям в распадах, по воробам-прогалинам, заваленным мелким хворостяным дрызгом. Радами обходили висячие болота-наволоки. На высоких склонах в редких просветах густых подвёй Осташа вдруг видел пронзительные дали с синими и тяжёлыми, будто коровье вымя, горами. Кикилья и не скрывала, где они идут, — всё равно Осташа не выберется: вот гора Верхняя Сылвица, вот гора Кырма́, вот гора Подпора. Осташа совсем зачоченел, руки и ноги затекли. Но Кикилья развязала его только на ночлег.

— Уйду ночью... — сипло пообещал Осташа Кикилье. — Не укараулишь, не догонишь...

Кикилья показала Осташе его нательный крест и сунула в рот.

— От крешта не уйдёшь, — прошамкала она.

— Я тебе горло распорю сучком...

— Вшо равно ушпею шглотнуть...

— Тогда утробу твою выпотрошу... — бессильно обещал Осташа.

Всю ночь над тусклым костерком скрипел и шевелил костлявыми ручищами огромный кобёл — высохший на корню кедр с облупившейся корой. Будто, корчась в кобях, одеревенело вогульское чудище. Осташа, изнемогший и го-

лодный, лежал на куче хвороста и думал, что вот сейчас возьмёт сучок поострее, подкрадётся к девке и воткнёт ей в горло, рванёт на себя, чтобы вывернуть горло наизнанку... Но Кикилья на каждый хруст открывала белые в темноте глаза и смотрела, казалось, прямо в душу Осташе. Она была сильнее и не дала бы себя убить. И как в дрёме она отличала стон кобёла от треска хвороста?..

Уйти без креста?.. Что — крест, вера-то с собою... Но крест — не ургалан Шакулы, в который хочешь — и посадил божка, а хочешь — и прогнал. И крест, конечно, не божок, не идолок. Но ведь именно тех, кто мылся в чёрной бане без креста, душили жестокие банники. И только те девки, что без креста тонули, возвращались из омутов русалками. И схороненные без креста мертворождённые младенчики вылезали из могилок страшными игóшами, которые жили в ивняках и спали под сорóшником. Нет, без креста нельзя.

Батя говорил, что человек слаб, а потому к разуму ему дана ещё и вера, потому к опыту дана ещё и молитва, к барке — икона, а к сплавщицкой трубе — родильный крест сплавщика. Над каждым крещёным добрая Богородица держит свой покров, а крест — как скрепа, чтобы бури этот покров не сдули. Крест не вера, как амбарный замок — не богатство, но без замка не сбережёшь скарба, без креста — веры. А куда в жизни без веры, если слаб, если каждый сквозняк тебя с ног валит?.. Скрипел, ныл в темноте над углями старый кобёл, точно осенние ветра отпевали волю. И Осташа, смиряя себя, снова решил положиться на Господа: ему видней, зачем Осташе надо очутиться у хитников на Тискосе.

...Проснулся Осташа от того, что Кикилья вновь навалилась на него, заламывая ему руки. Осташа и не дёрнулся воспротивиться, когда возжáнка опять передавила его запястья. Предстоял ещё один день голодного пути.

К вечеру, соскользнув со склона горы Подпоры, вдоль Подпоры-речки Кикилья вывела наконец к Тискосу. Тискос-то шириной был в телегу. Устье речки Подпоры при-

шло меж двумя покатыми горами и походило на обычную развилку лесных дорог, только всю разьеженную вдоль и поперёк, растоптанную, перекопанную, словно здесь разорвалось огромное ядро. Этот взрыв зашвырял всё небо комьями дождевых туч, будто кусками суглинка, ошмётками земли, волосатыми ключьями дёрна. Свет заката, розовый, как глиняная вода, неряшливо растёкся среди облаков. Изуродованная стрелка двух лесных речек казалась плевком, растёртым по половице грязной подошвой. Всё было перерыто, превращено в груды земли и гальки среди огромных мутных луж, которые соединялись журчащими ручейками. Да и стройный лес вокруг был подрублен, но ёлки не уронили, а оставили висеть друг на друге.

Старателей здесь было примерно с десятков. Мужики рассыпались по всему пространству рощи, топтались в лужах, копали, наваливали породу на носилки, таскали носилки к бутаре. Корнила Нелюбин успел рассказать Осташе, что Ипат Терентьев был в учениках у знаменитого тагильского плотинного мастера Леонтия Злобина, совсем уж старичка в пору Ипатово ученичества. Это Леонтий Злобин построил на непокорных горных речках десятки вечных плотин, в том числе — и в Тагиле, и в Ревле, и в Екатеринбургe. Леонтий и научил Ипата понимать толк в плотинах и приисках, в копаниях и шахтах. С таким навыком чего не доставало мужику, почему предался Белобородову?..

Явно разумением знатока в беспорядке рытвин и куч была сделана насыпь, на которой громоздилась здоровенная деревянная бутара, золотопромывочная машина, прочно сбитая из брусьев и досок. Сита и рычаги её были железные, хоть и ржавые, но дорогие — не по карману бродяжкам и разбойным хитникам. Под насыпью чернела водяная яма. Мужики высыпали породу с носилок на лоток бутары. Окатчик шурудил породу граблями, ровно разгребая по дощатому поду над сеткой. Бутару за рычаги качал промывальный щик. Водолив у подъёмника-журавеля черпал бадейкой во-

ду из ямы и выливал её на долблённые деревянные потоки. Вода пузырилась и текла по грязной породе, просачивалась вниз с яруса на ярус. Порода, промываясь, словно кипела, с дробным рокотом сыпалась сквозь сетки, застревая на ситах. Бутара скрипела и стучала, слышался плеск, шуршали в коробах промытые пески. Ручей бурой пены бежал из-под бутары обратно в яму. Хрипели промывальщик, окатчик и водолив — словно три задыхающихся в дымокурах пасечника возле огромного урчащего улья, в сотах которого зреет самый сладкий в мире мёд золота.

Кикилья остановилась на расчищенной от валежника опушке, где громоздились балаганы из корья. В углях ещё курящегося костровища торчал артельный котёл.

Свист оборвал работу старателей. Мужики, воткнув в лужи лопаты, стали собираться вокруг Кикильи, молча обступили Осташу, привязанного к бендюгам. Кикилья, пыхтя, распрягала коня. Не оглядываясь, она спросила через плечо:

— А тятя где?

— К дырнику ушёл, — буркнул один из мужиков и, поймав, добавил: — Удачу выпрашивать... А это с тобой кто?

Кикилья за рукав потянула к себе промывальщика и что-то зашептала ему на ухо. Прочие ждали. Мужик-промывальщик как-то обрадованно и трусливо пялился на лежащего Осташу.

— Говори, Меркул, — утрюмо прозвучало из толпы.

Осташа снизу разглядывал хитников, обросших и грязных, одетых в мокрое рваньё. Все они были корявые и сильные, с неподвижными, измождёнными лицами и тусклыми, уже всё выдавшими глазами. Это были люди отчаянные, опасные, привычные жить на кромке. Кто они? У двоих вон багровые клейма на лбах, у третьего ноздри вырваны... Пугачёвские воры, сбегавшие из-под царицына кнута; демидовские углежогы, столкнувшие в раскалённое недро кабана залютовавшего приказчика; староверы из сожжённых скитов; разбойнички, нарвавшиеся на кулакастого

купчину... Люди, сыгравшие с судьбой в зернь и всё про-
дувшие подчистую. Развязать Осташу никто из них и не
подумал.

— А это, робя, наша разгадочка, отчего намыли мы де-
вятнадцать золотников, а Ипат Терентич Якову Филипычу
только десять сдал, — усмехаясь, пояснил Меркул, как-то
заискивающе глядя на Осташу. — Это Кикильюшка Ипату
Терентичу от старца Павла приёмышника привезла... Он за до-
бычей нашей намылился, да с полдороги, с Кокуй-городка
бежать хотел. Испужался, видно.

Хитники опять молчали, разглядывая Осташу. Кикилья
ухватилась за локоть Меркула и приоткрыла рот, словно
и сама была поражена, что за злодей ей попался.

— Брешет, — с волокуши сипло сказал Осташа. — От
старца Павла у меня поручений нету... Я по своей воле
к Ипату шёл.

— Ну, ага, по своей воле, — глумливо согласился Меркул
и с намёком поддал ногой по волокуше.

— Это дура ваша меня скрутила, не спросясь... Я и так...

— Правду говори, — перебили из толпы, и другой голос
устало добавил: — Лучше сам, без дыбы.

— Давай-давай, — покивал Меркул, словно подначивал
к чему-то. Бойкие, бесстыжие, со злой придурью глаза его
так и ели Осташу.

— Подите к чёрту! — гневно закричал Осташа. — Чего вам
надо от меня? Мне от вас — ничего не надо! Силком во-
лóчите на какой грех? Я сплавщик, не старатель и не скит-
ский! У меня к Ипату спрос был о пугачёвской казне, а ваш
делёж не моё дело! Развяжите лычаги, ироды!

— Золотó, да не то, — быстро сказал Меркул, оглядыва-
ясь на хитников.

Осташа тотчас вспомнил расписку от старца Павла, что
на Кокуе случайно нашёл в Кикильиной одежде. Всё стало
ясно: этот Меркул тайком сплавлял часть добычи старцу
Павлу, а свалить грех хотел на Ипата. Только Кикилья-то,

дочь Ипатова, как на то согласилась? Неужто такая дура непроходимая?

— Эй, артельники!.. — торопясь, заговорил Осташа, чуть приподнимаясь, насколько верёвка позволяла. — А я догадался, куда ваша добыча утекла! Это Меркул украл её у вас и старцу Павлу продал! Я у девки вашей ненароком расписку старца видел на девять чарок от Меркула Опалёнкава!..

Водолив — здоровенный волосатый мужик с брюхом и смоляной бородой, торчащей, как труба, растерянно смотрел то на Меркула, то на хитников. Кикилья стояла дура душой, ничего не понимала. А Меркул вдруг подмигнул Осташе.

— Робя, девку обшарить надо, — не оборачиваясь, сказал старый и лысый хитник без ноздрей. — А ты, парень, помни, что у нас слова как ножики, и даром — только в яму с головой.

Кикилья завывала, когда трое или четверо мужиков потащили её в сторону, повалили и с руганью стали задира́ть и рвать оде́жу.

— Меркулушка, не дай лапаты!.. — отбиваясь, голосила девка.

— Да кто тебя ещё не лапал-то... — негромко хмыкнул Меркул.

Хитники ждали, глядя на ворочающуюся кучу людей.

— Нету при ней ничего, дядя Еким, — поднимаясь и отряхиваясь, сказали мужики.

Полуголая, растрёпанная Кикилья сидела, раскорячив белые толстые ноги. Сопя и хлюпая носом, она собирала вокруг себя втоптаные в землю обрывки сарафана.

Меркул ухмыльнулся Осташе в лицо. Осташа почувствовал, что звереет, задёргал плечами, пытаясь освободиться. Опять он сдурил: ну кто ж будет держать такую расписку при себе? Спрятала её Кикилья где-нибудь по дороге — на том же Кокуе или под кобёлом... А за поклёп и Меркул, и хитники, и сам Ипат с него взыщут! Страх и гнев пережали Осташе горло, но хитникам показывать это было нельзя.

— Ты, паря, всё равно мертвец, так скажи правду дяде Еким, — негромко, добродушно попросил Еким с вывороченными ноздрями.

— Ещё посмотрим, кто мертвец, — сквозь зубы ответил Осташа.

Он завертел головой, словно от духоты. Облачное небо плеснуло в глазах, как простокваша. Что ж за судьба-то такая злая у него, у Осташи, — всем костью поперёк горла встревать!..

— Ну так что, сдаёт Ипат Терентич золотишко тайком от нас старцу Павлу или как? — лукаво улыбаясь, спрашивал Меркул. — Решай, братец, жизнь-то Ипата Терентича... За воровство от своих его артель карать будет, а за воровство от старца Гермона — Яков Филипыч, суровый человек... Скит старца Гермона шибко недолюбливает скит старца Павла, а истязельцы Гермоновы охулки на руку не кладут.

Но Осташа уже и не зацепился мыслью ни за Яшку Гусева, ни за истязельцев — холодом гибели подморозило скулы.

— Плевать мне на Ипата, но ты — вор! — крикнул Осташа. — Почто меня приплёл, душегуб? Я тут при чём?!

— Не сознаётся, — с сожалением сказал Меркул. — Дадим острастку, дядя Еким?

Хитники смотрели на лежащего Осташу, как на свилеватое полено, которое надо расколоть.

— Кто наш стан найдёт, те все под землю уходят, — пояснил Еким. — Не обессудь, таков уж наш промысел, не зря от народа подальше держимся. Так что тебе, паря, конец-то недалёк. Не мучь себя, скажи про Ипата и Павла правду...

— Сказал уже!.. — сквозь страх прохрипел Осташа.

Душа его в животе сворачивалась в узел, предчувствуя боль. Надо было хоть помолиться, хоть в заговор душу вложить — говорят, от таких заговоров на страсти и врагов разражало насмерть. Но Осташа от ужаса забыл обо всём.

— Сам выбрал, — опускаясь на чурбачок, вздохнул Еким.

— Махоня, неси головню и топор, — велел Меркул.

Он сел над волокушей на корточки и, втиснув руки под спину Осташе, проверил верёвку.

— Чтоб вы сдохли, — бессильно пожелал Меркулу Осташа.

Толстый Махоня с бородой, как труба, протянул Меркулу топор и длинный сук из костра, ещё тлеющий на конце. Меркул деловито обрубил с сука ненужные ветки и лезвием почистил угли от золы.

Хитники ждали.

Держа головню на отлёте, Меркул наклонился к лицу Осташи. Осташа скосил глаза и смотрел только на красный уголь на конце головни, который от движенья затлел ярче и злее.

— Признай вину за Ипатом, — тихо попросил Меркул. — Тогда не убьём... Глаза и язык вырежем, чтобы место наше не открыл никому, а самого при себе с кормёжкой оставим бутару качать...

Осташа перевёл сумасшедший взгляд на Меркула. Ему, сплавщику, лишиться глаз и языка?.. Лучше смерть! Ярость затопила страх, как половодье — приплёсок. Осташа чуть приподнялся на локтях и что нашлось сил ударил лбом Меркулу в переносицу. Меркул, охнув, отлетел на спину и выронил головню, но тотчас вскочил и подхватил её снова. Зажав горстью кровь из носа, он приложил головню Осташе к скуле.

Осташе показалось, что ему колом пробили виски насквозь. Ходуном колыхнулись волосы и выпучились глаза, а всё тело вмиг намокло от пота.

— Блядь рыло!.. — бессильно выдохнул он.

— Ипат! — вдруг крикнул бородатый Махоня, хватая Меркула за плечо.

Меркул отбросил головню, поднимаясь на ноги. Хитники повернули головы к опушке, от которой к толпе торопливо шагали двое: рослый длинноволосый мужик в берестяной одежде и мужик роста куда поменьше, ладный и быстрый, как воробей.

Как-то мгновенно мужик, что был пониже ростом, очутился среди хитников и, оглянувшись, спросил:

— Чего делим, артельнички?

Хитники угрюмо молчали. Видно, молчать в ответ на всё им было в привычку. Еким, закрихтев, словно разом состарился, встал и будто через силу сказал:

— Кикилья твоя человека привезла, и говорит тот человек, что ты, Ипат, пропавшее золото со старцем Павлом передувáнил...

Меркул опасливо поджался, а Махоня суеверно попятился. Ипат посмотрел ни них, перевёл взгляд на Осташу и хмыкнул:

— Парень-то не признался, и язык ещё не вырезали, да? Чьё слово, дядя Еким, твоё или артельное?

— Степаныча с Махоней, — Еким нехотя кивнул на Меркула.

Ипат вдруг оттолкнул Екима и шагнул к Кикилье, что стояла за спинами хитников, прикрыв ладонями рот. Без пояснений он ударил Кикилью в живот. Девка повалилась на колени, задыхаясь, и попыталась прижаться к ногам Ипата.

— Ты золото Павлу таскала? — напрямик спросил он.

— Н-не-э-э!.. — завывала девка, тряся головой.

— Чем Меркул купил-то тебя? — словно не услышав, снова спросил Ипат, за подбородок поднимая лицо Кикильи.

— Же... жениться обещал!.. — разрыдалась девка.

Ипат в сердцах плюнул и пнул Кикилью в грудь. Он повернулся, и хитники увидели в его руке нож.

— За слово ответ держать надо, — деловито, без угрозы сказал Ипат артельным.

Махоня вдруг отпрыгнул спиной вперед, но Ипат ещё быстрее оказался перед ним и ловко ухватил мужика левой рукой за бороду-трубу, а правой — за рубаху на брюхе. Оба они застыли. Осташа увидел, как у Махони бледнеет рожа и пот течёт по щекам. Осташа понял, что Ипат не держит Махоню за рубаху, а вогнал тому нож прямо под сердце.

Потом Ипат дёрнул плечом, стряхивая Махоню с лезвия, и Махоня квашнёй осел Ипату под ноги.

— Теперь твой ответ, Меркулушка, — поворачиваясь, сказал Ипат. — Или ты миряк, который без ума вопит?

Меркул пригнулся, задышал шумно и часто, подхватил с земли топор и, растопылив руки, двинулся вокруг Ипата.

— Место! — негромко рывкнул Ипат на артельных, легко отбегая в сторону на пару шагов.

Хитники подались назад. Меркул кинулся на Ипата, колесом прокрутил топор над головой, рубанул — но по воздуху. Ипат гибко уклонился, подсёк ногой ногу Меркула и ещё толкнул его в плечо. Меркул рухнул пластом, воткнув топор по обух в землю. Ипат мгновенно оказался у него на спине. Он схватил Меркула за волосы и ударил лбом в обух. Меркул замер, оглушённый.

Никто и дух не успел перевести, как Ипат, встав на одно колено, перевалил Меркула лицом вверх, оседлал его и чуть склонился, как-то мелко двигая локтями. Кисти рук Меркула задрожали под голеньями Ипата, а через миг Ипат уже соскочил с груди Меркула и поднялся в рост. Лицо Меркула было запачкано словно бы разбитыми сырыми яйцами. Глазницы, как бочажины водой, были залиты кровью. Ипат вырезал Меркулу глаза.

— Ну, вот и порешили, кому в артели верх держать, кому бутару трясти, — переводя дух, нарочито спокойно сказал Ипат, вытер нож о бедро и сунул под онучу.

Меркул неподвижно лежал под ногами у хитников наискосок от Осташа. В горле его от дыхания булькало, а пошевелиться Меркул не мог, точно его разбил паралич, — видно, боялся.

— А ты, старый хрыч, неужто меня не знаешь? — Ипат обернулся к Екиму, который вдруг ссутулился, поневоле понурившись, чтобы не так заметно было, как страшно помертвело его лицо. — Я ли мало с промысла имею, чтобы от артели красть?..

— Грешен... — проскрипел Еким.

Ипат, хоть и был моложе, как-то по-отцовски потрепал Екима по затылку и вдруг резко нагнул, выставив навстречу лицу колено.

— Ну и квиты... — распрямляясь, прошептал Еким и рукавом вытер кровь с разбитых губ.

— Та-ак, — озираясь, Ипат вспомнил об Остахе. — А этот у нас кто будет?..

Остаха уже ошалел. Он забыл о боли от ожога, не чувствовал страха перед смертью или ослеплением.

— Сплавщик я, — без голоса ответил Остаха.

— Его Кикилька с отчитки привезла, — глухо пояснил Еким.

— И чего тебе надо? — спросил Ипат у Остахи.

— Хотел узнать, как ты казну пугачёвскую вёз...

— А почто тебе?

— Батя мой её вместе с Гусевыми прятал...

— И чего ж, ты её выкопать решил?

— Батю за неё сгубили... Я хотел узнать, кто при том был...

— Твой батя да Гусевы, кто же ещё? Мне её в Старой Утке Калистратка передал, а я её — Якову Филиппу. Это нынче уж не тайна. А где Яков казну закопал, никто, кроме него, не знает.

Ипат глядел на лежащего Остаху и ладонями оглаживал рубашу на животе, сгоняя складки в бока под поясок. Остаха не мог сообразить, чего ещё сказать, чего спросить.

— Ну, выбирай, — добродушно предложил Ипат, — или без глаз и языка бутару качать будешь на пару с Меркулом, или сразу...

— Нет, мне на Чусовую надо... — глупо сказал Остаха.

Ипат усмехнулся.

— У нас закон артельный: пока золото моем на одном месте — с него никому хода нет, ни своему, ни чужому.

— Я не выдам место, — пообещал Остаха. — Да и не знаю я его...

— Дойдѣшь до Чусовой — значит, и вернуться сможешь. А золото — оно такое, его на всех никогда не хватает. Нечего тебе было к нам соваться. У нас промысел — как у нежити: кто к ней в выучку пошѣл, да не выучился, с того кожу слупят. Но могу и Якову Филипычу тебя отдать. Только если ты и вправду сын Перехода, тебе в скиту у Гермона тоже конец.

— А ты, Ипатушка, мне его отдай, — раздался вдруг ласковый голос. Это говорил тот мужик в берестяной одеѣе, что вышел с Ипатом из леса. Про этого мужика все давно уже запомнили.

Ипат впервые вдруг сбился, растерялся.

— То не дело, дядя Веденей, — неуверенно и осторожно возразил он, исподлбѣя глянув на мужика.

— Почему не дело? — Мужик снял берестяной колпак и будто принялся к сумеркам. Хитники молчали и глядели на него во все глаза. — Золота не будет. Уходит жила, я чувствую. Не надо было Махоню резать — кровью отпугнул огнецо́в... Коли хочешь, чтоб я тебе новую жилу навѣл, — отдай парня. Я уж сколько лет со сплавщиком не говаривал...

ДЫРНИК

У парнишек из Кашки была игра с проверкой — «вóлотовы шаги». На Омутном бойце у самого обрыва росла сучкастая сосна-ка́ренга. К сучку была привязана верѣвка. Надо было уцепиться за неё, разбежаться, огромным прыжком по дуге пронестись по-над пропастью с Чусовой на дне и приземлиться на другой стороне каренги. Кто испугается — тот сыкун, возгря, не мужик; ему только треснутые бабки выпрашивать, а первому бить битой — никогда. И Осташа тоже прыгал, пролетал над бездной в пустоте и ужасе, не канѣл. Потом какой-то мальчонка из Харѣнок всё-таки сорвался, разбился в лепѣшку об воду, и отцы, дознавшись, срубили

каренгу. Но память въелась, как щёлок. И сейчас Остахе казалось, что судьба несёт его над бездной тем же великанским шагом. Гонит по лесам от страсти к страсти, и всё по дуге мимо Кашки, как мимо каренги. А может, и мимо правды. И Остаха уже очумел: никак этот полёт не прекращался.

Веденей увёл Осташу от Тискоса недалеко, версты на две. Вторую версту уже шли в темноте. Наконец Веденей остановился и сказал:

— Совсем, гляжу, спёкся... Вот тут лежище у меня.

Остаха еле разглядел огромную кучу лапника, из которой высовывался белый и широкий берестяной язык. Это была полсть. Остаха молча полез в неё, свернулся калачом между двумя берестяными полотнищами и закрыл глаза. Он думал, что уснёт тут же, но в памяти сразу встало лицо Меркула с кровавыми лужами глазниц, с блестящими потёками на щеках... Как быстро перекувырнулась жизнь Меркула... Не жаль его, но всё же — как быстро!.. И как спокойно смотрели на это хитники, Ипат, Еким... Чему удивляться после Пугача?

Батя говорил, что после Пугача у сатаны ещё долго кровавая отрыжка будет. Вот она... Только и спасенье, что баты вспоминать. И Остахе снова стало одиноко, совсем одиноко. Теперь, без бати, он сам был старшим, взрослым. Но тяготила не нужда зарабатывать хлеб, а беззащитность. В жизни батя был перед ним как ледолом перед мостом. Теперь нет ледолома, стой сам супротив ледохода: без прикрытия, шаткий и хлипкий. Иди по жизни, уже не держась за батин хлястик. Плыви уже не вторым, не в струе за батиной баркой, как хотелось, а первым. И перед чем первым? Перед льдиной, перед бойцом, перед гибелью. Тоска...

Раньше казалось: надо быть как батя, да и всё. А вот не выходит... Батю люди принимали, а его, Осташу, не принимают. Он как домовый: от сатаны отстал, к людям не пристал. Для всех он чужой, нежеланный, неправильный. Ничего-то и сделать не успел, а все на него, как псы, уже оз-

лобились. Осташа понял, что он уже очень устал от того, что не таков, как хочется самому, и не таков, как хочется другим. Межеумок он — не бурлак и не сплавщик, не заводской и не пристанской, ни себе и ни людям. И все его гонят прочь. А ведь он — не пустышка: ему есть кем стать и в кого быть. «Тяжко мне, батя, в лесах... Я на Чусовую пойду. Я на Чусовой меж людей себе место зубами выгрызу».

Туманным, холодным и вялым утром Осташа вылез из полсти и поёжился. Кругом был лес. Верхушки деревьев таили в мокрой хмари. С еловых лап капала роса. Пожухлая трава казалась ледяной. От дыхания шёл пар. Веденей вынырнул откуда-то из-за деревьев. Осташа в первый раз внимательно оглядел его и поразился: Веденей весь словно был сделан из бересты. На голове его криво сидел берестяной колпак-биток; штаны и лопотина были скроены из варёной бересты — тиски; ноги были обуты в берестяные сапоги-верзни; даже длинные, грязные, серые волосы и борода казались берестяными.

— Ты бы хоть зайца подловил да ободрал, — сказал Осташа.

Веденей устало улыбнулся. Белки глаз его покраснели от бессонной ночи. В одной руке он держал деревянный молоток-кóлот, которым оббивают шишки с деревьев, в другой — кузовок-пáйву, тоже, конечно, берестяную.

— На, поешь, — протягивая пайву, полную кедровых орехов, сказал Веденей. — Я уже налушил. Больше у меня есть нечего.

Осташе орехов хватило на пять хапков. «Когда ж я по-человечески-то потрапезничаю?..» — подумал он.

— Ну и куда мы идём?

— Ко мне, на Костёр-гору, — пояснил Веденей. — Урмань-кур, по-вогульски. Знаешь такую?

— Я что, на вогула похож? Послушай, дядя Веденей, зачем я тебе нужен? Отпусти ты меня... Укажи дорогу на Чусовую.

— Вот дойдём до Костёр-горы, поговорим, там и видно будет, — уклончиво ответил Веденей. — Пошагали давай, милоч, собирать нам нечего...

И они шли ещё целый день. Веденей не искал приметок, зátесей — шёл как зверь, словно по чутью. Но на пути им не приходилось лезть через валежник, обходить болотину или бочáжины — значит, Веденей всё ж таки выбирал дорогу, где почище. Однако он ни разу не провёл Осташу вёрхом горы, чтоб в просветах Осташа смог увидеть окоём, смог нашарить взглядом дальнюю реку, и ни одного ручья они не перешагнули.

— Ловко ты меня ведёшь, — заметил Осташа.

Веденей оглянулся, усмехнулся и бросил Осташе красноватую гроздь недозрелой рябины.

— Про разбойника Рассказова знаешь? — спросил он. — Ну вот.

О Рассказове на Чусовой рассказывали много. Разбойник этот был добрым человеком и чертознаем. Грабил только богатых, но ни разу не пролил крови. Умел глаза отводить: сам в одном месте был, а голос в другом месте звучал. Его несколько раз ловила горная стража, сажала в острог, а он просил попить водицы в ўточке и уплывал от стражи по воде. Хитрый караул в Екатеринбургском каземате придумал поить Рассказова квасом. Тогда Рассказов добыл уголёк, нарисовал на стене лодочку и всё равно уплыл. «Верно, — согласился про себя Осташа. — Встретился бы на пути ручеёк — я бы ушёл вниз по течению к реке. Здесь любая река в Чусовую впадает. Добрался бы так или иначе». Он уже до смерти умотался в этих великих, бескрайних, молчаливых лесах.

К своему жилью Веденей вывел Осташу в темноте, и Осташа опять ничего толком рассмотреть не смог. Огня Веденей зажигать не стал, только сунул Осташе в руку кусок холодного сушёного мяса.

— Утром, утром, — пробурчал он в ответ на все вопросы.

...А утром землю и небо сцепило ясным заморозком, и Осташа понял, что нынешнее лето кончилось безвозвратно. Он стоял у входа в Веденееву избу и озирался. Веденей поставил своё жильё на опушке лесной поляны, которая лежала на склоне высокой горы, как скатерть, забытая на берегу после игрищ и хмельных трапез Купальской ночи. Поляну по кругу обступили старые берёзы. Их белые стволы чернели заплатами бάρмы — новой бересты, выросшей на месте содранной. Сквозь жидкое золото листвы сочно темнела хвоя матёрого ельника, заслонившего окоём.

Низкая избёнка Веденей была сикось-накось сложена из длинных и тонких елэг. Щелястые стены, протыканные мхом, были забатóваны жердями, как поленницы. Одна сторона избы вообще была врыта в крутой склон. Кровлей Веденей не озаботился: просто приподнял со склона пласт земли и положил его на застеленные берестяным скальём слегы потолка. На крыше очутилась целая заросль мелкой черёмухи. А в избе на голову сыпались труха и песок, стояли потёмки. Да и нечего было разглядывать, разве что широкий лежак на ведёлицах — жердях-подтоварниках, которые на плотках подкладывают под груз, чтобы не промок. Лежак, опять же, был завален лапником. Печку или хотя бы камелёк Веденей не сложил, хотя вокруг избы валялись поленья-подлупёжник, а у входа в избу серела давно промытая дождями проплешина очага. Сбоку к стене были приставлены резные чурки — ургаланы, как у Шакулы в Ёкве. Зачем они здесь?..

Осташа глядел по сторонам и мрачнел. Опять не станование жильё, а временное, бросовое. Значит, и жизнь здесь опять-таки абы-кабы, во имя чего-то другого... Чего? В скитах — во имя Господа. У хитников — во имя золота. А здесь? А-а, хоть во чьё имя, но уж точно не для человека. Для человека не такие дома строят. А значит, ему, Осташе, здесь тоже будет худо.

Оставляя чёрные следы на сизой, заиндевевшей траве, Осташа направился к суковатому и корявому пню-вакóре

посреди поляны. Вакора была высотой в полторы сажени. Земля вокруг шелушилась пятнами кострищ. Видать, на этих огнях калили какое-то орудье, которым в вакоре насквозь прожгли дыру. Зачем?.. И что это за куча земли, уже затянутая мхом, из которой торчат воткнутые как попало палки, сучья, обломки жердей?.. Осташа оглянулся на дом Веденей и даже попятился, отвалив челюсть.

Над убогой хибарой, вкопанной в склон горы, в небо возносились чудовищные утёсы. Они были заострённые, как ножи, чугунно-серые, отвесные и дикие. Осташа никогда не видал скал без реки. На реке понятно: река их и вымыла из земли. А здесь, на верхушке горы? Какие силы отесали эту гору, как кол, и расщепили остриё? Какой ужас поднял дыбом каменные космы? Взгляд, продолжая могучий рывок зубцов, улетал в остывшее синее небо. Оно опасно нависло над горой, как перевёрнутый омут, на дне которого блёкло отсвечивала серебряная вогульская тарелка солнца.

— Ну, как тебе Костёр-гора? — раздалось за спиной, и Осташа чуть не подпрыгнул. Это к нему бесшумно подошёл Веденей. Он держал в руке грубую деревянную посудину-калган, в которой лежала куча свежего, мокрого мяса. — У вогулов эта гора священная была, Ялпынг по-ихнему. Называлась Урмань-кур. Тоже, значит, гора-костёр. Там, на верхушке за скалами, и капище старое имеется... Пойдём к избе.

Осташа угрюмо пошагал вслед за бодрым, весёлым Веденеем. Не нравилось ему всё это: страшные, нелепые скалы в лесах, ургаланы возле избы, дырявая вакора... В избе Осташа никакой иконки не приметил. Нехорошо.

— С родничка, что ль, идёшь? — делано безразлично спросил Осташа. «Родничок, ручеёк, речка — и Чусовая...» Веденей понимающе хохотнул.

— Да нет, там у меня просто ямка с водой. Дождём наливает. Не кручинься, парень. Отпущу тебя. Давай завтрак готовить, смотри: у меня малой уже с утра зайца поймал...

— Какой «малой»? — не понял Осташа.

— Ну, сынец мой... — как-то странно пояснил Веденей. — Вон он сидит, у стены...

Осташа присмотрелся и вдруг понял, что среди ургаланов неподвижно сидит на корточках мальчонка лет семи, одетый в невообразимую рвань и грязные шкуры. Похоже, что он с самого начала так сидел, только Осташа не отличил его от идолов.

Осташа передёрнул плечами и пробурчал:

— Слепорождённых да однокопытных есть грех.

— Ну, не ешь. С голоду подыхай.

Чего делать-то? Осташа разжёл костёр с Веденеева кресала, а Веденей тем временем нанизал на прутья куски мяса. При огне сразу стало уютнее, защищённее. Даже скалы словно распрямились, не нависая больше над душой, как конские головы над водопоем.

— Как у тебя зовут-то малóго? — спросил Осташа, оглядываясь на мальчонку, который всё так же сидел среди ургаланов, только теперь глядел на огонь и застенчиво улыбался.

— А никак не зовут, — просто ответил Веденей. — Малой, и всё.

Осташа подумал, что скоро он расшибёт лоб о неведомые странности этой жизни. При бате всё было ясно, а сейчас — чудо на чуде, будто люди все разом спятили, и каждый человек по-своему.

— А жена твоя где?

— Вон, у вакоры, — не глядя кивнул Веденей.

Осташа повернулся к поляне, ожидая увидеть женщину, и тотчас понял, что куча земли с сучьями и палками у дырявого пня — это могила. Господи, а голбец где же?..

— Могила без креста, сын без имени, дом без иконы, — тихо сказал Осташа. — Ты что, Веденей, язычник, что ли? Открест?

Веденей сел у огня по-татарски, положил ладони на колени и, глядя Осташе в глаза, пояснил:

— Нет, я не отрешался. Я Иисусу кланяюсь, Спасу. Но таинств не приемлю. Я в людей не верю. Сквозь людей благодать не пройдёт, испоганится, а потому с Господом я напрямик говорю, вон через дырку в вакоре, как вы через икону иль через наставника. Пока я был на Чусовой при деле, то держался спасовского толка. А здесь, под Костёргорой, ещё дальше пошёл в глухую нётовщину, даже бабушкино согласие отринул. Таких, как я, вы называете дырниками — за то, что мы сквозь дыры молимся.

— А образа вам чем не угодили?

— Не в образах дело... Мне с горы далёко видно... Отчего праотцы наши бежали по рассединам от Никона? Только ли от того, что креститься кукишем заставлял? Кукиша на то мало! Бежали потому, что больно уж много посредников втиснулось между человеком и Господом. Прасолы эти всю веру испоганили. Благодать тухнет, прости, Господи, когда через многие руки проходит! Ты посмотри: вот речка родником начинается чистым... А потом вода её в прудах застоится, да процедят её сквозь сети, да перестягами расчертят, да на банах весь мусор высыпят, да по заводам измолотят в каузах водобойными колёсами — та ли это вода в Чусовую впадёт, что родником выходила? То-то! От такого завода праотцы и бежали в чистые земли. А чего уж потом напридумывали — молиться на медные складни да каплицы в землю закапывать, — это всё дребедень, не очищенные. Отраву ситом в воду не обратишь.

— А мне умный человек говорил, что благодать не медный пятак, от человека к человеку не истирается... Гресишь ты, дядя Веденей. Вернись к людям и покайся, — твёрдо посоветовал Осташа.

Веденей ухмыльнулся. Губы и щёки его покраснели, как у девки с мороза.

— А мне не в чем каяться... Хочешь, расскажу, как со мной дело было? Я ведь тоже сплавщик и батю твоего помню. Может, и ты слышал о Веденее Сипягине из Куры?..

Меня ещё Оленебойцей звали за то, что я по молодости подряд две барки разбил на Оленьем бойце... Не слышал? Батя тебе не говорил?..

— Не слышал. — Осташа покачал головой. — А батя весной погиб на Разбойнике.

— У-у... — Веденей понимающе покивал. — Ну, царство ему небесное... Жаль сплавщика. Сильный сплавщик был. Сейчас-то кто в первых ходит? Колыван?

— Он.

— Ну, Колыван из наших, понятно... Из истязателей. Я ведь тоже был истязателем, ещё раньше Колывана. Я в истязательство под старца Иову подался, сразу за Кононом и Гермоном. Только мне не повезло. Не в сплаве дело, не в барке, не в грехе... Мою душу, как водится, на крест заговорили, а крест-то понесли на Ирюм к отцу Мирону, да по дороге потеряли. Попросту потеряли. Вытрясли на кочках из торбы. Так что моя душа сейчас гниёт где-нибудь под баглями на Ирюмских болотах...

У Осташи мороз продрал по коже, когда он это представил: живая душа лежит в болоте под гатью, живо погребённая...

— Того быть не может! — Осташа даже головой потряс, отгоняя морок. — Как так? Ты что, живёшь, а души в себе не чувствуешь?!

— Не чую. Я с бесами запанибрата говорю, ничуть их не боюсь. Кому я нужен без души? Все вогулы здешние — побратимы мне. Вот у Шакулы из Ёквы — знаком небось? — вызнал я заговоры, и правлю здешними бесами. Не веришь?

— Верю... — пробормотал Осташа. — Дак страшно же...

«Ургаланов, наверное, Шакула и приташил», — подумал он.

— А не страшно. Чего мне терять? Видал, как хитники меня слушаются? Это хитники-то, которым человека резать — что мухомор с тропы сорвать!.. Потому что все тутешние бесы — мои. Знаешь, за что мне Ипат Терентьев служит, который и самому Белобородову перечил без оглядки? За то, что

я приручил Сорнинг-Ялпынг-уя, чусовского золотого змея. Захочу, и он за мной по верёвочке ползать будет, как котёнок за ниткой бегает. А где змей, там и золото, которое хитники ищут. Вот Ипат мне и кланяется. Тебя отдал, к примеру. Яшка Гусев за такое ему башку оторвёт, знаю.

— Грех же это — бесами водить... — беспомощно сказал Осташа.

— Грех служить бесам, а помыкать ими — мечта всякого. Я сквозь дырку в вакоре многое вижу, чего вам не видно. Думаешь, люди на свете праведности ищут? Верь давай в сказки. Люди ищут власти над бесами. Нет ничего слаще, чем власть над бесами, и по всем видам власть такая — не грех. Чем истязельцы над прочими подымаются? Да тем, что власть над бесами пытаются обрести. Только в потёмках шарят, сами не видят. Если б не моя беда, то и я бы думал, что душу истязать — крест, а Гермон и Конон знают, что это — мирра! Потому и хватка у них волчья.

— Мой батя и не шёл к истязельцам...

— А я вот пошёл, гордыня повела. Дурак. Я вот тут без души под горой сижу и знаешь, чего понял? Гордыня человеческая — это насколько душа человеческая от своего божьего замысла отличается. А батя твой таким получился, каким бог человека и создал.

— Что же, тебя изгнали, что ль? — осторожно спросил Осташа.

— Ты жри давай мясо-то. Думаешь, каждый день такой праздник будет? — Веденей протянул Осташе пару прутиков. Осташа взял, но есть не торопился. В словах Веденей он уловил намёк на то, что здесь ему сидеть придётся долго, и это его насторожило.

— Гермон-то не знал, что мой крест потеряли, а Конон знал, да молчал. Ему-то какая разница, если я всё равно барки вожу мимо бойцов?.. Подвело меня то, что я приют дал Андреяну Плотникову, Золотому Атаману, который в Шайтанских заводах управителя убил, а потом ещё и в Старой

Утке тоже... Я Андреяну пещеры показал, чтоб укрыться, — Андреян-то ведь не сплавщик, откуда ему скалы знать?.. Ну, за мной солдатов и послали. Я с женой бежал в скиты. Старцы меня прогнали, потому как я не ихнего толка. А Гермон тоже взял да и прогнал — зачем я ему нужен с солдатами-то за спиной? Да и души у меня нету... Куда мне? Ушёл сюда. Так что я беглым демидовским числюсь. А здесь у меня ещё малой родился, здесь же я и бабу схоронил, здесь же и Пугача пересидел. А теперь мне туго стало... Хочу к людям.

— А как же власть над бесами, сладость?.. — напомнил Осташа.

Веденей снова ухмыльнулся.

— Так это сладость для гордыни, а я гордыню вместе с душой утратил.

— Ну, вернись — покайся... Снова покрестись, что ли... Как же это без души?.. — Осташа и представить не мог: как это — жить без души? Возможно ли такое-то?

— В самокрещенцы меня сватаешь, да? — Веденей зло посмотрел на Осташу. — Самокрещенцы собором не признаны. Самокрещеньем мне души не обрести. А вот истязательство в Невьянске недавно признали — значит, и нету у меня души. Кто меня обратно к людям примет? Не хочу жить бирюком на отшибе, как Еран у Воронков.

— Ну а я-то тебе зачем? — тоже разозлился Осташа. — Я тебе чем помогу? Я не поп никонианский, не наставник, не бабка повивальная, не Мирон Галанин...

— А ты со мной поделись душою, — тихо сказал Веденей, пристально глядя Осташе в глаза. — Я и от истязателей заговоры на истязенье души помню, да и от вогулов кое-что перенял... Поделись. От тебя не убудет. Из реки сколько ни черпай — не обмелеет... Я с новой душой — и с новым именем вернусь. Пойду к Строгановым или к Яковлеву, не дознаются, кто я. Спаси.

Осташа вытаращился на Веденя и медленно покачал головой.

— Душу — ни отцу, ни сыну, ни брату, ни жене, — так же тихо ответил он. — Я на Страшный суд с чем приду? Прости у кого другого — мало ли отчаянных людей? За твой навык с золотым змеем любой хитник тебе душу отдаст..

— А мне почто душа в гордыне? Я чистую хочу. Как у Перехода.

Осташа долго молчал, разглядывая Веденей. Вот как это просто — встретиться с сатаной лицом к лицу. Впрочем, чего ж тут необычного? Осташа вспомнил, как на отчитке бес заговорил из девки... Встреча с бесом не пугала. Господь не оставит, даст сил. Веденей потерял свою душу под Ирюмскими гáями, и не дыре он молится, а дыра у него вместо души, потому и дырник.

— Ты — бес, — твёрдо сказал Осташа. — Ты мою душу покупаешь, да? Не дам. Приди вчера.

«Приди вчера» — так надо бесу говорить, когда он у тебя работы просит, если хочешь отвадить беса.

Веденей усмехнулся.

— Так и знал, что про это решишь... Бес — он прельщает, меняет душу на блага, которые по делам и по вере человеку не положены. А я благ не сулю... Какие у меня здесь, на Костёр-горе, улады? Я тебе твою собственную жизнь обещаю, которую могу и отнять...

— Ну, попробуй, и не такие уже пробовали, — угрюмо предложил Осташа.

— Я тебя резать не буду. Просто не уйдёшь отсюда, и всё, — сказал Веденей.

— Уйду.

— Не уйдёшь. У меня все здешние лешаки в кулаке. Дорогу у тебя из-под ног украдут. Заведут тебя в мои медвежьи слопцы́, где тебя колом прибьёт. В ёлки-обманки обернутся, у которых шáста на полуденной стороне растёт, а ветки шатром — на полуночной. Да и малой не пустит. Я его как раз на такую дичь натаскал.

Осташа снова взглянул на ургаланов — мальчишка исчез.

— Уйду, не запужаешь, — упрямо повторил Осташа.

Веденей пожал плечами, поднялся, потянулся и пошёл в избу.

— Где ямка-то твоя с водой? — вслед ему спросил Осташа. — Пить хочу!

— Там, — махнул рукой Веденей и скрылся в избе.

ПРОЧЬ С КОСТЁР-ГОРЫ

«Вот сейчас возьму и побегу... — думал Осташа, шагая к опушке. — Кто поймает, кто остановит?.. И где эта ямка с водой?»

Он продрался сквозь кусты и замахал руками, едва не свалившись в яму. Но это была другая яма. Выстланная пожухлой травой, она напоминала неглубокую могилу. А на дне, зарывшись в кучу сухой коры, засыпавшись ворохом жёлтых берёзовых листьев, спал малой. Спал крепко и сладко, будто лежал в тёплой постели. У Осташа сердце заледенело, когда он увидел эту совсем звериную лёжку. Он-то и у костра спиной мёрз, а этот спит под калупой в яме, будто так человеку и положено. Превозмогая оторопь, Осташа присел, нагнулся и сдвинул с плеча мальчонки завернувшийся по краям пласт коры. Малой чуть приоткрыл глаза, как-то виновато заулыбался и бессознательно переполз обратно под калупу, как под одеяло. Осташа опрометью выскочил назад на поляну.

Нет, нечего тут сидеть среди то ли людей, а то ли бесов... Осташа почти бегом обогнул избушку, где спал Веденей, и сразу увидел утоптанную тропку, которая поднималась к серым каменным ножам утёсов.

Вдоль тропы теснились рябины, красной дробью гроздьев прострелив заросли навывлет. Потом тропа полезла по глыбам, вечно мокрым в тени, зеленоватым и блескущим от чешуек слюды. Даже неопытный глаз Осташа различал на

валунах протёртый ногами и руками путь по расщелинам и обрывам. За первым забором утёсов стоял второй, более сплочённый и высокий заслон. Осташа продрался сквозь мелкие пихты вдоль по теснине, как по улице, и меж двумя мощными кривыми кедрами — словно меж воротных стоек-верёй — пролез на покатую каменную площадку. Она была засыпана угольями и до синевы прокалена кострами. На этой площадке, похоже, камлали. С площадки открывался вид на капище.

Гладкую полянку на темени горы будто частоколом окружали строгие, ладные верхушки елей, стоявших внизу по склону. На полянке на столбах кособочились священные амбарчики вогулов. Они уже расселись, щелясто разъехались, были раздёрганы ветрами и оттого походили на старых, заплесневелых цапель, что стоят в болоте, поджав ногу. Некоторые и вовсе свалились, лежали ворохом гнилья. Словно бурелом, громоздились друг на друга упавшие идолы. Страшновато было вдруг различить в чёрной трухе и прели высверленный глаз над запавшей деревянной скулой или рот, открытый точно в предсмертном хрипе. Впрочем, несколько истуканов ещё стояли, врытые в землю поглубже прочих, — будто вешала для сушки сена или даже мачты-щёглы для давно разорванных на клочья парусов.

Осташа, брезгливо морщась, оглядел все эти кучи рухляка и полез дальше вверх по лезвию скального зубца. Уже на острие, распластавшись по камню, он обнял руками выступ, поднял голову и огляделся. И словно бы даже услышал еле различимый свист неба, падающего ввысь, как шапка в колодец, — неба такого огромного, каким после чувсовских теснин кажется любой пристанской пруд. Как пруд, небо было чуть лазоревым, тихо-обморочным, безответно лучащимся из глубины, неподвижным... А под небом во все стороны раскатился небелёный холст бескрайнего пространства. Он могуче вздувался пологими горами и провисал лощинами и распадками. Вдоль окоёма колыхались, точно

дышали, плоские сизые волны — то ли в холодном мареве плавали дальние хребты, а то ли тёплый пар отслаивался с остывающей краюхи мира.

Отчаянье сквозняком продуло душу Осташи. Не было видно ни селений, ни рек. Как же так?.. Где же четырёхсотвёрстная лента Чусовой со скалами, барками и пристанями? Где зеркала прудов, а возле них — огромные заводы с кирпичными фабриками и водобойными колёсами, с высоченными трубами домен? Где пустыри лесосек и голые вырубki с тучами дыма над кострами-кабанами? Где тот мир, в котором он жил всю жизнь? Не было ничего. Только пустой, вымороченный простор.

«Я всё равно найду дорогу!..» — озлобленно и решительно подумал Осташа. На Костёр-горе он не останется, это точно. Надо идти вон туда, на закат или на полудень. Там должна быть Койва, которая выведет к Чусовой... Да, Койва, потому что через Сылвицу его перевезла ещё Кикилья. А если он пробежит мимо Койвы, то его остановит святая вогульская река Вижай, которая выведет к Вильве и к Усьве. Лишь бы не уйти к полуночи. Заберёт немного — не страшно, всё равно по висячим болотам выйдет на Вильву. Но если заберёт много, то будут совсем незнакомые реки с пугающими именами: Урёф, Покап, Вья, Косья, Ис... Они впадут в Туру, и, значит, бежать ему вдоль Туры до Верхотурья, а это ой как далеко от Кашки... Но ведь на берегу не написано, что за река под ноги вывернулась. Придётся бежать, никуда не денешься... Нет, надо идти на полудень. Промахнётся на Койву — угодит на Серебряную, тоже неплохо. А если и Серебряную проскочит, то вылетит на самые верховья Туры, а там будет Кушва. Уж с Кушвы-то можно на Ослянскую пристань по Гороблагодатскому тракту, и домой... Столько рек, столько заводов, деревень — и почему, чёрт возьми, ничего не видно?!.. Осташа пялился так, что резало глаза, — и не видел! Сплошное таёжное море-океан. Вот и плыви по нему на удачу, по чутью, без божьей подсказки: насколько

праведной была твоя вера, настолько верно тебя проведёт судьба. Таково божье произволение.

Спуститься с Костёр-горы Осташа приметил тропинку, начинавшуюся на капище. Склон был крутой, еловый, но всё же лучше так, чем виснуть на камнях. Осташа задумался, отдавшись тропинке, не глядел вокруг и чуть не налетел на мальчишку Веденея, стоявшего на тропе под качающейся еловой лапой.

— Да грех с тобой!.. — в сердцах рявкнул Осташа, попятившись.

Малой стоял и улыбался. Молчал — говорить его не научили, да и не с кем ему было говорить. Осташа подумал, что ни разу ещё не видел, чтоб малой ходил: он всегда только появлялся и исчезал, как лесной дух. Оторопь остудила гнев.

Малой вдруг протянул ручонку и тихо взял Осташу за рукав, нежно потянул к себе. Осташа нехотя, с опаской поддался, словно заколдованный. Он глядел малому в глаза — рыжие, как болотное оконце, с узкими кошачьими зрачками. Малой, улыбаясь, осторожно поднял руку Осташа, медленно поднёс к губам, как для поцелуя. Улыбка у малого была широкая, лягушачья, и вдруг в ней блеснули зубки — не человечески, а щучьи, острые, как гвоздики.

Осташа выдернул руку и отпрыгнул, с ужасом увидел на своём запястье шесть одинаковых царапин, набухавших каплями крови. Малой всё стоял, всё улыбался, глядя на Осташу. Страх истошно заколотился в груди Осташа. Перепуганный насмерть, Осташа повернулся и помчался обратно в гору, прыжками перелетел через капище и сиганул в ущелья. Урок был понятен: «Не ходи, коли не велено».

...Весь день до сумерек Осташа сидел возле Веденеевой избы у костра, без бережения засовывал в огонь поленья. Злой, взбудораженный, сосредоточенный, он щепкой чертил на земле линии рек вокруг горы дырника, как он эти реки себе представлял, и всё думал, куда бежать.

— Никак уйти примеряешься? — насмешливо спросил Веденей, выходя из избы. Он упёрся руками в поясницу и с хрустом потянулся. — Ну, давай, давай...

К темноте Осташа спалил все дрова. Пойти в лес за хворостом он ни за что бы не согласился, пока где-то рядом в яме под калупой сидит этот сатанёныш. Осташа поднялся и пошёл в избу спать. Он зааминил стены и выход, закрестил лежак, чтобы нечисть ночью не сдёрнула за ноги и нехватила его башкой о притолоку, как она с теми делает, кто спать ложится без молитвы. Он растянулся на кiske, берестяном коврике, навалил на себя гору лапника и заснул.

Проснулся он от того, что какие-то тени шныряли по лицу, как мыши. Он поднял голову. Дыханья Веденея рядом не слышалось... И вдруг беззвучно осветились все щели в стенах, словно на миг огненный плетень огородил лежак с кучей лапника.

Осташа соскочил на землю, выбежал из избы и спустился вниз по поляне к вакоре. Он хотел снизу поглядеть на то, что полыхало за Костёр-горой. Скалы во тьме были неразличимы. Глаза не успели привыкнуть, нащупать черту между кромкой камня и небом, как на вершине горы опять бесшумно засиял огромный и яркий синий свет, грубо обрезанный понизу линией утёсов.

Осташа не знал, что там на капище происходит. Веденей камлает?.. Какой мёртвый огонь плещет во все стороны с забытой кумирни?.. Но Осташа о том и не задумывался. Он стоял, полуослепший, крестился и повторял: «Господи, благодарю за веру, без неё давно бы уже тронулся здесь от страха...»

Утром Осташа увидел Веденея дремлющим над прогоревшими углями кострища. Осташа пихнул его в плечо и сказал:

— Проспишь душу-то, сбегу...

Веденей встряхнулся, потёр лицо руками, виновато посмотрел на Осташу снизу вверх.

— Ночка досталась нелёгкая... — пробормотал он.

Осташа присел на корточки и перевернул головню, чтоб затлела пожарче.

— А коли убил бы я тебя — ушёл бы? — спросил он. — Чего мне тебя не убить, а? Не грех же — ты ведь без души. Ну, как рыбу оглушить.

— Не грех, пожалуй, — покорно согласился Веденей, хитро шурясь. — А про малого забыл?..

— Забудешь про него... В общем, как там с тобой душой делить надо?

Веденей на миг остолбенел, а потом вскочил, суетливо разглаживая волосы и бороду.

— Да то недолго, не камлание же... Не пену изо рта пускать... Я просто заговор истязельский прочту — душу на крест заговорю, а потом ты мне крест подашь через дыру в вакоре, которой я молюсь, да мы его пополам разрушим... Одна половина — тебе, другая — мне. И всё.

Осташа, нахмурившись, внимательно оглядел поляну, вакору. По лицу было видно, как он размышлял над обрядом.

— Ну и пошли, — твёрдо сказал он. — Я домой хочу.

Опять было яркое и ясное утро, холодное, с инеем вместо росы. Только теперь половину неба занимала надутая облачная куча, снежно-белая, уёмистая, как целый караван барок. Веденей торопился — видать, боялся, что Осташа передумает. Осташа шёл по ледяной траве к вакоре и глядел по сторонам: где малой? Надо было делать задуманное, пока решимость не раскисла в сомнениях, будто заиндевшая трава на солнце.

— Ты стой тут, а я по ту сторону, — пояснял Веденей, за плечи разворачивая Осташу перед чёрной дырой в вакоре. Потом он отбежал, и Осташа увидел в дыре его широко раскрытые глаза — словно у кота, готового прыгнуть на птицу.

— Молчи теперь, просто слушай!.. — крикнул Веденей.

Осташа вытащил нательный крест на грудь и сжал его левой рукой в кулаке, словно не хотел, чтобы крест услышал слова Веденей. Правую руку Осташа засунул под по-

дол рубахи и принялся развязывать на брюхе поясок-покрёмку — шёлковую тесьму с вышитой молитвой. Это был материн ещё оберег. Коли сам развязал — уже не собирать ему огныне в райских вертоградах виноград за пазуху...

Веденей что-то гулко бормотал, пялясь на Осташу сквозь дыру. Осташа отвечал ему пустым, стеклянным взглядом и не слушал. Ему не было страшно, разве что лёгкий озноб мурашками полз по хребту, да ломило босые ноги от студёной травы. Встреча с щучезубым малым на тропе была куда страшней Веденеева обряда. Да и не верилось Остахе в победу Веденеева заговора. Бог-то сильнее, а с ним, с Осташей, — кто? Бог и есть. И вообще... Под горой среди безлюдных лесов два человека у дырявого пня ясным днём делят душу — как-то при этом было слишком светло для победы бесовского искушенья... Но всё ж таки, почти без сознания, Осташа бубнил себе под нос «Лодью несгубимую»: «Заступись за меня сила божья, Богоматерь Пречистая, все святые, все иноки древлеправославные и мученики новоявленные... — бормотал он вперебой Веденею. — Ждут меня на встречу сто двадцать сатанаилов, сто двадцать дьявоилов, сто двадцать полканов, не пешие, не конные, не рождённые, не кованые... Козьма и Демьян, Лука и Павел и Никола Угодник, соберите нечистых в тенёта шелкóвые, в кади железные, сварите в котлах кипучих, в сере горячей, чтоб изо лба им глаза в затылок выворотило! Сгоните птицу Гагану, пусть склюёт Акир и Ор, чёрных аспидов!.. Дайте мне, святые, иноки и мученики, на всех нечистых медвежий рот, волчьи губы, свиные зубы! Проведите меня-молодца мимо камня-бойца до чистой воды, до большой реки, до синего неба, до ясного оболoка...»

Осташа очнулся от заговора, когда понял, что Веденей уже молчит и смотрит на него сквозь дупло.

— Ну... Чего же ты? — почему-то шёпотом сказал Веденей. — Давай крест...

— Тебе надо — ты и руку тяни... — хрипло ответил Осташа.

Веденей помолчал, а потом его рука заткнула дупло. Она выползла наружу, как змея из норы, и запачканная сажей пятерня раскрылась, точно дохлая лягушка развалила лапки. Осташа выхватил из-под рубахи покромку, мгновенно завязал узел и надел петлю Веденею на запястье, а потом конец пояса закрутил на крепкий сук.

Веденей, почуяв обман, рванул руку обратно, но петля затянулась, и рука осталась в дупле. Осташа затягивал другой узел на сучке, потом ещё и ещё.

— Отвяжи!.. — заорал Веденей с другой стороны вакоры.

Осташа вышел из-за пня и посмотрел на дырника. Веденей, багровый от ярости, стоял, всунув руку в дупло, и дёргал плечом. Осташа со спины ловко обхлопал дырника по бокам — нет ли ножа.

— Мало-ой!.. — всё поняв, заревел Веденей.

— Сейчас и с малым разберусь, — задыхаясь, пообещал Осташа и побежал к избе.

Выворотив от стены кол покрепче, Осташа, не обращая внимания на Веденея, помчался к опушке, продрался сквозь кусты и вывалился к яме. Малой спал под калупой, не слыша воплей Веденея, хотя и до ямы доносились надрывные, истошные крики.

Осташа посмотрел в яму на парнишку, такого маленького и беззащитного, не виноватого в том, что был отдан лукавому... Пощадить?.. Взгляд Осташы упал на царапины от щучьих зубов. Осташа вытер ладонью лицо, словно содрал морок, обеими руками поднял кол над ямой и уронил его прямо на голову малому. Под комлем что-то хрупнуло, пискнуло. Осташа перехватил кол и принялся бить им по мальчишке, словно трамбовал. Когда под колом уже зачавкало, Осташа остановился и заглянул в яму. Голова мальчишки превратилась в кровавую, грязную, волосатую лепёху, облепленную жёлтыми берёзовыми листьями. А сатанёныш был жив, корчился на дне в чёрной грязи и будто бы даже пытался выползти из-под ударов. Осташа, сдерживая

ужас, бросил кол, постоял, переводя дыхание, медленно перекрестился и полез обратно в кусты. Кусты трещали, но сквозь треск ветвей Осташа ещё слышал шлепки ладоней по мокрому дну ямы.

«Надо было ноги переломать, колени разбить...» — запоздало подумал он. Но вернуться к яме Осташа ни за что бы не согласился.

Он подошёл к Веденею, висящему у вакуры с задраным плечом, проверил петлю и узлы. Веденей молча глядел на Осташу выкаченными глазами, точно петля перехлёстывала ему не запястье, а горло.

— Ну, к утру ногтями поясок перецарапаешь, тогда освободишься, — сказал Осташа. — Яму с гадёнышем не забудь засыпать... Прощай.

Веденей дышал со свистом, не ответил ни слова.

...К полудню Осташа вышел на берег какой-то речушки, что бежала в пожухлых папоротниках под обмытыми корнями сосен. По её дну к вечеру Осташа дошёл до реки побольше. Что это была за река? Койва? Вижай? Тура? Серебряная?.. В узком прогале еловых вершин плыл алый пух мелких облаков. Ответа не было. Всё вокруг молчало, даже лес не шумел, даже речка не шелестела на перекате.

Неподалеку от устья Осташа увидел на кедре арёву — помост, с которого выслеживают медведя. Забрать у Веденя кресало, чтобы разжечь огонь, Осташа не догадался, а пожрать и подавно было нечего. Но не сидеть же всю ночь в орляке голодом и без огня... Зверьё-то — ладно, не нападёт; оно за лето отъелось. Но вдруг здесь лешачья тропа проходит? На ней спать нельзя. Осень — свадебная пора; на лесной тропе ночью свадьба леших может затоптать насмерть. Осташа забрался на брёвнышки аревы, наломал веток с хвоей погуще, кое-как пристроился на ночлег и, наверное, до полночи не мог уснуть: мёрз, таращился во тьму под аревой, бесконечно читал «Лодью несгубимую». Всё чудилось, что ползёт в подлеске мальчишка с раздавленной головой...

Проснулся он от холода ещё до рассвета. Хотелось есть, хотелось спать, хотелось лечь и умереть. Рядом с аревой тихо раскачивались синие шатры высоких елей. «Сколько мне ещё идти до людей?» — в отчаянии думал Осташа. Хватит ли сил?.. Ведь даже плота не сбить — чем бревно-то вырубить? А идти по берегу пешком... Буреломы, притоки...

«Господи, помоги мне... — стал просить Осташа. — Помилуй и спаси... Выведи к людям...»

Словно что-то толкнуло в темя, как будто костяшками пальцев стукнули по глупой башке. Сидишь-то на чём?..

Осташа спихнул ареву на землю. Из помоста вышел неплохой плот-рюшка. Сухие стволы держали человека на плаву. Кто и когда их рубил?.. Осташа выломал себе жердь-хабазину и поплыл, отталкиваясь от перекатов.

Речка бежала в великих, молчаливых, однообразных лесах, и от их однообразия казалось, что путь будет длиться вечно. На другой день зарядили мелкие дожди, но то было к лучшему: река прибует, и не придётся сходить с плота в ледяную воду на каждой отмели. К тому ж, по примете, пока дожди сыплют, холода не грянут. Впрочем, Осташа уже намёрзся до потери памяти. В теле от кашля бренчали все кости. Ноги, казалось, до колен заковали в железные сапоги. Суставы выворачивало от боли. Зато Осташа нашёл брошенную, дырявую вогульскую мёрду, заплёл дыру стеблями травы и наловил уклеек. Жрать пришлось сырыми.

Утром третьего дня плавания слева впала речка, почти такая же, как и та, по которой Осташа плыл. Вода в новой речке была мутная. Может, это Тискос, если я плыву по Койве? — подумал Осташа. Но ему почему-то казалось, что Тискос должен впадать справа... «Да пёс с ними обеими».

Ни скал, ни обрывов — ничего не встречалось. Только высокие крутые горы, еле различимые за частым ельником. Меж гор — мелкая плоская речонка, продырявленная валунами, как ветхое полотенце. Плотик-рюшка играл под не-

твёрдыми от голода ногами, грозил развалиться. Осташа переплёл плахи лозняком и полосками коры. А над речкой и горами мелкой рябью несло птичьи стаи. Осташа запрокидывал голову, со дна таёжной теснины глядя на гусиные косяки. Гуси улетали от осени, будто изменники бежали с поля боя. Сердце Осташа колотилось тряской дрожью. Спасённая под Костёр-горой душа истончалась: ещё немного, и он воспарит вслед за птицами. Хабазиной Осташа прибил в урёме серую лесную утку, у которой русалки, скучая в этих глухих и пустых водах, завернули на спине крыло за крыло, и утка не улетела вместе со стаей. Вечером он распотрошил и раздёргал тушку на нитки, как пряжу, а утром съел мороженое мясо, всё равно даваясь и отплёвываясь растаявшей во рту птичьей кровью.

...Журчанье очередного притока Осташа услышал ещё из-за поворота и даже удивился: давно уж он не слышал никаких других звуков, кроме плеска своей жердины да хрипов в груди. Плотик переполз поворот — и Осташа увидел в устье мелкой речонки две лодки, загруженные бурыми комьями руды. Рядом на берегу стоял тепло одетый мужик и ножом подстругивал только что вытесанное весло.

— Х-ха! — воскликнул мужик, увидев Осташу. — Ну и встреча! Свиделись же, а?!

Осташа с наслаждением вышвырнул свою хабазину, спрыгнул с плота и побрёл к берегу по колено в воде.

— Не узнаёшь, Астафий? — подошёл поближе мужик.

Осташа молча сел на прибрежный валун, не в силах оторвать глаз от человека.

— Добрался до моей Тесовой речки, а, бусыга эдакий?!.. — мужик захохотал. — Да я ж дядя Федот Михеев, артельный! Мы с тобой в мае в Рассольной познакомились — вспомнил? Ты нам из Усть-Койвы соль послал!..

— Вспомнил, — кивнул Осташа, у которого лицо уже так зачерствело, что больно было улыбнуться. — А это что за река?

— Койва же! — удивился дядя Федот. — А это Бисер. — Он кивнул на приток. — Не узнал, что ли, сплавщик ты хренов?

— Теперь узнал, — ответил Осташа и через мгновение ткнулся головой в песок.

«В МОЁМ ДОМУ — НЕ В МИТЬКИНОМ»

Дяде Федоту попёрло счастье. Долину Бисера, оказывается, уже присмотрел для нового завода управитель Кусьи, что принадлежала барыням Строгановым. Надо было выбрать руду, пока её не затопили прудовые воды. Управитель сразу дал дяде Федоту большой подряд, и дядя Федот развернулся вовсю.

Месторождение выпало богатое и лёгкое — в подножии горы над Бисером. Гора обросла тонкими и высокими ёлками, словно ёж — иглами. Когда ели качались под ветрами-лесобоями, рыжие куски железняка выворачивало корнями, и они катились прямо в Бисер. Дядя Федот набрал два десятка охочих мужиков и нанял артелку лесорубов. Теперь склон горы был разрыт, горщики ломали железняк кайлами, бабы грузили руду на поддоны и стаскивали по бревенчатым спускам-великанам на поляну, где козлом раскорячился самодельный рудобойный молот с каменной глыбой вместо балды. Руду дробили, потом отжигали в костре и засыпали в короба. Короба на плотях сплавляли за тридцать вёрст вниз по Койве на Кусьинский завод. Дядя Федот руководил всем хозяйством и богател с каждым днём.

— В моём доме — не в Митькином, за печку не насышь! — хвастался он Осташе.

Дядя Федот уже почуял себя рудничным приказчиком, хотя кусьинский управляющий собирался ставить рудник только по весне. Целыми днями дядя Федот шастал вдоль Бисера от Койвы до горы, от плотбища до копей, орал, ругался, грозил батогами, наставлял неумелых и пособлял, где

было надобно, и всё для того, чтобы расстроиться и уйти на стан, а там стряпуха тётка Алёна, понимающе улыбаясь, наливала ему в утешенье чарочку. И к вечеру уже никакие беды не могли стереть с ядрёных щёк дяди Федота свекольную краску счастья.

— Ну чего тебе дома делать? Тараканов доить? — приставал дядя Федот к Остахе. — Давай ко мне! Будешь плоты водить в Кусью, тоже речная работа. Ну а лёд окрепнет — начальником над возчиками сделаю. Ты — парень из староверов, надёжный, непьющий, как и я. А весной — хрен с тобой, иди на сплав. Зато деньжонку на оброк заработаешь, да и ещё много на что останется... Давай, Остаха! Я тебя на своей дочери женю! У неё жопа знаешь какая? Во! — Дядя Федот скрючивал руки и далеко растопыривал драные локти, с восторгом глядя Остахе в глаза.

Тётка Алёна, жившая с дядей Федотом в одном балаганчике, улыбалась, тихо краснела и опускала глаза, но лицо не прятала.

— Я тебя спас, сапоги и зипун тебе дал, — дядя Федот загибал толстые пальцы перед носом Остахи, — и ещё шапку свою отдал — у самого по утрам плешь во льду! А жрёшь ты сколько? За всю артель!.. Отработай! В моём доме — не в Митькином!..

— Ладно, уговорил, — со смехом махнул рукой Остаха. — До холодов отработаю.

От слабости Остаха оклемался уже на второй день и потом просто отъедался при артельном котле. Но ему хотелось охолонуть возле новых людей от угрюмых и лесных раскольниковых гор, от мрачных тайн, от бесовщины, от разных хитников и отшибленных в ересь толков. Пусть здесь были никониане, любившие выпить и матюкнуться, но эти горшки и рудожоги не держали под полой подшитых карманов. Да и правду сказал радушный дядя Федот: куда ему спешить? Батя уже не ждёт, а со сплавицким делом, спасибо Сысолятину, вроде всё уговорено прочно. Остаха ре-

шил задержаться на Бисере, чтоб хоть в обратный путь до Кашки на харчи заработать. Не воровать же редьку с чужих огородов.

При руднике Осташа отдыхал душой. И не только душа светлела, а и осень неярко распогодилась над Койвой иконными, лазоревыми небесами. Воздух без птиц пустынно прояснел, и все дальние горы казались составлены из крохотных иголочек ёлок. Золота бабьего лета не было: всю урёму по Бисеру давно вырубili на дрова для обжига и на плетёные короба под руду. Но без урёмы открылись склоны гор, словно развернулась книга, на сгибе которой блестела, как закладка, серебряная тесёмка речки. Легли, поблёкли, пожелтели исподом травы и папорот. Плотные еловые леса будто чуть-чуть приподнялись над землёй, как тёплый туман над остывшим омутом. И ничего уже больше не обещало тепла — ни вода, ни солнце, ни жёсткая краснота рябин под мелкими скалами на дальнем берегу.

Осташа подрядился водить плоты с рудой от Бисера до Кусьи. И дело при своём ремесле, и новую речку вызнать не помешает. Каждый плот состоял из десятка длинных и тонких брёвен-елег, скреплённых скобами. Посередке на жердях-веделицах устанавливали короб с рудой. Плоты связывали по пять-шесть штук гусём друг за другом. На первом плоту и на четвёртом стояли плотогоны. Так и плавали до Кусьи, а на заводе сваливали руду на рудничный двор и продавали плоты на дрова. Обратно возвращались по берегу, по тропе, уже натопанной, как бечёвник вдоль сплавной реки, и вели в поводу лошадей с навьюченными мешками припасов.

Койва ниже Бисера была уже большой рекой, хоть и поменьше Чусовой. Однако по приплёскам она так была завалена буреломами нечёсанных лесов, таких навертела петьель и излучин, так бурлила частыми перекатами, вся усыпанная по дну валунами, что показалась Осташе какой-то неподходящей для сплавного дела, а потому случайной, не-

серьёзной, полоумной рекой. Впрочем, Осташа понимал: по весне она клокочет и трубит столь яростно, что родной Кашкинский перебор под бойцом Дождевым выглядит цыплячьей дрожью. И потому Осташа запоминал все повороты и створы, повторил про себя, как проходить стрежень ниже устья Тырыма под камнем Шайтан — чёрным и мятым, словно он скорчился от злобы. А пока что приходилось застревать на перекатах и ждать лошадей, чтобы сдёрнули плоты с отмели.

Дважды Осташа прокатился от Бисера до Кусьи и решил, что после третьей ходки не вернётся, а пойдёт дальше, домой. Дядя Федот поломал-поломал Осташу и отступился. Обещал, что плату выдаст в Кусье тётка Алёна, которая за какой-то своей надобностью тоже отправлялась на завод.

Никакой женой тётка Алёна дяде Федоту не была — просто полюбовницей. Семью свою дядя Федот держал в Расольной. Тётке Алёне было лет сорок, но последний десяток её обошёл стороной. Рослая и стройная, с высокой грудью, не потускневшая ласковыми глазами, тётка Алёна и прочих мужиков заводила на греховные помыслы. Что-то манящее было в её чистом и улыбчивом лице. На какую-то беззлобную, спокойную, мягкую доступность словно намекала золотая прядь, упавшая на бровь из-под края платка. Но подступаться к тётке Алёне мужики не решались — не находилось себе врага, чтобы отбивать бабу у артельного. А Осташа, едва разглядел тётку Алёну получше, не раздумывал и, вылучив момент, сразу бесстыже погладил по крепкому и круглому задку. Тётка Алёна через плечо молча улыбнулась ему — и понимающе, и чуть снисходительно, и немного виновато. Она была бабой немногословной, доброй, но себе на уме. О её твёрдую волю легко расшибался хмельной пыл дяди Федота.

Летом дядя Федот самолично повёл плот с рудой в Кусью и на пороге перевернул. Этот порог прозвали Федотовским. Здесь поперёк русла лежала облизанная течением

плита, а вода тонким слоем текла через неё и широко рушилась в кипящую ямину с камнями. Проход был слева, узкий и бурный. Осташа и приглядел его, чтобы посадить плот на прикол. Сдвинуть плот отсюда на воду — дело двух умелых толчков слегой.

Всё вышло, как и было задумано. Плот засел. Пену выбуривало меж брёвен верхней выстилки. Короб с рудой немного покосился. Задние сплотки изогнулись дугой, качались, но не могли своей тяжестью пропихнуть Осташину сплотку в протоку. Цепляясь за короба, Осташа прошёл по подтоварникам к тётке Алёне, опустившей слегу, взял её за руку и повёл по камням к берегу.

На поляне за рябинами он и овладел бабой — уже не торопясь, как было с Фиской, а не спеша, с пониманием и с удовольствием. Он даже удивился — так это было сладко. Не из пушки пальнуть, как раньше казалось, а словно бы умеючи пройти по перебору меж бурунов. Да и опрятная тётка Алёна — сейчас и язык не поворачивался назвать её «тёткой» — в любви оказалась куда ярче и охотнее, чем можно было подумать, глядя на неё у артельного котла с ложкой-бутыркой в руке.

До самой Кусы, толкаясь слегой во лбы валунов, Осташа размышлял, что вот — всё он понимает, а взял да согрешил. Блуд — грех. Но ведь грех чувствуешь по какому-то раздвоенью в душе, по скрёбу на совести... А у него раздвоенья не было, ничего не скребло. Почему?.. Или это не грех? Или у этого греха таково уж свойство — не зудеть? А грешил ли батя, когда без закона жил с Лушей, беглянкой из вертепа Гусевых? Или батя с ней не любился? Или куда больший грех, когда в чужой жизни копаешься?..

В Кусье Осташа купил кумачовый платок и небрежно набросил его Алёне на плечо. Она сняла платок и не обиделась Осташину показному пренебрежению. Осташа даже покраснел, догадавшись, что Алёне он давно понятен, а мил был вовсе не так, как ему хотелось бы. Но Алёна да-

же усмешкой не унизила его, а на прощанье наклонила голову и пожелала, как чужому, сдержанно:

— Будьте здоровы, Остафий Петрович.

Даже «даст бог — свидимся» не сказала. Потому что знала: теперь Осташа обойдёт её за версту.

Осташа попытался обдумать, почему так складывается. Он и не заметил, как с тётки Алёны перешёл мыслями на других девок, на свою ровню — на Неждану Колыванову, на вогулку Бойтэ... Он словно совсем забыл о них в раскольных горах... А сейчас Чусовая приближалась, и на её притяжение, как на притяжение камня-магнита, отзывалось то, из чего душа и была откована.

От Куся Осташа прошагал восемь вёрст до деревни Рассольной по прямой дороге и от Рассольной повернул на заросшую дорогу к Четырёхбратскому руднику. Теперь ближайшим селеньем был только Кумыш.

На третий день Осташа добрался до заброшенного рудника. Потом пошёл по тропе взгорьем, оставил в стороне Четырёх Братьев с могилой Сашки Гусева, миновал Разбойника и Кликуна и вышел на вершинку Горчака. И с вершины вся Чусовая раскрылась перед ним, как огромные ворота. Она раскрылилась внизу в обе стороны и словно понесла Осташу над собой, над горстью домиков Кумыша, над щепками судов, зачатенных в устье речки, над деревенскими выгонами и пятнистыми коровами, что издалека были похожи на божьих коровок, над сплошными тёмными лесами — к дальним сизым горам под высоким осенним небом, уже не синим и не голубым, а бесцветным, прозрачным и неясным.

С Горчака Осташа в два пальца засвистел перевозчику и побежал вниз, к мосткам. Когда добежал, шаткая лодка уже подходила, миновав стрежень. На вёслах сидел Бакирка-пытарь, сумасшедший татарин, искавший клады на Четырёх Братьях. Был Бакирка всё такой же кудлатый, оборванный и весёлый.

— Астапа, здравствуй! — радостно закричал он и замахал руками, бросив вёсла.

— Но-но, опрокинешь шитик, — заворчал Осташа, хватаясь за пыж и перелезая с мостков в лодку.

Он уселся в носу на корточки так, чтобы вода, плескавшаяся на дне, не замочила штанов на зад, и взялся руками за борта.

— Никак бросил ремесло своё? — спросил он. — В перевозчики нанялся?

— Не-е, не бросил! — смеясь, ответил Бакирка, низко нагибаясь и широко раскидывая вёсла. — Бакир везучий! Как так — бросил? Рядом клад, рядом!

— А чего ж не берёшь?.. — Осташа шурился на дальний берег: кто это там идёт к причалу, что за девка?

Лодка сплывала по течению за Горчак, разворачиваясь носом к Кумышу. Тёмная вода тяжело плескалась в борта.

— Возьму-у!.. — горячо пообещал Бакир. — Приметы есть, скоро!

— Какие приметы?

— Бакир мертвяка отрыл на Четырёх Братьях!

— Так это ж могила колодника с батиной барки.

— Что думаешь — Бакир дурак? — От обиды Бакир даже чиркнул вёслами по волне, промахнувшись, и чуть не завалился на спину. — Бакир не дурак, могилу знает! Бакир друтого мертвяка нашёл! Этот тоже в земле лежал, без голбца, без знака! Кто такой, а? Мертвяк клад стережёт! Рядом клад!

Бакир быстро махал вёслами, но лодка против течения подходила к причалу медленно. Осташа наконец узнал: с пригорка спускалась Неждана Колыванова.

— А чего же ты здесь тогда, коли клад рядом?

— Бакир только за едой приплыл! — опять обиделся татарин. — Что Бакиру кушать? Камни кушать?

— Кто же тебе еду принесёт? Гуси-лебеди?

— Она вон принесёт!.. — Бакирка через плечо кивнул на Неждану.

— Хороша артелка, — удивился Осташа. — Давно нанял?..

Бакир Осташу не понял.

— Колыван Бакира всё лето кормит, хорошо! Колыван говорит — ищи, а еду дам. Найдёшь клад — себе бери, только мне скажи. Не найдёшь — тоже мне скажи, — пояснил Бакир и сильным гребком уткнул лодку в отмель. Он бесшумно сбросил в ледяную воду босые ноги, встал и за прыжок подтащил лодку на берег.

— Здравствуй, Остафий Петрович, — тихо сказала Неждана.

Осташа не ответил, вылезая из лодки и в упор рассматривая девку. Почему-то по памяти ему казалось, что Неждана здоровенная, как колокольня, но она была и ростом-то ему чуть выше плеча.

Бакир уже по-собачьи рылся в мешке у ног Нежданы.

— Много еды, и хлеба три! — обрадовался он. — До зимы Бакиру хватит!

— А промёрзнет земля — как копать будешь? — спросила Неждана, опуская взгляд на Бакира.

— Снег ляжет — Бакир уйдёт, — твёрдо ответил татарин и встал, прижимая мешок с харчами к груди. — Зимой другие шайтаны, они про клад не знают, не отдадут. Зимой Бакир пойдёт на Ермаков камень в пещере клад искать.

На бойце Ермаке в самой середине чернела дыра пещеры, к которой ни снизу, ни сверху по отвесной скале было не подобраться.

— Охочие-то люди уже спускались туда по верёвке, — возразил Осташа. — Нету там клада, и пещера — шаг вправо, шаг влево, и всё.

— Э-э!.. — засмеялся Бакир. — Только глупые так ищут, Астапа. Что думают: залез в пещеру, а там гора золота? Бери — не хочу! Не-ет, Астапа. А шайтаны? Шайтаны-то где?

— Где?

— Шайтаны там, клад прячут. Пещера большая-большая, день туда идёшь, день сюда. Там, у стенки, и клад. Но зайти

надо в пещеру! Бакир зайдёт. Бакир не ленивый, летом плавал в Ёкву к Шакуле, вогулу. Бакир просил прыгун-траву, которая замки и стены ломает — не дал вогул. Зато сказал Бакиру волшебные слова, чтобы пещеру разомкнуть и зайти.

— И что это за слова? — заинтересовался Осташа.

Бакир, шербата улыбаясь, хитро переводил взгляд с Осташа на Неждану.

— Ладно, — согласился он. — Вы хорошие люди. Может, жена и муж будете — красивые! Бакир скажет вам слова — только никому другому не говорите и сами в пещеру на Ермак не лазайте, обещаете, да?

«Жена и муж»... Осташа против воли глянул на Неждану. Неждана тоже слышала это, но смотрела на Бакира спокойно, бровью не поведя, и чуть улыбалась радости дурачка. Только лёгкий, почти незаметный отсвет огня обмахнул её высокие скулы, закрытые тенью глухого платка, что туго обхватывал голову и по-раскольничьи был сцеплен на горле булавкой.

— В пещере сказать надо: «Кивыр, кивыр, ам оссам!», — понизив голос, сообщил Бакир. — Мне Шакула слова сказал. Бакир их скажет — и пещера откроется. Бакир клад Ермака искать будет, вот.

— Не ищи, не положá, — вдруг жёстко усмехнулась Неждана.

Бакир посмотрел на неё исподлобья, потом прижал к груди развязанный мешок с припасами, развернулся, спихнул ногой лодку с берега, запрыгнул и плюхнулся на скамейку. Колыхаясь, лодка поплыла вниз по течению, волоча по волнам болтающиеся в уключинах вёсла.

— Никому слова Шакулы не говорите! — ещё раз сердито крикнул Бакир уже издалека.

— Почто дурачка обидела? — хмуро спросил Осташа. — Его бог и без тебя обидел...

Неждана глаз не прятала, стояла перед Осташей распрямившись, опустив руки, подняв лицо.

— Учить надо дураков, — с каким-то потайным смыслом произнесла она. — А что это мы такие чуткие да нежные стали, Остафий Петрович?..

— Осташка! Осташка!.. — вдруг завопили с пригорка.

Сверху слетел Никешка Долматов, засмеялся, схватил Осташу за руку, глядя изумлённо и словно бы себе не веря.

— А я иду, смотрю — не пойму, то ли ты, то ли не ты!..

— То ли корова наложила, — с издёвкой вставила Неждана.

Теперь и Никешка уставился на Неждану, забыв выпустить руку Осташа.

— Ты чего это, Нежданка? — пробормотал он.

Неждана словно заостенела в непонятном озлоблении. Осташа, тоже злая, смерил её взглядом. Неждана была в новом сарафане с пуговками сверху донизу по глухому шву; пояс перехватывала расшитая покромка, поднимая и без того надутые груди. На плечах у Нежданы висел расстёгнутый шабур. Из-под подола сарафана выглядывали носки дорогих сафьяновых сапожек на ногах, расставленных как для драки.

— Да много тут у нас искателей разных развелось, — твёрдо, будто с ненавистью произнесла Неждана, чуть прищурившись на Осташу. — Один клады ищет, которых никто не прятал, другой — утопленника выше по течению...

— Ты на кого зубы скалишь, сука?! — тотчас заорал Осташа, кинувшись вперёд.

Никешка плечом упал между ними, перепугавшись морщин бешенства, что смяли Осташин лоб. Неждана стояла неподвижно. Осташа взглядом провёл под ногами — нет ли палки?..

— Ты, Нежданка, давай домой иди, а то зашибёт, не ровен час... — торопливо стал уговаривать Никешка.

— Да у него ни рука, ни чо другое не подымется, — совсем уж по-мальчишески, звонко и отчаянно отрезала Неждана и даже сплюнула в сторону, а потом развернулась и пошла прочь.

— Ну, стерва... — тихо выдохнул Осташа, с трудом разжимая кулаки.

— Чего это она осатанела? — недоумевал Никешка, глядя, как Неждана уходит и скрывается в проулке. — Ладно, шут с ней... Пойдём скорей ко мне!

Осташа всё кипел, думая про Неждану, а Никешка тараторил, забегая то справа, то слева, пока шагали к дому Долматовых:

— Тут про тебя какие только слухи не ходят!.. Говорят, ты Макариху свою прибил, а тебя самого в Ревде Конон Шелегин так отходил, что ты чуть не умер... Говорят, что ты барку под Сарафанным бойцом утопил, что ты с каким-то разбойником Федькой Мильковым илимского купца Сысолятина ограбить хотел... Колыван брехал, что ты в скиты подался насовсем, а мужик один, ты его не знаешь, видел, что ты на Кусынском заводе в руднике руду ломаешь... И ещё говорят, что ты с вогулкой-жлудовкой из Ёквы — того...

Осташа встал, и Никешка с разгону убежал вперёд, а потом вернулся, пытаясь заглянуть Осташе в лицо.

— Чего ещё говорят добрые люди? — каменно спросил Осташа.

— Говорят, тебя на камне Чеген убили... — шёпотом досказал Никешка и даже прикрыл рот ладонью.

— Ну — вот, — туманно заключил Осташа и пошагал дальше.

Никешка в своей семье был поскрёбшем — последним и любимым сыном. Родители его, баба Груня и деда Костёня, были совсем старичками — маленькими, седенькими, похожими, как воробышки. Они всполошились, когда Никешка, сияя, гордо втолкнул Осташу в горницу. Осташу усадили в красный угол под медные иконы — как дорогого гостя. Всякую мелкую детвору — Никешкиных племянников, бабы-Груни-деды-Костениных внуков от многочисленных сынов и дочей, что вечно толклись при бабке с дедом, — как веником вымели в сени. Баба Груня сунула им туес

с кедровыми орехами, и теперь в сениях стоял гвалт: мелкая Никешкина родовá делила поживу.

— Как здоровьице ваше, Остафий Петрович? — ласково спросила баба Груня.

— Благодарствую, а ваше как? — степенно ответил Осташа.

После оскорблений Нежданы ему приятно было почувствовать уважительное отношение.

— Да уж какое наше здоровье, стариковское, — махнула розовой ладошкой баба Груня, и дед Костеня согласно зашевелил бородёнкой. — Оба уж в яму глядим. И без того гнили колоды небо закоптили...

— Чего говоришь, маманя? — недовольно буркнул Никешка.

— Ну, Никеша нас любит, жалует, — счастливо улыбнулась баба Груня, и дед Костеня прогудел:

— Любит, ага.

— А чего про Петра Фёдорыча слышно?.. — осторожно спросила баба Груня и заранее пригорюнилась, склонив голову и подперев ладошкой щёчку. — Тело-то нашли, нет?..

Она спрашивала не про царя — про батю. Батю тоже звали Петром Фёдорычем. Осташа уж и забывать начал: все кругом называли батю только прозвищем — Переход да Переход. А переходом на Чусовой величали любого, кого баре из родной деревни в другую переселяли. Батю в Кашку Строгановы перевели из Нижних Чусовских городков, от казаков Ермакова корня, а матушка была из Билимбая.

— Не отдала Чусовая батю, — сухо ответил Осташа.

— Жаль-то, жаль-то как его, — завздыхала баба Груня. — Ведь такой человек был сердешный... Вы, Остафий Петрович, в Николин день Николе-угоднику поставьте свечку с волосом своим — и в Христову ночь всякий, без погребенья усопший, к родному крыльцу придёт и под порожек записочку положит али ещё чего, чтобы понятно было, где кости томятся...

- Добрый был Переход, да, — согласился дед Костеня.
- Дядька Переход Осташку бы сплавщиком сделал, а меня — водоливом, — добавил Никешка.
- А у вас-то, Остафий Петрович, с задельем как? У нас Колыван-то Бугрин всякое говорит...
- Да не слушай ты Колывана, баб Груня. Всё слава богу. С дорожки-то меня, конечно, поспихивали...
- Знамо, — подтвердил дед Костеня.
- ...Да я всё равно и сам пристроился. Барку батину продал, а по весне пойду бескоштно на барке купца Сысолятина из Илима. С купцом уж и по рукам ударили.
- Ну и хорошо. — Баба Груня облегчённо махнула ручкой, и дед Костеня закивал. — А Никифора-то нашего не пристроите с собой?
- Баба Груня просительно заглядывала Осташе в глаза. Никешка, покраснев, чуть отъехал от Осташи по лавке.
- Никифор мне верный друг, — сказал Осташа и требовательно поглядел на Никешку.
- Ну дак!.. — вскинулся Никешка.
- Никифора возьму с радостью, — пообещал Осташа. — Не водоливом, конечно, — не своя барка. Но уж если выйдет, то подгубщиком — точно.
- Хорошо — подгубщиком-то! — ободрилась баба Груня. — Никифор-то у нас — даром что последыш, а силён!..
- Летом верёи ворót меняли, так он кровлю на них в одиночку поставил, — похвастался дед Костеня.
- Да-а, это сила так сила, — важно склонил голову Осташа.
- Вы уж посмотрите за ним, Остафий Петрович, — опять попросила баба Груня. — Вас-то он уважает, слушает, не то что нас. Сила-то в нём великая, а умом-то сущий младенец... Не проследишь, так пропадёт... Воров-то от простодушных хоть вицей гони, так и липнут...
- Дед Костеня печально закрихтел.

— Ну что вот ты говоришь Осташке, маманя, — укоризненно сказал Никешка. — Прямо беда тебя слушать. Пошли, Осташка, лучше покурим...

— Во-от, — тотчас заметила баба Груня, — видите? Приучили парня к зелью табашники с меженных караванов! Это при нашей-то вере строгой!..

— А что вера? — надулся Никешка. Видно было, что ему тоже хотелось хвостануть перед Осташей какой-нибудь мужицкой статью. — Вере-то ничо! Табак — та же травка божья, в огороде растёт, как щавель или там укроп... Царь Пётр курил, вот.

— Травка-то растёт, а откуда взялась-то? — Баба Груня строго посмотрела на Никешку, не приняв в расчёт пример царя Петра. — Табак-травка и хмель-корень в Цареграде на могиле самой великой блудницы бес вырастил, табак — из чрева, хмель — из головы! Потому табак курить грешней, чем хмельное в рот взять! У какой божьей твари из пасти дым-то идёт? Ни у какой! Только у сатаны!

— Так у него серный дым!.. — бесплодно и, похоже, не впервые возражал Никешка. — У него-то в пузе — сера кипучая, геенна! А тут травка сухая в трубочке дымит!.. Ты, маманя, ещё скажи, что мыться нельзя, потому что щёлок — бесовы слюни...

— Грех мыться, кто ж спорит, — подтвердила баба Груня, и дед Костенья кивнул. — Потому и живут в банях банники да обдерёхи, которые мочалкой прикинутся и грешнику кожу с мясом до костей соскоблят... Но без мытья-то как? У нас ить Чусовая не Иордан, замерзает зимой, в проруби не попáлькаешься... В мыльне помоешься — потом становишь на чин грех замаливать.

— Ну вот потом и табак замолю, — решил не спорить Никешка. — Пошли, Осташ, а то мне сейчас пекло устроят ещё до кончины...

Обожжённым деревянным совком он подцепил с печного пода уголёк и поманил Осташу за собой. Нагнувшись под

низкую притолоку, они вышли в сени, где на полу валялся растоптанный и разодранный туес, а оттуда прошли на гульбище, смотревшее на двор. Никешка гордо расстелил на перилах тряпицу с табачным крошечком, достал откуда-то глиняную трубочку, нагрёб ею табака, умело примял пальцем и принялся раскуривать угольком. Он отпыхивал дым краем рта и искоса поглядывал на Осташу: ну, каков он мужик, а? Осташа с деланным безразличием плюнул с крыльца и мимоходом порадовался, что Никешка не заметил, что плевков повис на тесинах, малым раскатом оторочивших повёрт.

— Хочешь, ночью сбегает к Акульке, косоглазая которая? — щедро предложил Никешка. — Она с мужика по копейке берёт.

— Чего мне, баб не хватает? — ухмыльнулся Осташа и пожал плечами.

Никешка завистливо вздохнул.

С гульбища за кровлей служб видны были крыши нижней стороны Кумыша — вон и чёрный конёк Колывановой избы...

— Я Нежданку наказать хочу, — вдруг зло сознался Осташа. — Пусть твякает, как хочет, но батю — не трожь.

— Нежданка — девка, — серьёзно возразил Никешка. — Девке девятую пуговку расстегнуть — уж точно грех. Плюнь, дура она.

Девятая пуговка на сарафане приходилась как раз бабе на причинное место.

— Пусть дура, и пусть грех. Но и она пусть поплачет — за свой язык да за батю своего. Так-то. — Осташа посмотрел на Никешку.

Никешка растерянно молчал, приоткрыв рот, из которого курился дымок.

— Так — вроде забыл, а увидел — и вспомнил, — сказал Осташа. — Пусть ей. В моём доме — не в Митькином...

ДЕВЯТАЯ ПУГОВКА

Колыван не поленился: завидев Осташу с Никешкой, шагавших по улочке, он тпрукнул лошадь, слез с телеги, подошёл. Под мышкой у него торчал свёрнутый кнут. Ладонь Колывана, толстая и твёрдая, как лопасть весла, уткнулась Осташе в грудь.

— Я тебе чего говорил — здесь мне не показывайся.

— Так, дядя Колыван, улица-то общая... — виновато забормотал сбоку Никешка.

— Да нет мне дела до твоих слов, — тотчас ответил Осташа, отбрасывая руку Колывана. Вчера-то с гульбища он на себя чуть не плюнул — значит, слышать ему на себя напраслину; но вот пуговицей он сегодня не остёгивался — значит, битому не быть.

Колыван помолчал, тупо глядя на Осташу и вздрагивая короткой плотной бородой.

— О чём вчера у перевоза с Нежданкой говорил?

— О свадьбе уходом.

Колыван медленно вытащил кнут из-под полы армяка.

— Только распусти, дядя Колыван, — предупредил Осташа. — Я за это тебе горло зубами хоть мёртвый вырву.

Колыван засопел, постукивая кнутовищем по колену, словно стряхивал с кнута лишнюю злобу.

— Нежданке место за Прошкой Крицыным у Конона в Ревде, — передавленным голосом сказал он. — А тебе — в омуте под коргой, за батей вслед...

— Я, дядя Колыван, людей иль бога ждать не буду, пока тебя за поклёп на батю накажут, — спокойно сказал Осташа, сцепив за спиной руки. — Я тебя сам накажу. Хвати позору через краешек да покашляй так, чтоб сердце лопнуло.

Осташа не решился столкнуть Колывана плечом с дороги. Толкнётся, и будет драка, а в драке и гнев расплескаешь попусту. Обойдя Колывана, Осташа зашагал дальше. Никешка нагнал его и пристроился рядом, тяжело дыша.

— Маманя говорит, раньше Колыван таким не был, — виновато пояснил он. — Суровый, конечно, как старосте и положено, но обычный мужик был. Я-то сам не помню, не смотрел... А с прошлогоднего сплава он как озверел.

Осташа не ответил, оглянулся: Колыван боком усаживался в телегу, разбирал вожжи. Лошадь он не ожёг кнутом, а легонько тронул, чмокнув губами: тоже, видать, копил злобу.

...Весь день Осташа и Никешка просидели на крыше амбара: отдирали прогнившие тесины, бросали вниз; под просветы подгоняли свежие. За амбаром на пустыре кумышские мальчишки стаскивали хлам в кучу, жгли вместе с бурьяном, на чугунных черепках жарили пшеницу. Баба Груня из окошка следила, чтоб они не подпалили дом. Осташа продрог на холодном ветру, но ему хотелось быть на воздухе, хотелось простора. Давили душу Колыванов поклёп, вчерашняя обида от Нежданы. Сколько ж можно ему щериться и отлаиваться, как трусливому псу из-под ворот? Пора рвануть живого мяса — легко и без сомнения, как хитник Ипат на Тискосе. И пускай сейчас перед ним — не сатанёныш, как у Веденя под Костёр-горой... Осташа поднимал голову и с ненавистью оглядывал чёрные крыши Кумыша, чёрные ельники за голыми выпасами, бурую от лишайников груды Горчака над помертвелой, остывшей Чусовой. Северный ветер наволакивал на небо тёмные, сырые тучи — будто комями земли заваливало крышку гроба в могиле.

— Работнички, вечерять пора! — позвала с крыльца баба Груня.

— Ты иди, я сейчас, — сказал Осташа Никешке.

Среди парнишек на пустыре весь день вертелся Колыванов Петрунька. Осташа уже не раз заметил, что Петрунька поглядывает на него, словно хочет, да не может позвать.

С раската крыши Осташа спрыгнул в сторону пустыря, рукой поманил Петруньку. Парнишки двинулись к нему скопом, но Осташа отмахнулся:

- Мне, мальцы, он один нужен, насупротив...
- Ну, чего тебе? — буркнул Петрунька, глядя исподлобья.
- А тебе чего?

Петрунька сощурился, не отвечая. Правая щека у него была распухшей, на скуле — радужный синяк.

- У вас баню когда топят? — напрямик спросил Осташа.
- Сегодня и топят. Помыться, что ль, решил?
- А сеструха у тебя когда идёт?
- А тебе чего?

Теперь молчал Осташа. Петрунька разглядывал его, словно что-то примеривал.

- Нежданку хочешь спортить?
- Хочу, — честно ответил Осташа.

Петрунька ещё подумал, почесал пяткой лодыжку.

— Сейчас батя с матерью в баню пойдут, потом — Нежданка, — сказал он. — Валяй.

Осташа даже удивился Петрунькиному дозволению.

- Не жалко сеструхи-то? — с укором спросил он.
- Тебе жалеть, не мне, — буркнул Петрунька, отворачиваясь.

По мнущимся плечам Осташа видел, как Петрунька за спиной, ломая, сплетает руки.

— Эй, кашкинский, ты Петрё забижать не смей!.. — крикнул кто-то из парнишек от костра.

Осташа посмотрел на мальчишек — они все глядели на него, сжимая в руках палки и камни. Осташа, не отвечая, снова перевёл взгляд на Петруньку, бесчувственно ковырявшего мёрзлую землю большим пальцем босой, чёрной от грязи ноги.

- Ну, говори, — велел Осташа.
- Ты Нежданку спортишь, так, может, грех покроешь и женишься, — глухо сказал Петрунька, не поднимая головы. — Так батя на мамке женился, он сам говорит... А я к вам жить уйду.

Осташе захотелось убить Колывана тут же. Он поднял за подбородок лицо Петруньки, повернул синяком к свету.

— Батя приложился?

Петрунька чумазым пальцем оттянул угол рта: справа вверху вместо коренных зубов из десны торчали белые обломки.

— Он ведь не ремнём, кулачиной бьёт, сука... Мне теперь сплавщиком не стать. Как я без зубов буду заговоры читать?

— Без них обойдёмся... Ты потерпи ещё, я тебя и без Нежданки заберу, — хрипло пообещал Осташа. — Я ведь свои слова помню... Я уже на сплав купца нашёл, у которого сплавщиком пойду, правда.

— А я и с Никешкой Долматовым уже условился, — угрюмо признался Петрунька. — Если ты меня не возьмёшь, то он возьмёт. Он сказал, что ты сплавщиком будешь, а он — при тебе подгубщиком, а я — бурлаком на его потеси...

— Давай, дотерпи до весны, мужик, — сказал Осташа.

— Остафий Петрович, стынет же на столе!.. — долетел со двора окрик бабы Груни.

...Уже в сумерках, отделившись от Никешки, Осташа выскользнул от Долматовых через заднюю калитку и побежал пустырьём к Кумышу. Он спрыгнул с обрывчика на приплёсок и под кустами незаметно прокрался к бане Бугриных. Двор Колывана воротами смотрел на Горчак, а нижняя сторона, закрытая забором, протянулась вдоль Кумыша. Баня стояла в углу двора прямо над берегом, чтоб удобнее было носить воду — даже лесенка имелась. Осташа залез в почерневшую, давно не жгучую, гнившую на корню крапиву и послушал под окошком: в бане было пусто. Опоздал, что ли?.. Но в окошке светил огонёк — значит, в баню кто-то ещё придёт. Незамужних сестёр у Нежданы не было. Если Неждана придёт, то одна.

Осташа перемахнул забор и залёг в бурьян против дверки бани. Северный ветер сменился на западный, будто река ударилась о бойца и подалась в сторону. Толстые тучи за

Горчаком оттащило обочь. Как выход из пещеры, рассквозилось ясное, желтоватое, стеклянистое небо, окрасившее облачный свод сиреневыми отсветами. Все дома деревни, что громоздились над Осташей по взгорью и по берегу, слились в единую, угловатую, чёрную грудку. Из неё кое-где выплывали дымы, багровеющие перед закатной полыньёй. Перегавкивались собаки, что-то стучало в глубине улочек, кто-то смеялся вдали на берегу.

Неждана со свёртком белья в руках прошла по тропинке меж огородных грядок и скрылась за дверкой предбанника. Осташа покрутил головой, — нет ли кого на заднем крыльце дома? — выждал немного, освободил плечи от армяка, вскочил и бросился вслед за девкой.

Неждана не заперла за собой. Спиной к Осташе, она стояла в предбаннике в нижней рубахе. Она согнулась на одну сторону и расплетала чёрную косу. Осташа сзади обхватил Неждану обеими руками и бросил на пол, словно деревце сломил. Он упал сверху, рывком перевернул девку лицом к себе, уронив плечом ушат с грязным бельём, что стоял на скамейке, а скамейку повалил и оттолкнул ногой. Неждана не закричала. Осташа ладонью в лоб прижал её голову к доскам пола, втиснулся губами в её рот, словно хотел хватить хмельного перед рискован делом, и пытался одной рукой сразу задрать подол её рубахи на живот и раздёрнуть пошире мотню на своих штанах. Сердце, как в драке, стучало изнутри в затылок, а вождельенье не ослепило, дурью не затмило ума.

— Тише ты! Мать идёт!.. — вдруг шёпотом крикнула Неждана сквозь его губы.

Осташа замер на ней, изогнувшись и глядя через плечо назад — как ящерка на камне. В приоткрытый проход он увидел, как от дома к бане, спускаясь по тропочке, топают, переваливаясь, толстая жена Колывана. Голова её была обмотана полотенцем.

— В баню схоронись! — велела Неждана.

Осташа вскочил, дёрнул на себя дверку бани и нырнул в плотный тёмный жар, еле разжиженный плоской с огоньком. Он и подумать не успел, почему Неждана прячет его, а не ищет у матери защиты. Он схватил валявшееся у каменки маленькое полено и прижался за дверью к стене. Он сразу решил: коли баба сунется в баню, даст ей поленом по лбу и убежит. Чай, поленом не убьёт.

— Ты чего не затворяешься, гостей ждёшь? — услышал Осташа ворчанье старухи в предбаннике. — Я за бельём... Рубаху давай, чего не сняла?.. Бельё в корзине замочу у мостков. В избу возвращаться будешь — прихвати. И босовики надень, крыльца не грязни...

— Хорошо.

— За собой в бане прибери, лавку помой, огонь залей. Окна не забудь заволочь, а то птицы налетят, засрут, как в прошлом годе, будет от отца таска... И веники с полотенцами посушить развесь.

— Да поняла я, матушка...

— Поняла она... Через чих забудешь, — ворчала старуха. — Запри за мной...

Осташа услышал, как стукнула дверка предбанника, потом шоркнула задвижка. Осташа тихо положил полено к печке и застыл, стиснув челюсти.

Неждана вошла, нагнувшись в низком проёме — голая, уже без креста между грудями, только с тоненьким нателёным пояском. Она распрямилась, не поднимая головы. Одной рукой она подтягивала толстую банную дверь с петлёй вместо держалки, а другой прикрывала снизу живот. Её еле-еле было видно при свете коптилки, но зрение Осташи обрело чуткость неясоти. Ничего не говоря, Осташа схватил Неждану за руку и толкнул к лавке, развернул спиной к себе, поставил на колени и повалил на доску животом. В тесноте бани на полу было не лечь.

Неждана ждала, пока он справится с прорехой на штанах. Она только тихо, протяжно охнула, вцепилась в края

лавки и выставила вверх растопыренные локти. «Ноги расшарашь...» — выдохнул Осташа, нагибаясь и ловя в ладони её качающиеся груди. Он не торопился и не медлил, словно делал дело на совесть, и тяжело дышал ртом. Он не закрывал глаза и видел, как в красном свете коптилки гибкая, разделённая пополам спина Нежданы начинает блестеть, а голова её покорно кивает, и змеей изгибается туда-сюда коса. И ещё под тонким пояском на пояснице Нежданы и на её прыгающих в лад ягодицах, поджатых вверх его брюхом, Осташа увидел багрово-чёрные рубцы от ремня.

Она тихонько заскулила, когда он зарычал, а потом он перевёл дух, опёрся рукой о её спину и встал, поддёргивая и запахивая штаны. Неждана, как разбитая старуха, медленно поднялась и села на лавку, оглаживая распухшие колени. Волосы её, вытянувшись из перевязки косы на шее, висели вдоль щёк, как два чёрных крыла, и платком покрыли плечи. Теперь Осташа не знал, что делать. Девке вроде полагалось плакать.

— Ты чего не воешь? — грубо спросил он. — Что ли, не впервой?..

Глядя на Осташу, Неждана провела между ног рукой и показала ему ладонь с тёмной полоской крови.

— Впервой, — сказала она. — Да ты присядь... Теперь и поговорить можно.

— Да мы уж поговорили — на берегу, на перевозе, — буркнул Осташа. Он почувствовал, что ничего не понимает, и оттого наливался злобой. Ему-то от девки ничего больше не надо было, но что-то никак не давало уйти.

— Ты меня прости за те слова, — мягко сказала Неждана. — Как мне с тобой поговорить, коли у батюшки кругом глаза да уши? Да и тебя самого только на бегу увидеть можно — как оборотня... Вот и пришлось тебя обидеть, чтобы ты отыграться захотел... Думаешь, просто так Петрунька весь день подле тебя тёрся и на все вопросы отвечал?

— У-у-у, во-от как!.. — изумился Осташа, присаживаясь на корточки и наваливаясь спиной на стену. Так было удобнее — и прохладнее, и голова не в чаду от печки, топившейся по-чёрному.

Неждана потянулась в сторону, достала из кадушки косматый ком мочала и положила себе на ноги, прикрываясь от взгляда Осташи. Осташа рассматривал её груди, плечи, лицо. Красивой была девка. Но не трогала её красота. Больше ничего от неё не хотелось. И даже казалось, что потом он охолонёт — и всё равно ему больше не захочется.

— И что, девства не жалко, лишь бы поболтать? — насмешливо спросил Осташа.

— Для тебя — не жалко, — тихо ответила Неждана и дёрнула головой, отбрасывая волосы. — Я тебя сразу полюбила.

— Когда же ты успела? Ты и видела-то меня, только когда мы с батькой твоим весной дрались.

— Тогда и успела.

— Вот так — с единого взгляда?

— А что, три года таращиться надо?

Осташа в задумчивости принялся пощипывать губу. А может, и так... Ему Бойтэ в душу запала тоже с одного взгляда...

Неждана встала, придерживая мочалку, потянулась к окошку, взяла большой костяной гребень и села обратно. Она перекинула через плечо на живот косу, смахнула перевязку и начала расчёсывать волосы.

— Зад-то тебе Колыван нарёзал? — спросил Осташа.

Неждана молча кивнула. Осташа догадался: это тоже её плата за разговор на берегу.

— Ну и как ты теперь будешь? — спросил он. — Скорей батьку уприсишь тебя за Прошку Крицына выдать, чтобы грех покрыть?

— Не знаю и знать не желаю никакого Прошки, — спокойно ответила Неждана. — И никому не указ, чего мне делать: ни батюшке, ни матушке, ни тебе.

— Понятно, от батюшки теперь какой указ? — Осташа пожал плечами. — Он тебя убьёт — эдакий ведь позор... Да ещё от меня.

— А тебе что, меня совсем не жалко? — удивлённо улыбнулась Неждана, и даже рука её с гребнем остановилась.

— Ну, жалко, конечно, немного... — Осташа поскрёб шею. — Только у нас с Колываном дело без жалости идёт. И он первый за кромочку ступил.

— Я-то не ступала.

Осташа ухмыльнулся: а вот только что чего было-то?

Неждана отвела взгляд и с силой потянула гребнем волосы.

— Правильно, не жалея, — вдруг согласилась она. — Я тебя нежалейного и полюбила.

— А я-то тебя — нет.

— А ты никого не любишь.

— Батю люблю.

— Батя твой умер. Только не серчай сейчас. Я ведь своего батюшку тоже люблю, ну и что? Из живых людей любишь кого?

— Найдётся, — уверенно ответил Осташа.

— Никого не любишь, — убеждённо сказала Неждана. — Если и кажется, что любишь, — так это пройдёт. Я знаю.

— Что ж, выходит, я тебя полюблю? За жертвы твои, да?

— Никого, кроме Чусовой, ты уже не полюбишь. А мужем будешь моим.

— Не буду, — напрочь отказался Осташа.

— Будешь. Я своего дождусь, добыю. Я знаешь какая упрямая? Добилась же, чтоб ты пришёл сюда и взял меня.

— Дураку наука, — зло согласился Осташа.

— Для тебя наука — барки водить, а в других науках ты навсегда дураком и останешься.

— Почто же тебе муж-дурак?

— У меня не дурак муж будет. У меня муж будет сплавщик. Лучший на Чусовой.

— Твой батя разве что солнце с неба не сорвал, чтоб я Чусовой ни в жисть не увидел, — желчно сказал Осташа.

— Ты батюшке не нужен. — Неждана покачала головой.

— Теперича вдвойне.

— Нет, я не о том... С батюшкой что-то случилось, какая-то беда, в грех он впал... А ты мешаешь исправить. Вот и всё.

— Коли грех — так покайся.

— Того, значит, мало.

Осташа помолчал, размышляя.

— А мне какое дело до Колывановых грехов? У меня и толк другой.

— Раньше батюшка не таким был... — Неждана не отозвалась на Осташину досаду. — Это всё его Пугач да твои дядья сгубили...

— Гусевы, псы, мне не родня, — сразу отрёкся Осташа.

— Батюшка всегда угрюмый был, матушку бил, бывало... Но я у него в баловницах ходила. Как в отроческие годы вошла, когда титьки появились, он ни разу на меня руку не поднял... Всё после Пугача изменилось. Наш-то толк, беспоповский, Пугача принял.

— Колыван в истязельчество перекинулся, — возразил Осташа.

— Батюшка из толка в толк не шарахается, — твёрдо ответила Неждана, и Осташа понял, что тайное для него истязельчество — для неё не тайна. — Истязельство — то же беспоповство, только с вогулами и для сплавного дела. Это батюшке сам Мирон Галанин подтвердил. Я ведь, Остафий, не дура. Не только слушаю, а ещё и понимаю, чего услышала...

Осташа какими-то новыми, удивлёнными глазами смотрел на Неждану. Чтоб от девки — да какое-то понимание было?... Ну и дела.

— К тому ж, Гермонов толк признали только на Невьянском соборе через два года после Пугача... Так что вина —

на Пугаче, а не на истязателях. А ты небось решил, что это они виноваты, Колыван, Гермон да Конон, которые тебя в свой толк не берут?

В голосе Нежданы мелькнула насмешка.

— Плевал я на их толк! — тотчас ошетинился Осташа. — Мой батя без истязательства лучший сплавщик был!

Неждана не ответила на вызов.

— Батюшка тайком Пугачу присягу принёс... Все сплавщики перед Белобородовым ему крест целовали — весной, в Старой Утке. А потому батюшка и был обязан переправить царскую казну. От Утки до Кашки её Ипат Терентьев вёз, от Кашки до Кумыша — Гусевы, от Кумыша до Чусовских Городков должен был батюшка везти. А Гусевы твои...

— Не мои! — рявкнул Осташа.

— ...Гусевы в дороге передумали. Они на то и брали с собой Перехода, который Пугачу-то не присягал, чтобы он им какое-нибудь тайное место указал, где казну можно спрятать. Сами-то они Чусовой не знали. Кто они были? Ямщики, целовальники...

— А батю моего, значит, потом — клад стеречь?

— Наверное... Им зачем свидетель?

— Ну, говори дальше, — кивнул Осташа.

В горле у него пересохло, он встал, черпанул ковшиком воды из бадейки, где кисли мочало и веники, попил и сел рядом с Нежданой.

— Они к батюшке ночью завалились. Я на печке лежала, за занавесочкой, всё слышала... Хоть и малая была, да почему-то запомнила... Перехода связанного привезли. Он отказался казну ворованную прятать. Пришлось Гусевым батюшку уламывать. Батюшка тоже воровать казну не захотел. Тогда Гусевы убрались...

— И всё?

— Не всё, конечно. В казне-то четыре бочонка с вином было. Один бочонок Гусевы выпили ещё до Кумыша, один — здесь. Как уплыли, продолжали пить. Совсем уж пьяные,

без ума, еле причадили на Четырёх Братях. Пока валялись по кустам, Переход развязался, положил в насаду два бочонка с золотом и уплыл. Утром Гусевы проснулись — ни золота, ни Перехода. Да ещё во сне у них Малафейка-дурачок блевотой захлебнулся. Там, на Четырёх Братях, они его и похоронили. Это его кости Бакирка нашёл — слышал о том?..

Осташа, конечно, вспомнил. Вспомнил ещё и то, что весной Бакир там же, на Четырёх Братях, показывал ему бочковые обручи с чеканкой «ЦРЬ ПТРЬ ФДРЧЬ». Это были обручи с винных бочонков, нахлесть опростанных Гусевыми в ту ночь...

— А где ж тогда клад? — глупо спросил Осташа.

— Это только Переход и знал, — улыбнулась Неждана. — Он ведь золото увёз... Спрятал — и никому не сказал. Даже тебе. Только басня и осталась: четыре брата Гусевых — боец Четыре Брата. Там, мол, и схоронена казна. Бакир всю гору изрыл, все скалы облизал и обнюхал, даже кости Малафейки достал — а клада нет.

— Ну, а Гусевы чего? — хмуро спросил Осташа.

— А чего Гусевы? Они — отступники. Они и царя предали, и сплавщиков, которые царскую казну берегли. Им среди людей больше жизни нет.

— Да они-то как раз неплохо пристроились, — хмыкнул Осташа. — Чупря при Кононе, Яшка-Фармазон при старце Гермоне в скиту. Только Сашка разбойничал сам по себе, потому и погорел...

— Пропавший человек — в тайном хозяйстве вещь полезная, — недобро улыбнулась Неждана. — И на любой грех для хозяина согласен, и похерить не жалко.

Осташа повернул голову, заново разглядывая Неждану. Она засмушалась от его взгляда, обхватила себя за плечи, прикрывая грудь:

— Камелёк-то прогорел, баня выстужается...

— Успеем договорить. Не окочуримся.

— Сашка прошлой зимой к батюшке приходил, — покорно продолжила Неждана. — Говорил, что догадался, где Переход клад спрятал... Батюшка ему не поверил, прогнал. А потом засомневался, правильно ли сделал. А потом узнал, что Сашку солдаты словили. Батюшка побоялся, что Сашка властям про клад под пыткой скажет... Сашку должны были из Шайтанских заводов в Казань отправить к губернатору. От заводов до Оханска — на барке, дальше с караулом по Казанскому тракту...

Неждана словно споткнулась, замолчала.

— И что? — подтолкнул её Осташа.

— Я не знаю, что было... Но на этот сплав батюшка только на полпути нанялся — от Ревды до Кумыша. Дальше молодой Гилёв барку повёл — ну, Алфёрка... Никогда раньше батюшка сплава на половине пути не оставлял. А на его барке мы с матушкой плыли. Мы весной в Ревду ездили поклониться Невьянской Богородице... Нашу-то домашнюю каплицу батюшка после прошлогоднего сплава замкнул и доступа никому не давал. Как жить-то без причащенья на Пасху?.. Вот мы ездили, а обратно — на батюшкиной барке. И в Ревде на пристани я от тамошних баб узнала, что Конон капитану Бергу, который Сашку Гусева охранял, посоветовал Сашку на батюшкиной барке отправить. Поначалу Сашку и поместили в батюшкину казёнку. А потом Калистрат Крицын упросил Берга Сашку от батюшки убрать. Я сама видела, как солдаты Сашку расковали и вывели... И ещё видела, что батюшка незаметно Сашке ключ сунул...

— Какой ключ?

— Ну какой? Не от бабкиного же сундука... От кандалов.

Осташа совсем ссутулился, не в силах понять, почему всё происходило так, как происходило. Он никак не мог увязать в узелок сразу столько ниточек. Колыван хотел, чтобы Сашка сбежал, а сам отказался его везти?.. И зачем Колыван сошёл с барки в Кумыше, когда Сашка в батиной ка-

зёнке поплыл дальше?.. И вообще: зачем это всё? Чего Колыван выгадывал-то? Чего добивался?.. Почему ему батя и после смерти своей покоя не даёт?

— Ты мне скажи: почему всё так? — измученно попросил Осташа у Нежданы. — Для чего всё это? Чего Колывану нужно — казна?

— Он ведь уже отказался от казны, когда Гусевы сулили...

— А почто тогда Бакира кормит? Думаешь, найдёт Бакир казну — так Колыван её Бакиру и подарит?.. Да он сразу Бакиру шишбёт башку — так, что та три версты катиться будет! Почто Колыван всем говорит, что мой батя казну украл? Чтобы никто её больше не искал и можно потихоньку было забрать себе?

— Я не знаю, Остафий, не знаю! — Неждана страдальчески посмотрела на Осташу. — Я сама не знаю! Может, и в казне дело, но я вижу, что не только в ней! Я вижу, как батюшка изменился, словно помертвел весь! Для него никого вокруг не осталось! Он всеми нами, и тобой, и твоим отцом какую-то свою беду переживает! И ничто его не остановит!

— Да какую беду ещё? — яростно прошипел Осташа.

— Это после прошлогоднего сплава началось. Он вернулся и замкнул капицу и с тех пор будто сквозь людей смотрит. Я только единый раз в капицу попала — когда он уехал и ключ за кивотом забыл... И знаешь, чего в капице увидела?

— Младенцев он там, что ли, жрёт — по вогульской вере? — хрипло спросил Осташа.

Неждана пренебрежительно усмехнулась.

— У него там перед каждой иконой по куче воска от свечей натекло... И только перед единым образом — ни капочки. Перед Трифоном. И образ Трифона чёрный-чёрный, как копытю покрыт — только нет на нём копоты, сам почернел. Еле глаза видны.

— А почему ж то?.. — хрипло, растерянно спросил Осташа, озираясь по тёмным углам бани — словно сей миг по-

лезут оттуда банники да обдерёхи, только скажи самое страшное слово...

— Ты ведь сплавщик. Ты ведь знаешь преданье о Трифоне...

— Как не знать.

— Я вот думаю... Батюшка шёл со сплава прошлой весной и увидел на Чусовой Трифона — в лодке и со свечкой.

— Бывало, и другим Трифон являлся — кто ж после того бесам служить шёл? Наоборот...

— Я думаю, что Трифон-то батюшке не поклонился. Не увидел его. И батюшка того испугался больше, чем самого явления.

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ В ЁКВЕ

Осень успела всё: пролила все дожди, обтрясла от листвы все осины, смела мусор в Чусовую, которая унесла его неизвестно куда. Просторы стояли проветренные, промытые, прибранные, как изба после похорон. От ночных заморозков чёрствой горбушкой смерзались галечниковые отмели, а высокие ёлки становились узкими, опуская ветви, как крылья. Медленно и тихо проплыли последние барки, последние тучи. Небо выбелилось, ожидая свежих и ярких красок зимы. Вода затихла, не журчала даже на переборах за камнями — так уставшая собака, отводя взгляд, молча пробегает мимо, огибая встречного. А сквозь серые утренние туманы порой можно было увидеть, как оцепеневшая Чусовая, укрытая пеленой, словно готовится к таинству — блёкло зеркалится, ожидая ледостава.

Никешка дал свою лодку — неуклюжий шитик, и Осташа ушёл вверх упором. Как и весной, впереди был долгий путь до Кашки — шестьдесят вёрст по плёсам, излучинам и створам. Перебор Цветники, бойцы Стрельные, речка Свадебная, камень Ермак с пулевой дырой пещеры во лбу...

«Кивыр, кивыр, ам оссам!» — крикнул Осташа. Тишина. Вогульская деревня Копчик с синими дымами над драными шапками чумов. Стерляжий перебор. Камень Девичьи Слёзы — мокрый, словно от слёз. Пристань Ослянка с перестуком топоров и россыпью недостроенных барок по берегу — словно здесь прошла чёрная длиннорогая Коровья Смерть, и теперь до голых рёбер истлело павшее стадо.

Осташа так и не увидел синих туманов, в которых плывёт чёлн святого Трифона. Понятно: синие туманы бывают в мае. Добрый сплавщик их никогда не увидит. В мае он сдаёт барку на Каме — за деревней Конец Гор, за деревней Адишево, за мысом Стрелка на устье Чусовой, где-нибудь на людных пристанях Лёвшиной, Мотовилихи, Ягошихи, Оханска... А синие туманы видят те, кто не дошёл до Камы, кто выгреб с убитой барки на берег и теперь бредёт обратно домой ни с чем. Плохая это примета — увидеть святого Трифона. На своей лодчонке, на которой он без вёсел уплыл от Успенки, Трифон подымается по Чусовой, собирает души погибших на сплаве бурлаков. Он стоит в челне и глядит на воду, держит в руке свечку. Увидит человека на берегу — кланяется. Говорят: кто Трифона встретит — тому на следующем сплаве непременно утонуть. Почему же Трифон Колывану-то не поклонился?.. Осташа глядел на мятые, битые половодьем скалы, и ему казалось, что нет на свете никакого Колывана. Некому кланяться.

...Бабёнский плёс — длинный, как зимняя ночь. Гребни Востряка, обнажившиеся в разрежённом лесу на склоне. Тёмная груда бойца Мултык, слепленная как попало, словно снеговая баба. Долгий Долгий луг. Меж Плакун-горой и Мёрзлой горой, будто в ладонях, — Кын-завод, раскинувшийся над рекой сети горького дыма. Великанский сизый забор бойца Великан. Обманчивый уют полузатопленной пещеры в камне Печка — надо видеть, как весной из пещеры, будто из пушки, на перестрел реки в поддых Великану бьёт белая струя пены... А потом за Кирпичной деревней

и Кирпичным бойцом маленький ручьишко Калган Лог: здесь бес гнездо свил, закрутил узлами стволы деревьев в урёме, а из тех древесных узлов режут лучшие чашки-калганы — кривые, зато прочные, как камень.

...Трифон жил так давно, что всё словно в сумерках... Был он сам родом с Мезени, что ли, — убежал из дому от женьитьбы. Звали его тогда просто Трофимом, Трошкой. Шлялся по лесам, по монастырям. Пришёл на Каму, в Орёл-городок, когда там у Аники Строганова помирал любимый внучок Максимка. Аникины сыны, Григорий, Яков и Семён, и сами изрядными ведунами были, травы знали и наговоры, иконы писали, а вылечить не могли. Трошка помолился — и мальчонка выкарабкался. За то Аника дал бродяге место в своём монастыре на Пыскорской горе.

Там Трошку постригли в монахи под именем Трифон. Знать, монашьи радения Трифону показались малы, коли он по своему почину ещё по ночам вставал на молитву без рубахи, отдавая себя на съеденье гнусу. От таких подвигов слёг, и в бреду явился ему сам Николай Чудотворец. С этого явления открылся в Трифоне дар пророчества. Но то, что тебе — дар, другим — кость в горле; Осташа это уже на себе почувствовал. И братия обозлилась на Трифона, да так, что тот бежал из монастыря.

Добежал до Гляденовской горы, что ныне за Ягошихинским заводом. Там у пермяков была кумирня, на которой росла священная ель. Трифон выкопал себе яму для ночлега и с молитвой взялся ель рубить. Срубил. Говорят, и сейчас этот пенёк увидеть можно: такой здоровый, что на нём сани развернутся. Но теперь на Трифона взъелись пермяки — князыцы Амбал, Бебяк и Зевендук. От их мести Трифон опять бежал, теперь уж на Чусовую, к Максиму Строганову.

Максим с Трифоном годами близки были. Максим помнил, кто его спас от огневицы: Трифона принял, дозволил поставить келью поблизости от Чусовского Городка, от соляных варниц. С той лесной кельи и начался Успенский мо-

настырь. Трифон и богу, и Максиму Яковлевичу был верен. Молитвой возвратил в колодцы ушедший было рассол, молитвой отогнал от городка налетевшего из Сибири хана Маметкула, племянника царя Кучума. Вокруг Трифонова скита другие кельи появились... Трифон-то и служил молебен Ермаку Тимофеевичу, когда тот уходил на стругах вверх по Чусовой испытать дорогу за Камень.

Но коли где сам — там бес, а где свят — там сто бесов. Трифон пустил пал на ельник, расчищая место под пахоту, да не сдержал огня. Пожар сожрал весь запас дров на варницах. Народ, осатанев, бросился Трифона убивать: схватили его и с горы скинули. Трифон упал, да не убится — и с берега грянуло его пророчество: «Место свято, люди кляты!» С тех-то пор жителей Успенки и дразнят «прокляёнышами». А Трифон уплыл прочь на лодке — без вёсел, с одной молитвой.

Ангелы привели лодку к Чусовскому Городку. Однако и Максим Яковлевич за дрова разгневался, велел посадить Трифона в яму на цепь. Из ямы-то Трифон и ему тотчас напрозорил: сидеть тебе самому рядом со мной! И точно. Через четыре дня к Максиму явились царские гонцы, надели ему железá и скинули в яму к Трифону. Это Грозный-царь на Максима опалу наложил. Максим-то вместе с Ермаком снарядил в Сибирь и смутьяна Ваньку Кольцо — а куда денешься, если тот с саблей насакивал? На Ваньку же зуб имел чердынский воевода Пелепелицын. Ванька его посольство на Волге порубил, а Грозный Пелепелицына за это в Чердынь упёк. Вот воевода и настроил царю ябеду.

Максим сразу же велел расковать Трифона и тут же, в яме, ему в ноги ударился: прости, но уходи с Чусовой, куда хочешь. И Трифон ушёл. А Максим на цепи ещё долго сидел. Только когда Ермак из Сибири прислал к царю посольство с Кольцом во главе, Иван Васильевич снял опалу.

Трифон потом много ещё где подвизался, на Вятке другой монастырь основал — за то его Вятским и прозвали.

Только гонения на Трифона не прекратились, и из собственного монастыря Трифона тоже выжили. На Вятку он лишь умирать приплёлся. А на Чусовой Трифонов монастырь остался и почти двести лет простоял, пока царица Екатерина не повелела его закрыть. Случилось это лет за десять до Пугача... Сейчас на монастырском дворике коsobочится лишь деревня Успенка — со злыми, на века обиженными проклянёнышами.

...У Весёлого луга Осташа встретил первые забереги. Не дождавшись туч, ветров, снегопадов, словно сам собой начался ледостав. Осташин шитик с хрустом крошил тонкие языки льда, потянувшиеся по уловам да вдоль отмелей на плёсах. Тёмная шуга поплыла по реке, густея каждую ночь. Волна под носом шитика ломалась с шорохом, будто накрахмаленная.

Погода повернула, когда Осташа миновал Усть-Серебрянку. Из-за красной, пробитой, порушенной стены Ростуна полезли тёмные тучи, одна другой страшнее. Повалил снег, словно всю землю хотел захоронить. Осташа сильнее налегал на мокрый шест, отплёвывался и мотал башкой. В липучей белой круговерти он еле узнал огромные зубцы бойца Дужного — понял, где плывёт, только когда провел шитик вплотную мимо выгнутых каменных пластов. За Дужным пришлось встать на ночлег — куда плыть-то, ничего не видно. Всего день оставался до Ёквы.

С утра всё вокруг было белым — и леса, и скалы, и небо. Одна лишь Чусовая текла ярко-чёрной полосой, покрытой шевелящимся паром. Осташа выломал шитик из припая. Дальше почти сплошь тянулись ельники, все в снегу — взглянуть не на что. А потом справа выросли страшные каменные колокольни Столбов — не разглядишь верхушек в мутной мгле растрёпанных туч. За Столбами пошли ёквинские бойцы, скалы могучие и опасные. Их никакие снега завалить не могли, хоть всю зиму намётывай. Тучи рвались на гребнях, лохматились. И бодро дымила трубами де-

ревенька Пермякова — лихая, разбойная, наглая. Она единый промысел признавала — вытаскивать барки из протоки за своим островом. Пермяки бесстыже караулили сплавщиков под камнем Конёк, что игрушкой торчал над ёлками, орали, махали рубахами на палках: «Правее держись! Правой протокой шуруй!» А потом брали деньги с севших в протоке на мель дураков, чтоб разгрузить барку, стащить с мели и загрузить обратно. Тот остров под Пермяковым камнем сплавщики так и прозвали — Золотым... А уж от Синего бойца, и вправду синего в непогоду, Осташа увидел огромные, высокие, злые уши Собачьих Камней. За ними и притулилась Ёква.

В поздних сумерках, оголодав, устав и замёрзнув, Осташа выволок шитик на берег, побросал всё как попало, забрался по лесенке на обрывчик, цепляясь за ступеньки онемевшими руками, и увидел дом Шакулы, а рядом чум — тёмный и мохнатый. Но из его макушки бил вверх столб туманного красного света: это в чуме горел очаг.

— Дозволите, хозяева?.. — хрипло спросил Осташа, путаясь руками в заледеневшем пологе на входе.

В чуме пахло гарью и чадом, кислыми шкурами, жареным мясом. Шакула и Бойтэ сидели по разные стороны горящего очага на коленях — оба длинноволосые, с конскими хвостами на затылках, оба белые. Бойтэ, склонившись, за ручку держала над углями деревянную сковородку и лопаточкой помешивала куски оленины в кипящем масле.

— А-а, вот кто гость, — заулыбался Шакула. — У нас весь день синицы по двору прыгали... Кто, думаю, придёт? А кого ж ещё у нас в ледостав по реке носит?

— 3-замёрз... — проскулил Осташа, на четвереньках проползая по шкурам к огню.

— Ну, грейся... Вон девка у меня сразу на троих мяса нарезала. Знала, видно.

Бойтэ и не посмотрела на Осташу, но чуть сжала губы, пряча усмешку. Осташа понял, что она ему рада.

— Чудные вы люди, — стаскивая зипун, признался Осташа. — И сковородки у вас деревянные не горят, и воду вскипятить в берестяном лукошке можете... Пустишь переночевать, Шакула?

— Чего же не пустить? Но только здесь — в доме не топили.

— И здесь с дороги любо...

Осташу накормили олениной, жареной в шавеле, напоили каким-то настоем со вкусом прелого дерева. Размякнув, Осташа вытянулся на шкурах, придвинул поближе к углям босые пятки. Стенки чума, сходящиеся шатром к чёрной дыре продуха, мягко освещались последними сполохами очага. Распяленный на треноге Осташин зипун казался не топырем, хищно падающим из дыры в потолке, чтобы загасить собой свет. Шакула сел на деревянный короб и закатал штанины, обнажив тощие тёмные ноги с разбухшими яблоками коленей. Бойтэ начала обмазывать колени Шакулы какой-то пахучей дрянью.

— Совсем ноги не ходят, не гнутся, как деревянные, — крихтя, пожаловался Шакула Осташе.

— Да уж не поверю, — ухмыльнулся Осташа. — На Чусовой тебя чуть не повсюду знают... Откуда? Сам ведь небось прибегал, на своих ногах. Видал я твоих ургаланов и на Костёр-горе...

— Бывал, бывал я на Урмань-куре, — согласился Шакула. — Туда — дойдёшь, обратно — доползёшь, а потом тебя самого, как ургалана, носить надо...

— А не бывал ли ты в скиту, где Яшка Гусев живёт? — с наигранным безразличием спросил Осташа, не глядя на Шакулу. — Яшку ещё Фармазоном кличут.

Бойтэ всё так же тёрла Шакуле колени, даже не вздрогнула при имени любовника, которого Осташа подстрелил прямо на ней. «А может, она и не знает, как его зовут», — подумал Осташа.

— Бывал, — согласился Шакула.

— А где он?

— А тебе он на что?

— Пирогов напеку да снесу.

Шакула затрясся, хихикая.

— Не скажу, парень. Чужому туда нельзя. Убьют, правда. Да и не дойдёшь. Я там повсюду на дорогах духов посадил, мороков. Духи на привязи, как собаки, — голодные, злые. Запугают до смерти, сгубят.

— Скит-то наш, христианский, а стерегут его, значит, духи языческие? — почему-то обиделся Осташа.

— Это уж ваши дела, — отрёкся Шакула. — Меня просят — я делаю. Зачем — какая мне разница? Сами разбирайтесь.

— Экий ты добрый дед. Попросили его — он и старается...

— Яка, которого ты ищешь, мне слова Кона приносит, вашего старика главного. Кона говорит: сделай, Шакула, а то последних вогулов прогоню с Ханглавита. Как тут не сделать? Совсем уж мало нас осталось — Ёква, да Бабёнки, да Копчик... Кому мешаем?

«Кона — это Конон Шелегин, — догадался Осташа. — Всё-то тут одно с другим увязано — общая же река... А Конон любого запугает, не только тихого старика вогула. Похоже, и вправду Конон да Гермон вогульское ведовство к своему истязательству пристегнули...»

— Чего ещё Конон у тебя просит?

— Ваши говорят: кто много узнает, тот очень быстро старенький будет да помрёт.

— А не узнает — всё одно помрёт, только дураком.

— Дураком-то лучше, — вздохнул Шакула. — Не жалко. Э-эх... Спать пора старому. Скоро уж девка мне горшок заведёт, лишний раз бегать не буду...

Шакула оттолкнул руки Бойтэ, расправил штанины, медленно встал и, держась за поясницу, босой полез на выход — по нужде. Бойтэ осталась сидеть перед пустым коробом, бездумно вытирая ладони о живот. Осташа проворно перевернулся, на четвереньках подполз к ней сзади и сел.

Он ласково приобнял её за плечи правой рукой, а левую смело положил на грудь, туго круглившуюся под рубахой. Бойтэ не противилась, покорно смотрела куда-то вниз.

— А ты, дева, рада ли мне? — искательно спросил Осташа.

Сейчас он был доволен собой, ждал ответной ласки. Кем он был весной, когда охотился за вогулкой в урёме речки Ёквы? Никем. А теперь он — по уговору уже сплавщик, и у него есть дом, деньги, и за это лето он отымел уже трёх баб.

— Как не рада... — тихо ответила Бойтэ.

— Когда ж тогда?.. — жарко спросил Осташа, сжимая её грудь.

Бойтэ отрицательно покачала головой.

— Почему же всем можно, а мне нет? — сдерживая гнев, Осташа поднял её голову за подбородок и повернул, чтобы увидеть лицо.

Бойтэ взглянула ему в глаза — словно умыла.

— Будет и у нас, — твёрдо пообещала она. — Ты подожди.

— Сколько?

Бойтэ оглянулась на проём выхода.

— Пошли завтра со мной на Собачьи Камни Ялпынг-ульпу кормить, — быстро сказала она. — Там поговорим...

Полог зашуршал, зашевелился. Возвращался Шакула.

Осташа отполз от вогулки и снова лёг возле очага.

— Слышь, дед, — небрежно спросил он, — а что по-нашему значит: «Кивыр, кивыр, ам оссам»?

Шакула захихикал, опускаясь на шкуры, вывернул загнущийся угол оленьего одеяла. Глаза вогула превратились в щёлочки.

— «Пещера, пещера, я дурак», — перевёл он.

...По заснеженной тропе Бойтэ поднималась в гору легко, будто жёлтый берёзовый листок по току тёплого воздуха. Осташа шагал сзади, наступая в её следы, — и следы хрустели под ногами: девчонка, как невесомая, не продавливала снег до земли. Она была одета в меховую вогульскую рубаху, заправленную в штаны. Осташа по привычке

размышлял, что если на вершине завалить жлудовку, то надо будет наломать лапник ей под спину. Но дыхание Осташи потихоньку тяжелело, и он передумал: зачем в хвое царапаться, если можно поставить девку на четвереньки и с задy спустить штаны? Небось девка насмерть-то не поморозится...

Они взбирались по склону Собачьих Камней. «Вогулы чёртовы, не могли болвана своего поставить поближе к деревне...» — злился Осташа. Ранняя зима выстояла утреннюю оттепель — значит, началась. Лёгкий морозец, словно горячий от гордости, спаял воздух и деревья. Тонкий и хрупкий ледок, за которым синела водица, посверкивая, загладил безоблачное небо. Ёлки по склону кучились, как снеговые ворохи, будто сено навалили на возы, но ещё не примяли бастригами.

Они выбрались на вершину ближайшего зубца Собачьих Камней. Осташа упёрся рукой в ствол здорового кедра, чтобы перевести дух. А Бойтэ словно и не запыхалась. Она прошлась по вершине туда-сюда и, наклонившись, вытащила из-под снега залубеневшую холстину.

— Не поймал ульпа клеста, — с сожалением сказала она. — Не буду кормить.

— Какой ульпа? Какого клеста?

— Шакула вчера гадал на овсяных зёрнах, — пояснила Бойтэ. — Прилетел клёст, все счастливые зёрна склевал. Шакула велел мне попросить ульпу поймать клеста — как без счастья-то жить?

— А где идол ульпы? — Осташа повертел головой.

Бойтэ засмеялась.

— Идолы, ургаланы богам нужны, которые без тела могут ходить. А зачем идол ульпе? Ульпа — дух кедра, он в кедре и живёт, в волокнах кипит.

— В этом, что ли? — Осташа пошлёпал по медно-красной коре.

— В этом. Ялпынг-ульпа.

— Ну, пусть живёт, — согласился Осташа. — Всё равно ветки высоко. Я хотел лапника под тебя наломать. С другой ёлки наломаю.

— Я с тобой любиться не буду, — возразила Бойтэ. — Я говорила.

— Да почему ж не будешь-то? — с досадой спросил Осташа. — Чем я хуже-то прочих?

Бойтэ подошла и погладила его узкой ладошкой по щеке.

— Ты не понимаешь. Ты мне люб. У нас потом всё будет, — пообещала она. — Когда всё будет как надо.

Осташа молчал, разглядывая вогулку. Что ему эти слова? Своё он сам мог взять. Эту девку ему переломить — что прутик. Осташа смотрел на треугольное, кошачье лицо Бойтэ с чуть раскосыми светлыми глазами. Она была бы бесцветной, вогулка-то, — с её молочно-смуглой кожей, светлыми глазами, бледными губами, льняной мастью... Но чёрными стрелками топоршились ресницы, словно углём были прорисованы брови, — и лицо оживало. Осташе не хотелось её ломать. Хотелось — чтобы сама. И чтоб не только полюбились — и разбежались.

— А как надо? — спросил Осташа. — Хочешь женой мне быть? У меня в Кашке дом большой, пустой. Я один. И от Ёквы близко. Я ведь ничего не побоюсь. Пусть в грехе, без обряда — лишь бы по любви... Я тебя и креститься заставлять не буду, правда.

Осташа и сам не понял, как он сказал всё это. Он никогда и не думал такого. Но сказалось легко, просто — словно ключевой водой окатило. И вдруг всё стало ясно.

— Ам эруптангкве нангк, — тихо ответила Бойтэ, не отводя взгляда, и Осташа не спросил, что это значит по-русски. — Я всё лето ждала тебя, а ты не шёл... Я вакулей просила, когда ты под камнем чуть не разбился, и улыпу просила, чтобы тебя из леса выпустил... Когда болел ты весной, я лечила тебя, душу твою почуяла — и как проснулась.

У других души тесные, кривые, ломит от них в груди, глаза режет... А я на всё через твои глаза посмотрела — и так красиво всё, нётнэ олнэ хури...

Она кивнула через плечо и чуть отстранилась, чтобы не заслонять окоём — такой огромный с вершины Собачьих Камней. И отсюда совсем не было видно внизу узкой полоски Чусовой — вдаль и вширь, вся в складках, сплошь разлеглась рябая и сизая овчина заснеженных лесов. Лишь кое-где она была разодрана, и сквозь прорехи торчали каменные когти самых высоких бойцов — Оленьего, Дыроватого, Омутного...

— Вон Эква, Старуха по-вашему. — Бойтэ указала на пологое вздутие дальней горы. — А там другая Эква, вы говорите «Ёква». А там Ойка — наш Старик-камень... Святые горы. А я не знала их, не чуяла. Думала, только лес есть, а под лесом горы не видела...

— Ну чего ещё ждать? — мягко спросил Осташа, подтягивая Бойтэ к себе за рукав. — Чего ещё нам надо?.. Пойдём ко мне.

— Я... Я Шакулы боюсь, — совсем беззвучно, опустив глаза, призналась Бойтэ.

Осташа обнял её, поглаживая по спине, по растрёпаным волосам. Он и не думал, не знал, как это сладко.

— Чего его бояться? Думаешь, он порчу, урёк, извод наведёт, если ты уйдёшь? Так я найду, чем оборониться.

— На тебя он не наведёт, и на меня не наведёт — я тоже умею духов заговаривать... Шакула меня вовсе не отпустит — вот беда.

— Да плевать на него. Уйдёшь, и всё.

Бойтэ покачала головой и прижалась виском к Осташиному плечу. И Осташа поразился: как всё по-другому, когда не в тесноте и темноте бани, а на вершине скалы, на солнце и ветру, на просторе...

— Шакула меня не просто так из бочки со змеями спас. Он душу мою украл. Душа моя у него в ургалане. Куда я без души?

Осташа нахмурился, шмыгнул носом.

— Давай я Шакулу за глотку возьму и всё вытрясу из него, — угрюмо предложил он.

Бойтэ печально улыбнулась:

— Всегда бы так легко всё делать... Шакула разозлится, ведь ему без меня не жить. Он из обиды обманет, не того ургалана укажет. Знаешь, как страшно, когда чужую душу в себя насовсем примешь? Ваш Пугач принял чужую душу — Ханглавит два года кровью тѣк...

И Осташа с содроганьем вспомнил, как на Чусовой рассказывали, что в клетке перед царицей Пугач покаялся и имя своё обратно принял... Как его колотило, как корчило — так и на пытке разорванное тело не бьѣтся.

— Шакула твоего ургалана прячет, да? — спросил Осташа, лихорадочно размышляя, как отнять, украсть идолка, чтобы оставить девку себе.

— Нет, не прячет. У него все ургаланы в доме у задней стены стоят... Но ведь много их. Какой пустой, какой — с чужой душой... Где — мой? Он не скажет. А и скажет — то неправду. Потому что я ему нужна рядом.

Осташа подумал: говорить или нет?.. Но решил и сказал:

— А если я ему деньги дам? Больше, чем он за тебя до своей смерти получит?

Лицо, глаза Бойтэ вмиг словно погасли. Она вспомнила, кто она — жлудовка, порченная девка, барышный пере-крѣсток. Она вырвалась из рук Осташа, отбежала на пару шагов и отвернулась.

— Шакуле деньги за меня не нужны, — твѣрдо сказала она, глядя куда-то за окоѣм. Ветер по-ведьмачьи вздыбил её светлые волосы. — Я не полушки Шакуле приношу... Когда с мужчиной любишься, не только телá — души тоже сливаются. Вот те души Шакула через меня и ворует. А я — приманка.

Любовь Осташа как остекленела, словно рябиновый пламень морозом прихватило.

— А что, человек-то не чувствует, когда у него душу истяжут?

— Не чувствует. Даже вроде привольнее без души.

Осташа и сам догадывался, что можно душу потерять и не почуять того. И можно жить без души хоть всю жизнь, не зная правды. Но жить без души — это как у беса на милости, а много ли в бесах милости? Всё равно что ходить, держа у виска заряженное ружьё. Рано или поздно на какой-нибудь кочке дёрнется палец — и грохнет выстрел.

— Коли ты любишь меня, то бесовство оставь, — глухо сказал Осташа в спину Бойтэ. — Для тебя я на грех — согласен, но не на безбожье.

— Я не камлаю! — крикнула Бойтэ в пустоту над лесами. — Нашёптанной водой не пою! Ящерковым крючком за одежду не цепляю, не колю вилочкой! Мужчины сами ко мне идут! Ты ведь тоже сам ко мне пришёл — и тебе того же надо было!..

Осташа молчал: что тут скажешь? Бойтэ поникла.

— Не то беда, что лезут ко мне, — убито произнесла она. — Мужчинам всякая женщина нужна... Беда в другом... Кто со мной полюбится — тот погибнет, и душа его тоже погибнет. Потому что Шакула украденные души в жертву скалам приносит. Дух скалы душу сожрёт, а человек без души, без защиты сам где угодно сгинет. Судьбу испытывать много не придётся. Потому и не далась я тебе. Тебя мне жалко, вот и всё.

Осташа обомлел:

— А зачем Шакула это делает?

Бойтэ повернулась, глядя на него со слезами, с ненавистью и с болью.

— Потому что вы нашу землю заняли. Потому что лесных идолов вы со святилищ в воду покидали, а духи из утонувших ургаланов на берега выползли и окаменели от злобы! Потому что вы совсем не по нашему закону живёте! Вам надо каждый год Ханглавит водой наливать, чтобы ваши

лодки с железом проплыли — а Ханглавит не жаба, чтобы можно было в зад надуть да посмеяться! Ханглавит мстит, духи бьют ваши лодки! А вам железо людей дороже! Кона ваш говорит Шакуле: заколдуй скалы, чтобы мои люди на лодках проплыли мимо них и лодки сберегли! Не заколдуешь — убью!

Прелью и ветхостью скитов так повеяло на Осташу, что он передёрнул плечами. Словно на сердце плеснуло текущей, каменной сыростью истязательства...

— Кто за вогула заступится? Куда сбежать старику? А Шакула не бог, духа скалы не запугает! Шакула ему жертву даёт и просит, как Кона велит! И я любому мужчине отдаюсь, чтобы такие, как ты, по Ханглавиту плавали! Я ли в том виновата? Я ли ведьма?

Голос Бойтэ набирал высоты и гнева. Осташа схватил было девку в охапку, чтобы она не сорвалась со скалы. Но Бойтэ вдруг завизжала, замотала головой, забилась — и вырвалась.

— Я ли ведьма?! — выкрикивала она, глядя на Осташу. Сейчас только на ведьму она и была похожа. — Ты нагой меня видел — есть ли хвост у меня?... По-мужски ли я одежку застёгиваю? Расстегни!.. Из моего чума против ли ветра дым идёт?!.. Вижу ли я зверей в темноте?!.. Втыкаю ли в соху ножик и цежу ли молоко из клевцов по ночам?!.. Притянешь ли ты меня к месту, если в мою тень гвоздь вколотишь?!.. Побей меня, чтобы чары мои с себя снять, коли не веришь мне!..

Осташа растопырил руки, ловя Бойтэ на краю скалы. Но вогулка внезапно кинулась на снег ничком, перевернулась несколько раз, поползла на четвереньках, подвывая, и начала хватать снег полными горстями, пихать его в рот, словно хотела заткнуть горло. Осташа помертвел, вспомнив, где он уже видел такое — на Весёлых горах на отчитке! Осташа скинул зипун, трясущимися руками развязал кушак, сло-

жил его пополам, подскочил к Бойтэ и хлестнул её поперёк спины.

— Бей!.. — хрипло закричала вогулка каким-то не своим голосом.

Она уткнулась лбом в кедровый комель, повалилась боком, засучила ногами, точно перевёрнутый на спину жук. Одной рукой, ломая ногти, она принялась драть кору, а другой рукой, оставляя царапины на теле, стала задира́ть на спине рубаху. Осташа сёк кушаком её по рёбрам, по вздрагивающему животу. Потом бросил кушак, упал на колени, начал закидывать девку снегом; потом за ноги подтащил её к себе и стал тереть снегом ей щёки, лоб, глаза. Её сейчас бы росой с семи трав умыть, чтоб охолонула, — да где ж взять росу под сугробами?..

— Всё, всё... — отталкивая Осташины руки, забормотала, задыхаясь, Бойтэ.

Осташа согнулся, прижимая к груди голову Бойтэ, целовал девку в макушку. Он весь содрогался от страха и страдания.

— Я ведьма... — жалобно и бессильно бормотала Бойтэ. Лицо её было в слезах, в растаявшем снеге, в розовых разводах крови.

— Это не ты, это бесы тебя потерять боятся... Я тебя покрешу, отмолю... — давясь словами, обещал Осташа.

— От меня тебе только горе... Я порченная, и детей не будет... — Бойтэ словно захлёбывалась. — Ты живи сам, женись на ком хочешь, — только приходи ко мне иногда... Только не забудь меня, а бросить — можешь...

— Ничего, ничего, — твердил Осташа. — Я всех убью... Шаулу убью, Конона убью... Лишь бы ты моей была...

— Не надо убивать... Я ведь уже столько поубивала... Не надо больше... Я знаю, чего сделать... Я сама... Ты только подожди до весны... Я буду твоей... Я знаю, чего надо сделать... Я всё знаю, всё...

ПОДМЕНЁНЫШИ

Осташа вертелся на лавке с боку на бок, всё никак не мог уснуть, потом уронил зипун, свесился, чтобы подобрать, и слышал с печи тихое бормотанье Макарихи. Старуха тоже не спала, молилась.

— Эй, Макаровна, — позвал Осташа, — чего скажу... Я тебя отселию отсюда. Девку приведу. Мне-то самому с тобой тошно, а девку ты и вовсе со свету сведёшь.

— Ты хозяин, твоя воля, — помолчав, покорно ответила с печи старуха. — А куда отселишь? На погост?

— Не люблю я тебя, да и за что мне тебя любить? Но смерти твоей не желаю, не клевети. В Харёнках избушку подходящую знаю. Выкуплю у схода, пока деньги есть. Там подворье доброе.

— Ну да, — проскрипела Макариха. — Посередь двора берёза — золотые сучья, и в углу корова, на одном рогу — баня, на другом — котёл... Под старость лет строиться, обновишить — грех.

— Грех молодым кровь студить, — жёстко возразил Осташа. — Ладно, ешь меня победом, а девку-то за что изводить станешь? Она ведь не виновна, что ты не семнадцать, а шисят лет назад родилась.

Макариха молчала, сопела.

— Давеча, ещё без тебя, захожу я в горницу, вижу — сама сию и холстину тку на смёртную справу... И в четверток у меня прямо в руках веретено повдоль лопнуло... Это к скорой смерти. Может, погодишь, Остафий? Сама ведь скоро уберусь.

Осташе не было жалко Макариху. Все эти сказки о приметах скорой смерти своей она ещё бате рассказывала, когда батя забрал к себе жить Лушу. С тех пор и Луша ушла, и батя, а эта карга всё скрипит да жалобится, коли не её верх в дому.

— До весны живи тут, а со сплава вернусь — собирай коробá. Я тебе что хочешь из хозяйства отдам. Птицу бери, свинью, козу, Зорьку... И не о чем больше спорить.

Осташа закутал голову зипуном и крепко зажмурился: всё, спать. С глаз долой Макариху — и вон из сердца всю её родовú.

...А под утро Осташу, спящего, вдруг сшибли с лавки, навалились сверху, овчиной и волоснёй бород закрыли лицо, заткнули глотку. Осташа заколотился в ужасе, спросонок подумал, что это алёц, постён — домовой его оседлал. Надо вслух ругнуться, чтобы сусёдка с груди спрыгнул, а язык словно онемел... Но это был не домовой. Какие-то незнакомые мужики вязали Осташу вожжами. Вывернув башку, Осташа с пола увидел Макариху. Старуха в чёрном платке, с шабуром на плечах, спиной к нему стояла перед кивотом, крестилась и кланялась медным образам.

— Да вы чего! — наконец заорал Осташа. — За что?!

Его, связанного, подняли, как куль, и посадили на лавку. Натянули на плечи зипун, нахлобучили шапку, прихлопнув ладонью. На ноги кое-как накрутили онучи и напялили валенки — видно, Макариха заранее достала их из сундука, пока Осташа спал.

— Давай, сердешный, глотни кваску, да с богом в путь-дорогу, — с робким и каким-то виноватым участием сказал один из мужиков, тыча Осташе в зубы кружку.

— Вы какого беса сюда поднапёрли?! — отталкивая кружку подбородком, крикнул Осташа. — Вам чего от меня надо?!

— Илимские мы, — пояснил тот, что совал кружку. — Мы уж три дня тебя караулим. Хотели сегодня со светом обратно ехать порожними, да вон старая приковыляла. Говорит — дóма ты...

Макариха не оглянулась, словно вся ушла в молитву.

— На кой чёрт я вам сдался?!

— Илимскому приказчику пристанскому из Шайтанских заводов, из воинского присутствия от капитана Берга бумага пришла, где прописано взять под стражу кашкинского крестьянина Остафия Петрова, потому как ты, дескать, знаешь, где бунтовщики царскую казну схоронили...

— Да той байке уже три года! Батю моего и то не таскали, а я-то при чём?..

— Нам того не говорено, — сердито ответил мужик. — Не наше дело. Нас приказчик послал — мы поехали.

— Ретивенько вы приказчью волю выполняете!.. — Осташа задёргался от гнева. — Других, видать, разбойников на Чусовой уже всех переказнили!.. За пустую сплетню человека вяжете! Где у меня царёва казна? На портках под заплату на жопе зашита?

— Не знаем мы ничего, — пряча глаза, буркнул мужик. — Велено — и сделали, и весь сказ.

Осташу подхватили под мышки и поволокли из избы.

— Вот, жагра старая, каков твой ответ, да? — ещё успел крикнуть Осташа Макарихе, которая на него так и не оглянулась.

Если не по петлям реки, а напрямик по лесной дороге, то от Кашки до Илима было вёрст десять всего. Дорога уже встала. Снег был ещё тонким, не накатать санный след, поэтому Осташу везли на телеге. Его положили на сено, подстелив попону, закидали сверху зипунами. Осташа мрачно молчал, дышал из-под полы острым, режущим воздухом воли. Мужики тоже молчали почти всю дорогу, разве что изредка негромко перебросятся парой слов — и всё. Дорога тряслась, валяла телегу с боку на бок, и по долгому подъёму, а потом по долгому спуску Осташа понимал: проезжали большую, двуглавую гору Старуху. За ней через Чусовую стояла пристань Усть-Утка.

Уже в темноте залаяли собаки, запахло дымом. Это был Илим.

— Ты, парень, не серчай на нас, — сказал мужик, шагавший рядом с Осташей с вожжами в руках. — Мы люди подневольные, бедные. Приказчик сказал, денег посулил — и хочешь не хочешь...

— Чтоб приказчик, да казённую нужду, да за свои деньги?..

— Нам не ведомо, откуда деньги у него и почему в тебе нужда. Это ты сам разбирайся. А нас не вини.

Телега заехала во двор пристанской конторы. Осташу подняли, заташили на крыльцо. Мелкий, сухонький, рыжий приказчик поднёс ему к лицу свечу.

— Этот? — спросил он, оглядываясь на кого-то в темноту за своим плечом.

— Вроде он... — неуверенно ответил кто-то невидимый.

— В осланью его спустите.

Осташу проволокли в контору и толкнули к лазу в полу. Осташа вслепую по лесенке сполз в подклет. Это и была осланяя — пристанская тёмная тюрьма. Сверху подали кувшин с водой, чёрствую краюху. Потом крышку захлопнули и перехлестнули цепью; звякнул дужкой замкнутый замок.

Осташа постоял, ожидая, пока глаза привыкнут к темноте. Наконец впереди, вверху проявился синий прямоугольник — узкое окошко, перекрытое скобами. Тускло проступили из мрака бревенчатые стены, настил из плах над головой, земляной пол, лесенка — бревно с высеченными приступками, куча соломы в углу — гнилой, судя по вони. Осташа сел в солому, медленно сгрыз хлеб, выпил воду. Где-то пищали, шебуршились мыши. Издалека донёсся треск колотушки сторожа. Из синего окошка, кружась, падали снежинки — под окном на полу светлел целый сугроб, истоптанный чьими-то ногами... За что?!

Осташа зарылся в солому, закутался зипуном с головой, но уснуть не мог. ...Батя ушёл на дно Чусовой, как камень в омут. «Во вреющие воды» — так сказал Флегонт. И толь-

ко круги по судьбе... А по этим кругам несёт теперь его, Осташу. Вот и он оказался в ослиной в Илеме, как четыре года назад — братья Гусевы. Но про них-то всё понятно...

Это Яшка Гусев виноват. Гусевы-то братья изначально дрянные мужики были, да всё равно при людях, при вере. А Яшка с каким-то купцом каким-то случаем съездил аж в Москву и вернулся в Кашку в белой шляпе. Говорил: «Я теперь — фармазон!» Это барский толк такой — фармазонство. В чём суть его, никто не знал, да и Яшка тоже. Но ему свою веру поменять — как немытому почесаться. Вот и перекинулся. А всё потому, что фармазонам, как барам, можно и табак курить, и чай с кофе пить, и хмельное, да всё можно. Яшка и не пренебрёг. Улёстил чем-то приказчика, пролез в целовальники, получил от казны деньги и открыл в Кашке кабак и постоялый двор для обозников. При кабаке все братья Гусевы пристроились.

Их, Гусевых, побаивались в Кашке. Отца их, Филипу, считали за чертозная: он промысловым был на оброке, по полугоду в лесах жил. Говорили, что его в детстве ещё сглазили, извод на семя положили — мол, будут у Филипы только девки, ни единого сына. И Филипа у нечистой силы оборота на извод искал. Иван Данилыч, кашкинский плотинный мастер, рассказывал, что видел бесову свадьбу за камнями Голбчиками. Свадьба чёрным вихрем на поляне вертелась. Это шутóвку, жившую возле бойца Баба Яга, выдавали замуж за лешего с речки Мёрзлый Кын. И Филипа на той свадьбе сватом был. Когда вихорь пошёл кусты вырывать на опушке, Иван Данилыч на свой нож, как на крест, помолился да бросил его в тучу. И тотчас всех бесов как громом разразило: вихорь рухнул и рассыпался, лешие в разные стороны брызнули, росомахаи обратившись, а Филипа остался лежать без памяти, и рядом с ним нож — весь в крови.

Филипа лишь через неделю оклемался. И Макаровна, жена его, начала вдруг с тех пор каждый год по сыну ро-

жать — Сашку, Яшку, Куприяна-Чупрю. Только говорили, что рожала она всё-таки девок, но их шутовка крала и взамен своих сыновей подкладывала. Потому мальчишек Гусевых звали в Кашке подменёнышами. Такие подменёныши, народ болтал, человеческий облик рано или поздно всё равно потеряют и навсегда в леса уйдут.

Ещё про подменёнышей замечено, что они воды не любят и никакого человеческого заделья перенять не могут. Сильные они в три силы человеchi, да и не дураки, а чего начнут — всё бросят; за какую работу на страх ни возьмутся — всё не так сделают; чего в руки ни дай — всё переломают.

Макаровна и с тремя сыновьями намучилась, а тут — четвёртый появился. Говорили, что она его младенцем ещё хотела подушкой накинуть, да не получилось избавиться, живуч оказался. Потому Малафейка дурачок и вышел. После рождения Малафейки Филипа и стигнул в лесах без ответа. Когда он пропал, Макариха в пятый раз на сносях была, и уже без мужа родила дочку — Лушу.

Сашка, Яшка и Чупря у Макарихи любимцами были и ни в чём уёму не знали. Макариха в одиночку колотилась, а брательники до первых усов только резвились да тешились. У Лушки ещё в младенчестве пустую зыбку на очёпе качали, чтобы померла. Малафейка в своём доме под лавкой жил. Но только Лушка с Малафейкой, как подросли, стали матери помогать. Лушка жалела её, а Малафейке-дурачку всё равно было, чем заниматься: кошек ловить и мучать или огород копать. Так и жили, пока Яшка не объявил себя фармазоном и не открыл постоянный двор с кабаком.

Осташе в ту пору шёл восьмой год, но ему некогда было с парнишками через забор любопытничать, как Яшка торгует, Сашка пьёт, а Чупря на балалайке стрекочет; как гуляют, дерутся и играют в карты ямщики и прочий шатуний люд. Над батиным домом мор уткой пролетел, голова и хвост — змеиные. Сначала друг за другом в огневице сго-

рели младший брат с сестрёнкой, потом слегла мать и долго, долго угасала. А потом батя стал вдовцом и вместе с Осташей перешёл жить на сплавы. В свой дом батя с Осташей возвращались только под ледостав на Чусовой.

О Гусевском же кабаке быстро охулка пошла. Ямщики и возчики из тех, что поумней, держались от кабака подальше; на ночлег вставали в домах, а не на постоялом дворе. Постоялый двор в Кашке уже без смущенья называли вертепом. Не раз здесь слышали в углах вой домовых из тех домов, из каких мужики притащили на пропой своё добро. Не раз по утрам видели разбежавшихся от винных бочек кáрбышей — злых карл, которые по ночам катаются верхом на пьяницах. Не раз в кабаке над дверями добрые люди тайком втыкали нож, чтобы утихомирить разбушевавшуюся нечисть.

Делом заворачивал Яшка-Фармазон: разбавлял казёнку да обсчитывал, кормил гнилятиной. Чупря гостей веселил балалайкой, лихо пел похабщину да отплясывал, свесив на глаз кудрявый чёрный чуб, кричал: «Одновá живём, пей-гуляй-веселись, всё равно кошель в гроб не положишь!» А Сашка кормил лошадей, шарил по возам, собирал опивки и щупал карманы у храпевших питухов. У печи стояла Макариха. Она всё видела, всё понимала, но сынóвья радость для неё превыше греха была: чтó грех, его отмолить можно, и никонианцев не жалко, а сынам, сиротам, — утех. Малафей сено косил, дрова рубил; Луша на огороде горбатилась. Как-то раз братаны Гусевы не уследили — и спалили подчистую свою избу. Всем кагáлом жить перешли в кабак: братаны — на топчаны к ямщикам, Макариха — на печь, Лушка — под прилавок, Малафей — в хлев.

Луше было пятнадцать лет, когда братаны не удержались — продали её на ночь ямщикам. И стать бы Луше кабацкой жлудовкой, но она вырвалась, побежала по улице и случайно наткнулась на батю. Батя же не побоялся: полез в драку. Били его хлёстко, да по-пьяному косо. Батя от-

махался, раскидал толпу, утащил девчонку. А потом оставил Лушу у себя насовсем.

Осташа не знал, жил ли батя с Лушей как муж. Понятно, и ему в свои годы любопытно сделалось, как девки устроены. Но чтобы за Лушей подглядывать, как Никешка за братьями и сёстрами подглядывал, — нет. Осташа считал, что батя без венца Лушу бы не взял. Дожил бы он до Осташиной женитьбы — все бы увидели, что батя не из тех свёкров, которые за снохами охотятся, пока сыны в отлучке. Да батя и Лушу-то приютил не как невесту свою, а скорее как дочь. Луша всего на три года старше Осташи была. Братья Гусевы несколько раз подступались к бате: трезвые — говорили «отпусти!», пьяные — говорили «заплати!». Батя швырял деньги и пьяным, и трезвым, и Гусевы всегда уходили.

Через месяц после Лушиного бегства к батиному крыльцу на коленях приползла и Макариха: прими жить, неумогу больше при кабаке! Батя и Макариху принял. Так и прожили вчетвером полтора года. Но беда подкатила, откуда не ждали. Луша приглянулась батиному соседу — Прохору Зырянкину. Не то чтоб тот насильничать её хотел, а так: хватал да тискал у забора, лез поцеловаться. Домина Зырянкиных стояла напротив Осташиного дома, перегородаживала тропинку на Чусовую. Обычно Зырянкины всегда держали открытой калиточку, чтобы через их задний двор любой мог пройти с улицы на берег напрямую. И в тот зимний вечер Луша пошла к проруби как обычно — сквозь зырянкинские задворки. Тут-то дядя Прохор и подвернулся. Луша его ведром по плечи огрела, вырвалась и убежала на реку. А дядя Прохор поскрёб плешь, да и запер калиточку: вдруг Луша Переходу нажалуеться, и Переход придёт расправу чинить?

Батя ждал, ждал, когда же Луша с проруби вернётся, — а её всё нет и нет... Батя надел шапку и пошёл к Чусовой сам. Калитка — на засове. Луше и не хватило тех мгновений, ког-

да батя бежал вдоль высоченного зырянкинского заплота к проулку. Луша поскользнулась у проруби на заплёсканном льду, упала и съехала в воду. Кричала, цепляясь ногтями за лёд, не могла вылезти — Кашкинский перебор утягивал её за кромку проруби. Один лишь засыпанный снегом Дождевой и слышал Лушину мольбу о помощи. Батя с берега увидел Лушу — ринулся к ней. Но только чёрная вода махнула на прощанье платком, и прорубь опустела.

Проход Зырянкин перед батей на коленях стоял. И батя простил. А Гусевы все трое ударились в запой. Потом с ко́длой питухов ломали зырянкинские ворота — будто бы по сестре кручинились, себя в горе не помня, но получили пять рублей и отстали. Вот и вся гусевская цена была Луше.

И сразу словно возмездие обрушилось на их вертеп. Гусевы и кабак свой не уберегли: кабак запылал. Весь сгореть не успел, набежал народ, загасил пламя — да и не время было пожарам: зима. Пугачёвская зима.

Власти испугались, что поджог кабака — бунт. Двор-то постоянный числился казённым заведением. В Кашку прибыла воинская команда с ружьями. После дознания Гусевых всех повязали, выпороли и отправили в Илим, в осянную. В целовальники вызвался Проход Зырянкин.

Но в это время на верхней Чусовой уже палил из пушек грозный атаман Иван Белобородов. Он пришёл, раздолбав по Сылве заводы Бым, Аша́п, Суксу́н, Уинск, Тис, Иргину́ и саму Сылву. Он взял крепости Красноуфимск и Ачит, а теперь рвался к Екатеринбургу. Как-то отстрелялась, отмахалась саблями от Ивана Грязнова Сысе́рть, отбилсь от Обде́я Абдулова и Батырка́я Иткинова деревянный кремль Кунгура. Но куда никто ещё не смог переломить воли Белобородова. Он вырвался на Чусовую, будто караванный вал из вешняков плотин, и взял Ревду, Северку, Полевую, Билимба́й, Демидовские Шайтанки, Старую Утку и Старую Шайтанку. При Иване Белобородове в сотниках состоял какой-то Митька Оловягин, и этот Митька попе́р на Илим.

Бунтовщики разломали двери осляной, и Гусевы вышли на волю, не просидев на соломе и двух недель. Сатана берёт своих подручных.

Оловягин вздумал идти на Кын-завод и на богатую Ослянскую пристань. Гусевы в слезах целовали крест Петру Фёдорычу, а затем повели шарагу, которая не протрезвела ещё со Старой Шайтанки. И уже на другой день бунтовщики завалились в Кашку.

То ли на горе своё, а то ли на счастье, Переход попался Гусевым и оловягинцам на площади у плотины. Вся орава была его, а потом бросила в сени к плотинному мастеру Ивану Данилычу, не решив, что с ним сделать дальше. Макариха успела пихнуть Осташу в подпол и запереть, иначе бы парнишку растоптали. А Гусевым хотелось ещё отомстить за кабак, что отняли у них и отдали Зырянкину. Но больше всего хотелось вина и девок.

Прохора Зырянкина в Кашке любили не шибко; полдервни у него в должниках ходило. Но дядя Прохор никогда не драл с людей за долги последнюю копейку. И деньги в рост не давал: ответ взыскивал по спросу. Но кому чужое добро глаза не колет, особенно если вдруг всё можно стало? И никто не вступился за Прохора Зырянкина, когда его вместе с женой били на дворе и волокли на площадь. Народ будто ошалел, когда увидел, что Зырянкину притащили за волосы уже мёртвую — лопнуло бабье сердце. Гусевы кричали, что мстят за народ, за Лушку, но кто ж в Кашке не знал, что Луша от братьевъёв сама убежала? Не сами Гусевы, а кто-то другой должен был сказать Прохору Зырянкину гусевский приговор. Кто скажет? Переход!

«Скажи на него!» — надрывались над батей Гусевы, указывая пальцами на Зырянкина. «Я его простил», — ответил батя. Гусевы едва не зарубили батю. «Целуй крест истинному царю!» — нашёлся тогда Яшка-Фармазон, тыча дяде Прохору в лицо крест. И дядя Прохор на крест плюнул. «Вот вера его! Вот служба царю!» — рвали рубахи Гусевы.

Дяде Прохору заломили руки и сунули голову в петлю, а потом вздёрнули его на воротах пристанской конторы. Пока ещё он плясал на верёвке, тараща глаза, Гусевы успели вдеть в петлю и мёртвую Зыряниху — туда же ей дорога. Дядю Прохора ещё бог пощадил: он увидел смерть жены, но не видел, что сделали с его дочками. Не узнал, как безумие скачет с человека на человека, точно кликушество по бабам. И, конечно, не узнал, как народ опьянел и спятил от крови, как он рвал и топтал девок на Алапаевской дороге, словно мстил невинным за свой же звериный лик.

А потом, поизмывавшись над Кашкой, Гусевы и Митька Оловягин побежали в Ослянку и на пути попали в Ёкву, к Бойтэ...

Но вскоре бунтовщикам пришли чёрные вести. Генерал Бибииков всё ж таки разбил Белобородова под Екатеринбургом. И тотчас оловягинцев вместе с Гусевыми как слизнуло.

Майор Фишер шёл по Чусовой, вышибая мятежников из заводов. Майор Гагрин шёл по Сылве, стрелял, рубил и вешал. Он покрошил пугачёвцев у деревни Тебеняки, а потом взял Старую Утку, где белобородовский сотник Паргачёв был пьян ещё с первого приступа. Белобородов кинулся к Старой Утке — очень уж она была ему нужна, но Гагрин отбросил его и в конце зимы погнал в Касли и Сатку.

Весной батя с Осташей ушли, как и прежде, на сплав. Луша теперь их не ждала, и батя нанялся с грузом до Казани. Вернулись они в середине лета, чудом проскочив мимо пугачёвцев, обложивших на Каме крепость Осу. Вернулись — и увидели Гусевых в своём доме. Их Макариха спрятала. Братовья были насмерть перепуганы, как черти в божью грозу: лезли в дом, обернувшись дрожащими кошками и скулящими собаками. Батя позволил Гусевым переночевать одну только ночь. Одну-единственную. В эту самую-то ночь сатана и привёл в батин дом Ипата Терентьева с царской казной...

И Осташа вроде бы уже дознался, как дальше было дело. Как Гусевы задумали прибрать казну себе и потащили батю — указать надёжное место для клада. Или на худой конец хотя бы довести лодку через переборы до Кумыша. Как они уламывали Колывана. Как батя увёл у Гусевых золото и где-то его перепрятал. Как, словно в насмешку над братьями, захлебнулся царёвым вином дурак Малафей, в жизни-то не едавший ничего вкуснее чёрствой горбушки, и как Малафея наскоро зарыли на Четырёх Братьях. А потом Гусевы разбежались в разные стороны — по лесам. Так и порочили им, человеческим подменёнышам. И каждый из них сыскал себе логово по уму: мудрый Яшка-Фармазон — в ски-тах; ухарь Чупря — на лихом деле при сплавщиках; а угрюмый пьяница Сашка — в тёмных, разбойных пещерах...

Осташа вспоминал всё это до утра, до самого восхода. И сначала проявился заросший инеем бревенчатый угол осяной, потом убитый земляной пол, а потом мутно-розовым светом зажглось узкое окошко. Это за Чусовой в морозной мгле вставало над окоёмом тусклое солнце неволи.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Расседины земные

ОСЛЯНАЯ В ИЛИМЕ

Наумов день открыл декабрь, как книгу. Попы по приходам принялись учить грамоте заводских парнишек — на ум наставлять. Раскольничьи учителя вышли из скитов, собрали детвору в горницах у общинных старост. А Осташа сидел в осляной и читал только письма куржака на брёвнах.

Треснул Варварин день: трещит Варюха — береги нос и ухо. В осляной злой мглой стелилась по полу собачья стужа. А потом пришёл Николин день — Никола с гвоздём. Мороз гвоздил по снежным лесам. Звонко лопались над Чусовой скалы — словно бесы лупили по камням молотком. С Николина дня нечисти была воля, народ начало блазнить. По ночам Осташе чудилось, что кто-то сидит, хихикает в углах его каморы. Какие-то тени в темноте шарили по стенам — их видно было в отсвете изморози, толсто наросшей на потолке. Чьи-то длинные, дрожащие, как лапша, пальцы, шевелясь, высовывались из непроконопаченных щелей.

— Эй, Жалей Дубиныч!.. — звал Осташа сторожа деда Лупаню, что изредка проходил по гульбищу над осляной, скрипя снегом. — Ты ночью-то будешь спать или бродить?

— Да поброжу небось, — подумав, отзывался дед Лупаня. — Отосплюсь-то уж скоро под голбцом...

- В трещотку-то, дёда, колоти погромче.
- А чего? Страшно?
- Страшно, — признавался Осташа.
- По само Крещение оно будет, — соглашался дед.

Глаза Осташа истосковались по движению. Зрение сделалось чутким, как у зверя, а потому и ловило по краю промельк нежити за спиной. Осташа зарывался в солому лицом и благодарил бога, как под Костёр-горой, что дана ему вера превозмочь все эти страхи.

Солнцестояния он, конечно, не видел. Узкое окошко под потолком выходило в угол заднего двора, в щель между дровяником и заплотом. Здесь и тропинки-то не было. Нежным бабьим изгибом громоздился нетронутый сугроб. Спиридон-солнцеворот полыхнул на нём снежной пылью, словно блеснул оскалом. Солнце на лето поворотилось, а зима — на лютю.

Осташа раньше думал, что в тюрьме безделье тяготит. Но дело-то он себе нашёл, хоть и бессмысленное. По соломинке перебрал весь ворох, гнильё выбросил за яму нужника, из хорошей соломы сплёл, как девка, косы-плёницы, из них смастерил соломенные одеяла. Всё лежать теплее, чем просто так. Ещё он по вершку осмотрел всю осляную: искал, как убежать. В промёрзшую землю не подкопаешься под стену; не выдавишь вверх плаху потолка; не пролезешь в окошко, перехваченное двумя глубоко вбитыми скобами. Скобы, конечно, можно выставить, если ударить по ним, к примеру, бревном от лесенки, но в одиночку бревно над головой не поднять... Нет, не безделье тяготило. Безмыслие.

Чего бы, казалось, проще — не думать. А не получалось. Как это старики могут весь день сидеть на лавочке да смотреть на небо? На то, видно, нужна стариковская мудрость. Откуда ей быть у Осташа? Или вот скитники: закроются в яме земляным накатом и молятся... Но и с богом говорить Осташа не умел, не только с самим собой. Вот бесы-то на глаза и лезли: давай поговорим! Они не в углах — в башке копошились.

Никому, кроме них, Осташа здесь не был нужен. Илимский староста велел повязать его, чтобы сдать воинскому караулу капитана Берга. А капитан Берг сидел в Демидовской Шайтанке, и не случалось оказии, чтобы послать солдат в Илим — в эдакую даль. И Осташа ждал. Перешёлкал, выморозил всех блох в зипуне; выпросил у деда Лупани бабкин гребень и вычесал всех вшей. Кормили Осташу раз в день. Не снимая цепей, приоткрывали крышку в потолке и без разговоров просовывали ломоть хлеба да деревянную плошку с водой. Не с кем было перемолвиться. Днём, когда люди бывали в конторе или на гульбище, Осташа, подбравшись к крышке, пытался слушать, о чём же говорят, но голоса звучали невнятно. А уличных разговоров из окошка и подавно не услышать было, только собачий брех на дворе у купца Сысолятина. И глухими ночами Осташину душу студило безмолвие, одиночество смерти. Наяву ощущалось смертное безбрежие. Не дай бог за грехи быть в него погружённым навечно и неизбывно. Тоска... И в тоске подзуживали бесы.

Ни любви, ни радости сердце не сберегло. Попади сейчас сюда Колыван или Конон — Осташа бы их убил, растерзал. Хорошо, что голод отбивал память о бабах: страшно было представить, как он бы надругался над Нежданой. Заходила мысль на неё — Осташа тупо молился, закрыв глаза и думая только о молитве: словно головой из всех сил в стену упирался. А образы Бойтэ или бати Осташа гнал. Не мог отогнать — ногтями соскребал иней с потолка и тёр льдом лоб и глаза. Он всю жизнь свою уже перебрал, как язычки лестовки, всё передумал, что смог, и в пустой голове разум метался, как узник в узилище. И порой Осташа ловил себя на желании завывать, или грызть брёвна, или колотиться затылком о землю — или взять да закукарекать, чтобы деда Лупаню ночью повеселить. Это бесы мутили дух. И Осташа не знал ни одной молитвы, чтобы разметать бесов, как вихрь расшвыривает угли костра.

А народ отгулял святки, отпел, отпил, отсмеялся. На Чусовой рубили проруби-иордани — крестом, чтобы в воде тело и душу омыть. По ночам в небесах искрило многозвездье — к ягодному лету. До февраля улеглись ветра. Подбоченьясь, распрямились по берегам молодцеватые кедровые бусы, как девки, что осенью вышли замуж и теперь смущаются первых животов. Отрясли сосульки с усов кряжистые утёсы, выставили каменные груди в проёмах толстых шуб. По опушкам грузными старухами с белыми платками на плечах расселись ёлки: сугробами им придавило подолы. Чужая жизнь шла полнокровно, а Осташина была пуста. Гнев, как бур, вкручивался в темя, ещё немного — и треснет череп.

И как-то под вечер Осташа услышал гомон во дворе, потом множество ног затопало по гульбищу, по конторе, забрякала цепь, откинулась крышка. Сверху по лесенке кубарем слетел какой-то человек. Вслед ему под ругань толпы полетели шапка и зипун. Крышка захлопнулась. Человек ворочался на земле, как ожившая куча тряпья, пытался хватиться за что-нибудь и встать. Осташа подбежал, начал поднимать мужика.

— Зар-режу с-суку... — хрипел мужик.

Был он мертвецки пьян, рожа разбита, рубаха порвана, кулаки в крови. Осташа и не сразу признал его: в осляную кинули Федьку Милькова.

Осташа дотащил Федьку до соломы, с каким-то трепетом ощущая тяжесть живого человеческого тела. Федька повалился ничком и сразу захрапел. Осташа закинул его зипуном и сел рядом. Ему вдруг плакать захотелось — так он разволновался. Только сейчас он почувствовал, как измучился от немоты и одиночества. И долго не мог уснуть, стоял под окошком, всей грудью вдыхая мороз, словно не пьяного буйна Федьку ему швырнули в напарники, а саму Бойтэ, по которой, оказывается, так изнывала душа.

Осташа проснулся от хрипов и стонов: Федька стоял над отхожей ямой. Он обеими руками упёрся в стену и блевал. Потом вытер рот рубахой, проковылял к окошку и начал горстями грести снег и запихивать в пасть. Он оглянулся, когда Осташа зашуршал соломой. Лицо его было залито водой и страдальческими слезами.

— Упекли ведь, ироды, в осляную, — сипло сказал он. — А кувшинчик-то в кабаке я не допил... Э-эх... У тебя опохмелки нет?

— Вон лёд погрызи из отхожей ямки, — усмехнулся Осташа. — Он солёненький.

Федька шумно вздохнул — и тоскливо, и укоризненно, — и снова принялся жрать снег.

— За что тебя сюда? — спросил Осташа.

— А я почём знаю? — злобно буркнул Федька. — Ничо не помню со вчерашнего...

Он длинно сплюнул в угол, проковылял, держась за стену, и рухнул рядом с Осташей.

— Сысолятина, жилу, небось убить хотел, — признался он. — Чего ещё-то может быть? Я его всегда убить собираюсь, когда в Илеме напьюсь.

— Чем он тебе не угодил?

— А тебе чем угодил? — обиженно спросил Федька.

Он как-то по-детски извернулся и прижался лбом к холодному бревну.

— Надолго тебя сюда?

— Завтра иль послезавтра плетей всыплют да пнут под зад, — глухо сказал Федька. — Знаю, не впервой.

— А чего тебя в Илим-то занесло? — не отставал Осташа, соскучившийся по разговору. — Сысолятин тебя прогнал; дел вроде больше здесь нету тебе... Ты ж сам с Каменской пристани будешь, да?

— Камешок, — согласился Федька. — Дрын длиннее на вершок... Я теперича на Каменской пристани младшим приказчиком. Поехал сюда по заботе: с казённым человеком

с Ослянской пристани перетолковать надо было. Да вот, вишь, в кабаке меня защемило. Протухло моё дело, да-а...

— Сначала дело делай, потом пей-гуляй, — наставительно заметил Осташа.

— Ну, ещё ты меня поучи, — сварливо отозвался Федька. — А то я совсем дурак. Сам-то, видать, от большого ума тут очутился.

— Ладно, не злись, — примирительно сказал Осташа, лишь бы Федька не обиделся и не замолк.

— Там в кабаке Фармазон гулял. Поднёс мне чару-другую. От Фармазона угощения не откажешься — не то получишь потом в бок ножичек. А у меня на каждую чарку неделя запоя приходится.

Осташе будто тряпкой по роже шлёпнули. Опять Гусевы!.. От злобы в скулах тяжело сделалось. Он, Осташа, без вины в осляной сидит, а Яшка, вор, по кабакам гужется!..

— Ты что же, друг с Фармазоном-то? — недобро спросил Осташа.

— Ты чего, какие друзья у Фармазона? Так... Вокруг Чусовой дорожки путаные. Пересекались, бывало, вот и всё.

— А Фармазон чего в Илиме праздновал?

— Сам спроси. Грехов не отмоля, к нему лучше не лезть. Прирежет или пристрелит, вот и вся недолгá.

Осташа молчал.

— А ты как сюда угодил? — Федька отлип от бревна и повернулся на другой бок.

— Про клад Пугача слышал?

— Кто ж не слышал?

И Осташа, глядя в заросший льдом потолок, коротко пересказал Федьке свою историю. Федька выслушал и присвистнул.

— Что за дурак-народ? Коли знал бы ты, где казна, давно бы сам выкопал. Раз не выкопал — выходит, не знаешь.

— Батя мой знал — и не выкопал, — возразил Осташа.

Федька подумал один миг.

— Ну-у... Всё равно, ктось-то за четыре года из тебя пыткой место бы вызнал.

— Клад — штука колдовская, он на пытошные слова не объявится. Через пытку клад не взять.

— Н-ну, да, — неохотно кивнул Федька. — Да то не важно. Ясно главное: ежели ты как был живёшь, то не знаешь, где казна.

— Вот это верно, — согласился Осташа.

Федька всполошившись, вскочил, торопливо натянул зипун, шлёпнул на голову шапку и принялся ходить по осляной от стены к стене.

— Слушай, вот что, — горячо заговорил он. — Тут не влостей дело. Капитан Берг — так, ерунда. Тут кто-то другой тебя решил убрать. Надо ему было тебя застрелить или зарезать.

— Спасибо, конечно, на добром слове, — мрачно согласился Осташа, — только я легко не дамся. Чужого не подпущу к себе.

— Потому на тебя капитана и натравили. Кто-то в Шайтанке ему про тебя письмо подмётное всучил, чтобы он илимскому старосте приказал изловить тебя. А кто-то здесь, в Илеме, старосту подмазал, чтобы тот от печки задницу оторвал да людей выслал. А кто?

— Кто? — спросил Осташа.

Федька замер на месте, пристально глядя ему в глаза, будто ожидал ответа.

— И зачем? — добавил Осташа.

— Затем, что ты на его дорожке стоишь.

— Дак я ж не знаю, где клад.

— Не знаешь, да стоишь.

— И что с того?

— Дурень, тебе ж не жить по-человечески, пока клад не достанешь! Не дадут, не пустят никуда!

— Там посмотрим, — злобно сказал Осташа.

— Слушай, давай вместе казну царёву найдём! — выпалил Федька. — Одному тебе не справиться! Молодой ты,

глупый. Я пособилю! Со мной не пропадёшь. Помнишь, как летом я тебя в сплавщики к Сысолятину пристроил? То-то! Я, брат, на все руки мастер!

— Иди к бесу! — в досаде огрызнулся Осташа, перевернулся на другой бок, чтоб не видеть Федыку, и крепко зажмурился: может, заснёт.

Он не заснул, и Федька не успокоился. Сел в солому над Осташей, как вогульский болванчик, и тихонько бормотал, размышляя сам с собой: «Девять бочонков там было, говорят... Четыре с вином, три с мехами... Значит, с золотом — два... По бочонку на рыло... Скоко пудов в бочонке?..»

— Ладно! — решил он и хлопнул Осташу по спине. — Помогу! Вдвоём враз справимся!

А Осташа думал, и после голодухи на мысли думалось ему легко, ходко, мощно. Неспроста Яшка-Фармазон в Илеме объявился. Прав, наверное, Федька. От Конона капитану донос на Осташу послали, а Яшка в Илим побежал, чтобы здесь его, пленного, и перехватить... Зачем? Кресты родильные отнять? Их одних маловато будет... Вон у Веденя крест потеряли — и бог с этим крестом, никакой суматохи... Что же в нём, в Осташе, может быть такого, от чего все эти тенёта заколебались и пауки посыпались?

...К вечеру Федька окончательно оклемался от похмелья и успел устроить свару с дедом Лупаней: почему хлебный кус такой маленький? Осташа уже пожалел, что рассказал Федыке про себя. Для Федыки достать царёву казну стало совсем решённым делом, и он высчитывал, сколько на что потратить нужно, чтобы свою лавку в Каменке открыть. Осташе он определил быть своим скупщиком на Ирбитской ярмарке и теперь гадал, куда же ему пристроить какого-то Спирьку, человека кроткого и честного, но пьющего без продыха, а потому вроде бы ни к какому делу и не способного.

— Слушай, а если мы его к тебе возчиком, а?! — Федька подполз и обрадованно схватил лежавшего Осташу за рукав,

но тотчас сник: — Не-е, лошади хмельного духа бояться... Лягнёт гнедкó Спирьку в башку — конец Спирьке будет...

— Тихо! — вдруг шёпотом крикнул Осташа. — Тихо ты!..

Из окошка, чуть синевшего в дальнем верхнем углу ослиной, снова донёлся свист.

Федька вскочил первым, подбежал, задрал руки, вцепился в скобы и подтянулся к проёму. И тотчас отпрыгнул обратно, словно обжёгся.

— Сей миг, Яков Филипыч, — робко и послушно пробормотал он окошку над головой и оглянулся на Осташу: — Тебя зовут...

«Яшка Гусев, что ль? — изумлённо думал Осташа, вставая и направляясь к окну. — Фармазон?..»

Осташа, как и Федька, уцепился за скобы, подпрыгнул и повис лицом в темноту. Он ничего не успел разглядеть: чёрный, громоздкий в шубе человек присел перед окном на корточки и загородил небо. И вдруг где-то рядом железно щёлкнуло, вспыхнула искорка, осветив длинный ружейный ствол, нацеленный Осташе в переносицу, и в глаза Осташе дунуло кислым и горячим пороховым духом. Осташа, ещё и не поняв ничего, упал на пол, под защиту стены ослиной. Это была осечка. Яшка Гусев подозвал его к окошку и выстрелил прямо в лицо, да ружейный кремёнь подвёл в самое нужное мгновенье.

— Чего там? — ошарашенно спросил Федька.

— Прижмись! — рывкнул Осташа и дёрнул Федьку за рубаху на брюхе, роняя его на колени.

За окошком молчали. А потом раздался удаляющийся хруст снега: Яшка уходил прочь.

— Чего? — тупо повторил Федька.

— Фармазон в меня пальнул, вот чего! — прошипел Осташа, будто Яшка мог его слышать. — Ружьё осеклось!

Федька потрясённо затих.

— Сиди тут, мало ли что, — добавил Осташа, не двигаясь с места.

Они сидели, прижавшись спинами к стене, и ждали. Осташа потихоньку начал ощущать лопатками липучий холод куржака на брёвнах. И тогда, словно раскручиваясь, перепуганная душа ткнулась в горло, затряслась в груди. «Эх-х, не добил я его в тот раз...» — с мукой и ненавистью подумал Осташа про Яшку.

Вдруг наверху хлопнула дверь, раздались шаги по потолку.
— Деда! Деда Лупаня!.. — заорал Осташа, вскакивая.

Он снова подпрыгнул к окошку и выглянул на улицу. Теперь он увидел синий изгиб сугроба, посеребрённый луной, и чёрную стену дровяника. Яшки не было.

— Лупаня!.. — снова заорал Осташа.

Шаги всё так же двигались по потолку, но никто не отзывался. Быть того не может, что старик сторож не слышал воплей!

— Карауль у окошка! — велел Осташа Федьке, который застыл с раскрытым ртом, подлетел по приступочкам к крышке в потолке и толкнулся в неё руками.

Крышка была заперта на щеколду. Осташа поднялся ещё на ступеньку, изогнулся и ударил плечом, потом другой раз, третий. Щеколда, видно, выломалась. Крышка отскочила немного и остановилась, прижатая цепями, что перехлёстывали её сверху для верности. В щель Осташа увидел, что пристанская контора тускло освещена лучиной. Дед Лупаня лежал на полу, задрав клин бородёнки. Его открытый глаз стеклянисто и мёртво блестел, отражая огонёк. Яшка сверху вдруг топнул по крышке и сшиб Осташу вниз.

— Яшка деда Лупаню убил! — тихо сказал Осташа Федьке. Федька присел, как курица, тупо глядя на Осташу.

— Почто? — прошептал он.

— Почто-почто? Меня чтобы прикончить, вот почто! Он контору поджечь задумал!

Осташа успел заметить, что вокруг деда Лупани валялись клочья сена. Яшка таскал сено с сеновала над конюшней. В воинском присутствии, что соседствовало с пристанской

конторой, обязана была быть конюшня — она и была. Слезть в осляную да застрелить Осташу Фармазон не решится, это точно. Проём узкий: если Яшке ружьём вперёд спускаться — Осташа сможет выхватить ружьё; если ногами вперёд лезть — Осташа его сдёрнет за ноги и на пару с Федькой сомнёт.

Яшка всё топал и топал над головой, бегая туда-сюда, и наконец топот прекратился. Осташа и Федька сидели на земле, глядя на заиндевелый потолок, как на тучу.

— Поджигает небось... — выдохнул Федька.

— Пока пол прогорает, вся контора займётся, — пробормотал Осташа. — А потом вместо осляной будет яма с углями, и от нас с тобой даже костей не останется, всё сгорит.

— Драть надо отсюда! — тонко закричал Федька.

Осташа вскочил, вертя головой. Для него и тьма тьмой быть перестала — он всё видел. Как сбежать-то?!

— Через окно! — Осташа пальцем указал на окошко, чтобы Федька понял. — Надо скобы выбить, они снаружи вколочены!

— Как?! — рыдающе застонал Федька, обеими руками натягивая шапку до ушей.

— Бревно выкопаем! — Осташа ткнул пальцем в бревно с вырубленными в нём приступочками. — Бревном выбьем! Вдвоём — под силу будет!

Бревно вело к крышке в потолке. Одним концом оно было врыто в землю, другим концом, стёсанным на угол, прислонено к косяку проёма, закрытого крышкой. Здесь его насквозь прошивал огромный кованый гвоздь, вколотый в косяк.

Осташа, нагнувшись, схватил с пола деревянную площадку, крепче взял её за края и ударил доньшком о ступеньку. Плошка лопнула пополам. Осташа за шиворот повалил Федьку на карачки и сунул ему половину площадки.

— Копай вот здесь! Копай, говорю!

Федька, поскуливая, принялся быстро, как собака, рыть землю возле бревна.

— Может, оно на аршин туда уходит!.. — провыл он.

Осташа пнул Федыку под вздёрнутый зад:

— Копай!..

Он и сам повалился на пол с другой стороны бревна и принялся долбить землю обломком плоски. Земля была утрамбована, утоптана, да ещё и промёрзла. Но если не подкопать, то бревно было не вытащить.

Осташа и Федька долбились с лихорадочной быстротой. Что происходило там, наверху? Они не поднимали голов, не смотрели. Осташа чувствовал, как с каждым ударом, словно по глотку, грудь его наполняется яростью.

— Примеряйся, как царёву казну выкапывать будешь! — прохрипел он Федыке.

— Да пропади она!.. — простонал Федька. — Рой давай, не болтай!..

Вдруг наверху треснуло, и огромный пласт заледеневшей изморози рухнул вниз. Он ударил по головам, на плечах — едва не оглушил — и разлетелся на куски. Это потолок прогрелся от костра, и лёд от него отпал. Осташу ткнуло лицом в выкопанную яму. Он встрепнулся, отплёвываясь, и увидел, как по соломенным одеялам, по земляному полу осяной носятся ошалевшие мыши. Значит, пожар не затух, разошёлся, и доmine быть сгоревшей дотла. В ушах звенело от удара льдины, и Осташа не услышал мышиного писка, шума огня над головой, Федыкиных матюгов.

Они уже выкопали здоровенную яму, а бревно всё не кончалось. И вдруг Осташин обломок плоски вклинился под его комель и сломался пополам.

— Хорош! — закричал Осташа, вставая. — И так подыдем!..

В каморе было совсем светло: потолок расчертили огненные линии — прогоревшие швы между половиц. Осташа и Федька навалились на бревно плечами, выдавливая его наверх. Комель пополз по склону ямы, осыпая землю. Бревно было тяжеленным, как дохлая корова. Заскрипел, затрещал гвоздь — и вывернулся из косяка. Бревно верхним концом кануло вниз и бухнуло в стену.

— Разворачиваем! — крикнул Осташа, хватаясь за комель. — Берись за тот край!..

Он едва не свихнул ногу, оступившись в яму, но выправился. Федька подхватил стёсанный конец бревна и начал заносить его по направлению к окну.

— На плечи-и... раз! — охнул Осташа.

Они дружно взгромоздили бревно на плечи, потом подняли на руки и попятились для разгона.

— Цель в скобу! — командовал Осташа.

— Да сам понимаю!.. — огрызнулся Федька.

С бревном над головами они ринулись к окошку. Стёсанный конец ударил в край проёма. Осташа с Федькой полетели на пол, едва успели выкатиться из-под упавшего бревна.

— Убью чёрта косого!.. — заорал Осташа.

Они снова взгромоздили бревно, отступили и бросились вперёд. Теперь бревно точно вошло в проём: скобы вышибло так, что их и не почувствовалось. Бревно застряло в окне. Осташа с Федькой выволокли его обратно и бросили. Сквозь огненные щели в потолке уже сыпалась раскалённая пыль.

Осташа присел, сзади обнял Федьку под коленки и поднял. Федька нырнул в проём, вывалился в снег, тотчас развернулся и всунул в окошко руки. Осташа ухватился за них, и Федька потащил его наверх. Он выдернул Осташу наружу, как пробку из бутылки. И в тот же миг всё окошко ярко осветилось: это потолок разверзся, и пожар упал в ослепляющую, как медведь в ловчую яму.

— Успели, успели, браток!.. — ликующе завопил Федька, обнимая Осташу.

Они стояли в ярко освещённом проулке между конторой и дровяником. Контора горела вся: из высоких окон торчали задранные лисьи хвосты пламени, огненный гребень колыбался вместо крыши. У дровяника тоже горела крыша, крытая дранкой, но в сравнении с огромным петухом пожара конторы пожар дровяника выглядел всего лишь

цыплёнком. В проулке было по-летнему знойно: щедрый, просторный пал ещё казался добрым. Рыжий снег словно трепетал в отсветах, как живой, шевелился и таял на глазах, взблёскивая каплями воды. Контора гудела, точно печь с хорошей тягой. Из окон трещало, будто огонь там ломал балки пополам об колено. За гулом и пальбой еле слышался бряк тревожного колокола и крики сбегавшегося на пожар народа. Но сюда, между конторой и дровяником, никто не совался: здесь гасить огонь было бесполезно. Да и вообще, бесполезно было тушить домину — всё равно не получится. Народ мог только бросать обратно в костёр головни да уголья, разлетающиеся вокруг как от взрыва, чтобы пламя не перекинулось на другие дома.

— Теперь нам удирать надо из Илима! — прокричал Осташе в ухо Федька. — Не то скажут, что это мы сторожа убили и контору подожгли!..

Осташа кивнул и махнул рукой в сторону забора, перегородившего проулок: туда! В другую сторону бежать нельзя — выскочишь сразу на толпу, и повяжут как поджигателей.

Они перемахнули забор и оказались в подворье Сысолятина. Вокруг было видно только то, что находилось в свете пожара; всё остальное было в непроглядной тьме. Сысолятинские хоромы углом, скатом крыши и крыльцом торчали из темноты, будто покосившаяся, полузатопленная барка из воды. Перед крыльцом с баграми в руках стояли Сысолятин и четверо парнишек разного возраста — сысолятинские сыновья.

Купец молча смотрел, как Осташа и Федька выбирают-ся из сугроба, как подходят ближе.

— Это не мы контору подожгли, — останавливаясь перед Сысолятиным, просто сказал Федька. — Это Яшка-Фармазон. Бог свидетель. А мы еле ноги унесли.

Сысолятин не отвечал, переводя взгляд с Федьки на Осташу.

— Мы по домам пойдём, — вздохнув, признался Федька. — Дай рубль. Нам в дороге жрать надо, и зипуныкупить — наши-то сгорели...

Сысолятин покрепче сжал багор, облизал губы.

— Не скупись, помилуй, — снова попросил Федька.

— Проходи давай мимо... — сипло сказал Сысолятин.

— Я отдам рубль-то, — подал голос Осташа. — Или из заработка у меня вычтешь... Помнишь меня-то? Я Переход, сплавщик твой.

Сысолятин тряхнул багром, словно перекинул на сторону сноп.

— Нет у меня такого сплавщика... — просипел он. — Не знаю такого... Знаю только Осташку Петрова, беглого вора. Уходи прочь, или в брюхо багор всажу.

БУСЫГИ

Федька и Осташа бежали вниз по улочкам переполошённого Илима. Сюда, под гору, уже не доносился треск и гул огня, здесь слышалось только сухоебряканье тревожного колокола. Мужики уже были на площади. У ворот подворий стояли бабы, кутавшиеся в платки, и парнишки постарше — глядели на пожар издали.

— Эй, в рубахах, — окликнула молодка в расписной, наскоро запахнутой шубе, — полымя-то шибко там?..

Осташа оглянулся. Пожар блестел и шевелился на горё, словно среди домов в темноте махала крыльями сказочная жар-птица.

— Успеем полюбовиться, красавица, пока твоего нету, — весело ответил Федька.

Молодка смерила его презрительно-насмешливым взглядом.

— Беги давай, тюри сначала покушай, недотыкомка.

Федька довольно заржал в полный голос.

На окраине Илима, у пруда, Федька попридержал Осташу возле постоянного двора, а сам нырнул в калиточку. Выскочил он почти тотчас же, приташил два зипуна и рукавицы.

— Надевай, — велел он. — Стащил с питухов, что дрыхли, пока все прочие на пожаре. Бог простит.

Осташа не стал артачиться. Что ему? Он ведь теперь и так не сплавщик, а беглый в розыске, душегуб, вор и поджигатель.

На Чусовой главной дорогой всегда была сама река. Зимой по ней накатывали санный путь, обставленный по краям маленькими ёлочками — чтобы и ночью, в слепящей лунной белизне льда, их чёрные стрелки обозначали стрежень пути. Но по этому тракту ездили только тяжело гружённые обозы: слишком много петель, извивов и загогулин накрутила Чусовая. Лёгкие ездоки и пустые сани обычно двигали через горы по малым дорогам, которые повсюду вертелись вокруг главной, как волчата вокруг волчицы. Малые дорожки сокращали путь вдвое-втрое. Они шли напрямик, срезая повороты, как иголка протыкает сразу несколько складок полотна.

От Илима малая дорога карабкалась на склон, забиралась на загривок Мостового бойца, скатывалась на чусовской лёд и перекидывалась на правый берег перед бойцом Высоким. С плеча Высокого через лощину она прыгала на Волеговские Камни, а за ними уже стояла деревня Волеговка. От Волеговки до Илима по Чусовой было десять вёрст, а по короткой дорожке — четыре. В Волеговке тоже имелся постоянный двор для зимних обозников, где можно было доночевать ночку.

— Я с тобой в Шайтанку к капитану Бергу пойду, — шептал Федька Осташе, шумно хлебая остывшие щи. — Свидетелем буду, что невиновен ты. А потом уж и за казной можно. Жалко, позавчера не убил я Сысолятина, суку.

Они отужинали у сонной хозяйки двора в закуте, слушая храп обозников за стенкой. До Волеговки слух о пожаре

в Илеме, понятно, ещё не докатился. Для хозяйки они были просто бусыги — безобидные бродяги, всю зиму шатавшиеся по пристаням в поисках лёгких подрядов. За ужин и постой платил Федька. В краденном зипуне он нашёл зашитые в подклад деньги — сорок копеек. Осташа тому уже не удивился. Всё Федьке доставалось легко, играючи — словно бог давал. Федька и спускал всё так же легко, не сомневаясь в том, что придёт новая нужда — будет новая удача.

Лёжа под зипуном на лавке, Осташа слушал переливчатые храпы, глядел на синий огонёк лампы, что задыхался в вони овчин и мужицкого пота, и в темноте угрюмо размышлял. Если бы он сам пошёл воровать зипуны, то уж точно попался бы. А если бы и не попался, то забыл бы украсть и рукавицы. И уж в любом случае никогда бы не подвернулся ему зипун с деньгами: он любой другой бы зипун взял — но не этот. Такой уж он был тяжеловесный человек. Федька по жизни плыл, как щепка по реке: всегда на струе, всегда вперёд всех летит, нигде не зацепится. А он, Осташа, как сырое бревно: неуклюжий, неповоротливый, медленный; на каждом повороте застревает да разворачивается. Зато удар бревна дробит камни и крушит борта барок, а щепку плескает туда-сюда, и нету в ней ни проку, ни угрозы.

Наутро Осташа с Федькой убрались с постоянного двора пораньше, чтобы обозники не успели их запомнить. За Волеговкой по берегу Чусовой раскинулась здоровенная луговина. Пока пересекали её, совсем рассвело. День начинался ясный, но чуть ветреный. Снежная пыль висела над просторами, и солнце поднималось в пунцовом зареве, сразу и блёклое, и слепящее. Осташа оглянулся. Небо было мощно выгнуто, даже присутулиться захотелось, будто лошадь через голову перепрыгнула. За луговиной из крутого елового берега Чусовой торчали косые каменные доски бойца Гребни. Над шапками далёкой Волеговки стояли белые столбы дыма, одинаково накренившиеся налево. Окоём покато горбился горами с сизым начёсом заснеженных лесов.

С луговины дорога уходила в просеку. Узкие ели, опрятные и чистые, громоздились высокими стопами кружевных подушек. Дорога же корячилась грязная и разбеганная. Бурые колеи были облиты конской мочой и обмазаны навозом, растёртым полозьями саней. Слева из-под еловых лап по кривым зимникам на дорогу то и дело вереницами вываливались чумазые угольные обозы. Зимники вели на лесосеки или куревьища, где углежоги палили свои кабаны. Огромные поленницы, обложенные дёрном, неделями прели гнилым огнём, превращаясь в уголь. Углежоги с кольями-шнырами в руках ходили по ледяной скорлупе кабанов и расчищали, прошныривали проёмухи, чтобы адский огонь в чревах кабанов глотнул воздуха и не удушился.

Бывало, какой бедолага проваливался в кабан и заживо прогорал вместе с костями в тонкую пачкотную сажу. Угрюмые углежоги были чёрные от копоти, с красными, слезящимися глазами, в прожжённой одежде, с опалёнными лыжами на валенках. По чашам вокруг куревьищ стучали топоры лесорубов: кабаны пожирали дрова целыми горами. Старошайтанские и староуткинские возчики длинными караванами саней везли коробка с углём на заводы. Осташа с Федькой могли присоседиться на возок к какому-нибудь бородатому тулупу, но ехать было скучно, и они топали сами.

— Это мы правильно делаем, что идём в Демидовскую Шайтанку! — говорил Федька и утвердительно тряс кулаком. — Я свидетелем буду! Коли не виновен — за что наказанье? Придём к этому капитану Бергу и скажем: «Твою мать!..»

Осташа мрачно ухмылялся, размышляя о том, не посадит ли капитан его обратно под замок? Но что делать? В чулане прятаться всю оставшуюся жизнь? Его плотно загнали в угол. И Сысолятин из сплавщиков его выбросил... Что ж: он, Осташа, теперь не человек — тать. Но терпеть, мириться Осташа не хотел. И если уж бить, так сразу по предсердию, чтоб у врага в глазах потемнело.

Нет, его ведь не просто со двора согнали, как приبلудного пса. Его убить хотят, сгубить, искоренить, чтоб не было его вовсе! И если в Кононе, в Колыване, в Гусевых — неправда, значит, правда — в нём, в Остахе. Когда правоту в себе чувствуешь, всегда сил больше. Не надо было так налегать на него, ведь теперь ему отступать некуда, и он будет биться беспощадно. Беспощадно. Вроде заплелась судьба в косу, будто домовый лошадиную гриву запутал, и коли расплетёшь — лошадь сдохнет. Но он — не лошадь, и судьба — не грива. И домовый до смерти никогда не губит, отпускает душу на покаяние.

А Федька по мыслям прыгал, как воробей по пшеницу.

— Это хорошо, что мы с утра умотали, — говорил он, оглядываясь назад, хотя от Волеговки они отмахали уже вёрст пять. — Баба со двора постоянного присмотрелась бы ко мне да вспомнила меня. Крик бы подняла, нас обоих бы повязали.

— А чего ты там натворил? — поневоле спросил Остаха.

— Я года два назад еёному мужику иголку за четыре целковых продал, — пояснил Федька и захихикал. — Обманул дурака. Был у меня рубль, а хотелось загулять — рубля мало. Я подобрал дохлую ворону и бросил на постоянный двор в сени. Сам с заду зашёл в поварню: баба там хлеб печёт. Я ей говорю: мол, заговор знаю. Если положишь коровью лепёху на под, нашепчешь, то из неё хлеб выпечется. Купи, предлагаю, заговор. Баба, понятно, не верит, смеётся. Я говорю, давай так: я рубль даю, а ты пару лепёх печёшь под заговор. Не выйдет хлеб — рубль твой. Только не говори никому, в чём дело, не то заговор не сработает. Баба, простая душа, согласилась. Хлоп навозины здоровущие на противень — да в печь. А я к мужику пошёл. Мужик стоит в сенях над вороной дохлой, башку чешет, думает: что такое? К чему это? Я ему говорю: это тебя кто-то сглазил. Кого ты объегорил, тот и сглазил. Знаю, что на постоянных дворах без жульства не бывает, потому и говорю так. Схо-

ди-ка, советую, на бабу посмотри, не спятила ли? Он пошёл в поварню. Вылетает весь как из теста белый. Баба, говорит, ума решилась: говна коровьи жарит, говорит, хлеб будет!.. Я и всучил мужику иголочку: дескать, заговорённая. Тихонечко кольки ей бабу в зад, заговор и спадёт. За иголочку пять рублей взял. Вот так.

Осташа не смог удержаться, рассмеялся.

— Слышал я эту байку, — сказал он. — Это не ты сочинил.

— Да со мной это было! — завопил Федька. — Крестом клянусь!

Но Осташа всё равно не поверил. Федька обиделся, нахлобучил шапку на глаза, замолчал, пошагал впереди наособицу.

К полудню они пришли на Плешаковскую пристань. Пообедали и двинулись дальше, той же лесной дорогой на Старошайтанский завод.

— Вот ты мне не веришь, а зря, — заговорил Федька. — Я врать не буду. Ты думаешь: Федька дурак! А Федька поумнее многих. Вот смотри. Я ведь руками-то работать не умею, чего ни сделаю — всё хреново. Для простой работы я как плотнику кривая карагужина, не годен ни на что. Ну, и пью, бывает, без меры. Почему же с голоду недохну? Смотри, сапоги у меня какие добрые! За что мне деньги-то платят купцы да управители заводские?

— За что?

— За то, что я людей насквозь вижу. Каков человек — по единому взгляду понять могу. А потому всегда умею народ в узде держать. Я над людьми лучший приказчик на Чусовой! Любую артель обрабаю. Чем бы артель ни занималась, коли я в начальниках — то все будут одну лямку в нужную сторону тянуть, никто в оттяг не уйдёт. За это и ценят меня.

— Деньгой, что ли, народу грозишь? Или батогами?

Федька возмущённо фыркнул.

— Это любой дурак сможет. Нет, я просто знаю, чего люди стоят. Вот про тебя сразу же понял — сплавщик ты! Сра-

зу под Чегеном сказал: веди судно до Илима! Так? То-то! Вот и любого прочего на нужную дорогу поставить смогу. Это, брат, умение великое — людей-то понимать. Рассказать тебе, к примеру, как я вора поймал?

— Расскажи, — согласился Осташа.

— Мы с караваном от Каменки шли, медь везли. И вот на моей барке водолив заметил, что стали штыки пропадать. Кто-то из бурлаков их ночью крал и в деревнях сбывал. Пробовали укараулить — не выходит. Как вора найти? Понятно, передо мной шапку ломать стали. Ну, я говорю: собирай всех бурлаков в кучу. Сам взял петуха, в пепле от костра извальял и засунул под тулуп. Бурлакам объявил: каждый пусть руку под тулуп засунет и погладит петуха. Кто вор, у того петух под рукой кукарекнет. Ловко придумал, а?

— Ну и чего? Ни у кого петух не кукарекнул, да?

— Не кукарекнул, — согласился Федька. — Меня уж сплавщик с водоливом бить собрались. А я говорю бурлакам: теперь покажи руки! Все показали. У всех бурлаков лапы грязные, в пепле, а у одного чистые. Он и был вор. Побоялся, что петух кукарекнет, и не погладил его. Вот и сцапали врага.

— Здорово, — искренне согласился Осташа, глядя на Федьку с уважением.

Федька сдвинул шапку на затылок, раздёрнул зипун на груди, сцепил руки за спиной и плюнул в сугроб, гордо шагая на негнущихся, подрагивающих ногах.

Заночевали в Старой Шайтанке, попросились в избу на окраине — не в овине же ночевать, овинник спящих у него насмерть давит. Утром наискосок по льду перешли пруд и пошагали по дороге на Старую Утку. Деревень по пути не было, потому взяли с собой сухарей. От закрытого Пестерёвского рудника свернули на тропку и спустились к Чусовой. Отсюда до Старой Утки по льду было короче.

— Чего мы на постоянный двор ночевать не пошли? — спросил Осташа. — Ты там тоже начудил?

— Было дело, — согласился Федька. — Я там кабатчика надул. Рассказать?.. Пришёл как-то раз, сел за стол и напоказ рядом с собой положил табакерку-тавлинку, ниточкой обмотанную. Сижу, кашу ем. Заходит тут другой человек, дверью — хлоп. Я ниточку разматываю, открываю табакерочку, достаю пятак — и в карман. Кабатчик видит, что я пустую коробочку закрыл и ниточкой снова обмотал. Тут другой человек заходит, дверью — хлоп. Я опять из тавлинки пятак достаю. Ну, кабатчик не выдержал, шасть ко мне. «Чего это у тебя такое?» — спрашивает. Я отвечаю: купил за пять рублей в Ирбите на ярмарке у цыган. Тавлинка заговорённая. Как при ней кто другой дверью хлопнет, в ней пятак появляется. Кабатчика, понятно, разобрало. «Покажи ещё раз!» — просит. Я тавлинку открыл — пустая. Закрыл, ниточкой обмотал, положил. Ждём. Кабатчик с табакерки глаз не спускает. Дверь — хлоп! Я спокойно так раскрываю коробочку — пятак. Вижу, мужичину уже по сердцу скребёт — а не верит. Давай, говорит, на мне попробуем! Давай, соглашаюсь. Пошли к нему в поварню. Снова я пустую коробочку закрыл, обмотал, ему отдал. Дверью хлопнули — он сразу в тавлинку. Лежит пятак! Чудеса! Он и давай у меня табакерку торговать. Купил за десять рублей. Я с тех пор в его кабак не захожу.

— А в чём хитрость-то? — Осташа даже взял Федьку за рукав.

Федька довольно хмыкнул.

— Хитрость в том, что тавлинка сама берестяная, и сверху, и снизу одинаковая. Я в нее пятак заранее положил и закрыл берестяным листиком, который как раз по размеру доньшка вырезан был. Откроешь, и кажется, что тавлинка пустая. Я её пустую закрываю, ниточкой обматываю, а когда на стол кладу, переворачиваю вверх дном. И пятак получается наверху. Вот и всё.

Осташа покачал головой.

— Федька, — внушительно сказал он, — это ведь хитрости, обман, а вовсе не знание людей. Так любой может.

— С тавлинкой-то шутку — любой, — согласился Федька. — Дело не в ней. Дело в том, как изобразить всё, чтобы тебе поверили. И в том, чтобы понять, можно этого человека такой шуткой зацепить или нельзя. Вот ты бы купил у меня эту тавлинку?

— Нет, конечно, — сразу отрёкся Осташа. — Хоть и не знаю, откуда в ней пятак, но чую, что обман.

— А такому, как ты, я бы и не предложил. Но посмотрел на этого кабатчика и вижу, что ему — можно.

Осташа замолчал, раздумывая.

— Федька, а с чего это ты вдруг такой проницательный?

Федька подумал, сунул руку за пазуху, поскрёб под мышкой.

— А это когда которого греха на тебе нет, тот грех тебе в других виднее делается, — пояснил он.

— Ты что ж у нас, совсем безгрешен? — обиделся Осташа.

— Да нет, не безгрешен. Вот зипуны украл — грех, понятно. Но это грех малый. А большого греха на мне нету. Потому я его и вижу в других.

— А какой большой?

— Страсти, — серьёзно сказал Федька.

— У тебя, значит, страстей нет?

— Нету. Люди как живут? Кто в заботах, кто в страстях, а кто для интересу. Вот которые в заботах, детей там прокормить или ещё чего, те совсем глухие, им и до бога дела нет. Которые в страстях — слепые, как тот кабатчик. А я для интересу живу. Нет у меня страстей, таким уж уродился. И забот нет. Денег мне не надо, всё равно пропью. Жене с детишками, коли дома с прибытком случаясь, так пособляю, а нет — сами перебьются. Жена у меня здоровая кобылица, да и жлудовка, пёс с ней. Бабы меня любят, я за ними не бегаю. Они сами находятся, а нет — и ладно. Для чего ещё мне жить? Для интереса живу. Вот интересно мне стало на царёву казну посмотреть, когда ты позвал, — я всё бросил да пошёл. Знаю ведь, что ничего мне не достанется, обманешь ты меня как-нибудь, а всё равно иду.

Осташа помолчал, не разуверая Федьку, и наконец спросил:

— А я, по-твоему, страстный?

— Конечно. Сплавщики да скитники — самый страстный народ. Страсть — это жизнь гордыни. Во мне гордыни нет. Я судьбой живу, жизнью души. Вот когда все такие, как я, станут, когда без страстей жить начнут, тогда и рай на земле будет. Пугачёв вон обещал, что всех счастьем одарит, и будет рай, потому что страстей не станет, да куда ему, наоборотно. Один грех вышел. Сам был весь страстями обуянный. Из людей без страсти я разве что Бакирку-пытаря знаю. Может, ещё твой батя был таким, если правда всё то, что про него рассказывают. А прочие все в страстях, как в трясине, по уши.

В сумерках, на берегу за валищами, где зимой складывали лес, тёмной горой подымались заводские дымы Старой Утки.

В ШАЛЫГАНКЕ

— Осташка, ну давай свернём! — нудил Федька. — Устали же, и жрать охота, и замёрз я — краденый тулуп спины не греет...

Они подходили к отвороту на Каменскую пристань. Дорога долго взбиралась на подъём. Здесь, на взгорье, дул пронизывающий ветер, который отряс снег с верховых ёлок. Жрать и вправду хотелось, и ноги тоже были как чугунные, а до шалыганки — полверсты.

— Да хрен с тобой! — в сердцах согласился Осташа.

Будь он один, он бы не сунулся в этот кабак. В Каменке об этом месте шла самая дурная слава. Здесь собиралось всякое отребье: воры и беглые, пьянь и рвань — шалыгань, как в народе называли. Через раз вспыхивали драки с поножовщиной. Не то что старой веры люди, а даже никониане старались шалыганку стороной обойти.

За снежным перелеском открылся вид на ледяной Каменский пруд — тусклый под хмурыми тучами, исполосованный грязными дорогами. Весь правый берег пруда был словно закидан хворостом и рваными лаптями: там раскинулись плотбища, где строились барки. Вдали у белого гребешка плотины чернели домики пристани.

Кабак громоздился на горé. Большая приземистая изба под раскоряченной кровлей-палаткой крытыми гульбищами была соединена с парой изб поменьше и поплоче. Над толстыми снежными крышами ветер трепал и рвал на пух белые дымы из трёх труб. Жердяная изгородь огибала кабак только с двух сторон: чтобы лошади не убредли от коновязи и не поломали ног на ближней лесотáске. Лесотаска была тут же, за кабаком, у берегового обрыва. Сейчас там галдели мужики, распрягая ломовых. Свежий утренний снег на обочине был широко разрыт множеством борозд, будто его гребнем причесали. Это, видно, артель привезла огромные коломенные сосны — каждая лошадь больше одной не утянет. Дальше сосны по бревенчатым спускам-великанам скатят с кручи на лёд пруда и уже баграми доволочат до плотбищ, до лесопильных мельниц.

— Никак моя артелка, — хмыкнул Федька, прищурившись на мужиков. Он нагнул голову, прижал шапку ладонью и нырнул под свес низкого крылечка.

Входя в шалыганку вслед за Федькой, Осташа на всякий случай скрестил в рукавице пальцы. Он думал увидеть здесь толпу пьяных, орущих разбойников, и чтоб все лавки и столы переломаны были, и чтоб табачный дым с бражной кислотинной до рези ели глаза. Но просторная низкая горница, хоть и темноватая, оказалась совсем пустой, только у боковой стены на скамье спал кто-то в лохмотьях. Пол был посыпан свежей, хрустящей под ногой стружкой; оба больших стола были выскоблены до желтизны. Даже образ имелся, правда, весь закопчённый — не понять чей. Посреди горницы высилась небелёная грузная поварская печь без под-

пéчь. Её кирпичи как наждаком были выглажены людскими боками. От печи к стенам тянулась дощатая перегородка с двумя проёмами. Один был закрыт синенькой завеской. В другом Осташа разглядел огромного мужика, который сидел на перевёрнутой кадке и тяпкой рубил на холодец свиные ноги, торчавшие из корыта.

— Полтина Иваныч, здоровья!.. — весело крикнул мужику Фёдка, распахивая zipун. — Хорошо, тепло!.. Уважь брюхо, чем найдётся!..

Мужик поднял от корыта голову, по-бычьему тупо посмотрел на Фёдку и что-то буркнул.

Осташа пролез по лавке в угол и сел возле маленького окошка, составленного из стеклянных осколков. Одного осколка в переплёте не хватало, и дыра была заткнута тряпкой.

Откинув занавеску, вышла кабатчица. Осташа даже вытянулся, подавшись вперёд. Это была баба редкой, царской красоты — статная и румяная, с подведёнными углём чёрными бровями. Запон она повязала так высоко, что налитые груди бесстыже переваливались над опояской. Баба неслла деревянное блюдо с пшённой кашей, явно кем-то недоёденной раньше, и хлеб в полотенце. Кабатчица поставила блюдо и заботливо выложила на полотенце хлеб — так, чтобы ни один ломоть не свалился на столешницу. Потом она протёрла углом запона две ложки и воткнула их в кашу.

— Шапку снимите, иконы у нас всё ж таки, — тихо сказала она Осташе, не глядя в глаза.

Осташа стащил шапку и тотчас возненавидел кабатчицу: он ведь не домового, которого в шапке за столом увидеть — к худу.

— Благодарствую, Феклиста Осиповна, — угодливо поклонился Фёдка, отгребая ложкой поближе к себе половину каши.

Тут стукнула дверь, и в горницу в облаке пара с шумом и смехом стали вваливаться артельные. Они кричали, топали, оббивая снег, хлопали себя по плечам, сдирали льдин-

ки с бород и усов. Несколько человек сразу облепили печь, прижавшись спинами к горячим кирпичам. При виде артельных Федька приосанился.

— Эх, душа, — крикнул кто-то из артельных, — давай-ка нам с морозцу штоф хлебного на всех!

Кабатчица поплыла за перегородку и вскоре вернулась, держа под мышкой запечатанную бутылку, а в щепотях — стопки, надетые на пальцы, как напёрстки. Парень из артельных, довольно сожмурившись, подул на руку и потянулся к бутылке.

— Ох бы обознаться!.. — мечтательно прошептал он под гогот мужиков.

Кабатчица понимающе и покровительственно улыбалась, не пряча выпирающей груди.

Артельные расселись за дальним столом, зазвенели стеклом, и тут кто-то из них заметил:

— Глянь, мужики, — Фёдор Мильков, приказчик наш!..

Федька, осклабясь, чуть кивнул и расправил кудлатую бороду.

— Ты куда пропал, шпынь? Тут про тебя такие слухи пошли!..

— Федька, правда, что ли, что ты с каким-то разбойником в Илеме сторожа убил, контору спалил, пограбил купца?

Мужики весело смотрели на Федьку.

— На пристань-то вернёшься или сразу в Сибирь?..

— Слышь, Федька, ежели за тебя выкуп назначат, так ты от нас далеко не убегай!

— Баба-то твоя вчера Серёге Карягину морду била прилюдно!..

— Иди сюда, нальём!

— Фёдор, ты ведь должник перед артелью-то! Ежели ты на свой промысел откололся, с артельным перетолкуй!

— Гурьяна сей миг придёт, только снизу подымется.

— Федька, гни нос на сторону — Утюгов тебе сейчас его выправит!..

— Да тьфу на вас, мудозвонов!.. — довольно отвечал Федька.

Осташа встрепенулся, услышав про Гурьяну Утюгова. Гурьяна много раз с батей на сплавы ходил, он же и про батину гибель Осташе первым рассказал.

— Гурьян, глянь, кого чёрт принёс! — закричали мужики.

Гурьян входил в горницу, бережливо складывая и сворачивая рукавицы. Он остановился, мрачно оглядел Федьку и Осташу, прошёл к своим, выпил чарку, отёр рот и вернулся; боком присел на лавку напротив Федьки. Федька лыбился на Гурьяну, как дурак на пасхальное яичко.

— Гурьян Прокофьич, давай его прямо тут выпорем! — азартно крикнули из артельных.

Гурьян только недовольно повёл плечом.

— Ну что, Фёдор, — заговорил он словно бы неохотно, — как там наши дела с приказчиком с Серебрянского завода? Условился ли ты о станowych якорях?

Федька откинулся на стену, важно скрестил руки на груди.

— Другие заботы у меня появились, Гурьяна, — сказал он. — Не до того уж стало. Без меня дале дела делайте.

— Наслышаны мы о твоих заботах, — согласился Гурьян. — Велики заботы, спору нет, — из осяной-то утечь, куда и без того за буйство угодил. Что за рожу разбойную ты там встретил? С кем ты старика сторожа убивал и контору поджигал?

— Это я та рожа разбойная, — глухо сказал Осташа. — Или не узнал меня, дядя Гурьян?

Гурьян перевёл на него тяжёлый взгляд.

— Узнал, да узнавать не хотел, — признался он. — Быстро же ты без батюшки с пути-то сбился. А вроде уже взрослый... Я слышал, тебя купец Сысолятин в сплавы нанял, а вона что выяснилось: поджигатель ты и душегуб.

— Может, повязать обоих?.. — предложил кто-то из артельных.

— Брехня то! — закричал Федька, подаваясь вперёд и хватаясь за край стола. — Мы с Осташкой невиновны! Это не мы старика прибили и контору подожгли! Мы сами из пожара еле ноги унесли!

— А кто ж тогда, коли не вы? — усмехнулся Гурьян. — Кому надо-то было, кроме вас?

Федька, закусив усы, опасливо поглядел на артельных, пригнулся и вполголоса сказал:

— Это Яшка Гусев, Фармазон, сотворил. Он Осташку сгубить хотел, потому как Осташка знает, где царёва казна лежит.

— Чего порешь! — яростно прошипел Осташа.

Гурьян отвёл взгляд.

— Мертвы Гусевы, — произнёс он. — Один Сашка был жив, да весной утонул. На барке Перехода. Я тебе, Остафий, не стал тогда говорить... Не знал, надо ли.

— Я и сам выведал, — глухо ответил Осташа.

— Ну и всё с Гусевыми. Нечего их воскрешать. Сашка один из них живым оставался. Он сам это на допросе капитану Бергу говорил, я слышал. А потом и Сашка вслед за братьевьями отправился. Я своими руками с него мёртвого железя сбивал. Он в казёнке захлебнулся, когда барка на дно легла. Люто, видать, он с цепи рвался, когда тонуть начал. Рубаха — в клочья, рожа — всмятку. Не виси он в ошейнике, не признал был я его. Да, видать, заслужил он такую гибель. А больше Гусевых в живых не было никого. Сказки.

— Я сам Фармазона видел, — упрямо возразил Осташа. — И другие мне говорили, что жив он. Макариха говорила.

— Добрые ли люди говорили? Может, чертознаи, как Макариха-ведьма? Им мертвец — брат, он для них жив, понятно. А ты, когда его видел, перекрестил?

— Из штуцера саданул. Не убил.

— Ну, вот... — печально кивнул дядя Гурьян.

— Да я же сам с ним в Илеме в кабаке жбанил! — изумлённо воскликнул Федька. — Он же это был: живой — оглоблей не убить!..

— А ты его до Пугача знал?

— Не знал, да что с того? Зачем кому другому таким подлым именем называться?

— А самозванство с любым именем дело подлое. Коли даже царёв Петров Фёдорычей на Чусовой две штуки было, мало ли будет Гусевых, когда кладом пахнет? Дураки вы доверчивые.

— Чего ж дураки-то? — залопотал Федька. — Тот Фармазон — человек в чести, при старце Гермоне в Вайлугином скиту живёт...

— Ты почему сразу не сказал?! — вскинулся Осташа.

Вайлугин скит — это на Шұрыше, притоке Серебряной.

— Дак ты бы туда и помчался... — Федька заёрзал на лавке. — А нам-то в другую сторону надо, к капитану-то...

— Ах ты змей!.. — Осташа ляпнул в кашу ложку, которую всё ещё держал в руке.

— Ну видите, — вздохнул дядя Гурьян. — Какой разбойник при старце прятаться будет?

— Да у нас что старец, что разбойник, что сплавщик — один чёрт! — в сердцах сорвалось у Осташи.

— Ну, по себе-то не суди. Батюшка тебя не тому учил.

— Яшка Гусев это, живой, и нечего тут толочь бестолочь! — отрезал Осташа, нахлобучивая шапку. — Дай дорогу, дядя Гурьян!

— А я ещё не договорил, — угрюмо возразил Гурьян, не двигаясь с места и перегораживая Осташе выход.

— Ну, говори!

— А я скажу, что бросать тебе надо эти бредни, — веско сказал дядя Гурьян. — Может, и невиновны вы в поджоге — так ступайте к начальству, покайтесь!

— Я и пошёл! И скотину можно извести заглазно, коли масть да кличку знаешь, а меня оговорить и того проще!

— И не рычи тут мне, мал будешь! Батюшку вспомни, что за человек был: жил уважительно. Чего ты рыщешь-то по земле, чего пытаешь, куда поперёк судьбы лезешь?

И жить, и дело делать по порядку надо! Куда рвёшься напролом? В сплавщики? Так и будь сплавщиком, как положено! Уважь да поклонись, спина не переломится! Нету чего — попроси! Не дают — послужи! Закрыто — постучись!

— Батя никому не кланялся, — сказал Осташа, словно предупредил.

— У батюшки твоего твоей-то гордыни не было. Он с людьми вровень стоял, ему и кланяться нечего было. А ты торчишь! Таких-то за волосы хватают и лбом об стол — за место поклона!

Осташа смерил Гурьяна бешеным взглядом.

— А тебе и за радость такое? Попробуй со мной-то!

— Я не бить тебя хочу, а на толк наставить. — Дядя Гурьян скручивал ладонями свои рукавицы, словно выжимал. — Это вон Федьку битьём-то можно обратять, а у тебя вроде ума побольше... Живи по порядку, и всё будет как надо. Порядок-то для пользы придуман, не от безделья рукоделье. Жди, и бог даст. Ты видел ли когда, чтоб помолился о чём — и сразу в церкви же с потолка упало? Время нужно, чтоб Господь всё утряс да подвёл тебя к тому, о чём просишь. А когда мечешься по жизни, как заяц угорелый, только божий замысел путаешь! Не рыпайся, не ропщи! На своём месте будь, твоё всё равно твоим станет! Ежели в бога веришь — живи по порядку!.. Брось бредни-то эти про клад! Большой уже!

— Запел ты, как поп никонианский, дядя Гурьян. — Осташа не отводил взгляда. — А у меня иное дело, и ты мне не указ. Хорош меня учить-то: что ни учитель — все меня только в сенях держать хотят, а мне в сенях скучно!

— Ну а веселья-то огребёшь себе по шее!

— А чего тебе до моей шеи? Тебе не меня жалко, а порядок свой, который я потопчу! У меня мой порядок, сплавщицкий! Я сплавщиком по обычаю должен быть, по навыку, по божьему замыслу на меня, а не только по своей блажи! И клад тут ни при чём!

— Да пропади ты пропадом! — Дядя Гурьян от души шлёпнул рукавицами по скамье. — Подымайся, Фёдор, на работу пора!

— Дак я... — начал было Федька.

Дядя Гурьян, вставая, так дал ему в ухо, что шапка соскочила у Федьки с кудлатой башки и плюхнулась в блюдо с кашей.

Федька ошеломлённо перекосялся, как куст, выдернутый из земли с корнем. Гурьян рванул его за плечо и поставил на ноги. Артельные, загомонив, тоже поднимались, окружив край стола. Федька затравленно прижался к стене. Осташа сидел в отдалении, набычившись, держал на виду сжатые кулаки. Кто-то из артельных, наклонившись над столом, достал из блюда Федькину шапку и нахлобучил её Федьке на голову. Пшённая каша поползла у Федьки по щекам, как слёзы.

Осташе жалко было Федьку, но и облегчение тоже было. Федька уже сделался ему не нужен. Стыдно так с людьми: поигрался да бросил. Но как иначе-то? Федька не поверил бы, что Осташа не будет искать клад, и ни за что бы не отвязался от него. Уж лучше так, как вышло.

Артельные, увлекая Федьку, повалили из горницы. Осташа развернулся, выдернул тряпку из дыры в окошке и долго смотрел, как мужики по снежной дороге уходят под гору в Каменку. Федька, похоже, быстро оправился: он уже размахивал руками, что-то поясняя, и кто-то дружески хлопал его по спине.

— Эй, шалыган, заплатить думаешь?.. — услышал Осташа и оглянулся.

Кабатчик и кабатчица стояли каждый в своём проёме.

— Федька заплатит, — угрюмо сказал Осташа. — Он у вас здесь в Каменке остался... А у меня денег нет.

Осташа приподнялся и, отклячив зад, начал выбирать из-за стола.

— Зипун у тебя добрый, — сказала кабатчица. — На армяк поплоче поменяю.

— Не продешевишь за вчерашние объедки?

— Эй, шалыган, у нас последний платит. — Кабатчик сделал шаг вперёд, засучивая рукав на здоровенной ручище, сжимавшей тяпку.

Осташа замер спиной к двери, поглядел кабатчику в глаза.

— Здесь последний — ты, Полтина Иваныч, — негромко сказал он, сделал шаг назад и спиной толкнул дверь.

КОЛОДЕЦ И ПОДЗЕМЕЛЬЕ

Демидовская Ревда была самым большим из чусовских заводов. Осташу, наверное, уже объявили в розыск, но в Ревде он не боялся попасться караулу: никто его тут не знал. Осташа слонялся по заснеженным улочкам, глаза по сторонам, и постепенно приближался к Угольной горе. За всеми крышами издалека был виден щепастый пенёк церкви на её вершине.

...Странное было ощущение: будто его заколдовали, и он стал прозрачным, незримым призраком. А расколдоваться очень просто: только имя назвать надо. Назовёшь имя — словно проявишь душу. Лишь по имени люди и признают Осташину душу. Столько разговоров о душе — хоть у никоианцев, хоть у раскольников... А ведь никто душу не видит. Лишь имя, как чужое тавро на краденой лошади, объявит суть. Что людям о его душе известно? Ничего — только её имя. И от бати Осташе тоже только имя осталось. Горько, но ведь Осташа не такой, как батя. Батя никогда бы не стал бусыгой и шалыганом, беглым вором. А имя у них общее. Почему же он, Осташа, сделался таким? Батин честное имя и обязало. Имя было как заговор: под каждым бойцом подействует по-своему, но обязательно подействует. А перехочешь, чего раньше пожелал, — так откажись от имени, от души, от крещения. И станешь точно безы-

мянный жердй — жалкий шатун, тощий и длинный, выше крыш. Он бродит ночью по улицам, заглядывает в окна, греет руки на печных трубах и, не принося зла, впустую пугает прохожих...

Ревда была завалена снегом, кое-как распаханным на обочины, чтобы только сани проехали. Издалека за прудом погромыхивал, вздыхал, бабахал завод. Народу на улицах было мало: мужики на работах, а бабам, старикам на улице делать нечего, незачем на мороз выходить из-под обширных крытых подворий. За заборами, за окошками Осташа слышал тюканье топоров, лязг вёдер, шаги, перестук конских копыт по настилу, коровье мыканье, бряканье ухватов о чугуны.

Возле Угольной горы селились кержаки. Дома здесь стояли могучие, кондовые, с высокими и длинными заплотами вдоль улочек. Домина Конона даже рядом с прочими хоромами казалась огромной, как барка в окружении межеумков. Осташа прошагал мимо, дошёл до конца улочки и по тропе полез на гору, к церковке. У храма его праздность не будет бросаться в глаза, а сверху можно разглядеть всё, что ему надо.

Эта церквушка, именем Михаила Архангела освящённая, и прославилась-то по Чусовой пугачёвским бунтом. Главная икона здесь была — образы Спаса и Михаила, написанные с двух сторон на холстине. Белобородов велел сорвать эту холстину с рамы и прибить на древко: такое вот знамя получилось у бунтовщиков.

Не то чтобы ветер гулял по улицам, а дрожал вдоль земли какой-то непокой, колыхалась снежная пыль, и сверху казалось, что дома тонут в придонной мути. Только ледяной пруд, неожиданно чистый, ровный и просторный, подходил на пустое блюдо, которое раздвинуло собой чашки и плоски на праздничном столе. Белый гребень плотины враспор торчал меж Угольной и Сороковой горами. Из чехарды домишек у плотины высывались кирпичные самовары доменных печей. Горбы окрестных гор, заголённые от

леса, на закате сделались розовыми и малиновыми. Резкие синие тени исхлестали их по лощинам. Одна лишь еловая Волчиха высилась вдаль вся сизо-рябая, неприрученная, как злой, норовистый и грязный бык среди послушного коровьего стада. Заводской дым над Ревдой словно растекался по невидимой плоскости, превращаясь в тёмную мглу. В холодной и тонкой желтизне над окоёмом висело расписное яичко вечернего солнца.

Разглядывая Ревду от церкви, Осташа думал, что правильно сделал, когда прошёл мимо Демидовских Шайтанок и не сдался начальству. Пускай его объявили в розыск, но сейчас ему важнее узнать, что же такое вокруг него творится. Калистрат Крицын, натравивший на него Чупрю, и Колыван Бугрин, натравивший Фармазона, — это одно. Это просто Калистрат и Колыван против Осташи; просто месть: не вышла — и чёрт с ней. Но вот если за спинами Калистрата, Колывана и Гусевых стоит Конон Шелегин — это другое. Это уже не месть. Это уже война, объявленная памяти бати, потому что батина память — единственное слово против истязательства. Месть Осташа может переломить тем, что станет сплавщиком и вернёт бате честное имя, когда пройдёт Разбойник отуром. А вот в войне он сможет победить лишь тогда, когда узнает правду об истязателях и обрушит порядок Конона. А нужно ли его рушить? Пусть Конон скажет сам, что объявлено Остахе: месть или война? Прежде чем переступить порог, Осташа должен услышать это от Конона один на один.

Но с Кононом надо быть осторожнее, чем с летучим огненным змеем. Конон-то ответит на вопрос, но что потом? Змей ответит на вопросы и сей же миг сожжёт тебя, если рубаху от ворота до пояса не порвёшь. Порвёшь — улетит восвояси. Но Конон, пока жив, не улетит и не отпустит, хоть рви рубаху, хоть не рви. Надо так его подкараулить, чтобы и ответ получить, и ноги унести. Конону ведь, как огненному змею, не крикнешь «тпру!», чтобы перед собой

поставить. Где Осташе встретиться с Кононом лицом к лицу, без подручных? Только у самого Конона в его каплице.

У раскольничьих старост в каплицах — в тайных моленных горницах — много разного скрытного народа бывает. На случай, если сыскной отряд дом окружит, из каплиц всегда выводит подземный выход. У Конона тоже такой должен быть. Через этот выход можно попасть в каплицу, а там и Конона подождать, чтобы переговорить. Но вот как найти этот выход?..

Осташа сверху разглядывал усадьбу Конона. Куда может поднырнуть подземный ход? С одной стороны — пруд, с другой — гора, вокруг — чужие подворья. Не версту же длинной ход, чтобы выводить за город. Где-то здесь выход... Где? Ложочка какого, малиной заросшего, вокруг нету — да зимой тропинка в сугробе выдаст такой выход. Значит, где-то в соседних дворишках есть неприметный погребец?.. Но у чужих людей его иметь ненадёжно. Не по-кержацки это: на чужих надеяться... Неужто вон в тот колодец ход ведёт?

На склон горы над Кононовой усадьбой заползал соседский огород. В углу огорода торчал колодец с воротом и кровлей. Станный колодец-то... Вроде, конечно, к месту он здесь: не надо с каждым ведром от пруда на кручу лазить. Но сквозь гору колодец рыть... А колодец — не в усадьбе; забором-то обнесён, но простым — не раскольничьим заплотом из заострённых плах в полтора роста высотой. К этому колодцу через чужой двор, мимо чужих собак ходить не надо. А внизу — проулок. Если солдаты Кононов двор окружают, то колодец вне окружения останется. И с горки-то всё видно. Вылучил миг, вылез из сруба и за забором пробежал на улицу, а там ищи-свищи...

Осташа разглядывал колодец до сумерек. Ни к колодцу, ни к церкви никто не проходил. А цепь на колодезном воротах раскручена и вниз спущена... Кто-то сидит под землёй, а ночью по цепи из колодца и вылезет — за этим цепь и разматывали. Точно: в колодце выход. Больше ему быть негде.

В темноте Осташа вернулся на постоянный двор, завалился спать на полатах. Когда ночью от ямщицкого храпа всё вокруг затрещало, Осташа проснулся, слез на пол, оделся, попил из бочки, нагрёб углей в крынку, заткнул за пояс пучок лучин и вышел на улицу. Ревда спала. Даже собаки отбrehали и успокоились. Круглая молочная луна торчала на обочине сверкающего неба, как пень на краю засеянного поля. Дома стояли с сомкнутыми ставнями, с запертыми воротами. Узкие улочки тянулись в кромешной тьме, как прорытые в земле канавы. Осташа останавливался и прислушивался к редкому, но долгому хрусту шагов неведомых прохожих, пережидал за углами.

А со склона Угольной горы Ревда казалась крошевом мелко и крупно наколотого льда — как ледовый затор перед чёрной стеной чусовской долины. Осташа посмотрел в колодец: он почти доверху был залит чернилами.

Осташа сташил с плеч зипун и закопал его в сугроб под забором. Потом обмотал верёвкой шейку крынки с углями и подвесил крынку на поясе, проверил нож и лучины, подтянул кушак. Подёргал цепь, проверяя прочность крепления к вороту. Цепь колыхнулась в колодце, отозвавшись звоном. Осташа сел на сруб, перекинул ноги, ухватился покрепче и рывком повис на цепи. Потом, перебирая руками, начал медленно спускаться в колодец.

Он словно в пещеру погрузился: сразу со всех сторон обволокло холодом. Колодец оказался узким. Цепь, покачиваясь, вращала Осташу и мягко шлёпала его о ледяные стенки. Бревенчатые венцы сруба угадывались только по волнистости льда. Теснота и тьма словно съели ощущение пустоты внизу, а потому и страшно не было. Во тьме над головой плавал неполный, светящийся, угловатый обод с размытым внешним краем — освещённое луной горло колодца. Поперёк луны его перечёркивало бревно ворот.

От железной цепи ладони, брюхо и колени лизало липкой стужей. Осташа медленно спускался и вертел головой: где вход в тайник? Каким он окажется?.. Входа всё не бы-

ло. На сколько саженей вглубь надо было спуститься ещё? Осташа чувствовал себя пулей в ружейном стволе.

К запаху льда, воды и мороженого железа потихоньку примешался тонкий запах замёрзшей земли. Ничего не видя, Осташа вытянул руку и начал шарить по стенкам. Внезапно рука по плечо провалилась в пустоту. Это и был вход в подземелья Конона.

Небольшое окно обросло толстой ледяной губой. Осташа протиснулся сквозь проём и сполз на какие-то доски. На ощупь нашарив тёплую крынку, Осташа поставил её перед собой, выдернул берестяную пробку-кэбрик и сунул в угли лучину. Лучина послушно затлела. Осташа дождался огонька и поднял его над головой.

Осташа находился в самом конце длинного земляного прохода, который вдали заворачивал налево. Пол был застелен досками. Нетолстые брёвна крепили стенки и держали балки, на которых лежали плахи потолка. Чёрная плотная земля стен была толсто покрыта инеем. Никого не было видно, ничего не было слышно: пустота и тишина.

Осташа поднялся на ноги, почти коснувшись головой потолка, вытащил нож. «Надо было дубинку взять, — запоздало подумал он. — Нож-то чего?.. Ножом насмерть резать надо». Драться или резать насмерть ему не хотелось. Пока не за что было.

Осташа осторожно и тихо пошёл вперёд, светя лучиной. У поворота помедлил, прислушиваясь, и шагнул дальше. По правую руку он увидел другой ход, словно приток. Оба хода были одинаковы. Осташа попытался представить по поверхности земли: где же он находится, куда ведут ходы? Ему показалось, что если идти прямо, он пройдёт под дорогой и окажется под тем подворьем, что стоит напротив подворья Конона. А вот ход направо приведёт его к каплице. Осташа свернул направо.

Через десять сажен опять по правую руку Осташа увидел небрежно выкопанную камору с колодезцем вместо пола. Через колодез были перекинута две толстые доски с про-

резанной в них дыркой. Осташа долго пялился, не понимая, что это такое, а потом до него дошло: это было обычное отхожее место. В подземельях Конона люди, может, мешаями жили — куда же им по нужде ходить? В колодец — нельзя, а каждый раз выбираться наверх — так никакой тайны не сохранишь. Вот и сделали нужник.

Осташа пошёл дальше и ещё через десять сажен уткнулся в бревенчатую стену. В стене имела толстая дверка, сейчас запертая на амбарный замок. Значит, это был другой выход из подземелий — на склон берега над прудом. Наверное, снаружи этот выход был засыпан землёй, закрыт дёрном. Просто так им не пользовались; его держали на крайний случай. Понятно.

Осташа развернулся и пошагал обратно. Уже пройдя нужник, он услышал деревянный хлопок и тотчас остановился. Подумал и ткнул огоньком в иней, загасив лучинку. Со всех сторон разом навалилась тьма. Осташа, ощупывая стену рукой, прокрался вперёд, присел на корточки и выглянул за угол — но не увидел ничего.

Зато слышал. Человек, который негромко шумел, похоже, отлично знал подземелье и в свете не нуждался. Осташа понял, что тайный житель что-то делает где-то рядом — собирается куда-то, что ли. Шуршание было таким, словно кто-то переодевался или запихивал свой скарб в мешок. Потом опять раздались шаги. Осташа прижался к стенке, выставил нож. Но человек уверенно прошагал мимо. Он только похлопывал ладонью по снежной стене или по брёвнам крепи. Тьма царилла такая, что казалось, будто этот человек невидим или вообще бесплотен, а существуют лишь звуки. Шаги удалились в сторону колодца. Потом захрустел, крошась, лёд вокруг проёма в колодезном срубе и нежно звякнула цепь. Значит, человек полез на поверхность.

Осташа ещё подождал, но шума больше не было. Тогда он снова разжёл лучину, поднялся в полный рост и двинулся туда, откуда пришёл незнакомец. Ход тянулся ещё сажень на десять. Осташа издалека увидел рубленую стену ту-

пики и лесенку, ведущую наверх. Но перед ней теперь уже по левую руку обнаружили три жилые каморы. Входы в них были занавешены тряпьем.

Ткань залубенела морщинами, как береста. Осташа чуть-чуть отодвинул её всем пластом и увидел первую камору. Она была маленькой, как казёнка на барке. Еле тлела лампадка. На белой от инея стене висела огромная медная икона, чуть отблёскивающая завитушками. Веса она, наверное, целый пуд, а потому была надета ухом на железный прут, забитый в стену по самый кончик. На земляной лавке, застеленной соломой, на спине неподвижно лежал какой-то старик с лысой головой и морщинистым лбом. Сверху он был накрыт дорогой собольей шубой, из-под которой торчали две голые, бурые от грязи ступни. Это был раскольник-бегун. Осташа сразу признал его по посоху, что стоял в изголовье. Бегун не шевельнулся, пока Осташа разглядывал его. Может, он умер: затеплил лампаду, лёг и отдал богу душу. В холоде подземелья мертвеца могли держать хоть до весны. А потом, когда земля отмякнет, где-нибудь в стене выдолбят нору и захоронят тело, не вынося на свет. В теснинах и не такое бывало.

Вторая камора оказалась совсем пуста. В третьей, видно, и жил человек, который сейчас ушёл наверх через колодец. На лавке и на полу валялась одежда: рваный кафтан, рукавицы, драные лапти. На боку, опрокинутая, лежала миска-калган с примёрзшей к краю ложкой. К стене было прислонено ружьё. Осташа вошёл в камору, сунул лучину в зубы и взял его, отомкнул замок. Ружьё было не заряжено. Пороховницы и пультницы вокруг тоже не было видно. Но ружьё было обихожено, вычищено, из ствола пахло порохом.

«Может, это Чуприно ружьё?» — вдруг осенило Осташу. Тогда вот этот приклад ударил в грудь Алфёру Гилёву, ставшая Алфёра с кручи камня Чеген... И тогда тот человек, что во тьме прошёл мимо Осташа, — сам Чупря Гусев. Осташа подумал: пригодится ли ружьё ему сейчас? Ничего не придумав, он поставил ружьё обратно и вышел из каморы.

Лесенка в конце хода вела к крышке в потолке. «Что-то многовато в моей жизни крышек в потолке встречается», — мрачно ухмыльнулся Осташа, взбираясь по ступенькам. Он приподнял крышку и стоймя прислонил её к стенке. Лаз выходил в какой-то дощатый ящик, закрытый сверху другой крышкой. Осташа оглядел ящик и понял: это был ларь, стоящий уже в каплице. Нижняя крышка была его дном. Если в каплицу ворвётся кто чужой, ларь окажется просто ларём, заваленным разным скарбом. Не всякий и сообразит, что именно в нём начинается подземный ход с каморами-убежищами.

Осташа влез в ящик и, вывернув голову, попробовал прислушаться. В каплице звучали негромкие голоса. Осташа сразу узнал: это разговаривали Конон Шелегин и Калистрат Крицын.

КАПЛИЦА КОНОНА

— Елабужские гнут, — говорил Калистрат.

— Меньше десятой доли не опускай.

— Не опускал. Они сплавщиков сами ищут, перенимают, стараются вызнать про каждого — наш или нет. Уже Клима подрядили и Никиту Ярушникова.

— Никите скажи, чтоб отпёрся; на него в Трёке барку готовят. А купцам передай, что, если станут против нас — каждую пятую барку убьём на бойцах. Или весь караван на огрудок вытащим, и просидят всю Макарьевскую ярмарку на Чусовой. А по пристаням приказчикам укажи, чтоб елабужским воду не продавали.

— Некрас, ревдинский-то приказчик, просит десяток барок продать — им не хватает. А Пашка Тёмкин из Новой Утки говорит, что у них плотина протекла и на верхнем плотбище новые барки весной не спустить.

— Ниже Новой Утки барки наверх не продавать, понял? А Изоту скажи, чтобы Пашку гнал: ни черта он в своём деле не понимает. Пусть Лавра Южака поставит.

- Да он не хочет Лавра...
- Он сына за кого сватал?
- За лоскутовскую дочку. За ней приданого пятьсот рублей.
- Скажи Лоскутову, чтоб дочь за Изотова сына не отдавал.
- Авдей Чагочкин просит двадцать пять рублей. Он погорел зимой, теперь строиться хочет.
- Дай.
- Ещё Вознесенский скит просит двести рублей на божелье. Их капитан Берг нашёл — кто-то ему выдал. Весной уходить надо.
- Дай сто, и хватит. А болтуна найди — и под голбец. Яковлев долг прислал?
- Прислал сполна.
- А от Демидов?
- Тоже послали, только шайтанский приказчик Резунов зажал, говорит, на плотбищный кошт не хватает.
- Врёт. Отыми.
- А коли не врёт?
- Разведай порядком. Если не врёт, уступи ему подряд на алапаевских. Пусть в долг переможется, а наше отдаст. Припугни.
- В Утке видели, Дорофей Бочкарёв побирается...
- Стыд. Вели изловить — и в скиты, чтоб не убежал. Пусть старость под богом мыкает.
- Ослянский приказчик Наговицын обещал, что перехватит грузы с Невьянска и Салды и пустит казёнными караванами.
- А сулили ему?
- Сулили, не берёт.
- Казённый карман всегда глубже; посулите поболее — возьмёт.
- Карташов, красноуфимский купец, просит его барки целыми провести, а заплатит с третьей долей сверх обещанного после Макарья.

— А чего по Уфе не поведёт тогда?

— Говорят, этой весной на Уфе воды совсем не будет, снега нет.

— Ладно, соглашайся. Дай ему Ефима Смирнова и Яську Асаула, пусть чокнут барки, чтоб Волеговой деревне перепало.

— Яська грех брать боится — слава пойдёт. Третий ведь год подряд.

— Ну, не Яську, так Давыда Замараева. За ним долг.

— От горного начальства доглядчик на Полевских плотбищах ездит, хулит суда, не допускает к сплаву. Дать ему?

— Не надо. Весной всё востребуют — и добрые суда, и с охулкой. Пусть оближется, выжигает. Ну, есть у тебя ещё чего?

— Да всё пока...

— Ступай с богом.

Заскрипели ступени лестницы, что-то глухо хлопнуло. Осташа наострил уши, пристально глядя на щель между крышкой и стенкой своего ларя. Похоже, Конон остался в каплице один. До Осташа донеслось кряхтенье и неразборчивое бормотанье молитвы. А потом Осташа вдруг услышал:

— Ну, долго ты там сидеть будешь, как мышь в сусеке? Вылазь, никого нет.

Это сказал Конон. Осташа поначалу даже не понял, к кому Конон обращается? «Не к Егорию же Победоносцу...» — догадался он и приподнял крышку над головой.

Каплица оказалась большой и просторной, хотя и низкой. Вдоль бревенчатых стен громоздились лавки, лари и поставцы с книгами, шкатулками и какими-то сосудами. Несколько лампад освещали четырёхчинный иконостас, почти весь сплошь медный: целая медная стена, вся в зелёном узорочье. Багровый свет лампад выделил прозеленью и клин желтизны в бороде Конона, словно Конон сам потихоньку превращался в икону. Конон сидел в большом кресле с высокой спинкой и подлокотниками. На ногах

у него были подшитые кожей валенки, на плечах — тёплая бабья душегрея. За плечом Конона во мрак к потолку уходила стариковская лесенка-частоступочка.

— Ты ли это, Остафий? — спросил Конон, глядя мимо Осташи.

— Я, — хрипло подтвердил Осташа.

Конон то ли засмеялся, то ли закашлялся.

— Лица-то твоего я уже не увижу, Останя, — как-то неожиданно сердечно признался он с сожалением. — Садись вон напротив где-нибудь, хоть голос твой послушаю... Лаялся-то ты звонко.

Осташа, недоумевая, вылез из тайника, ещё раз огляделся по сторонам и с краю присел на лавку напротив Конона.

— Я тебя давно услышал, — признался Конон, по-прежнему не попадая глазами Осташе в лицо. — Жду тебя... Долго же ты сюда добирался. Дольше, чем я думал.

Осташа не знал, что сказать. Он совсем не на такое рассчитывал. Думал, придётся трясти старика, ножиком пугать...

— А почто ты меня ждал? — глупо спросил он.

Взгляд Конона тотчас обратился на Осташино лицо, словно наконец нашарил его в тишине, и оттого вдруг сделался осмысленным, будто Конон прозрел.

— Показалось мне давеча по голосу твоему, что будет сплаву воля и после меня. Чую, мне уж недолго небо коптить. Коли Господь потерпит, так разве что до осени доживу. Обрадовался я тебе. Бога просил, чтоб он ещё привёл свидеться. Сам небось понимаешь: Калистратка да Прошка его — так, трухляки, пустохватые. Колыван не жилец. Дальше сплаву твоё слово.

Конон говорил так, будто они с Осташей уже сто раз всё это обсуждали. Осташа обомлел, совсем смешался.

— Ты же летом мне совсем другое обещал... — выдавил Осташа.

Конон усмехнулся.

— А ты и поверил? До сих пор, что ли, буки боишься?

— Я думал, ты мне враг, — честно признался Осташа.

— Конечно, враг, — согласился Конон. — Всё, чего я сделал, ты небось во-первѳе похеришь... Да что же с того? Я-то уйду, не увижу. А сплав останется. Тебе виднее будет.

— Я тебя не пойму. — Осташа вглядывался в суровое, измятое морщинами лицо старого сплавщика. — Почто же тогда ты меня гнал от сплава, чуть не сгубил совсем?

— Отгонял, чтоб ты разгон взял. Прыгнуть-то высоко придѳется. А губить?... Чем я тебя губил?

— И Чупря в меня стрелял, и Фармазон сжечь хотел.

— Ну, это не от меня. — Конон улыбнулся.

— Как это не от тебя? Чупря за твоей каплицей в тайнике живѳет.

— И что с того? Думаешь, мне дела больше нет, чтобы только за тобой следить да злых убивцев на тебя наускивать? Думаешь, на Чусовой я сам Господь бог и здесь всякий волос с каждой глупой башки лишь по моей воле падает? Мал же ты умом, право слово. Это, видно, Калистрат да Колыван злобствовали, а может, и сами Гусевы. Нет, Останя, я тут ни при чем. Хотел бы я тебя сгубить, так ты бы уж давно раков кормил.

— И батю не ты сгубить велел?

— Мне и велеть не надо было. Кем был твой батя, а? Он ведь не мог не погибнуть. Живѳем-то в смраде. Без меня охотники нашлись.

— А ты, значит, скорбел тайком? — ухмыльнулся Осташа. — Сколь пудов воска на свечи-то перевѳл?

— Не скорбел, — согласился Конон. — Но и не радовался. Чего мне твой батя? Мы с ним разными дорогами шли. Мы друг другу не соперники были.

— Это как это не соперники? — удивился Осташа. — Батя один всем показал, что и без твоего истязательства можно барки водить. Батя без твоего толка лучшим сплавщиком был и ни единой барки не убил!

— Думаешь, один Переход барки целыми всегда приводил? — Конон наклонил голову, прислушиваясь. — Скажу:

нет. Не он один. Дорофей Округин, Метеля прозвищем, тоже ни одной барки не убил. Афонька Седов из Нижнего Села. Иван Тарасов — наш, ревдинский. Павлин Петрович Ренёв, полевчанин. Алафейка Косое Брюхо. Другие тоже найдутся. Кто-то из наших, из истязельцев. А кто и сам по себе. Но ведь дело не в этом, не в барках. Переход лучшим сплавщиком был не потому, что барок не убивал.

— А почему?

— Да много почему, — вздохнул Конон. — Этого ты или не поймёшь совсем, или поймёшь сам. Другому не объяснить. Когда состаришься, многое суетой окажется, и слова тоже.

— Не пойму, — жёстко и требовательно повторил Осташа.

— Поймёшь, — заверил Конон. — Когда-нибудь. Небось не сразу. Совесть-то одна. Бог один. Чусовая одна. Поймёшь.

По потолку прошлись шаги, и Осташа тотчас вскочил, глядя наверх. Конон слабо шевельнул рукой: брось, мол, никто в капищу не сунется.

— Правда народом поверяется, — устало продолжил он. — А что видишь за народом? Нету правды. К правде два пути только заповедано — от царя или от церкви. На каждой дорожке гора неподъёмная: церковь нашу Никон соблазнил, а вместо царя у нас Катеринка-блудница. И потому расседина меж горами, теснина — это наш раскол. А посередь него твой батя. Только что он даст-то народу? Теснинами не всякий пройдёт, сам знаешь. Иначе и мы, сплавщики, ни к чему были бы. И батя твой тому урок. Он-то смог до правды дойти, да разве ж народ по его пути пройдёт? Нельзя того от всех требовать, чего только ты один можешь. Кто-то — сплавщик, а кто-то — бурлачье. Но коли они не сплавщики, они что, прокляты, что ли? Те же божьи души-то.

— К чему ты это говоришь? — зло спросил Осташа.

— К тому, что Перехода гордыня святости сгубила. К неисполнимому он призывал. Его путь по правилу, кто же спорит, но правило его на каждого не приложишь.

— Это почему это всяк по правде жить не может?

— Потому что по правде жить могут только все до единого разом. Хоть один кто соблазнится — правде конец. А в народе не без уroda. Это даже не грех, так уж по судьбе получается. Ты вот представь, что на сплаве ни единый сплавщик не возьмёт деньги, чтобы свою барку намеренно убить...

— Ну и представил! — строптиво отозвался Осташа.

— И что, тогда ни одна барка о бойца не убьётся, да?

Осташа молчал. Всё равно кто-нибудь да убьётся, чего уж тут спорить-то. Чусовая — река теснин.

— Вот потому и нет в народе правды от праведности каждого. Невозможна она. А Переход жизней своей такую сказку и рассказывал. Рано иль поздно сказка заканчивается.

Осташа по-прежнему молчал: зло, затравленно, несогласно.

— Поживи с моё, и не то увидишь, — как-то утешающе добавил Конон. — И не надо мне было губить Перехода. Кто с огнём играет, рано иль поздно сам сгорит. Поджигать незачем.

Сухая, корявая, широкая ладонь Конона чуть задрожала на подлокотнике кресла, словно Конон хотел погладить Осташу по голове, а сил не нашлось.

— Я ведь не херю батьку твоего. — Конон будто прощенья попросил. — Славу его сплавщицкую не хую. Я тебе о другом говорил.

— А я не верю, — твёрдо и отчаянно ответил Осташа.

— Дело твоё. Потому и говорю я, что придёшь ты вместе меня — другое слово Чусовой скажешь. Я вот понял, что нету добра-то Переходова в мире. Слышал про старицу Платониду на роднике под Шунут-камнем? Недалече ведь это, вёрст сорок...

— От Ревды недалёко, а от Кашки далёко.

— Тогда послушай. У девки Платониды два брата были, а родители — богатые. Но померли батюшка с матушкой в одночасье, и пришлось братьям наследство делить. Разругались вдрызг, мордобой за каждый гвоздь устроили. Еле

разделились, но друг друга возненавидели. Тогда Платонида и сказала братьям: негоже так. Возьмите то, что мне в приданое положено, и помиритесь, а я всё одно в скит хожу. Братья взяли, и пошла у них свара пуще прежней. В общем, зарезали они друг друга насмерть. Вот тебе и всё добро от чистой души. Так что знай: не бывает такого добра. Есть зло во имя добра и просто зло. Может, к твоему времени Господь нас и помилует — иначе будет. Я того уж не увижу. Но то, чего я успел увидеть, мне всё сказало. Кроме бабки твоего в расколе ещё и Пугач был.

— Истяжлецы тоже, — мстительно добавил Осташа.

— Весь раскол от незнания, — подтвердил Конон. — Кого из нас Господь озарил? Перехода? Пугача? Старца Гермона? Мирона Галанина? Или меня? Да никого. Как уж сумели увидеть, так и жили. Не было бы Чусовой, так до сих пор и не знали бы, есть ли путь в теснинах.

— Значит, всё же есть? — с надеждой спросил Осташа.

— Есть, — усмехнулся Конон, — да не для всех. Ну, для Перехода, скажем. Не для меня. И не для тебя. Иначе ты бы ко мне не пришёл. Батя твой ко мне за ответами не ходил.

— Сам понимаешь, почему я пришёл! — огрызнулся Осташа. — Сам же ты мне сплавщиком быть не давал!

— Да ведь в этом я тебе не указ. Ну, не сразу, а всё одно бы ты сплавщиком стал. Ты ведь сейчас не об этом просить пришёл, верно? Ты уж без бати потёрся меж людей, понял, как своего добиться можно. Только тебе этого мало.

— Почему это мало? Я только о том тебя летом и просил! Я на твою скамейку залезать не хотел! Это ты сам решил, будто мне на неё встать нужно будет. Я к тебе в посылыши не метил!

Конон медленно поднял руки и поправил на груди душегрею.

— Нет, Останя. Вот станешь ты сплавщиком — ведь всё одно станешь! — и что, хватит тебе того?

— Хватит! — с вызовом ответил Осташа.

— Не хватит. Ты потом захочешь лучшим сплавщиком стать. А то, что ты лучший, одним ремеслом не докажешь. Я тебе уже называл тех, кто тоже ни единой барки не убил. И вот тогда ты задумаешься, в чём же соль? Вторым батской тебе не быть, не та жила. Да ведь и Переход был не колдун, который умереть не может, если выученику тайны своей не передаст. Чего ты будешь делать без батиной тайны? С ума сойдёшь? Или новый толк объявишь?

Осташа был поражён: он и вправду никогда не думал о том, что будет после того, как он станет сплавщиком. Неужели весь разгон, который он набрал, раскатится вниз по Чусовой вхолостую, как караванный вал, спущенный раньше времени?..

Конон, склонив голову, прислушивался к Осташиному молчанию.

— Вот, — удовлетворённо сказал он, — как задумаешься о том, так и вспомнишь дядю Конона. Потому что лучший — это не тот, кто самый умелый, а тот, кто ближе к правде.

— А что, ты ближе бати к правде стоишь, да? — с ненавистью спросил Осташа.

— Думаю, что ближе. От Перехода людям через всё его добро ничего не перепало, а от меня через зло моё — прок.

— Одного прока мало!

— Нет, не мало! Хочешь, чтоб человек божий образ имел, так сначала ты его хоть плéжить не неволь. Пусть он голоден останется, да с верой в душе.

— А что хорошего в истязельской вере может быть, коли ей вогульский морок потребен?

— А в истязельство всех и не зовут, как в сплавщиках лишь одного на барку имеют! Истязельцы за мир грех на себя берут.

— Экие спасители!..

— Имя не погань! — попробовал рывкнуть Конон и закашлялся. — Не спасители... Воины. Воины чужую кровь человечью без греха льют, потому как присягой грех свой ца-

рю передали, а присяга помазаннику освящена. Не нашкодь Никон, всё бы проще было, и не нужны были бы ни я, ни истязельцы.

— Никон-то при чём?

— От Никона народ по рассединам разбежался. Никон присягу царю сглазил, и Пётр уже не царь был. Не случайно ведь он святую Палею запретил. Не зря же людишки бунтовали, когда Пётр потребовал присяги вообще царю не названному! От Никона Русь без царя осталась. Не в том тяжесть истязательства, что вогульских бесов тешат, а в том, что присягу дать некому, а без присяги грех! Пугач царём не стал, потому как по истязательству благодать можно только на время отринуть, а не навеки приять! Ургаланы богами не становятся, истязельцы от греха не упрячутся. Но грех истязельский отмолен будет, а самозванство не отмолит! Гришка Отрепьев — каин, его душу и самому патриарху не спасти, хоть весь лоб в кровь расшиби!

— Ты, дядя Конон, меня далёким не путай, — потряс головой Осташа. — Я вокруг смотрю, а не за тридевять гор! И не вижу я никому добрых дел от истязательства, кроме самих истязельцев да скитов. Душу губите, ремесло порочите. Барки бить — грех! Не для того сплавщицкое дело придумано. Бесов жертвенными душами кормить, чтоб мимо бойца пройти целым, — тоже грех!

— Во грехе и живём, на грехе спим, грехом покрываемся. Души наши старцы блюдут и скитники — им к тому способнее. Без царя всё, что делаем, — грех! Даже если дело во благо. Но уж коли самим нам к ангельскому чину ближе не подойти, так хоть сатане своими костями дорогу перегородим!

— Да куда там — сатане! — насмешливо ответил Осташа. — Всё и дело истязельцев — свою мошну набить, а ски-ты за хлеб только грехи вам списывают!

— А ты думал, наш прок народу в том, что каждому к Пасхе по рублю выдавать. что ли? Про батю своего так ты всё понял, а мы, выходит, просто деньгу зашибаем?

— А чего ж ещё?

— Я как не с тобой говорил... — сердито буркнул Конон. — Тяжело же, Останя, отучать щенят на куриц охотиться... Деньга наша — только утробу кормить, потому как мы тоже человеками рождены. А дело не из-за деньги! Дело наше — правду держать, сколько можем! Мы бесам оборона! Народ должен знать, что есть правда и сейчас. Пусть не каждому достанется, не всесильны мы, но кого сможем — одарим. Лишь правда божий образ в людях бережёт — а лжа от беса! Но к каждому милость, как рубль к Пасхе, — это малая правда. Барка плывёт не потому, что построена, а потому, что Чусовая есть. И большая наша правда — это не только человеческий облик сохранить, а ещё и у земли облик божий! В теснинах ныне наша правда, так нам теснины сберечь надо! Вот слышал ли ты, что лет десять назад Строгановых прижало, и они Билимбай Лазаревым отдали? А мы побили лазаревские барки, и Лазаревы от Билимбая отступились!

— Не один ли пёс — Лазаревы ли, Строгановы?

— Не один! Лазаревы, персиянцы, у несправедливой царицы нашу землю купили — это ли справедливо?

— Да и Строгановы не русского корня, а землю выпросили у Грозного!

— Строгановский прашур за крещение саблями был до костей оструган татарами и кровью своей крест для потомков омыл. Грозный-царь царём по праву был, потому как до Никоновой ереси. Захотел — и подарил! Строгановское право на землю Ермак своим подвигом освятил!

— А Демидовы? А Яковлев-Собакин? — крикнул Осташа.

— Эти и не владеют землёй! Эти только заводам хозяева! А я про землю говорю! Землю Господь раздаёт: это — Симу, это — Хаму! Царь же — помазанник! А без всякого права агарянам наши теснины отдавать мы царицке не позволим! Без божьего облика земли у людей божьего облика не бывает! Вот наша правда! Со грехом её блюдём, дак уж как иначе? Батя же твой через ступеньку перешагнул: мол, главное —

своя душа. А земля? А народ? Господь нам образ дал за мир на жертву идти, а не за себя! Пусть мне гореть в геенне, но теснинами, где люди спасаются, не поступлюсь!

Осташа измученно посмотрел на медную стену.

— Каждому своя дорога, дядя Конон, — сказал он. — Ты за мир во грехе бейся, а батя — в чистоте за образ...

— Ты — не батя твой, — едва слышно сказал Конон. — Твоя дорога — продолжение моей.

Они сидели, молчали, думая каждый о своём. Осташа изнемог от спора. Он пришёл сюда совсем не за этим. Конон закрыл глаза, борода его чуть вздрагивала.

— Я не хочу быть истязателем... — тяжело сказал Осташа. — Не хочу. Пусть я не такой, как батя, но можно и без истязательства... Неужель выбор только таков: или душой для дела жертвуешь, или делом для души?

— Не таков выбор, — ответил Конон, похоже, из последних сил. — Не таков, дурачок. Выбор — или истязательство, или жертвуешь. Вот я тебе о чём говорю.

— Не хочу, — повторил Осташа. — Прости. Не верю.

ВОИНСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ

Осташа вылез из колодца и, забыв прятаться, пошагал по улице в сторону дороги на Демидовские Шайтанки. Ещё не рассвело, но вдали в небе появилась какая-то узкая синяя промоина. Под ней из темноты проступили мертвенно торчащие вверх трубы завода — словно убитая барка затонула, легла на дно, а теперь вешняя вода опала, и над плёсом показались разновысокие рёбра кокор.

Хотелось спать, хотелось жрать, но не было денег, чтобы вернуться на постоянный двор. Оставалось только дойти до Шайтанских заводов и сдать капитану Бергу. Пускай он определяет Осташу на казённый кошт хоть арестантом. В душе Осташа словно всё обвисло, обгорело по краям.

Нет, не на то он рассчитывал, отыскивая путь в каплицу Конона. Он думал, что услышит какой-то ответ на свои вопросы, что-то поймёт... Или хотя бы попросту разозлится, чтобы на волне злости сделать так, как считает нужным. Никакой милости выпрашивать у Конона он не собирался. А оказалось, что Конон его чуть ли не в наследники произвёл. Да ещё и поучений прочитал таких, от каких блевать тянуло. И вместо праведного гнева Осташа испытывал лишь глухую тоску: вот ещё и Конону он теперь должен. Всем должен. Все благодетели. Впору и шапку продавать — всё равно надеть не перед кем.

Ревда позади затонула во тьме, как в болоте. От Ревды до Шайтанок было-то всего вёрст пять. Дорога скользила меж гор, заросших после вырубki байраком — низким и корявым сосняком. Вдоль дороги тянулись деревни из одной улицы, выселки, постоянные дворы. По обочине громоздились купеческие кибитки, короба, фуры. Ирбитская ярмарка уже началась, купцы везли товар, постоянных дворов на всех не хватало. Только лошадей заводили на ночь в стойла, а сани оставляли при тракте. Приказчики привязывали к оглоблям псов и сами укладывались спать под шубы прямо на товар. Осташа скрипел снегом, проходя мимо, но псы не лаяли. Лишь какой-то Полкан вышел из-за крутого пологоза, посмотрел укоризненно и задрал лапу на задок чужой кибитки.

Осташа черпал рукавицей снег, совал в рот: ноги еле держали. Возле большой фуры, крытой залубеневшей рогожей, Осташа издали увидел движение. Фура выдвинулась дышлами на дорогу, мальчишка запрягал лошадей. Откинув пологи, в фуре сидели купец с купчихой и пили чай из самовара. Снаружи на заиндевевшей рогожной кровле протаяло чёрное, дымящееся пятно.

Когда Осташа подошёл поближе, купец уже вылез на дорогу и вытащил самовар, выплеснул из него воду и вытряхивал угли.

— Хозяин, до Шайтанок не возьмёшь? — спросил Осташа.

Купец распрямился, осмотрев Осташу с головы до ног.

— Алтын, — сказал он.

— Нету денег.

Купец не ответил, косолапо ушёл за фуру, и Осташа услышал, как он начал шумно мочиться в сугроб. Купчиха, грузная в своих шубах, чуть повернулась и приподняла занавеску на окошке в рогожной стенке фуры, зачем-то бесстыже подсматривая за мужем. Купец вышел обратно, запахивая понизу тулуп. Один валенок у него был совсем белый, другой — с чёрным носком.

— Тогда придёшь ко мне завтра снег с амбара скидать, — недовольно сказал он. — Залазь. Еду через Калату.

Осташа полез в фуру, а купец пошёл к лошадям. Купчиха в полумраке глядела на Осташу. Похоже, была она молодая — куда моложе супруга.

— Приходи, парень, после обеда, когда Платоныч в лавке, — негромко сказала она. — Сбляднём.

Осташа посмотрел на купчиху с мукой, вздохнул и отвернулся, растянулся на мягких узлах и тотчас уснул.

...В Шайтанках его растолкал мальчишка-возчик. Хозяев в фуре уже не было. Осташа вылез на дорогу, огляделся, нашёл над снеговыми крышами щётку заводских труб и пошагал в их сторону.

К площади, на которой располагались контора и воинское присутствие, надо было пройти через плотину. По обледеневшим мосткам Осташа перешёл над прорёзами. Он сверху разглядывал сложное хозяйство, врытое в крутой склон плотины. Ровные канавы закрытых вешняков были заперты плотно опущенными затворами и завалены горбатыми сугробами. Ступени водяных ларей, обросшие ноздреватым льдом, соединялись меж собой ревушими пенными дугами водосбросов. Блестели каузы, где кипела стылая вода. На склонах плотины из-под снега обнажились чёрные срубы свинков, с которых сползла насыпь. Под малым зимним потоком тяжело вертелись колёса с железными тяга-

ми. Всё перемешалось в разнокалиберной чехарде торчащих свай, в перекрестьях цепных желобов, балок, укóсин и опор; всё через деревянные блоки было опутано толстыми тросами. Повиснув на верёвках меж высоких бревенчатых стен большого прорёза, два мужика топорами срубали вспученные ледяные бороды. Рядом с людьми, словно загребая горстями, безостановочно уходили вверх шербатые, разбухшие плiцы главного колеса. Всё, чего не касалась вода, было покрыто толстым, хрупким и необыкновенно красивым ледяным пухом. Все неподвижные перекладыны были увешаны ровными рядами сосулек.

С площади за белым холстом Нижнего пруда была виден сухостой труб Верхне-Шайтанского завода под Ельничной горой, которая давно уже была не ельничной, а голой и какой-то помятой, грязной от копоти, что сыпалась с неба. Трубы Васильевской Шайтанки дымили совсем рядом, за спиной у Осташи. Можно было подумать, что над площадью, над заводом и над Осташей растут огромные, тенистые, тёмные деревья. Осташа повертел головой, прикидывая: где, на каком месте Андрюха Плотников, Золотой Атаман, здесь снёс башку заводчику Ширяеву?.. Сейчас тут уже никому башку не снести — вон воинское присутствие.

В Демидовских Шайтанках оно было не в пример больше, чем в Илеме. Да и ясно: Шайтанки — ключ к Екатеринбургу, горной столице. Это и Белобородов понимал. После пугачёвщины в Шайтанках три года простоял казачий полк, рассылавший регулярные разъезды по всем чувоским заводам. Потом казаков услали восвояси, а вместо них прибыл Тобольский пехотный полк с капитаном Бергом во главе. Батальоны его на две трети были распылены по гарнизонам заводских крепостей.

К огромной двухъярусной домине присутствия покоем примыкали крытые конюшни. Меж их концами из фашiн солдаты сложили настоящий боевой шанец с воротами. Сейчас ворота никто не стерёг: караульный солдат курил

трубку и судачил с двумя какими-то мужиками. В раскрытые ворота входили люди, въезжали и выезжали сани. Присутствие было переполошено.

Осташа тоже вошёл во двор, заполненный снующим народом. Крестьяне разгружали возы, солдаты с куцыми смешными косицами волокли тюки в подклет присутствия. В одном углу двора с десятков служивых, матерясь, насаживали на копылья полозьев здоровенный короб зимней кибитки. Вдоль другой стены у коновязи стояли лошади, которых скребницами обдирали от свалывшейся зимней шерсти. У крыльца в ряд выстроились шесть чугунных пушек. Голый по пояс канонир в рукавицах на красных волосатых руках бил в зев пушки железным прутом, долбя намёрзший лёд; другой канонир изодранным банником выгребал наружу ледяную крошку. В толпе весело покрикивали подметальщики, без всякой пользы махая мётлами: велено, мол, подметать — и метём; плевать, что всё тотчас растопчут и ногами разнесут. Праздный люд глазел, как возле кучи солдатских погребцов дерутся два молоденьких солдата, и подбадривал их возгласами, давал советы. Визжала баба-лотошница, что припёрлась продавать пироги: солдаты с хохотом облепили её со всех сторон и тащили пироги прямо из рук, из дыр лопнувшего берестяного лотка, а кто-то под шумок задрал лотошнице подол и шарил по заднице.

— Чего у вас тут за столпотворение? — недовольно спросил Осташа у ближайшего солдата.

— Домой собираемся, — пояснил тот, блеснув зубами из-под усов. — Рад народ. Из Тобольска нам смена пришла. Считай, год здесь у вас куковали без баб да на казённых харчах.

Осташа протолкался к крыльцу. Здесь раскорячились носильщики, что вытаскивали огромный поставёц и застряли с ним в косяке. Где-то в глубине, за поставцом, слышался хриплый ор офицера. Осташа плюнул и свернул в конюшню, рассчитывая попасть в присутствие через чёр-

ные сени. В конюшне, в ближнем стойле конюх бил веником по морде старую лысую лошадь. Лошадь отворачивалась, фыркала, мотала башкой, бухала по доскам настила разбитыми копытами.

— Я тебе сколь раз твердил: «Не грызи коновязь!»? Сколь раз? Слов не понимаешь? — ругался конюх.

Осташа прошёл мимо пустых стойл по широкому проходу и выскочил в другой дворик, поменьше. Здесь под наветами выстроились высокие поленницы, громоздился целый ворох брёвен. Два арестанта в ножных кандалах пилили на козлах бревно двуручной пилой. Пилу заклинило. Солдат-караульный, забросив за спину ружьё с длинным штыком, обеими руками давил на комель, раскрывая распил. Осташа замер на полушаге: он узнал арестантов. Это были мурзинские старатели Микита и Антипа, которые летом пытались украсть укладочку из церкви у попа Флегонта, а потом встретились Остахе возле камня Чеген.

Осташа попятился обратно в конюшню.

— Эй, служба, — подошёл он к конюху, — что там за арестанты?..

Конюх молча и укоризненно глядел на лысую лошадь, которая обиженно отвернулась в угол стойла.

— Арестанты как арестанты, — буркнул он, нехотя отрываясь от воспитания лошади. — А тебе чего? Вместе воровали?

— Да видел я их летом как-то раз в кабаке... Вот, удивляюсь теперь, — пояснил Осташа. — Чего они натворили-то?

— Их недели две как привезли из Невьянска. Чего-то они там с самоцветами мудрили. Слободскому попу, что ли, камни тайком от властей продавали. Попа тоже вчера привезли.

— Попа?.. — изумлённо переспросил Осташа.

— А чего — попа? Думаешь, все попы хоть образ с них пиши? Всякие бывают. И шныри среди них есть почище какторжных.

— А поп где? — тускло спросил Осташа.

— Поп запирается, молчит про камни. С утра его, слышал я, под плети положили. Может, уже богу душу отдал.

Осташа, потрясённый, вышел из конюшни и застыл у стены, невидяще глядя на сутолоку большого двора. «Вот и нахлобучила жизнь дядю Флегонта... — ошарашенно думал он. — Последнего доброго человека снесло...» Осташа перекрестился, закрыл глаза и стал молиться, ничего не слыша вокруг. Что-то вдруг истончилось в душе, увязалось — как размытая грозовая хмарь вдруг увязывается в прочный жгут смерча. Ничего ведь не было просто так, в шутку, лишь бы поиграться на забаву. Игрался, и вдруг — бац! — погибель. Настоящая.

Поставец уже сволокли с крыльца, и Осташа беспрепятственно поднялся в сени. Где тут найти капитана Берга?.. Он заглянул в соседнюю камору и увидел там усатого батальонного писца, скрипевшего пером в толстой книге.

— Дозволено будет?.. — робко спросил Осташа, заходя.

Писец, задержав перо, искоса глянул на Осташу, потом тщательно довёл строчку и распрямился.

— Кто таков? — строго спросил он.

— Кашкинской волости господ Строгановых оброчный крестьянин Остафий Петров, — представился Осташа по полному артикулу.

— И чего надо?

— Объявлен в розыск за разбой и поджог. Вот, явился.

— Э-э... — обомлел писарь. — Ну ты дал! На каторгу захотелось?

— Поклёп на меня, — пояснил Осташа. — Разобраться хочу.

— Нашёл где разбираться, — хмыкнул писарь. — У меня позавчера казённые чернила спёрли, кому по шее дали? Мне! Шапку-то сыми. Их благородье вон за дверью, в любой миг выскочит.

Осташа стащил шапку и шагнул к двери.

— Куда!.. — гаркнул писарь, приподнимаясь. — Нельзя туда! Их благородье с приказчиками заводскими роспись по гарнизонам делает — нельзя заходить!

— Ну, я подожду тогда, — мрачно сказал Осташа.

— Без толку. Ему сейчас не до тебя. Смену принимать надо, смену сдавать, имущество казённое пересчитать... Проваливай, короче, парень. Их благородье весь месяц занят будет. Домой иди.

Осташа растерялся совсем.

— Тебе чего бояться-то? — развалясь за столом, спросил писарь, взбивая пером усы. — Ну, беглый ты. Всяко бывает. Тя поймать — дело долгое. Живи. Вон в прошлом году из Дегтярки парня привезли: значился Никитой Суслиным, девятнадцать лет в бегах. А парню всего семнадцать! Он давай кричать: это дед мой был беглый, тоже Никитой Суслиным звали, помер он ещё до Пугача! Вон сколько лет розыск идёт, а человек живёт себе спокойненько.

— А парню чего за это было? — спросил Осташа.

— Да ничего. Выпороли и в рекруты отдали. Да ты не бойся, на этот год всех рекрутов уже набрали, тебе не грозит.

— Нет, я так не согласен. — Осташа покачал головой.

— Дурак, езжай к себе, к девкам! — увещевал писарь.

— Дома меня опять в холодную засадят...

— Ну и засадят, и чего? Посидишь пока там. Потом тебя сюда же и привезут. Пока то да сё — целый год на казённых харчах. Хоть и скушно, зато без забот. За год безделья всего-то разок спину плетью выглядят, и всё! И тебе хорошо, и людям мороки меньше.

— Каким людям? — не понял Осташа.

— Ну, каким? — Писарь хитро посмотрел на него. — Мне, к примеру. Ты прикинь: мне ведь надо тебя в десяти книгах найти да строки подчистить — ты же честный получаешься! Ре... рзелью... бумазеи разные разослать: в Кашку твою, в Илим, в губернию, господам твоим... А так мы раз в год беглым реестру шлём, да и всё. А с тебя надо будет

ещё показанья брать, да проверять от других людей. Господь с тобой: эдакая волокита!

— Ах ты, семя крапивное! — разозлился Осташа. — Тебе, значит, честное имя человеку вернуть — лишние хлопоты?!..

— Да плевали тут все на твоё имя! — воскликнул писарь. — Тебе-то чего? Тебя что, канонизировать собрались? Имя ему честное подавай, кочетку вёсельному! Живи, как хочешь! Припечёт — народ свидетель, что греха на тебе нет!

— А ещё присягу давал, служба! — рявкнул в сердцах Осташа, бросился к дверке в горницу капитана и замолотил кулаками.

Писарь, замычав, рванулся к нему, схватил за руки, начал отгаскивать, завопил шёпотом:

— Да ты чего, деревня?! Запорют!..

Сопя, они сцепились, и вдруг дверь распахнулась. Удар в бровь откинул писаря на стол: взметнулись бумаги, показались чернильница. Удар в ухо с искрами и звоном обрушил на пол Осташу. Капитан Берг стоял в проёме со злым, перекошенным лицом и левой ладонью судорожно разминал костяшки правого кулака.

— Чего творите, каналы?! — яростно крикнул он.

Осташа увидел за спиной капитана, что из его горницы через другую дверь выходят приказчики в тулупах и волосатых шубах, оглядываются и скалятся.

— Ваше благородье! Он буянит!.. — жалобно заголосил писарь.

— В холодную его! Караул! — гаркнул капитан.

— Слово дай сказать!.. — заорал Осташа, приподнимаясь.

Но капитан уже развернулся спиной, перешагивая порог.

— Попомни Стёпку Чумпина!.. — отчаянно крикнул капитану Осташа. — Того тоже не слушали, а теперь Тагил Кушву душит!..

Капитанская дверь остановилась, не долетев до косяка.

Писарь уже вскочил, схватил с подоконника рожок и хрипло задудел тревогу.

— Отставить! — раздражённо приказал капитан Берг.

— Стёпка Чумпин, вогул, чертознай, тоже «слово и дело» кричал, когда магнит в горе Благодать нашёл! — говорил Осташа, поднимаясь на ноги. — Татишев, горный начальник, на полдня всего опоздал, и Демидовы про магнит прознали, завод велели строить! А Стёпку за то вогулы на горе живьём сожгли!..

Осташа договаривал, уже глядя в холодные, жёсткие глаза капитана Берга.

— Знаю сию историю, — оборвал Осташу капитан. — А тебе чего надо?.. Отбой! — через плечо бросил он солдатам, которые на звук рожка затопали за стеной, молча полезли в дверь каморы, сбивая шапки низкой притолокой.

— Помните, ваше благородие, за что осенью велели крестьянина Остафия Петрова в осляную в Илеме посадить? — спросил Осташа.

Капитан сузил глаза.

— Ладно. Пройди туда, — сказал он, подтолкнув Осташу в сторону своей горенки. — Ко мне никого не допускать! — строго велел он писарю, прошёл вслед за Осташей и захлопнул дверку.

— Я и есть Остафий Петров, — сказал Осташа.

Капитан Берг был при полном параде: в зелёном камзоле с малиновыми отворотами, со шпагой, в парике и в шляпе пирогом. Правда, камзол его был штопанный, орденская лента через плечо выцвела, пожелтевший от времени парик насорил на плечи капитана мукой, а на сапогах с тупыми носками и высокими голенищами виднелись свежие пятна чернил, которыми денщик закрасил потёртости. Капитан выдвинул кресло из-за стола и сел.

— Мне донесли, что сбежал ты, сторожа убил и контору поджёг.

— Я только сбежал, а убивал и поджигал не я, — сказал Осташа, стоя перед капитаном. — Но то споначалу рассказывать надо.

— Ну, изволь, — согласился капитан. — Только коротко.

— Батя мой...

— Давай без генеалогии, — поморщившись, перебил капитан.

Осташа споткнулся, не поняв незнакомого слова, подумал и решительно продолжил:

— Батя мой был сплавщиком. При мачехе Лукерье с нами жили братья её — Гусевы. Четверо их было. Они извозом занимались и кабак держали. — Осташа говорил медленно, в рассказе срезал острые углы, чтобы капитану было понятно: так на сплаве гибельная лодка срезает мысы. — Мачеха ещё до Пугача погибла. В бунт Гусевы Пугачу предались. Когда Белобородова прогнали с Чусовой, кто-то из бунтовщиков передал Гусевым бочки с царской казной, чтобы спрятать. Кто передал — мне не известно. Гусевы Чусовой не знали и прятать бочки батю моего силком принудили. Потом хотели батю убить, чтоб свидетеля не осталось. Сами же упились вином из царёва клада. Батя от пьяных Гусевых сбежал с золотом и закопал его где-то в ином месте. Гусевы после того в разбой ушли, потому что теперь за потерянную казну ни от властей, ни от бунтовщиков им пощады не было бы...

— А чего ж они с твоего отца казну не стрясли? — сразу спросил капитан. — Он же не скрывался, верно?

— Мой батя на слово был крепкий человек. Он решил, что казну только сам царь Пётр Фёдорович заберёт. Он бы и на пытке про казну не сказал.

— Запытать-то всё равно могли бы насмерть...

— Тогда совсем бы не осталось надежды узнать, где клад.

— А тебе отец места не открыл? — с прищуром спросил капитан.

Осташа покачал головой.

— А ежели бы Гусевы тебя пытать стали, он бы сказал?

Осташа вздохнул:

— Нет.

Капитан с сомнением хмыкнул, скрестил на груди руки.

— Про клад пытаться бесполезно, — с лёгким снисхождением пояснил Осташа. — Клад на пытошные слова не объявляется, уходит. Фролка, Стеньки Разина брат, сказал палачам о разинскихкладах в Жигулях. Его четыре лета воеводы по Волге таскали, заставляли землю рыть, а ни единый клад им не дался.

Капитан насмешливо фыркнул, поразмыслил и спросил:

— А что это, позволь, за притча, будто клад возьмёт тот, кто поймёт, в чём суть истории? Ну, дескать, четверо братьев Гусевых — скала Четыре Брата?

Осташа понял, что капитан тоже расспрашивал людей о деле.

— Я отгадки её не знаю, — ответил Осташа. — А клада на том бойце нет. Эта тайна лишь самому царю откроется. Больше никому.

Капитан презрительно сморщился:

— Тщитесь подражать народам иных держав в изобретеньи легенд? Образованности у сермяжников не достанет, братец.

Осташа опять не понял, собрался с мыслями и продолжил:

— Батя недавно на сплаве погиб. Так сложилось, что вместе с одним из Гусевых, которого вы изловили...

— Ну-ка, постой! — снова перебил капитан. — Переход — это и есть твой батя?

— Он.

— Значит, я козла в огород пустил, когда Гусева к нему на барку определил?

— Оба же сгибли-то, — возразил Осташа. — Какая разница теперь?

— А почему ревдинский сплавной староста Крицын так ратовал, чтоб я разбойника на барку Перехода посадил?

«И тут Калистратов умысел... — подумал Осташа и сразу вспомнил рассказ Нежданы. — Нет, не случайно тут всё...»
Но выдавать сплавщиков Осташа ни за что бы не стал.

— Потому что батя лучший сплавщик был. Он всегда барку до места доводил. А приказчик небось и не знал про клад.

— Но теперь, значит, конфузия вышла? Утонули и сплавщик, и разбойник?

В вопросе капитана Осташа почуял подвох.

— Утонули, — твёрдо сказал Осташа. — Только другие сплавщики про батю слух пустили, что на самом деле он не утонул, а убил барку и убежал, чтобы казну забрать. Но это поклёп. Батя ведь и так казну мог забрать. А слух нужен, чтобы батино имя опорочить и меня к сплаву не допустить. Я-то ведь тоже должен был сплавщиком стать. Я бы хорошим сплавщиком был. Многим нынешним хвост бы прищемил. Вот и отгёрли.

— Ты, братец, себя высоко ценишь, — заметил капитан.

— Это к делу уже не относится, — мрачно ответил Осташа. — Чего не стало, того и не было. А Гусевы теперь меня убить рыщут.

— Чем ты им насолил? Ты ведь не знаешь, где казна.

— Не знаю, — согласился Осташа. — Но как-то я им дорогу перегородил... Я думаю, они решили про себя, что разгадали батину загадку. Поняли, где казна зарыта. И сразу меня убрать захотели. Видно, по их мнению, и я могу загадку разгадать и казну у них из-под носа увести, как батя сделал.

— Отчего же они сами сей момент клад не выкопают, чтобы тебе не достался?

— Зима на дворе, — просто объяснил Осташа.

Зимой и Бакирка уходит с Четырёх Братьев, а пытаря от места отвадить труднее, чем кота отучить сметану жрать.

Капитан размышлял, проникательно глядя на Осташу:

— А может, ты всё-таки знаешь?..

Осташа, зыркнув, угрюмо ответил:

— Если бы знал, так они меня трясти бы начали, а не губили.

— Коли они догадались, и ты догадаться мог. Соперник.

— Они не догадались. У них ума с курячью серку. И я не знаю.

Капитан Берг крепко помял бритый подбородок.

— Ну, а где скрываются Гусевы?

— Один, Яшка, в скиту. Другой, Куприян, не знаю где.

— А третий?

— Сашка с баркой утоп, сам знаешь.

— А четвёртый?

— Малафей-то вовсе полоумный был. Он сгиб, ещё когда казну прятали. Упился царёвым вином и блевотой захлебнулся. Его на Четырёх Братьях и зарыли.

Капитан Берг снова хмыкнул.

— А-ля рюс смерть в бочке мальвазии, — пробормотал он. — Что-то, братец, у тебя в рассказе всё эдак эфирно... — Глядя Осташе в глаза, капитан пошевелил в воздухе пальцами, будто бабью титьку пожатал. — Домыслы одни.

Осташа и сам чувствовал, что как-то шатко всё, неуверенно...

— А домыслы потому, что не знаю я ничего, — сказал он даже с обидой. — Как придумал, так уж и поведаль.

— Почто же ты со сказками ко мне заявился?

— А я к тебе не сказки про клад рассказывать пришёл, — огрызнулся Осташа. — Это ты сказок наслушался от доносчиков своих...

— Так зачем же пришёл-то?

— Да как же зачем! Меня ведь в побеге, в поджоге, в убийстве обвиняют! В розыске я!

— Ах да... — с досадой вспомнил капитан, встал из-за стола, отвернулся к окошку и захрустел пальцами. — Ну, и чего там?

— Яшка Гусев илимскому старосте денег дал, и староста на меня донос настрочил. Ты меня велел в осляную посадить в Илеме. А там ко мне Яшка явился. Сначала хотел через окно меня застрелить, да ружьё осечку дало. Тогда он сторожа зарезал и поджог контору, чтобы я сторел. А я убёг.

Свидетелем тому Фёдор Мильков из Каменской пристани, приказчик. Он вместе со мной сидел, всё видел, подтвердить может. Ему врать незачем. Его-то в осляную сунули за кабацкий переполох по пьяному делу, случайно. А я не тать, не беглый. Я от хозяев, от оброка не скрывался, недоимок не имею. Я не убивал никого, не поджигал. Я хочу, чтоб с меня грех сняли да обратно меня домой отпустили.

— Ну, Милькову твоему доверья нет, — вздохнул капитан. — Кто тебя знает, на чём вы сговорились, чтоб он тебя выгородил...

— А кому тогда доверие? — разозлился Осташа. — Может, Яшке Гусеву?

Капитан Берг вдруг развернулся и с улыбкой посмотрел на Осташу.

— Точно, — согласился он. — Гусеву. Вот ему я поверю.

— Дак поди и спроси, — грубо сказал Осташа.

— Вот ты мне его достанешь, я и спрошу.

Капитан испытующе глядел на Осташу.

— Как я тебе его достану? — опешил Осташа. — Он же в скиту...

— Выведешь солдат на скит.

Осташа замолчал, тоже разглядывая капитана Берга. Капитану было плевать на него. Капитана клад заинтересовал.

— Я в расколе, — веско предупредил Осташа. — Мне за выдачу скита смерть положена.

Капитан вдруг прошагал мимо Осташки к дверке в камору писаря, приоткрыл её и приказал:

— Пошёл вон! Живо!

За стеной протопали торопливые шаги.

Капитан перешёл к другой двери, выглянул и вернулся.

— Вот теперь никто не подслушает. Можно и договориться. Выбирай. Или за поджог и убийство я тебя на каторгу сошлю, или ты мне скит с Гусевым выдашь. Про выдачу никто не узнает. Завтра я солдат отправляю до Ослянской пристани на смену караула. Те солдаты тобольские. Они на Чу-

совой люди чужие, про тебя никому не расскажут, потому как ни тебя, ни других людей на Чусовой не знают. Сержанту скажем, что ты, к примеру, крестьянин из-под Сысерти, другое имя назовём. Поедешь в кибитке, никто не увидит. По пути и возьмёте скит. Я велю сержанту отпустить тебя сразу, как изловите Гусева. Ты — домой, а Гусева — под замок в Ослянке. Дальше — моя забота, а тебе — воля.

Капитан говорил, а Осташа даже дышать начал через раз, наливаясь яростью. Да, капитан поверил ему, что он не убивал и не поджигал, что он не знает, где казна... Но капитан поверил и Гусевым, будто те догадались о месте клада. Почему всё одинаково? Почему при первом же слове о царёвой казне с ним, с Осташей, сразу начинают торг? Хоть Конон с Калистратом, хоть капитан Берг — один и тот же разговор... И сулят-то не своё, а то, что Осташе по праву принадлежать должно: его собственное имя честное. Впрочем, нет, не имя — душу его обещают вернуть. Имя Перехода Осташе на пару с батей дадено. Коли батя казну спрятал, то Осташе искать её, чтобы отдать, всё равно что душу располовинить и дырнику подарить. Возможно ли от души половинку оторвать? Можно ли у ведра, до краёв налитого, полдна отломить и надеяться, что воды только половина вытечет?

Капитан молчал, видя немой гнев Осташи, и вдруг сказал: — Ну-ка пойдём со мной, покажу чего.

Он первым открыл дверь, прошёл в сени, стал спускаться в подклет. Осташа шагал за капитаном. В подклете в каморе на лавке сидел солдат-часовой, подшивал дратвой подсумок.

— Дай-ка, Михалыч, мне ключ, — потребовал капитан.

Солдат вскочил, бросил заделье и схватил длинное ружьё, прислонённое к стене; вытаращив глаза, торопливо протянул большой ключ.

Капитан наклонился к низенькой толстой дверке, запертой на амбарный замок, отомкнул её и потянул на себя.

— Пролезь-ка, чего увидишь? — кивнув на проём, предложил он.

Осташа, прижав шапку ладонью, полез в дверь и в полумраке едва не сверзился в пустоту, но успел нащарить ногой ступеньку. А дверь за его спиной захлопнулась, и дужка замка лязгнула в петле.

«Да ведь это ж арестантская камора!» — понял Осташа и тотчас прыгнул обратно к дверке, ударил в неё кулаками.

— Посиди, подумай, — услышал он глухой голос капитана Берга.

Осташа сорвал шапку и швырнул её куда попало: опять его провели! Ну что же он за дурак! Сколько же можно по своей простоте в неволю попадать!

Внезапно до слуха Осташи донёсся стон. Осташа резко повернулся, невидяще вглядываясь во тьму, осторожно спустился со ступенек на земляной пол. Глаза потихоньку привыкали. Осташа разглядел невдалеке скамью и на ней — какую-то грудку тряпья. Осташа подошёл и неуверенно потрогал.

— А-а!.. — тихо раздалось из-под тряпья.

И тут Осташа понял. Это на скамье, на животе, свесив до земли руки, лежал человек, закинутый драной лопотиной.

— Дядя Флегонт!.. — крикнул Осташа, падая на колени.

Он потряхнул Флегонта рукой, и Флегонт по-щенячьи взвизгнул.

— О боже!.. — сорванным, глухим голосом просипел он.

Осташа понял, что причинил боль: небось вся спина у Флегонта после плетей была сплошным рваным мясом. Флегонт чуть повернул косматый ком головы, и Осташа увидел отсвет глаз.

— О-о... Остафий... — выдохнул поп. — Привёл бог... Осташа, умираю я... Прочти надо мной...

— Оклемаешься, дядя Флегонт... — в страхе забормотал Осташа.

— Выдали меня... Взяли... Дыбой ломали, всё палкой отбили... Кончаюсь... Я им ничего не сказал... Мо... мо-

настырь Невьянский... попадьё мою... деток... Туда... О... обещали...

Осташа увидел, что изо рта у Флегонта течёт кровь. Руки его безжизненно лежали на полу ладонями вверх — белые, как лёд.

— Про батьку твоего... не сказал, нет... — сипел Флегонт.

— Чего про батю?... — помертвев, спросил Осташа.

— Камни мои... укладочки... он возил... Я платил ему...

Осташа сразу всё понял: значит, это батя увозил от Флегонта самоцветы, скупленные Невьянским монастырём у старателей Мурзинки! И деньги брал!

— Я просил... — твердил Флегонт. — Он не гордый был... Только спрашивал... от бога или от барина...

Осташа видел напряжённый блеск глаз Флегонта: ему было очень нужно, чтобы Осташа почувствовал, понял.

— Я платил... Он брал... Не гордый... Подними меня...

Осташа вскочил на ноги, сверху обнял попа под мышки, с трудом приподнял. Флегонт прерывисто закричал, изо рта у него повалилась какая-то кровавая каша.

— На... на спину... — прохрипел Флегонт.

Он снова кричал, пока Осташа переворачивал его и укладывал на скамью вверх лицом. Мученически выкатившиеся глаза его были словно пузыри на лужах слёз.

— Они думали... тело терзают... и душе больно... А не больно... Я прошёл через всё... всё спытал... Ты слушай меня, Остафий... Ты раскольник... да все еретики, все... Думаете, душа как тело... только бестелесное тело... Ей всего как телу надо... С ней всё, как с телом можно... Нет... Душа... она не дым, не ветер, не свет... Душе нет сравненья... Я знаю...

Флегонт наклонил голову, глядя на Осташу, и неожиданно полновзвучным голосом произнёс:

— Не так верим!

Он всё вперивался в Осташу глазами, будто ждал ответа, и вдруг Осташа понял, что Флегонт уже мёртв.

ГОРНАЯ СТРАЖА

— Подержи, Гордейка, занавесочку, — велел Агей, выглядывая из кибитки и вертя головой. — Ага, точно... Вон она, изба-то. Видите, братцы, на челе два венца новых, тёмных? Это мы по избе из пушки жажнули.

— Сам Белобородов, что ли, там сидел? — вытаращил глаза доверчивый Гришка. — Убили?

— Я ведь говорил давеча, дырявая твоя башка, — с досадой ответил Агей, — не было его уже! Он в этой избе стоял, когда воры только в первый раз Старую Утку осадили. А когда мы Паргачёва скинули, Белобородов-то ушёл на Екатеринбург. Ребята уж так — душу отвели. Изба-то, понятно, не виновата. В ней и жила-то какая-то старуха древняя, которая и как звать её давно забыла. Да у солдат сердце придавило. Шестерых наших убили паргачёвцы.

— Это когда ты у Гагрина был? — переспросил Гришка. — А когда же ты был под Бибиковым, под генералом?..

— Дурень, не зли, — осёк Гришку Ефимыч, старый сержант. — Под Бибиковым вон Верюжин Иван служил.

Иван Верюжин, куривший трубку, молча кивнул.

Кибитка катилась по ледовой дороге, потряхивалась, скрипела. Солдаты единой плотной кучей сидели и лежали на сене и друг на друге, в лад покачивались на колдобинах, кренились то налево, то направо, но почти не шевелились. Агей всё глядел на деревню Курью в проём, откуда в душную, провонявшую, но тёплую глубину кибитки несло холодом. Гордейка послушно держал заскорузлый от инея и грязи полог, чтобы солдаты могли рассмотреть дом, по которому когда-то выпалила пушка Агея. Был Гордей, крестьянский парень из Сысерти, среди солдат чужаком, а потому больше угрюмо молчал.

Повизгивая полозьями, караван кибиток двигался по тракту Чусовой. Река длинной излучиной огибала низкий мыс, за которым в ряд растянулись домики Курьёй. Сама же курья —

старица — просторным устьем мелькнула справа и сразу была заслонена бурым обрывом камня Осыпь. Камень походил на шмат жилистого мяса, из которого поверху недогрызенными костями торчал ломаный, кривой, низкорослый соняк. Низкое небо сплошь забили серые, рыхлые тучи — будто говяжьи плены, непрожёванные, да и выплюнутые на стол.

Отлогий мыс перед деревней Курьёй сплошь занимало большое плотбище. Сегодня праздновали Сретенье, зима с летом встречалась, а потому на мысу было пусто: не сновали мужики, не стучали топоры, костры не дымили. Утренний снежок покрыл кучи щепы и опила, растащенные ногами по всему плотбищу, — будто крошку забелил молоком. Забыто, застыло громоздились груды брёвен, плах и тёса-палатника. На высоких срубах-чубашах словно замёрзли остовы барок, рёбра которых только начали обрабатывать плоть бортовин. Одиноко, голо торчали в хмурое небо тощие стояки журавелей. Из их клювов свисали пряди вытяжных снастей, на которых подымали к баркам тяжёлые, толстые доски боковней и порубней. Истоптанные сходни на сваях были перекинуты повсюду туда-сюда и сикось-накось. Они казались настолько заброшенными и ненужными, что не верилось, будто человек может пройти по ним и не сверзиться, не рухнуть, не поломать ног.

— Знаете, братцы, зачем они барки на таких высоких срубах строят? — спросил Ефимыч, оглядывая солдат.

— Положено так, значит, — уверенно ответил Гришка.

Солдаты равнодушно молчали.

— А это затем, что когда весна приходит, Чусовая этот мыс топит, напрямик течёт, — всё равно пояснил Ефимыч. — Когда вода подыметесь до нужной высоты, на какой барка на переборах брюхом не садится, тогда барку половодьем и снимает. Мудро придумано.

— Полно, Ефимыч, зубы заговаривать, — весело сказал кудрявый Васька Колодяжинов. — Не забудем. Ты ж обещал мерзавочку до Утки прикончить.

— Ну и добро, — усмехнувшись, без спору согласился Ефимыч.

— Гордей-ка! Ну-кошь! — прикрикнул Васька.

Солдаты оживлённо зашевелились. Гордей бросил занавеску и покорно полез куда-то в груды вещей и солдатских погребцов. Он сидел с краю, отгиснутый к дерюге кибитки, — на самом неудобном и самом холодном месте. Солдаты кто откуда вытаскивали оловянные чарки. Гордей протянул Ваське бутыль, в которой ещё плескалась на дне казёнка.

— Э-эк! — крикнул Васька, рассматривая посудину на просвет и примериваясь. Он ловко разлил водку по чаркам так, что остатка не осталось. — Вот и всем поровну.

Старый солдат Сысой по прозвищу Жила бросил на бутыль зоркий, придирчивый взгляд — не соврал ли ухарь Васька?

— А Гордею? — спросил Гришка.

— Молодой ещё, — ответил Ефимыч.

— Мы — служба, а зипуннику и так хорошо, — сказал Агей.

— Во чьё здравьице? — тихо спросил Онисим Хомутов, глядя в чарку.

— Во своё, — буркнул Агей и опрокинул казёнку в рот.

Солдаты дружно выпили, помолчали, ёрзая и устраиваясь друг на друге обратно. Неутомонный Васька опять подал голос:

— Слышь, Ефимыч, в Утке-то запас поправить надо будет...

— Поправим, — охотно согласился Ефимыч. — И Суворов солдат чаркой уважить любил, а нам сам бог велел.

— Это хорошо, — белозубо заулыбался Васька из-под чёрных усов. — А я думал, ты закочевряжишься. Дескать, пост, грех. Придётся, думал, нам Старую Утку, как Белобородову, боем брать.

— А чего он её брал? — тотчас спросил Гришка.

— Он с сылвенских заводов шёл, — пояснил Ефимыч. — Для него Утка воротами на Чусовую была.

— Силищи зипунной у него немерено было, — мрачно сказал Агей. — Только как взял Утку, так всё в пшик и пошло... Растеклась вся силища мелкими струйками.

— С зипунами — оно всегда так, — подал голос Сысой. — Мы, зипуны, долготерпимы, да в гневе на ближнем отходчивы... Нам много не надо. Отмстил народ — и по домам.

— Ну уж да, — вдруг встрял Богданко, солдат из молодых, ещё не обмятый, не смирившийся. — Вам, зипунам, до гнева и дела нету. Как набили все мешки, что с собой прихватили, так и рванули по деревням обратно. Бросили Белобородова, суки.

— Ты чего на меня лаешь? — обиделся Сысой. — Ефимыч, он меня забижает! Я, что ли, с Белобородовым-то был? Я в Тобольске верой и правдой служил! Я не бунтовщик! Это сам ты, Богданко, бунтовщик! Выдай его, Ефимыч!

— Служил бы я тогда вон хоть вместо Васьки — ушёл бы к бунтовщикам, — сказал Богданко, дёргая губами.

— А присяга, братец? — укоризненно спросил Ефимыч.

— Чего присяга-то? Всё едино на солдатчине век окончу... Не всё ли для меня равно, по какую сторону от пушек? Там бы хоть душу отвёл...

— Глупое говоришь, — сказал Ефимыч. — Присяга солдату важней всего. Я вот вам всем, братцы, в поученье историю расскажу. Было это около здешних мест лет двадцать с лишним назад, в крепости Красноуфимске. В тамошнем гарнизоне служил барабанщиком солдат Фома Антонов. Как-то с караулом стоял он в дозоре, и напали башкирцы — у них тогда бунт был. Весь дозор перебили, а Фому Антонова в полон взяли и сказали: хочешь жить — иди впереди нас к крепости и барабань. Мы оружие своё с виду уберём. За стенами подумают, что мы — посольство какое, и ворота закрывать не станут. Ну, Фома перекрестился, забарабанил и пошагал. Он идёт, грохочет; они едут, лыбятся. И не знают, дикари, что Фома-то барабанит тревогу! В крепости увидели их, поняли всё и ворота затворили. А потом всех

башкирцев со стен из пушек так наугощали, что те вряд ли до степей своих доползли. Вот что значит присяга!

— А Фома этот? — хмуро спросил Богданко.

— Фома, понятно, сгиб, — с удовлетворением подтвердил Ефимыч. — Но он-то хотел ещё пожить, не то что ты. Молод ты, потому и помирать тебе легко. Чего плачешь? Ну, отдали тебя в солдаты — беда, конечно. Беда, да не погибель ведь. Тебе ж всего сорок три будет, когда службу закончишь, если раньше не выкрутишься, как тот же Белобородов. Он-то из канониров охтинских был, в тридцать лет расчёт получил. А и сорок три — не годы. Волю выслужишь, женишься, ещё и до внуков доживёшь, а то и до правнуков. Человеческий век, братцы, до-олог.. Это человеку лишь на войне понять дано, когда тебя любая пулька сократить может, и единый-то вечерок на солдатском биваке целой жизнью кажется... Не грусти, Богданка. Мне вот уж за писят, и выслуга не близко, а я и то всё ещё бабу на уме держу, жениться хочу, как спишут.

Чуть захмелевший, добродушный Ефимыч приобнял Богданку за жёсткие, неподатливые плечи.

— Тебе, Ефимыч, сразу бабкой надо было родиться, — буркнул Агей. — Курица ты. А ты, Богдашка, дурак. Думаешь, бунтовщики как на Масленице веселились? Наши их тоже жучили, только шерсть летела. Когда мы Утку отбили, так подсчитали, что Курлов, сержант тамошний, которого на батарее зарубили, пушками своими полсотни домов в щепу разнёс — вот как отстреливался. На каждую пушку, что бунтовщикам досталась, — по три дома. А избу кержацкую разбомбить — это тебе не ядром пару венцов выбить, как мы потом в Курье пошалили...

— Да и присягу тоже перед богом даёшь, — добавил Васька Колодяжинов. — Эдак легко её с плеча не стряхнёшь... Когда воры к Екатеринбург подступили, мы думали: конец нам. Хоть казну и увезли в Тагил, а крепость-то держать надо всё равно. Причастились, надели рубахи чистые

и стояли. Умирать — дело солдатское. Жалко зипунников, конечно, а присяга есть присяга. Так, брат, нельзя.

Богданко молча плюнул точно в щель за пологом и отвернулся.

— Это как это — казну в Тагил увезли? — вдруг всполошился Гришка. — А ведь шептали, что Белобородов казну взял!..

— Он в Шайтанке демидовскую казну взял, — пояснил Сысой. — Я доподлинно знаю. Двадцать тыщ, а то и больше. А в Екатеринбурге — казённая казна от горного начальства. Её-то спасли.

— Двадцать ты-ыщ!.. — потрясённо простонал Гришка. — И чего?.. Всё пропили зипунники?

— Столько не пропьёшь... — пробормотал Онисим Хомутов.

— Говорят, казну эту Пугачу и переправили, — пояснил Агей.

— Кто с такими деньжищами расстанется? — хмыкнул Богданко. — Прикарманили небось. А Белобородов чего про это сказал?

— Чего он мог сказать? — Агей надвинул шапку на глаза. — Он деньги-то не отбил. Он оставил казну в Утке, Паргачёву, подполковнику своему. А мы бунтовщиков из Утки выбили и Паргачёва повесили. Белобородов оттого и приступался к Утке во второй раз, чтобы казну-то забрать. Да уж тут наши промашку не дали — отшибли его. Наш-то Гагрин, премьер-майор, такой жакан Белобородову под хвост засадил, что тот с Чусовой в Касли бежал, оттуда — в Саткинский завод, где к Пугачу и приник. Он и не знал, что с казной сделалось. Он в июне под Казанью Михельсону в плен попал, а в сентябре ему в Москве уже бóшку отрубили.

— Поторопились Паргачёва с Белобородовым казнить, — вздохнул Сысой. — Надо было сначала про казну выведать...

— Тебя, мудреца, рядом не было — государыню уму поучить.

— А у нас говорили, что казна всё равно Пугачу попала, — подал голос Иван Верюжин. — Кержаки да сплавщики её в Утке от Гагрина спрятали, а летом переправили Пугачу, когда тот на Каме крепость Осу взял. Говорили, что сам Чика-Зарубин, который себя графом Чернышовым называл, горную казну Пугачу привёз.

— Лжа! — возразил Ефимыч. — Про Чику я всё знаю. Чика тогда уже в плен попал и в Табынском остроге сидел, а потом его в Уфе повесили. На Чусовой Чики не было никогда.

— Золото, братцы, мимо людей не пробежит, как заяц мимо волков не проскочит. Кому-то казна всё ж таки досталась, а кому — нам не узнать никогда! — торжественно объявил Сысой и вздохнул.

— Аминь! — буркнул Агей.

— Приехали, служивые! — снаружи крикнул ямщик.

Кибитки воинского каравана столпились на постоялом дворе. Солдаты, побряхтывая, вылезали на свет, разминали ноги и поясницы, озирались; выстроившись в ряд, мочились под забор.

— Ефимыч, ты про мерзавочку не забудь, — напомнил Васька.

— А кого добро стеречь оставим? — беспокоился Сысой. — У ямщика рожа-то больно плутовская.

— Зипунника и оставим, — сказал Богданко. — Не сдохнет.

Гордей один сидел в глубине полутёмной кибитки — как сыч в дупле.

— Начнёшь по нашим погребцам шарить — руки оторву, — кратко пообещал парню Агей.

— Ружья с собой берите, — распорядился Ефимыч и наклонился в кибитку: — Я тебе, Гордейка, пирога принесу. Смотри давай.

...Горной стражей на Чусовой звали команды из приказчиков, инвалидов и солдатских караулов, которые оберегали угрюмый порядок на заводах и пристанях. Караулы сме-

нялись раз в год. У Ефимыча имелась засаленная книжечка, по которой он сверялся: кого принять, а кого отправить на службу. Для гарнизонов больших заводов от каравана откалывались по две-три кибитки солдат, на малых пристанях — всего по два-три человека. Почти столько же народа присоединялось обратно, чтобы к Усть-Утке собрался весь былой состав батальона. По Старой Шайтанской дороге батальон уйдёт на Невьянск и Тагил, а потом через Верхотурье — в Тобольск, в сибирский кремль с огромными, грузными башнями и низкими белёными стенами, что задрали над Иртышом растопорщенные «ласточкины хвосты».

Караван неторопливо полз по Чусовой, повторяя все прихотливые загибы, коленца и петли реки, скрипел полозьями кибиток на ледяном тракте, обсаженном ёлочками. Зима ещё ничуть не выдохлась, но как-то стало понятно, что и в этот раз рано или поздно ей придётся убираться восвояси. Весёлая свадьба отзвенела. Снега лежали толстой, смятой, уже неопрятной периной, продавленной посередке и засаленной по краям. Любовью натешились всласть, разворошённая постель остыла. Зима стояла над Чусовой, как недавняя невеста после бани — растрёпанная, раскрасневшаяся, очумелая: лохматая башка как попало обёрнута мокрым полотенцем, душегрея застёгнута криво, подол задрался, под мышкой ушат с кучей грязного белья... А дома подаренный пуховый платок остался висеть на вьюшке, зацепившись углом. Гости, опохмелившись, ушли. Лавки раскорячились поперёк горницы. Кошка ходит по столу, по скатерти, которой кто-то вытирал руки. Выбитое окно заткнуто рваной подушкой, насорившей пером. Бабкино одеяло свесилось с печи. В сенях натоптано. Снег вокруг крыльца обоссан, ворота нараспашку, в сугробе валяется чья-то потерянная шапка. Зато все тревоги позади, и можно начинать привычную жизнь с трудами и заботами, которые наладят душу, как надо.

Облегчение было и у солдат. Закончилась их недобрая служба в этих горах, заросших нечёсаными лесами, на этих

железных, раскольничьих, бунтарских заводах, утрюмо затихших под прицелами пушек, на злых, скалистых берегах этой нелюдимой, полоумной реки. Впереди дорога — лишь бы успеть до ледохода, и дальше привычные казармы Тобольска, сытный сибирский харч, тёплые, обмятые уже бабы в слободках Нижнего города. Солдаты неспешно выпивали, гоняли Гордейку на пристани за новой водкой и лениво судачили обо всём, чего видели и что приходило на ум. Больше всего — о Пугаче, словно уходом своим уже были защищены от неугасшей злобы, и можно было помянуть чёрта даже к ночи.

— Я, братцы, видел его единый только раз, — рассказывал Ефимыч, вынув из-под усов трубку и для важности прищурясь. — Со стены крепости в Оренбурге. Мой расчёт тогда караул нёс на батарее. Тут вдруг внизу, под валом, бунтовщиков целая толпа собралась. Башкиры прискакали, визжат, галдят. Мы глядим — едет сам! Вылитый царь, честное слово! Выряжен пышно, с брызгу: кафтан парчовый и зипун кармазинный, всё позументом в ладонь шириной обшито, шаровары у него канаватные, полосатые, в козловые сапоги заправленные, а шапка кунья, с верхушкой бархата малинового и с кистью золотой. Ну, понятно, конь казачий, холёный, игрёневый; седло-то киргизское, с широкой круглой лукой, серебром оковано, и вся сбруя высеребрена. Рожа бритая, хоть и разбойная, да умная и лихая. Ну — царь, чего уж там!.. Ручкой нам помахал. А наш капитан озорник был: пальнём, говорит. Мы одну пушку зарядили, да как жогнем ядром! Эх, картечью надо было! Ядро в какого-то есаула прямо рядом с Пугачом лягнуло. Есаула в клочья! А Емельян-то не струхнул, шапку снял, кровь есаулову с лица вытер, швырнул шапку коню под ноги, засмеялся, погрозил нам кулаком и прочь поскакал. Вот такой он был.

— Ежели и не царь, то всё одно царём призванный, — раздумчиво сказал Иван Верюжин.

— Понятно, — согласно кивнул Ефимыч. — Не с пустого дурака эдакой-то выскочил...

— Царёвость-то чувствуется, — буркнул Богданко.

— Хотите, братцы, расскажу, чего у нас про Пугача говорили? — спросил Верюжин.

— Давай, давай, Ваня, сыпь, — охотно согласились солдаты.

— Подвинь-ка ногу, Гордей, — распорядился Верюжин, устраиваясь поудобнее. — Так вот, братцы. Брехали у нас такое... Царь-то настоящий, Пётр Фёдорович, за волю свою претерпел. Любил он, грешным делом, выпить — ну а кто ему указ? И как-то подкатили к нему фряжские купцы. Мол, пособи: ты нам пошлины сымешь, а мы тебя поить будем за бесплатно до самого усрача, сколько хошь. Ну, царь-то рад стараться. Он был смирный, уважительный, к народу милостивый, особенно во хмелю когда. Указ подмахнул и сразу пострекотал на пристань, где у фряжских купцов корабль с вином причалился. И там, на корабле-то, свели его купцы с капитанской дочкой, фряжинкой. Девка оторви да брось была. А известно, что против фряжинки никакая баба не устоит, не то что царица-немка.

— Не трави, — угрюмо сказал Богданко. — В солдатчине любой бабе рад, разницы нет — фряжинка она, немка, наша ли...

— Через баб всегда весь грех, — согласился Сысой.

— Дайте досказать человеку! — рявкнул Агей.

— Ну вот. Стал царь-то на пристань что ни день бегать. До косушек его царице дела не было, а вот девка-фряжинка её уела. Царица-то наша, государыня Екатерина Алексеевна, терпела-терпела да и не вытерпела. Приказала своим графьям Орловым схватить Петра Фёдорыча, когда тот на карачки встанет, и сунуть в подвал под дворцом, а подвал замкнуть навеки. Всея же державе объявили, что преставился в бозе царь Пётр Фёдорыч. А царь-то в подвале пленный сидел. Десять лет сидел. Охраняли его лучшие казаки

с Дона. Они, конечно, под присягой его стерегли, да сами плакали и каялись ему, помня добрые дела его. А куда от службы денешься? И вдруг прислали казака Пугачёва Емельяна Иваныча, и оказался тот казак лицом ну вылитый Пётр Фёдорыч, который в каземате-то бороду до пуза отрастил. Вот царь его и спрашивает: «Любишь ли меня?» — «Люблю!» — казак говорит. «Отдашь ли жизнь за меня?» — «Отдам!» И велел тогда царь этому казаку принять на себя его имя и бежать на Яик, который от Петербурга далёк, недоступен, волен. И чтоб там, на Яике, поднимал казак под царское имя народ, собирал армию и шёл на столицу. А как возьмёт народ царский дворец, так выпустит Пугач Петра Фёдорыча, поклонится в ноги и имя возвернёт.

— Да не вышло, — вздохнул Онисим Хомутов.

— Тьфу, бабы сказки! — презрительно бросил Васька Колодяжинов.

— За что купил, за то и продал, — обидчиво ответил Верюжин.

— Ты, Васька, тверской, тебе не понять, — осуждающе заметил Сысой. — А я вот чего скажу. За самозванца народ пошёл бы. Может, воры какие, разбойники и пошли бы, а не народ — шиш. А за царя грех не подняться. Муж всегда жене голова, и коли при царице живой царь объявился — давай, баба, спихивайся. Я сам вот вятский, моя деревня к Ижевскому заводу приписана была. Приписка эта — нож вострый, смерть заживо. Батюшка мой с весны брал лошаадь и уходил на завод, а сёстры мои на нас с матушкой поле вспахивали. Осенью батюшка возвращался к урожаю, да весь в долгах перед конторой. К Рождеству мы уж всё своё подъедали. До весны, бывало, и ложки все искусаем, и углы в доме все обгрызём. А весной батюшка с лошаадьё — обратно на завод, а мы — головой в хомут да на поле. И вот пришёл Пётр Фёдорович и указ издал отменить приписку. Батюшка его манифест за иконами хранил, велел нам век за царя бога молить. А через полгода всего объявляют: presta-

вился Пётр Фёдорыч, и указ его царица отменяет, и всё по-прежнему. А у нас лошадь сдохла, совсем погибель. Батюшка тогда и сказал мне: прими, Сысой, муку за родню, иди в солдаты, а сход мне денег на лошадь даст. Так и ушёл я.

— Ну, пошёл зипун жалиться! — сплюнул Агей.

— Я, брат, не жалюсь, я толком говорю. Потому народ и двинул за Пугачом, что царя истинного почуял. Пётр-то Фёдорыч скомандовал Пугачу говорить народу, что манифест вернёт. Значит, не будет приписки больше! Вот хрестьяне и поднялись! В Твери-то заводов нет, чего тверякам шуметь? Это у нас заводы, потому Пётр Фёдорыч сюда и послал Пугача. Хрестьянам — приписку отменить, раскольников из расседин вывести и даровать им Палею, бороду и двоеперстие, казакам яицким — вольности за службу, и всей Расее — Юрьев день.

— Чего ж ты сам-то в Тобольске весь бунт сидел-пердел, а не сбежал к Пугачу? — вскинулся Богданко.

— А присяга, брат? — сурово осадил Богданку Ефимыч. — Воля — волей, а присяга — дело святое!

— Царю присяга поважней будет, чем царице, — упорствовал Богданко.

— А ты дотации пугачёвского попа до Тобольска, хоть одного, — вздохнул Онисим. — Нам на что присягать? На полено сучковатое?

— Пугачёвских попов издаля первых стреляли, — согласился Агей. — А ловили — и сразу в петлю, хрюкнуть не давали.

— И чего тогда же зипуны Пугача-то сдали, коли его сам царь посылал, и присягу они принимали? — спросил Богданко.

— Пугач-то присягу первый и предал, — сказал Онисим. — Пётр Фёдорыч велел ему в тайне держать, что он — не сам царь, а Пугач тайны не сдержал. Он ведь летом-то женился на Устинье Кузнецовой, яицкой казачке. Народ воочию увидел: Пугач — не Пётр Фёдорыч, коли при жи-

вой жене снова женится. И всё, братцы. Народ побежал кто куда. Понял, что обманули его. А старшины казацкие покумекали, на всё это глядячи, да и выдали Пугача.

— Говорю я вам: через баб весь грех, — упрямо повторил Сысой.

Солдаты замолчали, раздумывая.

— Наливай, Гордей!

Цепочка кибиток то сокращалась, то подрастала, но караван горной стражи по-прежнему упрямо и неспешно катился вниз по Чусовой, вниз по извилистым складкам пространства. Всё: зимняя стужа, как ветхая плотина, дала протечку тепла. Весна ещё не победила, даже ещё и на самую малость не высветила окоёмы, но сомнения в ней развеялись, и пора было браться за работу. Дома по деревенькам словно поглубже нахлобучили снежные шапки и завязали тесёмки под подбородками крылечек, зашевелили плечами раскрываемых подворий — не жмут ли полушубки в проймах? По берегам вдоль пристаней бесстыже зачернели полосы выплеснутых помоев: как всегда, хозяева поленились осенью заглубить выгребные ямы, а теперь ямы перемерзли доверху, и куда девать ополоски? А зиму всё одно пора гнать, как докучливую нищенку, — вот и обдать ей подол из поганого ведра. Между высоких сугробов закаменели тропиночки-щели, словно окопы, которые неприятелю уже ни за что не сдадутся. Даже скалы, не боясь, будто повернули свои морщинистые, заснеженные рожи к северу и повыше подняли воротники лесов, чтобы с презрительным прищуром взглянуть в глаза унылым ветрам. Зима безнадежно волочила по небу — над землёй как над самым дном — многослойные и рваные неводы облаков, уже пустых, без снегопадов, будто весь улов вывалился из прорех.

Из Сулёма по Старой Шайтанской дороге горная стража ушла на Невьянск и Тагил. Сержант Ефимыч со своей командой остался в Сулёме на постоялом дворе даже без кибитки: все ямщики подряжались до Тагила. Впрочем, как

предупредил капитан Берг, кибитка и не пролезет в чащобах, где придётся искать этот проклятый Вайлугин скит. Для такого дела под началом у Ефимыча и было семеро солдат — да ещё этот парень Гордей из Сысерти. Гордей обещал их благородию вывести солдат на скит, а уж дальше — повязать вора Яшку Гусева и доставить его на Ослянскую пристань — это забота Ефимыча. Гордею же — дорога на все четыре стороны.

Вечером Гордей отозвал Ефимыча в сторонку и, помявшись, неловко спросил:

— Дозволишь мне ружьё взять?

— На тебя мне ружья не давали, — возразил Ефимыч.

— Своё, — кратко пояснил парень, пряча глаза.

Ефимыч пошевелил усами.

— А откуда взял?

Гордей отвернулся. Да понятно — откуда. От Пугача.

— Твоему чину оружие не положено, — строго сказал Ефимыч.

— Дозволь... — неумело заканючил парень. — Мне ведь скит выдать — как приговор себе подписать... Защита нужна... Тебе капитан велел меня слушать...

— Защитой тебе будем мы, — сурово возразил Ефимыч.

— При вас-то кто на меня нападёт? Мне без вас защита нужна...

Ефимыч подумал.

— Ладно, — согласился он. — Но потом ружьё мне сдашь.

От Сулёма вниз по Чусовой солдаты пошли уже пешком. Скарб весь сложили на санки, которые тащили Гришка и Онисим Хомутов, а себе оставили только ружья с воткнутыми в стволы штыками. На Гордея со штуцером за спиной смотрели косо, с угрюмым подозрением. Любое оружие у зипунника из пугачёвских прихвостней — это смерть какого-то солдата. Вряд ли Гордей кого убивал — молод он, чтобы в пугачёвщине испачкаться. Но всё равно память о солдатской смерти висела за его плечом.

В ходьбе по ледовой дороге было уже не до пересудов. Солдаты шагали молча, невесело. Ефимыч, Агей и Иван Верюжин дымили трубками. Гришка и Онисим обиженно сопели в санных гужах. Васька Колодяжинов высвистывал марш. Путь был скушен. Из снеговых куч Паклиных и Гилёвских островов торчали голые ветки дерезняка. В деревне Романовой на обед ничего, кроме постного, не нашли. Потом опять шагали мимо лошадиных спин высоких сугробов на месте Шитиковских островов, острова Толстик, острова Кирин. Боец Афонины Брови стоял с насупленными бровями, словно у него от постылой хмари башка разболелась. За Васькиной горой уже прятались сумерки. На камне Могильном бессмысленно-радостно вкривь и вкось торчали кресты. Уже в темноте дотопали до постоянного двора в Усть-Утке.

Наутро Гордей сказал, что дальше они пойдут напрямик.

— Тебе доверья нету, — честно ответил Ефимыч. — А вдруг ты нас куда не туда заведёшь, на погибель?

— Да почто мне? — Гордей пожал плечами. — Охота лишних десять вёрст топтать — дак и идите по Чусовой...

За бойцом Красным, ругаясь на Гордея, солдаты полезли в гору, но и вправду: пересекли еловый загрибок и скастились уже к бойцу Харёнки, за которым пушились по ветру дымы деревни. В Харёнках обедали. Гордей опять отозвал Ефимыча.

— За деревней снова по лесу пойдём, по зимнику, — предупредил он. — Ночевать будем в Ёкве.

— А как же двор постоянный в Кашке? — удивился Ефимыч.

— В Кашку нам нельзя, — твёрдо сказал Гордей.

— Отчего?

— Нельзя, и всё.

Ефимыч поглядел в тусклые, мутные глаза Гордея и велел Богданке и Ваське Колодяжинову повыспрашивать у деревенских в Харёнках, что это за Ёква такая, где там ночевать, как туда идти по лесу, да и вообще: какие тут хитро-

сти? Васька ничего не вызнал, только исхитрился за час где-то так хватить хмельного, что ноги начали разъезжаться. А вот Богданко вернулся к Ефимычу мрачно-возбуждённый, решительный.

— Дорога тут прямая, говорят, и короткая, — пояснил он. — А на ночлег надо будет встать у тамошнего вогула Шакулы.

Ефимыч недоверчиво покачал головой, рассматривая отвернувшегося Гордея, и со вздохом согласился пройти мимо постоянного двора в Кашке.

Шли по зимней лесной дороге, в сторону от Чусовой. Сначала всё в гору, в гору, потом по дербё — заброшенному полю, что заросло мелким хламоством, а потом с горы, с горы. Уже под луной солдаты вышли к Ёкве. Вогульская деревня казалась пасекой: чумы торчали словно бórты, накрытые на зиму колпаками из сена. Чум Шакулы нашли легко: кто гостей привечает, тот не держит собак.

Перепугавшийся старик вогул засуетился, забегал по двору, влезая в сугробы, а его девка молча стояла у входа в чум, кутаясь в ягу и блестя глазами.

— Не знал я... Не разжигал очага... — бормотал вогул.

Солдаты один за другим пролезали в дверь низкой, совсем засыпанной снегом избы. Их голоса звучали из сугроба глухо, как из могилы.

— Мы горная стража, — важно гудел над вогулом Ефимыч. — Нам за постой денег платить нельзя. Масла нам дай, коли есть.

— Пусть девка дров принесёт, — выглянув из избы, сказал Богданко.

В стены, в пазы меж брёвен солдаты натыкали зажжённых лучин — в русском доме так бы не безобразничали, — и в избе стало светло. От девяти человек сделалось совсем тесно.

— Мусорно живут инородцы, — озираясь, заметил Сысой Жила. — Что остяки на Иртыше, что вогулы на Чусовой — всё одно...

Солдаты, стаскивая толстые зипуны, посшибали плечами висевшие на стенах плетёные морды и короба. Под ногами трещали высохшие лозины вогульского заделья. Агей срывал со стен над топчанами мятые, чёрствые шкуры и кидал их ко входу — вдруг блохи напрыгают? Васька Колодяжинов, забавляясь, сшибал с низкого потолка сосульки. Иван Верюжин покачал рукой над очагом долблёную деревянную трубу, к которой снизу, чтобы улавливать дым, была приделана кривая юбка из заскорузлой бересты. Из трубы с шорохом выкатилось и упало в холодный пепел круглое ледяное полено.

Шакула на деревянном подносе притащил из своего чума целую гору светящихся углей; потом принялся бегать, таская дрова. Огонь потихоньку разгорелся. Тепло расплзлось по выстуженной избёнке. Солдаты расселись вокруг тепла, разлеглись на топчанах, закурили. Ефимыч, хозяйственно раздвинув палкой опорные камни в очаге, водрузил на них большой чёрный котелок со снегом. Синий дым повис под потолком, и на кровле нежно замерцали капли растаявшего инея. Сосульки в дальних тёмных углах волшебнo засветились, роняя с кончиков мелкие искры.

— А ничего, не хуже, чем на постоялом дворе, — поёжившись, признался Онисим.

— Ещё бы Гришка свои онучи у меня из-под носа убрал, — согласился Васька. — Гришка, в жопу шишка!.. Сброшу в огонь!..

Гришка, развесивший онучи над очагом, не слышал Ваську. Он о чём-то озабоченно шептался с Богданкой.

— Солдатский дух — смерть врагам, — хмыкнул Агей.

— А ты тоже закуривай, — сказал Ваське Ефимыч. — Табачок — он на то и нужен. Всё загладит. Божья травка.

— Слышь, командир, а дров-то на кашу всё равно не хватает, — заметил Иван Верюжин.

— Гордей! — весело выкликнул Ефимыч. — А ну-ка — марш!

Гордей, сидевший от огня дальше всех, молча поднялся и пошёл на выход. Лицо у него было напряжённым, обиженным.

Над Ёквой за соснами ярко светила луна, но в её свете всё было каким-то неузнаваемым, чужим. Гордей пошарился по заснеженному двору в поисках дров. Показалось: вот поленица, схватился — копылья перевёрнутых нарт. Показалось — вот она, вывернул — рваный, смёрзшийся в ком бредень. Гордей подошёл к чуму, отодвинул полог и позвал:

— Эй, Шакула, ещё дрова нужны!

Вогул тотчас выбрался на улицу, заискивающе и подслеповато глядя на Гордея, сразу полез в ближайший сугроб, по-собачьи раскидывая снег руками, стал подавать поленья. Гордей набрал целое берёмя и пошагал обратно, не видя дороги. На узкой тропке столкнулся с Гришкой и Богданкой, которые мочились на угол избы.

— Щепки вставь, коли глаза заплыли! — буркнул Богданко.

С охапкой дров Гордей неуклюже пролез в домишко, наступая солдатам на ноги, прошёл к очагу и ссыпал поленья возле огня. В очаге, оплетённый языками пламени, лежал вогульский идолок с грубо вырубленным лицом. Полтора десятка подобных идолов были приставлены к дальней стене избышки и закиданы хламом. Солдаты, дожидаясь дров, взяли одного да и сунули под котёл.

Ударом ноги Гордей выбил идолка из огня и, содрав шкуру с лежанки, принялся хлестать его по обуглившимся бокам. Котёл соскочил с опорного камня и опрокинулся в очаг. Бахнул шипящий взрыв. Пол-избушки разом заволокло паром. Во все стороны полетели зола, брызги, искры и недоваренная крупа. Солдаты заорали, откатываясь к стенам.

— Чего творишь?!. — крикнул Васька Колодяжинов.

— Не трожь тут ничего! — зарычал Гордей, хватая идолка на руки, как младенца, и оглядывая солдат бешеными глазами.

— С-сучок... — выдохнул Агей, сжимая в кулаке шило.

— Смир-рна!.. — по-офицерски гаркнул Ефимыч.

Подбрасывая в руках дымящегося идола, Гордей ринулся к выходу, пихнув с дороги вскочившего Сыся.

На улице он сунул идола в ближайший сугроб и распрямился, озираясь и отирая с губ пену. Солдаты из избушки не выходили. Из окошка доносился гвалт, перекрываемый матюгами сержанта. Косматые, заснеженные вершины сосен неподвижно висели в вышине над головой, заслоняя растрескавшийся на созвездия небосвод. На лунной скатерти двора чёрной кучей с рожками над макушкой громоздился чум, вылепленный светом ясно и чётко.

Полог чума заколыхался, и, согнувшись, на улицу выбрался старик вогул — жалкий и поникший. За шкирку его держал похабно улыбавшийся Гришка. Гришка оттолкнул вогула от себя, и старик послушно поплёлся прочь от чума, потерянно сел на колоду, торчавшую из снега, повернулся к Гришке и Гордею спиной.

Гордей со всхлипом втянул воздух меж зубов, сжал кулаки и пошёл к Гришке, наклонившись вперёд, будто чего-то толкал перед собой.

— Ты, братец, к желудовке уже третий будешь, — скалясь, сказал Гришка Гордею. Он растирал руки, словно испачкал их о старика, как-то приседал и подплясывал от смущенья.

Удар в ухо отшвырнул Гришку в сугроб, а Гордей нырнул в чум. В дальнем конце чума, за занавеской из оленьей шкуры, на четвереньках стояла девка-вогулка со спущенными с зада меховыми штанами. Она задрала голову и широко разбросала в упоре руки. За её спиной тоже на коленях стоял Богданко. Левой рукой он внатяг держал вогулку за косу, а правой рукой шарил под кафтаном на брюхе, лихорадочно развязывая пояс.

Снаружи раздался крик Гришки. Богданко ещё успел обернуться, но Гордей уже подлетел и пнул Богданку в грудь. Солдата отбросило навзничь. В падении он рванул вогулку

за косу, и девка с визгом перевернулась, выдёргивая косу из лапы Богданки. Гордей подскочил к солдату и снова пнул того в рёбра. Третий пинок Богданка уже не пропустил — схватил ногу Гордея в полёте, крутанул набок и теперь сам накиннулся на повалившегося Гордея. Они сцепились молча — колотили друг друга без пощады, насмерть, били не только кулаками, а и локтями, лбом в лицо, ненавидяще хрипели, словно уже очень давно хотели драки. Рычащим комом они покатались по чуму, и чум закачался, а широкие полотнища кожаного дымохода мотнулись, как крыло. От их ветра столбом вздуло огонь в уже догорающем очаге.

Оборвав полог, ввалились солдаты, набежавшие на Гришкин вопль, но не смогли расцепить Гордея и Богданку. Парни выдирались из чужих рук и лягались. Их выволокли из чума единым узлом, как котов, и бросили в сугроб. Агей и Васька Колодяжинов с размаху лупили в них прикладами ружей и только так смогли разбить сцепку, будто отомкнули дужку заржавленного замка.

Богданку и Гордея — окровавленных, облепленных снегом и вдрызг расхристанных — встряхнули и поставили на ноги, крепко держа за плечи и за локти.

— Да вы чего же, дурни!.. — потрясённо бормотал Онисим Хомутов.

— Убью... — одной утробой давился Гордей.

— Это што ж такое?.. — очень тихо спросил Ефимыч, одетый уже по полному артикулу, будто на параде.

— За жлудовку они, — быстро сказал Гришка, бессмысленно всовывая в схваченную руку Богданки его шапку.

— Отвечать! — рявкнул Ефимыч.

— Я под тобой не служу! — просипел Гордей.

— Он первый налетел, ш-шука... — беззубо ответил Богданко.

— Да он же еретик!.. — вдруг взвизгнул Гришка, пальцем указывая на Гордея. У Гордея из ворота разорванной рубахи вывалился на грудь гайтан с целой гроздью медных крестов.

Солдаты утрюмо молчали, не выпуская драчунов. У Ефимыча задёргались побледневшие щёки. Он обеими руками стащил с седой головы свою мятую треуголку и вытер им лицо.

— Так, команда — моя! — приказал он, нахлобучивая шляпу обратно. — Богдашку, разбойника, в избу и связать!

— За что?! — вырываясь, завопил Богданко.

— Исполнять! — по-петушиному крикнул Ефимыч.

Агей и Иван Верюжин поволокли Богданку по дорожке к избе. Гришка побежал следом.

— Этого отпустите, — велел Ефимыч про Гордея.

Сысой, Онисим и Васька Колодяжинов осторожно отошли от парня. Гордей перебрал плечами, запахнул на груди разорванную рубаху, убрал с глаз гайтан с крестами. На Ефимыча он не смотрел.

— И вы тоже ступайте в избу, — приказал солдатам Ефимыч. — Васька, принеси мне его штуцер.

— Он, может, тебя тут придушит, — негромко сказал Ефимычу Васька.

— Да исполнять же, в бога душу мать вас хреном об угол! Солдаты развернулись и побежали в избу.

Ефимыч и Гордей остались наедине.

— Дак кто же ты такой, Гордей, крестьянин из Сысерти? — помолчав, спросил Ефимыч.

Парень недоверчиво посмотрел на сержанта.

— Не Гордей я никакой, — негромко сказал он. — Не зипунник. Я сплавщик с пристани Кашка. И зовут меня Остафий Петров, прозвищем — Переход.

Словно мороз продрал Осташу по хребту — будто он на холоде сбросил с плеч чужую, ненавистную, блохастую шубу.

— Сплавщик, значит... — растерянно повторил Ефимыч. — А не еретик? Почто столько крестов навесил?

— Кресты не мои, так вышло, отдать надо, — буркнул Осташа. Родильные крестики сплавщиков он забрал вместе со штуцером в Сулёме у Гилёвых, у которых с лета ещё

остался его шитик. — Ты, Ефимыч, не знаешь, куда и почто вас капитан Берг послал. А я знаю. Вы по моему делу идёте к выкрестам в скит за нелюдем сатане в зев, и при своём деле я твоим ребятам беса тешить не дозволю.

— Чего ж сразу не сказал? — растерянно и недовольно буркнул Ефимыч, приглаживая встопорщенный ус.

— Не нудили бы — и сейчас бы не сказал. А я жить хочу. И дело сделать тоже хочу. И никому себе помешать не дам.

От избы подошёл Васька с Осташиным штуцером в руках. Ефимыч принял штуцер и воткнул его в сугроб рядом с Осташей.

— Забирай, — пояснил он. — И ночуй у вогулов. От греха чтоб подальше. — Он обернулся к Шакуле, всё ещё сидевшему в отдалении на колоде. — Эй, старик, возвращайся к себе. Обиды больше не будет.

В разворошённом чуме Осташа молча сел перед очагом. Он чувствовал, как набухает разбитая рожа. Шакула, что-то шепча, ползал у Осташи за спиной, наводил порядок. Бойтэ тихо присела рядом.

— Мы тебя не узнали, — сказала она с удивлением, без всякой вины в голосе.

Осташа молчал.

— Давай одежду зашью, — предложила Бойтэ. — Вот нитки, игла.

— Жрать хочу, — ответил Осташа.

— У меня там в снегу заяц есть мороженный. Принести? — спросил Шакула.

— Неси.

Шакула, кряхтя и вздыхая, убрался из чума. Бойтэ прижалась к Остахе и вдруг стала совать ему в руки клубок суровых ниток.

— Спрячь, пока он не видел, — жарко зашептала она. — Три дерева найдёшь — обмотай и внутри сиди. Может, спасёшься.

— От чего? — не глядя на неё, спросил Осташа.

— От гибели, от чего же ещё?

— От какой ещё гибели?

Бойтэ оглянулась на полог чума.

— Шакула всё понял: солдаты за Якой в скит пошли. А скит Шакуле стеречь велели. Он там мороков рассадил. Он говорил тебе, я помню. Там все погибнут, не пройти. Бери нитки.

— Я крещёный! — злобно ответил Осташа и отшвырнул клубок в сторону. Клубок покатился, разматываясь.

Бойтэ перехватила его, как кошка. Подползая к Остахе на коленях, она быстро сматывала нитки обратно.

— Бери! — шёпотом страдальчески крикнула она, втискивая клубок Остахе в ладонь. — Бери же! Дурак! Дурак! Бери!

МЛЕНЬЕ

Как-то тягостно было видеть высокую отвесную стену Ростуна. Камень, красноватый от лишайника, казался кровоточащим. Будто между белым ледяным полем Чусовой и грязным облачным полем неба протянулась полоса ссадины, содранной ремнём кожи. А путь горной стражи сворачивал за Ростун на Серебряную, словно с большой улицы за угол избы в проулок. Ночевали в Усть-Серебрянке на постоялом дворе.

Между Осташей и солдатами тоже протянулась кровавая полоса отчуждения. Но Осташа тому был только рад. Может, так отзывалась обида от пренебреженья к нему как к зипуннику. Может, досада на то, что горная стража окунается в неведомый морок, оскорбляя его угрозу суетой и суесловием. А может, злое предчувствие беды заставляло заранее отстраняться от людей, чтобы чья-то гибель потом показалась безразличнее.

Отчуждение было так велико, что в присутствии Осташи солдаты и друг с другом-то отмалчивались, отделява-

лись кивками и сдержанной руганью. Хозяин постоялого двора даже струхнул, запер бабу на ночь в подклете.

А утром двинулись по накатанной дороге вверх по Серебряной. До Серебрянского завода было вёрст сорок. Осташа незаметно для себя вдруг начал догадываться, где же находится Вайлугин скит, в котором старец Гермон укрывает Яшку-Фармазона. На речке Шұрыше, притоке Серебряной, был такой рудник Серебрянского завода — Вайлугин. Его забросили лет десять назад. Видно, скит там и обосновался. Осташа понимал, что от скита на Чусовую, в Ёкву, в Усть-Серебрянку и на Серебрянский завод есть какие-то короткие тропы, но, конечно, скитники их держали в тайне. Значит, придётся сначала шагать по ледовому тракту Серебряной, а дальше — пробиваться сквозь сугробы по льду Шурыша. Устье Шурыша находилось где-то между заводом и Усть-Серебрянкой. Вроде бы напротив Шурыша тоже должен стоять постоянный двор.

Распогодилось: рассиялось солнце, соком налилась синева небес. Словно ровными строчками выткались на крутых берегах заснеженные ельники, ещё помнившие, как под ними на отмелях Серебряной Ермаковы ратники подпруживали реку просмолёнными парусами стругов. Ефимыч, шурясь, вдохнул полной грудью и сказал Осташе:

— Хорошо, брат!..

Ефимыч один не чурался Осташа. Даже наоборот — на показ говорил только с ним, а солдатам лишь приказывал, как чужим.

— Чего хорошего?.. — буркнул Осташа.

— Не журишь, — Ефимыч похлопал Осташу по плечу, — обомнуты к тебе ребята. Не сразу же всё. А денёк — божий!

— Плохо это, — оглядываясь, убеждённо возразил Осташа. — Плохо, что так хорошо. Куда идём-то — помнишь? Это как дверь нам ласково распахнули, а дверь-то — в пекло.

Ефимыч только хохотнул и вставил под усы трубку.

Солдаты молча и решительно топали по ледяному накату. Они были обуты в овчинные бахилы, куда ноги совали прямо в башмаках. Поверх кафтанов служивые напялили какие-то рваные шубы, драные армяки, собранные невесть где, а из-под рванья неуместно торчали палаши. Головы солдаты по-бабьи обвязали платками, а на макушках топырились мятые треуголки с облезлым красным кантом. Грозно торчали к небу длинные тонкие штыки, воткнутые в ружейные дула. Гришка и Онисим опять волокли санки.

В сравнении с солдатами Осташа казался весь подобранный, налаженный для зимнего пути, но вся его мужицкая ладность терялась рядом с Ефимычем, который браво шагал в одном камзоле с кожаной портупеей, что крестом расчертила его грудь. Свёрнутую в жгут шинель Ефимыч нёс через плечо; в засаленную косичку обсыпанного мукой пожелтевшего парика и в букли он вставил ржавую проволоку, кое-где торчавшую наружу. На бёдрах старика болталась и бренчала вся положенная по чину амуниция: пистолеты, рожок-пороховница с пульницей, сабля в ножнах, подсумок-та́шка, да ещё и неуставная фляга с хмельным. Только горло Ефимыча совсем по-домашнему было заботливо обмотано тонкой оренбургской шалью, когда-то, видать, связанной любящими руками, а теперь неумело заштопанной там и сям.

Но Осташа старался не смотреть на солдат. Какие-то они были... слишком живые. Осташа пялился под ноги и размышлял.

Нет тяжелей греха, чем властям скит выдать. Это же своей веры людей обречь на муки и поруганье. Позор. Позор несмываемый. Да и смерть неминуемая, коли старосты дознаются, кто такое сделал... Эти мысли калёным железом жгли душу.

Осташа не оправдывался — пытался думать по-другому. Какую тайну он выдал? Что, за семью печатями тайна ски-тов, что ли? Да власти, коли захотят, от петровок до Ильи-

на дня все скиты найдут, перепишут и ещё на балалайках играть научат. Тот же Федька Мильков про Вайлугин скит мигом выпалил, едва нужда заставила!

А кто в скиту? Старец Гермон, над чужими душами кудесящий, да вор Яшка-Фармазон — это столпы веры, что ли, расколоучители, праведники? Истяжьельство — Осташин ли толк? Да и толк ли вообще — вдруг ересь? Мало ли, что Мирон Галанин признал истяжьельчество толком — Невьянский-то собор его отринул! За что жизнь отдавать? Он-то, Осташа, за невыдачу скита может сгинуть на каторге, да разве в Вайлугином скиту его хоть раз помянут? И выдашь скит — ведь не погонят истяжьельцев в Сибирь. Оброком двойным обложат, как царь Пётр велел, и только. Не зря же тех раскольников, кто властям известен, зовут двоеданами.

Всё равно мало утешало... И даже не утешало совсем. Всё праздничное великолепие зимы на Серебряной словно бы надменно смеялось над Осташей.

Осташа думал: а что бы на его месте сделал батя?.. Но и о батя мысли какие-то подлые ползли. Это, значит, батя Флегонтовы укладки с самоцветами возил и деньги за провоз брал. Вот потому он всякий раз белым платком махал Флегонту, когда барка мимо церкви в Слободе пробегала... На Флегонтовы-то деньги батя и купил свою барку... А всё ж таки не воровал помаленьку из царёвой казны, как про то Колыван лаял. Но как-то всё это плоско, мелко, грязновато... А была ли батина душа плоской, грязной, мелкой? Не была! Не была! Так в чём тогда дело?

Осташа оглядывался вокруг, не замечая, что по-волчьи щерит зубы. Кто скажет? Кто объяснит? Никто. Разве что дядя Флегонт смог бы, да его уж нет. А больше некому. Ни Мирон Галанин не скажет, ни старцы с Весёлых гор, ни Пугачёв, ни сам царь Пётр Фёдорович...

Батя был человек. Не святой. Человек. Очень хороший человек. Самый лучший в мире. Он жил среди людей по-человечески. А это значит — без гордости. Не ломался в спи-

не, но мог поклониться. Уступал. Отступал. Прошал, как и Прохора Зырянкина простил за гибель Луши. И смерть он принял не святую. Ведь только сплавщицкая страсть — она одна! — повлекла его на умысел пройти Разбойник отуром. У святых успенье бывает: значит, в покое почили. А в покое ли батя смерть встретил? Какой уж покой весной под Разбойником... Батя праведно жить старался, но в праведности своей никогда до гордости не возносился.

Осташа вдруг задумался: а что у бати с Лушей было? Да нет, не в том дело, любились они или не любились. Понятно, что не было срама и похоти. А что было? Ведь батя, наверное, любил Лушу. Как будущую женщину любил. Ждал, когда вырастет она — и когда Осташа вырастет тоже. Вот вошла бы Луша в совершеннолетие, так батя бы отдал ли её другим женихам, стал бы сватов принимать, приданое готовить?.. Нет. Нелепо и представить такое. Батя бы сам на Луше женился. И всё было бы честно. И без гордости. Батя любил покойную матушку, жалел её, тосковал по смерти её, о душе молился, помнил. Но жизнь берёт своё. Пока бог жизнь не отнял, живи в том образе, который дан, — в человеческом. Луша — не обида матушкиной памяти. При живом сердце обидой гордость стала бы, когда ради одной только видимости батя от живой жизни отказался бы и за это всех бы возненавидел — и Лушу, и Осташу, и матушку.

Вот потому и брал батя деньги у Флегонта. Не за тайну брал. Про тайну всегда спрашивал: «От бога или от барина?» А уж после и принимал деньги — за работу. Сколько давали — столько брал, не рвал лишнего. Он уважал Флегонта, а Флегонту от своей тайны деваться было некуда. И батя лживым бескорытием над попом никонианским не возносился. Где лживое бескорытие — там брезгливость. Где брезгливость к чужой душе — там гордость.

И что сейчас скребёт по сердцу? Жалость? Нет, не жалость: не жалко Фармазона властям выдать. Совесть? Нет, не совесть: истязельскому скиту поделом — за ту же вогул-

ку Бойтэ поделом. А что тогда скребёт? Гордыня скребёт. Красиво это было бы: в гордыне сказать капитану Бергу: «Не выдам скита! Отправляй меня на каторгу!» А на каторге возроптать: за что? Ведь нет вины! А за гордыню мука. Господь непосильного не даёт. Непосильным только гордыня навьючивает.

Вот это успокаивало...

Шагать было тепло, а останавливаться на обед — холодно. Ефимыч решил идти до постоянного двора без перерывов. Шагали до ночи. За день отмотали вёрст десять, пока по левую руку не увидели под луной снегового бугра на крыше избы. Изба оказалась пуста. Знать, скитники выжили хозяев постоянного двора, чтобы не было свидетелей тем, кто выходит с Шурыша на тракт, кто сворачивает с тракта на Шурыш... Устье речонки узким прогалом в сплошном чёрном ельнике смотрело как раз на избу. В прогале блеснула луна, словно тележное колесо, застрявшее в колее.

...Утром солдаты столпились на тракте, не решаясь свернуть с торного пути в нехоженую теснину.

— Тут дороги нету, — пробурчал Агей. — И не было никогда.

— Без лыж нам сквозь снега не пробиться... — добавил Сысой.

— Кроме этой речки, я к скиту другой приметы не знаю, — упрямо ответил Осташа, глядя солдатам в затылки.

— А сколько до скита?

— Да столько же ещё.

— Не пройти, — решительно сказал Агей. — Худо дело. Худо.

— Худо, — согласился кто-то из солдат.

Ефимыч закурил и подбоченился.

— Я вот вам, братцы, притчу расскажу, — сообщил он. — С солдатом нашего полку было, верное слово. Как-то раз увидел он, сидит на оглобле чёрт и ноет: «День ото дня хуже, день ото дня хуже!..» Солдат, не будь дурак, зарядил ру-

жѣ пуговицей, как положено, и говорит: «А этот день тебе хуже всех!» Хлоп! — и убил чѣрта. Так что давай не ной. За два, за три дня проломимся.

— Пусть тогда он и тропит. — Агей затылком кивнул на Осташу.

— По очереди будем, — ответил Ефимыч. — А ты первым. Вперѣд!

Солдаты постояли, переминаясь, и молча полезли в снег.

Летом Шурыш был шириной шагов в десять, и по берегам без всякой там каймы приплёска сразу стоял матѣрый лес. Зимой же речонка превратилась в голую лошину. Она непонятно как, словно испуганная косуля, пролетела здесь, где в гуще дивьего глушинника нет и щёлки для праздной пустоты. По правую руку берег был сплошь крутой и высокий — всё склон единой горы, плотно заставленный ельником. До самого окоёма, докуда хватало взгляда, этот склон стоял над прочими лесами, как крепостная стена. И Шурыш казался рвом, очертившим невидимую лесную крепость по неведомой меже; казался трещиной, которой земля обвела по краю огромную гору, лопнув под её тяжестью ровной линией вдоль подножия.

Снега на Шурыше навалило по грудь, и идти было неимоверно трудно. Передний проминал, продавливал собою снежную толщу, и скорее даже не шѣл, а плыл, прогребался вперѣд так, что только голова да штык торчали над лошиной. Тот, кто шѣл вторым, погружался во взрытую борозду по пояс. Третий уже утапывал путь, выдирая из снеговой каши колени. Полегче было тем, кто двигался сзади, но последними с санями на вожжах тащились Гришка с Онисимом, и им было не легче, чем первым.

На Шурыше стало не до разговоров. С хрипом, с глухим, утробным матом солдаты, согнувшись в поклоне перед этими великими снегами, медленно пробивались всё дальше — вглубь раскольничьей вайлужьей чащи. Сменялись быстро: передний изнемогал после двух сотен шагов.

Стало так жарко, что на сани полетели армяки и зипуны, платки и шапки, только ружья присяга не позволяла оставить чужим. Солдаты шагали с красными мокрыми рожками, со слипшимися усами, с дымящимися затылками. Голыми руками отгребали снег, не ощущая в нём холода. Штаны заledenели бисером, а рубахи раскисли от пота.

— Ты, подлюга, хоть бы сказал про лыжи... — бессильно бросил Остахе Агей.

Осташа задуманно молчал. Откуда он знал, что по Шурышу нет тропы? Всегда по всем рекам зимой прокладывают пути...

— Не ложись! — прикрикивал Ефимыч. — Не останавливайся, братцы, простынете! Снег не жрите — нате сухарей!

Сухари передавали по цепочке, грызли словно от ярости — так узник грызёт свои кандалы, и всё равно набивали рты снегом. От него на языке оставалась только сырость, и ею нельзя было напиться.

Из прорытой борозды, как из окопа, можно было увидеть только то, что высоко: небо да царственный еловый гребень горы. Небо казалось совсем-совсем летним, сладко-лазоревым, как глазурь на прянике. Смертельно хотелось упасть в сугроб, раскинуть руки, отдохнуть на мягкой, тёплой перине, любуясь ласковым небом. Но Остаха понимал страшную ложь этой неги: только поддайся беззаботному пиньканью маленькой синички, которой достаточно лучика света, чтобы почуять июль, и всё — погибель. А как хорошо вокруг, как пригоже: жаркая синева, яркая белизна, покой! Но Остаха помнил о молчаливом коварстве лесов: здесь было тихо, но не было пусто. И кто-то давно уже рассмотрел их из-за еловых лап, и кто-то уже заранее, не оставляя следов, прошёл их дорогой и разбудил зимних боров, словно цепных псов.

— Братцы!.. — звонко крикнуло по лесу, отдалось по реке. Солдаты остановились, недоумённо прислушиваясь.

— Сюда!.. — опять пальнуло в ушах.

— Бла́знит... — растерянно сказал Иван Верюжин. — Эхо — нечисти отклик. Мленье в лесу-то...

— Окстись, — сурово произнёс Ефимыч. — Такое наше дело. Вперёд, с божьей помощью.

И горная стража шла по Шурышу дальше, грузно взрывала сугробы. Прозрачные тени мелькали за стволами, и чудилось, что там, за дальними поворотами, они прыгают из чащи в чащу через ледяную полосу речки, как через костёр в Купальскую ночь, и лишь снег беззвучно сыплется с подлеска.

Краски только-только загустели, собираясь синеть сумерками, когда на берегу засветилась поляна-гладун, а посреди поляны — горб сугроба над избушкой.

— Зимовье, что ль? — растерянно спросил Сысой. — Иль заимка чья?..

— Зато вовремя, — добавил Васька Колодяжинов.

Осташа промолчал. Не к добру... Слишком уж вовремя встретила им эта лесная облуга.

— Что ж, грех пройти мимо... — задумчиво согласился Ефимыч.

Избушка оказалась совсем крохотной; внутри — только лежаки. Вместо окошек зияли две узкие, еле растёсанные щели, будто между ладоней, сложенных лодочкой.

— Ни печки, ни камелька, ни чувала... — оглядываясь, пробормотал Сысой. — Для кого изба без сугрева?

Но Осташа увидел и другое. В избе не висели на стене мешочек с солью и связка с лучинами и берестой, как положено у промышленных. И красный угол не был закопчён. И брёвна, из которых сложили избушку, с концов были срублены на остриё, будто их бобры от пня отгрызали. И дверка на деревянных пятках открывалась наружу, а не внутрь. Медведь — не человек: от себя толкать не умеет, только к себе лапой гребёт. Поэтому в охотничьих заимках двери делали так, чтобы они внутрь открывались — медведю не отворить, не войти. Значит, эту избу ставили не охотники. Не люди. Избу ставил леший.

Солдаты отряхивались от снега и один за другим залезали в избушку.

— Нам здесь худо будет, — тихо предупредил Ефимыча Осташа.

Ефимыч пошевелил усами.

— Коли выгоню — взбунтуют, — сказал он. — Что ж, пускай будет худо...

Но изба потихоньку обжилась, отогрелась костром, разведённым на полу, и даже с потолка закапало. Солдаты поужинали и сидели на лежаках в одном исподнем. Кафтаны, рубахи, порты сохли на палках, на стенах. В избе стало дымно, запахло мужицким потом, а за стенами, в темноте, словно нехотя, начиналась метель.

Богданко, объевшись, икал и, побагровев, задерживал дыхание, чтобы перебить икоту.

— Это у тебя душа с небом говорит, — благодушно пояснил ему Гришка.

Агей у дверки, встав на одно колено, рубил полешки. Он опустил топор и прислушался к свисту ветра.

— Ну, братцы, и пуржит!.. — удивлённо сказал он.

«И дверь на́полночь, и засова нет... — подумал Осташа. — Выживет нас нечисть отсюда...»

— Знаете, братцы, почему черти козлов боятся? — спросил Ефимыч, желая байкой подбодрить солдат. — Бог человека сотворил, и дьявол того же захотел. Начал он творить — у него чёрт вышел. Ну, чёрт — дурак. тоже, как батька его, принялся человека творить по образу своему и сотворил козла. Козёл-то, слышите, это чёртов двойник, а двойника своего увидеть — к скорой смерти. Вот чёрт от козла и бегают.

Никто из служивых не рассмеялся.

— Пурга — это ведьмы с чертями гуляют, народ на дорогах крутят, — вдруг сказал Онисим.

— Братцы, а воску у нас нет? — спросил Иван Верюжин. — Пулю бы обмазать да пальнуть в метель... Разогнали бы шутовок.

— Пусть бесятся, лишь бы нас не заметили, — опасливо ответил Сысой. — Нам бы на караул собаку-двоглазку — она нечисть видит. Сразу бы облаяла, коли что.

— На домового пёс не гавкнет, — возразил Васька. — А вот леший — да, собак боится. Я пацанёнком был, так мне случилось лешего видеть.

— Расскажи, — тотчас попросил Гришка.

— Шёл я как-то с покоса по лесу с Раскатом своим. Уже ночь была, тучи, и глухо-глухо вокруг, ни зги. Вышел на поляну, а там леший сидит на пне и лапоть плетёт. Темно ему, не видно, куда кочедык всунуть, вот он и как гаркнет в небо: «Свети, светило!» В облаках разом — полынья, и луна выкатилась. Тут Раскат мой на лешего: «Хав!» Леший и пропал, как не было. А у меня волосы дыбом, в шапку не влезают. Пока я до дому добежал, меня ветками в кровь исхлестало.

— Слышь, братцы, а ведь это небось лешего избёнка, — тихо сказал Иван Верюжин. — Здесь ведь до нас и духа человеческого не было...

И Осташа вспомнил этого лешего. Это он светлел берестяным лицом в чаще за Кокуй-городком, а потом навёл волю на неволю... Тоже ведь на Серебряной дело было.

— Почто лешему изба? — недоверчиво спросил Гришка.

— Лешие по избам друг с другом в карты играют на крыс и зайцев, как мы — на деньги.

— Он, может, сегодня с дружкой своим сойтись хотел, а тут мы, — убито добавил Онисим. — Будет нас всю ночь из избы вытрясать... А выйдешь — смерть.

— Да хватит суесловить! — не выдержав, рявкнул Осташа. — Бесы козни по нашим басням творят!

— Верно парень говорит, — поддержал Ефимыч. — Хорош самих себя пугать. Не поминайте чёрта к ночи. Страх — в бесе, а в себе — десять! Давайте спать. Васька, дуй на лучины. Отбой!

Улеглись просторно, хотя казалось, что на лежаках и пятерым места нет. Осташа не мог заснуть. За стенами свис-

тело и выло. Где-то высоко-высоко слышались скрип и шорох качающихся деревьев. Осташа всё мучился виной, что не заминил вход — постеснялся никонианцев. А теперь вот не встать, чтобы не разбудить лежащего рядом Ефимыча... Вдруг потянуло холодком. Осташа чуть приподнял голову. В темноте стоймя появилась синяя полоса. Это тихо, медленно открывалась дверь. Сейчас влетят жилистые, волосатые руки, схватят за ноги того, что ближе, и выдернут с лежака, а потом головой — об угол... Осташа рванулся, сталкивая Ефимыча, сел и двоеперстно перекрыл вход крестом. Синяя полоска вмиг погасла.

Осташа снова лёг и крепко зажмурился. И вскоре в свисте ветра различил тяжёлый хруп шагов по снегу. От шага до шага — гораздо дальше, чем если бы человек ступал. Чуть колыхнулся воздух, словно кто-то пробовал на прочность крышу и связи избушки. Будто костяные коготочки заскреблись в щелях окон. Вдруг снизу раздался очень тихий, очень протяжный треск — вроде как в подполе кто-то осторожно рвал бересту, только не было здесь подпола...

— Чуешь, крутит избу? — услышал Осташа шёпот Гришки.

— Чую, — ответил кто-то.

Осташе и самому показалось, что вся изба со спящими людьми потихоньку поворачивается. Такое же ощущение бывало, когда на рыбалке заснёшь в лодке, а лодка поплывёт.

— Страшно, сил нет... — шептал Гришка.

— Я уйду, — вдруг сказал голос Богданки. — Не могу тут, в теснинах... Давит душу... Давно со службы бежать хотел, а сейчас вовсе невтерпёж.

— Куда отсюда денешься-то?..

— В скит и уйду... Я сегодня увидел его — никому не сказал, что видел. Дойду. Прямо сейчас уйду..

Осташа понял, что Богданко слез с лежака, шарит по стенам в поисках одежды. Осташа опять поднял голову, но ничего не увидел.

— Эй, Богдан, — хрипло позвал он. — Сгинешь. Мленье это.

— Опять он, — шепнул Гришка Богданке, словно Осташи и не было рядом.

— И ему на сдачу хватит, — сказал Богданко.

Раздался звук, словно поцелуй. Осташа понял, что Богданко выдернул из чурбака топор. Всем телом Осташа метнулся на Ефимыча и заорал. Гришка тоже завопил. И тотчас в жерди лежанки в то место, где только что находилась голова Осташи, с треском вонзился топор. Вдруг с грохотом и матом словно со всех сторон в темноте на Богданку кинулись солдаты. Никто, оказывается, не спал. Да ведь и не было ни храпа, ни сопенья...

Осташа растерялся; его толкали и чем-то били. Загорелась лучина. Её держал Ефимыч. Он стоял на лежаке на коленях и поднял огонёк над головой. Осташа увидел, что Агей, Сысой, Иван и Васька кучей возятся на полу, в углях очага. Они повалили Богданку и выкручивали ему руки. А Богданка хохотал, извиваясь, как от щекотки, сучил ногами, тряс головой и кричал:

— Одибон, другибон, тройчан, черичан, побон, ладон, сукман, дукман, я — левурда, а дыкса придёт!..

Осташа с ужасом догадался, что Богданка выкрикивает ведьмин счёт. Глаза Богданки прыгали в глазницах, взгляд перелетал с человека на человека — так бес мечется в толпе с кликуши на кликушу.

— Пасть ему заткни!..

— Одино, попино, двикикеры, хайнам, дайнам, сповелось, сподалось, рыбчин, я — дыбчин, а клек придёт!..

Задорно крикнув петухом, Богданка вдруг легко отшвырнул от себя солдат, вскочил на ноги и башкой вперёд бросился в дверь, взвизгнув, как баба, что окунулась с головой.

— Конец парню, — тихо сказал Ефимыч.

— Тронулся он, что ли?.. — расширив глаза, спросил Гришка.

Никто не ответил. Ефимыч вдруг сунул лучину Осташе, рывком вытащил из-под лежака свой сидор, раздёрнул горло мешка и вынул маленькую икону.

— Все, братцы, на колени встанем, — сурово, как проповедник, произнёс Ефимыч и указал на Осташу пальцем. — А если твоего голоса, кержак, не услышу — прогоним сей же миг вон отсюда...

Ефимыч поднял икону над собой и перекрестился. Держа лучину, Осташа тоже положил на лоб двоеперстный крест. Вьюга болтала раскрытой дверью, швыряла снег на очаг. Солдаты дружно опускались на колени: кто-то — на пол; кому хватило места — на лежак. Тускло освещённые лучиной, морщинистые, усатые, красные рожи солдат казались одинаковыми.

— Отче наш!.. — закрыв глаза, громко начал Ефимыч со всей отдачей души. — Иже еси!.. На небесех!..

Осташа тоже молился, но мысль его почему-то зацепилась за топор, попавший под колено. С вечера Агей оставил топор воткнутом в чурбак. Нельзя! Топору тоже надо дать отдохнуть, иначе — порубит.

Всю ночь выл буран, словно накат волны бил в бревенчатые стены избышки. Изредка, вроде бы издали, доносился быстрый перебор человеческих ног по снегу и хохот — совсем Богданкин, если Богданка умел бы смеяться сразу по всему лесу.

Ночь прошла тяжёлым сном, и утро настало как избавление. Но солдаты выбирались из избышки на свет неохотно, будто на поле боя под обстрел. Про Богданку никто и слова не сказал, но все украдкой друг от друга зыркали по сторонам — не видно ли чего? А ничего и не было видно в белой хмари. Метель улеглась, но повсюду колыхалась снежная мгла, замутившая воздух, как молоко, разболтанное в воде. Всё исчезло в белёсом непроглядье — и небо, и лес. Сделаешь шаг — и проступят синие, полные снега еловые лапы, словно повисшие в пустоте. Ещё шаг — и всё

вокруг будто мнётся, еловые лапы передвигаются, искажаются, как нарисованные на холстине.

— Эвона, братцы, куда ветром сани-то закинуло... — хмуро ворчал Гришка, вытаскивая сани из-за дальнего угла избушки.

А Осташа понял: это не ветер набаловал, это леший повернул избу выходом на лес. И словно вся душа Осташа вдруг перевернулась вслед за избой и осветилась изнутри — нет, не тоской и страхом, а угрюмым торжеством над подавленными солдатами Ефимыча. «Вы думали, что вот просто так придёте в вайлугу и заберёте, чего вам надобно? Думали, что здесь жалкие людишки от глупости своей кланяются дыркам в пнях? Думали, что нет ничего хитрей вашего разума и страшней ваших ружей? А вот вам: оттаскивай охалками да не засыпья с головой!»

Солдаты выбрались с поляны на Шурыш и остановились. В блёклой белизне еле видны были две сизые стены леса, уходящие налево и направо. Куда шагать? Выюга занесла вчерашний след без остатка, хотя мыслимо ли это — закопать и заровнять такую борозду? Солдаты топтались, не зная, что делать.

— Вчера мы домишку на левом берегу увидели... — без уверенности припомнил Сысой.

— На правом, — возразил Агей.

— Верно, — согласился с ним Васька.

— Братцы, на левом, — виновато сказал им Иван Верюжин. — Я точно помню...

Все замолчали, вертя головами. Ефимыч подумал, обирая с усов первые ледышки, и решил:

— Распикивай снег, доставай топоры! Прорубь будем рубить. Посмотрим, куда вода течёт. Только так и поймём.

Ругаясь, солдаты скинули ружья и зипуны, начали расталкивать сугробы. Потом зазвенели, заскрежетали об лёд топоры. Рубили долго — Осташа даже продрог, ожидая. Шурыш промёрз крепко: лёд был больше локтя толщиной.

Не пожалев сил, солдаты пробили во льду целую канаву чуть ли не в сажень длиной и остановились, глядя на чёрную парящую воду, в которой плавало ледяное крошево. Оно тихонько, робко сбивалось током воды у одного края проруби.

— Нам туда. — Агей решительно указал рукавицей.

— Иордань надо сделать, — негромко возразил Осташа.

Солдаты поглядели на него с бессильной яростью и мук, потом снова обступили прорубь и склонились, разрубая её накрест.

— Вот так, братцы!.. — присвистнул Ефимыч.

Всю белую ледяную кашу на чёрной воде течение враз смело к другому концу проруби.

— Эх!.. — обомлел Гришка и, бессловесно призывая всех, нелепо всплеснул руками.

Солдаты растерялись и молча вытаращились на Шурыш. Словно тень сошла с лощины: вот она, борозда вчерашнего следа, — никуда не делась!..

— Да будь тут всё проклято! — перекрестившись, в сердцах сказал Васька Колодяжинов.

...Вновь солдаты шли по льду Шурыша по пояс, по грудь в снегах — и казалось, что по горло, что они уже захлёбываются снегом. Но Осташа чувствовал, что не усталость копилась в теле, а страх. Страх витал вокруг, сидел в заряженных ружьях мохнатыми кожьями пыжей, чуть слышно зудел на лезвиях заткнутых за пояс топоров, входил в грудь вместе с дыханием, стужей ломил и выворачивал суставы. Его давление нарастало медленно и неуклонно, и противостоять его холодной духоте можно было только отупением усталости от каторжной работы. А чего бояться-то? Вокруг — лишь мгла, лишь разлапистые тени ёлок...

Осташа чувствовал, что он словно пропитывается, набухает страхом. Но почему-то страх не пугал. Пусть и гнетущий, но осознанный страх казался уже не опасен, потому что где-то всё же есть его пределы... И ещё казалось,

что этот страх отзывается в душе чем-то знакомым, своим, и оттого делается родным, точно нелюбимый и злобный брат.

Но солдатам страх был как эта белая хмарь вокруг: вроде бы ничего особенного, терпимо. Но внезапно воля словно растворялась, и так легко было соскользнуть в слепое, бессмысленное, губительное неистовство: где же небо? где солнце? где этот чёртов скит?!

Вдруг что-то неуловимо сдвинулось, будто облака разошлись. В тумане, в лесном прогале, как в конце просеки, появилась вдали блещущая под солнцем снежная гора с чубом соснового бора, с голубыми складками лощин по безлесым склонам. Вайлугин скит под горой и прятался.

Сысой, идущий первым, молча повернул с реки в лесную теснину, напрямик к горе. Солдаты сдвигали шапки с глаз, глядели поверх головы Сысои и помалкивали, одобряя его выбор. В лесу вроде и снег был помельче — легче шагать.

— Эй, куда вы!.. — растерянно крикнул Осташа, останавливаясь.

Никто из солдат и не оглянулся. Будто заколдованные, они даже не услышали его крика, уходя всё дальше. Их тёмные спины, длинные ружья исчезали за деревьями. Задок саней Онисима, переваливаясь, уехал за ледяную кудель рябинового куста. Только сеялся в воздухе снежок, сбитый штыком с еловых лап, да сочно алела рябина, да стучал в вышине невидимый дятел-желна.

Осташа изумлённо обернулся. Ефимыч, шагавший по борозде последним, задумчиво грыз чубук своей погасшей трубки и шурился на виденье.

— Эй, служба, очумел ты, что ли? — кинулся к Ефимычу Осташа.

— Скрозь пройдем, — коротко пояснил Ефимыч.

— Куда?! — закричал Осташа, загораживая Ефимычу тропу.

Ефимыч замер перед Осташей, вперившись пустым взглядом куда-то мимо него. Осташа изо всех сил толкнул

Ефимыча в грудь, и старый сержант неловко хлопнулся задом в сугроб.

— Богданка то же самое вчера увидел, ночью ушёл — и где он сейчас? — Осташа, нагнувшись, потряс Ефимыча за плечи.

Ефимыч вдруг замотал головой, будто проснулся, вцепился Осташе в рукав и вскочил.

Борозда солдатского следа виляла между словых громад, уводя в никуда. И не было уже впереди ни прогала, ни солнечной горы. Игривый ветерок быстро заметал борозду, словно пёс вылизывал полосу пролитой крови.

Ефимыч свалил с плеча ружьё и бабахнул в небо так, что с ёлок повалились снеговые шапки.

— Наза-ад!.. — закричал он. — Братцы, вертайся живо!.. На голос, на голос мой иди!..

Никто не отзывался. В тишине беззвучно чуть покачивались огромные деревья. Горная стража будто растворилась в зимнем лесу.

— За ними!.. — зарычал Ефимыч, но Осташа кинулся на него, обхватил руками, не пуская.

— Отстань, пащенок!.. — орал Ефимыч, трепыхаясь в руках у Осташа. Но оказалось, что не так уж и силен был старик, чтобы вырваться. — Они же рядом!.. Единый же миг!..

— Всё, деда... — тупо твердил Осташа. — Они во мленье ушли...

СЕРЕБРЯНАЯ ПРАВДА

Осташа полз вперёд на одном упрямстве. Мленье пожрало солдат, и не на кого теперь опереться, чтобы скинуть Фармазона со своего пути. Что ж, ладно. Много ли, в общем, надо? Только миг, чтобы прицелиться поточнее. Он и в одиночку сумеет убить Яшку.

Ефимыч барахтался сзади, грёбся по снегам вслед за Осташей. Осташа ещё на первом привале посоветовал ему:

возвращайся. Какой теперь прок от старого солдата? Но Ефимыч не мог вернуться. В одиночку он не дойдёт. А ежели всё-таки сумеет дойти, то чего скажет начальству? Сгинули, мол, служивые неведомо где, в каком-то мленье... Воинский устав такого пояснения не потерпит.

— Не верю я в твоё мленье... — прохрипел Ефимыч.

— В бога веришь, а в бесов — нет?

— Ребята взаправду напрямки к скиту пошли... У скита их и встречу. А мленья нет.

— Чего ж за ними тогда не дунул?

— Дак сам же держал...

— А чего же они за тобой не вернулись?

Подмороженная рожа Ефимыча — измученная, покрытая серой щетиной — словно окостенела.

— Нету мленья, — упрямо сказал сержант.

...Они добрались до скита к сумеркам. Гора была та самая, что примерещилась: крутая, высокая, с голыми, заснеженными склонами, с чубом соснового бора на макушке. Лес по скатам вырубил на дрова и на рудничные стойки. Под снегом ещё виднелись линии брёвен от спусков-великанов, по которым сверху вниз катили стволы. Под горой в сугробах горбились развалины хибар, груды досок и жердей, козлы молотов, которыми дробили руду. Уныло торчали косопузые глиняные печи с прогоревшими до дыр долблёными трубами. Из их чёрных зевл, как у висельников, вылезали ледяные языки. Через Шурыш была отсыпана плотина, но речка давно проточила её, и пруд сбегал. На сотню саженей ниже плотины из льда изгибом выставлялось снесённое водобойное колесо. С его задранных изгрызенных плиц свисали сосульки. У подножия горы на разной высоте зияли дыры штолен бывшего Вайлугина рудника. Входы были сикось-накось заколочены, подмостки к ним вихлясто перекошились. Лишь к одной дыре, которая находилась правее прочих, вёл свежий бревенчатый взвоз. Эта дыра была перекрыта воротами. Ворота стояли настежь.

— Вайлугин скит, — сказал Осташа Ефимычу. — Пришли, дед.

Ефимыч устало перекрестился на ворота, огляделся по сторонам.

— Ни души... — пробормотал он. — Одни урманы чёртовы со снеговалами... Почему у вас, кержак, у скита ни голбца, ни звонницы... Хотя бы колокол, что ли, брякнул...

— Здесь, дед, не чёртовы дрёмы — царёво божелесье, — хмуро ответил Осташа. — А колокола в нашей вере в запрете. Пещере же довольно, чтобы выход на восток смотрел.

Они залезли под взвоз, сели на поленья, молча захрустели оставшимися сухарями, заедая их снегом. Осташа устал до полного безразличия ко всему — и к Ефимычу, и к Яшке-Фармазону, и к своему делу. Собрать бы сил на последний выстрел — и всё.

— В гору полезешь? — спросил Ефимыч.

Осташа кивнул, отмыкая замок штуцера.

— А коли там скитники?

— Навряд их много... Да и я — тайком... Выкараулю вора.

— Убьёшь?

— Да сразу.

Ефимыч пожевал посинелыми губами.

— Капитан велел его живьём привезти...

— Капитану Фармазон нужен, чтобы позабавиться, чтобы у него про клад Пугача сказки повыспрашивать. — Осташа зло поглядел на Ефимыча. — А мне с Фармазоном на Чусовой не ужиться. Всё одно кому-то надо будет лечь. И я хочу, чтобы лёг он. И до капитановых забот мне дела больше нету. Надо вам было меня слушать.

— А коли Фармазон первым стрельнёт?

— Тогда собирай свою стражу по мленью и вяжи Фармазона. Я ведь вывел вас к Вайлугину скиту, своё обещанное исполнил. Моя ли вина, что из ваших один ты уцелел?

Ефимыч остался под взвозом — жалкий, маленький, старый, замёрзший. Нелепо торчал из-под наката ствол

его длинного ружья. Осташа вылез на помост и пошагал к воротам.

Штольня была широкой, с дощатым настилом, чтобы две тачки разъехаться могли. Но всё же это был рудник, а не тихая и опрятная раскольничья каплица с тайником. Стойки здесь стояли как попало, стены были не оббиты и оплыли, осыпи выползали на вымостку, затоптанную чьи-то грязными ногами. Держа штуцер наперевес, Осташа перешагивал груды земли, осторожно огибал закаменевшие глыбы, что отвалились от стен и свода, небрежно запертого балками. Свет из раскрытых ворот озарял штольню далеко вглубь, и даже в самой дали, где, казалось, должна царить тьма, серел только жидкий сумрак. Зато сразу пахнуло подземным скитом: тяжёлым, мёртвым духом мёрзлой земли, кислятиной тихо гнившей древесины, остывшим дымом, воском и тоненько-тоненько — сладостью ладана.

На самом пределе света Осташа увидел раскорячившиеся поперёк прохода сани. Они были узкие, с широкими полозьями — почти вогульские нарты. На таких санях возили грузы по нехоженому снегу. Рядом к стене как попало были прислонены чьи-то лыжи, все хоженные, бывалые. Их лопатистые полозья были покрыты вытертым до блеска мехом. Осташа пересчитал лыжи — одиннадцать штук. Сколько же человек в скиту?..

В стене была забранная досками ямка — пещерный кивот. В кивоте перед иконой в плошке с топлёным салом тлел огонёк. Осташа сунул в кивот руку и достал плошку, поднял над собой. Не зря. Он стоял на краю глубокой ямы, дно которой было утыкано заострёнными кольями. Скитская ловушка для незваных гостей. Через яму была перекинута плаха. Осташа попробовал её ногой — держит. Он осторожно перебрался на другую сторону ямы.

Он стоял, озираясь, и не решался двинуться дальше. Что-то тут не так... Почему тишина вокруг? Почему ворота скита открыты? Почему через ловчую яму переброшена

доска?.. Если Шакула догадался, что солдаты пошли в скит, то небось предупредил скитников об облаве. Почему же те словно вымерли? Ну натравил Шакула на солдат вогульскую нежить из урманов — так ведь это не значит, что солдаты не пройдут... На государеву стражу скиты остерегутся оружие подымать, хотя после Пугача тот закон отрешили. Но ведь не блинами же встречать опричников? В былые времена жглись, лишь бы царёвым слугам в руки не данься. Уткинская Слобода в огненную купель окунулась, на Ирюмских болотах костры взметались, Межевая Утка горела сплошь, а огнища на Берёзовой всю Россию озарили... Чего же сейчас скитники сидят, как мыши в норе?.. Или не сидят? Ушли? Пуст скит?..

Точно ведь — пуст! Ворота открыты, доска через яму переброшена... Осташа чуть не зарычал от досады. Опять ушёл Фармазон!.. Осташа ринулся дальше, вперёд по главной штольне. Он не оглядывался на малые штольни, перегороженные жердями, не отвлекался на боковые отвороты.

Штольня разъехалась широкой и косой пещерой. Видно, здесь горщики выбили целый рудный пласт. Полость, как мягая скатерть, сползала куда-то вниз, в темноту. Затоптанные вымостки вели и прямо, и налево, и направо, огибали завалы пустой породы, иногда доходившие до потолка. Целый лес толстых и тонких свай подпирал обвисший потолок. Кое-где вздымались треугольные бревенчатые ряжи, принявшие на себя тяжесть земляного свода: от давления меж их венцов выползли и застыли пузыри смолы. Трудно было понять, куда идти в этих подземных дебрях.

В одном месте Осташа наткнулся на большую глинобитную печь в дощатом коробе. Долблёная труба выводила дым от неё в какую-то малую штольню, давно, похоже, заброшенную и даже ничем не укреплённую. Печь на ощупь оказалась ещё тёплой. Сколько времени нужно, чтобы такая громадина остыла: сутки, двое?.. В другом ме-

сте Осташа наткнулся на дровяной склад, в темноте громоздилась осыпавшаяся куча поленьев. Попадались и жилые закоулки — кельи, выгороженные заплотами. Здесь грудями лежали поваленные скамьи и поставцы, а в пол были вкопаны большие бадьи. Осташа налетел на огромный перевёрнутый на бок чугунный чан и выронил свою плошку с огоньком. Во тьме вдруг синим отсветом обозначился горб какой-то осыпи. Осташа полез напрямик и увидел подземный кокуй — несколько раскольных могил. Над могилами, как деревянные грибы, стояли кресты с кровлями — голбцы, накренившиеся то налево, то направо. Лампадки призрачно освещали углы их кровель и бугристый откос выработки. А дальше, за откосом, тускло светился ещё один проход. И оттуда до Осташа донеслись слабые голоса.

Осташа тихо-тихо перебрался к освещённой штольне, ещё раз проверил шуцер и двинулся вперёд вдоль по краешку мрака. Штольня была длинной, загибалась налево. Огонь из невидимой ещё пещеры озарял только одну стену — вогнутую. Осташа перебегал между стойками из тени в тень, как вор незаметно обшаривает карман за карманом. Он миновал поворот и увидел другую большую полость — поменьше прежней, но всё равно большую.

Здесь находились двое. Под низким потолком, совсем закрыв балки, спутанными слоями висел дым от костра. У костра сидел Шакула и жёг какие-то бумаги. По стенам громоздились грубые, самодельные поставцы, заваленные книгами. У поставцов ходил старец Гермон в мужичком зипуне, снимал книги с полок, стирал рукавом пыль, раскрывал, читал наскоро, а потом или бросал книгу Шакуле, или бережно складывал в уёмистый берестяной сундук-скрыню, стоявший на подложенных под днище дощечках. В скрыне виднелось уже немало книг, но и весь земляной пол вокруг Шакулы был забросан бумажными листами. Шакула с натугой резал книги по переплёту большим вогульским но-

жом. Осташа понял, что истязатели действительно покинули Вайлугин скит, а Гермон разбирает скитское древлехранилище: что предать огню, а что взять с собой в новые мытарства.

И вдруг на горло Осташе осторожно легло острое лезвие.

— Не дёргайся, — тихо и вкрадчиво прозвучало за спиной, — проткну... Ружьё подай...

Осташа медленно поднял штуцер дулом вверх.

Из-за его плеча протянулась длинная рука и забрала штуцер. Лезвие у горла даже не дрогнуло: сзади стоял мастер разбойного дела. Осташа услышал шорох и лёгкий звяк. Это человек ловко вделся плечом в ремень штуцера и перекинул ружьё себе на спину.

— Теперича вперёд.

Осташа сделал несколько шагов и вышел на свет.

— Я же сказал, отче, идёт кто-то чужой, — насмешливо окликнул Гермона человек, пленивший Осташу.

Гермон оглянулся, держа в руках развёрнутую тетрадь.

— Ну, молодец, — с удивлением произнёс он. — Верный пёс.

Шакула не поворачивался. Он словно бы уже знал, кого привели. Гермон молчал, разглядывая Осташу. Человек за Осташинной спиной, похоже, подал Гермону какой-то знак.

— Погоди, — ответил Гермон. — Успеешь. Я ещё поговорить хочу... Вон, к стойке его привяжи.

Нож туго поджал Осташе челюсть. Под нажимом лезвия Осташа попятился, пока затылком не наткнулся на бревно рудничной стойки. Человек с ножом властно окрикнул Шакулу:

— Эй, вогул, сюда поди.

Шакула поднялся и понуро подошёл к Осташе. Он отводил глаза: то ли не признал Осташу, то ли признал, да не хотел встречаться взглядом. Он молча развязал кушак у Осташа на животе, вытянул его и ушёл Осташе за спину. Лезвие ножа предостерегающе пошевелилось. Осташа почувст-

вовал, что его руки выдернули назад и перекрестили, прижав к бревну стойки, а кушак окрутил запястья. Теперь Осташа был привязан к столбу.

Нож вдруг исчез. Осташа тотчас рванулся к тому, кто был сзади, надеясь, что Шакула обманул с узлом. Но Шакула не обманул, и Осташа обвился вокруг столба, упал боком и повис на вывернувшихся руках. Искоса он глянул снизу вверх. Точно — это был Яшка Гусев, Фармазон!

Яшка отскочил, выставляя нож, и опасно ухмыльнулся.

— И верно ведь, племянничек!.. — весело сказал он. — Глянь, отче, что за волчонка я уцепил!

— Чёрт под локоть сунулся — не дострелил я тебя на Ёкве! — крикнул Осташа Фармазону.

— Он и мне в Илеме под боёк плюнул, — ответил Яшка.

Осташа заскрёб ногами и что было сил подался к Фармазону. Ну что же за проруха-то на него!.. Ни единого же дела как задумано не делается! Из плена в плен, воля на неволю!.. Проклятье одно!

— Это, отче, и есть Осташка Переход, — сказал Фармазон Гермону.

— Сплавщика Перехода сын?.. Который белобородовскую казну спрятал?

— Он.

Шакула, отвернувшись, уже снова сидел у костра. Гермон взял его за шкуру, поднял на ноги и ткнул в сторону Осташа.

— Он горную стражу на скит повёл?

Шакула будто повис в горсти у Гермона, опустив голову.

— Чего же ты девке своей его не отдал? — спросил Гермон, встряхивая старика. — Она бы его душу истязала — давно бы уже сгинул он. Без души-то ангел-хранитель спасать не будет.

— Сама она его отженила... — глухо ответил Шакула.

Гермон посмотрел на Осташу и вдруг подмигнул.

— Выходит, прошёл ты, парень, через мленье-то вогульское, а? — Гермон отпустил вогула, словно бросил, и вытер ладонь о бедро. — А ты, старый хрен, говорил, что никто не пройдёт...

— Девка на него камлала... — виновато пробурчал вогул, снова опускаясь перед костром на колени. — Что сделает Шакула?.. Ничего не сделает... Девка на него меня перешептала...

— А зачем он ей нужен? — спросил Гермон.

— Слюбились, видать, — хмыкнул Фармазон. — Я это давно почуял. Пыл в жлудовке зажёгся... Дозволь, отче, дело докончить? — Он показал Гермону нож.

— Тебе, дураку, уже сколько раз дозволяли? — осадил его Гермон. — А теперь я с ним поговорить хочу. Мне про него уже от Конона чего-то там Калистратка дудел... — Гермон подошёл к Остахе и пихнул его носком валяного сапога. — Эй, шенок, знаешь, чего за выдачу скита бывает?

— Не пужай пужаного, — буркнул Остаха.

— Вот отволоку с собой — так тебя на Весёлых горах и пужанут, держи рёбра. Сквозь них душу вытащат.

— А ты души вытаскивать, видать, великий мастер, — с ненавистью сказал Остаха. — Помастеровитей тебя только один ещё и сыщется...

Намёк не сразу дошёл до Гермона.

— Эвона ты как, — хмыкнул он. — Дорого ты меня ценишь.

— На Страшном суде тебя ценить станут.

Гермон подумал и опустился на корточки рядом с лежащим Осташей.

— Чего же ты такой злой? Чего тебе сделали истязельцы?

— Батю сгубили.

— Ежели кто и сгубил, то не мы, а сплавщики.

— А мне жизнь кто поломал?

— А ты бей тех, кто виноват, — от чужих и не перепадёт.

— Посмотрю ещё, кому больше залетит, — упрямо ответил Осташа. — Скит-то уже бросаете... Всех вас, упырей, изведу.

— Давай прирежу, — тотчас предложил Гермону Фармазон.

— Да провались ты к бесу! — рявкнул Гермон. — Руки чешутся — так утащи скриню к саням!

Фармазон потоптался, нехотя сунул нож за голенище, прислонил Осташин штуцер к бревну и потопал к скрыне. Крякнув, он взвалил короб на плечо и, согнувшись, ушёл в штольню.

— Ещё листы надо, — сказал Шакула, у которого прогорал костёр.

Гермон поднялся, вернулся к поставцу и долго в раздумье смотрел куда-то в стену, а потом вдруг начал доставать книги с полок — все подряд — и швырять Шакуле.

— Хватит, хватит!.. — закричал тот, закрываясь руками.

— Это не ты скит сгубил, — повернувшись к Осташе, сказал Гермон. — Много про себя не думай... Гора осадку дала, вот мы и снялись. Нам твоя месть — тьфу!.. Чего, думаешь, мы тут делали?

— Через вогульское бесовство души крали, — прямо ответил Осташа.

— А зачем оно нам?

— Перед сатаной выслуживаться.

— И что, много мы выслужили? — Гермон показал Осташе пустые ладони и развёл руками.

— Мне тайну беззакония знать незачем.

Гермон отвернулся и принялся листать какую-то засаленную тетрадь, потом закрыл её, достал с полки нож и с силой провёл лезвием по тетради сверху вниз — отрезал поля с записями, которые другим читать не следовало.

— Коли мы наживались бы, незачем нам в пустынные одёжи рядиться, лишняя морока, — через плечо сурово сказал Гермон Осташе. — Но не ты один наш толк в любоимении обвиняешь. Я тебе вот чего скажу. Лжа всё то, что ски-ты от мира отложились. Хотя в уединеньи, а всё одно в ми-

ру живём, потому что живём для народа, а народ не уставу — мирскому обычаю следует. От гордыни это — мир презреть. Господь нам велел в миру наставлять и сам по миру ходил. И ничего нам не изменить, хоть мы и от веры своей древлеправославной не отрекались, как никонианцы. Да, на пьяном торжище проповедуем и от грехов своих не отпираемся — но отмаливаем их, как и должно. Мы — не вертеп. Из нашей пещеры смрадной к правде лэствица ведёт.

— Да какая правда в истязельстве? — глумливо крикнул Осташа.

— А какая правда тебе нужна? — гневно спросил Гермон, поворачиваясь. — Кажен день по ковшу вина и новую бабу и чтоб с печи не слезать, а рожа со сковороду была и в масле? Такая, что ль, правда? А ведь к такой-то все и стремятся! Без рук без ног на брюхе ползут, кишки разматывая! И тебе самому такая же нужна, только чуть побольше: чтобы печь твоя на барке стояла, а барка как заговорённая меж бойцов летела. Тебе, вишь, ветерок надобен, чтобы смрад житейский из-под носа раздувало!

Осташа приподнялся и плюнул.

— А правда, брат, не такая! — убеждённо сказал Гермон. — Она хоть и в грязи, да чистая. И на всех она одна, а не каждому своя, как печь да баба. Одна — и для меня, и для тебя, и для Яшки Гусева, и для всей Руси, и для всего мира, которому третий и последний Рим явлен! Правда — спасенье! Золотую правду мы ещё с праотцом Адамом потеряли. Так теперь нам хоть серебряную сохранить — спастись! За то наш толк Мирон Галанин признал, а у него на правду чутьё!

— И чего вы делаете для своей правды? Воруете!

— Спасаем! — рявкнул Гермон. — Спасаем всех! Сатана за душу сулит сладости, коих от бога человеку за грехи не положено: денег сулит, баб, славу, отмщенье! И не можем мы уже без этого, понимаешь? Спортились мы! Царства небесного не нужно — подай на земле утоление страсти! Всё отдадим, не жалко! И куда денешься, коли мы такие? На-

до нам того, что выше наших сил, а без этого нам и вовсе ничего не надо! Почему, спросишь? Потому что давно уж свет закатываться начал! Стояла земля на трёх китах, да один сдох, утонул — и был всемирный потоп. От него и начало концу света исчислять можно! И чем ближе к концу, тем всё больше — города, заводы, сундуки и брюхи челове- чьи! Мир как река — ширится и к устью течёт. Всё в знаме- ньях тому! Слышал, что на Северке две недели назад ли- тейщик в раскалённую опёку упал и сжёгся дотла, а доста- ли его и увидели: в костях жареных сердце невредимое бьётся, и сердце-то — свиное! Это ли не знамение?

— Он хуммат хурипаг, — буркнул от костра Шакула. — Бывает...

— Концом света с его начала грозят! — не сдавался Оста- ша.

— Конец света — это когда всё, кроме спасённых, сатане достанется и сгинет! Ты погляди вокруг: всё и так уже сата- нинское! Да, вразумляет нас Господь, являет человека, вро- де Ермака, что во мленье не теряется. Ну дак всё равно ма- ло нам того, мало на всех! Вот и живём мы в прелести и за любой нуждой к бесу на поклон идём, потому что всё — его!

— Да не ходи! Кто тебя гонит?

— А как не пойти, коли дела надо делать непомерные, не по человеческой силе?

— Какие дела-то?

— Одному-единому человеку в огромных горах ключ-ка-мень к руде найти — это возможно ли? Прах, персть, грязь через печь в булат претворить — это возможно ли? Реку за- переть так, чтоб она и в половодье не вырвалась, — это воз- можно ли? По бешеной воде огромную барку провести и не разбить о сотню бойцов, в которые поток лупит, — это воз- можно ли? Чтобы выжить, мы непосильное делать должны! И молитва не поможет, потому что непосильное — у беса, а Господь только по силам даёт! И как спастись?

— Всё равно молиться... — тупо сказал Осташа.

Гермон только усмехнулся и бессильно махнул рукой.

— О чём? О бесовом добре? Так то грех!.. Молиться... Вот ты реку переплываешь — так что делаешь? Одежду снимаешь! Почему? Одежи жалко? Чего ей от воды сделается-то? Высохнет, и всё! Ты одежду снимаешь, потому что в реке она водой набухнет и тебя на дно утянет! Так же и в миру! Коли за непосильным надо к бесу идти — так оставь душу, не бери с собой, иначе загубишь! И в этом серебряная правда, понял? В этом спасенье! Мы, истязельцы, душу человека бережём, пока человек к бесу ходит. Спасаем, а не губим!

— Душа — не рубаха.

— Понятно, что не рубаха. Это я тебе так — для упрощенья сказал. Душа — не рубаха, не лишай, который бабки на сучок переводят. Истязенье — это наше таинство! Такое же, как евхаристия. Таинство последних дней, которое никонианцам открыто не будет!

— А чего тогда он души ворует? — Осташа кивнул на Шакулу.

— Он — тень истязельчества, бес, — попросту сказал Гермон.

— И ты, старец, с бесом водишься?

— А это уже не я. Это уже те, кто истязён, водятся. Им уже можно. Для того и таинство принимали. Они теперь уже с бесами смело говорят и чего надобно — добывают. Душу тем не сгубят.

— Здесь наша земля, — не поворачиваясь, утрюмо сказал Шакула. — Здесь всё наше. Всё — наших богов. Вас не звали. Пришли — так кланяйтесь нашим богам, иначе ничего не получите.

— Вот Конон с ним и торгует, — устало произнёс Гермон. — Это уже Конона дело, не моё. Он вогулу жить даёт, а вогул бесов в скалах ворованными душами кормит. Бесы и пропускают ваши барки. А ты решил, что Конон в истязельцы пошёл, чтобы барки на бойцах бить? Так для того душу истязать не надо. Возьми любого дурака, и дело сделано.

— Куль и вакуль рыбьими глазами глядят, — приосанившись, важно заговорил Шакула. — Они не так видят, как человек. Человек в лодке плывёт — в лодке душа человека. Если человек без души, вакуль лодку не видит, нету её. Вашего Коны люди без души плавают, бесы их не видят. Лодки мимо скал проходят целые. Бог сытый сидит, ему неохота бежать, смотреть. А-а, думает, коряга, наверное. Зачем ему коряга? А лодка прошла.

Из тёмного прохода появился Яшка, мрачно и подозрительно посмотрел на Осташу, на Гермона, отошёл в сторону.

— А ты думал, всё так просто? — продолжал Гермон, не оглянувшись на Яшку. — Украл, продал — и молодец, да? Ты посмотри вокруг, на какой земле живёшь. Ты хоть вон с вогулом поговори... Всё — ихнее. До сих пор. Это только баре думают, что землю купили. Но баре, хоть Строганы, хоть Демиды, хоть Яковлев с Турчаниновым, — не Ермак, не святой Трифон. Они не знают, как земля достаётся. Ты слышал, что камнерезы в Полевском в Медную гору к Хозяйке ходят за тайной ремесла? Отчего то? Оттого, что вогулы-то ушли, да боги их остались и свой порядок на этой земле держат по-прежнему. Никуда не деться. Старичье глупое детям сказки рассказывает про оленя с серебряным копытцем, который тем копытцем самоцветы из-под земли выбивает, — а думал ли ты, что это за олень?

— Это не олень, — хмуро сказал Шакула от костра. — Это Яныг-Янгуй, Великий Лось. Он солнце на рогах несёт по небу. Он земли копытком коснуться не может — скверна она для него. Шаманы на капищах Лосю под копыта серебряные блюда подкладывают, по четыре. Блюда те ещё предки наши на меха выменивали. А на блюдах — приношенья. Самоцветы тоже.

— Понимаешь? — спросил Гермон. — Ермак идолов покидал в Чусовую, да что идол? Идол только ургалан. Бесы вогульские всё равно из Чусовой повылазили. И не будет

у нас ничего, если у беса не отнимем. Только из зла добро сделать можно, понимаешь? А как при этом душу сберечь?..

— Лукавствуешь, — упрямился Осташа, хотя тотчас вспомнил слова Конона: «Добра нет, а есть только зло и зло во имя добра...»

Гермон горько усмехнулся.

— Нет. — Он покачал головой. — Я не лукавствую. Простой люди-то разные. Многие истязенье во зло обращают. Я же не судья. Я не выбираю, кого к таинству допускать, а кого нет. Таинство — оно для всех. А ведь случается, что кое-кто и вовсе за своей душой не возвращается. Но всё одно без истязенья мы не справимся. Я, что ли, один так думаю?

— Я от других такого не слышал, — буркнул Осташа.

— Да кто ж с тобой разговаривать-то станет? А ко мне вот в прошлую неделю приполз немчишка, плотинный мастер, которого Строгановы сюда наняли плотину на Бисере ставить. Просил научить заклинаньям, чтобы бейшлёт построить. Дурак! Этот немчишка из Сарепты на Волге, а в Сарепту Катеринка велела поселить немцев-раскольников, которые от своих сбежали. Выходит, что и на иных землях без истязенья — никуда. Те ж фармазоны — настоящие, не Яшка, — они ведь тоже от своих в расколе.

— Чужая земля нам не указ.

— А здесь тоже чужая земля. Вогульская. У нас ведь всё, что найдено, — от вогульских бесов. Кто железную гору Благодать нашим открыл? Вогул Степанка Чумпин. За то и сожгли его живьём. Кто уголь на Турке показал? Вогул Боляк Русаев. Кто арамыльцам братьям Бабиным месторождение на Гумёшках выдал? Полевские вогулы. Потому и идут крещёные на истязенье, чтобы дело сделать. Даже баре то понимают, ведь и сами Демиды тайком в расколе, и Строгановы тож. Ерофей Марков, что на Шарташе золото отыскал, — истязелец. Злобин Леонтий, тагильский мастер плотинный, — истязелец. Куроедов, который от Екатеринбургa до Тобольска три дороги в лесах проложил, —

истяжелец. Фёдор Катугин, который горный лён, каменную кудель нашёл, — истяжелец. Мурзинские рудознатцы — истяжельцы. Полевские камнерезы — истяжельцы. Плотинные мастера — истяжельцы. Сплавщики твои — истяжельцы. Литейщики — истяжельцы. Да и простых охотников промысловых зря ли чертозными зовут?

— У меня батя чертознаем был, — хмыкнул Яшка Гусев.

— То от чёрта ты и подменёныш, — с ненавистью выдохнул Осташа.

Яшка молча и угрюмо нырнул куда-то в темноту за поставец и вышел с ружьём, подошёл к Осташе и направил на него ствол.

— На лай пальну сейчас — уже не промахнусь, — твёрдо сказал он. — Да и заряжено колотым чугуном.

— А ну-ка опусти оружие! — вдруг раздалось откуда-то издалека.

Яшка, Гермон, Шакула и даже Осташа удивлённо повернули головы. В дальней стене за костром чернела ещё одна штольня, другая, не та, по которой пробрался Осташа и по которой ходили Яшка и Гермон. В проёме этой штольни стоял Ефимыч. Он поднял своё ружьё, прижал его к плечу и нацелился на Яшку.

— А этот кто таков?.. — изумлённо спросил Гермон.

Яшка рванулся так быстро, что Гермон и охнуть не успел. Прогрохотал выстрел, и даже языки костра выстелились по земле, как полотенца. Ефимыч, будто окостенев, начал медленно поднимать ствол ружья вверх, заваливаясь назад на подогнувшихся ногах, и упал навзничь.

— Уже никто, — сказал Яшка, шурясь в сумрак штольни.

Из сумрака торчали ноги Ефимыча.

— Ещё солдаты есть? — Гермон уставился на Осташу.

— Надо выйти, посмотреть, — деловито сказал Яшка, отмыкая замок ружья.

— Дрянные твои мёртки, коли сквозь них пробраться можно! — зло бросил Гермон Шакуле и, забыв про Осташу,

повернулся к поставцу, быстро сгребая книги, все подряд, в кучу.

Осташа потрясённо помотал головой — Ефимыча убили?... Вот так — р-раз, и бабах?!.. Он снова посмотрел на дальнюю штольню. Ефимыч, шатаясь, медленно поднимался в рост и поднимал ружьё.

— Ургалах тунгкве!.. — закричал Шакула, вскакивая. — Сорумпатум хотпа сёлатангкве!..

Яшка, бросив быстрый взгляд на Ефимыча, согнулся крючком, тряся пороховницей над зарядной полкой своего ружья. Гермон отшатнулся, занёс руку с двоеперстием. Ефимыч выстрелил в Яшку.

Отдачей Ефимыча снова швырнуло на землю. Яшка только сжался, как кот под ударом веника. Пуля Ефимыча сбила с него шапку и ударила в стойку, что подпирала потолок на выходе из каморы Гермона. Стойка с пронзительным треском распустилась щепастым венцом, как цветок, и лопнула пополам. Вместе с ней сверху наискосок рухнула балка. С потолка повалились земляные глыбы, глухо и мощно хлопаясь на пол и выбивая тучи пыли.

Пещера дрогнула. Весь ряд стоек вдоль стены невыносимо для слуха деревянно закрипел, захрустел и начал клониться на одну сторону, будто пол пещеры поехал вперёд, а потолок — назад. Шурша, сверху хлынул дождь из песчаных струй, заливая пол, как водой, истёртым земляным прахом. Гермон и Шакула дружно пригнулись, прикрыли головы руками, а Яшка, наоборот, вскочил. Отплёвываясь и дёргая плечами, он с ладони сыпал в ствол ружья чугунную крошку.

— Пласты тронулись! — закричал Гермон, глядя на потолок, как на тучу в ожидании грозы. — Уходим! Всех задавит!..

— Добью солдата! — прорычал Яшка, ногтями выколуывая из приклада ружья шомпол.

— Гора добьёт! — Гермон схватил Яшкино ружьё за ствол, точно телегу разворачивал за оглоблю. — Уходим!..

Хлопки падающих глыб уже звучали почти слитно — будто кто-то огромный шлёпал по стенам огромной подушкой. Пыльная туча задымила штольню, растеклась по полу и подползала всё ближе к людям. Воздух мотался в пещере, как бельё на ветру, и костёр вздыбился, разбрасывая вокруг себя угли. Осташа с ужасом ощутил, как друг по другу скользят пласты земли — один сверху, другой под ногами. Пещера оказалась между ними, и пласты грозили раздавить, растереть её, будто грязевой пузырь между ладонями. Не было ни ударов, ни тряски, но Осташа чувствовал это движение земных толщ, как на плывущем плоту даже с закрытыми глазами он чуял, что начинает заходить в поворот. Меж покосившихся свай земля стала туго выдуваться, будто густая-густая сметана. Стены словно размякли, оплывая языками глины. Эти языки потекли в пещеру, полезли по полу, переваливаясь друг через друга и закручиваясь под себя. Они точно нашаривали что-то, как медвежьи лапы в песчаных ручьях.

Гермон, Шакула и Яшка угорело заметались по пещере, кашляя и отмахиваясь от пыли руками. Яшка первым окунулся в пыльный мрак, вынырнул и крикнул:

— Штольню затягивает! Живее!..

— Меня!.. — заорал Осташа. — Меня отвяжите!.. — Он забился возле своего бревна, как в припадке.

Яшка исчез. Следом за ним и Шакула канул в пыль и мрак. Гермон на мгновение оглянулся, виновато сморщился и, отвернувшись, тоже нырнул в штольню. Осташа дико запрыгал вокруг стойки, к которой был привязан, — словно бес на уздечке. Он рвался вслед за Яшкой и Гермоном прочь из обваливающейся пещеры и выламывал себе плечи, как на дыбе. Такого сумасшедшего страха Осташа ещё никогда не испытывал.

Похоже, он каким-то образом перевернулся, точно вывернулся наизнанку, и тут увидел, что Ефимыч снова медленно садится. Та стена, в которой зияла его штольня, вдруг

вмиг постарела — растрескалась, смялась. Один угол со всхлипом оторвало и приподняло, точно приоткрылась пасть горы. Песок и комья глины покатались в эту трещину под уклон. Вместе с ними и пол искорёжился, разломился на глыбы и поехал в провал, как на пруду при ледоходе льдины, круша друг друга, лезут в открытый водосброс. Ефимыч слепо хватался за землю, не замечая, что его самого утягивает в чёрную расседину.

Осташа виском ударился о бревно и замер на коленях. Теперь вся пещера то ли тряслась, то ли колыхалась туда-сюда в недрах горы, как качель. «Господи, верни в разум... — мысленно твердил Осташа. — Отче наш...»

— Ефимыч! — закричал он. — Ефимыч!.. Пальни в меня!..

Ефимыч уже торчал из земли по пояс, изумлённо оглядываясь по сторонам. Он до сих пор, видно, ещё не понял, что случилось.

Осташин штуцер Яшка прислонил к соседнему бревну. Ружьё так и стояло, каким-то чудом зыбко удерживая равновесие, когда всё вокруг падало и ломалось. Осташа растянулся на полу, выгнувшись как на пытке, и пнул по оружию. Штуцер перелетел через пещеру и упал возле Ефимыча.

— Ефимыч, стреляй!.. — надрывался Осташа.

Старый солдат взял ружьё и раскрыл замок, проверяя заряд. Он будто и не замечал, что врастает в землю всё глубже и глубже.

— Стреля-ай!..

Или Ефимыч выстрелом выбьет стойку, чтобы Осташа мог сняться с неё, или застрелит Осташу — лучше быть застреленным, чем похороненным заживо.

Ефимыч задрал локти, поднимая ружьё. Его уже всосало по вздох. Ефимыч прицелился. Осташа не слышал выстрела, но бревенчатая стойка над его головой крякнула от удара пули и выскочила, выдавленная нажимом просевшего пласта. Она рванула Осташу за собой, и Осташа свалил-

ся набок. Засучив ногами, извиваясь, он тотчас пополз и сдёрнул себя с рухнувшего бревна. Он вскочил и увидел, как торчащий из земли Ефимыч нелепо-бережно положил шуцер перед собой — «не моё!..», а потом его накренило, как крест на просевшей могиле, и повело головой в трещину. Земляная глыба, рассыпаясь, медленно кувыркнулась в провал, перевернула и переломила Ефимыча пополам. В глиняном крошewe мелькнули разодранные букли парика. А потом в темноте всплыли и исчезли ноги Ефимыча, растопыренные негнущимися палками.

Осташа бросился к перекошенному поставцу, с которого одна за другой, как капли, падали книги Гермона. Осташа повернулся к поставцу спиной и присел, как девочка по нужде, нашаривая связанными за спиной руками брошенный старцем нож. Рукоять ножа легла в ладонь. Осташа распрямился и воткнул нож в деревянную полку, навалился на рукоять поясницей. Выломив локти, он принялся перепиливать о лезвие кушак, который стягивал его запястья. Кушак распался. Осташа был свободен.

Уже никакой пещеры не было — лишь кривая дыра, мышиный погрыз в толще горы. Сверху беспорядочно сыпались большие и малые комья. Пол превратился в копошащиеся земляные кучи, покрытые горящими углями разворошённого костра. Так, рассказывали, выглядели домны Шайтанки, взорванные пугачёвцами вместе с расплавленным железом... Увязая почти до колен, Осташа бросился к штольне, по которой убежали Гермон, Яшка и Шакула. Вместо штольни шевелилась и расползалась во все стороны глиняная груда, похожая на растоптанный муравейник. Вся гора будто качалась с бока на бок, изнутри пересыпалась сама в себя. Осташа ринулся к штольне Ефимыча. Он проваливался в зыбкую землю, уворачивался от грузно барахтающихся глыб, от разбросанных брёвен, которые внезапно поднимались из развалов, как руки мертвецов. Но штольни Ефимыча тоже не было. Теперь здесь была сплош-

ная стена, мелкими толчками ехавшая мимо, как борт барки. Из-под стены выбуривало глиняные ключи — и в одном из них вдруг всплыл Осташин штуцер.

Осташа подхватил его и отбежал, озираясь. Пространство в пещере сокращалось, будто пещера тонула в земляном болоте. Угли ещё еле освещали пространство, но было ясно, что совсем скоро и стены, и пол с потолком сожмутся в кулак и гора облегчённо осядет, расплющивая заброшенный рудник. Свод пещеры устало и безвольно обвисал, словно сорванный бурей парус укладывался на палубу корабля. Бежать было некуда — Осташу засыпало в горе, как стрижа в береговой норке.

Осташа встал на колени и вдруг как-то необыкновенно ясно увидел весь мир от неба до пекла — может, это душа воспарила из тела?.. Где-то наверху, высоко-высоко, сияло яркое зимнее солнце. Под ним на покатых горах, меж которых застыли ледяные реки, мохнатился и пушился снежный лес. Под снегами сплетались узловатые корни деревьев и трав и спали медведи. А под корнями и под медведями лежала немая толща земли, сначала — плодородной, потом — мёртвой; и уже под этой толщей в последней складке пустоты стоял на коленях он, Осташа, маленький человечек с бесполезным ружьём. И мыслимое ли дело, чтоб сквозь все слои из недр этой бездны молитва сумела вознестись выше лесов, выше неба, выше солнца?.. И уже не страх, не ужас, а вопиющая жуть копьём медленно пронзила живую, бьющуюся душу.

Но Господь услышал, Господь помиловал: в той стене, что бесконечно ехала мимо глаз, вдруг открылся проход в другую штольню. Штольня, как червоточина, сидела в пласте, что съезжал по скату. Это была не та штольня, по которой прошёл Ефимыч, — какая-то другая. Неизвестно, куда она вела. Но Осташа подхватил горящую головню и кинулся в её глубину.

Здесь было душно, затхло и пахло холодным прогорклым дымом. Выставив перед собой уголь, Осташа бежал,

ударяясь плечами о стойки. Ему показалось, что дорожка начала заворачивать направо, но сзади снова, будто выстрелы, вдруг затрещали брёвна: подземный сброс изогнул пласт, обваливая и этот проход. И тут Остаща увидел слабое синее свечение впереди — выход! За спиной гулко ухнуло: стены и пол схлопнулись. Тугой и плотный ком воздуха швырнул Остащу вперёд, к свету, но сверху, как веслом по затылку, его ударила земляная волна и пришибла к доскам вымостки, придавив и выбив из памяти.

ПО ЗАВТРАШНЕМУ СЛЕДУ

Он всплывал из беспомыслия, как болотный пузырь из прорвы. Лопнула грязная плёнка, и появился дальний синий свет. Ещё толком ничего не соображая, Остаща пополз из-под земляной кучи, выбрался на вымостки и долго стоял на карачках, тупо мотая головой, а потом сел и огляделся. Штольню позади завалило. Из завала торчали треснувшие плахи и расщеплённые брёвна, будто там насыпало и раздавило какого-то дощатого великана, который чуть-чуть не дотянулся до Осташи деревянными пальцами. А выход из штольни был совсем рядом, даже снежинки долетали. К стойкам поперёк выхода крест-накрест были приколочены две горбылины. За ними невнятно и тускло синела зима — то ли поздний закат, то ли ранний рассвет.

Ничего не болело, ничего не ломило, только голова была как тяжёлый, толстостенный горшок, заполненный песком. Остаща потрепал волосья, вытрясая землю, отряхнул одежду, потом заметил торчащий ствол своего штуцера и выволол ружьё. Сидя на вымостках, он прочистил замок, шомполом выдрочил дуло и старательно зарядил штуцер. Как-то странно всё было... Только что гора чуть не размолола его жерновами пластов, а вот он выскользнул из челюстей —

и опять за своё. Надо убить Яшку. Надо убить Яшку. Надо доделать дело. Некогда рассиживаться. Ведь пронесло лихо мимо. Пронесло.

Осташа поднялся, пошёл к выходу. Двумя пинками он выбил горбылины и прыгнул вниз, воткнулся в сугроб по пояс. Он ничего не узнал вокруг, будто выбрался совсем в другом месте из другой горы. Бледная луна пнём торчала над склоном Вайлугиной горы. И «свети, светило!» кричать не надо — без того видно всё. Гора сверху вниз была расплосована широкими чёрными бороздами. Это от сотрясения кое-где ссыпались языки снега, обнажив стылую землю. Узкая долинка Шурыша была загромождена неряшливым снеговым валом. Кое-где из него торчали верхушки погребённых печей и жерди развалин рудничных построек. Вдали, как причал, чернел свёрнутый набок мосток, который вёл в главную штольню.

Осташа подобрал выбитые горбылины, закинул штуцер за спину и, подкладывая доски под колени, на четвереньках пополз через рыхлые сугробы к мостку. Много ли времени он провёл в пещере?.. Осташа не помнил, где была луна, когда он оставил Ефимыча под мостком и полез в рудник. Нет, Гермон и Яшка ещё не должны были уйти. Куда им идти по снегам на ночь глядя? Сейчас Фармазон со старцем должны сидеть в скиту где-нибудь у выхода, чтобы обвал не зацепил...

Осташа вылез на мосток, встал и снова проверил штуцер: не высыпался ли порох, не выкатился ли пыж, зажигающий пулю для Яшки? Ворота скита были всё так же раскрыты. Осташа сунул в рот пригоршню снега и не почувствовал ладонью ни холода, ни влаги. Вытирая руку, он вошёл в ворота.

«Может, меня всё ж таки убило, и я мертвец? — подумал Осташа, останавливаясь. — Почему мне не страшно? Почему стужи не чую, почему усталости нет и не болит ничего? Почему ни жрать, ни пить не хочется? Почему я в штоль-

не и без лампы всё вижу, как неясить кладбищенская?..» Осташа повесил штуцер на шею и отросшими грязными ногтями с силой провёл по левому запястью. Прикосновение он почувствовал, а боли — нет, будто рука оказалась отмороженной. Но из четырёх рваных царапин словно нехотя выступили тёмные капли крови. Вроде живой... «А-а, плевать!» — равнодушно отмахнулся Осташа, одёргивая рукав обратно. Живой ли, мёртвый ли, оглоушенный — какая разница? Он ходит, видит, думает — и хватит того, чтобы Фармазона застрелить.

Осташа мерно прошагал по штольне до земляного кивота в стене и даже не перекрестился на икону. Он остановился только перед обрывом ловчей ямы с заострёнными кольями на дне. Плаха, по которой переходили ловушку, была дальним концом сброшена с края ямы и косо лежала на уступе стенки.

И вдруг Осташа услышал очень тихие слова:

— Не мудрёно догадаться, что ты вернёшься...

— Кто здесь?! — крикнул Осташа, падая на одно колено и стволом штуцера выцеливая голос в пустой темноте.

Голос был не Яшкин, и Шакула не так говорил... Гермон?..

Из мрака светлыми пятнами медленно слепилась фигура человека, который бессильно навалился грудью на крепёжную стойку и обхватил её руками.

— Ефимыч?.. — выдохнул Осташа. — Живой?..

Старый сержант не ответил. Он устало и тоскующе глядел на Осташу с другого края ямы. Осташа должен был оторопеть... В душе и вправду что-то привычно поднялось и отхлынуло, но не омыло сердце студёной водой, а будто холстиной по камню обмахнуло. И всё, и следа нет.

— Доску мне перекинь, — слабо попросил Ефимыч.

Осташа отодвинул штуцер и глянул в яму.

— Мне её не поднять — тяжела, — сказал он, подумав. — Да ведь она прочно укошена, пройдёшь...

— Тогда позови меня.

Осташа сразу встал, сделал шаг назад и навёл штуцер на Ефимыча.

— А ежели пальну, то убью вдругорядь? — тихо спросил он.

Ефимыч только усмехнулся.

— Позови... — повторил он.

— Лишь по зову только упыри да бесы приходят, — сказал Осташа. — А человек и без зова может.

— Да не бес я... Не упырь.

— Всё одно — нежить. Тебе ж Яшка всю грудину разнёс зарядом чугуна колотого... Да сам я видел: расседина тебя пожрала... Ты ж с крестом был, старый, — как так?..

— Тебя спросить надо. Я же в Тобольск уходил — не в Вай-лугину гору, — тихо, но зло ответил Ефимыч. — Позови. Лучше это я буду... Это ведь быстро... Почти не страшно.

— А коли я тебя крестным знаменьем?.. — тяжело дыша, спросил Осташа.

— Пощади. И так за тебя смерть принял...

— Кого щадить? — ощерился Осташа. — Умер Ефимыч, честный солдат. А ты — морок, анчуга.

— Душа-то моя осталась.

— Не надо мне про душу, хватит! — закричал Осташа. — Я не поп! Я сплавщик! Я души спасаю, когда барку веду! Хорош мне!..

— Позови, — утомлённо ответил Ефимыч. — Правда — и тебе самому легче будет... Ну куда ты потом? Из горы выйдешь — а там же кругом мленье... Только хуже себе делаешь.

— Я уж и мленье, и камень прошёл, — отрезал Осташа. — Ничего мне не будет. Плевал я на вас всех, выползков, понял? Ничего не боюсь, никого! Дойду, куда надо, всех убью! Ты мне скажи — из горы, оттуда: Яшка где?

— Все ушли, давно, — покорно сказал Ефимыч. — Ты под завалом целую ночь пролежал. Рассвет уже над Чусо-

вой-то... Вон, глянь сам: саней с книгами нет, трёх пар лыж — тоже...

Осташа оглянулся: как же он забыл, что у кивота сани с лыжами стояли? Теперь он увидел затоптанные под настил бумажные листы, сваленные грудой лишние лыжи... Неуязвим, что ли, Фармазон? Раз за разом уходит, убегает, выкручивается, меж пальцев просеивается!.. Да будь он проклят со всеми его бесами! Опять между ними целая ночь дороги!

— Я его догоню, — хрипло пообещал Осташа. — Куда он побежал?

— Старец сани потащил на Весёлые горы, а вогул вора увёл за собой на заимку свою.

— В Ёкву, домой? — вскинулся Осташа.

— Нет. На заимку. Где-то на скале она. Не знаю где.

— А откуда вообще тебе про то известно?

Ефимыч усмехнулся.

— Вот помрёшь — так самое главное узнаешь. А про остальное и самому догадаться не трудно.

Осташа закинул штуцер за плечо, отступая от ямы. Ефимыч почти растворился во мраке.

— Не позовёшь, значит? — вдогонку спросил он.

— Прости, — сказал Осташа. — Жаль мне тебя, служба... Прощай.

— Пстой! Пстой! — закричал Ефимыч. — Пстой, Осташка!.. Прошу тебя... Выберешься — найди попа нашего, никонианского... Дай ему, что попросит, — пусть только молит за меня! Может, вымолит у горы душу мою! Найди попа!..

— Найду, — пообещал Осташа. — Не вру, найду. Ты мне жизнь спас — а я душу твою ослобоню. Не забуду, дядя Ефимыч.

Он присел под кивотом, быстро перешуupal валявшиеся лыжи, отобрал подходящую пару и побежал к выходу из штольни.

Растрёпанный малиновый петух восхода, роняя перья, ворочался за распадком Шурыша, сидя где-то вдали на горе Клыктан. Он всё никак не мог закукарекать, примятый неровным небом. Тусклое похмельное войско ельников торчало вкривь и вкось. В холодном сиреновом тумане взгляд вязнул, как в болоте.

Осташа напялил лыжи, похлопал ими о помост и спрыгнул на снеговал. Он даже не оглянулся на чёрное зевло штольни, в которой навеки остался Ефимыч. Лыжня была только одна: та, которую после схода снегов со склона поверх снеговых круч протоптали Шакула, Яшка и Гермон с санями. Разрытой бороздой, вихляясь, она уходила вверх по Шурышу. Такую лыжню не потеряешь и в буран.

Вайлугина гора лежала упрямо и недвижимо, как барка, что на перекате врылась тупым носом в шалыгу. Лыжня прокарабкалась по ухабам вдоль еловой бортовины горы и раздвоилась. Осташа не был охотником-чертознаем, умевшим читать по следам, но и ему здесь всё стало ясно. Вот один человек с санями пошёл на восток, на деревню Таны — скитский перекрёсток. Это был, конечно, старец Гермон. Он уходил, чтобы затеряться в урманах Весёлых гор вместе со своим страшным таинством. А вот два других следа... Они потоптались друг вокруг друга и повернули со льда речки в распадок. Это Шакула повёл Фармазона на свою тайную заимку. Осташа перешагнул на след Шакулы.

И неровный, рыхлый след потянул Осташу то вверх, то вниз, завилял меж буреломов. Лес закрыл розовеющее небо, только обманчивая нежность дня скупое капала в тёмное корыто дороги со снеговых еловых лап. Шакула выбирал путь по низинкам, по лощинам меж гор, по болотистым, дико заросшим кустами вёргам. Он шёл сквозь чахлый сосновый ёгерь на гривах, шёл по лывам на мелких осенних болотцах, что сейчас промёрзли до самой земли. Когда-то, ещё до раскольничьего божелесья, здесь бывали люди: изредка на месте былых вырубков попадались пятна ле-

дін — молодого березняка с сосновым или еловым подсёдом. Но сейчас, кроме следа Шакулы, других человеческих следов не было в этих пустынных дрёмах.

Осташа шагал валко, но упорно. Он не боялся, что его тихонько обойдёт леший и он заблудится. И он никуда не спешил. Некуда было больше спешить. Фармазон уже не скроется. Осташа вцепился в его след, как волчонок в край шубы, что свесилась с саней подвыпившего купца. Он доволочётся — не сегодня, так завтра. Фармазон всё одно остановится передохнуть, потому что хромоногому вогулу не выдержать долгого бега. Вот тогда Осташа молча прыгнет вору на горло.

Сил хватит. Сил хватит уже на всё. Ни души, ни тела своего Осташа не чуял, будто они были отморожены. Ни жрать, ни пить, ни спать не хотелось. Хотелось только не свалиться с пути, случайно расцепив зубы, но он не свалится. Осташа тупо, отбито, с деревянным бряком мыслей думал, что он будет делать. Вот он застрелит Фармазона. Потом пойдёт в Ёкву и снасилует вогулку. Только потом пожрёт и уснёт. Потом проснётся и снова изнасилует вогулку. Потом возьмёт за шкуру Шакулу и вытрясет из него идолека, в котором спрятана душа Бойтэ. Не отдаст Шакула — Осташа его убьёт и заберёт всех его идолков: для них в подклете батиной избы места хватит. А потом он уведёт Бойтэ домой, в Кашку. Поселит её в своей горнице и пригрозит, что, коли та убежит, он найдёт и убьёт её по-вогульски: обольёт водой голую и прокатит на морозе по льду Чусовой от Кашки до Ёквы, чтобы река свитком скрутила с девки плоть от костей, как бересту.

Осташа шагал сквозь вогульские леса, изредка поправляя за спиной штуцер, и думал, что сейчас он похож на Демидовскую башню в Невьянске. Башня склонилась над заводским прудом свою двуперстную ветреницу и вечно падает, падает в пруд, а упасть не может. И сама она — из камня, и в её каменной башке звякают, стучат шестернями

и шкíвами старинные куранты, которые будут бить в свои колокола даже на дне пруда.

...Макариху с её курами и сундуками он сразу вышвырнет вон. Отдаст ей последние батины деньги: только уходи. Найдёт корчага корявая, к кому присоседиться. Затем он тихо поживёт до весны с Бойтэ, посмотрит, кому в Кашке скулу набок свернуть будет надобно, если косо поглядят. А весной напаялит армяк и уйдёт на сплав. По пути в Илиме до полусмерти изобьёт купца Сысолятина: пусть помнит купчина, что слово держать надо. В Шайтанке подпалит воинское присутствие: пусть капитан Берг сокровища на могиле у Флегонта вымаливает. Затем явится в Ревду и залезет в каплицу Конона. Подкараулит и убьёт Чупрю: довольно Гусевым небо коптить. Затем цапнет Конона за бороду: ставь меня сплавщиком. Ставь, как хочешь. Можешь просто так властью своею назначить. Можешь денег дать на собственную барку. Только обязательно выйди на пристань перед Чусовой и скажи всему народу: был Переход честным сплавщиком, и сын его, Осташка, сплавщик по праву. Вот так. Вот так. Вот так.

А дальше он уже будет просто жить. Будет барки мимо бойцов водить. Будет ночами жену свою мять, чтобы она рожала и рожала. Будет остаток жизни, что Господь даст, о прощеньи себе молить. И когда встретится ему тот Боец Неназванный, на котором он убьётся насмерть, пусть останутся у него сыновья-сплавщики, да мать им добрая, да имя честное в наследство.

Осташа шагал-шагал, думал-думал, пока от этих исступлённых мыслей ему не начало казаться, что он слепнет. Широкие, чуть приподнятые носки лыж выезжали словно из сумрака и с каждым движением тела уезжали назад, в темноту. Осташа замедлил шаг и огляделся. Оказывается, уже наступила ночь. Но ему и ночь была не помеха. Он бы шагал за Яшкой хоть до весны. Однако впереди что-то тихо засветилось, и Осташа по склону съехал к полянке, вытоп-

танной в глубоком снегу. Поляна эта притулилась в густой еловой верёйке посреди кондóвого сосняка. Видно, старому вогулу уже было не под силу за один переход одолевать расстояние от Ёквы до Вайлугина скита. Вот он и сделал себе на полпути привал-ночлежинку.

Площадку Шакула заботливо застелил лапником, вокруг из снега набил стенку. К толстой ёлке были прислонены заранее нарубленные брёвна для костра, тут же стояла поленница. На обломанных еловых сучках висели свёртки бересты для растопки, связанные шнурком щёпицы. Поперёк полянки громоздилась нодья — таёжный костёр из двух брёвен, подкаченных друг к другу. Огонь мог гореть меж ними ночь напролёт и не гас ни от ветра, ни от снегопада. И сейчас в расщелине нодьи тлели живые угли. Значит, совсем недавно Шакула и Фармазон сделали здесь передышку.

Осташа обошёл полянку и словно споткнулся. Лыжня снова раздваивалась. Снегопада давненько уже не было, и нельзя было понять, который из двух путей новый, а который старый. Одна-то лыжня уж точно вела в Ёкву, к Шакуле домой. А вторая? Вторая небось на заимку, где Шакула собрался спрятать Фармазона. Осташа мучительно задумался, представляя себя среди окрестных гор. Так... Ёква от него должна находиться на полудень... А как ночью определить полудень?

Держа шапку на затылке пятернёй, Осташа задрал голову. Над ним были только еловые лапы, все в снегу. Да и верхушки ёлок, видно, уходили в облачё... Надо быть охотником-чертознаем, чтобы суметь сейчас найти полудень и полночь, а Осташа был сплавщиком. Плюнув, он вернулся к нодье, сбросил штучер на лапник и наволок на нодью сверху ещё одно бревно. Придётся сидеть здесь до свету, чтобы понять, по какой тропе идти. «Что ж, — зло подумал Осташа, — не впервой Фармазону выручаться оттяжкой... Переждём и эту».

Спать Осташа не собирался — не хотел. И сейчас, у нодьи, он вроде бы понимал, почему его не берёт сон. Так его ангел-хранитель бережёт. Ведь каждый человек божьими и бесовскими силами окружён, в одиночку никогда не остаётся. За правым плечом — ангел, за левым — чёрт. Сзади прячется двойник, догоняющий, когда грозит беда. А впереди повсюду бесы — как поганки у тропы. Человек засыпает, ангел летит на небо о его делах богу рассказать, а бесы душой спящего овладевают. Когда спишь, то всеми бесами одержим и всеми болезнями сразу болеешь, хоть того и не чувствуешь. И если вдруг внезапно разбудят тебя, пока сны не отоснились, то ангел не успеет слететь и бесов изгнать. Какой-нибудь бес да зацепится когтем за душу, останется — и заболеешь или станешь бесноват. Опасная это вещь — сон в лесу. Потому ангел и стережёт Осташу, гонит дрёму прочь.

Осташа пошарил по карманам в поисках сухаря, хотя помнил, что последний сухарь съел вместе с Ефимычем ещё перед входом в штольню. Вдруг в ладонь сунулся какой-то смёрзшийся комок. Осташа вытащил его. Это был клубок суровых ниток, что всучила ему Бойтэ. Осташа ухмыльнулся. Он сквозь мленье прошёл, сквозь гору — чего ему эта ниточка? И всё равно он почему-то захотел поверить вогулке. Он встал, привязал кончик нити к ёлке и несколько раз обошёл свою поляночку с нодьёй кругом, обматывая ниткой три дерева. Будто из ниток стену построил. А потом улёгся у костра, подпихнул под спину лапника, сунул за полу штуцер и, подперев щеку кулаком, стал глядеть в огонь.

Столько всего было, столько всего перепало, и жива ли в нём душа человеческая, и человечье ли в нём естество, если вот уж три дня и третью ночь он не ест, почти не пьёт, холода не чувствует, а только идёт, бежит, ползёт прочь от смерти? Ан нет же, ещё жива душа. Осташа ухмыльнулся. Брёвна нодьи лежали чуть косо друг к другу, и изгиб их был как у бабьих ног. И там, в расщелине, глубоко, сочно и жарко

горел уголь, яркий, как грех. И вся в грехе — недоступная, а в грехе! — виделась в образе нодьи бесстыжая девка-вогулка. Нагая, она лежала с чуть раздвинутыми ногами... Бойтэ, Бойтэ, Бойтэ с кошачьим лицом...

Осташа стукнулся лбом в бревно и еле успел выхватить из углей шапку, оторопело застучал ею по бедру, сбивая искры. И тут ему показалось, что он не один. Он тотчас сел, нахлобучил треух, словно тот помогал лучше видеть, и выставил штуцер из-под полы. Никого. Тишина. Он просто задремал. Тьма за еловыми стволами, тьма... Только нет — вон человек во тьме стоит. Почти не виден. Осташа быстро огляделся и понял, что он окружён. Не один человек, а чуть ли не целый десяток людей стоял в лесу, не выходя на ответ нодьи. «Тати чашобные?..» — подумал Осташа.

Он вскочил, обведя вокруг себя стволом штуцера.

— Кто таковы?.. — хрипло спросил он.

Люди не отвечали и не двигались. Осташа едва мог их рассмотреть. Было в них что-то не то — будто драли их одежду в клочья по дурнолесью, будто были они калеки, будто еле сил у них хватало, чтобы просто вот так стоять. И уже не страх, а тоскливая усталость потекла Осташе в локти, заставляя опустить ружьё.

— Богданко, ты, что ль?.. — тихо спросил он.

Это мленье обступило его со всех сторон, выслало вперёд измученных должников.

Осташа дёрнул на груди зипун, наискось оттянул ворот рубахи и показал молчащим морокам грязную, расчёсанную ногтями грудь. На изопревшем гайтане висели чёрные нагельные кресты.

— Не боюсь я вашей тьмы, — со страстью и бессилием выдохнул Осташа. — Ну хоть что сделайте — не боюсь.

— Во тьме — ты сам, — чужим, земляным голосом с трудом произнёс Богданко. — Мы — только в сумерках... Милость даём... Убери нитки, дай тебя за руку взять... Пойдём с нами.

— Не пойду. Хотя что. Поздно явились. Не пойду. Сами уходите.

Откуда-то издалека-издалека донёсся неуверенный хруст шагов, будто на подмогу мленью, переваливаясь медведем, брёл сам хромой сатана. Осташа опять вздёрнул штуцер: не было у него другого оружия.

— Уходите, уходите, ребята, — услышал Осташа сиплый старческий голос. — Не ваш он. Уходите в лес, к себе. Всё уже...

Из темноты, шатаясь, появился Шакула и привалился к ёлке, на которую Осташа намотал суровую ниточку.

— Еле дотащился... — пожаловался вогул. — Околчено-жил совсем... Смотри: ёсаг-то пополам... — Шакула чуть приподнял колено, и Осташа увидел, что его левая лыжи-на обломлена по носку.

Осташа поглядел по сторонам: мленье исчезло. Не было вокруг Шакулы несчастных теней сгнувшейся горной стражи. Тьма была пустая, как дырявое ведро.

— Одни мы, — кивнул старый шаман и, помолчав, попросил: — Оборви нитки-то... Дай у нодьи отогреться.

Осташа вяло, утомлённо перекрестился и со вздохом ответил:

— А сам и оборви.

Шакула мелко захихикал и съехал спиной по стволу на снег.

— Боишься всё ж таки?... А я не буду обрывать. Мне уже всё равно, что по ту сторону, что по эту.

Осташа утрюмо уселся на лапник, по-татарски скрестил ноги, положил штуцер и протянул к огню ладони. Так они с Шакулой и сидели друг рядом с другом, разделённые тремя шагами и тремя натянутыми нитками.

— А где ты Яшку бросил? — наконец спросил Осташа.

Шакула закряхтел.

— Яку... Кто кого бросил... Яка на Юнтуп Пуп ушёл, на Игольное Ушко... Это я ему Юнтуп Пуп показал. Он и ушёл.

А я домой пошёл, в Ёкву. Лыжу сломал. Да и незачем уже мне за Якой, кончился Шакула...

Осташа покосился на вогула.

— Всем бы так кончиться... — буркнул он.

— Твои солдаты во мленье тоже до конца мира бродить будут, а так бы их через десять лет на войне убили.

— Не вышло у тебя меня мленьем остановить? — зло оскалился Осташа.

— Не вышло, — печально покивал головой Шакула. — Брось ещё полено, света хочу... Дурак я старый. Девка-то, Бойтэ, му-удрая, а я дурак. Когда она душу твою красть хотела, это когда я тебя в лодке выловил, она всё-о-о увидела, да ничего мне не сказала.

— Чего она увидела?

— Увидела, что ты Холитан Хар Амп — Завтрашний Пёс.

— А это ещё что такое?

Что с Кононом говорить, что с Гермоном, что с Нежданой Колывановой, что с Бойтэ — всякий раз Осташа что-то новое о себе узнавал. Жил-поживал, а сам себя почти не знал. Так у донной глыбы-бўльника над водой видна только макушка, а за этим камнем по Чусовой такие майданы бегут, что любой из них гружёную насаду перевернёт.

— Большие люди — ну, я, к примеру, Кона ваш, Гермон, — они как медведи-шатуны. Шатуны раньше всех из берлоги вылезают и раньше времени своего живут, а потому и могут больше, чем другие медведи. Шатун — он чем страшен? — Шакула посмотрел на Осташу сквозь нитки. — Людей ест? Э-э, бывает, и летний медведь людей ест, не беда. Шатун не тем страшен, что людей ест, а тем, что людей понимает. Шатун про людей всё знает. Речь слышит, как я или ты. Его в ловушку не заманишь — обойдёт. Облавой его не взять — его всегда на том месте уже нету. Не боится он того, чего другие медведи боятся. Всегда, всегда сзади нападает. Он почти демон. Но всё равно медведь. Ты не знаешь, ты не лесной человек, а вогу-

лы знают... Знали, — поправился Шакула, — пока были ещё настоящие вогулы на Ханглавите. Я да девка моя — последние мы...

Шакула печально замолчал.

— Ну, говори, — поторопил Осташа.

— На шатуна только одна управа была — Завтрашний Пёс. С виду вроде простая собака. От других отличается тем, что кошек не боится. Холитан Хар Амп — редкий дар был. На три-четыре павыла — один. Хранили его, берегли. Я много жил, а Холитан Хар Ампов только двух видел. Гавкают, как все, — и вроде больше ничего. Но это не наши собаки. Они щенками прибежали сквозь Юнтуп Пуп, из завтрашнего дня. А потому умеют брать завтрашний след, которого сегодня ещё нету. Вот с ними и охотились на шатунов. Ты — не пёс, конечно, а человек, но ты — Холитан Хар Амп. Как тебя мленью взять, если оно только там, где ты уже вчера прошёл? Никак. Девка-то это и поняла — нитки вот тебе дала. А мне откуда знать? Она ещё когда голая на тебе лежала, вижу я: не так что-то она корчится. Я решил, это ты её так взял. А ты как мертвяк был, ничего, ясно, не мог девке сделать. Это она сама про тебя познавалась. И мне не сказала. Выбрала тебя.

Поначалу Осташа пытался что-то понять в словах Шакулы, а потом и стараться перестал. Не мог он воедино всё это увязать: Кононово рассуждение о правде людской, толк последнего таинства — истязельчества, убеждённость Нежданы, странно согласную с явлением Колывану святого Трифона... Осташа и простого-то — кто и как батю убил? — не смог раскрыть, куда уж сейчас пробовать...

— Плевать мне на всё это, как и на мленье твоё, — устало сказал Осташа. — Мороки вогульские, толки староверческие... Я — человек простой, из цельной доски выпилен. Я сплавщик. Нету мне дела до этого. Я иду Яшку Гусева убить, и всё. Ты мне скажи, где твой Юп... Пуп... Или как его?

— Назвать не могу, — сочувственно произнёс Шакула. — Но когда ты к нему поближе подойдёшь — я тебе на него рукой покажу.

— Так ты ж домой поплёлся, — удивился Осташа.

Шакула согласно закивал.

— Увидимся. Всё равно. Покажу рукой.

Осташа мучительно соображал, что вогул имеет в виду. ...Или юп-пуп этот всё ж таки в Ёкве, и Яшка там прячется, опять Бойтэ раздевает?! Осташа вскинулся, яростно глядя на Шакулу.

— Путаешь меня, старый хрыч? — гневно закричал он.

Шакула отрицательно замотал головой.

— Всё теперь твоё, — сказал он. — Кончился Шакула. Думаешь, зачем я в скит побежал? Чтобы сказать Гермону, что ты к нему с горной стражей идёшь, да?

— А ещё-то зачем? — хмыкнул Осташа.

Шакула захихикал.

— Мне-то скит этот — кость в горле. Я-то рад, что гора упала. А пошёл я, чтобы сказать, что в Железе умер Кона, вот. Весть донеслась. Старый ведь он был, Кона-то. Чего-то узнал и умер.

«Железо» — по-вогульски «Ревда». Значит, умер Конон Шелегин?.. Посмотрел на него, на Осташу, всё понял — и умер?

— Ты умойся снегом, — посоветовал Шакула и начал медленно подниматься. — Полегче станет... И прощай. Помни про мою руку...

Шакула неловко развернулся и побрёл куда-то в темноту, хлопывая сломанной лыжей. Ещё миг — и его сторбленная спина исчезла из отсветов нодьи. Теперь только еловые лапы тихо покачивались там, где он только что был, да сеял снег.

Осташа посидел, тупо глядя вслед Шакуле, и вдруг вскочил, начал собираться, засупонился, вдел плечо в ремень штуцера, нацепил стремяна лыж. А чего ждать? Всё стало

ясно. Шакула ушёл по тропе в Ёкву. Значит, другая тропа — на Юнтуп Пуп, где хочет спрятаться Фармазон. Осташа решительно оборвал нитки и двинулся прочь с поляны. И отсвет нодьи быстро угас за толстыми снежными деревьями.

Осташа монотонно, упрямо шёл, шёл, шёл по лыжне, опустив голову, чтобы не потерять из виду след, будто и вправду был псом. Кругом косматилась зимняя тьма. Призраками вдруг возникали в ней еловые лапы с полными горстями снега в ладонях, лезли в лицо, кололи скулы, оглаживали по плечам. Он ничего не замечал, только изредка передёргивался, как зверь, и стряхивал с загривка сугроб. Любой древесный нарост на стволе казался кривым рылом нечисти, что молча паялилась на Осташу из холодного вогульского мрака.

И наконец ночь начала редеть. Лес разлепился на отдельные деревья, серые и пухлые, будто пыльные, как осинные коконы под стрехами конюшни. Потом впереди что-то засинело, словно промоина. Это была тусклая заря над Чусовой.

Осташа вышел на вершину скалы. С замёрзших стёкол глаз точно стёрло паутину... Мутный, неохотный рассвет дымил, как сырой костёр, клубами выдувал дальние горы и низкие тучи над глубокой рытвиной реки. Осташа стоял лыжами в следе Яшки-Фармазона. Он видел, что чуть подалее, у самого края обрыва, этот след вдруг разъезжался безобразными кривулинами. Полоса снега была сдвинута и сброшена вниз; в снеговом навесе над кромкой пустоты зияла кривая выемка. Осташа со скрипом вытянул ноги из стремян и лёг на лыжню брюхом. Ломаясь по складкам, затрещали штаны и зипун. Осташа подполз к обрыву, чуть выставился лицом и посмотрел. Глубоко-глубоко внизу на льду Чусовой, раскинув руки и ноги, лежал маленький чёрный человечек. Пока Осташа смотрел, лицо заскорузло от холода. Отирая слёзы ледяной рукавицей, Осташа всё пы-

тался понять: кто же это лежит? Н-ну, а кто это мог быть? Яшка-Фармазон, кто же ещё? Здесь Шакула столкнул его со скалы. Вон вокруг следы борьбы, когда тщедушный старик вогул изнатужился скинуть с обрыва дюжего, яростно сопротивлявшегося мужика... Скинул — и пошёл домой.

Осташа отполз обратно, встал, вернулся к своим лыжам, вдел ноги в стремена и увидел, что от разрытого места схватки лыжня идёт дальше вдоль обрыва — туда, где можно спуститься на реку. Видно, Шакула хотел доподлинно убедиться, что Яшка мёртв. А может, сердце его вырвать, или печень съесть, или что ещё там пожелает сотворить лесной колдун?.. Но Шакула спускался со скалы к мертвецу — значит, и Осташе тоже надо спуститься.

Отворотив от обрыва в лес, лыжня повиляла меж стволов и плавно покатила под уклон. Осташа присел на корточки, цепляясь за пролетавшие мимо еловые ветки, чтобы не разогнаться слишком сильно. Уже у самого подножия склона его всё-таки тряхнуло, подбросило и выкатило на лёд кубарем. Отплёвываясь, Осташа поднялся на ноги, подобрал шуцер и, оглядываясь вокруг, начал обколачивать об локоть шапку.

На реке не то что в лесу — он показался себе маленьким-маленьким, будто щенок на дне огромной барки. По правую сторону уходила вперёд изломанная поверху стена бойца Дужного и на излучине реки разворачивалась могучей грудью. Вот где выбегала на Чусовую тропа из Вайлугина скита... Серая каменная стена просаживалась, словно пошла волнами. Казалось, что она дрожит от напряжения, как бортовина барки на огибке. Снег не держался на ней и ссыпался вниз. Зубцы откидывались в небо, вспахивая мглистые сизые тучи.

«И ведь не в болоте, иуда, потонул — с такой высоты грянулся, чисто звезда с неба...» — ненавидяще подумал Осташа про Фармазона, шагая к тому месту, где из снега торчала мёртвая чёрная рука.

Это был Шакула. Это не вогул Яшку, а сам Яшка столкнулся Шакулу со скалы. Осташа ладонью смёл снег с окостеневшего лица вогула — словно с резной доски. Глаза застыли, блёкло отражая высокий зубец Дужного камня. В морщинах, в открытом рту намёрз лёд. Осташа сначала не поверил себе. Потряс головой, прижал к обмороженным скулам по горсти снега. Нет, точно — Шакула. И носок левой лыжи отломан...

Осташа перекрестился, словно ожидал увидеть за спиной всё воинство ада, и оглянулся. Пусто. Огромный изгиб реки, огромная скала, белый лес на берегу, тишина вокруг.. Так что же: там, у ноды, он разговаривал с уже мёртвым Шакулой?.. Мёртвый Шакула пошёл в Ёкву, хлопая обломком лыжи?..

А почему и нет? Скит обвалился, Конон умер. Зачем тогда Гермону нужен вогул, который знает тайну истязательства на сплаве? Вот Гермон и отправил Яшку: пускай вогул покажет Яшке убежище, а Яшка потом вогула убьёт. Яшка в пути дознался, где этот самый Юнтуп Пуп, и столкнулся Шакулу с обрыва... Но чего же мертвецу-то не лежалось на льду? Зачем он пошёл в Ёкву?..

Бойтэ?.. Осташу как морозом поперёк груди продрало. Нет, девка — ведьма, ей Шакула ни живой, ни мёртвый не страшен. За Бойтэ бояться не стоит... Мало ли чего забыл колдун в своём доме? Плевать. Ему, Осташе, нужно идти дальше — до решающего грома выстрела. Эта охота должна быть с кровью. Он, Осташа, вобьёт кол в каждого беса, никого не забудет. Но сейчас первым должен наконец-то сдохнуть Яшка Гусев, Фармазон. Его судьба обвилась вокруг Осташинной, как змея обвивается вокруг лошади — и всё, лошадь как вкопанная на месте стоит. Хочешь, чтобы она дальше пошла, — отрежь змее голову.

Осташа сразу увидел Яшкину лыжню. Фармазон убедился, что Шакула мёртв, и двинулся вперёд. Похоже, этот Юнтуп Пуп уже недалеко. А где его здесь упрячешь, если уж

совсем немного до Усть-Серебрянки остаётся? Осташа, кажется, догадывался: убежище Шакулы — в пещере Новикова камня. Осташа обернулся — точно: отброшенная в сторону рука мертвеца указывала куда-то на левобережную гору.

Зимний тракт был до блеска отлакирован полозьями караванных саней и кибиток, что катились на стуже по навозу и горячей конской моче. Елочки, которыми тракт был обставлен по краям, за зиму поредели: какие-то сдуло ветром, засыпало снегопадом, какие-то свезли набок пьяные обозники. Лыжня Фармазона наискосок скользнула на дорогу. Угол, с которым Яшка вошёл на тракт, сразу показал, в какую сторону Яшка побежал дальше.

И Осташа тоже побежал. Тракт — это не еле пробуровленная лыжня, тракт ходкий. Боец Дужной по правую руку потихоньку развалился на куски. Меж ними к Чусовой выползали осыпи, сплошь заросшие кривыми сосёнками. Чусовая словно раскатила эти обломки, заволокла их даже на крутые склоны, и они темнели среди сугробов и ельника. Последним лежал непропечённый каравай камня Коврижка. На нём дыбились космы кедрача, раздёрганного буранами.

А левый берег всё вспучивался, всё поднимался. Наконец где-то под облаками заблестел льдом первый гребень камня Новиков. Этот камень словно молотом раздробило. Торчком стояли уцелевшие громады, перекосились переломанные кости, валунное крошево засыпало сколы и крутые скаты. Скала даже будто чуть-чуть отползла от Чусовой: мол, хватит, не бей больше... На прибрежной бровке парадом выстроились высокие острые ёлки, наряженные снегом по полному артикулу. За их победными штыками кособочились сутулые плечи разрушенного бойца. Осташа помнил: вон там за еловой макушкой должна чернеть дырка пещеры. Если знать, где высматривать, то её можно было увидеть с реки, с пролетающей барки, а если не знать — то проглядишь, не заметишь.

И точно: примерно напротив пещеры с тракта на ледяную целину поёрскнула лыжня, забурлила к берегу и исчезла под ёлками меж валунов. Это Фармазон свернул к убежищу. Сейчас небось он уже сидит в своей норе. А вдруг он нацелил ружьё на подступы к пещере? Залп колотого чугуна из-за еловой лапы — и не будет Осташи Перехода... Но отступить Осташа не мог.

Он перебежал по Яшкиной лыжне к берегу, залез на валун, сбросил лыжи и опять проверил штуцер. А потом начал карабкаться вверх, на крутизну, скользя по обледеневшим глыбам. Он обрушивал на себя снежные навесы, проваливался по грудь в чёртов хламник сучкастого бурелома, погребённого под сугробами. Чуть в стороне, за толстыми, мшистыми стволами, Осташа видел борозду Яшкиного следа. Яшке тоже трудно было взобраться к пещере... Да где же она? За спиной Осташи, за ёлками уже было только небо, только рябь лесных верхушек, даже Чусовой внизу не видно...

Пещера показалась чуть правее, чем рассчитывал Осташа. Таясь за деревьями и камнями, он подобрался поближе. Выход по краям и понизу оброс ледяной губой. С краю в губе были вырублены ступеньки. Яшкин след уводил в темноту зева.

Осташа засел за камень, стал ждать. Ждал, пока не замёрз. Ну не знает ведь Яшка, что Осташа идёт вслед за ним, как пёс по кровавому следу раненого волчины! Не должен Яшка караулить! Он сейчас должен жрать, или спать, или вшей выжаривать на камельке... Осташа перебрался к ступенькам и поднялся в пещеру.

Он думал, тут будет темнота, дым... А в пещере было как в сказочном дворце. Блестящие, сине-зелёные ледяные бугры... Ледяные слюни и сопли на стенах... Всюду — дивный лазоревый свет, сияющий туман, в котором на любом уступе стены торчком стоят толстые и тонкие ледяные свечи,

каждая — с замёрзшей малиновой искоркой внутри. Осташа будто внутрь хрусталия попал, будто очутился в заколдованной шёрловой копии, которую, обещая чёрту душу, ищут рудознатцы и самоцветчики Мурзинки.

Осташа задрал голову. Вот в чём секрет!.. Не пещера это была, а выход из огромного колодца высотой в полтора десятка сажен. Колодец начинался где-то на макушке Новикова камня. поэтому солнечный свет и раскрасил так дивно это ледяное узорочье. Но сверху грозно свисали огромные заострённые сосули. Даже нет, не сосули, а строённые, счетверённые копыя, целые бивни изо льда. Дальше наверх пути не было. По ледяным балясинам не заберёшься — соскользнёшь вниз, и каждая чудесная ледяная свечка на полу будет как заточенный кол на дне ловчей ямы. Да ещё сверху, если отломятся, рухнут ледяные долота. Не так уж и доступно было убежище Шакулы... Знать, обычно стояла здесь лестница. По ней Яшка и забрался наверх, а потом, наверное, подтянул её за собой. Да вон же она, видна станиной и ступенькой за ледяным столбом...

И опять что-то мешает ему добраться до Яшки! Осташа пинками поломал все ледяные свечи, прикладом штуцера разбил ледяные зеркала, а потом полез назад. Едва не распоров брюхо на сучьях бурелома, он скатился вниз по своей борозде, надел лыжи и выбежал обратно на тракт. Задрал голову, разглядывая громаду Новикова камня. Где забраться на него?.. Осташа был сплавщик и помнил Чусовую. Вон там, за обрывом скалы, перед корявыми утёсами камня Котёл в Чусовую впадает речка Гаревая. Он пройдёт вверх по этой речке, вылезет на Новиков по лесу с хребта и всё ж таки найдёт Яшкину берлогу!

И он брёл в теснине речки Гаревой, лез через буреломы-холуи, подныривал под упавшие стволы. Потом, разгребая снег сажёнками, он всплыл вверх по крутому, скалистому склону горы и выбрался в чащобу на вершине. За-

крыв лицо руками, пошатываясь, он встал на валежину и подождал, пока утихнет клокотание крови в ушах, чтобы уловить тихий звон пространства. Где звенит чище — там Чусовая.

Вроде и делов-то — подняться на гору, а уж солнце в тучах, как каравай в мятом мешке, перекатилось куда-то в угол — будто у кликуши глаза под лоб завело. Мотаясь от ствола к стволу, Осташа выполз на край Новикова камня. У Новикова и на вершине громоздилась ещё одна скала, совсем невидимая снизу, с Чусовой. Осташа начал обходить её, цепляясь за камень голыми пальцами, что торчали из рваной рукавицы. И за кривым уступом он наконец увидел то, что Шакула называл Юнтуп Пуп — Игольное Ушко.

Какие-то огромные бесовские лапы взмесили камень, как тесто, и скала изогнулась, как скоморох — вниз головой. Получились настоящие ворота. Они были такими большими, что в них могла бы проплыть барка, если бы барки плавали по небу, как облака. На гребне каменных ворот, словно на заброшенном мосту, росли высокие сосны. Осташа поглядел сквозь это Игольное Ушко, и ему показалось, что он воистину увидел завтрашний день с яичным желтком солнца, что висело в небе где-то за горбом Сибири. Но солнце было далеко, безмерно далеко, а окоём — близок и осязаемо кругл. Внизу петляла Чусовая. Справа топорщился частокол Дужного бойца, под которым лежал мёртвый Шакула. Слева кровянел мясной пласт камня Ростун, заслоняя своим углом крыши домов Усть-Серебрянки, что рассыпалась по белому полю. Само небо здесь стояло вровень с Осташей, как вода у глаз купальщика.

И ещё Осташа увидел, что позвоночник каменной дуги прямо посередке перехвачен верёвкой, а на верёвке висит, будто удавленник, небольшой идол. Кто-то сделал из Игольного Ушка виселицу. Перекрестившись, Осташа спустился чуть пониже и рассмотрел идола издалека. Это был

ургалан из тех, что стояли в доме у Шакулы. В груди ургалана торчал вбитый гвоздь. Глаза были выцарапаны. А один бок опалён, будто идола сначала хотели сжечь, да передумали. Нет, не передумали — не дали!.. Он, Осташа, и не дал. Это был тот самый идол, которого солдаты горной стражи в домике у Шакулы сунули в очаг под котелок, когда не хватило дров, а Осташа — тогда ещё Гордей — выхватил его из огня. Но кто же сейчас повесил идола? Кто вбил в него гвоздь и выцарапал глаза? И почему, зачем?..

Осташа подошёл к идолу, ступая в чей-то старый, уже замётённый след, и прикоснулся к деревяшке. Заледеневшая верёвка хрустнула, идолок качнулся. И тотчас сквозь Игольное Ушко с горы широко дунул ветер, принося запах дыма. Фармазон!..

Сжимая в руках штуцер, Осташа сунулся под защиту каменной ноги Юнтуп Пула. Невдалеке бугром торчала занесённая снегом крыша землянки. Из неё высовывалась долблёная труба. Вот оно, убежище Яшки! И если пахнет дымом, значит, сам Яшка здесь же.

Не опуская штуцера, Осташа зубами по очереди стащил с рук рукавицы, сплюнул их на снег и вышел из Игольного Ушка. Он почувствовал, что всё: покатился с горки. Вытягивая ноги из сугробов, Осташа медленно и неумолимо двинулся к землянке. Сейчас он Яшку убьёт. Или же Яшка убьёт его, если сумеет. ...Он убьёт Яшку в лоб или в спину, оружного или безоружного, молящего о пощаде или прячущегося под тулуп; убьёт Яшку любого. Осташа уже не думал ни о чём. Он не вспомнил о бате, не вспомнил о растоптанной Маруське Зырянкиной, о замордованной Луше, об изнасилованной вогулке, о Шакуле, сброшенном со скалы, об Алфёре Гилёве, о попе Флегонте... Слишком много было народу на совести Гусевых; пока всех припомнишь — Яшка убежит. Да и дело-то не в мести. Просто если хочешь жить — убей Яшку, и всё. Кара тут ни при чём. Дело в том,

что если Яшку не убить, то не будет ни правды, ни жизни. А воздаянье — да пёс с ним.

Осташа выбрался на утопанную площадку перед хиброй и наклонился к раскрытой дверке. В землянке горел очажок, на котором в мятом котелке кипела вода. У стенки стоял плоский бочонок-барылка с выбитой крышкой. На лежаке валялись зипун и кушак. А Яшки не было. Осташа тотчас отпрыгнул назад: значит, Яшка вышел на мгновение и сейчас вернётся! Откуда он может прийти?.. От землянки вела одна-единственная утопанная тропка. Через двадцать шагов она исчезала в мелких ёлочках.

Ёлочки вдруг зашевелились, и Осташа едва не пальнул из штуцера. Из ёлочек спиной вперёд выпятился Яшка, который тоже держал перед собой поднятое ружьё. Видно, звериной своей душой он почуял, что кто-то вторгся в его убежище. Как был в неподпоясанной рубахе, так он и бросился встречать гостя. Встречать, конечно, пулей. А бросился, конечно, к колодцу. Откуда же ещё ему ждать угрозы? Но ведь Осташа был сзади!.. В кого Яшка целился?!

Под шагом Осташа хрустнул снег, и Яшка оглянулся. Осташа вновь увидел его лицо так же близко, как в пещере старца Гермона, как в окошке илимской ослиной. Но впервые Осташа прочёл на Яшкином лице мысль и молниеносный расчёт: кто опаснее — Осташка Переход или тот, кого сейчас Яшка держал на прицеле? И Фармазон мгновенно принял решение: тот, неизвестный Осташе враг, — опаснее. Яшка отвернулся от Осташа, вздёрнул ружьё и выстрелил. В ёлках что-то рухнуло. Яшка отшвырнул ружьё и кинулся по тропе вперёд, от Осташа — прочь.

Осташа рванулся следом. Он лишь мельком заметил в зарослях кого-то тёмного, только что убитого. Он продрался сквозь ельник и оказался на краю ровной снежной котловины, огромной чаши, днище которой было продырявлено провалом колодца. Яшка, не оглядываясь, уже спускался в колодезь

длинную, как мачта, лестницу. Осташа замер, затаил дыхание, прищурился, прилипнув щекой к ружейному замку, навёл гранёный ствол штуцера на Яшкину спину и выстрелил.

Его самого шарахнуло так, что он сел в снег. Тряхнув головой, чтобы сбросить морок с глаз, Осташа увидел, что лестница валяется на снегу, а Яшки в котловине нет. Он канул в колодец, как в полынью. Это действительно была гибель. В колодце ещё качалось эхо выстрела и звенел раздробленный лёд.

Осташа медленно поднялся на ноги, отряхнулся, тщательно перезарядил штуцер и пошагал по тропке наверх — посмотреть, кого Яшка убил.

Он подошёл к человеку в ёлочках и перевернул его, желая взглянуть в лицо. Вместо лица у человека были безобразные клочья бледно-розового, давно обескровленного, мёртвого мяса, в которых оспинами чернели крошки чугуна. Яшка снова убил пришедшего к Юнтуп Пупу Шакулу.

И теперь уже Осташа в ужасе бежал к колодцу, трясущимися руками опускал в него лестницу и полз вниз, лишь бы побыстрее убраться от страшного Юнтуп Пупа, сквозь который прибегают завтрашние собаки и сквозь который не могут уйти вчерашние мертвецы.

Тела Яшки и на дне колодца не было — только полоса сбитых ледяных свечей. Яшку с разгона выбросило из колодца, как ядро из пушки. Осташа увидел его, тряпкой висящего на засохшей сосне против выхода. Яшку броском накололо на сучья, как соломенный сноп на вилы.

Осташа скатился со склона Новикова камня, чудом избежав Яшкиной смерти, и уже на льду Чусовой упал на четвереньки, хрипя и задыхаясь.

Рядом на тракте стояла гнедая заиндевелая лошадь, запряжённая в кошёвку. С кошёвки соскочила какая-то баба и через целину пошла к Остахе, словно ждала его. Подняла, подхватила под мышку, повела к саням.

— Ложись вот сюда, под шкуры, — заботливо велела она. Осташа ошеломлённо глядел на бабу. Это была Бойтэ.

— Ты сделал всё? — спокойно спросила она, усаживаясь на облучок спиной к Остахе и разбирая вожжи. Осташа молчал.

— Ну и хорошо, — сказала Бойтэ, и было ясно, что она улыбается. — А теперь едем домой.

БОЙТЭ

Ему казалось, что он всё доделал, всё, и теперь возвращается домой, бросив ненужные лыжи, и твёрдо, тяжело, устало ступает по накатанному тракту. У него уже нету сил, чтобы шагать, но зато есть вера, что завтрашний день явится ему ярким солнцем Сибири. Дорогу для этого солнца проторил Ермак, щитом раздвинувший горы и мечом порубивший идиолов. Солнце придёт Государевой дорогой Ермакова пути, а не просочится сквозь гибельную течь Игольного Ушка. В сумерках Осташа без страха миновал подкову Дужного бойца, где в омуте тьмы должен лежать мёртвый вогул. Потом всю ночь под синей луной Осташа шёл и шёл, шёл и шёл долгим Осиновым плёсом, пока на рассвете не увидел над собой кривые башни Столбов — будто в лесах сдохла огромная каменная кобыла и теперь валяется на берегу, задрав окоченевшие ноги. И от Столбов Осташа свернул направо к весёлой деревне Пермяковой. Весёлой и разбойной, где розовощёкие девки в красных расписных платках пилились на него от колодца и задорно кричали: «Эй, красавец, дай по полушке — покажем ватрушки!..» А он молча пересёк Чусовую возле Золотого острова и полез в гору, которая где-то вдали обрывалась в Чусовую утёсами Собачьих Камней. Там вместе с Бойтэ возле кедра-ульпы он когда-то искал клеста, что склевал счастливые зёрна; искал, да не отыскал. Дорога с горы скатывалась к Ёкве. Свер-

ху деревня казалась ярмарочной холстинкой, на которую для продажи выставили колпаки чумов. Осташа добрался до жилищ опять только в сумерках и опять увидел неяркий столб света над дымоходом чума Шакулы. Он откинул полог и на четвереньках залез в чум, где было тепло и дымно. Здесь горел очаг, а хозяев, слава богу, не оказалось — ни старика, ни жлудовки. И Осташа просто лёг возле огня ничком, зарылся лицом в пыльные шкуры, чтобы заснуть, наконец заснуть, — и заснул.

И тут же проснулся с таким облегчением, словно выполз из-под завала в штольне Вайлугиной горы. Он лежал всё так же — ничком, но уже в одних только исподних портах. Кто-то заботливо и нежно обтирал ему спину тёплой мокрой тряпицей. Не шевельнувшись, Осташа приоткрыл и скосил один глаз. Стоя возле него на коленях, Бойтэ полоскала тряпицу в котелке. Она была в просторной меховой рубахе на голое тело. Полы рубахи на смуглом животе небрежно сцепляла пара стежков ремешка. В растворе рубахи тяжело перекачивались груди, как волны между бортом барки и причалом. И Осташа сразу понял, что весь путь ему приснился. Вогулка подобрала его под Новиковым камнем, привезла к себе и занесла в чум.

Бойтэ тем временем переползла куда-то назад, потянула за штанины и стащила с Осташа портки. Переставив котелок поближе, она без стыда принялась смывать грязь и пот с Осташиних ног и задницы. Ничем не выдавая того, что проснулся, Осташа замер, как перед прыжком.

Бойтэ шлёпнула тряпку в котелок, взяла Осташу за плечи и рывком перевернула на спину. Осташа широко открыл глаза и хищно оскалился. Бойтэ сразу увидела, что он готов. Руки её сжались в кулачки, из которых грязная вода потекла по запястьям в рукава рубахи. Осташа поразился тому, что не увидел в лице девчонки ни смущения, ни оторопи. Наоборот, её кошачьи черты и не дрогнули, только глаза вдруг расширились, загораюсь торжеством и ожиданием.

И Осташа учуял это ожиданье. Он молча схватил девку за руки, дёрнул к себе, уронил на шкуры и перекатился на неё, своими коленями разомкнув её сжавшиеся бёдра. Он ощутил себя и вогулку двумя какими-то деталями, которые сошлись друг с другом ладно и ходко, впритирочку точно, словно для того и были изготовлены. Он навалился на девушку так тяжело и внезапно, что у неё руки и ноги выбило вверх и в стороны. Он ударил в Бойтэ собою, как барка ударяет носом в перебор.

Он за этим шёл, бежал и полз, он только за этим и рвался изо всех сил, губил людей без пощады. И вот он добрался — заслужил, отбил, завоевал. И сейчас прибой победы раскачивал его на девке, как привязанную лодку на волне. Но и с Бойтэ, что зашипела по-кошачьи, волна смывала всю блёклость и бледность. Раскалялись тусклые губы, яблочным цветом наливались молочно-смуглые скулы, осенние глаза разгорались изнутри разворошёнными углями.

— Меня!.. Меня!.. — хрипела Бойтэ рычащему Осташе и поддавала ему под зад пятками, словно коня понукала.

И когда верёвку порвало и лодку понесло, Бойтэ завизжала, забилась, выгнулась дугой. Тонкая и слабенькая, она вдруг неудержимо и мощно задвигала плечами, ворочая Осташу с бока на бок. Ей словно не хватало движений, чтобы выразить жар и ярость, и она ногтями полосовала Осташе спину.

— Ещё! — требовательно крикнула она, когда Осташа ткнулся мокрым лбом в шкуру. Она вся была как парус, надутый ветром на разрыв: дрожала мелко и часто. Казалось, сейчас коснись её кончиком ножа — и она лопнет пополам, как разрубленная саблей.

— Будет и ещё, — еле дыша, с угрозой ответил Осташа.

Освещённые очагом стенки чума, скошенные к звёздной дыре дымохода, сплошь отпотели, словно в чуме, как в домне, варили железо. Было похоже, что звёзды расплавились и сверкающими каплями потекли вниз по швам кожаных

полотнищ. Бойтэ вдруг с такой страстью оттолкнула от себя Осташу, что он откатился в сторону и на миг почувствовал себя Яшкой-Фармазоном, которого застрелили, прокатали сквозь ледяную трубу, выбросили и с разлёта накололи на сучья, развесив на мёртвых ветвях, как армяк на просушку.

— Это я! Я! Я! — ликующе закричала Бойтэ.

Она единым движением вскочила на ноги, швырнула в Осташу свою рубаху и голой заплясала вокруг очага. Это был дикий, нерусский пляс, когда всё тело извивается, груди крутятся колесом, руки ломаются вокруг головы, как молнии в облаке растрёпанных белых волос, а ноги разлетаются, раскидывая колени и бесстыже раскрывая мокрое, жадное лоно.

Осташа бессмысленно смеялся, глядя на Бойтэ — гибкую, узкую, сильную, как плеть.

— Я, я нашла тебя первой, Холитан Хар Амп! — пела вогулка, вертясь по чуму. — Это я всё придумала, я всё подстроила, я за тобой следом всегда мороком неслась! Это я камлала, и Кона умер! Это я камлала, и гора раздавила скит! Это я Шакулу убила — почти убила, да! Это я сгубила Яку, я, я, я!..

— Яшку я застрелил! — весело и ревниво крикнул в ответ Осташа, загораясь её огнём.

Бойтэ вдруг упала перед ним на четвереньки, протянула к нему руки, расплющив груди о шкуры на полу, и пособачьи завияла оттопыренным задом, игриво мотая головой.

— Пусть ты, не жалко! — прошептала она и забарабанила ладонями.

— А зачем?..

Осташа попытался поймать девку, но она тотчас оказалась возле дальней стенки чума — встала, уперев руки в бока, выпятила живот и завияла бёдрами, показывая Осташе язык.

— Затем, что Шакула был раб, а я у него рабыня! А теперь я буду хозяйкой Ханглавита! Хозяйкой Ханглавита, понял?!

Осташа сел, не отрывая глаз от пляшущей на месте девки.

— Как будешь?

Бойтэ снова упала на живот и рывками поползла к нему, задирая локти и перекидывая зад.

— Ты будешь вместо Коны лодками командовать! А я тебе помогать стану! Какую назовёшь — такую лодку разобью о скалу, ослеплю сплавщика! Кого укажешь мне — того соблазню, душу украду и сгублю! Ты будешь мой муж, а я — хозяйка твоей реки! Не нужна Ханглавиту правда Коны! Не нужна тебе будет хитрость шамана из Вайлугиной горы! Только сила нужна! Я твоя сила буду! Хочешь добро сотворить — добро сотворю, хоть всем! Хочешь зло — пусть зло будет! Правда не нужна! Сила нужна! Я твоя сила, мой эрнэ эрупан!

Бойтэ доползла до Осташи и лизнула ему ногу.

— Я — твоя жена, мой ойка эрнэ эрупан! Я тебе своё настоящее имя скажу! Я не Бойтэ! Моё имя — Сёритан Аквсир, Цветок Папоротника! Я хочу кормить тебя!

— Корми, — хрипло согласился Осташа.

Бойтэ вдруг прыгнула на него, как летучая мышь, — он еле успел поймать её за бока. Она села на Осташу верхом так, что груди её оказались напротив его лица.

Ухватив ладонью правую грудь, она сжала её и ткнула твёрдую ягодку набухшего соска Осташе в рот.

— Пей моё молоко! — жарко прошептала она. — Как Шакула в гору ушёл, я для тебя три дня грудь свою сосала...

И у Осташи всё словно поджалось и поворотилось в животе, ружейным затвором дёрнулось горло. Ему захотелось, мучительно захотелось этого молока. Он обхватил губами сосок Бойтэ и втянул в себя что-то пьяное и медвяное, сразу сладкое и горькое, совсем незнакомое и в то же время

всегда, всегда тайно желанное. Запрокинув голову, Бойтэ мяла свою грудь, толчками выбрасывая молоко, и чуть постанывала, когда Осташа больно сжимал сосок зубами. А потом за волосы оттянула его голову и ткнула в левую грудь. И живот у Бойтэ, и лицо у Осташи были залиты белым молоком.

Наконец она повалила Осташу на спину и мягко повела плечом, высвобождая сосок из его губ.

— Теперь снова люби меня! — властно потребовала она.

— Дай же передышки, душа моя, — задыхаясь, просипел Осташа.

— Я сама начну! — пообещала она, страшно приближая свои глаза к его глазам, будто хотела взглядом выжечь всё в разуме Осташи.

Она извернулась ящерицей, и Осташа почувствовал её тёплые, мягкие губы. Перед Осташей был круглый, белый, разъятый девичий зад, и Осташа сжал его ладонями. Он думал только о том, что вот на это, на это он и хочет глядеть всю жизнь, чуть передохнуть — и снова глядеть, и снова.

А потом Бойтэ опять перевернулась. Не успев перевести дух, Осташа увидел, что Бойтэ уже оседлала его верхом и въётся на нём, как рыба, выдернутая на лесе из воды. Осташа с яростным вскриком весь подался вверх, словно его всасывало в девку. Бойтэ будто вдыхала сквозь него его горлом. Он не мог воспротивиться, не мог даже слова сказать и лишь снова схватился за её груди, как за яблоки на яблоне.

...В каплицах раз в год приходящие учителя собирали деревенских парней, вошедших в пору мужания, и говорили им то, чего не скажет ни отец, ни мать. И сейчас Осташа против воли победно ухмылялся, вспоминая такое поученье. Пожилой скитник, стиснув костлявыми пальцами засаленную тетрадь епитимника, монотонно бубнил, глядя в сторону, чтобы не видеть лиц пристыженных парней: «Евин корень — сатанинский. Бегите блуда, ибо блудящий всегда только к бесу приблужается. Вам говорю, молодым... Лобы-

зания восчувственные — всё едино суть грех. Смотрение пустое на бабу, не только нагую, но и оболочённую, тоже суть грех, ибо глаз паскуден делается и одёжу пронизывает... Касания пакостные — чёрта ласканье. Всё то к рукоблудству ведёт и проливанию семени на землю неплодородную, и за то шестьдесят дней поста в сто сорок поклонов в день. С бабой связь только за венцом невозбранна. Но и кого отец оженит в сей год, надо помнить, что в посты уставные и в великие праздники, а ещё по средам, пятницам, субботам и воскресеньям нету для мужа жены. Держите чресла свои в тяжести, а срамной уд в голоде, чтобы, алкание его преодолевая, беса в душе уморять. И, с женой на ложе возлегая, нательный крест снимать надобно и образá занавешивать, ибо заповедано нам плодиться и размножаться, но не заповедано срамом услаждаться. И семя своё испуская, читайте канон, а не беснуйтесь. Брачные узы непотребству воли не дают, и всё, что дозволяют, — только чад зачинать, а потому всё, что без зачатия, то богопротивно. За блуд непотребно естество в рот и супругам десять лет поста епитимья, как же и за блуд злomu мужу жене в срачный ход, что содомии подобие есть. И нет другого положенья, как мужа на жене, ибо если жена скотски стоит, а муж её сзади, то, значит, он на жене, как на кобыле, бесово поле вспахивает, и епитимья обоим сорок дней поста с сорока поклонами. Аще жена мужа сверху седлает, то сатана его седлает и понужает, и богопротивно то превосходство жены над мужем, и за тот грех обоим пост пять лет...»

Бойтэ вдруг лозой выпрямилась над Осташей, вздёрнула руки со сжатыми кулачками и закричала, запрокинув голову. Осташе показалось, что его продувает сквозь Бойтэ, как огонь из топки доменной печи сквозь трубу выбрасывает к небу. Даже волосы вогулки, потемневшие от пота, приподнялись над её плечами, словно два крыла.

Бойтэ сорвалась с Осташи и покатила по шкурам, замерла лицом вниз и бешено заколотила руками и ногами,

будто её до сих пор ещё пекло и корчило. Вдруг она повернула к Осташе блестящее лицо и заговорила:

— Боишься, что предам я тебя и твоего бога оскорблю, да? Не бойся! Я душу свою нашла! Я Шакулу перехитрила!

Осташа пытался сесть, упираясь в шкуры трясущимися руками.

— Это я Шакуле сказала, что Кона умер. Я знала, что Шакула сразу в Вайлугину гору побежит доносить — он же старик, дурак! А тамошний шаман прикажет Яке убить Шакулу, потому что зачем ему Шакула нужен, если Коны нет? Шакула будет лишней, кто о камланиях в горе знает! И Яка Шакулу убьёт! И убил, да! Я сама видела, как Шакула на льду Ханглавита под Гнутой скалой валялся!

— Шакула и мёртвый к Юнтуп Пупу пришёл... — сказал Осташа.

— Знаю, знаю! — засмеялась Бойтэ. Она села, откинувшись назад, оперлась руками и весело застучала ногами в шкуры. — Дух его ко мне приходил, плакал! В Шакуле ведь не одна душа была — три! Шакула смерти пуще всего боялась, а потому три души держал! В нём знаешь, чьи души?

Бойтэ выставила руку с тремя оттопыренными пальцами.

— Моя! — Она загнула один палец. — Его самого! — Она загнула другой палец. — И старухи твоей, которая в твоём доме живёт!

Бойтэ торжествующе смотрела на Осташу.

— Да! Он давно уже её душу украл! Когда Яка братьев привёл, и они меня мучали, Шакула пошёл и отомстил — украл душу их матери! Вот так! И я увидела, как Шакула заплакал, когда твои стражники бросили в огонь ургалана, в котором Шакула все три души держал! Но ведь ты — Холитан Хар Ам! Ты выхватил ургалана из огня! Теперь по подпалинам я ургалана Шакулы от любого другого отличить могла! Шакула убежал в Вайлугину гору, а я его души убивать стала! Одну душу я ножом в лицо убила! Другой душе гвоздь в грудь заколотила! А потом Яка Шакулу со ска-

лы сбросил — Шакула умер, и дух его сразу в Ёкву побежал за ургаланом. Он говорил мне: отдай последнюю живую душу, Шакула обратно оживать хочет! А я духа прогнала и побежала тебя ждать на Юнтуп Пуп. А там на камне повесила ургалана — третью душу повесила! И пока ты спал здесь, в моём чуме, знаешь, что я ещё сделала?..

Бойтэ стремительно подползла к Осташе, обняла его и стала тереться головой о его грудь.

— Я в Кашку сбегала и твоей старухе сказала, что ты застрелил её сына!

— Макарихе? — изумился Осташа.

Бойтэ кивнула.

— Ты сказал тогда, при улыбе, что меня в дом к себе возьмёшь — а разве ж старуха пустила бы меня? Вот я и сказала ей про Яку. И она тоже повесилась! — Бойтэ восторженно посмотрела на Осташу.

Осташа будто окаменел — но ни раскаянья, ни жалости к Макарихе не чувствовал. Было одно только тяжёлое, мёртвое удивление.

— Шакулу трижды убить надо, — убеждённо пояснила Бойтэ. — Через повешенную душу я его убила, когда старуха повесилась! А через душу, которую я ножом в лицо зарезала, Шакулу Яка должен был убить!

— Он Шакулу в лицо и застрелил, — подтвердил Осташа, поглаживая Бойтэ по голове.

— Теперь только гвоздь в грудь остался, — просительно сказала Бойтэ. — Ты застрели его гвоздём... Он скоро придёт сюда.

— Шакула? — Гнев вдруг переполнил Осташу. Опять мёртвый вогул за ним вслед крадётся?

Бойтэ отлепилась от Осташа, шустро поползла куда-то в сторону и вернулась, волоча за ремень Осташин штуцер, пороховницу из коровьего рога и пульницу. Она сложила всё это к ногам Осташа и вдруг вытащила откуда-то большой кованый гвоздь.

— Вот этим гвоздём заряди и застрели! — твёрдо сказала она, протягивая гвоздь Остахе. — Я уже померила — гвоздь в дуло войдёт! Ты только застрели! А я научу тебя как!

Голая, она стояла перед Остахой на коленях, и лоно её казалось языком пламени. Круглые груди топырились торчком, а заострённые соски были как наконечники стрел. Бойтэ протягивала Остахе гвоздь, как протягивают распятыё для поцелуя.

— У Шакулы только одна душа осталась — моя! Поэтому он ко мне и придёт! Убей его гвоздём! — Голос Бойтэ сделался глухим, будто она заговорила чревом. — Я без души останусь, но ведь ты меня в жёны взял, Холитан Хар Амп, мой эрнэ эруптан! Твоя душа нам на двоих будет! Как я смогу тебя предать, если у нас будет одна душа? Возьми гвоздь!

И огромный, косматый, горячий зверь любви, что нежился и кувыркался в груди Остахи, наконец извернулся и встал на лапы, обретя свой страшный, непобедимый, звериный облик ненависти. Ухмыляясь, Остаха поднял ружьё и взял протянутый гвоздь. Гвоздь вошёл в дуло плавно и мягко — и это что-то смутно напомнило Остахе. Но он расстряс пульницу, выколупал шомпол и зажал гвоздь в стволе пыжом. А затем отомкнул замок, проверил кремёнь и насыпал порох на зарядную полку. Бойтэ жадно следила за его руками.

Остаха знал, что мёртвую нечисть с места стащить в пекло могут только петух и курица на мочальном жгуте. Но где сейчас взять петуха, курицу и мочальную верёвку? Где искать Шакулу? Спровадить колдуна в пекло нужно было другим способом. Остаха защёлкнул ружьё и спросил:

— И как мне убить Шакулу?

Бойтэ подняла на него глаза, ставшие сейчас почти красными.

— А сейчас люби меня заряженным ружьём, — тихо и жёстко велела она. — И тогда оно убьёт демона.

Она схватила свою рубаху и быстро обтёрла себя от подмышек до колен. Затем повернулась к Осташе спиной, опустилась на четвереньки, широко расставила руки и ноги и покорно нагнула голову, словно ждала, что её сейчас отрубят. Осташа приподнялся, держа ружьё наперевес, помедлил, будто прицеливался, и сунул ствол девке между ног.

— Так!.. — задохнувшись, крикнула Бойтэ. — Давай!.. Давай!..

И Осташа делал это, будто разбивал кочергой угли в печи. Он глядел, как молча, дико и страшно содрогается девка от его ударов. Движения его стали предельно точны, а руки отвердели, как железные клещи. Похоже, и сердце его остановилось, чтобы своим толчком не поранить, не искалечить девку в её смертельной любви с заряженным ружьём, чтобы палец случайно не дрогнул на собачке и штуцер не выстрелил в Бойтэ, пробивая её кованым гвоздём вдоль тела навывлет.

И чем крепче Осташа сжимал ружьё, тем безумнее становилось вновь закипающее желание. И тогда Осташа осторожно опустил приклад штуцера на шкуры, приподнялся сам и единым мощным скольженьем тоже вошёл в Бойтэ.

— О-о-о!!.. — закричала она, задирая голову и прогибаясь в пояснице.

— Не шевелись! — отчаянно рявкнул Осташа. — Пальнёт!

Какая бы она ни была жлудовка, сколько бы мужиков ни прошло через её лоно, но вот так её ещё никто никогда не любил. Осташа сходил с ума, чувствуя, как растягивает и рвёт её девство. Он уже не мог остановить качелей, хотя вцепился в бока Бойтэ с такой силой, что её рёбра гнулись под его руками.

— Мне больно, больно!.. — завизжала Бойтэ. — Стреляй!..

Осташа даже не понял, о чём она. Непосильный железный жар прокатился у него из груди в живот и словно вы-

бил заслонку в печи — обжигая разум, обратно в голову шархнул клубок огня. Осташа как застреленный повалился набок. Но сквозь багровое марево он ещё заметил, что в щель полога чума лезут дрожащие мёртвые руки и начинают медленно распускать шнуровку. В тусклых горячих кругах, которыми заколыхалось зрение, кроме этих рук, Осташа ничего больше и не видел. Лёжа на боку, ничего не соображая, он осторожно нащупал ружьё, потащил к себе, вытягивая ствол из девки, поднял его и вслепую бабахнул прямо в полог.

...Он пришёл в себя от холода и поднял голову. Полог был сорван. В открытый вход сквозь клубы пара виднелись чёрные столбы сосен, а за ними белела полоса ледяной реки. Ветер с улицы раздул очаг. Бойтэ, изогнувшись и раскидав ноги, лежала без движения. На её заду блестела кровь. Осташа пошевелил Бойтэ рукой, и она застонала.

— Вставай, — с трудом сказал он.

Помогая друг другу, они поднялись на ноги и, как были голые, вышли наружу. Перед входом в чум на спине в снегу лежал Шакула. Его накрывал сорванный полог, который был словно приколот к груди вогула на кованный гвоздь. Из-под смятого полога торчали только руки и ноги Шакулы.

— Надо одеться, — тихо сказала Бойтэ. — А потом спрячем его... Он больше не придёт.

Напялив что попало шиворот-навыворот, они снова выбрались из чума и завесили вход старой шкурой, чтобы очаг не освещал мертвеца у порога, и никто из соседних жилищ ничего не увидел.

— Кинем его в прорубь, — хрипло предложила Бойтэ, стягивая горло рваной меховой рубахи. — Ханглавит заберёт, укроет...

Они сбросили тело Шакулы с обрывчика на ледяной приплёсок, за руки и за ноги уволокли его к проруби

и столкнули в воду. Бойтэ присела на краю проруби, опустила в прорубь ногу и ещё подтолкнула мертвеца дальше под лёд.

— Ну и всё, — устало сказала она, цепляясь за руку Осташи и вставая. — А теперь надо спать... Я очень устала, эрнэ эруптан... Очень...

И вскоре они тихо заснули в обнимку, навалив на себя все шкуры, что нашлись в чуме. Горел очаг. Дым ровным столбом подымался в дыру дымохода. Сквозь дымоход сверкали звёзды.

...Осташа проснулся от того, что ему обожгло лицо. Он спросонья заполошно схватился за скулу. Нет, это не расплавленное железо, не кипящая смола, не кровь — просто со стенки упала капля воды, просто растаяла льдинка... Но Осташу вдруг всего заколотило, как в лихорадке.

Он сел, глядя на Бойтэ, безмятежно спавшую рядом с ладошкой под щекой. Глядел на тонкое запястье её руки, на черты её лица — такие нежные и такие любимые. Глядел на влажные полураскрытые губы, на тёмные густые ресницы, на чистый висок, с которого на скулу стекала светлая речка волос... Но всё равно Осташу колотило от страха. Он ещё ничего не понимал, только чувствовал, что надо спастись. Такой же страх испытал он ещё парнишкой, когда тонул в Кашкинском переборе. Он бил руками и ногами, захлёбывался, орал, и к нему от Дождевого бойца сажёнками плыл батя, плача и матерясь в голос...

Неловкими, ломаными движениями Осташа выбрался из-под шкур, сунул ноги в обулки, цапнул брошенный в сторону гайтан с гроздьё крестиков. Он забыл про зипун, забыл про шапку и рукавицы. Он выполз из чума в зимнюю ночь, поднялся на ноги и без оглядки бросился бежать что было духу. По ледяной дороге Чусовой он мчался в Кашку — навеки прочь из вогульской Ёквы.

ПУГАЧЁВ

Под звёздами было видно всё. По двору валялись куры со свёрнутыми шеями. Стайки стояли открытыми. Осташа поднял лучину повыше и вошёл в стойло. За выгородкой кучей громоздилась мёртвая корова. Макариха рубанула её в лоб топором с такой силой, что свалила насмерть с одного удара. Сама же Макариха спиной к Остахе висела на верёвке, перекинутой через куриный насест. Высоты насеста не хватило, поэтому казалось, что старуха стоит на полусогнутых ногах, нелепо вывернув их на одну сторону. Голова её столь же нелепо лежала на плече. Платок распустился, косым клином свисал вдоль безжизненной руки. Две седые косы на спине были перевиты яркими девичьими лентами.

Осташа заволок дверь стойла и вернулся в раскрытый, выстуженный дом, сел на скамью рядом с зажжённым светцом. В столешнице стола торчал топор, покрытый ржавчиной коровьей крови. Окна Макариха выбила, поставцы повалила, тяжёлые медные образа швырнула к порогу. Пол был засыпан черепками битой посуды. Поганую кадушку старуха заколотила печке в зев, и с пода стёк и замёрз, как блевотина, поток помоев.

Осташа просто сидел и молчал, не чуя холода.

В сенях захрустели чьи-то шаги, и в горницу вошёл какой-то мужик. Под притолокой двери он не нагнулся, а как-то странно присел. Он постоял, оглядываясь, и при этом ворочал не головой, а сразу всем телом, будто у него и шеи не было. Он был без шапки, стрижен в кружок. Рожу оторочила короткая смоляная борода. На нём был накинута нагольный тулуп, расстёгнутый по всей длине, и Осташа увидел, что грудь рубахи у мужика испачкана в крови.

— Здоровычка вам, — весело сказал мужик, прошёл по горнице, треща черепками, и присел на скамью напротив Осташи.

Осташа не ответил.

— Худо в дому твоём, — с сочувствием сказал мужик.

— Приберу, — буркнул Осташа.

— Трудно будет прибрать... Знаешь, чего тебе скажу? — Мужик с прищуром посмотрел на Осташу. — У тебя из дома даже мыши ушли, да. — Он кивнул в подтверждение и вдруг схватил себя за лоб, устанавливая голову обратно.

— А ты кто таков? — хмуро спросил Осташа.

— Али не узнаёшь? — Мужик лукаво глянул на него и улыбнулся, ощерив белые, мелкие, яркие зубы.

Осташа, подслеповато моргая, тупо глядел на гостя. Нет, не может быть... А почему не может-то, коли такое-всякое уже было?.. На скамье перед ним сидел сам Пугачёв.

— Чего тебе надо? — зло, тяжело спросил Осташа.

— Ничего, — пожал плечами Пугачёв. — Поговорить зашёл.

— Не о чем нам говорить.

— Найдётся, — усмехнувшись, заверил гость.

Они помолчали, разглядывая друг друга.

— Ты — бес, — убеждённо сказал Осташа.

— А ты меня перекрести, — хмыкнул Пугачёв. — Думаешь, с воем улечу в окошко, да?

— Ты мне всю жизнь изувечил, — с тихой ненавистью произнёс Осташа. — Меня никто не любит..

— Ну уж! — не согласился Пугачёв. — Глянь-ка на себя-то. Что бабу ни встретил — всякую поимел. Ухарь, ожги сердце! Все тебе дались. Фиска — вспомни такую, — свистнул бы, на край света за тобой бы пошла. И тётке Алёне ты мил, да уж стара она. Про Нежданку Колыванову я и не говорю. И про вогулку речи нет. Все любят, куда ни глянь!

— Мне Маруська Зырянкина была нужна, — с болью ответил Осташа. — Она одна меня любила просто так, как Осташку Петрова. Не как лучшего сплавщика, не как хозяина Чусовой, а просто как парня из соседней избы... А ты её убил.

— Она тебя до сих пор и любит, — заверил Пугачёв. — И батя тебя любит, правда. Тебя только бог больше не любит.

— Врёшь!.. — закричал Осташа.

— Да почто мне врать? — обиделся Пугачёв. — Я ж тебе как брат буду...

— Какой ты мне брат!..

— По крови брат, — уверенно заявил Пугач. — Ты посмотри, чего ты натворил-то... За тобой же борозда кровавая — не хуже, чем за мной. С кем ни сойдись тебе — все гибнут, как косой срезает.

— Я только одного убил — вора...

— А то и самый малый твой грех, — ухмыльнулся Пугачёв. — Зато на других взгляни. Из-за кого Алфёра Гилёва убили? А?..

— Да что же мне Алфёром в глаза тыкать? — закричал Осташа. — Будь воля моя — сам бы за него лёг!.. Мне, что ли, сладко, что бабу его овдовили и дитя осиротили? Я, что ли, душегуб?

— Душегуб, — охотно согласился Пугач. — Горную стражу и Ефимыча ты сгубил? Ты.

— Да я, что ли, их за Фармазоном во мленье послал?!

— Для тебя вогулка камлала, и Конон Шелегин умер.

— А я её о том просил?! Знал ли я вообще о том?!

— А сторожа в Илеме, забыл уж, как звали-то его, Яшка убил — за тебя ведь. За тебя.

— Яшка убил, а не я!

— У тебя всё ты невиновен!.. — с деланым удивлением всплеснул руками Пугачёв. — А ведь кругом твой след! Попа Флегонта заporоли — разве скажешь, что ты ни при чём? Хитника на Тискосе убили — тоже ты ни при чём? А Макариха? Да ладно — эти! Но ведь и Шакулу за тебя кончили!..

Осташа раскрыл было рот, но Пугачёв гневно и презрительно махнул рукой, не давая сказать.

— Да это всё другие люди, другие, не ты! Но сам-то ты с вогулкой чего делал? Блудничал, срамничал? Нет, мало то-

го! Ты ведь с ней камлал! Камлал, парень! Ты ведьмино молоко сосал, ты с ней в жертву человека принёс — вот это да-а!.. Ты же скоро шерстью обрастёшь, как домовый — и ступнями, и ладонями! Ты же свою, свою душу загубил, понял?

— Я души своей не губил... — без голоса ответил Осташа, отодвигаясь. — Грешен... Страшно грешен... Но души своей не губил... Не говори того...

Пугачёв довольно захохотал.

— Мы едины с тобой, — сказал он. — Мы свои души сатане не продавали. Мы их сами загубили почище сатаны. Такой же ты, как и я!

— Нет, — хрипло сказал Осташа.

— Да! — напирал Пугач. — Скажи мне, где душа твоя, в чём?

— Как же я тебе душу покажу?..

— Вогулка говорила тебе: легко душу-то потерять. Человек и сам того не заметит. Даже вольнее жить-то без души!

— В слепоте и смраде душа моя, но при мне...

— Нет у тебя души! — торжественно заявил Пугач и упёр руки в бока. — Нету!

— Богу судить...

— А я и не сужу. Я что вижу, то и говорю. Узок путь души в теснинах. Батя твой по струне прошёл — а ты не батя!

— Мне того не дозволили...

— Жесток мир, кто ж спорит, — согласился Пугачёв. — Ну, не дозволили... А что сделали-то? Только гордыне твоей на горло наступили, вот и всё. Более — ничего. Батин подгубщик Гурьяна Утюгов тебе в Каменке, в шалыганке, чего говорил? «Смирись» говорил! Ты смирился? Да куда там!

— Я смирюсь — батино имя предам! — ответил Осташа. — Как я могу смириться, если после этого батю будут вором считать?

— А ты базару глотку не заткнёшь. Чего тебе сплетни? Живёшь-то для бога! Ты знаешь, что батя чист, — и чего ещё тебе надо? Ты знаешь, что бог есть, так чего же тебе это ка-

кому-нибудь Бакирке-пытарю доказывать? Плюнь на Бакирку. Плюнь на всех. Ну и пусть брешут. Всё равно ведь через три года забудут батю, хоть вором он будь, хоть святым. Это мир!.. Тут ничего не поделаешь! За что же ты плугом по народу пошёл? Может, и обелишь батино имя, да свою душу дотла спалишь! Уже спалил! Хуже дело испортить только сушёным волчьим сердцем можно!

— Пока батина правда со мной — не спалил...

— Про батину правду тебе, дураку, Конон Шелегин всё разъяснил. Ты — не батя, и нечего его зипун напяливать. Конон говорил тебе: «Твой путь — это мой путь, не батин». Не-ет, тебя и Кононова дорожка не устраивает!

— Конон судил, а того человеку не позволено...

— А Гермон тебе право судить давал — только прими истязательство.

— Не верю я в его последнее таинство!

— Зато в камланье вогулки веришь.

— Верил бы — так не сидел бы здесь и сейчас с тобой!

— Любо поспорить с умным человеком, — засмеялся Пугачёв.

Он смеялся и всё наклонял, наклонял голову к плечу. Не прекращая смеха, он вдруг привычно поправил голову рукой, как шапку. И тут Осташа понял, что голова-то у Пугача — отрублена. Просто так на тулове сидит, ничем не пришитая...

— Так в чём душа твоя? — снова спросил Пугач.

— В правде батиной...

— Батина правда в моей казне.

— Лжа в твоей казне, как и в самозванстве твоём, Емельян Иваныч!

— А-а! — плутовски задрал палец Пугачёв. — Вон оно как!.. Я ж тебе о том и говорю: ургалан ты! Не истязелец — ургалан! Свою душу ты потерял. Дырнику её не отдал, не по чину он тебе показался. А вот вогулке подарил — такая девка сладкая, ничего не жалко! Цветок Папоротника имя

у неё, вишь ты! А ты знаешь, что папоротников цвет змеи стерегут? Кто к нему подойдёт, на того змея бросается и собою, как стрелой, насквозь пронзает! Вот и пробило тебя, когда ты вогулку полюбил, и душа твоя через дырку вылетела! И остался ты — один ургалан! Я ведь тоже ургалан. Я Петра Фёдорыча, царя, душу в себя принял, и ты — Петра Фёдорыча, бати своего. Побратимы мы!

Осташа не знал, что сказать.

— Я не батин ургалан... — окоченевшими губами прошептал он.

— Я к тебе не пришёл бы, если б нам не нашлось, об чём сообща погоревать, — захихикал Пугачёв и вновь поймал голову. — Душа-то — божье создание, а ургалан — язычное. Душу с божьего места сдёрни и в ургалана посади — она демоном обернётся! Смотри, сколь кровищи вокруг. Эх добрый был царь Пётр Фёдорыч, приписку отменил манифестиком. А кто меня, его ургалана, добром попомнит? Никто! Чуть не святым и батя твой был, а люди ему в его правде отказывают! Знаешь почему? Потому что после бати твоего ты остался! Потому что чуют люди: в ургалане, в плену теперь душа Перехода. Черна она ныне, страшна, потому как ургалан — живая могила для души! Я-то знаю! Поверь!

— Я не учитель, не начётчик, не старец! — отчаянно закричал Осташа. — Я сплавщик, просто сплавщик! Я не знаю, чего тебе возразить!..

— А нечего, — быстро вставил Пугачёв.

— Но не так всё!

— Так, — уверенно сказал Пугачёв.

— Так и не так!

— Докажи, — тотчас предложил Пугачёв. — Убей ургалана.

— Я тебя убью! — взвыл Осташа, вскочил, выдернул из столешницы окровавленный топор и оглянулся — Пугача не было.

Осташа пролетел сени, скатился с крыльца во двор. Махая топором, он заметался по сугробам, втаптывая в снег

валявшихся куриц, вздымая ногами тучи перьев. И двор был пуст. Чёрными, глухими стенами огородили его заплоты. Мёртвым стоял выстуженный дом, мёртвыми были раскрытые службы, где в коровнике в петле висела старуха удушенница. Снег сиял, звёзды обрызгали весь небосвод.

Осташа выбежал на заснеженную, безлюдную улицу. Где-то залаяла собака. Родная Кашка спала, тёмная и безучастная. Белой скатертью застелилась Чусовая. Только боец Дождевой всё так же упрямо и сурово держал свои доски с письменами над миром, который не умел читать.

Осташа кинулся к Чусовой. Он вязнул в сугробах, путал руки и ноги, потерял топор, извалялся в снегу, изрезался об наст.

Он выбрался на гладь ледяного перебора, бросился к проруби, упал коленями на застывший оплёсками край. Чёрная вода чуть дрожала в окне проруби и ничего не отражала.

— Отдай ба-атю!.. — иступлённо закричал Осташа в лицо воде.

— А давай туда, — услышал он и поднял лицо.

На другом краю проруби, придерживая голову, сидел на короточках Пугач и подманивал его рукой.

— Ермак идолов тоже в Чусовой топил... Давай туда. — Пугач глазами указал Осташе в прорубь.

Осташа сумасшедшим взглядом снова уставился в воду. И вдруг увидел, как из-за уреза льда вверх изорванным лицом выплывает Шакула.

Осташа вскочил и бросился прочь. Бежать вниз по тракту означало вернуться в Ёкву, и Осташа, не думая, побежал по реке вверх — к деревне Харёнки. Лишь бы спастись от искушения, от проруби, спастись от Пугача, от вогула. Осташа поскользывался на ледяном тракте, но не сваливался. Он бежал, бежал, бежал что было сил. Ноги сами несли его. А Пугач вдруг оказался рядом и нёсся вровень, лихо при-

держивая башку за затылок. Не сбиваясь дыханьем, он задорно и одобрительно говорил:

— Ну его к чёрту, вогуляка! Всю воду запоганил! Там вон, там, через версту, ещё одна прорубь есть, харёнкинская! Батя-то в Чусовой! Батя рад тебе будет! Ты только нагнись, а я подтолкну — и там вдыхай сразу воду-то. Не страшно, не бойся. Водица холодная, свежая, так резью пробьёт, что и не почувешь ничего, лишь дым в глазах — и поплывёшь, полетишь!.. А хочешь воистину полететь? Давай я за бычьей шкурой сгоняю! Ты сядешь на неё у проруби, а я тебя огарочком свечным обведу, и водяной тебя по всему свету на шкуре носить будет. Хоть в Беловодье, хоть на блаженные острова Макарийские снесёт — ты только спервоначала окунись с головой!..

На белых покатых берегах показались тёмные кучи домов спящей деревни. Чёрная прорубь словно горела у правого берега. Осташа хотел пробежать мимо, мимо, а ноги сами вывернули к проруби, но за три шага до неё вдруг обе сразу скользнули в сторону. Осташа пластом полетел на лёд и с колокольным звоном ударился лбом. Всё вокруг стало красным и земляным: красный лёд, красное небо, бурые берега, чёрные звёзды...

— Вставай, братец, ты чего? — тянул его за ворот Пугачёв. — Ну, экий ты... Совсем же рядом...

— Уйди!.. — хрипел Осташа, извиваясь и вырываясь.

— Да ты чего, братец, ошалел?..

Кто-то схватил пригоршню снега и стал стирать кровь с Осташиних глаз. Осташа повернул голову, глянул назад... Над ним на коленях стоял Федька Мильков.

— Вставай давай, замёрзнешь, дурак! — твердил Федька, выдыхая густой сивушный пар. — Не узнал, что ли, товарища старого?..

Федька поставил Осташу на разъезжающиеся ноги, перекинул его руку себе через плечо, потащил куда-то к берегу.

— Я, брат, охолонуться побежал, глядь — ты валяешься! — оживлённо говорил Федька. — Ногами-то сучи, я ведь не шибкий силач тебя-то нести, стопудового...

— Откуда... ты... взялся?.. — разбитыми губами спросил Осташа.

Федька то ли засмеялся, то ли закричал от натуги.

— Да я тут у дружка застрял... Он, гад, целый бочонок браги нагнал — ну никак уйти не могу, что ты будешь делать!.. Третий день собираюсь — а на посошок выпью, и сразу в жопу... Я ж на пристани-то в Каменке снова приказчиком стал — куда им без меня, дурачинам!.. А шёл-то к тебе, ну вот те крест — к тебе! Так-то — опять в Илим, всё по тому ж делу... Да, думаю, надо и к Осташке Переходу добратся... Я ж добро не забываю, вот! Я уж сговорился с пристанским-то начальником: знаю, мол, знатного сплавщика! Он мне сразу: рупь даю — только найди, найми! Я, понятно, ноги в руки — и за тобой... Вот, будешь сплавщиком на каменском караване, дело! Вместе пойдём, я при тебе — водоливом... Да шевели ты ногами, колода! — закричал, изнемогая, Федька. — Ну ведь нажрался, раскольник, никонианцу в три дня не догнать!.. А коли не подобрал бы я тебя у проруби — и замёрз бы ты!.. Кто бы мне тогда рупь отдал?..

Но Осташа обессиленно съехал с Федькиного плеча, не выпуская Федьку, и замер на снегу, обнимая Федьку за пояс.

— Федька, человек... — шептал он. — Федька...

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ
Железные караваны

СВОЯ БАРКА

Эта яростная зима оплывала, корчилась и обугливалась, расплзалась, мокла и всасывалась в землю. Каменское плотбище и без того было истоптано, как коровий выгон, а теперь оно превратилось в сплошное болото из грязи, щепы, гниющих куч опила и древесной прели. Но в три ряда как-то грозно и даже страшно стояли на нём обглоданные остовы огромных барок. Было похоже, что это из полуночной мерзлоты вытаяли великаны-вóлоты. И они полежат немного под тревожным небом, пока на их рёбрах нарастает плоть, а потом поднимутся и пойдут.

Федька, конечно, остался самим собою: вроде и не наврал, но правда оказалась где-то сбоку. Никто в Каменке не ждал Осташу, никто от нетерпенья не переминался с ноги на ногу. Да, караванный приказчик Пасынков взял Осташу в сплавщики. Но это объяснялось просто. Пасынков бродил по плотбищу чернее тучи, с опухшей рожей: он вынырнул из месячного запоя и обнаружил, что пропил часть казённых денег. И ему пришлось набирать в сплавщики всех, кто хоть худо-бедно маракал в сплавно́м деле. Лишь бы мужики согласились на плату меньшую, чем на прочих чувов-

ских пристанях. Осташа даже не спросил, на сколько меньшею. Ему было всё равно.

Он только с мрачным удовлетворением вспомнил сплавного старосту Кузьму Егорыча, который обещал не допустить его до сплава. Чего он мог, Кузьма-то Егорыч? Мог сказать своё слово лишь на строгановских пристанях Кашки, Кына и Билимбая. А кто бы послушал его на демидовских Шайтанках, на яковлевских Утках, на турчаниновском Верхнем Зайчике? А Пасынков и вовсе приехал с казённого Каменского завода, и ему плевать было на всех. Если бы Конон Шелегин был жив, если бы он захотел придавить Осташу, может, тогда бы Пасынков и поостерёгся брать его в сплавики. Но Конона уже черти в пекло сволокли, а Калистрат Крицын Пасынкову был не указ — жидковат он был против Конона.

Федька пристроил Осташу в артель к старому каменскому судостроителю по прозвищу Кафтаныч. Кафтаныч оказался злым и придиричивым хрычом, который орал по любому поводу и в споре сразу пускал в ход свою клюку. Он ходил по плотбищу в непомерно длинной, когда-то богатой, а теперь драной волчьей шубе. Напоказ народу Кафтаныч волочил её полы по всем лужам. Мол, для дела ему ничего не жаль. Но Осташа сразу раскусил старика: шуба явно была с сыновнего плеча, и сын сначала износил её до отрепьев подклада.

Кафтаныч имел огромное подворье, где жили оба его женатых сына и пятеро внуков, не считая баб, девок и младенцев. Вся родова Кафтаныча тоже трудилась на плотбище. Ей в придачу Кафтаныч нанимал артель из десятка оброчных мужиков. Артель он селил в холодной летней половине избы. К каждому сплаву по подряду Кафтаныч продавал Каменскому каравану по три-четыре барки. Сейчас две барки стояли на берегу ледяного пруда уже готовые, и пристанские смологонь обмазывали их чёрным варом. Две другие барки ещё достраивались. На одной из них и ра-

ботал Осташа. Он уже знал, что на этой барке и пойдёт сплавщиком.

Артель Кафтаныч нанимал только после Масленицы, чтобы света хватало для долгой работы, а кормить работников постным было подешевле. Осташа в своём бешеном гоне о Великом посте напрочь забыл, как забыл и о великих праздниках, и обо всех заповедях. Наголодавшийся в вогульских урманах, полуголодный сейчас, он видел мир как-то непривычно ясно и резко, словно весна содрала с земли тени и мглу, оголила жизнь, как рёбра барки.

Плотбище дымило кострами, копошилось сотнями людей, стучало топорами, сопело пилами, чавкало грязью под копытами лошадей, что волоком таскали брёвна и доски. Здесь каждый день всё менялось, лишь недостроенные барки высились неподвижно, как острова среди волн. И далёкое небо тоже было беспокойное, заляпанное тёмным ржаным тестом весенних туч. С лихорадочной поспешностью и гневом, как взбалмошная баба, ветер месил это тесто и рвал на куски, швырял куда-то прочь — за окоём, как под стол, и плакал дождями от какой-то досады. Потом снова сыпал муку последнего снега, разбивал сырое яйцо солнца, лил скисшее молоко холодных туманов. Вечером что-то пеклось на красной сковороде заката, и тёплый пар заволакивал распадки. А наутро в небе над корявой грудой камня Каменского, что торчал из ломкой глазури наста, горделиво плыли пухлобокие пасхальные куличи облаков. Иной раз они заслоняли маленькое и мёрзлое солнце, и ослепительные лучи крестом били во все четыре стороны небосвода.

В Каменке плотбище находилось на пруду. Барки здесь строили не на городках-чубашах, как в Курье, а на брёвнах-склизнях, по которым готовую барку и сталкивали на воду. Сначала на склизнях из толстых брусьев-лыжин выкладывали днище. Чтобы оно не съехало раньше времени в пруд, его подпирали толстыми бревенчатыми обрубками — попами. На срединную лыжину — кёндель — Кафтаныч пус-

кал цельное сосновое бревно-байдан, стёсанное поверху. Кафтаныч ползал по днищу и верёвкой измерял ширину кормовых и носовых плеч барки. Носовые плечи должны были быть на десяток вершков пошире, чтобы тяжесть груза на барке давила судну в нос — так барка лучше слушалась вёсел-потесей, не рыскала на струе.

Потом под бдительным оком Кафтаныча артельные укладывали поперёк днища кокоры — сосновые стволы с торчащим вверх корнем-башкой. Кафтаныч своей клюкой с зарубками измерял расстояния между кокор. В носу и в корме кокоры должны были лежать более плотно, чем на льяле — посередке барки. Только после пятой перекладки Кафтаныч махнул рукой, да и то скорчил такую рожу, что стало понятно: сделано плохо, но эти вятские лапти лучше уже и не смогут.

В распор кокорам на лыжины вколотили распущенные пополам чурбаки — чёблки, копани и накурки. На них потом ляжет настил днища — подмёт, прижатый поверху брусом-киренём. Мужики принялись дырять кокоры буравами и приколачивать их к днищу деревянными гвоздями — шпунтами. Шпунты вырубали из сучьев внуки Кафтаныча. Они целыми днями сидели в горнице на лавках и только тюкали бондарными топорами-склюдами, какими обычно щепят баклуши на бочковую клёпку-пиповку. Лёгкая работа: под крышей и в тепле, а не на сыром ветру плотбища. Однако Кафтаныч оплату внукам положил равную с артельными. Свой своих не обидит.

Осташа пришёл в артель, когда к башкам кокор на шпунты стоймя прибавали одинаковые брёвна-быки. Только на плечах-огибках вместо быков ставили высокие «огнива», на которые потом, когда барка будет готова, наматывают снасти. Кокоры лежали башками через одну, потому «холостые» быки подпирали врубленными укосинами.

На носу и на корме водружали могучие пыжи из толстых брёвен-ёлтышей. Пыжи связывали собою всю укладку бор-

товин. Быки по парам от одного борта до другого сцепляли бздами. Озды держали остов барки на распор, не давали загруженному судну развалиться, как хлипкому коробу, в который насыпали камней. Над льялом водрузили огромного «коня» из брусьев и расклинили его меж оздами, быками и кокорами. На пыжи надели рамы «сопляков» — этикие рога спереди и сзади, чтобы баркой при нужде можно было управлять и двумя потесями.

И Осташа понял, почему барки Кафтаныча так ценятся на Чусовой. Не всякий мастер будет возиться с «холостяком», с чеглоками, с «сопляками». Не так уж сильно они увеличивают стоимость барки, а вот работы прибавляют чуть ли не вдвое. Но когда барка скользом заденет скалу, то борт сумеет выдержать удар, если вперемешку с обычными быками он укреплён и «холостыми». Опять же, бывало, при слабом лобовом ударе «сопляки», ломаясь, спасали барку. И груз, если он уложен на подмёте поверх чеглоков, а не втиснут как попало промеж кокор, осаживал барку в воду ровно и ходко, и барка слушалась сплавщика, как умный конь. Была бы в прошлую весну у бати барка от Кафтаныча, то батя не сгинул бы под Разбойником, когда от удара лопнули бортовины на огибке, и батина барка огрузла, а потом легла на дно. Но барки Кафтаныча стоили дороже обычных. Денег Флегонта батя на такую барку не хватило. А взять хоть чуть-чуть из царёвой казны батя не пожелал. И ушёл во вреющие воды.

Как-то раз на перекуре, сидя на грязном бревне под мелким дождиком, Осташа сказал стоящему рядом Кафтанычу:

— Хороший ты мастер, дед. Без охулки. Барке полный набор даёшь. Ни одного бокаря с кипунóm в волокнах. Ни одного бруса с косослбем — весь косослой на кнйцы пустил. И брус у тебя не пилёный, а на райно тёсанный. И материал только свежий, без сохлых рвóтин. Видел я, у тебя даже гарпíны и бортовины на гибале распариваются, чтоб не треснули. Даже на палáтник ни одной горбылины...

Но Кафтаныч только взбесился от похвалы. Он зашипел, брызгая слюной, и напрямик по лужам ринулся от Осташа прочь.

Осташа удивился только тому, что в нём, оказывается, ещё не остыли страсти. Зачем похвала сорвалась с языка? Лишь затем, чтоб похвастать перед Кафтанычем: всю твою хитрость я вижу. Потому старик и осерчал. Настоящий мастер мастерство своё любит прятать, чтобы сойти за простачка, которого не иначе, как сам Господь бог благодатью наградил. Мастер свою хитрость выдаёт за божье расположение. Мол, не от умения дело моё ладно вышло, а от того, что я всех прочих лучше и боженька меня за то отметил. Не зря же для Кафтаныча самым сладким признанием были не деньги, а мнение бурлаков, не вникавших в устройство барки: «У Кафтаныча рука лёгкая, а суда заговорённые...» И умная похвала Кафтанычу — как насмешка.

Осташа легко понял обиду старика, и ему показалось, что зрение его стало острым, как нож. Это Пугач его зрение отточил. Он такого страху нагнал и так душу выстудил, что Осташа теперь больше смерти боялся в другой раз беса проморгать. И с таким зрением люди для Осташа сделались словно прозрачные: всех чуть ли не насквозь видно. Ну, не всех, а почти всех. И живых, и мёртвых — без различия. Всё, что есть в душе у человека, стало явно, как под водой. В тёмной, тайной глубине остались только батя, Конон да Гермон. Ну, ещё пытарь Бакирка был в тусклой мути — да ведь он сумасшедший. И ещё бездонным омутом чернела душа Бойтэ — а на Бойтэ и смотреть нечего: ведьма.

Никуда любовь к ней не пропала, не угасла. Осташа с горечью уже понял: и не угаснет. Нет, он больше не пойдёт к вогулке. Он вообще её больше никогда не увидит. Встретит ненароком — отвернётся. Но ничего не поделать с любовью. Что ж, случается и так... У него хватит сил не отозваться. Ведь каждый живёт с искушением в сердце: убить кого, украсть чего, солгать кому, назваться чужим

именем. Но искушение — ещё не грех. Вот когда соблазнишься — будет грех. А он не соблазнился. Врёт Пугач: он не соблазнился. Просто к правде своей он срёзал путь — и получилось, что напрямик пробежал по краешку ада. И пекло подпалило его душу. Адский огонь, обмахнувший его, и зажёл его любовь к ведьме. Отсветы адского пламени и сделали людей для него вдруг прозрачными. Но Осташа завязал огонь узлом и загнал обратно в угли. И не важно, что сгорело в душе, рассыпавшись теми угольями. Искалеченная, душа его всё равно жива. Врал Пугач.

Осташа ни о чём не жалел из того, что сотворил. Что ж, пусть будет так, как было. Но второй раз он уже не купится. А любовь — пускай она будет вечным напоминанием. Пускай всегда саднит, не заживает. И стоило лишь вспомнить о девке, как успокоенная, остывшая душа вдруг раскалялась болью, словно только что сваренное и остуженное яйцо в ладони внезапно, безо всякой вроде бы причины, само собою нагревается и нестерпимо жжёт. И Осташа яростно бил деревянным колотом по шпунту, вколачивая его в дыру доски-бортовины, которую всей артелью пришивали к быкам барки.

— Куда молотишь-то, сатана?! — заорал сзади Кафтаныч и огрел Осташу клюкой поперёк спины. — Весь шпунт разможжишь, ирод!..

Осташа не успел поймать себя, как оборотня. Опередив свою мысль, он развернулся, выхватил клюку у старика и сломал об колено пополам. Уже и рука дёрнулась, чтобы цапнуть Кафтаныча за бороду и ударить лицом об это колено... Но Осташа в ужасе перебрал плечами и словно свалил с загривка мешок.

— Я тебе не пёс, чтобы меня бить, — прохрипел он. — Ты мне словом скажи, как человеку...

Кафтаныч, задыхаясь, только разевал рот, а потом махнул рукой и ушёл с плотбища совсем — до самого отбоя работе. Что-то, похоже, он увидел в Осташе необычное, если

ничего не сказал сыновьям, чтобы те вечером проучили строптивного работника.

Костяк барки был собран, и теперь его залицовывали — покрывали обшивкой. Кафтаныч строго следил, чтобы артельные соблюли порядок. Снизу, сцепляя корневища кокор, легла толстая боковня. Потом трижды по высоте барку опоясали поесья. Поверх них по бортам настелили бортовины. На дюжинной по счёту бортовины сменились могучими порубнями — чтобы при столкновении держать удар. Кормовые и носовые плечи барки обогнули распаренными гарпинами. Все ряды тесин подвели под красную доску, уложенную на башках кокор.

Пока лицевали борта, пристанские конопатчики проконопачили лыком днище и залили его в́аром. Затем артельные кинули поверх днища подмёт, который тоже проконопачили и обмазали смолой. На озды с кормы и с носа посадили палубы и поверх красной доски прижали их тяжёлым обно́сным брусом. Коня скрепили стропилами из жердей-багал́ярин и перекрыли тёсом-палатником: получилась двускатная кровля над раскрытым льялом. Дальше оставалось доделать лишь мелкий уклад.

Голый, напросвет сквозной костяк вдруг превратился в барку. Барка казалась какой-то угрюмо замкнутой в себе: неожиданно громадная, неуклюжая и страшно тяжёлая. Но именно по её тяжести и грубости можно было судить о силе караванного вала. Для него огромное, прочное судно с тысячами пудов железа в брюхе и с полусотней бурлаков на палубах — просто тьфу, поплавок-бабáшка. Осташа тревожно, испытующе смотрел на барку и думал, что вот эта корявая громадина и есть его душа.

Даже Шакула, язычник, и тот говорил, что лодка — это душа сплавщика. Вогульские демоны видят только лодку, душу, а бурлаков не видят. И батя говорил, что барка — как душа, и сто́ит столько же. У бати был выбор: выкупиться из крепости на волю или купить свою барку. Батя купил

барку. И вроде бы становилось ясно, почему батя был лучшим сплавщиком на Чусовой. Его душа никогда не была продана, чтобы теперь её выкупать. Да, не он один не убивал барок на бойцах. Но верно звучали слова старца Гермона, пса позлее братьев-подменённой: главное — спасение. Батя вёл барку по стремнине — и спасал: себя спасал, бурлаков, грузы... Батя вроде бы в первую очередь свою душу берёт. А на самом деле сберегал души тех, кто ему доверялся. Доверялся не только как сплавщику, но и как человеку. Не приняв истязательства, батя спасал народ в раскольничьих рассединах земных. Не отяготившись гордыней, он спасал в житейских куплях.

И если помнить о бате, то никогда душу не потеряешь и не станешь ургаланом. И Пугач, и Конон вдали: не было и быть не могло в бате искушения. Многие вокруг бати канули под лёд — но не батя был в том виновен. Это дьявол батину правду порочил. А сам батя о себе много и не мнил. Он-то думал, что должен лишь железо до Нижнего довести, а на самом деле он должен был довести до смысла непосильную тяготу работы на горных заводах. И батя довозил, доводил. Но когда дьявол совратил народ, явился Пугач и сказал: не нужен Переход, не ходите по теснинам, айда напрямик. А напрямик дорожка только по околице пекла бежит.

Ничего про батю Осташа не узнал нового, хотя почти год рыскал по раскольничьей вайлуге. Батина правда была с самого начала ясна как день. Не было в батиной душе тайны, потому что не было в его жизни беззакония. Оно только в чужой жизни было, в жизни Гермона и Конона. Когда оно батю задело — сразу и убило. Так Осташа и не допытался ответов на главные вопросы: кто и как сгубил батю и где зарыта царёва казна. Но если сребреники Осташе были не нужны, то вот иуду-то найти хотелось.

Хотелось, потому что Осташа ощутил себя не батиным ургаланом, а батиным продолжением — возмездием. Как есть у бога милосердная любовь, так есть и праведный гнев.

Но гнев — ещё не кара, и потому Пугач Осташе не брат. И если он, Осташа, — гнев, то нечего плакать над углями в душе. Да: что-то, значит, в душе сгорело, но душа и обгорелая жива! Гнев слеп, ведёт напрямик, и очень больно бежать через пекло. Наверное, и не стоит. Потому что бати-на правда всё равно выйдет на свет из теснин. Чусовая сама всё скажет без всякого человеческого розыска.

Однако если не открыть тьмы, то не поймёшь, что видел свет. Не разгадаешь тайны беззакония — не узнаешь, какого человека это беззаконие пожрало. И не зря были Осташины блуждания: непостижим свет, но тьма-то проницаема, если есть, чем её осветить.

Теперь Осташа твёрдо знал, что царёва казна — это добыча Белобородова. Её сплавщики спрятали для Пугача и отправили ему, когда он осаждал крепость Осу на Каме. По указу Конона Шелегина Калистрат Крицын вручил казну Ипату Терентьеву. Ипат передал её братьям Гусевым. Гусевы везли её, да потеряли, а батя подобрал и припрятал для царя. И для сплавщиков батя стал заложником казны. Для них убить батю означало потерять след к золоту. А извести батю им надо было позарез. Потому что батя жизнью своей всему многомудрию истязательства был неопровержимым возражением.

Истязельцы новое, последнее таинство обрели — истязенье души. Перед концом света все дела человеческие непосильны, даже само спасенье. А истязельцы могли без греха бесам кланяться и совершать то, что человеку непосильно. И бесов же истязельцы запрягали здешних, вогульских. Слишком мало святости было на Каменных горах, чтобы разогнать всю сатанинскую кодлу: Ермака совесть на восток погнала, святого Трифона измена на запад изгнала. В вогульских камланиях истязельцы и становились неуязвимыми людьми-ургаланами. А Пугач, ургалан Петра Фёдорыча, им как пророк стал. Но лишить пророка силы — потерять казну — истязельцы не могли. Божьей карой им

было то, что казна самому неподходящему для них человеку досталась — Переходу. И прошлой зимой Сашка Гусев наконец-то разгадал батину загадку про клад и четырёх братьев. Истяжелыцы поверили Сашке, и отныне батя стал им не нужен. Той же весной батина барка, отуром побежавшая на Разбойник, вдруг пошла ко дну, а батя сгинул. Сгинул, да так, что всей Чусовой про него можно стало лжу сказать, и лжа правдивей правды казалась.

Осташа выстраивал эти рассуждения, будто барку собирал: каждая мысль, как каждая доска, на своё место приходилась. Что ж, теперь эту барку надо провести по теснинам. И если он — батина плоть и кровь, то он проведёт барку. И правда явится.

КАФТАНЫЧ

На плотбище мастера дружно материли пристанского приказчика, который летом поскупердяйничал и мало заготовил лыка, пакли и мочала. Теперь вот конопатки не хватило. Каменские бабы втридорога продавали приказчику тряпье и пластушины мха, снятые с омшаников. Кафтаныч, кряхтя от жадности, всё ж таки решился и открыл свой подклет. Артельные потащили от Кафтаныча на плотбище его запасы пакли.

За вечер всё сносить не успели. В темноте сели ужинать. А у Осташи уже кончилась выдержка, чтобы покорно ждать, когда же наступит время сплава. Время, чтобы всё узнать и всё доказать. Время перешагнуть порог и уйти в новую жизнь с чистой рекой, работой и свежим ветром. Грудь давило от духоты раскольничьей нетерпимости. Ломило плечи от тесноты расседин. Сердце зачерствело от злобы и ярости. И если уж нельзя было подстегнуть солнце на небе, то можно было хотя бы изнурять себя работой, чтобы вечером забираться на полати и проваливаться в сон, избавившись

от горячки невыносимых мыслей. И Осташа в одиночку продолжал таскать бунты с паклей с подворья Кафтаныча.

В темноте плотбище казалось городом, который порушил и сжёг Пугач. Громады недостроенных барок топорщили рёбра. Всюду торчали козлы и покосившиеся подъёмные журавели, оголённые вёшала для конопатки. На валищах, где зимой хранились брёвна, теперь высились опустевшие клетки из жердей-иглиц. Садня душу, горели неугасимые костры варничных дворов и отражались в чёрных лужах рытвин. Багровые, подсвеченные снизу столбы дымов подпирали непрочное небо с прорехами звёзд. Железной каплей звенели в темноте дальние кузнечные дворы.

В медвежьей складке гор мучительно-голо белел широкий и плоский ледяной пруд. На плотбище, будоража память, уже оттаяли запахи: запах сырой земли и водяной мокрени, вонь вара, кислятина гниющей древесины, смолистый дым костров. Но над прудом эти запахи расплетались прядями и таяли в тихом, просторном токе весенней снежной прели. Она медленно ползла из распадка, тонким слоем расплывалась над ледяным полем и сквозь вешняки плотины утекала вниз, в долину Чусовой.

Во дворе Кафтаныча у служб Осташа присел на затоптанный взвоз, чтобы навалить на спину очередной бунт, и услышал с крыльца:

— Надо было одного тебя нанимать, парень. Ты один за всю артель работу справишь.

Кафтаныч стоял на крыльце и меж балясин мочился на землю.

— Станный ты, — поддёргивая штаны, сказал Кафтаныч. — У меня Настька, внучка, окосела уже, на тебя глядячи, а ты её и не заметил, да? Ты чего томишься-то? Грехи мают? Скоро ж Пасха. Сходи к исповеди, причастись — легче станет.

— Я в расколе, — хмуро ответил Осташа.

Кафтаныч задумчиво подскрёб горло, задрал бородёнку.

— Ну тогда терпи, — согласился он.

Пристанской приказчик обещал взорвать пруд сразу после Пасхи. В Каменке уже появились первые бурлаки, пришедшие на сплав пораньше — за лишним рублём на погрузке.

Кафтаныч приказал вбивать в «сопляки» самолично изготовленные им «брови» — изогнутые брусья, по которым скользят снасти. «Брови» всегда ставили перед самым спуском барки на воду, потому что в спешке последних приготовлений их воровали чаще всего. После «бровей» Кафтаныч пробуравил обносные брусья и торчком вколотил в них запасные кнеки. Они пригодятся, если огнива прогорят на хватках. На огнива и на кнеки намотали снасти: и становые, и вытяжные, и трáвочные. Поверху уложили свёрнутые кольцами лёгости с якорями-кошками. Сквозь палатку продели и поставили невысокую тонкую мачту — шеглú. На мачтах сплавщики вывешивают флаг завода, каравану которого принадлежит их барка. Меж огнив на огромные кованые болты присадили «подушки» — плахи, на которых елозят вёсла-потеси.

Потом Кафтаныч с Осташей пошли по пристанским магазинам и скобяным дворам. Они купили и с грузчиками отправили на барку два становых якоря, разного крепежу на всякий случай и цепей десяток сажений. Обратным путём они завернули к мастеру-вёслаю. Осташа сам осмотрел и отобрал дюжину потесей: чтобы лопасть была стёсана наискось и с выемкой, чтобы веретено было без перекрыта, чтобы валёк был без сухорвотин, а кочетки, сквозь него продетые, были тополёвые, гибкие, и чтобы «губа», за которую бурлак-подгубщик ворочает потесь, для прочности была насквозь просверлена и укреплена железным штырём.

Словно реку караванным валом, пристань и плотбище разом вдруг накрыло птицами. Они прилетели и листопадом посыпались с неба, заполошно загалдели, зачирикали, закаркали, застрекотали, закурлыкали, захлопали крыльями. Многоголосый грей на крышах изб и подворий пока-

зался Осташе скрипом ворот, которые открывают, чтобы пустить весну. Только птиц ещё не хватало, чтобы почуять приближение полоёй воды. Лёд на пруду стал совсем неуместен, точно саван вместо праздничной скатерти. Лёд ещё как-то виновато и заискивающе посверкивал на солнце, а вокруг пруда на бурых склонах гор по-молодому беспощадно уже зазеленели свежей хвоей сосновые боры и ельники. Весёлая и беспокойная вода блестела повсюду: в огромных лужах, в переполненных бочках под желобами-потóками, в ручьях, что рухнули из распадков и покатались по улицам.

— Последнее осталось — казёнку и скамейку мне сделать, — сказал Осташа Кафтанычу. — И трубу сплавщицкую дать.

Казёнкой называли каморку, где сплавщик хранит бумаги, деньги и водку. Её Осташа и Кафтаныч решили строить вдвоём. Меж подмётот и палубой за конём врубили стойки-подсо́хи, вывели их концы наверх и скрепили брусьями-плáтвами. Костяк обшили толстыми досками — повóринами. На платвы настелили помост — получилась сплавщицкая скамейка. Выход из казёнки сделали в льяло через верхнюю половину торцевой стены, для чего вырезали часть потолка. Проём выхода по углам забрали досками, вставили косяк и навесили дверку. Под скамейкой проделали световые окошки, перехватив их скобами. Казёнка была готова.

Пока Кафтаныч долбил долотом наверху, огораживая скамейку перилами, Осташа сколачивал в казёнке поставцы. В каморке еле-еле можно было развернуться с топором. Ровняя доски, Осташа вспоминал, как в казёнке батиной затопленной барки увидел в стене железное кольцо, к которому был прикован Сашка Гусев. ...Зимой, в шалыганке, Гурьяна Утюгов рассказал Осташе, что Сашка перед смертью бился на цепи, пытаясь вырваться из каморки, и вдребезги, всмятку расквасил рожу...

Осташа оглянулся, представляя, как он сам тонет в своей каморке, которую заливает водой. Его передёрнуло. Он

вылез из казёнки и под палубой обошёл её снаружи. Присмотревшись, он топором подцепил и отодрал две поворины под самым настилом палубы, приставил их обратно и легонько прихватил гвоздём. Если случится, что он окажется заперт в казёнке, как Сашка Гусев, он толчком ладони сможет выбить эти доски и вылезти в мурью — в пространство между грузом и палубой. Казёнка не станет ему тюрьмой или могилой.

Когда Осташа поднялся на скамейку, Кафтаныч, подтёсывая перильца, насмешливо спросил:

— Ну как, сплавщик, не дрогнут коленки-то весь сплав простоять?

Трясогузки прыгали по кровле барки, по пустой передней палубе. Осташа положил руки на перила, оглядываясь по сторонам. Он стоял над баркой, над всем плотбищем, над берегом, над прудом. И справа, и слева от него громоздились другие такие же барки. На них с последними доделками стучали топорами плотники. Белел пруд, исчёрканный следами; чернел гребень плотины. Полотнища теней, шевелясь, ползли по дальним лесам и по голым склонам гор. Солнце шло по гребню камня Каменского, как лукавая рыжая девка в синем ситцевом платочке. Всё ближнее пространство было усыпано вспышками луж и ручьёв.

— Авось не дрогнут, — сказал Осташа.

Кафтаныч отвернулся, тоже рассматривая плотбище.

— Петрович на палатку весь отброс пустил... — пробормотал он, вглядываясь в кровлю соседней барки. — Я тут, парень, про тебя у людей порасспрашивал немного... Про бабю твоего, про всё... Разное говорят. Не моё дело, конечно...

— Ну и не слушай, — отстранённо посоветовал Осташа.

— Я тебе вот чего скажу. Прямо перед сплшкой ты обойди барку изнутри да колотом все борта простучи. А то поддырявят тебя ночью, а на сплаве утопят.

— Как это поддырявят? — насторожившись, спросил Осташа.

— Да запросто, — хмыкнул Кафтаныч. — Бортовину отпилят струной и оставят стоять на прежнем месте, только смолой или варом примажут. А на сплаве, когда надо будет, какой-нито человек купленный проберётся к тебе в мурью, локтем иль плечом поддаст, и вылетит доска из борта. Такая дыра получится, какую парусовкой не затянешь. Утонет барка, захлебнётся. Ладно, коли такое случится на стоянке у берега. А ведь можешь и прямо на ходу затонуть, на стрежне. Тогда и тебе, и бурлакам, и грузу конец.

День померк в глазах Осташи. Осташа вспомнил!.. Прошлой весной, когда под Четырьмя Братьями он батину барку осматривал, он же увидел дыру на месте вылетевшей доски: по левому борту за крайней кокорой, почти у днища... Значит, поддырявили батю! Вот в чём тайна батиной неудачи!

И в его памяти Чусовая разом распахнулась, как книга. Крутая излучина под Кликуном, что торчит из леса на склоне берега; облезлая громада Разбойника; приметная сосна, похожая на суксунский светец... Под ней надо носом толкнуться в землю, чтобы барку отбросило и провело мимо Разбойника отуром... Батя так и сделал. Но по левому борту его барки была дыра. Вода шла в барку, и барка наваливалась на левый борт, грузла. Потому ей и не хватило разбега и лёгкости. Она осела в волне под Разбойником и левым бортом ударилась в бойца так, что лопнули гарпины на огибке... А дальше затонуть было делом считанных мгновений. Не будь батина барка поддырявлена, батя бы прошёл Разбойник, как хотел, и остался бы жив!

Но как точно кто-то рассчитал батин путь... Сплавщик рассчитал. Очень хороший сплавщик. Видно, он же и нанял среди батиных бурлаков иуду, который где-то возле бойца Молокова выбил доску из борта барки. Ровно под Молоковым, а не где-нибудь ещё — чтобы барка не успела затонуть сама, чтобы батя не успел почуять перемены хода и сунулся под Разбойник отуром... Ровно под Молоковым, чтобы потом сказать: невозможно Разбойник отуром про-

ходить! Значит, если Переход пошёл отуrom, то он хотел свою барку убить и сбежать. Все его утопшим сочтут, а он царёву казну выкопает и заживёт потом где-нибудь подальше от Чусовой под чужим именем...

Это придумал Колыван Бутрин! Не было рядом никакого другого хорошего сплавщика! Ведь тогда, в бане, сказала же Неждана, что Колыван на прошлый сплав только до Кумыша нанимался! Ведь сказала же она, что батька её Сашке Гусеву ключ от замка на кандалах передал... И капитан Берг сказал Остахе, что Калистратка Крицын упросил его пленного Сашку Гусева на батину барку посадить! Сашка должен был снять кандалы и бежать в суматохе, когда батина барка тонуть начнёт... Да, видать, не сумел он замок отомкнуть и захлебнулся. С ним и сгинула тайна, где царёва казна зарыта.

Это Сашка первым батину загадку про четырёх братьев разгадал — точно! Не зря ведь и Калистрат, и Колыван готовили Сашке побег! И дурню этому, Кириюхе Бирюкову, которому Остаха весной на Усть-Койвинском кордоне ножик отдал, Сашка тоже говорил, что догадался, где клад. Всё сходится! А сдох Сашка Гусев — закрылась и тайна: не далась казна Колывану с Калистратом.

А сейчас, похоже, Фармазон или Чупря снова батину загадку разгадали... Может, своим умом дошли, а может, по каким-нибудь Сашкиным оговоркам смекнули — это не важно. И началась охота на Остаху. Остаха сам их раззадорил; видно, он всё время вокруг разгадки крутился. Наверное, очень уж проста разгадочка. Как раз Остахе по плечу. А сплавщики, выходит, переждали зиму, когда никакой клад не взять, и на этом сплаве вновь попытают счастья. И уж заодно Остаху вслед за батей изведут, потому что его мечта пройти Разбойник отуrom — до сих пор главная угроза тайне их беззакония.

И никому уже ничего про батю не объяснить. Не найти того бурлака, который доску выбил. Да и саму барку под-

дырявленную никому не предъявить — продал её Осташа. Воистину, одно доказательство правды осталась — сама Чусовая, Разбойник, который Осташе, как и бате, тоже надо пройти отуром.

— Ты чего, парень, с лица-то спал?.. — тревожно тормозил Осташу Кафтаныч. — Испужался, что ли?

Осташа очнулся, помотал головой.

— Спасибо за совет... — задумчиво сказал он. — Век не забуду...

Кафтаныч хмыкнул.

— Говорят-то про тебя худое, — пояснил он. — Я не знаю, верить или нет. Я тебе о дырке сказал не для того, чтобы имя твоё спасти. Своё имя ты сам спасай. А я не люблю, когда дело мастера поганят, понял?

«Вот она тебе и спীшка, — подумал Осташа. — Спихнулась правда с мёртвого места — как барка с берега на воду».

СПИШКА

На Пасху отхристосовались и обсыпали всю Каменку крашеной яичной шелухой. Никто не боялся лихорадки, которая придёт к тому, у кого во дворе сорока из брошенной скорлупы напьётся. На Пасху все ангелы с неба на землю слетают, и сёстры-трясавицы не посмеют сунуться. И следующим днём на пристань явилась горная стража, привезла бочки с порохом. Пристанской приказчик с тонкими кольями-вёхами под мышкой шустро обежал весь пруд на лыжах, помечая места закладки зарядов. Усатые солдаты, надвинув на глаза треуголки, длинными штыками отгородили пруд от народа. Канониры на пустом пруду под вешками закладывали бомбы и тянули запальные шнуры к плотине.

Народ, оттеснённый от берега, шуганутый с плотины, толпился на плотбище, на взгорьях. Люди ожидали самой шумной и безобидной потехи. Парнишки все передрались

от возбуждения, растеряли шапки, сбитые в толпе тяжёлыми мужичьими подзатыльниками.

Приказчик, хмурясь, влез на гульбище пристанской конторы, оглядел пруд в офицерскую подзорную трубу и поднял над головой палку с флагом. Толпа затихла. Приказчик сурово перекрестился, крикнул: «С богом, служба!..» — и махнул полотнищем. Канониры на склоне плотины подожгли концы запальных шнуров. Все шнуры были одинаковой длины, чтобы заряды взорвались одновременно. Крохотные огоньки, словно горящие мыши, врассыпную кинулись от плотины по льду пруда.

Сами по себе спокойные пруды вскрывались позже, чем бурная Чусовая. Но пристани торопились свести барки с пруда под загрузку в гавани. Большим заводам вроде Ревды, Старой Утки или Билимбая было проще: с заводов вывозили и вываливали на лёд раскалённый шлак, да ещё выводили в пруд долблёные трубы-выпуски, по которым сливали нагретую на плавильных печах воду. Пруды и сами потихоньку расчищались ото льда. Но вот на пристанях, где завода не было — в Трёке, в Илеме, в Сулёме, в Кашке и на Утках — пруды приходилось взрывать. А на пристанях без прудов, вроде Верхнего Зайчика, Курьи, Плешаковки и Ослянки, просто ждали караванного вала и кидали барки со скáтищ прямо в бешеную волну.

Огненные мыши добежали до зарядов.

— Круши!.. — в восторге заревел народ.

Не громкий, а тугой и гулкий звук упруго дёрнул воздух, отозвался по округе, широко подбросил землю. Пруд словно локтями растолкнул горы. Чёрная сеть трещин на мгновение вспыхнула на льду, и вдруг всё ледяное поле вспучилось, будто из-под него рванулось вверх огромное чудище. Белая гладь покололась и взметнулась фонтанами сверкающей воды, пены и ледяного крошева. Подлетели и косо упали в сизое кипенье дыбом вставшие льдины с блестящими углами изломов. Окоём охнул эхом. Пруд затрещал,

заскрежетал, зашипел протяжным плеском. В единый миг в огромном блюде меж гор сварилась бурлящая каша, которая вместо жара дохнула во все стороны стужей стылой воды. И длинное тело плотины сыграло, как тетива, отбило хрустящую, вспыхивающую сколами льда волну и послало её обратно на простор пруда.

— Знатно-то, братцы!.. — бессильно и восхищённо кричали в толпе.

— Туда её, остуду!..

— От-т та-ак!..

— Пошла, помилуй Господи!..

— Взяли!

Очумело затуманилось солнце, загудел растревоженный лес, заверещали птицы, залаяли собаки. Мальчишки визжали, бабы крестились, старики кряхтели, солдаты ползали под ногами толпы, разыскивая слутые треуголки, и какой-то дед уже недовольно бубнил в волосатое ухо ошалевшего соседа:

— Да это чего, это, Иваныч, дрянь дело, пшик... Вот, помню, в писят седьмом, што ли, году так рванули, аж наскрозь вешняки пробило, и колесо водобойное на Чусовую укатилось — чисто обруч бондарный с горки...

А толпа уже пришла в движение. По берегу собрались не праздные зеваки — работники. Десятки длинных кóсных лодок сползали и с шорохом ложились в ледовую окрошку. В лодки забирались пристанские ледогóны, вооружённые баграми и сетями. Их делом было сгрести крупные льдины в сторону от причалов и проходов к главному плотинному прорезу, сквозь который барки будут спускать в гавани. Оставшиеся на берегу люди потихоньку расходились.

...Когда солнце затонуло за дальней горой с шалыганкой на макушке, ледогóны немного разгребли пруд. Очищенное пространство уже в сумерках огородили плавучими перестягами. В последнем красном отсвете заката пруд, заполненный ледяным крошевом, мрачно и багрово засветился.

Луна не взошла на тёмно-синем небосводе, и показалось, что это её раздробили и высыпали в воду. Бурый гребень плотины, из которого торчали кости подъёмников и лесопильных пил, перекрещенные кóзлы водобойных колёс, выглядел как чей-то хребет, до мяса ободранный плетями.

Устало матерясь на артельных, пристанские мужики скачивали в воду последние цепи ба́нов — плавучих бревенчатых загоронок, которые разграничивали подходы к причалам для барок разных караванов. Но по всему плотбищу радостно горели костры: здесь уже поселились бурлаки, пришедшие к погрузке. За один вечер они растащили на плотбище весь мусор, городя из него свои балаганы, разворовали по деревне всё, что плохо лежало и годилось в костёр. По берегу, по плотбищу стоял гам, слышались пьяные песни. Бурлачье отдыхало от долгого пути, который порою вытягивался в несколько сотен вёрст.

Осташа попросил у Кафтаныча краюху хлеба и соли и остался ночевать в барке, чтобы никто ничего не спёр. Сидя на кирене на днище барки, он медленно жевал корку, запивал квасом из туса и глядел в треугольный проём меж кровлей палатки и палубой. В проёме густо синело небо, свесившее три звезды, как три серёжки. В барке было темно, пусто, гулко, но нигде Осташа не ощущал себя более защищённым. Отужинав, он встал, взял колот и пошёл обстукивать борта, проверяя, не поддырявил ли кто-нибудь его судно. Он бухал деревянным молотком в доски и слышал, как где-то рядом, за бортом, какой-то бурлак из артели, что расположилась по соседству с баркой, пояснял своим товарищам:

— Стучит колотушкой сторож-то: дескать, не сплю я, суки, не лезь на барку — ушатаю по шее...

«Завтра будет сплишка», — думал Осташа.

Всего на Каменской пристани к нынешнему сплаву выстроили двадцать три барки. Главным был караван пристанского тёзка — Каменского завода. Для него сколотили пятнадцать барок.

По две барки Каменка построила для полевого и северского караванов. Эти караваны отходили с Уткинской пристани. Каменскую пристань изначально соорудили в подмогу Утке, потому что Утка уже давно не справлялась со всеми заказами. И вот теперь полевские и северские барки должны будут выскочить из гаваней первыми, чтобы успеть занять место в строю своих караванов, когда те полетят мимо Каменки.

Каменский караван обычно шёл посередке сплава — после караванов Ревды, Верх-Исетского завода, Уктуса, Сысерти, Демидовских Шайтанок, Билимбая, Полевого, Северки и Новой Утки. За каменским караваном в строй вставали караваны Старой Утки и Старой Шайтанки, Сылвы и Алапаевска, а уж потом от Сулёма и Усть-Утки должны были отваливать могучие караваны Тагила и Кушвы. На всякую мелочь вроде кыновлян или койвинцев никто и внимания не обращал. Демидовским сплавщикам за лихость считалось разбить зазевавшегося строгановского токуна, не говоря уже о толстопузых купцах Трёки и Плешаковки. На купеческие караваны заводскому сплавщику и наниматься-то зазорно было. Три купеческие барки тоже уходили с Каменки. И ещё одна — казённая, с гранильной фабрики и монетного двора в Екатеринбурге.

Пятьдесят горных заводов висели на Чусовой и её притоках, как огромные чугунные яблоки в ветвях каменной яблони. За каждый сплав они спускали три-четыре сотни судов. Думая об этом, Осташа ходил в темноте в недрах своей пустой барки, стучал колотом в борта, а в глазах его был предстоящий сплав: бесконечная, страшная в своём величии деревянная вереница громадных судов... Она несётся сквозь каменные теснины Чусовой и гремит звеньями о скалы-бойцы... И сейчас, в темноте, в гулкой пустоте, в одиночестве, Осташа острее чувствовал плавящее душу тепло своей будущей сопричастности с этим огромным делом. Одиночество скоро кончится. Скоро начнётся сплав. Совсем скоро. Завтра — спишка.

...Он проснулся от гомона сотен людей, спозаранку собравшихся на плотбище. Передёрнувшись от пробравшего холода, Осташа вскочил с досок днища и полез по лесенке наверх, взлетел на скамейку. Здоровенная толпа рассыпалась по берегу, плотнее сбиваясь к крайней барке. Низкое и туманное солнце, еле всплывшее над лесами за Чусовой, мутно лучилось в белёсой дымке, спросонья совсем косое. За ночь пруд замёрз пятнами тонкого, мятого ледка. Горы за прудом осеребрились.

Распустив по приплёску едучую вонь, дегтяри мазали дёгтем брёвна-склизни, по которым барки будут сталкивать на воду. Толпа радостно загудела, увидев, что с пригорка, переваливаясь, спускается телега пристанского приказчика, который везёт бочку водки. Мужики и бабы возле крайней барки принялись натягивать вачёги — кожаные рукавицы.

Хитрый Кафтаныч для своих судов занял на плотбище самые удобные места, а поэтому его четыре барки должны были спихивать в первую очередь. Кафтаныч строил свои барки с кёнделями в днище, и на спусках-склизнях они стояли не бортом к воде, как обычно, а носом. Чтобы столкнуть их, требовалась свежая, неуставшая людская сила. Сейчас Кафтаныч с подсобными суетился на палубе первой барки, командовал в жестяную трубу. Подсобные разматывали толстые просмолённые снасти и скидывали их вниз, в толпу.

— Впрягаемся, бабоньки, впрягаемся!.. — бодро кричал Кафтаныч.

Бабы по обе стороны барки разбирали снасти.

— Мужички, становись в упор!..

Возле барки собрались артельные и пристанские работники и пришлые бурлаки, охочие до водки и до баловства шальной силушкой. Поплевав на рукавицы, они взялись за крепкие жерди-пйшки и упёрлись ими в корму барки. Кафтаныч, заглядывая через борт, чуть не свалился, но помощник поймал его за кушак.

— Ну, готовы?.. Й-и-и!..

Люди вокруг барки напряглись.

— Живё-о-ом!.. — визгливо закричал Кафтаныч.

— Й-е-дин! Е-дин! Е-дин! Р-раз!.. — хрипло, в три вдоха-выдоха рыкнула толпа, налегая в лад дыханью на пишки и снасти.

Отвратительный древесный скрип трижды продрал по ушам — это тремя шажками барка сдвинулась по склизням вперёд на две сажени. Мужики толкали барку пишками в корму, бабы рывками тянули её за снасти по бортам. Казалось, что сказочные мыши за нитки поволокли огромный медвежий гроб. Всё плотбище смотрело на первую спишку.

— Направó косишь, дедушко! — крикнули из толпы, подсказывая Кафтанычу. До воды оставалось ещё саженой сорок.

— Живё-о-ом!.. — надрывался Кафтаныч.

— Е-дин, е-дин, е-дин р-раз!..

— Живё-о-ом!..

— Е-дин, е-дин, е-дин р-раз!..

Осташа глядел, как барка мелкими толчками, словно живая, проползла сквозь толпу к воде и наконец с шумом окунула рыло. Бабы отпустили снасти — дальше тянуть можно было только из пруда. Снасти перехватили мужики из причаленных косных лодок, заскочили в лодки, погреббли от берега. Кафтаныч заметался: ещё чуть-чуть, и барка ляжет в пруд, как пирог на печной под.

— Ну, ещё три разочка, братцы!.. — радостно кричал он. — Й-и-и... Живё-о-ом!..

— Е-дин, е-дин, е-дин р-раз! — хрипела толпа.

Барка вылезла в пруд уже всем пузом. Мужики с пишками заходили по колено в воду.

— Живё-о-ом!..

— Е-дин, е-дин, е-дин р-раз!

И вдруг с последнего толчка барка подалась вперёд как-то особенно легко — и плавно пошла, пошла по шипящей ледком воде, чуть заноса на сторону корму.

— Стронули! — восторженно завопил Кафтаныч.

Мужики с облегченьем опускали поднятые было пишки.

Барка плыла по пруду. Неуклюжая, угловатая, громоздкая, она вдруг показалась Осташе прекрасной, как пава. Расширенными глазами Осташа смотрел на неё с похолодевшим сердцем: как давно, оказывается, он не видел этой простой картины: барка плывёт по пруду..

С косных лодок выбрали мокрые снасти, а потом подтянули барку на её место для погрузки — к свайной стенке причала. Тем временем мужики и бабы, что участвовали в спешке, отдали свои жерди следующим охотникам, а сами пошлёпали мокрыми ногами к телеге пристанского приказчика. Приказчик уже раскупорил бочку с водкой. Караванный Пасынков держал наготове черпак. Продрогшие люди протягивали ему плошки, чашки, берестяные ковшики, а он разливал всем водку. С точностью бывалого пьянчуги он в любую посуду отмеривал равную долю — чарку.

Кафтаныч тем временем уже сбежал с зачальной барки и залез на другую, соседнюю с Осташинной. Пока у бочки с водкой закусывали луком и шумно сопели в рукава, вторая барка поползла к пруду под нескончаемые крики и рёв: «Живё-о-м!..» — «Е-дин, е-дин, е-дин раз!..»

Вторую барку спихнули и отвели к причалу. Мокрые бурлаки потянулись к приказчику. Кафтаныч прибежал с причала и сразу полез на Осташину барку, шмыгнул к Остахе на скамейку, по-хозяйски отодвинул Осташу в сторону. На палубах подручные Кафтаныча уже разматывали снасти с огнив и кнеков, сбрасывали их бабам, которые снизу тянули руки в широких, грубых вачегах. Новая толпа с пишками обступила корму Осташинной барки, глядя на Кафтаныча и ожидая команды.

— Упрись! — закричал Кафтаныч в жестяную сплавщицкую трубу. — Готовы, бабоньки?.. Й-и-и... Живё-о-ом!..

И Осташу качнуло, как дерево под ветром, когда вся громадина барки, заскрипев, стронулась с места.

— Е-дин, е-дин, е-дин раз!.. — выдыхала толпа внизу. И на каждый выдох приходился толчок — словно волны одна за другой подкидывали барку.

Осташа уже плывал на барках и знал чувство движения судна. Но сейчас барку двигала не река, а соединённая человечья сила. Её совокупная, самостоятельная, отчуждённая от него мощь, когда сам он неподвижно стоял наверху, пьяняще и страшно ударила Остахе в виски, тоской и счастьем засосала сердце. Осташа вцепился в перила, глядя на целое озеро шапок внизу за кормой, на частокол пишек, упёртых в гарпины, на сотни плеч и рук со вздутыми жилами. «Е-дин раз!.. Е-дин раз!...» — стучало в голове, как бой крови. И это была не просто приговорка, ровняющая дыхание и усилие толпы. Это было словно бы угрюмое, беспощадное, святое и выстраданное «Отче наш», но обращённое не к Господу, а в самую бездну народа и судьбы.

Барку уже повело по воде, и у Осташи, как у пьяного, словно земля поплыла под ногами. Он, покачнувшись, вцепился в перила, переступил по скамейке, замотал головой, чтобы сбросить наваждение. Косные перехватили барку, начали разворачивать, потянули к причалу. Осташа тупо, бычьим взглядом смотрел на простор пруда, на крутые горы с морщинами логов, на белые туши облаков, что ползли по окоёму под солнцем, как собаки под воротами.

Кафтаныч молча, испытующе глянул на Осташу.

— Что, сплавщик, почуял силушку-то человечью? — спросил он.

— Почуял...

— Сладко иль испужался?

— Испужался, деда, — признался Осташа.

— Держи, — старик протянул ему сплавщицкую трубу.

КАРАВАННАЯ КОНТОРА

Ночью по всей Каменке вдруг залаяли собаки. Так бывает, когда они учуют безобидного, несчастного жердяя, который шляется по задворкам, или когда за выпасами из леса по-

кажет длиннорогую башку страшная Коровья Смерть. Но сейчас вся деревня и плотбище битком набиты бурлаками, пришедшими наниматься на сплав. Жердья побоится людей, а для Коровьей Смерти ещё не время.

Осташа проснулся, но не вставал, стиснутый на полатах телами спящих мужиков. Вся изба теперь была полна народом: плотно лежали и на печи, и на лавках, и на полу. Умаявшись на спишке или упившись, мужики во сне храпели, стонали, бормотали. Никто не слышал собачьего перебрёха. А издалека уже тянуло каким-то грозным гулом. Вдруг вдали, под горой, на которой стояло подворье Кафтаныча, внезапно словно бахнули из пушки, потом другой раз, третий — и канонада покатила мимо околицы Каменки. Осташа понял: это вскрывалась Чусовая.

Вскоре Кафтаныч распахнул дверь.

— Чусовая пошла, братцы! — радостно крикнул он. — Вставай!..

— Дай отоспаться, старый хрен... — недовольно проворчали из тёмной вонючей горницы. — Завтра на погрузку...

— Эх вы, чусовляне! — с досадой сказал Кафтаныч. — Зипуны!.. — И захлопнул дверь.

Осташа обеспокоенно заворочался, собираясь вылезти и бежать смотреть на ледоход. Он сызмальства в Кашке всегда бегал встречать первую вешнюю воду. Но сейчас его пихнули локтем, придавили: «Лежи, чёрт, веретено!..» — и он затих. Что ж, эти мужики заслужили ночку сна. Им-то какое дело до тревожной радости коренных?.. Осташа молча, неудобно лежал и с завистью слушал, как на улице шлёпают по лужам, перекрикиваются, смеются разбуженные люди. За их голосами в отдалении глухо стрелял, трещал, грохотал на реке ломающийся лёд. Ночь за стенами избы словно мялась и просторно колыхалась от шума пошедшей в темноте Чусовой.

А утром Осташу нашёл мальчонка, посланный караваным Пасынковым за сплавщиками своего каравана. Пасынков звал сплавщиков к себе. Но по пути в контору Ос-

таша сначала завернул в грязный проулок и вышел на берег Чусовой. Каменка стояла в излучине огромной петли. С кручи Осташа видел, как река в складке толстых еловых берегов издалека, с востока, узко и мощно набегает на Каменку, с разбега ударяется о камень Каменский и поворачивает вспять, уходит вдаль на север. Сейчас по Чусовой не плыл даже, а сплошной неразрывной грудой ехал, шевелясь, колотый лёд. Дико и странно было видеть это безостановочное и неживое движение, будто гора поползла, тряся ельниками на склонах. Пугал звук ледохода, который длинной широкой полосой стелился понизу мимо деревни — мёртвый шорох, скрипенье, плеск и хруст.

На круче стояли, глядя на Чусовую, пристанской приказчик и плотинный мастер. Они осматривали сверху распадок речки Каменки под плотиной. Здесь были две каменные гавани — две прямоугольные ямины со стенками из свай. Через верхний прорез плотины, сейчас закрытый тяжёлыми воротами, в них должны были набирать высокую воду из пруда и заводить пустые барки. В гаванях барки спешно загружат, а потом откроют нижние ворота. Сквозь них суда выйдут в распадок, затопленный половодьем, и встанут на прикол. Когда все барки каравана соберутся вместе, с камня Каменского бабахнет пушка, и караван дружно отвалит, покатится вниз по Чусовой.

— Я тебе, дундуку, верно говорю: половодье высокое будет, гавани зальёт выше граней, — пояснял приказчику мастер. — У меня своя приметка есть. За Скопиным камнем в ложке, где снег копится, кажен аршин снега говорит за полтора аршина воды в Чусовой на самом всплесе. К тому я прибавил, чего в Ревде обещают: семь вершков пруда спустить. А семь вершков тамошнего пруда — это семь аршинов воды здесь. Вот посчитай сам: вода выше гаваней взойдёт и всего-то на пол-три аршина ниже уровня пруда будет. Выведешь барки в гавани — сорвёт к чёрту и унесёт. Грузись прямо в пруду, у причалов.

— А ежели вода на столько не подыметя? — не верил приказчик.

— Подыметя, — убеждал мастер.

— А ежели гружёная барка в главный прорез на плотине не пройдёт? Дном зацепит — и заткнёт проход всем другим?

— Острастку дай, чтоб загружали под осадку не больше трёх локтей с пятью вершками...

Приказчик размышлял, драл бороду. Потом молча снял шапку, перекрестился на часовенку, торчащую на скале, тяжело вздохнул и поднёс к носу мастера огромный кулачище.

— Не бойсь, — заверил мастер. — Меня Леонтий Злобин порол.

У большой пристанской конторы возле плотины толпилась тьма-тьмушая народу. Все брёвна были заняты рассевшимися бурлаками. Осташа протолкался на крыльцо, пролез в двери, еле отыскал камору, где собрались сплавщики Каменского каравана, и на пороге обомлел: среди сплавщиков находился Колыван Бугрин.

«Колыван, лучший сплавщик на Чусовой, — и пошёл на захудалый Каменский караван, где Пасынков деньги пропил и платит сплавщикам на рубль меньше?...» — не поверил глазам Осташа. Но промолчал, притулился сбоку на скамеечку. Колыван сделал вид, что не заметил его, хотя, конечно, заметил, даже борода знакомо дрогнула.

К Осташе сразу притиснулся Федька Мильков, водолив, и тотчас что-то горячо зашептал на ухо. Осташа его не слушал, разглядывал людей. Похоже, сейчас собрались не все сплавщики каравана: маловато было народу, человек с десятка. Принимать отчёты и выдавать деньги было делом долгим, а потому Пасынков всё-таки не стал звать всех. Он сидел за столом важный, насупленный, листал караванную опись — огромную неряшливую книгу в деревянных обложках, обтянутых засаленной холстиной. Рядом на столе громоздился оббитый железными полосами сундучок-скрыня, запёртый увесистым замком. Сплавщики тихонько переговаривались. За окошком галдело бурлацкое торжище.

— Хрисанф пришёл? — строго спросил Пасынков, оглядывая собравшихся. — Нет?.. Ладно, чёрт с ним.

Кроме Колывана, Осташа увидел и других сплавщиков, смутно знакомых по батиным встречам: Довмонта Талашманова по прозвищу Нахрат, что значило «упрямец, строптивец», Евсея Кудинова из Трёки, одноглазого Вукола Канаева с Уткинской пристани, Довлата Халдина из Демидовских Шайтанок, сплавщика Анкудина, про которого не вспоминалось ничего, кроме имени. Сплавщики, как и Осташа с Федькой, тоже явились со своими водоливами.

— Ну, мужики, давайте к расчёту, — предложил Пасынков, вертя в пальцах ключ от скрыни. — Идём до Лёвшиной пристани на Каме. На то начальство положило восемь дён. За вычетом рубли, о которой сразу уговаривались, ваша корысть семь рублёв. Даст бог удачи, в Лёвшиной рубли полторы ещё сверху положу.

Слова Пасынкова не встретили возражений: сколько будет уплачено за сплав, все уже и так знали. Караван добирался до Камы, и на Лёвшиной пристани сплавщики и бурлаки сходили на берег, получали расчёт. Груз с барок перегружали на здоровенные баржи, которые отправлялись дальше, в Нижний. Водоливы уплывали до Нижнего, где сдавали груз заводскому приказчику при Макарьевской ярмарке. Барки караванный продавал в Лёвшиной.

— С кого начнём? — спросил Пасынков, оглядывая сплавщиков. — Думаю, с самого уважаемого надо, верно? С тебя, Колыван свет батькович...

— Давай-ка лучше с самого меньшого, Степан Давыдыч, — возразил Колыван. — Нечего ему пересуды дельных людей подслушивать.

Конечно, Колыван имел в виду его. Осташа почувствовал, как гнев и раздражение привычно занимают своё место в душе, словно цепной пёс в конуре. Но в лице он не изменился, только запекло уши.

— Тогда, значит, поди сюда Петров Остафий, — согласился Пасынков. — Давай мне список бурлаков, которых нанял...

Осташа встал и пошёл к столу Пасынкова. Федька проворно обогнал Осташу и услужливо положил перед караванным мятые листы со списком бурлаков. Пасынков принялся медленно читать, шевеля губами, но не дочитал и перевернул листы сразу на итог.

— Ровно сорок человек, значит, — почему-то недоверчиво спросил он, глядя на стоящего Осташу снизу вверх. — И баб всего четыре? Небось баб-то десяток нанял, а указал четверых? Знаю я эту хитрость.

Многие сплавщики так делали. Бабам и отрокам полагалось платить вдвое меньше, чем мужику-бурлаку. Если нанять баб, а указать в бумаге мужиков, то с каждого такого обменёныша сплавщик мог положить в карман два рубля. Деньги немалые. Осташа бешено посмотрел на Федьку.

— Истая правда! — вытаращив глаза, принялся креститься Федька. — Всего четыре бабы! Приди — сам перечти! И народу — сорок человек! Не меньше!

— И перечту, — с угрозой ответил Пасынков.

— Сопли ещё не смотал, а уже шельмует, — громко сказал за спиной Осташа Колыван. Осташа только сжал челюсти, но не оглянулся.

— Ладно, будем считать, — согласился Пасынков. Царапая пером, он принялся писать в своей книге, с ходу высчитывая так быстро, что Осташа не успевал загибать пальцы и запоминать.

— Тридцать шесть бурлаков по четыре рубля выйдет сто сорок четыре рубля. Четыре бабы по две рубля выйдет восемь, да с прежним сложить — полторы сотни и к ним две рубля. Семь сплавщику да одиннадцать водоливу до Нижнего, итого сто семисят. Червонец на водку, по рублю на подгубщиков, да писят рублей за погрузку — вместе двести тридцать четыре. Получай.

Федька ловко застелил стол караванного заранее припасённым полотенцем. Большим медным ключом Пасынков открыл замок на скрыне и начал отсчитывать деньги, вы-

кладывая их на тряпицу. Осташа и за деньгами тоже не успевал следить.

— Вот тута титлы поставь, — приказал Пасынков Осташе, тыча кургузым пальцем в свою книгу.

— А сплавщицкого запаса ты мне не даёшь? — удивился Осташа.

В сплавщицкий запас обычно давали рублей двадцать — на тот случай, если барка сядет на таш или на огрудок и придётся нанимать местных крестьян, чтобы стащили с мели.

— А какое тебе доверье? — хмыкнул Пасынков.

— Он на хватке постоит до обеда, чтобы караван вперёд убежал, а потом скажет, что обсох да снимался. Бурлакам по чарке водки, чтобы молчали, — и запас себе в карман, — опять подал голос Колыван.

Осташа потёр скулу, словно размял отмороженное место.

— Так, значит, дело подряжаешь, Степан Давыдыч? — сдавленно спросил он. — Огúлом мнение заимел?

— А ты помалкивай! — рассердился Пасынков. — И без того из милости принял.

— Ты бурлаков поштрафуй поначалу, так запас и соберёшь, — посоветовал сплавщик Анкудин, сжалившийся над Осташей.

Осташа молча взял тряпицу за углы и завязал деньги в тугой узел.

Отдуваясь, Пасынков ткнул обратной стороной пера в плоску с рыбьим клеем и принялся старательно вклеивать в свою книгу листы со списком бурлаков.

— И неча рожу корчить, — проворчал он. — Походи сначала с наше, потом и права наши заимеешь...

Осташа не ответил, развернулся и пошагал на выход из горницы.

— Эй, кочеток! — крикнул Пасынков ему вслед. — Флаг заberi!

Он издалека кинул Осташе скомканный флаг, будто девка — платочек на память. Осташа, пряча от всех глаза, на-

гнулся, словно кланялся караванному за науку, и поднял с пола упавший флаг.

— С-суки... — шипел Осташа, выходя от Пасынкова. Не глядя, он грубо расталкивал бурлаков плечами, напролом пробиваясь сквозь толпу на крыльце. Федька благоразумно молчал и семенил сзади.

ТРИНАДЦАТЬ КОПЕЕК

Узел с деньгами Осташа в казёнке сунул на полку в поставец. Федька купил две ведёрные кляги водки и тоже приволок их в казёнку. Теперь Осташе пришлось перебраться жить на барку — деньгам и водке требовался караул.

Осташа сидел на ступеньках лесенки на скамейку и наблюдал, как Федька руководит погрузкой.

Магазины — пристанские амбары с заводским железом — были раскрыты все подряд. Понаехавшие с завода приказчики стояли в дверях с учётными тетрадами: пересчитывали добро. Бурлаки таскали железо на барки. По склону горы через плотбище им настелили мостки, и погрузка шла полным ходом. Прутья и ружейные стволы носили на плечах связками. Чушки катили слегами по лоткам — один человек подталкивал, другой ловил и направлял. Железные полосы таскали в одиночку: совали полосу под мышку и снизу прихватывали руками в вачегах. Листы держали щипцами — грубо обрубленные острые кромки могли запросто отрезать пальцы. Пушечные ядра и скобяной товар насыпали в заплечные короба. Труднее всего приходилось с пушками: двое на верёвке несли тяжеленный пушечный ствол за казённый, третий всовывал в жерло крепкую жердину и бежал впереди.

Глядя, сколь мало груза может поднять один человек, Осташа сомневался: похоже, целый год нужен, чтобы заполнить огромную барку. Но людей на погрузке работало

сотни, всё бегом, всё без остановки — сплошной круговорот. Под Федькину ругань, под звон железа, под бряк чугуна барка потихоньку оседала в воду, набирая свой неимоверный вес.

Погрузка продолжалась и днём, и ночью. Грузчики сменялись, а Федька стоял в одиночку: такова была работа водолива. Федька указывал, где и как чего уложить, чтобы груз не сдвинулся, чтобы лежал ровно. Окажись один борт барки выше другого хоть на вершок, барка начнёт валиться со стрежня набок. Рано или поздно она не удержит бега на повороте и ударится в бойца. Осташа шнурком с узелками придиричиво проверял осадку: не перекосило ли судно в воде. Но Федька — даром что балбес, а уровень соблюдал как скитник епитимью.

Магазины опустели только на третий день погрузки. Весна тем временем подтаяла, намокла, закапала с низкого неба мелкими дождями. Словно вздохнув с облегчением, распадки, плотбище и улочки Каменки обрели тот вид, который и был им родным, — вид грязевых разливов, расчерченных вдоль и поперёк чисто промытыми дощатыми мостками и бревенчатыми выстилками. На пруду за перестягой ледяные горы обречённо потемнели, набухли, начали тонуть.

Чусовая совсем освободилась ото льдин: оголилась тёмная, беспокойная стремнина с пенными серпами за́вертей. Вода в реке прибывала мерно и мощно, неостановимо. Чусовая всё подымалась и подымалась, как на огромном вдохе. Она затопила приплёски, лощины и низкие облуги по берегам, пролилась на редкие поля вешними озёрами-полёями, просочилась в леса извилистыми выра́ями, с вызовом билась в стены бойцов, словно хотела помериться со скалами ростом. По быстротоку плыли сорванные с места мостки и бревенчатые сцепки, замертво опрокинутые навзничь; несло разный строительный мусор. Из чашоб, словно дохлую нечисть, вымывало разлапистые пни, чёрные и ос-

клизлые карчи. Мимо берегов летели рухнувшие в воду ёлки — зелёные, странно живые, будто ошеломлённые своим падением и оцепеневшие, как сказочные, заживо погребённые богатыри.

Плотинный мастер был прав: распадок речки Каменки затопило выше гаваней. Под закипевшими волнами скрылись свайные стенки, подъёмные колёса ворот, толстые причальные столбы. Как вверх по горке, вода лезла по дощатым скатам вешняков. Утром третьего дня после ледохода по горам издалека приполз гром пушечного выстрела. С камня Каменского в ответ тотчас рывкнула пристанская пушка. Это от горы Волчихи вниз по Чусовой передавали весть, что Ревдинский завод открыл плотину и спускает пруд, наливая Чусовую караванным валом. Караваны отваливали от Ревды через сутки после начала спуска воды.

Утром того дня, когда отвалят караваны, Осташа на причале рассчитывался с бурлаками за погрузку. Федька для важности приволок стол и лавку, разменял деньги на мелочь. Бурлаки серой, грязной толпой окружили стол и внимательно глядели, как Федька роется в мешке с медью.

— Положено вам, братцы, за погрузку по рублю двадцать пять копеек на каждого, — деловито пояснял Федька, ладонями разглаживая на столе бумагу со списком бурлаков. — Да за сплав задаток по два рубля. Мелочи разменной, вишь, мало, а потому сбивайтесь по двое да по четверо...

Осташа просто стоял и смотрел, как Федька быстро и ловко отсчитывает деньги и отыскивает в бумаге имена бурлаков.

— Та-ак, Нелюбин Корнила, ты у нас подгубщик, тебе четыре рубля да пять пятаков...

Осташа разглядывал невысокого, ладного мужика с костистым недовольным лицом. Где он его видел?..

— Мне куда сейчас деньги-то сувать? — сказал мужик. — Рассчитался бы разом в Лёвшиной. А то копейку здесь, копейку там...

— Бери, пока дают, — посоветовали из толпы. — Убьётся барка — вообще ничего не дадут. Федька по-божески рассудил...

— Как убьётся? Как? — раздался вдруг знакомый Осташе голос. Сквозь толпу к столу протолкался Бакирка-пытарь и тревожно посмотрел на Осташу. — Не убьётся ведь, да?.. — Он оглянулся на бурлаков. — Астапа — хороший сплавщик, верно! Не убьётся барка! Зачем такое говоришь? Шайтанам обещаешь, глупый рот!

Словно требуя защиты, Бакир подобрался к Осташе вплотную и взял его за рукав.

— И ты, значит, со мной? — улыбаясь, спросил Осташа. Бакирка закивал кудлатой головой.

— Бакир с Переходом ходил — хорошо было. Теперь с тобой пойдёт.

— Клад-то в Ермаковой пещере ты отыскал или нет? — напомнил Осташа.

— А-а!.. — досадливо закричал Бакир и махнул рукой. — Обманул вогул Бакира, умер. Слова-то волшебные только при живом колдуне работают. При мёртвом — нет. Не открылась бы пещера. Бакир и не лазил даже. Не напоминать — грустно.

А Осташа вдруг как со щелчком вспомнил, где же он видел этого Корнилу Нелюбина. На Весёлых горах, на перетолке и на отчитке! Это ведь Корнила крикнул скитникам, Гермону, Павлу и Калинику: «Кого Пугачом ни поверь — все словоблуды!» Осташе захотелось ещё раз поглядеть в лицо подгубщику, но Корнила уже затерялся в толпе.

— А это, Осташка, другой твой подгубщик — Поздей Усынин, — одёрнул Осташу Федька.

Возле Федькиного стола стоял и, шевеля губами, пересчитывал деньги мужичина огромного роста, с широким, плоским лицом и чёрной бородой. На Осташу он и не обернулся.

— Будь здоров, Поздей, — сказал Осташа.

— Здоровей меня других покуда нету, — пробурчал мужик, искоса бросив на Осташу короткий тяжёлый взгляд. Глаз у мужика был нехороший — диковатый, косой. Но здоровее этого мужика или повыше ростом вокруг и вправду никого не было. Рядом с Поздеем Осташа почувствовал себя совсем мальчишкой.

— Где нашёл такого великана? — тихо спросил Осташа Федыку.

Федька пожал плечами.

— Я и не искал его. Он сам явился. Говорит мне: на барку к Переходу возьмёшь меня подгубщиком? Я говорю: да запросто. Такого силяка в Ревду бы на караван — его бы к косным на корму посадили, десять рублей дали бы. А он, дурак, здесь, в Каменке, место ищет... А вот ещё твой подгубщик — ты его помнить должен...

У стола стоял Платоха Мезенцев — старый бурлак, Федькин друг по летнему сплаву на межеумке. Платоха снял шапку и чуть поклонился Осташе. Осташа тоже нагнул голову. Против Платохи он ничего не имел, хоть летом Платоха и пьянствовал с Федькой, как последняя кабацкая теребень.

— А меня-то хоть вспомните, Остафий Петрович? — вдруг спросили рядом.

Осташа повернулся. В толпе стоял Никешка Долматов. Он глядел на Осташу с робостью, но и с надеждой на добрую встречу.

— Никешка!.. — обрадовался Осташа, широко растопыривая руки.

Никешка кинулся обниматься, облапил Осташу, стал с чувством стучать его по спине, словно выколачивал пыль из Осташиногo армяка.

— Я от Усть-Утки до Каменки по всем пристаням прошёл — искал тебя! — гудел Никешка.

— Ну и молодец, что нашёл! — искренне отвечал Осташа.

— Он сказал, что ты его обещал подгубщиком поставить, так я поставил, — сообщил Осташе Федька.

— Спасибо, Фёдор, порадовал!..

— Спасибо в рот не зальёшь, — тотчас сказал Федька.

Мужики получили деньги; кое-кто уже пошёл прочь, а к столу приблизились бабы. Все они были в подпоясанных мужичьих армяках, в платках, повязанных так, что из щели торчали только носы. Не поймёшь: молодые ли, старые. Прятались от оголодавших глаз бурлачья.

— На вас, бабоньки, мелочи уж не осталось, — вытряхивая из мешка последние деньги, признался Федька. — Делите сами девять рублей на четверых.

— Вон же у тебя гривенники да полушки, — тихо сказала одна баба.

— А это, Фисонька, на Спирьку, ты его знаешь. Лежит Спирька под курятником у Кафтаныча, не может прийти. Надо его уважить, бедолагу.

Осташа взглянул на бабу внимательнее: точно, это была Фиска, которая летом тоже ходила с Алфёром Гилёвым на межеумке. Фиска заметила Осташин взгляд, покраснела и, повернувшись, неловко поклонилась, чуть слышно произнесла:

— Здравствуйте, Остафий Петрович...

И куда делись её бойкость, острый язык?

— И ты здравствуй, Фиса, — сухо ответил Осташа.

Он сразу вспомнил ночь под камнем Нижний Зайчик, мятый дерезняк, белые ляжки Фиски под задравшимся подолом, слёзы: «Кто же вас, мужиков, сглазил?..» Но Фиска уже отвернулась, собираясь уйти прочь.

— Эй, сплавщик, это чего ж такое? — вдруг раздался возмущённый крик. Кричал Поздей, глядя на баб. — Это не по нашему закону!..

— Чего ещё? — недовольно спросил Осташа.

— Как чего? — в полный голос шумел Поздей. — Мужики, вы глянь, что наш старшой творит — а? Ты как бабам платишь?

— Как? — не понял Осташа.

Бурлаки, уже собравшиеся расходиться, останавливались. Осташе всё это сразу очень не понравилось.

— Ты бабам за погрузку платишь, как мужикам! Ты с кем нас, мужиков, сравнял? Что мы, что бабы — одно? Я что, с этой жлудовкой по-одинаковому работал, да?

— Ну, раззявил пасть, — зло буркнул Федька, сворачивая мешок из-под денег.

— Эй, мужики, иди сюда на правёж сплавщика! — надрывался Поздей. — Нечисто тут дело!

— Ты не заговаривайся, — спокойно предупредил Поздей Осташа.

Бурлаки возвращались к столу, испытующе глядели то на Поздея, то на Осташу.

— Ты, сплавщик, и мужику, и бабе за погрузку рупь двадцать пять платишь — верно? — Поздей чуть пригнулся, чтобы заглянуть Осташе в лицо. — Шельмовство это! Мужики с бабами на разное работали! Я в одиночку пушку пёр — а эти мокрощёлки вчетвером поднять не могли, и всем по рупь с четвертью, да?

Бабы, сбившись табунком, молча стояли в толпе, не поднимая глаз. Вокруг них образовалась полоса пустоты.

— Народ, как считаешь, справедливо то? — Поздей гневно осматривал бурлаков.

— Дак уж куда там... — неуверенно прозвучало из толпы.

— Негоже, конечно...

— Везде бабам вполтину платят.

— Пересчёт давай! — потребовал Поздей. — Бабам положено по шисят две копейки с полушкой, а мужикам по рупь тридцать восемь копеек с полушкой — вот верный счёт!

«Надо же, как всё уже расчислил!» — сквозь глухой гнев удивился Осташа.

— Куда-а?! — завопил Федька, для которого такой пересчёт был словно ножик в грудь. — Я где такую мелочь возьму?!.

— Баб-то всего четыре на тридцать шесть мужиков, — утрюмо сказал Осташа. — Вам, мужикам, жалко на них по копейке?

— Врёт! — радостно заорал Поздей, тыча пальцем в Осташу. — Врёт он! Не по копейке! С каждого получается на бабу по тринадцать копеек с полушкой! За тринадцать копеек в артели неделю ломишь!

Бурлаки, поражённые, глухо загомонили.

— Копейки-то не дармовые...

— У каждого, считай, своя баба есть, чтоб тринадцать копеек отдать...

— Пересчёт нужен, сплавщик!

— Давай пересчёт!

— Да в шею вас! — заорал Федька. — Горную стражу позову!..

— Пересчёта не будет, — твёрдо сказал Осташа. — Моя воля.

— Не дело то!..

— Испытываешь, парень!

— Так у нас не ведётся!

— Пустой разговор, мужики! — вдруг гневно крикнул Корнила Нелюбин. — Оставь деньги бабам, считай за подаянье!

— Тебе, Корнила, не надо — ну и ступай.

— Могёшь хоть всё бабам отдать — твоё решение...

— Там копейку, тут копейку — без штанов домой вернёшься...

— Не будет пересчёта, — повторил Осташа, глядя на взбодраженные, враз поглупевшие рожи бурлаков. Даже странно было: неужель это те самые люди, которые были на спитшке? Что такое за единый миг превратило их в сволочь?..

— Обижаешь!

— Да он потом у баб заберёт и себе в карман! — подогревал народ Поздей. — Известная хитрость!..

— За поклёп рубль тебе штрафа, — ровно сказал Осташа Поздею.

Поздей согнулся, как от удара под дых, и схватил себя за бороду, точно хотел выдрать её.

— За правду страдаю! — мученически крикнул он. — Защищай, народ!..

— Да чтоб Осташка... Вы чего? — захлёбываясь, закричал Никешка.

— Дурь несёшь, шалыган! — добавил Корнила.

— Я?! Дурь?! — напоказ изумился Поздей. — Ратуйте, люди! Я себя за язык не тянул! Эта проблядёшка, — Поздей ткнул пальцем в Фиску, — евонная полюбовница! Кому наши деньги пошли, а?

«Откуда знает?.. — остоленел Осташа. — Или случайно угадал?..»

— Молчи, рыло кандальное! — завизжала Фиска. — У себя в портках ройся, а мне под подол не лезь! Ничья я не полюбовница!.. У меня муж в солдатах!.. Честная я!..

Ответом ей был глумливый гогот бурлаков. Фиска закрыла лицо руками и бросилась прочь сквозь толпу. Кто-то подставил ей ногу, и она шлёпнулась в грязь, заревела, вскочила, побежала дальше.

Осташа почувствовал, как у него повело лицо. Он даже качнулся вперёд, чтобы кинуться на Поздея, и еле устоял на месте.

— Нету доверья такому сплавщику! — орал Поздей, распахивая на груди армяк. — Для него деньга дороже правды! Батка его за деньги на Разбойнике барку убил — и сынок такой же! Долой его! Загубит он нас всех, мужики!.. Нету доверья!..

Бурлаки даже притихли, поражённые известием о коварстве сплавщика. Десятки глаз уставились на Осташу, ожидая его ответа: отбросит ли он наговор, убьёт ли Поздея на месте, отвернётся ли от народа, пряча взгляд?..

Откуда Поздей всё знал?.. Но Осташа не успел даже задать себе этот вопрос. Всё помутилось в глазах, в груди могуче повернулся тёмный, тяжёлый водоворот гнева. Неудер-

жимо, как оползень, Осташа двинулся на Поздея, который с готовностью сжал кулачищи. Никешка испуганно упёрся Осташе руками в грудь; Федька, едва не свалившись с лавки, вцепился в полу Осташино армяка. Из толпы плечом вперёд полез Корнила Нелюбин, оттирая Поздея в сторону: одного удара Поздеева кулака достаточно было, чтобы Осташе выбить мозги в шапку. Толпа бурлаков возбуждённо загудела, отпрянула от сплавщика и подгубщика, уступая место для драки. Чьи-то руки потянули Корнилу в сторону — не мешай. Но Осташа сделал ещё шаг и остановился сам, набычившись и не сводя взгляда с Поздея. Поздей в открытую победно ухмылялся и покачивал плечами, держа перед бородой кулаки. Осташа молча обвёл глазами толпу. Бурлаки глядели со злым ожиданием, со скрытой насмешкой, с вызовом. Никто не хотел мириться из-за тринадцати копеек.

— Все недовольные, да? — хрипло спросил Осташа.

— Все! — смело и как-то разгульно раздалось в ответ.

— Тринадцать копеек мне цена, да?

— Загнул — и гроша не стоишь! — крикнул Поздей.

Оттолкнув державших его бурлаков, перед Осташей появился Корнила Нелюбин. Лицо его дёргалось. Глядя на толпу, Корнила отвёл руку назад, указывая пальцем на Осташу.

— Мужики, я его в первый раз вижу! — будто с угрозой заговорил он. — Но ведь он сплавщик наш! Вы чего творите? Он за нашу жисть ответ берёт, а вы его ни в грош!.. Это, братцы, грех похуже обчёта!.. Поздей, искушаешь народ! Замолчи!

Осташа перевёл дух, словно выдохнул огонь, даже грудь вмялась.

— Мне заступничества ничьего не надо, — хрипло сказал он, отстраняя Корнилу. — И объяснять мне нечего. Здесь моя воля! Я — сплавщик. Я не объясняю — я команду даю! И коли жить хотите, вы мне покорны должны быть! На барке горной стражи нет. Будете бунтовать — всем по-

гибель! И тринадцати копеек за шкуру вашу не дадут, не то что рубля!

Толпа обозлённо молчала.

— На первый раз — прощаю, — добавил Осташа, чувствуя, как онемели скулы. — Во второй раз уже не я — Чусовая всех накажет, убьёт в теснинах!

И вдруг издалека пополз гром, потёк по распадку на плотбище. Пушка на камне Каменском помедлила и отозвалась выстрелом. Это снова передали весть из Ревды: первый караван отвалил. Часа через два он пронесётся мимо Каменки, и каменским караванам тоже надо будет выходить на реку.

Бурлаки завертели головами, не понимая причины палбы: многие из них были на сплаве впервые. Небось даже испугались — не горная ли стража кинулась разгонять их бунт?..

— Все на барку! — приказал Осташа. — Отвал каравану!

ОТВАЛ

Бурлаки тараканами рассыпались по плотбищу, торопясь к своим баркам, а на барках водоливы уже сматывали снасти, отвязываясь от причалов. Над берегом поднялся гвалт, насквозь прошитый руганью подгубщиков и командами сплавщиков, оравших в свои трубы. Косные лодки скользили по пруду. Пристанские работники спешно разбирали мостки через главный прорез плотины, на всякий случай — и через вешняк тоже. Приказчик, навалившись брюхом на ограду, в последний раз промерял шестом глубину в прорезе. Плотинный мастер деловито мазал дёгтем ступицы на поворотных осях затвора. Старики, детишки и бабы Каменки спешили на гору, на плотину, чтобы смотреть, как полетят караваны.

С высоты скамейки Осташа глядел, как его бурлаки укладывают на «подушки» потеси и бестолково суетятся, выстраиваясь у кочетков. Оборачиваясь назад, Осташа видел,

как полевские барки отходят от причалов, чтобы занять первое место у затвора плотины. Эти барки на снастях тянули с косных лодок, а бурлаки гребли потесями — с отвычки ещё неловко. Неуклюжие, огромные, плоские суда, медленно махая растопыренными вёслами, неожиданно ладно, точно и без спешки выходили в створ ворот.

Пруд поднялся высоко, и Чусовская излучина за плотиной была видна почти вся.

— Чего же караваны не идут?.. — вытягивая шею, стонал рядом Федька, который забрался на скамейку к Осташе.

Даже небо, влажное и мягкое, как сырой войлок, словно замерло в ожидании, забыв про дождик. Только шальной, пустой, бездумный ветер метался над прудом, колотился об горы. Осташа, не отрываясь, глядел на Чусовую. Для него уже не было ничего — ни гнева, ни ярости, ни обиды на смуту своих бурлаков. Сердце изнывало ожиданием, иссоханное жутью скорой схватки — разом и болью, и страхом, и радостью. Сдержанное, ещё не проявленное величие этого мгновенья уже смыло с души все припарки, все коросты и словно оголило зияющую, трепещущую, чуткую рану. На барке вполголоса гомонили бурлаки. Сорочьим базаром доносился с плотины всполошённый бабий треск. В деревне лаяли собаки. Но как караванный вал закатывает прибрежный булыжник, так все звуки поверху закатывал широкий шум движущейся реки — плеск, всхлипы, журчание, рокот кипуна под скалой, разбежистый шелест стрелы.

— Бегут! Бегут! — завопили с горы, а потом с плотины.

И тотчас Осташа увидел сам: по Чусовой, по стрелню, бежала первая барка. Издалека она походила на плоского дощатого паучка, который перебирает длинными тонкими ножками. Барка прицельно и точно, словно по струне, заходила в поворот. Над кровлей её палатки на мачте-шегле трепыхались два одинаковых чёрно-белых флага. Чёрный и белый — это цвета Ревды; по два флага поднимал всегда только караванный.

С пристани кричали, свистели, махали шапками. В ответ с барки по-щенячьи задорно и звонко твякнула сигнальная пушчонка: мол, всё хорошо! Ревдинцы любили пальбу и лихую бахвалу.

Барка ревдинского караванного промчалась мимо каменского распадка, и тотчас же за ней пролетела вторая барка, третья, четвёртая... Осташа знал, что за горой вся Чусовая до самой сизой мглы окоёма покрыта россыпью бегущих судов.

А на прорезе каменской плотины уже раскрывали затвор. Скинув верхнюю одёжу, пристанские работники давили грудью на огромные рычаги затвора. Тяжёлые, сбитые из плах створки ворот медленно, с натугой разомкнулись, будто лопнула цепь кандалов. Весь пруд дрогнул, и по воде раскатился то ли стон, то ли хрип — словно вздохнул подавленный, которого ещё живым вынули из петли. Вода обвалом упала в прорез, выбив вверх клубы мокрой пыли. А работники на снастях оттягивали створки всё шире, и в прорезе нарастал победный рёв воды, прорвавшейся сквозь плотину. Небо заморгало, заслезилось. Ветер испуганно припал к пруду и, какстая собак, шархнулся сразу во все стороны, прячась в зашумевших ельниках на склонах прибрежных гор.

На Чусовой мелькнули сине-зелёные флаги полевого каравана, булькнула пушечка. Первая барка каменского пруда вошла рылом в прорез плотины. Бурлаки вздёрнули потеси, и барка показалась Остахе курицей, что испуганно встопорщила крылья. Её корма вдруг начала с шумом подниматься из воды. Задрал огромный зад, барка неумолимо уходила в проём, словно вываливалась с пруда на Чусовую.

...Приказчик не догадался срубить перильца вдоль канала, и они ввели народ в заблужденье. Люди, толпившиеся на плотине, заорали и запоздало кинулись прочь от прореза. Поднятые потеси барки с треском снесли перильца и сгребли нескольких мужиков и баб, не успевших отскочить в сторону. Толпа на плотине взорвалась воплями. Рас-

христанный приказчик, матерясь, подлетел к толпе и принялся отталкивать народ ещё дальше.

Но с барок некогда было глядеть на суматоху. Косные уже вытолкнули к прорезу вторую полевскую барку, и она тоже словно провалилась сквозь плотину.

За гребнем плотины мелькнул зелёно-жёлтый флаг сысертского каравана. В прорез каменской плотины одна за другой канули обе сысертские барки. К прорезу уже шла барка Колывана, где на скамейке стояли сам Колыван, караванный Пасынков и водолив — дядя Гурьяна Утюгов. Как на узде, барку вели косные лодки. Вторая каменская барка на помочах косных тоже выдвигалась из плотного строя судов у причалов. Косные лодки подгребали к Осташиной барке, громыхнули носами в её борта. Косные молодцы ловко накинули на пыж верёвочные петли, словно за шею заарканили сбежавшего коня.

— Платоха! Никешка! — крикнул Осташа в трубу.

Платоха и Никешка повели потеси. Они держали их за крайние рукоятки — за губы, и управляли ходом весла. Бурлаки толкали потеси вперёд, наполняя их движение своей силой. Барка начала грузно разворачиваться. Под скулой заурчала вода. Косные молодцы в своих лодках свирепо рыли пруд распашными вёслами и держали снасти внатяг. Барка нехотя, как корова, отошла от причала и послушно подалась к прорезу. За высокой, чёрной, мокрой створкой ворот, скреплённой ржавыми железными полосами, исчезла корма Колывановой барки. На коньке её палатки лежала длинная лодка; она проплыла над плотиной как по воздуху. Из-за плотины донёсся могучий и гулкий всплеск: Колыван вышел на Чусовую.

— Поздей гребки, Никешка табань! — командовал Осташа.

— Ой, врежемся в плотину!.. — скулил рядом напуганный Федька.

Косные установили барку в створ и сдёрнули с пыжа петлю. Впереди в прямоугольном проёме лотка, будто

шаньга в чью-то раззявленную пасть, убиралась вглубь широкая корма второй каменной барки.

— Потеси задирай! — крикнул Осташа.

Подгубщики, ломая сопротивление неопытных бурлаков, повалили потеси рукоятями на палубу. Лопасты, роняя капли, взметнулись над стенками прореза. Осташина барка пошла в проём.

В дощатом лотке прореза ревела и пенилась вода, широким языком переваливалась через порог. Разница в уровнях высот пруда и Чусовой составляла примерно четыре локтя. Прорез был шире барки всего-то на пару аршинов. Барка сразу же ткнулась плечом в стенку канала, устанавливаясь точно по его оси. На разбухших плахах, из которых были выложен короб лотка, остался чёрный смоляной след удара. Осташа почувствовал, как нос его барки завис над водосливом. Раздался мученический треск — барка гнулась на излом; под палубой гулко брякнуло железо. Но барка скользила дальше вперёд и вдруг огромной качелью перевалилась через порог, вздыбила корму и с шумом окунула нос в воду так, что стукнулась подбородком о днище канала. Бурлаков уронило, как рожь под ветром. Меж бортов барки и стенками лотка выбило буруны пены, хлынувшей на палубу, а сами стенки мгновенно стали выше на сажень, отгородив небо, словно барка легла в гроб.

— М-мать твою... — тихо охнул Федька.

— Все на ноги живо! — заорал Осташа в трубу и, мимо трубы, бросил Федьке: — Будешь скулить под руку — утоплю!..

Барка с грохотом и шумом протиснулась по лотку меж осклизлых деревянных стен и выпала на простор затопленного распадка, который сейчас превратился в речной залив. Свежим воздухом дохнуло в лицо, светом опалило глаза. Под тушей плотины в грязных завертях воды, цепляясь за доски, ещё плавали люди, сброшенные с плотины потесами первой каменной барки. Впереди поперёк пути летели барки чужого каравана.

Мокрые бурлаки вскакивали с палубы, лихорадочно разбирались в строй у кочетков. Ток реки нёс барку боком на слоистые отвесные гребни камня Каменского. Справа прямо в борт Осташе гнала какая-то слетевшая со стрежня купеческая барка под малиновым флагом. По её левой стороне бурлаки ещё ошалело гребли потесями, мотаясь через всю палубу вслед за вальком весла; они ещё надеялись отшарашиться от скалы. Но с правой стороны люди, спасаясь, уже сыпались в воду. На скамейке без шапки стоял сплавщик с белым как полотно лицом.

— Навались все! — заорал Осташа.

Подгубщики — Платоха, Поздей, Никешка и Корнила — кинулись на свои рукояти что было сил. Потеси Осташиней барки воткнулись в волну, выталкивая судно из-под удара. Осташа увидел, что на лопасти потеси, что вынырнула из воды и тотчас унеслась вперёд, повис цветастый платок утонувшей под плотиной бабы.

— Наддай! — кричал Осташа.

Тяжеленная барка выходила на стрежень вдоль пенного вала под камнем Каменским. Мощь движения реки навалилась барке на правое плечо, поворачивая её носом по течению. Перед Осташей вглубь елового ущелья провалилась даль речного створа. Купец, разрывая воздух, пронёсся мимо кормы Осташа.

— Платоха, загребай, Корнила, табань! — командовал Осташа.

Теперь две барки — его и купеческая — бежали почти вровень. Но Осташа бежал по стрежню, а купец — обочинной, которая упиралась в утёс. Купеческий сплавщик вдруг кивнул Осташе и широко перекрестился. Его барка пропорола носом буруны и с грохотом врезалась в скалу. Осташа ещё успел увидеть, как люди полетели над палубой, а сплавщик покатился по кровле палатки. Страшно щерясь, треща, начал щепиться нос погибающего судна, а палуба вздыбилась, распolzаясь досками во все стороны. И тотчас выступ скалы закрыл картину гибнущего судна.

И впереди, и сзади громоздились другие барки, проскользнувшие мимо камня Каменского. До убившегося судна им уже не было дела. Осташа вписался в караван, и теперь нужно было держаться своего места, чтобы кто другой не вытолкнул его на скалу, как только что сгинувшего купца. И Осташа тоже не оглядывался. Он знал, что сейчас из-под Каменского на Чусовую выбрасывает изодранные доски и барахтающихся людей. Здесь всё уже решилось, ведь это сплав, это железные караваны: беги, не оглядываясь, чтобы добежать до цели, и каждому поможет только Господь.

БОЛЬШАЯ СОЛЬ

А река несла, и ельники за камнем Каменским сменились крутыми косогорами. Они были грязно облеплены бурыми прядями прошлогодней травы. За косогорами показались избы Нижнего Села. Село стояло на броне, и Чусовая здесь раскатывалась вширь. Прямо посерединке брода летом громоздился остров-огрудок, сейчас затопленный выше маковки; на его месте кипело целое стадо бурунов, из которых, трясясь, торчали измочаленные ветки тальника. Здесь стрежень заваливался направо и бил темечком прямо в бок Шайтан. Сила течения словно сгрудил скалу в складки, как голенище сапога.

— Никешка, Платоха! — командовал Осташа.

Потеси по правому борту могуче отгребали, чтобы обойти огрудок левее. Среди бурунов уже громоздилась плотно севшая на мель барка. На её палубах сутились полуголые бурлаки. Видно, сначала они пытались сняться с помощью неволи, но река вырвала неволи из петель. Их длинные полотнища светлели в волнах далеко впереди барки. Теперь бурлакам оставалось только слезать в воду и сталкивать судно чегенями.

Осташина барка бежала вдоль заборов Нижнего Села. Потеси её работали без остановки, но барку всё равно отодвигало от деревенского берега и подтягивало к Шайтану. Осташа не боялся. Он видел, что силой разбега его судно перекинет за скалу, и дальше его снова переймёт стрежень и поставит прямо по ходу реки. А за Шайтаном из воды выставлялось чёрное от осмолки, окатанное волной, блестящее плечо только что убившейся барки. В полосе мути за устьем речки Сучихи ныряли и прыгали шапки и армяки, доски и брусья, ядра человеческих голов. Мутная струя Сучихи неслась вдоль берега прямо под низко нависшим ивняком. Из неё вылетали человеческие руки и пытались пойматься за ветки.

— А мы так не хряснемся, а?.. — спросил Осташу Федька, опасно глядя на Шайтан.

— Да не скули ты — предупредил же! — рявкнул Осташа.

Конечно, это было страшно: рядом тонули люди, а никто им и верёвки не кидал. Но таково было правило сплава. Здесь действовал уже другой закон — закон большого дела, большого народа. А что народу гибель барки? Царапина на пальце, и всё. Лизнул, заклеил подорожником, и дальше вперёд. Только дети сидят и плачут над царапиной. И можно было сколь угодно гневить бога проклятьями — небо оставалось глухо. Не потому, что Господь отвернулся, а потому, что зрение его в теснинах стало иным. Здесь было как на войне: ангелы-хранители сражались с вражьиными бесами вместе с людьми и в запале порой теряли тех, кого должны были беречь. И Господь здесь тоже следил не за людьми, а за правдой. Значит, не в радости богатырства было магнитное притяжение караванного вала, а в жертве и в благодати веры, что правда всё же есть, и есть те, кто за неё бьётся, и ты — среди них пока ещё не убитый.

Осташа глядел вперёд, и память быстро листала книгу Чусовой. Заросший ельником камень Маньков, на котором когда-то жила местная ведьма Манька. Камень Сенькин,

возле которого был похоронен Сенька Лузянинов, знаменитый сплавщик из Ревды. Боец Висячий — его подмыло снизу, и он угрожающе навис над стрежнем так, что косынка пены и брызг полоскалась сзади по ветру, словно подвезанная под каменной челюстью скалы. Книга Чусовой была давно прочитана Осташей, заучена наизусть, а всё равно всегда оставалась новой, понимаемой заново, как притчи из Священного Писания. Но река несла, и не было времени порадоваться своему знанию. На сплаве вообще не было времени гордиться собою.

Вперившись глазами в створ, Осташа не чувствовал себя и не помнил, кто он. Сейчас в нём от себя самого ничего и не осталось. Осталось только то, что было от бати, — опыт, счётка, сила духа на решение. Этим всегда и манил к себе сплав: в большом общем деле отринуть себя от себя и быть только тем, кем должно. Шалая вешняя вода всегда была живой. Она размачивала и расправляла искривлённую душу, словно зачерствевший ремень. Она смывала с совести плесень и гниль грехов. Она вплетала человека в упряжь судьбы туда, куда ему и предназначено, а не куда пришлось, не куда хотелось, не куда думалось нужно. Она натягивала струну жизни с мудрым расчётом не оборвать её — а иначе и незачем ладить дело, всё сверзится и сгинет.

Перед Осташиной баркой неслась барка Вукола Канаева. Вукол слишком далеко отдал от страшноватого Висячего бойца, а потому за поворотом его понесло на боец Сокол.

— Скосил одноглазый... — пробормотал Федька, шурясь на барку Вукола. — Щас ему щёку-то побреет...

Сокол этот — батя говорил — вовсе не от птицы прозвище получил. Соколом охотники-чертознаи называли выпуклую кость лосиной груди. И вправду: узкий, бурый, высокий утёс походил на лося, зашедшего в Чусовую по грудь. Подножие бойца расколола расщелина, словно лось расставил ноги для прочности. В хмуром поднебесье торчали рога из разлапистых кедров.

Осташа не обеспокоился за Вукола. По всему было ясно, что барка Вукола пройдёт вдоль бойца скользком. Вукол что-то злобно орал в трубу. Его бурлаки махали потесями, а потом отбросили их и отскочили в сторону. Барка пробурала тёмный след по белому пеннику мимо скалы, и скала походя, как соломинки, обломила обе потеси по левому борту. Вуколу повезло: за Соколом тянулся плёс, который дал передышку, чтобы вытащить новые вёсла. Осташины бурлаки загомонили, довольные лихостью бескровной развязки.

Они уже потихоньку освоились, перестали пугаться лубой скалы, любого поворота. Осташа по ходу барки ощутил, что их работа стала дружнее, слаженнее, и потому барка словно обраталась, смирила норов, сделалась послушной, как лошадь. Разогревшись, бурлаки сбрасывали на палубу одежду. Оставив свой кочеток на потеси Поздея, Бакирка пробежал по барке, собирая армяки в охапку, и отнёс их в льяло, чтобы не замочило дождём.

Барка катилась по плёсу, на котором блестели покатые вздутия отмелей, что были намыты впавшими справа речонками Афонихой и Софронихой. Барка плавно заколыхалась на водяных шалыгах, словно сани на мягких увалах. И от этого игривого покачивания Осташе вдруг стало беспричинно радостно, весело. Он впервые после отвала огляделся по сторонам просто так, без розыска опасности. Уже не лицом, не грудью в ворота рубахи, не замёрзшими руками, а всей свободной душой он ощутил ветер, неяркий облачный свет, простор, сырость речного весеннего воздуха, нежное и робкое тепло далёкого солнца в промоинах туч.

По правому берегу мелькнули рёбра камня Корчаги. Досюда по дну Чусовой докатывались карчи – утонувшие коряги. Эти карчи глупые Афониха с Софронихой зачем-то каждый год выволакивали из лесных дебрей, по которым змеился их путь. За Корчагами показалась пристань Трёка. На гребне плотины лаяли собаки и толпился народ.

Из открытых ворот гаваней валилась вода. За воротами виднелись палатки и щеглы трёских барок, готовых сорваться караваном.

— Трёкнешься за Трёкой-то? — насмешливо спросил Осташа Федьку.

— Куда? — тотчас возмутился Федька. — Эдакие-то страсти в теснинах как без чарки пережить?..

Трёка кончилась небольшим бурым камнем Ёршик, который крутым изгибом спины и вправду походил на ерша с растопыренными колючками соснового плавника. На повороте из серого, голого леса выставлялась глыба камня Баврика. Под Бавриком, зачаленная, стояла барка с ревдинским флагом. Вдоль её борта по грудь в воде бродили бурлаки. Что там у них могло стрястись?..

За быстротоком справа поднялся боец Высокий. Он был какой-то совсем неуместный среди окрестных невысоких скал, словно приполз откуда-то снизу Чусовой, где стояли по-настоящему великие бойцы. Стена Высокого, надрезанная поверху висячими логами, выходила из леса к реке наискосок. Под ней в пенном клокотании торчком качались доски, брусья и мачта-щегла, на которой ещё мотался мокрый флаг сысертского завода. На поляне перед скалой суетились бурлаки с убитой барки.

Слева зарябила гряда рассыпанного камня Ревень. За ним барку принялось трясти и колыхать на переборе Ревень, и в днище несколько раз грохнули камни-таши. Перебор бурлил, шумел, заглушая голоса, но командовать тут было нечего. Осташа знал, что чистого прохода сквозь Ревень нет. Ревень, кипя, ударялся прямо в лоб треугольного бойца Талицкого и затихал, словно оглушённый. А на другом берегу топорщил заячьи уши и петушиные гребни затонувший в косогорах боец Гребешки. Голой костью торчал на склоне парус тонкого одиночного пласта.

Малый остров за Гребешками превратился во взмыленный огурудок. Над ним поднялась ребристая стена Сибир-

ского бойца. Напротив бойца в Чусовую вплеталась речка Сибирка. Батя говорил, что по Сибирке в старину проходила межа между строгановскими землями и царством сибирского хана Кучума, пока Ермак не согнал Кучума с Иртыша, как чёрного ворона с кедровой ветви. А сразу за грозным Сибирским бойцом торчал смешной боец Курочка, похожий на переполошённую курицу, вздёрнувшую короткие крылья. Впрочем, Курочка бил барки не хуже других бойцов. Бурлаки хмыкали: когда курицы летать научатся, тогда и Курочка перестанет губить суда.

По левую руку за Курочкой потянулась ровная стена бойца Заплотного, стоящая прямо в воде. На стене отвесно чередовались серые и белые полосы, как доски в заборе-заплоте. Народ рассказывал, что этот каменный заплот перед Ермаком поперёк реки ставили вогульские чародеи. Камлали-камлали — и вырос каменный частокол. Ермак подошёл — прохода нет. И тогда дружина сняла шеломы и начала молиться. Поднялся ветер, надул паруса стругов. Струги упёрлись носами в каменную стену и сдвинули её в сторону, на берег, будто ворота открыли. Вот и стоит теперь вдоль Чусовой заброшенное каменное прясло, распаханное навеки.

Осташа смотрел на скалы и на леса, вспоминал сказки, вспоминал батю... Всё было рядом: и батя, и Ермак, и все те, кто здесь когда-то проплывал... С прошлого сплава целый год Осташа был отчаянно одинок. Да, он бежал от человека к человеку, всё время он был кому-то нужен, его спасали или пытались убить, бабы любили с ним, а добрые люди делили хлеб, — да. Но всё равно это было одиночество, потому что никому не было дела до его правды. А сейчас, на барке, среди чужих и незнакомых бурлаков, сбитых в случайную артель, одиночества не было. Не было, потому что имелось общее дело — и для артели, и для всего чусовского народа.

Кто-то намучился сам с собою, окунался в этот поток, чтобы раствориться в нём без следа, чтобы хоть на время

слить свою душу с общей душой и не держать ответа за волю. Но Осташа в этом потоке не терял души, а обретал её заново. Он получал её обратно чистой, как медная раскольничья икона, прошедшая сквозь огонь. Батя был корнем из Чусовских Городков, от соляных варниц. Он говорил Остахе присловье солеваров: малая соль растворится без вкуса; средняя соль растворится и подсолит; большая соль даст горечь и не растает. Караванный вал катился сквозь теснины, сквозь народ и сквозь время, а потому на его гребне всегда все были рядом: и святой Трифон, который подбирает души убитых бурлаков, и Ермак, и все сплавщики, и батя. А вместе с батей Осташа и был большой солью.

Шальными пулями прострельнули мимо боец Софронинский, камень Синий, камень Темняш. Пустым, распуганным стоял Птичий плёс, растянутый от зарытого в лесах камня Журавлёв до горделивой стены бойца Лебяжьего. Говорили, что когда тобольский дьяк Семён Ремезов вёл первый железный караван, его корабли здесь врезались в гусиные стаи, как в перину. А ныне всех птиц уже перебили, переловили. От плеча Лебяжьего бойца, опущенного в воду, пенная струя, как лебединое крыло, отмахивала ломкие морщины камня Складки и гневно хлестала по бойцу Винокуренному. Но Винокуренный с бестолковым пьяным упорством то грудился до небес, то вдруг обваливался еловыми логами. Он словно ещё не решил, то ли ему встать стеной, то ли рассыпаться оползнем-шорохом. Под Винокуренным Чусовая изгибалась петлёй. Она тёрлась о бойца, как падкая на сладенькое баба будто ненароком задевает хмельного мужика оттопыренным задом. А чуть подальше, в лесу, точно вусмерть упившись, на спине лежал камень Курьинский. И Чусовая уже обегала его стороной: ну кому он такой интересен?

Осташа усмехнулся, глядя, как за Курьинским камнем некоторые барки уходят по излучине направо. Это были новички. Они огибали плотбище пристани Курьи путём

санных обозов. А опытные сплавщики с разгона лихо перепрыгивали водяной порожек и дальше летели вдоль горла речной петли, вдоль коренного высокого берега, на котором стояли домишки деревни Курья. Плотбище на мысу сейчас полностью ушло под воду. От деревни до старицы-курьи Чусовая разлилась по всей своей пойме целым озером шириной в полверсты. Посреди озера, будто колдовством прикованные к месту, грудой стояли барки Курьинской пристани. Они цеплялись якорями за срубы-городки, на которых и были построены. Они всплыли с городков, готовые сорваться в путь, но честно ждали, когда мимо них промчатся караваны. По правилу их очередь была в самом хвосте.

— Не трожь потесь! — крикнул Осташа Поздею, который собрался было загresti, чтобы барка свернула вправо вслед за новичками. Поздей послушно опустил рукоять, и Осташина барка покатила меж деревней и заякоренным караваном, как телега по улице меж домов.

А за устьем речного горла в конце плёса издалека был виден неприступный ряж камня Богатырь с часовней на плоской вершине. Из-под туч косо проглянуло солнце, единым махом озолотило кровлю и лёмеховую главку часовни. Казалось, что и камень-то создан Господом только для того, чтобы на нём над долом проплыл маленький храм. И за храмом, как за сторожевой башенкой острога, побежали домишки Старой Утки.

По правую руку от устья речки Дарьи, что прибегала с далёких Малиновых гор, вдоль Чусовой тянулись хлевы, стояла, загоны, навесы, жердяные изгороди, грязные выгоны. Староуткинские бабы круглый год держали свою скотину на правом берегу, потому что на левом было негде. Зимой бабы ходили через Чусовую по льду, летом — вброд. В половодье и паводок они сидели при коровах безвылазно, навлекая на себя дружный гнев староуткинских мужиков, неприбранных и оголодавших. Но бабы стойко держались скотины, почи-

тая её превыше мужей: свинья, хоть и свинья, да не напъётся, не побьёт, не сгорит на заводе, упав в опоку.

Завод стоял на левом берегу и выглядел бодро и весело. За наклонными деревянными стенами боевого палисада уверенно дымили высокие краснокирпичные трубы. Как собаки, почуявшие, что скоро их спустят с цепи, барки нетерпеливо покачивались в гаванях. Вращались все колёса пристанского хозяйства. По широкому дощатому водосливу бурно катилась вода. Издалека походило, что водослив вбит между двумя горами, словно трон. Пушки Старой Утки палили каждому каравану. И радостно было слышать этот холостой, неопасный грохот: не по людям, а просто в воздух, будто завод тряс небо за отвороты гор, как старого друга при долгожданной встрече.

Чусовая в Старой Утке опять рассыпалась кудрявым бараньим стадом и вновь собралась воедино лишь у камня Слизкого, по которому, блестя, бежали внешние ручьи. Напротив Слизкого по правую сторону из ложины в Чусовую выбрасывало мутный, как сусло, поток речки Бражки. За её устьем громоздились глыбы Бражкина бойца — словно везли воз бочек с хмельным, да спьяну перевернули и раскатали. Над Чусовой за Бражкиным бойцом поник буйной головой второй боец Висячий, будто он перебрал на дармовщинку.

Осташа смотрел, как Вукол обходит Висячий боец. Вукол шёл не то чтобы неверно, а как-то грубо, валко. Его опять тащило на скалу, и он двумя рывками, от которых вода кипела вдоль бортов, опять ушёл от удара. Осташа шурился, пытаясь понять, в чём дело. И дошло: у Вукола на потесах стояло словно бы не по десять, а по двадцать бурлаков. Сила гребка не равнялась числу гребцов. «Вукол — истязатель!» — вдруг понял Осташа. Понял без зависти, без гнева, без злобы. Что ж, пусть Вукол обходит бойцы, как знает, — дело его. А он, Осташа, обойдёт по-своему. Чусовая рассудит, кто прав.

МОСИН БОЕЦ

Слева берег взгорбился, скорчился и облысел камнем Дыроватым, по откосам которого словно жажнули картечью. Говорили, что под этим камнем Ермак решил освятить воды Чусовой. Поп отслужил молебен и опустил в волну крест — а из реки шарахнулись черти и бесенята, полезли в скалу, издырявили камень, как сито. Видно, кое-какие из бесов всё ж вернулись обратно, потому что под скалой барки качало и колыхало, словно река тряслась, как промывной лоток золотодобытчика.

Осташе не хотелось вспоминать, что приключилось с ним за Дыроватым, но куда же денешься?.. Барка пробежала мимо камня Чеген. Расплескав пену, она с шумом перекатилась через огрудок, на котором летом обмелел межеумок Алфёра Гилёва. Вон ручей Чегени, в котором лежало тело Алфёра. Вон камень Ямный, на котором Осташа разговаривал с мужиками из Мурзинки... Смерть Алфёра пометалась в горах, вернулась эхом и сшибла с ног слободского попа Флегонта.

Крутой левый берег разрезали каменные ножи бойца Сокол — ещё одного Сокола. Самое широкое и грозное лезвие вонзилось прямо в бок Чусовой. Караваны опасливо огибали его вдоль правого берега. За плитой отвесной скалы в мелколесье склона торчали останцы. Один из них в точности напоминал сидящего сокола.

Боец Сокол через Чусовую смотрел на другого бойца — на хмурого Балабана. Балабан выставил из леса неровное плечо и по локоть погрузил в Чусовую каменную ручищу, одетую в рукавицу из пены. Осташа, отводя барку левее, вспоминал песню тагильчанина Кирши Данилова. Кирша пел об этих местах: «Как на Чусовой на реке, на неласковой, бились грудь о грудь два сокола, два братеника...» Над этим створом меж двух бойцов Ермак увидел, как в тучах дерутся два сокола: бурый сокол-беркут, каких татары на-

зывали балабанами, и серый сокол-сапсан, княжая ловчая птица. Небеса решали: чья возьмёт? Роняя перья, татарский балабан рухнул в Чусовую. Русский сокол-сапсан покружил с победным кличем, сел на берег и окаменел. Это Чусовая покорила Ермаку.

— Никешка, давай-ходи-работай!.. — крикнул Осташа.

Почти сразу за Балабаном стоял невысокий и вроде неопасный боец Сенькин. Но этот боец стубил лучшего сплавщика Каменской пристани — Сеньку Скорынина, и всегда поверху он был уставлен разлапистыми крестами. Сенькин боец промахнул мимо с шумом — будто, ломая подлесок, пробежал большой зверь.

А на повороте уже виднелась треугольная каменная шапка Боярина, бойца спесивого и коварного. Боярин распустил вниз по течению кудлатую бороду пены. Меж бородой и шапкой, качаясь, как травинки, торчали брёвна и доски убившейся, уже затонувшей барки: словно злой боярин полной пастью хватил клоч соломы.

Дальше Чусовая изгибалась длинным плёсом Волчник. Здесь можно было перевести дух. Впрочем, засыпать не стоило: утёг острова Волчник разглаживал волны, пряча под их складками отмели. На одной из них, словно муха на клее, уже сидела ревдинская барка. Вокруг неё, погрузившись в воду по плечи, бурлаки разводили неволи. Осташа промчался мимо.

Плёт Волчник врезался в крутую еловую гору, вскочившую над лесом, как встревоженный медведь с лежища. Чусовая вскипела и отхлынула в сторону, трясая космами. Барка на повороте заскрипела, как телега. Гора, что остановила бег Чусовой, успокоилась, опустила шерсть, потихоньку улеглась обратно. За её склоном мелькнули кровли деревеньки Родина, голбцы погоста. Здесь лежал и Алфёй Гилёв. Осташа молча снял шапку и перекрестился. Рядом также молча крестился Федька. Он, значит, тоже ничего не забыл.

Но скорбеть было некогда: течение потянуло налево, собираясь разбивать барку о Максимовский боец. Боец вылезал из леса, как обоз, прищемил колесом подол реки — никуда не деться.

— Поздей, Корнила! — командовал Осташа. — Платоха, табань!

Излучина реки развернулась, и Осташа увидел весь караван. Вукол отгребал от бойца как-то зло, надрывно, точно обиделся, что истязательская нечисть без его усилия здесь его не спасёт. А под Максимовским бойцом уже мылилась чья-то совсем убитая барка, поставленная набок и прижатая днищем к скале. Груз, похоже, из неё уже высыпался сквозь проломленный борт. В пене уже не мелькали головы людей — все бурлаки утонули. Набег течения притиснул барку к скале, а стрезень отламывал нос, торчащий без защиты камня. Над Чусовой слышался гром, словно стреляла пушка: это река по одной, по две отдирала от барки бортовины и, вертя, швыряла их в воздух. Такой обломок упал на кровлю барки Вукола и сбил запасные потеси. Осташа издалека услышал, как Вукол ругается в трубу и костерит своих бурлаков, которые не успели перехватить покотившиеся потеси баграми.

За Максимовским бойцом Чусовая начала играть: то плавно вздымала барку, то роняла в ямину так, что судно грузило почти до палубы и опоясывалось юбкой из пузырей. Приближался другой опасный боец — Шилков. На Чусовой рассказывали, что имя своё он получил от шайтанского приказчика Шилкова. Тот любил побаловать: забирался на скалу и смотрел, как бьются барки. Иной раз с другими приказчиками на чужую жизнь даже об заклад по рукам ударял. Но сатана и Шилкова перехитрил. Шилков влюбился в заводскую девку, а у той уже был жених — сплавщик Фатьян Сестрицын. И Шилков пообещал чёрту душу, если чёрт угробит Фатьяна. Чёрт рад стараться: нагромоздил из валунов перебор. Шилков залез на скалу и сверху стал смо-

треть, как Фатьян на переборе погибать будет. А Фатьян с божьей помощью этот перебор одолел, прорвался. Чёрт только взвыл. «Коли уж мне твоя душа не достанется, то и тебе самому — тоже! Стой здесь вечно и любуйся, как барки бьются!» — крикнул он и превратил Шилкова в камень.

Валясь по бурунам, Осташина барка шла через перебор, только пена под ногами бурлаков разлеталась по выстилке палуб. Осташа, не теряя реки из виду, мельком глянул наверх, на макушку бойца. Вон под тучей торчит чёрный набалдашник — окаменевший Шилков.

...Камень Щелеватый, говорят, и был жилищем того чёрта, который Шилкова заколдовал. Но рассмотреть камень Осташа не успел: слишком быстро барка пролетела мимо. Начинался Мосин плёс — один из самых коварных на Чусовой. На гладком, ровном, покато створе барка набирала могучий набег. Надобна была вся сила бурлаков, чтобы преодолеть его и увернуться от Мосина бойца.

— Корнила, притабанивай, притабанивай! — командовал Осташа. — Никешка, потесь выбрасывай к пыжу, чтобы носом в берег смотреть!..

К исходу плёса барка должна была подходить избоченившись, чтобы за поворотом реки дружным гребком всех четырёх потесей разом перекинуть себя через черту неодолимого притяженья Мосина бойца. Осташа шурился, цепляясь за перильца. Правый берег нехотя разворачивался. Мосин боец выползал из-за ельника словно задом наперёд. Наконец появилось его узкое рыло, нависшее над стрежнем, будто медведь склонился над водопоем. И сразу донёсся рокот и бултыханье волны, вспоротой каменным резцом. Осташа взглядом мерил углы и расстоянья — пространство точно расчертилось тонкими светящимися струнами. Губы Осташа сами собой зашептали «Лодью несгубимую»: «Ждут меня на встречу сто двадцать камней-бойцов, сто двадцать сатанаилов, сто двадцать дьявоилов, сто двадцать полканов, не пешие, не конные, не рождённые, не кованые...»

Но возле левой передней потеси вдруг закипело какое-то гневное бормотанье бурлаков, покрытое сверху решительным рыком Поздей: «Загубит сплавщик!.. Купили его!.. Табань!» Осташа обомлел. Бурлаки, трусливо оглядываясь, навалились на кочетки, а Поздей с силой повёл губу весла. Лопасть гребанула воду, и барка послушно рыскнула, нацеливаясь тупым носом прямо в бивень скалы.

— Ку... куда?! — выдохнул Осташа.

Поздей, будто голову чертя, могуче потянул рукоять на себя, занося потесь для следующего гребка. Кое-кто из бурлаков упал на палубу, сбитый ходом весла. Но Поздею, пожалуй, хватило бы силищи, чтобы загрести и в одиночку. Осташа не поверил глазам — так явен был дикий и нелепый замысел Поздея сгубить барку под Мосиным бойцом! И тогда в Осташином горле горошиной запрыгал истошный вопль: «Измена!..»

— Не... Нельзя!.. — вдруг по-петушиному заверещал Бакирка, стоявший крайним у поздеевой потеси. — Пропадём!.. Астапа!..

Но Поздей рванул весло на грудь, защемляя Бакира между вальком весла и огнивом. Крик Бакира перешёл в заячий визг — Бакиру раздавило рёбра.

— Ходи, шалыганы! — заорал Поздей на бурлаков.

Ошалев, бурлаки навалились на кочетки. Бакир упал. Потесь ухнула в воду и, взбурлив, толкнула барку ещё сильнее. Стрежень властно и блудливо подхватил барку, словно бабу под локоток. Барка уверенно летела прямо на гребень бойца. И Осташа, облизанный холодом, вдруг ощутил свою душу живой и трепетной — как девка, заголённая ветродуем, как осенняя берёза под дождём-листобоем. Душа на ниточке трепыхнулась в теле, словно попавшая в силки тетёрка при виде охотника. Бессмысленные заклинанья ещё клацали на зубах: «Проведи меня-молодца мимо камня-бойца до чистой воды, до большой реки, до синего неба, до ясно-го оболоча...» Вдоль обносного бруса полз раздавленный

Бакир и блевал за борт кровью. Осташа стиснул зубы, словно душил наговор, и, вновь размыкая онемевшие челюсти, срывая глотку, закричал:

— Корнила, Платоха, полный ход! Никешка, табань, табань!

Но Корнила уже схватил за шкирку соседнего бурлака и сунул его на своё место у рукояти, а сам прыгнул к Поздею. Ударом в ухо он сбил Поздея с ног. Даже удивительно было: какой яростью невысокий Корнила смог обрушить такого богатыря?.. Поздей упал на карачки, а Корнила схватил его рукоять и, матеря Поздеевых бурлаков, сам повёл потесь.

— Наддай! — кричал Осташа.

Стрежень волок барку к бойцу. Бурлаки что было сил отгребали, мечась по палубе вслед за подгубщиками. Осташа застыл, и взгляд его напряжинулся, как лук под сокращающейся тетивой. Мосин боец свирепо нёсся вперёд, прямо на барку, и раздувал под носом седые усы буруна. Барка даже застонала, уклоняясь от удара. Пена поползла из-под борта. «Ещё бы чуть-чуть!..» — скручивало душу Осташа.

Гребень Мосина бойца взвился над головой до неба, где-то в тучах полоская сосны. Щит утёса загородил Чусовую. Барка на самом излёте чуть качнулась — и перевалила рубец стрежня. Словно забор упал — такая вдруг открылась даль. Скала в бессилии махнула вдоль борта каменной палицей и выбила потеси из рук бурлаков. Барка проскочила мимо бойца впритирку — пеной окатило правый борт. Излучина Чусовой впереди была разрисована белыми кружевами.

Поздей, искоса глянув на улетающую назад скалу, растянулся на досках палубы и обмяк, словно Корнила вышиб его из сознания.

Барку ещё трепало на переборе после Мосина бойца. Слева из леса, как разбойничьи насады, мчались на выручку Мосину каменные корабли Гардыма. По правому берегу

заяляли псы возле околицы Старой Шайтанки. Сам боец Шайтан сгрудился на повороте, насупившись и спрятав взгляд. Осташа, отдавая команды, прошёл его чисто, хотя ещё ничего не соображал. Душа его всё-таки будто налетела на Мосин боец, и поперёк мыслей, как кость поперёк горла, всё еще стоял шербатый гребень. Поздей по-прежнему лежал на палубе, но, похоже, он только притворялся оглушённым. Федька, скатившись со скамейки, волок под кровлю палатки Бакира, который захлёбывался кровью. По левую руку бежали домишки Шайтанки, устье речки с плотиной, гавани и заводские трубы. Потом справа бабьей занавеской проколохались складки Могильного камня, а за ним раскинулся покос. Осташа, встряхнув головой, пытался собрать себя воедино, будто растёкшуюся квашню сгresti руками обратно в кучу.

За Могильным камнем по берегам появились зачаленные барки: железные караваны хватались на ночлег. Осташа тупо всматривался, отыскивая барку Колывана. Вставать к берегу полагалось только тогда, когда пробежишь мимо своего караванного. Но флаги Каменского завода пока ещё совсем не встречались. Щелчками пронеслись мимо одинаковые скалки — камень Камешок, Еловый камень, Бычок.

— Колыван говорил, что за Ленёвским будет хвататься, — пояснил Федька, уже вернувшийся на скамейку, и пальцем, перепачканным в крови, указал на дальнюю скалу.

Но и за Ленёвским стояли только чужие барки, и за мрачными грудами Чёрных камней — тоже. Пришлось оглянуть ещё Нотихинский боец, косо торчавший из пенной оторочки, а потом прорываться сквозь пляску Нотихинского перебора. Только за каменными срубами Свинков Федька закричал:

— Вона, вон они! Наш караван! Колыван стоит!.. Всё, Осташка, делаем хватку!

ДВА СТАНА

— Фёдка, подлец, ты чего же это пьянство развёл? — сквозь зубы тихо спросил Осташа, опустившись на корточки за спиной у Фёдки.

— Господь с тобой! — изумился Фёдка, по-татарски сидевший у костра на своём армяке. — Такие страхи прошли — как душу не залить?

— Так и заливал бы в одиночку... Почто бурлаков спаиваешь?

— Я за бороду никого не нагибаю! — обиделся Фёдка. — Сами пьют! Душа — мера!

— Ты ж ведь ковшом обносишь.

— А я на одного себя делить не приучен.

— На всё у тебя ответ найдётся... — прошипел Осташа. — Давай прекращай гульбу.

— Не-е, Остафий Петрович, — пьяно-рассудительно возразил Фёдка. — У нас уже шлея под хвостом. Шас только до лёжки. Знаю.

Осташа разозлился и поднялся на ноги.

— Эй, захребетники, кончай хмельное глушить! — крикнул он для всех. — Завтра же снова на воду! Ещё опасней река будет!

— Водолив потчует! — сразу возмущённо загалдели со всех сторон.

— Своё пьём!..

— Сплавщику на берегу слова нет!

— Бабой своей командуй!

— Кержакам душу православную не понять, молчи уж!

— Охолонуть дай, сплавщик!

Осташа плюнул и пошёл от костра прочь.

Барка схватилась за левый берег на Пегушином плёсе на версту ниже Колывана. Местечко выпало удобное — ровное, с сосняком. Бурлаки разожгли огромный костёр, подвесили котёл, в который Фёдка отмерил крупы. С пережитого вол-

ненья Федька решился выволочь из казёнки бочонок водки, налил в ковшик и пустил по кругу — а дальше и понеслось. Стемнело; котёл опорожнили, а ковшик всё катился колесом. В бочонке плескалось уже на донышке, но Осташа понимал, что вслед за первым Федька выволочет и второй. Остановить Федьку Осташа не мог: его сплавщицкая власть была только на барке. На берегу хозяином становился водолив.

Пьяные бурлаки сидели вокруг костра, гомонили вразлад, не слушая друг друга. Кто от пьянства отстал, те уже разошлись по берегу, забились в шалаши-бугры и спали, закутавшись в тряпье, — ночной бор дрожал от храпа. Осташа направился к куче лапника, на которую уложили раздавленного Бакира. Возле Бакира устало сидела на полешке какая-то баба. Осташа подошёл ближе и узнал Фиску.

— Как он? — негромко спросил Осташа.

— Без памяти, — ответила Фиска. — Сначала всё кровью плевал, потом забылся...

— Выживет?

Фиска послунявила тряпочку и стала легонько оттирать Бакиру губы. Лицо татарина белело в темноте, как лыковый испод.

— С нами — не выживет, — сказала Фиска. — У него рёбра поломались. Может, лёгкое костью порвало... Его к печи надо, в тепло, и припарки на грудь, чтоб отёк оттянуло... А в мурье только застудим и до Лёвшиной даже не довезём...

— Где ж я ему печь возьму? — буркнул Осташа. — Из бурлацких лаптей сложу?

— Завтра будем Плешаковку проплывать, так велите, Остафий Петрович, его на пристань свезти.

— Как? — снова разозлился Осташа. — Я ж не караванный, косной лодки у меня нет. А хватку делать — сама понимаешь, и одной на день достаёт...

— Ну, тогда сейчас надо снести его на Шайтанский завод, пока недалеко, — неохотно ответила Фиска. — Вёрст пять, наверное, будет?..

— Ты понесёшь? — ощерился Осташа. — Чужие вёрсты легко считать! А спать когда? Мне завтра во все глаза смотреть надо!

— Да я ведь понимаю... — виновато сказала Фиска, опустив голову и тряпицей вытирая скулы Бакиру.

— Кивыр, кивыр, ам оссам... — вдруг захрипел татарин, и на его губах опять запузырилась кровь. — До стены дойдёшь, а там золото, камни, сундуки... Бери — не надо...

Осташа молча разглядывал Бакира.

— Остафий Петрович... — вдруг как-то принуждённо заговорила Фиска, не глядя на него. — Вы... Вы меня простите за то, что тогда было... За слова те мои... Сама я охальничала, сама и напросилась... Я вам завсегда рада... Ежели хотите... Ежели хотите... — Она сбилась.

Осташа с удивлением смотрел на Фиску. О чём это она?.. О том случае ночью под камнем Нижний Зайчик?.. Сейчас он уж об этом и думать забыл — а она, значит, помнила, на уме держала... И вдруг Осташе стало жаль её. Ну кто была Фиска? Бездетная соломенная вдова. В общем — вольная птица, только воля-то — без счастья. И вот он, Осташа: уже сплавщик, и молодой, и холостой, и со своим хозяйством в Кашке. И нет ни свёкра, ни свекрови. Нет меньших братьев-сестёр, которых ещё подымать надо. Нету никого старшего, кто его добро располовинил бы при делёжке... Но всё это было так глупо, нелепо, неуместно: на сплаве, рядом с умирающим Бакиром...

— Не будем о том, Фиса, — стараясь, чтобы прозвучало помягче, твёрдо сказал Осташа. Пусть теперь она сама его позвала — он всё равно больше не пойдёт с бабой в дерезняк.

Фиска смотрела на него снизу вверх огромными мокрыми глазами.

— А я вам хоть немножко-то любя?..

— У меня невеста есть, — легко соврал Осташа. — Ты, Фиса, лучше вдовца какого поищи... Ты девка бойкая, всё у тебя ещё сладится.

Не желая говорить дальше, он развернулся и пошагал обратно к костру.

— Эй, питухи! — громко сказал он. — Я решил татарина в Шайтанский завод отнести, иначе помрёт он. Мне в подмогу двоих нужно. Штоф ставлю.

Но пьяным бурлакам никуда не хотелось идти.

— В Шайтанке штоф, а в казёнке бочка! — крикнули Осташе.

— Да не сдохнет татарин, оклемается!

— Татары — они как кошки живучи!

— У меня соседа на лесоповале ещё не так придавило — выжил, только скособочился!

— Иди один, коли охота!

— Ты нам тут не указ, на скамейке командуй!

Осташе тошно стало слушать этот глумливый гам.

— Да чтоб вам дети так же пособили! — в сердцах сказал он, повернулся и пошёл в лесок отыскивать шалаш Никешки.

Никешка вылез из бугры, широко зевнул, протёр кулаком глаза.

— Бакира в Шайтанку?.. — переспросил он. — Ох, боже мой... А что, кого другого послать не можешь?.. Ладно-ладно... Давай только ещё Корнилу Нелюбина разбудим. Ему чего — ничо, сходит с нами...

Корнилу закричал, но отпираться не стал.

— Авось и меня вынести кого Господь пошлёт, — пробурчал он. — А народ — дрянь пьяная...

Из жердин и веток Корнилу и Никешку связали носилки, навалили лапника и уложили Бакира, сверху закинули армяками. Неподальёку по верху берега из Мартьяновой деревни в Старошайтанский завод вела Старая Шайтанская дорога. По ней до завода было вёрст пять-шесть. Никешка привязал к жердям носилок верёвку и перекинул её себе на шею. Он взялся идти первым. Осташа и Корнилу подхватились сзади.

— Тяжёл... — вздохнул Корнила. — Ладно, допрём бедолагу.

Через мелкий перелесок они вылезли на кручу берега и оказались на дороге. Здесь было темно и тихо. Глаза постепенно привыкали, и Осташа увидел, что в чёрных, разъезженных колеях дороги лежит белый ледок. Лес вдруг обрисовался в темноте призрачно и объёмно — это светлел иней на еловых лапах. Мигали звёзды в бегущих тучах. Луна то зажигалась, то гасла, оставляя в небе шевелящийся след, будто сплеталась-расплеталась светящаяся кудель. Даже гул Чусовой умолк за деревьями, только издалека, откуда-то снизу доносилось ручьёвое журчанье реки. Осташу вдруг поразил покой на Старой Шайтанской дороге — это после свалки на сплаве, после пьяного галдежа у костра...

Они шагали без разговоров, хрустели подмёрзшей слякотью. Слева, снизу от Чусовой, сквозь лес изредка пробились огни костров. Там другие бурлаки с других барок готовили ужин.

Когда по Осташиному расчёту приблизились к Свинкам, дорога начала забираться направо, напрямую к заводу. Осташа велел Никешке и Корниле остановиться. Носилки опустили на обочину.

— Вы передохните, — пояснил Осташа, — а я до Чусовой сбегая. Там караванный должен стоять. Мне положено перед ним сказать.

— Осташ, прихвати от костра квасу, что ли, иль чего там будет. — попросил Никешка. — В глотке сохнет. Не грызть же лёд из лужи...

Вниз по склону Осташа продрался сквозь густой пихтарник и вышел на узкий истоптанный покос вдоль Чусовой. На покосе горело с десятков костров. Тёмные громады барок громоздились как дома по улице. Повсюду сновал народ, слышались окрики, смех, ругань.

Осташа уверенно направился к самому большому огню. Точно: это был костёр караванного. Вокруг него стояли длин-

ные лавки, которые караванный начальник вёз с собой для важности. На лавках с достоинством расселись сплавщики, Осташа их узнал. Пасынков вёл со сплавщиками степенный разговор. Осташа подошёл и встал за спиной Довлата Халдина так, чтобы оказаться на свету. Пусть Пасынков его увидит. Пасынков, конечно, увидел, но и бровью не повёл. Он говорил с Довмонтом Талашмановым по прозвищу Нахрат:

— Ну и как ты, братец, обошёл Висячий боец?

— Знаючи не мудрено, — пренебрежительно отвечал Нахрат. — Саженой за двести ставишь барку наискосок и потихоньку, потихоньку пригребаешь, а как отбойная волна ударит — сразу рывок.

— А на Ревене днище-то не поскоблил?

— Я точненько вдоль камня бежал — там все таши заглажены.

— Слышал я, ты в позапрошлом году на Курочке барку убил?

— Ну не век же мне на Курочке биться, — хмыкнул Нахрат. — Теперя какой другой боец приискать надо.

Пасынков и сплавщики засмеялись.

— А на Максимовском бойце барка при тебе убила?..

Осташу потихоньку опять повело на гнев. Такими вопросами Пасынков мог нудить хоть до рассвета, лишь бы изгальнуться над ним, Осташей. Не по правилу то было. По правилу — пришёл сплавщик к караванному с отчётом, так прими отчёт сразу, а уж потом с другими и рассусоливай, сколько влезет. Есть ведь уважение к ремеслу. Да и не караванного дело сплавщикам честь раздавать. Эту честь сплавщики друг другу сами раздают. Честь — она в Лёвшинной должна сказаться, когда те, кто дойдёт, начнут в кабачке «бока смачивать». А сейчас перед Чусовой все равны.

Осташа повернулся и пошёл от костра в темноту. А чего стоять попусту? Пасынков рожу его видел — значит, понял, что у Осташа всё в порядке. И довольно этого. Ждать милости, как пёс у крыльца, Осташа не будет.

Он направился к другому костру, возле которого люди казались попроще, и вдруг лицом к лицу столкнулся с дядей Гурьяной Утюговым.

— Э-э, да это ж ты, Астафий! — удивился и обрадовался дядя Гурьяна. — Ну-ка, дай взгляну на тебя!

Он отодвинул Осташу от себя и придиричиво оглядел.

— Вылитый сплавщик! — довольно заключил он. — И стать сплавщицкая, верно!

Осташа усмехнулся. Неужто вот так, от единого погляду, его можно отличить от бурлака или, скажем, от водолива? Просто сейчас дядя Гурьяна был им доволен.

— Говорил я тебе, олуху: брось свои бредни, живи порядком, и будешь сплавщиком, как положено. Говорил же, да? — напомнил Гурьяна. — И кто был прав? Я! То-то. Вот ты за ум взялся — и получил своё. Слушай людей-то умных, кто тебя постарше будет.

— Да слушаю, слушаю, — ответил Осташа, лишь бы отвязаться.

— А я, Астафий, нынче водоливом у самого караванного, — с гордостью сообщил дядя Гурьян. — Не век же мне в подгубщиках ходить.

Дядя Гурьян «век в подгубщиках» ходил у бати.

— Не стало бати, и ты в гору двинул? — не удержавшись, с неприязнью спросил Осташа.

Дядя Гурьян провёл ладонью по усам, словно стёр улыбку.

— А думаешь, мне в водоливы не по уму?

Осташа пожал плечами.

— Не в твоём месте дело, а в том, при ком оно, — туманно сказал он.

— Считаешь, я память Перехода оплевал, если уж встал под Колывана? — недобро спросил дядя Гурьян.

— А то ты не знаешь, как Колыван батю привечал?

— Переходу за науку поклон, конечно, — медленно сказал дядя Гурьян, — только цену мне он маловатую давал. Водоливу цена по сплавщику, под которым он стоит. Кто же

будет спорить, что Колыван — лучший на Чусовой? Какова, значит, мне цена? А Переход меня только на потеси держал.

— Оплошал батюшка, — ухмыльнулся Осташа.

— Оплошал, — с угрюмым вызовом согласился Гурьян. — Я ведь не просто под Колываном да под караванным. С Колываном на барке идёт и сам Калистрат Крицын, который после Конона Чусовую взял. А с Калистрат Назарычем и наследник его, Прохор Калистратыч. Вот и погляди, сколь на́большие люди моему уменью доверяют. Это почёт поболее, чем у потеси Перехода.

— Ну-ну, — зло сказал Осташа. — Дозволите ли за полу подержаться, дядя Гурьян?

Гурьян тяжело вздохнул сквозь сжатые зубы и поглядел на Осташу с сожалением и какой-то брезгливостью.

— Да-а, — вдруг произнёс он. — Всё ж таки не сошлись наши дорожки... Жаль, Астафий. Ведь я Перехода уважал. Я тебя понимаю. Каждый за свой корень цепляется...

Осташа отвернулся.

— А почто они все вместе загрузились? — спросил он, чтобы переменить разговор. — Ну, Калистрат с Прошкой — к Колывану?

— Не моё дело, их — сплавщицкое, — неохотно сказал дядя Гурьян.

Осташа понял, что дядю Гурьяна, водолива, второго человека на барке, сплавщики всё одно за ровню не считали и замыслы свои ему не поясняли.

— Колыван с Калистратом только до Рассольной идут. Почему — не знаю, но там они на берег ссадятся. Дальше барку Прохор Калистратыч поведёт, — отвернувшись от Осташи, рассказал дядя Гурьян. — И ещё болтали, будто в Кумыше Колыван будет знакомить Прохора Калистратыча с дочерью своей, Нежданой. А после сплава — свадьба. Колыван до срока Неждану где-то в скиту спрятал. Её для Прохора Калистратыча привезут в Кумыш, а потом сразу обратно отправят. Я сплетню слышал, будто у тебя чего-то с Нежданой было, верно? Не от тебя ли уж её прячут?

— Сплетня то и есть, — оборвал Осташа, хотя и царапнуло по сердцу. Нет, не нужен ему никто — и Неждана не нужна, и Фиска эта... И Бойтэ не нужна. Никто не нужен.

— Я к костру твоему по делу завернул, — сухо сказал Осташа. — У меня бурлака потесью помяло, сейчас несём его в Шайтанский завод. Глотки пересохли — дай попить чего-нибудь с собой, дядя Гурьян.

— Кисель вроде оставался...

С берестяным туеском, куда был налит горячий кисель, Осташа пошagal прочь от костра к опушке. Вдруг кто-то грубо схватил его за шкирку, как кота, и дёрнул назад так, что затрещала холстина, которой для тепла сверху был покрыт армяк. Осташа в бешенстве развернулся и ошалел, увидев перед собой Чупрю. Чупря был пьян, еле держался на ногах. В его косом глазу блёкло отражалась луна.

— Ты... — без выражения сказал он.

Осташа сжал туесок ладонями и раздавил его. Кисель потёк по рукам. Чупря стоял, покачиваясь, и тупо глядел на Осташу. С ним не было ни ножа, ни ружья. Пьяный, Чупря ничего не смог бы сделать Осташе. К тому же народ был кругом... Но Осташа вдруг так испугался, что попятился.

Чупря затряс кудрявым чубом, сложил губы дудочкой и принялся укоризненно грозить Осташе пальцем. Бездумно стискивая туесок, Осташа всё отступал, отступал, а потом бросился в лес.

СТАРАЯ ШАЙТАНСКАЯ ДОРОГА

Он выломился из пихтарника на Старую Шайтанскую дорогу и, тяжело дыша, повалился на обочину рядом с Корнилой и Никешкой.

— За тобой что, черти гнались? — изумлённо спросил Никешка.

— Хуже... — просипел Осташа.

Корнила, сидевший на коряге, молча вынул из его рук смятый туес, повертел, лизнул с донышка и выбросил в канаву. Потом отклонился назад, глянул Осташе на спину, подумал и оторвал от армяка лоскут, болтавшийся на лопатках.

— Похоже, непростые у тебя тут дела, сплавщик, — задумчиво сказал он, всовывая лоскут Осташе в карман. — Вернёмся, попроси баб, чтоб подшили...

Осташа не ответил, вытирая руки о штаны.

— Пойдёмте, что ли, — сдавленно сказал он.

Они шагали по тёмной дороге в тёмном лесу, и слышен был только лёгкий шум ветра в вершинах. Ночной заморозок еловыми лапами, как кистями, размашисто обшаркал известкой инея окатости придорожных валунов, шершавые стволы валежника, плечи и шапки людей. Изредка с дороги в кусты вдруг шарахались рябчики, похожие на косматые комья мрака.

На душе у Осташи лежала страшная тяжесть — и страх, и обида, и гнев. Осташа шагал и думал, что он много принёс зла — но не Чупре, не Гурьяну Утюгову, не Пасынкову, не Поздею, не своим бурлакам. Почему же тогда именно от них — измена, презренье, угроза? Ну чем он им дался-то? Почему они загораживают дорогу, почему плюют вслед?.. Он не будет терпеть, он сшибёт с пути... Но он ли будет виноват, что ему придётся ногами ступать по чужим спинам? Хочет ли он того? Кто хуже-то — он или те, на кого он наступит?

— Почему от людей человеческого облика ждёшь, а глянут они — и рыло у них свиное? — тихо, яростно спросил Осташа у Корнилы.

— Ты о том, что никто татарина нести не подхватился? — подумав, переспросил Корнила.

— Да обо всём...

Корнила молчал, шмыгал замёрзшим носом.

— Молод ты, честен, прост, — сказал он. — Видал я лицо твоё на спишке, видал тебя и когда Поздей хай поднял

из-за бабьих денег... Ты небось вспоминаешь: как ладно народ на сплаве у потесей работал — единой душой — и как харкнул на татарина, потому что от выпивки отрываться не хотелось... Так?

— Так тоже.

— Ты на народ сердца не держи. Бесполезно это. Даром себя изведёшь. Всегда помни: добр народ, но за правду не встанет стеной. Зол народ, но не искорыствуется... Народ — межеумок. Нету в нём воли за себя.

— Может, зря Пугача предали? — с отчаяньем спросил Осташа. — Пугач-то волю нёс...

— А вот это — лжа, — осадил Корнила. — Пугач — царь. Он народ на дело двинул и всю вину по-царски на себя взял. Какая ж от него воля? Народ его на царствие не ставил.

Никешка шагал и слушал, даже уши его шевелились, как у коня.

— Пугач — самозванец, — не оглядываясь, сказал он с какой-то обидой в голосе.

— И я о том, — согласился Корнила. — Не важно, самозванец он или царь по праву, только воли народу он не давал, хоть народ и лютовал, как хотел. Вся воля, которую он принёс, — это каждому для себя выбрать, царём его считать или самозванцем. И всё. Никакой другой воли больше не было.

— Может, воли и не было... А правду он всё ж таки объявил: звериный лик у народа, — сказал Осташа.

— И опять не то. Пойми ты, нету у народа лика. И Пугач о том первым догадался. Народ таков, каково дело, которое он делает. Шёл Пугач против бога и царя — и народ беса тешил. Для нас, парень, дело первее души. На что царь наставит — таковыми и будем. Прикажет младенцев резать — всех вырежем. А прикажет своими телами к правде дорогу выстелить — выстелим. Что угодно можем, если прикажут. И вся воля народа — только царя царём считать или в цари самозванца пихнуть.

— Что ж получается, в народе души и нету вовсе? — Осташа злобно пнул с дороги ветку.

— Не знаю, — пожал плечами Корнила. — Я её не вижу. А ты видишь? Всякий раз народ разный. Но чаще всего — стыд смотреть, какой. Но всегда народу оправдание есть, что не от зла он грех творит, а от греха злой становится.

— Зачем тогда мы греховное дело делаем, коли не злы?

— Я тебе и говорю, что нам дело первее воли. Тёмны мы, и жизнь наша скудна. Потому и приходится за любое дело браться, лишь бы выжить. А цари наши сроду о нас не думали. Им своя забота важнее, и народ за их заботу гнётся. Когда же за одного всем народом дело делают, тогда правды не жди. Можно прожить, когда один — вор, а весь прочий мир — работник, но погибель, ежели варнак — царь, и за него весь народ варначит. Вот и выходит: чего ни творим — всё грех. И от того греха сами облик человеческий теряем. А отчего народ на самозванца соглашается? Да верит, что придёт царь и воистину на себя грех за дело возьмёт. Только выходит всегда обратно: дело сделать и грех принять — народу, а казну — барину.

— По твоим словам — и выхода-то нету...

— А какой тебе выход нужен? Народ любить хочешь, служить ему — дак люби, служи, кто тебе мешает? А из грехов народ вывести — дак ты не царь. Простить же грехи богу дозволь, не твоё дело.

Дорога выбежала из леса и потекла вдоль опушки. Покатые покосы лежали, отбелённые луной. В прошлогодней стерне чирикали ночные птицы. Голенастыми костяками торчали жердяные вешала для сена, треноги для стогов. Вдали темнела длинная морщина чусовской поймы. Небо почти очистилось от туч, отчеканились звёзды.

— Душа народа только в деле жива. Может, это наша беда, а может — спасенье, — раздумчиво продолжал Корнила. — Нет дела общего — и нет души. Может, у народов иных держав всё как-то иначе... Нет общего дела, и каждый сам

по себе хорош, живёт тихо и пристойно. А мы без общего дела как без ума. Сам смотри: те же бурлаки, что на потесях жилы рвали, сейчас, без дела-то, водки напьются до скотского образа. А потом два друга каких, сызмальства закадычных, раздерутся в кровь, и сосед у соседа деньги покрадёт...

— Вернёмся — посмотрим, — хмыкнул Осташа.

— Народ Пугача принял, потому как тосковал об этом деле общем. О хорошем царе тосковал, о благом, который и народу благое дело укажет. Ведь были в старину благие государи — были же? Были и Минины с Пожарскими... Не век же нами Катеринкам с Пугачами хороводить... Придёт и правильный царь. А без царя никак. Даже в мелочи — никак. Вот подумай, вспомни: когда ты деньги за погрузку бурлакам выплачивал, если бы Поздей голоса не поднял, разве ж кто заметил бы, что ты бабам не по правилу много выдал? Никто бы не заметил. Народ не порченый. А предположь: вот ты бабам и спервоначалу заплатил, как Поздей ратовал. А я, скажем, заорал бы: мужики! Давайте бабам с нами поровну выплатим! Думаешь, не согласился бы народ? Согласился бы. Жалко, что ли, тринадцати-то копеек? Видишь, как важен заводила — царь.

— Значит, только Поздей в том и виноват, что тридцать шесть мужиков четырёх баб обсчитали? — усмехнулся Осташа.

— Да нет, конечно... Просто Поздей вовремя на коня вскочил. Когда делёж денег хорошим делом был? Что такое делёж? Все считают, что это когда народ смотрит, чтобы всем было поровну. А это лжа. Делёж — это когда каждый сам по себе смотрит, чтобы ему не меньше другого досталось. Дурное дело делёж. И народ на дележе разом поганым стал — от дурного дела дурным. Поздею только квакнуть осталось.

— А чего ж бурлаки Бакирку-то нести отказались? — Никешка даже тряхнул носилки. — Дело-то хорошее...

— Поздно предложили. Вовремя царя не нашлось — и всё. Народ пьяный стал. Пьяную голову на ум не наставишь. Пьяными руками и мотню не завязать. Какое уж тут дело, хорошее ли, плохое ли, — ничего не сподручно.

— Ты это всё про никонианцев говоришь, — наконец выдал Осташа. — Может, с ними и так. Но с кержаками не так. И не только потому, что не пьют. Не ведут себя так кержаки. Не та масть. Ты же сам кержак, знаешь. Кержакам вера не даёт человеческий облик терять.

— Правильно, — согласился Корнила. — Правильно! А знаешь почему? Потому что кержаки свою веру своим общим делом сделали. Кержаки никогда без дела не остаются, и душа их всегда жива. А душа такова, каково дело, — какой толк ни возьми.

— А каково дело у наших толков? — глупо спросил Никешка.

— Спасение.

Они уже подошли к околице Старой Шайтанки.

— В дома будем стучаться или как? — Никешка оглянулся на Корнилу и Осташу.

— Давайте до кабака дойдём, — предложил Корнила. — Чужим хозяйкам и своих хлопот хватает. Кинут татарина куда на сеновал — кому он нужен? — и загнётся он на третий день. А кабатчице с рук на руки сдадим, денег заплатим да пригрозим по возвращеньи проведать. Надёжнее будет.

Осташа помнил, где кабак, ещё по зиме, когда с Федькой шёл от Илима в Ревду. Он уверенно указал Никешке на проулок.

Толстая, заспанная, неопрятная кабатчица и вправду оказалась рада такому необременительному заказу: положить Бакирку на печь да три раза в день припарки менять. Стряпня всегда наготове, только попроси. А если даже умрёт постоялец — ну что ж, не убьют же её за это, деньги не отнимут. Кабак был пуст: сплав начался, и всех мужиков как корова слизала. Забот не было.

Бакира уложили на лавку, стащили с него рубаху. Кабатчица принялась ощупывать его бока. Бакир застонал, очнулся, обвёл горницу мутными глазами.

— Астапа... — позвал он. — Астапа... Где Бакир?..

— В Шайтанке ты, — склонившись, пояснил Осташа. — Мы тебя хорошей бабе на руки сдадим. Она тебя поднимет.

— Не-ет, умрёт Бакир... — Бакир замотал кудлатой головой.

— Да не помрё-ошь, — с наигранной бодростью заверил Бакира Осташа, хотя и у самого сердце сжималось. — И не такие потом в пляске первыми бывали!

Корнила и Никешка в отдалении сидели за столом, жевали хлеб с луком. Кабатчица взгромоздилась на приставную лесенку и полезла на чердак, где держала сушёные травы. Осташа присел на скамейку рядом с Бакиром.

— Позови Колывана, — вдруг свистящим шёпотом попросил Бакир.

— Где ж я тебе его возьму? — опешил Осташа.

— Позови! — умолял Бакир. — Колыван всегда Бакира спасал! Колыван спасёт!..

— Нету Колывана... Далеко он.

— Позови!.. Колыван зимой Бакира кормил! Колыван Бакиру еду давал, когда Бакир Четырёх Братьев рыл!.. — Бакир вдруг приподнялся на локтях, вглядываясь в Осташу полубезумными глазами. — Колыван Бакира прошлой весной спас! Колыван сказал, что Переход убьётся под Разбойником, а Бакира он любит и спасёт!

Глаза Бакира заметались в глазницах, а лицо стало таким, с каким Бакир когда-то открывал Осташе тайну про волшебные слова Шакулы для Ермаковой пещеры.

— Как он спас тебя под Разбойником? — теряя голос, спросил Осташа и замер, боясь перебить слова Бакира.

— У бойца Молокова Бакиру надо на левый борт в воду прыгнуть! Там верёвка в воде будет. Бакир за неё ухватит-

ся, а она к гвоздю привязана, а гвоздь в доску вбит! Бакир дёрнет — и доска к нему приплывёт. Бакир на доске до берега доберётся! Бакир так и сделал, прыгнул, дёрнул, добрался! А Переход утонул!.. Позови Колывана... Пусть Колыван опять Бакира спасёт!

Бакир вцепился Остахе в рукав. Осташа отодрал его пальцы и медленно встал, уже не слушая татарина. Так вот как раскупорили батину поддырявленную барку!.. Вот кто это сделал!.. И не надо иуду подкупать, если есть под рукой сумасшедший Бакирка-пытарь...

Осташа вышел на крыльцо, стал ногтями соскребать иней из пазов меж брёвен, потёр мокрыми ладонями лицо. «Колыван!.. Колыван!.. — стучало в голове. — Колыван батю сгубил! Сгубил по-сплавщицки!.. Только он мог понять и поверить, что батя Разбойник отуром пройти захочет. Только он и мог рассчитать, когда надо выдрать из борта подпиленную доску, чтобы батина барка огрузла и врезалась в скалу». И только Колыванова чёрная душа могла подсказать, кого взять в подручные, чтобы не было ответа за подлость.

Никешка и Корнила вышли на крыльцо, запахивая армяки.

— Ты чего мокрый? — спросил Никешка Осташу.

— Инеем утёрся.

— Брось, не переживай, — сказал Корнила. — Выживет он. Я чую.

— Все под богом, — глухо ответил Осташа.

Они шли обратно, и теперь луна светила в спину. На побелевшей дороге далеко протягивались тени. Оснеженный лес вытаял из мрака и с каждой пройденной верстой словно набирал плоти и силы. Тьма блёкла, редела, и наконец начало светать. Где-то в глубине чащи вдруг закудрявились тихие, странные, переливчатые звуки — это затоквали глухари.

...К своей стоянке они вышли уже на полном свете. Поляна была сплошь истоптана, костёр погас, пьяные бурлаки валялись на подстилках из лапника, словно кучи грязного тряпья. Только сосновый бор стоял над этой паскудной картиной как укор — высокий, чистый, весь с иголки, весь позолоченный поднимающимся солнцем. Огромная барка покрылась изморозью, будто была выпилена из льдины. А Чусовая затихла и пронзительно заголубела — так тонко и остро, нежно и бесстыдно, что Осташе захотелось отвести взгляд, будто он случайно увидел красивую девушку, купавшуюся нагишом.

По пояс в воде, совсем голый, стоял Федька Мильков и тянул из воды какую-то верёвку.

— Никак рыбачишь? — спросил Корнила, подтаскивая тяжёлую доску, чтобы перебросить на борт барки. — Эй, Остафий Петрович, разрешишь в казёнке прикорнуть до завтрака?

— Не ходи туда, — пролезгал зубами Федька. — Там Спирька наблевал... Я вымою...

— Какой Спирька? — взъярился Осташа.

— Спирька упился, совсем плох был... Я его снёс в казёнку, чтобы не замёрз... А у него нутро вывернулось... Да ты, Осташ, не бойся — Спирька-то честнейший человек, он на пожаре уголька не украдёт!..

— Чтоб ты сдох когда-нибудь, Федька, от пьянства своего! — с сердцем пожелал Осташа.

— Сдохну скоро, — горько пообещал Федька.

— Ну чего ты там делаешь, в реке-то?

— Да котёл укатился, утоп... Я нырнул, к уху верёвку привязал — щас вытащу...

— Вы что, котлом в пятнашки играли?

— В пятнашки... — пробурчал Федька, дёргая верёвку. — За тебя, дурака, старились же... Смертным боем всем народом Поздея били, что он на Мосином бойце чуть барку не сгубил... Да достану я котёл, не трусь!

ЕЛЕНКИНЫ ПЕСНИ

Остывший синий дым ночных костров ещё стелился над Чусовой, когда побежали первые барки. Осташа следил, не пролетит ли барка Колывана. Хмурые, похмельные бурлаки ёжились у потесей. На месте Бакира угрюмо сутулился Поздей с чёрной, разбитой мордой. По совету Платохи Мезенцева вместо Поздея Осташа назначил подгубщиком северского старичка Логина Власыча. Платоха заверил, что Власыч, хоть и плешив да стар, а всё же силён, чтобы вести потесь. Вытяжные снасти были уже выбраны. Бурлаки ждали, когда наступит время оттолкнуться от приплёска.

Своей опохмелки больше не оставалось: вчера всё выпили досуха. Но Федька ещё до завтрака умудрился куда-то сбегать и перехватить пару чарок. Взбодрившись, он залез на скамейку к Остахе и тотчас увидел барку караванного, которая вынырнула из-за груды скалы.

— Идё-от! — завопил он бурлакам.

Бурлаки нехотя разобрались у кочетков. Караванный резво промахнул мимо.

— Отвал! — скомандовал Осташа в трубу.

За Свинками барку подхватил гладкий быстроток. Осташа думал, что встроится в свой караван прямо за Колываном, но вперёд успел втиснуться Нахрат, и теперь перед носом Осташи маячила широкая корма его судна со свисающим с пыжа длинным станovým якорем. Берег по левую руку полез вверх Высокой горой. Чистое, безоблачное небо было налито в еловую теснину Чусовой, как в чашу. В этой чаше туго и хлётко бултыхался невидимый ветер.

Осташа почувствовал, что нынче его бурлаки гребут вполсилы, да и барка чего-то заваливается вправо.

— Ты барку на течь проверил? — спросил Осташа у Федыки.

— Проверил, — уверенно заявил Федька.

— Врёшь ведь, скотина. Лезь давай под палубу. Надо пудов сорок железа на левый борт перекинуть.

— Сорок пудов?.. — ужаснулся Федька. — Одному?..

— Сейчас вот скину тебя в перебор, и хватит с меня!

Бурча, Федька полез вниз, исчез под палаткой. Через некоторое время из-под палубы донёсся звон чугунных чушек.

Откос Высокой горы блестел вешними ручьями. Он был дважды прострочен длинными ровными швами каменных пластов. Под откосом Чусовая была изжёвана перебором Пегуши, и барка заколыхалась.

— Живее ходи, пьянчуги! — рывкнул Осташа на бурлаков.

С недосыпу голова у Осташи болела. Лицо висело, как набухшее водой, в глазах было мутно. «Расхожусь ещё», — подумал Осташа.

Длинный плёс убегал вперёд и ударялся о Сарафанный боец.

Осташа нехотя вспомнил свою летнюю передрагу, когда перед этим бойцом его межеумок подхватил вал, спущенный Старой Шайтанкой. Сейчас на месте острова, который так выручил его в тот раз, надулся водяной бугор. Осташа прикидывал: течение столкнёт его барку с бугра прямо на скалу. Значит, надо брать левее, но вплотную, чтобы проскользнуть ўловом, где отбойная волна уходит ко дну и не выбросит барку на береговую отмель...

— Корнила, Никешка, загребай помалу! — крикнул Осташа.

Гора в каменном сарафане уже распрямилась так, что заслонила восходящее солнце. Барка Нахрата, грузно разворачиваясь, врезалась в водяной бугор напрямик — и вдруг развалила его надвое, как лёмех пашню. Старые сплавщики рассказывали: бывает, что вода «зыбнет» — делается жиже и податливее. Но такое случается на солнце, если жара долго стоит. А весной вода жёсткая, упрямая, тугая: вон щепки на волнах так и прыгают, словно уклеики за комарами...

Получается, что Нахрат — истязелец, коли вогульские бесы для него волну проминают и шалыгу располовинивают. Но Осташа не решился пробежать по следу Нахрата — вроде той собаки, что попадает на чужой двор, юркнув вслед за обозом в раскрытые ворота. Осташина барка прошла левее пенного Нахратова следа. В её скулу, как гирей, ударил литой отбой, и Осташа понял, что сделал правильно. Истязельческий путь не для него. Сунулся бы он за Нахратом — и сейчас бы уже крушил борт о скалу, под которой бился и урчал накат.

За Сарафанным вдоль берега замелькали причаленные барки Плешаковской пристани. Плешаковский караван был последним из «честных», как говорили на Чусовой. Он вставал в общий строй караванов по своему порядку — самым задним. А вот все другие караваны — сулёмские, усть-уткинские, кыновские, ослянские, койвинские — не глядя лезли вразнобой куда придётся. Порой они норовили бежать даже поперёд ревдинского каравана. И каждый год «верхние» барки тонули прямо у нижних пристаней, разбитые невянскими, тагильскими, кушвинскими «нагляками».

Осташа вёл свою барку вдоль левого берега, вдоль улицы Мартяновой деревни. Потеси едва не сшибали мостки, на которых мартяновские бабы стирали бельё. Посреди реки косяком огромных сомов бурно плыли вверх по теченью обманные мартяновские острова. Самым подлым среди них был Худой остров, хвостом пены хлеставший по каменным рёбрам Худого бойца.

За кормой Осташинной барки вдруг раздались вопли, и Осташа быстро оглянулся. Барка, что бежала сразу вслед за ним, пробуравила пенное охвостье Худого острова и плечом врезалась в скалу. Птичками полетели над рекой люди и доски, щепки и шапки. Заурчала вода, надуваясь горой и задирая корму барки. Под палубой, сорвавшись с места, загрохотал и покатился чугун. Со страшным, обиженным всхлипом огромная барка вмиг повалилась набок и переку-

вырнулась, могуче шлёпнув по воде палубой. Прозрачные волны полетели по блестящему, плоскому, чёрному днищу.

Но некогда было глазеть. Осташа отвернулся и тотчас едва не подпрыгнул, когда у него под рукой перильце вдруг лопнуло и ошетинилось зазубринами. Только потом с берега донёлся негромкий хлопок. Осташа не сразу понял, что это было... А потом его словно умыло ледяной водой: это был выстрел из ружья.

На правом берегу вверх по тропе вдоль ребра Востренького камня бежал человек с длинным ружьём за спиной.

Барка неудержимо неслась мимо, человек не оглядывался, но Осташа и так понял, кто это. Чупря! Всё, что Осташа увидел и узнал прошлой ночью, от недосыпа вспоминалось мутно, размыто. А сейчас мгновенно стянулось в резкую и яркую картину, ошеломляющую, как пощёчина. Колыван поддырявил батину барку. Колыван подучил глупого Бакира выдернуть доску из борта батиной барки прямо перед Разбойником... И сейчас Колыван вёз на своей барке Чупрю! От Мартьяновой деревни Чусовая описывала огромную петлю длиною в три версты — Мартьяновскую дугу. От Востренького камня до камня Переволочного горло этой дуги перехватывал короткий волок всего-то сажень двести в длину. Видно, Колыван ссадил Чупрю возле Востренького, чтобы Чупря пальнул в Осташу и убежал к Переволочному, где его подберёт косная лодка с колывановской барки. Чупря и пальнул. Не попал.

Осташа стоял на скамейке и тяжело дышал, будто заново рождённый. Он раздёрнул на груди армяк и ворот рубашки. Немощи недосыпа как не было. Ничего ведь ещё не кончилось, всё продолжается!.. Ветер хлестал по лицу словно мокрой тряпкой. Холодное весеннее солнце поднялось над ёлками, блёкло заблестело на волнах. Вдоль борта бурлили острова. Понурой коровой протрусил мимо камень Палатка. Расплескался, расчирикался на повороте Глухой перебор. В его многоголосом шуме глохли все прочие зву-

ки. Слева из лесов по валунам прискакала к Чусовой речка Каменушка. За ней волна лизала низкую длинную стенку Еленкиного берега...

Нет, Чупря, нет, дядя Колыван: не так-то это просто — душу из человека выбить. Та же Еленка — пример. Говорят, в старину она пасла мартьяновских коров вдоль речки Каменушки. Старина была такая дремучая, что и Чусовая тогда текла напрямик, без всякой дуги. Еленка же, девка, сирота была, красавица и певунья, только умом тронутая — ну да убогие Господу всегда дороже. Мартьяновские крестьяне Еленку кормили за песни: столь ладно и складно девка выводила, что и люди, и скотина заслушивались. Правда, песни у Еленки были простые. Чего видела — о том и пела. Но чего взять с полудурочки?

И вот узнала про Еленку вогульская великанша, ведьмая, что сидела в пещере Переволочного камня, который тогда ещё не был переволочным. Яга старая была, а жить хотела. И решила она сожрать девку, чтобы помолодеть. Всё равно за сироту никто не вступится. Встала и пошла. Еленка увидела, что к ней над лесами яга идёт, и сразу догадалась зачем. Тут ведь много ума не надо. И тогда запела Еленка песню про Чусовую. Такая красивая песня была, что сама Чусовая замлела и вспять потекла, поближе к Еленке. Вот и очертилась Мартьяновская дуга, которая отгородила Еленку от яги.

Но и яга не сдалась. Решила: коли девку она сожрать не смогла, так хоть душу её украдёт. Ведьме всё впрок. Присела яга на камень и начала колдовать на Еленку, чтобы девка душу на волю отпустила. Заколдовала. Еленка, заколдованная, плачет, а поёт — остановиться не может. Всю душу Еленка в песню вложила. Яга поймала песню и обрадовалась: ага, моя душа! А Еленка уже другую песню поёт. И опять душа в песне как новая! Яга и другую песню поймала. Потом и третью, и четвёртую. Ловит, ловит песни — и вдруг слышит, что песни-то Еленкины люди по всей Чусо-

вой уже распевают. А как яге переловить все песни? Никак не переловить. Не украсть душу, как эхо в горшок не посадить. От досады окаменела яга. Но не сняла заклятья, и Еленка, певунья, так вся в песни и изошла.

Памятью по Еленке осталась Мартыановская дуга, журчащая под Еленкиным берегом. Ну и сказка тоже. Может, эту сказку батя Остахе как урок рассказывал: если душа — правда, то не выбить душу из человека ни колдовством, ни тычком, ни пулей.

За Еленкиным берегом по левую руку громоздились заросшие лесом утёсы Малого Владычного бойца. За ними через вздох стоял и Большой Владычный. Барка Нахрата опасно шла бортом прямо на скалу — ещё чуть-чуть, и впечатается в камень. Но Нахрат не суетился, не орал в трубу, словно знал, что́ будет дальше. И точно: едва его барка подошла вплотную, как будто сила какая приподняла её и с шумом сдвинула поперёк течения на стрежень — от скалы подальше.

Не знай Остаха Владычного бойца, у него глаза бы на лоб выпучило. Караванный вал затопил Владычного выше коленей, но Остаха помнил, что в подножии скалы есть большая пещера. В неё набивается вода. Набивается-набивается, и вдруг потоком вся вываливается обратно. Удивительно не то, что Нахрата отнесло от скалы, а то, что Нахрат угадал нужный миг. А впрочем, чего ему угадывать? Нахрата хранило истязельчество. Это Владычным бесам надо было угадывать, когда воду спустить, а вовсе не Нахрату, который крест снял. Не Нахрату, за которого Шакула вогульским бесам принёс в жертву человечьи души, украденные жлудовкой...

А Остахе пришлось отгребать сначала от Владычного к правому берегу, а потом от корявой глыбы бойца Яги — к левому. За Ягой подымалась изогнутая, растрескавшаяся, бурая стена Переволочного бойца с провалом пещеры на перегибе. А вон из ложбины по уступам скалы спускается

утоптанная тропа волока. По ней сбежал к реке Чупря, чтобы сесть в косную лодку и вернуться на барку Колывана.

Осташина барка уже плыла мимо затонувшего в лесах камня Гамаюн. Здесь на крик человека нелюдским откликом отзывалось эхо — голос вогульской лесной нечисти. Потом на правом берегу зарябил выступами помятый камень Ямоватый. На нём, говорят, черти сушёный горох молотят. Потом опять слева блеснул плешью камень Лысан с обгорелыми бровями и вислыми щеками, которые сплошь заросли рыжей щетиной мха. Но Осташа уже всматривался в боец Печку.

«Печек» на Чусовой было целых пять. Эта — первая. Прямоугольная скала с двух сторон ощерилась высокими каменными клыками. В брюхе скалы, как зев печи, темнела дыра полузатопленной пещеры. От передних потесей бурлаки с усмешкой оглядывались на Осташу.

— Эй, сплавщик, котла не видишь? — весело крикнул Корнила.

Все бурлаки верили, что сплавщик, который залютовал или закорыстовался, видит в чусовских «Печках» котёл. В этом котле его в аду черти живьём варить будут. Осташа греха за собой не чуял, но всё равно с опаской заглянул в пещеру: вдруг во мраке там блеснёт чёрный бок чугунного котла?.. Нет, в пещере было глухо.

За камнем Присадным Чусовая разлилась по присаде — по затопленному лугу. Возле присады стояла барка с сысертским флагом. Голые бурлаки бродили в воде, перетаскивали на взгорок железные чушки. Видно, требовалось разгрузить судно, чтобы отчерпать воду. Осташа вспомнил, что Федька убрался под палубу переносить чугун, и что-то давно не слышно звона. Подлец, наверное, дрыхнет в мурье...

На правый берег из лесов вывалился камень Пещерный — весь переломанный, в осыпях. В его пещере когда-то прятался Золотой Атаман — Андреян Плотников из Демидовских Шайтанок. Эту пещеру указал Андреяну дырник

Веденей, который тогда ещё был честным сплавщиком. Андреян поднял бунт за три года до Пугача. Погулял он недолго — уж через полгода в Оренбурге он полёг под шпиц-рутенами. Зато память о нём живёт: её горной страже не перехватать, как яга не перехватала песни Еленки.

У края Пещерного Чусовая бурлила. Здесь выбивалась речка, которая не смогла обогнуть громаду скалы, да и поднырнула под неё. В еловом криволесье на берегу светлели лбы камня Лужаечного. Почему Лужаечный?.. Где здесь лужайки?.. Но все мысли оборвались. За поворотом, будто носы двух разбойничьих насад, в Чусовую врезались две плиты бойца Гребни. Бурлаки из новичков присвистывали, видя эти тонкие и высокие стены — точно двойной плуг, вспахавший Чусовую. Волны с разгону взбегали вверх по каменным лемехам и рушились обратно водопадами. В ущелье шипел и шевелился белопенный сугроб.

Волегова деревня темнела крышами чуть в стороне от берега. Словно в назидание, она выставила над рекой часток голбцов. Осташа перекрестился. Гребни, хоть и страховидные, не были опасным бойцом, но отчего-то каждую весну голбцы прибавлялись в числе, будто они росли сами по себе, как грибы.

Справа ельник затрясся на чехарде Волеговских камней, а за ними Чусовая давала караванам передышку. Безопасен был Лысан, уже второй на пути. Круглая осыпь камня Копна, покрытая прядями прошлогодней травы, и вправду походила на копну сена. Зубец Иглы торчал слева за еловыми макушками как караульная вышка. Длинное прясло Синенького бойца, засыпанное по склону буреломом, одним краем оступилось в Чусовую. Кривая россыпь рыжих Темняшей походила на каменные пни. Ещё один боец Высокий так подался вверх, что аж треснул сбоку, точно маленький кафтан, напыленный на спину великана.

Под Высоким Осташа огляделся. И позади, и впереди его барки вся Чусовая была покрыта бегущими судами. Что

там бойцы, что там огрудки!.. Бег караванов был неустойчив, неостановим. Даже если кто убивался, через два поворота прореха в строю на месте погибшего затягивалась, будто железные караваны были живым телом, которое само заращивает раны.

Но за Высоким бойцом ухо надо было держать востро. Чусовая сужалась, и на повороте слева торчало острое лезвие Узенького бойца, рубившее сразу насмерть, как топор палача.

На барке Нахрата залетали потеси.

— Логин Власыч! Никешка!.. — заорал Осташа.

Подняв кормой крыло волны, Нахрат резко уходил вправо. Барка его отодвинулась. Осташа увидел, что перед Нахратом бежит барка уктусского каравана. А от Узенького бойца к Мостовому несло целую гору досок и брёвен, по которой отчаянно карабкались мокрые человечки.

Уктусская барка не удержалась на стрежне и со всего разгона врезалась в Узенький. Удар был такой силы, что отозвалось по лесам, а людей сдуло с палубы. По щербинам бойца хлынули ручьи известкового песка. Уктусская барка, будто по колдовству, вмиг потеряла облик судна и с треском превратилась в шевелящуюся кучу обломков. Обломки поплыли во все стороны, даже против течения. Они застучались и заколотились в борта Осташиной барки, когда Осташа пробегал мимо Узенького. А боец Мостовой глядел на своего брата-убийцу с кривой ухмылкой, и полчерепа у него было словно стёсано саблей.

Чужая гибель промелькнула, как воронья тень по глазам. Солнце всё так же стояло в синем небе столбом, и птички-оляпки прыгали по камешкам на приплёске. Осташины бурлаки крестились, отпускаясь от кочетков, и Осташа не перечил. Так всегда на Чусовой: только успокоишься у тихих скал, и сразу даст как обухом в лоб.

Барка пролетела другой боец Ёршик, возле которого в межень дно Чусовой топорщилось ершом — каменными гребнями. Богатырским порядком пробарабанил боец Бре-

венник. Весенним баркам он был не очень опасен, зато летом громил в щепу крестьянские плоты, которые притягивало к утёсам Бревенника, словно магнитом. Справа в лесу заворочался камень Гладкий — совсем не гладкий, а корявый и косой. Вслед за ним слева словно всхлипнул почти незаметный, затянутый мхами камень Кумашный. И потом Чусовая улеглась, опала, покатила как с горки: это начался спокойный и длинный Илимский плёс.

— Шабаш! — скомандовал Осташа.

Он и сам поставил трубу на помост возле ног и брюхом навалился на перильца. Бурлаки задрали потеси и расселись на палубе. С высоты скамейки Осташа видел, что и другие барки спереди и сзади скользят вдоль еловых заборов сами по себе, без гребли. Их просмолённые борта тихо и устало раздвигают отражения лесов в гладкой воде. Но вдали из тёмных отражений уже всплывали Илимские острова.

За островами свежими красными ссадинами горел камень Илимский. Из его жилистого бока вырубали плиты для новой пристани — словно куски мяса выдирали. А пристань на стрелке Илима и Чусовой красовалась, как полевская шкатулочка из яшмы, резала взгляд чёткими гранями скошенных углов. С пристани орали караванам илимские мужики. Они уже проводили все свои барки и теперь пьянствовали от безделья. Барки здесь строили для Ослянской казённой пристани и отправляли от Илима пустыми. Илимцы не дожидались караванного вала. Едва река поднималась после ледохода, Илим отпускал свои суда, ведь их не страшили огрудки и таши. Эти барки, загруженные кушвинским железом, вольются в строй караванов только на Ослянке, в сорока верстах ниже Илима.

Из-за новой пристани выдвинулся гребень плотины и уткнулся во взгорье, которое сползло с горы Головашки. Взгорье было усыпано крышами домов, и только в самой серёдке деревни разорённым грачиным гнездом чернели развалины сгоревшей конторы.

УЛЬЯНКА-ЧУСОВЛЯНКА

Чусовая лизнула сваи амбарного ряда на илимском берегу и отвалила направо, шлёпнулась в брюхо длинному бойцу Тюрику и откатилась обратно влево. Будь у Осташи своя барка, он бы не удержался и попробовал пройти Тюрик оту-ром, чтобы набрать сноровки для Разбойника. Тюрик-то сплавщики и назвали «Отуриком», потому что проходить его отуrom было удобнее всего. Глупые илимские бабы, не зная смысла названия, переделали его в «Тюрик» — скамеечку перед кроснами. Но барка у Осташи была казённая, и Осташа не решился на отур. Ему должно хватить Разбойника, и нечего искушать судьбу раньше времени.

За Тюриком на левом берегу лежал в тальнике небольшой камень Журавлик. Вокруг Чусовой много было «Журавликов» — и скал, и гор, и урочищ, и ручьёв. Осташа спрашивал у бати, что это за клин просыпался на Чусовую, но даже батя не знал. За Журавликом путь Чусовой перепороживал боец Пленичный. Он торчал из склона гроздьё каменных луковиц, сплетённых в косу-пленицу перьями сосен. Отпрянув от бойца, Чусовая, как девица под молодцем, сладко выгибалась излучиной Журавлиное Горло. Барки обегали его, лихо отбрасывая налево пенную фату. И смешным, жалким итогом стоял на излёте дуги камень Холостяк. Весь он был в рыжей моховой щетине, в кривых иголках мелкого сухостоя; весь напрасный, бесполезный, не опасный — одним словом, холостой.

А за бойцом Песьяновым, что спускался к реке двумя загородками, начался другой плёс — Сулёмский. Его увалистые берега были голые, без леса. Весь лес снесли для барок сулёмской пристани. На унылом косогоре топорщились сморщенные каменные гребешки, меж которых бродили тощие пятнистые коровы.

Чусовая стремительно огибала высокий мыс, на котором привольно раскинулся Сулём, вытянувшись вдоль берега

строчками улиц. Сулёмом начинались «наглые» пристани. Издалека было слышно, как вперебрёх палят пушки: это Сулём глушил вопли, ругань и треск бьющихся друг о друга барок.

Чугун Невьянска, доехавший до пристани по речке к Сулёму в мелких шитиках, здесь перегружали на барки. Барки выпускали из гаваней, едва докатится караванный вал. Ждать, пока все караваны пробегут, Сулём, как и прочие «наглые» пристани, не хотел. Караваны уже длинным-длиннющие, а вал не бесконечен. Пока дождёшься, чтобы пробежала последняя барка караванов, вал иссякнет. Поэтому Сулём лез в пекло поперёд батьки. Барки вылетали из его гаваней — и врезались в строй караванов.

Осташина барка поравнялась с водоспусками гаваней. Их ворота были закрыты. Над свайной гранью Осташа увидел опускающиеся мачты с чёрно-красными флагами Невьянска. Это новые барки сходили с пруда на уровень Чусовой. А впереди на реке громоздилась мешанина судов. Десятки барок неслись сикось-накось, сцепившись потесеями. Они крутились и врезались друг в друга. В небе над речной излучиной стояли острые штыки пушечной пальбы; на штыках безобразно корчились хруст и треск, грохот чугуна, крики бурлаков и шум быстротока. Несколько избитых барок, накренившись, лежали на приплёсках. Кто-то уже погружался и что было мочи подгребал к мелководью. Осташа увидел, как на двух прижатых друг к другу барках нелепо, бессмысленно и страшно дерутся бурлаки, прыгая с палубы на палубу и срываясь в воду. Прямо по стрежню мчалась перевёрнутая вверх бортом полузатонувшая барка, и на её чёрные смоляные порубни из бурунов выползали люди. Среди громадин судов плыли доски, обломки потесей, шапки. Шныряли пристанские лодки; с них косные верёвками выуживали тонувших. Одна лодка и сама колыхалась на волне вверх днищем, вся облепленная спасавшимся народом.

На Осташину барку тоже надвигалось бортом сулёмское судно.

— Корнила, Никешка, отшибай! — крикнул Осташа.

Корнила и Никешка выставили потеси, как копыя. Сулёмская барка накатывалась, тоже подняв вёсла. С деревянным бряканьем потеси уткнулись в борта. Две барки, прижимаемые друг к другу силой набега, понеслись вместе, как две лошади в упряжке. Их сдвливало так, что бурлаки медленно пятились. Их рубахи от натуги трещали на спинах, а шеи наливались кровью. Бурлаки от других потесей бросали кочетки и кидались товарищам на помощь. Чусовая поворачивала. Тёмная струя Сулёма, бурлившая вдоль правого берега, сваливала барки влево — так, чтобы на следующем повороте Осташа ударился в глиняный откос. Но бурая толща Чусовской стремнины давила весомее, и Осташа чувствовал, что всё-таки он скинет сулёмца, а не наоборот. И точно: со скрежетом и скрипом сулёмская барка наварлась на отмель и вмиг осталась позади.

— По местам! — сразу заорал Осташа.

Чусовая вертелась, как ошпаренная собака. Барка неслась мимо камня Паклина, камня Гилёвского, камня Романова. Под ними намело крошево обломков. Обломки гулко колотили в просмолённые борта Осташинной барки. В грязных и мутных волнах барахтались бурлаки, которых никто не мог подобрать, и они с матом навсегда исчезали под водой. Чусовая, взбесившись, пошвыряла суда на острова — на Паклины, на Гилёвские, на Шитиковские. Барки здесь нагородило целыми деревнями. А из стремнины кое-где торчали мачты с флагами. Берега были облеплены копошащимся народом, что сумел выгresti со стрежня.

Осташе раньше ещё не приходилось видеть такого боя с сулёмским караваном. Осташа летел на скамейке через чужие смерти, как через заросли густой болотной лывы, и все ветки хлестали по лицу. Осташины подгубщики внадрыв

водили потеси, подгребая без нужды, лишь бы не смотреть в бессилии на гибнущий народ.

Только у двойной плиты Зимняка строй караванов сумел разобраться. С какой-то бездумной, солдатской чёткостью он отработал поворот под бойцом Афонины Брови. Низкие, тёмные Брови были вразлёт расчёсаны мелкими складками, словно огромный волосатый бес, глядевший под водой, довольно разгладил мохнатое рыло. И Чусовая виновато притихла, как после драки, опрятно расслоилась на два ровных рукава вокруг острова Толстик и острова Ки-рин, голосисто и нежно зажурчала под каменистыми обрывами Васькиной горы. Но Осташа не верил этому умиротворенью. Впереди стоял синеватый, как мертвец, камень Могильный с кладбищем пристани Усть-Утка на плеши. За Могильным, за деревней поджидала и сама пристань. От неё, как и от Сулёма, под рёбра верхним караванам должен был ударить тагильский караван.

Усть-Утка зачатила домишками, черкнула по небу главной часовни. Широко распахнулось устье реки Межевой Утки с водосливами гаваней. Затворы гаваней были поло-рото раззявлены. Гавани были уже пусты. Тагильский караван не повторил ошибки невянского — стронулся до под-хода ревдинцев.

Осташа услышал рядом с собой сопенье: это на скамейку вылез проспавшийся Федька. Осташа покосился на него. Федька, не увидевший сулёмского побоища, вдруг показался Осташе кем-то вроде дружка по ребячьим играм, с которым он встретился, когда уже давно повзрослел, а дружок этого и не заметил и по-прежнему обращается по детскому прозвищу.

— Доброго утречка, — сказал Осташа.

Барка пробегала мимо Красного бойца. Похоже, начинался вечер, и в скошенном солнечном свете мхи на скале запламенели.

— Какое там спать! — тотчас отпёрся Федька, будто Осташа был приказчиком, перед которым сознаться в оплошке — ни в жисть. — Сорок пудов перетаскал в одиночку!..

— Ага. Храпел — чуть палубу не сорвало. Межевую Утку уже проплыли.

Федька обиженно замолчал.

Левый берег уже вздыбился кокошником Жёлтого бойца. Жёлтый, видать, не добрал краски собрата и не кровенел, а только малокровно рыжел лишайниками. А дальше из-за мыса высунулся каменный пирожок бойца Харёнки с пихтовой шапкой на макушке.

Начинались родные места... Осташа почувствовал, как душа его съживается, поджимается, черствеет. Ничего не хотелось вспоминать. Всё оказалось ещё слишком свежим, слишком близким, и не случилось ещё дела, которым бы отмолился грех.

Бурлаки мотались на потесах, обводили барку трудным поворотом мимо острова, за которым темнел обрыв Кривуша. А потом по обоим берегам засеменили домики деревни Харёнки.

— Помнишь, как я тебя спас туточки? — ревниво спросил Федька.

Осташа не ответил.

Блеснула на околице деревни речка Королёвка, и лес задёрнул Харёнки зелёной занавеской. Но этот лес, исхоженный вдоль и поперёк, весь был полон памятью. Здесь батя любил пошишковать под кедрами. Здесь с подружками играла Маруська Зырянкина. Здесь Луша собирала грибы и ягоды и учила Осташу-отрока отличать поганки от опят...

— Осташка, вон тот камень!.. — радостно крикнул от потеси Никешка. Осташа снова не ответил.

Под тёмным мшистым валуном они с Никешкой как-то раз по осени нашли боровик-переросток. Шляпка его была размером с кадушку. Вся Кашка дивилась огромному

грибу. Плотинный мастер Данилыч сказал, что найти такого великана — счастливая примета...

А издалека уже доносилось переливчатое урчанье Кашкинского перебора — самого свирепого на Чусовой. Наконец на правый берег вышел боец Дождевой — всё такой же суровый, непреклонный, неприступный... И от его апостольского укора Чусовая корчилась и билась, как в падучей. Дождевой словно бы угрюмо встал над рекой на отчитку, и река заколотилась, одержимая ташами, как бесами. Здесь уклон русла был виден воочию. Всё кипящее полотно перебора спутанной белой пряжей раскатилось вниз из-под скалы, угибаясь за поворот словно с глаз долой. Батя смог простить перебору смерть Луши. А Дождевой никому ничего не прощал — и в праведном гневe разбил о Чусовую красное зеркало солнца, и тысячи осколков запрыгали по волнам.

Осташа не боялся перебора, потому что знал пути сквозь него лучше линий на своей ладони. Барка бежала как по ниточке, не тронув днищем ни единого валуна. А Осташа не знал, куда отвернуться, чтобы ничего не видеть. Волей-неволей взгляд мазнул по деревне, и в душу всё ж таки впечатался облик родного дома. Дом стоял, будто ничего в нём не случилось, будто и не висела в стойле на верёвке мёртвая Макариха, будто и не приходил сюда Пугач с отрубленной головой... Дом казался живым по-прежнему, выглядел обжитым и тёплым. Крыша уже просохла, ставни были отворены. Осташа и не помнил, открыты или закрыты были окна, когда той зимней ночью он прибежал сюда из Ёквы...

Чусовая поворачивала. Осташа почувствовал, что вновь может вздохнуть, словно морок сползал с души. Но всё равно даже думать о себе не хотелось. Хотелось вспоминать другое — хорошее.

Вон за лесами две макушки камня Голбчики. Батя рассказывал, что, когда Ермак ещё мальчонкой был, сибирский царь Кучум напал на строгановские земли. Строганов-старший, Аника Фёдорыч, увёл всех мужиков оборонять свою

столицу на Каме — Орёл-городок. Погнал народ спасать свои раздутые амбары, а Чусовской Городок оставил без защиты: бросил всех баб, ребятишек и стариков — выручайтесь сами, как сможете. И тогда стрелецкая жёнка Ульянка-Чусовлянка собрала бабью дружину и повела её вверх по Чусовой, чтобы остановить татар на дальних подступах. Здесь вот и билась бабья дружина с татарами, здесь и полегла вся, порубленная. Потом, конечно, баб собрали и похоронили, поставили над скудельней два крытых креста-голубца. Анике Строганову те голбцы обидным укором показались, и он велел их срубить. Делать нечего — срубили. А наутро на той скудельне сами собой выросли новые голбцы. Аника разгневался, велел их тоже срубить. Срубили. И на третье утро поднялись здесь из земли выше леса голбцы из вечного камня. ...Батя говорил, что Ермака в Сибирь не надежда повела, а память толкнула.

А за Голбчиками стоял ещё один камень Печка. Но он прятался в ельнике, и Осташа даже не посмотрел, виден или нет в этой печке для него котёл.

Чусовая делала поворот, и на повороте глыбился первый из кашкинских Царь-бойцов — Омутной. Утёсы его были наискось исхлёстаны рубцами. Осташе всегда казалось: барка бьётся об Омутной, и по этим чертам души бурлаков с разбега уносятся в небо. Из трещин и морщин понизу Омутного торчали побелевшие доски и щепки — обломки былых крушений. Но сейчас Омутной миловал, и никто не тонул под его обрывами. Впрочем, кто знает, что случится у Осташи за спиной, когда его барка уже пробежит. Может, нагромодит здесь боец гору из мёртвых барок?..

Чусовские сплавщики помнили: многим из них сатаной назначен Неназванный Боец, под которым суждено принять погибель. Только вот кому — какой? Бате таковым стал Разбойник. Неназванный Боец — не божье произволение, а дьяволово наказание, но вправе ли кто его отринуть, как истязельцы отринули? Милость — она всегда от

Господа исходит, а не от хитрости учителей, и нельзя ремесло с моленьем путать.

Вслед за Омутным другой поворот реки подковой был охвачен Дыроватым бойцом. Его серая стена вылупилась из леса где-то на верхушке горы и сползла к Чусовой каменным коленом. Вечернее солнце уже опустилось ниже гребня скалы, и теперь в ковше излучины стоял холодный сумрак. Барки пробегали излучину одна за другой, и волны мерно плескали в валунные россыпи, как кровь в виски. Бурлаки, хоть им глазеть и запрещалось, зыркали из-под бровей, отыскивая в скале чёрные дыры пещер. Вся Чусовая знала сказки о злых разбойниках, сидевших в этих пещерах, об их кладях и заклетьях. Но это были враки. Осташа и сам лазал в нижнюю пещеру. Не было там ни сундуков, ни черепов. А из разбойников доподлинно прятался здесь только Сашка Гусев, изловленный горной стражей в прошлую зиму вместе с простаком Кирюхой Бирюковым... Но вот во вторую дырку Дыроватого не залезал никто. Эта дырка, как Ермакова пещера, зияла в отвесной стене. Подобраться к ней было трудно, а главное — страшно, да и незачем. Говорили, что в этой недоступной пещере жили чусовские ведьмы. Ночами они превращались в нетопырей и летали по деревням, пили кровь у коров и лошадей, а с рассветом возвращались в логово и весь день сыто спали, повиснув на потолке вниз головой и закутавшись в крылья.

Но и Дыроватый оставался за кормой. Чусовая кошкой уже ласкалась о ноги Оленьего бойца — самого, наверное, красивого на реке. Олений был не шибко опасным, стоял уже за поворотом. Был он когда-то цельной стеной, но сейчас лога и осыпи распилили его на огромные каменные чурбаки. Весёлые боры кудрявились на плоских вершинах. Солнце высветило скалы от подножий до макушек, и каждая складка камня была словно морщинка от улыбки. Не всё же бойцам быть угрюмыми да хмурыми, нужен и доб-

родушный лиходея. Олений не губил народ почём зря: барки здесь бились только по дурости сплавщиков.

А вот скала Вогулинская Гора так и не доползла до берега, чтобы тоже стать бойцом, и застряла в лесу: торчала там над еловыми острями обиженной кучей. Вогулинская Гора будто намекнула про вогулов, и скоро справа блеснула речка Ёква. Вокруг её устья под высокими соснами виднелись шапки вогульских чумов. Осташа не хотел, не хотел смотреть — и всё же глянул, с какой-то мукой в душе отыскивая на отшибе деревни чум Шакулы. А барка уже пробежала мимо невысокой глыбы Собачьего камня, на котором стояла и облаивала суда свора вогульских собак. Собаки охрипли: шутка ли, столько барок пролетело, и на каждую надо гавкнуть!.. Мелькнуло устье Тимошенки. За ним взмыли в небо зубцы бойца Собачьи Камни, сплошь багровые от заката. Но Осташа, командуя в трубу, не думал о бойце, не думал о псах на камне. Он всё равно думал только о Бойтэ.

«Не буду вспоминать о ней, не буду!» — заклинал он себя. Ему нельзя думать про вогулку. А в памяти неудержимо вытаивал запретный образ: девка-жлудовка, ведьма, обманщица, воровка, язычница... До рези в сердце любимая и желанная. Её узкие плечи и бесстыже налитые груди, стоящие враскос; её круглый зад, её бледные губы, её осенние глаза... Осташа затряс головой так, что на левом берегу закачался Синий боец, весь поверху порубленный трещинами, словно колода, на которой разделявают туши...

Вон про камень Конёк лучше думать. Это его голова торчит над ёлками. Конёк — окаменевший конь Ульянки-Чусовлянки, стрелецкой жёнки, чья бабья дружина остановила татар... Не надо было их останавливать. Пусть бы татары согнали с Чусовой всех вогулов и всех русских, чтобы никогда одни других не видели и не знали, чтобы не было никогда человеку прелести истязательства, чтобы не горела заживо душа при мысли о вогульской девчонке...

От Конька Чусовая три версты до деревни Пермяковой текла спокойно. Осташа закрыл глаза, сжал ладонями перильца скамейки. Он, кажется, уже до смерти устал глядеть на скалы, на леса... Жаль, умер разбойник Пермяков, от чьего корня и пошла деревня. Был он, говорят, страшным человеком, но страшным не по лютости, а по тайне своей. Он грабил барки, коломенки, дощаники, шитики — все суда, что проплывали мимо. Грабил так, что никто этого не видел, и ничего после воровства его не оставалось: ни людей, ни могил, ни железа с чугуном, ни щепочки от судна. Куда он всё девал, как справлялся в одиночку? Никто не знал. Барки пропадали, Пермяков богател, а за руку его поймать не могли. Так и умер непойманным. Его положили в гроб, выкопали яму, поставили гроб на дно и яму засыпали. А когда засыпали, то увидели, что могильная раскопанная земля пришлась вровень с нераскопанной, будто пустую яму завалили. Раскопали яму — и точно: нет гроба с Пермяковым. Исчез разбойник так же, как и жертвы его исчезали. Говорят, что те, кого сгубил Пермяков, стали проклятыми душами: ни в рай, ни в ад они не попали. Растаяли. Вот бы и Остахе сейчас растаять без следа...

Деревня Пермякова расселась на левом берегу напротив камня Пермякова. Камень был бурый, переломанный, затянутый лесом. Но меж деревней и камнем на реке громоздился коварный Золотой остров. Манила правая протока: вроде бы прямая да быстрая, хоть и узковата. Но Осташа уверенно направил барку левее острова. Правый ход был по дну перегорожен каменными грядами. Даже на караванном валу барки застревали здесь так прочно, что приходилось их разгружать и стаскивать на бечеве.

Пермяковские крестьяне, варнаки разбойничьего корня, часто сами выходили на берег перед островом и махали баркам рубахами на шестах: мол, держи вправо! Доверчивые сплавщики поворачивали — и выскакивали на камни. А потом, матерясь, платили выжигам, чтобы помогли поскорей

вызволить судно. Поэтому остров и звали Золотым. Доверчивость стоила дорого. Вот и сейчас за кустами на взгровке Осташа увидел сразу три барки. Простаков пермякам всегда хватало.

— Осташка, Колыван схватился! — завопил Федька, тыча пальцем.

И вправду: у деревенского причала стояла барка с двумя флагами Каменского завода. Значит, сегодняшний пробег завершён.

— Давай и мы скорей на хватку! — заполошился Федька. — Чтоб до Столбов встать!.. Боюсь я их, дьяволов!

У ДЕМИДОВСКОГО КРЕСТА

Один только Пасынков останавливал свой караван за Пермяковой деревней. Прочие караваны, похоже, хотели пробежать ещё вёрст десять, пока далеко до сумерек, и схватиться уже возле Усть-Серебрянки. Что ж, дело ихнее.

За Нижним островом и за мысом по левому берегу тянулись длинные покосы, отделённые от приплёска полосой кустов. Из тонкого тальника лишь кое-где торчали толстые осины и причальные столбы с крепкими дрюками, продетыми сквозь башку. Осташа нацелил барку на дерево покрепче. Подгубщики оставили потеси на помощников и встали у огнив, подняв на локти связки снастей-лёгости. Барка, теряя ход, с хрустом вломилась носом в кусты и ударилась о берег; Осташу и Федьку кинуло вперёд, на перильца.

— Логин!.. — успел крикнуть в трубу Осташа.

Старик, широко расставив ноги, умело закрутил над головой лёгость с чугунной гирькой на конце и метнул в заросли. Груз проломил прутья и облетел тонкий ствол осинки, что росла рядом с тем деревом, на которое метил Осташа. Корнила, Логинов напарник, тотчас начал раскручивать свою лёгость с кошкой. Якорёк свистнул и зацепил гирьку

меж лап. Корнила принялся быстро вытягивать снасть. Логин перехватил её и поволок на себя. Корнила скинул с огнива пару колец толстой вытяжной верёвки.

— Живее! — закричал он старику.

Логин, торопясь, засучил локтями. Барка медленно отходила назад. Логин для верности мотанул лёгость на руку.

— Скинь! — дико заорал Корнила. — Не вышла хватка!..

Но было поздно. Вытяжную снасть выбрать не успели — отходящая от берега барка струной натянула лёгость. Тонкая осина затряслась и вдруг нагнулась, как девка. Она обрушилась всеми ветвями на Логина с Корнилой и на шарахнувшихся бурлаков. Барка всё отодвигалась. Лёгость поползла по стволу осины, кудрёй снимая зелёную ленту лыка. Зацепившись за сучок, лёгость зазвенела, и тотчас страшно всхлипнул Логин, невидимый под ветками. Лёгость звонко лопнула. Освобождённая барка бортом вперёд поплыла вдоль берега всё быстрее и быстрее.

— Платоха, загребай! — рывкнул Остаха в трубу, забыв, что Платоха уже оставил потесь.

Но Платохин сменщик не растерялся и сразу толкнул рукоять. Через миг и бурлаки навалились на валёк. Лопасть потеси по широкой дуге улетела к корме барки, плюхнулась в воду и поехала обратно, оставляя кипящий от натуги бурун. Барка послушно довершила разворот — как отурилась. Теперь она уже кормой врубилась в тальник.

Платоха швырнул свою лёгость с гирькой. Лёгость свистнула над кустами и накрутилась на обтёсанный причальный столб, который так вовремя появился в зарослях. Никешка метнул якорёк — и промахнулся; метнул другой раз — опять мимо.

— Убью криворукого! — заревел Платоха.

Никешка в третий раз кинул кошку и наконец зацепил грузик. Огромными рывками он споро выволок лёгость с гирькой и, отступая, тянул её на себя дальше. Платоха скидывал кольца снасти с огнива.

— Есть!.. — рыдающе воскликнул Никешка и схватился за вытяжную снасть, к которой и была привязана лёгость.

— На кнек её! — рыкнул Платоха.

Никешка упал на колени, запутывая толстую верёвку вокруг чурбаков-кнеков. Барка опять пошла назад, от берега, и слабина вытяжки кончилась. Барка колыхнулась и всё равно повела к стрежню. Вытяжная снасть на огниве зашевелилась, как живая: её заранее накручивали «дрябло», с припуском. Кольца снасти сокращались, сжимая столб огнива, и раздался скрип. Кислый синий дым пополз из-под верёвки: это огниво затлело от трения. Платоха уже вытаскивал из-за борта деревянное ведро — и сразу опрокинул его над огнивом, гася пламя. Огниво зашипело, повалил белый пар.

Барка дрогнула и остановилась. Теперь течением её медленно прислоняло к берегу. Едва её плечо коснулось тальника, Корнила с лёгостью в руках сиганул в кусты, пробился к толстому стволу, упал на спину и за лёгость потащил к себе снасть. Выбрав её на пару сажений, он принялся накручивать снасть на древесный комель. Хватка состоялась — барку причалили.

Осташа и Федька перепрыгнули перильца скамейки, пробежали по кровле палатки и соскочили на носовую палубу. Здесь бурлаки уже обступили и схватили взхлёб воющего Логина. Логин, лёжа, извивался на окровавленных досках. Осташу затошнило, когда он увидел, во что превратилась рука подгубщика. Верёвка спустила с неё кожу, как чулок. Обтекая кровью, дрожали красные связки мышц, переплетённые синими жилами. Фиска, стоя на коленях, заголила ляжки, отрывая полосы от подола своего сарафана.

— Сейчас, сейчас, дядя Логин... — бормотала она.

— Ты уж потерпи... — бубнил кто-то из бурлаков.

— Водки!.. Водки!.. — надрывно выдыхал Логин.

Осташа бешено посмотрел на Федьку. Бледный, дрожащий Федька виновато глянул в ответ и закрестился.

Потеси вытащили из воды и положили вдоль бортов, скинули доску-сходню, и бурлаки повалили на берег. Логин Власыч сошёл сам, хотя и весь перекосялся, прижимая к груди обмотанную руку; Логина, как барыню, поддерживали под локоть. Полузакрыв глаза, старик тихо, надрывно ныл сквозь стиснутые зубы; лицо его и борода блестели от слёз.

Федька, чуя свою вину, заметался, разбивая стан. Бурлаки потащили на дрова жерди изгороди, которой пермяковские крестьяне отгородили выпас от опушки чистого соснового бора. Длинная поляна была пуста, если не считать каких-то мужиков, что-то делавших на дальнем краю. Осташа подумал и направился к ним по бурой прошлогодней стерне. Может, там водка найдётся?..

За гнилым, раздёрганным стогом у мужиков обнаружилась пара лёгких балаганчиков. Над курящимся кострищем на козле висели два котелка. В тальнике днищем кверху лежала лодка. На берегу высилась подъёмная тренога из крепких сосновых елей, с её поворины свисали верёвки. Под треногой, раскинув лапы, на земле навзничь распластался здоровенный толстый крест, вытесанный из белого камня. Вокруг валялись такие же белые каменные плиты. Ровня их грани, четверо или пятеро мужиков били деревянными кóлотами по долотам. На Осташу они поглядели хмуро и своего дела не прервали.

Осташа молча остановился над крестом. На груди креста была выбита длинная надпись. Опустив голову и шевеля губами, Осташа с трудом прочёл: «1724 года сентября 8 дня на семъ месте родился у статскаго действительнаго советника Акинфія Никитича Демидова, что тогда былъ дворяниномъ, сынъ Никита, статской советникъ и кавалеръ святаго Станислава. Поставлень оный крестъ на семъ месте по желанию ево 1779 года маія ... числа».

— А я и не знал, что Никита Демид тут родился, — удивлённо сказал Осташа ближайшему мужику.

Мужик опустил молоток.

— Больно важно, на котором месте Демид родился, — пробурчал он. — Важно, чтоб после смерти мимо своего места не проскочил...

— Какого места? — глупо спросил Осташа.

— Пекла.

Осташа поскрёб затылок.

— А чего число не проставили? — спросил он.

Мужик вдруг разозлился, плюнул и с остервенением заколотил молотком по долоту.

— Что ни дурак подойдёт — всяк о том спросит! — в сердцах сказал он. — Сам-то подумай! Будем крест подымать — так и проставим!

— А чего не подымаете?

— Видишь — подошву рубим. Вырубим — подыдем.

— Н-ну, это на пару дней вам ещё работы, — обнадеживающе сказал Осташа всем каменотёсам, чтобы смягчить их перед просьбой о водке.

— Язык брехуна послаще блина... — опять пробурчал мужик. — Дай бог к лету управиться... Нам ещё вокруг креста всё плитами замостить надо и на той вон скале такой же крест и надпись выбить...

Осташа посмотрел на тёмную скалу на другом берегу. Она сплошь заросла тонкими берёзками и сосенками. Из трещин её вытекали широкие щебневые осыпи-шорохи. Скала уже была в тени — словно отвернулась, словно не желала демидовского тавра на лоб.

Скала не прятала своего нежелания прислуживать Демидам, и Осташе противно стало подмазываться к чужим людям. Что он, для себя, что ли, водки хотел? Для пьянки, что ли?

— Православные, а водки у вас не найдётся? — напрямик спросил он. — У меня на барке подгубишку снастью кожу с руки сняло — мается старик.

— У приказчика нашего спроси. — Каменотёс кивнул на балаганчик. — Ежели его сиятельство всё само не выжрало...

Осташа хмыкнул и пошагал к балаганчику.

Пока он будил приказчика и торговался, к каменотёсам причалила косная лодка. Хмельной косный молодец выбрался на берег и тоже застыл над крестом, внаклон читая надпись и водя пальцем по строкам.

— А число-то чего не поставили? — распрямляясь, спросил он.

Каменотёс так ударил колотом, что срубил угол у плиты. Но косный, не заметив, уже направился к Осташе.

— Это ты Переход будешь, сплавщик?.. — Он осёкся, увидев в руках Осташа початый штоф. — Э!.. Дай-ка хлебнуть, голуба-человек!..

— Переход — я, — ответил Осташа, отодвигая от штофа протянувшуюся пятерню. — А тебе чего?

— Да меня Пасынков по Каменскому каравану послал. Колыван велит всему каравану завтра хватку перед Кумышем делать... Слушай, тебе одному-то столько водки почто? Уважь, душа горит!

— Не себе покупал, — хмуро ответил Осташа. — И не тебе.

Он отвернулся и хотел пойти, но косный схватил его за плечо.

— Погоди! — страстно прошептал он, оглядываясь на каменотёсов. — Хочешь, скажу чего? Я скажу — а ты мне поднесёшь. Караванный и Колыван велели молчать — а я скажу!

— Н-ну, говори, — неуверенно согласился Осташа.

Косный чуть склонился, всовывая мокрые губы ему в ухо, и прошептал, щекоча усами:

— Сёдня Калистрата Крицына насмерть застрелили. Эва, понял!..

Косный отодвинулся, пьяно и значительно посмотрел на Осташу и предостерегающе потряс пальцем у него перед носом. Осташа чуть не выронил штоф.

— Кто? — тоже шёпотом спросил он. — Где? За что?..

— Не знаю — кто, не знаю — где, и за что — тоже не знаю, — вздохнул косный. — Калистратка с косоглазым под вечер куда-то сплыли с барки на лодке. Мы уже у Пермьковой деревни схватились, когда косой вернулся и Калистратку мертвяком привёз. Вот так. Давай штоф.

Косный мягко вытащил бутылку из рук Осташи, который этого и не заметил. В смятении он стащил шапку и принялся тереть лоб. Чупря куда-то плывал с Калистратом, первым человеком на сплаве... Чупря, служивший Конону Шелегину, как пёс... Но ведь Конону, а не Калистрату!.. А Конон говорил, что Крицыны — не те люди, которым он своё дело завещать может... Вот Колыван — тот человек; но ведь и Колывана Конон считал не жильцом... Что же получается: Колыван Чупрю подмял под себя и велел Калистрата кончить?.. А на кой же чёрт тогда Колыван Прошку везёт? Зачем Колывану Нежданку за Прошку отдавать, если Калистрата порешили? Или Прошку не сегодня-завтра — тоже под пулю или в перебор?..

Косный опасно потряс Осташу.

— Эй, сплавщик, — смущённо позвал он, — ты штоф-то у меня отбери — я же до дна вылакаю...

Логину Власычу от водки и вправду полегчало. Бессильно отмахнувшись от ужина, он забрался в шалашик и затих. Бурлаки прошлую ночь почти не спали — бражничали, а потому их начало морить прямо над чашками. Сумерки ещё не успели сомкнуться, а бурлаки уже натаскали лапника, натянули над ним меж деревьев парусовку, и большинство повалилось спать. Осташа тоже клевал носом у костра. Один только отоспавшийся днём Федька всё суетился, подогревая в кашеварном котле воду, чтобы отскоблить чугун.

Плотная весенняя тьма затянула небо, словно глаза конопатила. Только по углям рыжей лисой ещё бегало пламя. Оно вдруг выхватывало отсветом то чью-то усталую бородатую рожу, то крепкую спину заснувшего у огня человека.

— Остафий Петрович, ведь сгорите... — услышал Осташа шёпот и встряхнулся.

Рядом на короточки присела Фиска. Помолчав, она робко протянула руку и пощупала Осташино плечо.

— Совсем раскалились... Разве не чувствуете?

От прикосновения заботливой, живой бабьей руки тепло потекло по груди, отдалось вверх по шее. Осташа, ничего не говоря, смотрел на Фиску. Вот слетело с неё зубоскальство и паскудство — и такая чуждая бабёночка осталась: губки вишенками, глазки ласковые, титечки под сарафаном, как яблочки, налились. Всё с Фиской просто, всё по-человечьи: и нежность, и даже грех. Вот взять её сейчас за руку, да повести в казёнку, да уложить на лапник. Зацеловать, закинуть сарафан на грудь, заласкать в темноте, чтобы сама ноги задрала да раздвинула... И чего над Фиской не учини — всё будет по эту сторону добра. Не шагнёшь, как в полыню, в морок и в ледяной огонь вогульского камлання...

Что-то больно многое сегодня его мыслями на баб выводит. Понятно: где-то рядом — Бойтэ. Да ещё неподалёку Прошка Крицын, мешок с дерьмом Неждане Колывановой в подарок... Хотя и не любима Неждана, а всё ж таки вошла в душу, незваная и неожиданная... И пусть у Нежданы будет Прошка, и пусть у Бойтэ будут все блудливые мужики Чусовой, но только он, Осташа, навсегда останется Бойтэ и Неждане за главного. И эта мысль как-то нехорошо будоражила ум. Неужто в злых девках спасение есть? Словно пообещали спасти — и Осташа купился, а вместо спасения вышла погибель. И страшно то, что не жалко ничего. А доброй, глупой Фиске с её хмельком и простенькой морковной сладостью никогда не иметь в себе ни крепкой мужицкой сытости Нежданы, ни яркой, драгоценной соли Бойтэ.

— Давайте прореху на армяке заштопаю? — предложила Фиска.

Осташа вспомнил, как рука Чупри сцапала его за загривок.

— Не надо, дева, — ответил Осташа и с трудом поднялся на занемевшие ноги. — Спокойной ночи тебе.

Он нагрёб вокруг себя лапника, сколько влезло в охапку, и пошёл к барке. Не оступаясь, вслепую прошагал по сходне, слез в льяло, скинул еловые ветки в дверку тёмной казёнки. Потом пролез сам, встал на карачки и сбил лапник в кучу, вытащил из-под поставца драную кошёвку и лёг, закрывшись кошёвкой с головой. Было холодно, но Осташа надеялся угреться. Барка почти неуловимо покачивалась. Где-то рядом чуть слышно журчала вода, и шуршала по бортам тонкая шуга, припаем обметавшая приплёски этой студёной весенней ночью.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ
Вреющие воды

ФЕДЬКА МИЛЬКОВ

Осташа уснул мгновенно, хотя какое-то время ему ещё казалось, что он не спит, а просто тихо лежит в барке, как в колыбели, и барка плывёт по реке, баюкает его на волнах... Проснулся он так же резко, словно с печи упал. За дверкой казёнки слышался тихий шорох.

«Фиска! — понял Осташа. — Пришла сама!..» Он сел на лапнике, таращась в темноту. Фиска, как мышь, шуршала едва слышно. Осташа спросонок ощупал душу: что делать? Грудь дышала глубоко, а руки и ноги уже застыли. Хотелось тепла, жара, яростного, как бой, движенья. Бабу хотелось, аж всё в глазах перекопилось. Испарина обмазала лоб. А Фиска всё тёрлась за стенкой, не заходила.

— Фиса! — свистяще позвал Осташа. — Зайди, Фиса!..

Но за стенкой заскрипели ступени лесенки, уводящей из льяла на палубу. «Испугалась! — понял Осташа. — Догоню... Догоню!»

Он вскочил и бросился к дверке, толкнул её и нырнул было в проём, но чуть не врезался в дверку головой: дверка не открылась. Осташа с размаха ударил в неё кулаком. Дверка прыгнула в косяке и железно лязгнула. Она была за-

перта. Заперта снаружи. Видно, Фиска взяла из груза прут и всунула его в петли, куда и сам Осташа всовывал дужку замка, если и ему с Федькой приходилось отлучаться с барки. Кроме сплавщика и водолива, заходить в казёнку никто права не имел. Зачем же Фиска его заперла?..

Фиска?! Чутьём сплавщика Осташа и в полной тьме ощутил, что его барка тихо движется боком. Это барка-то, на три снасти привязанная к берегу?.. Нет, не Фиска была за стеной! Какая ещё Фиска?! Кто-то другой обрывал снасти, чтобы барка незаметно отчалила, поплыла — и разбилась о близкий боец Столбы!.. Этот вор и запер казёнку, чтобы Осташа утонул вместе с баркой... Утонул в казёнке так же, как Сашка Гусев, который, прикованный цепью, захлебнулся в батиной барке, ушедшей на дно под бойцом Четыре Брата!

«Холитан Хар Ампл!.. — почти ощутимо зашептала в ухо Бойтэ. — Ты — Завтрашний Пёс! Ты завтрашний след знаешь! Это я тебя нашла, мой эрнэ эруптан!..»

Осташа обеими руками ударил в боковую стенку казёнки. Ведь ещё в Каменке Кафтаныч рассказал ему, как барки поддырывают, и он верхние доски стены присадил на гвоздь еле-еле — чтобы всегда иметь запасной выход из казёнки, чтобы не стигнуть страшной и обидной гибелью, какой Сашка Гусев сгиб. Две доски отлетели куда-то вглубь барки, обнажив широкую щель. Осташа подпрыгнул и воткнулся в неё сразу по пояс. Он задрогал ногами, зашарил руками, цепляясь за шершавые чушки груза, выволок себя на железо в мурью. Здесь было чуть-чуть светлее. Из проёмов палатки падал синий ночной свет, отблёскивал металл ровно уложенного груза. Осташа по чугуну пролез к лесенке и взмыл на палубу.

Не было никакой тьмы — ночь сияла ясная и прозрачная. Белое кружево заиндеветшего тальника оторочило рябившую серебром излучину Чусовой. Просветлев каменным лицом, скала глядела на реку из-за берёзок и сосенок. Над клином дымно-сизого ельника за мысом поднимались

бледные, бугристые сваи Столбов. По небу цепами стужи наколотило и размело звёзды, как полóву по току. Барка стояла на реке наискосок. Она далеко отошла от берега носом, с которого чёрной соплёй свисала обрезанная снасть.

Осташа повернул голову: на корме у столбика правого огнива возился какой-то огромный человек. Под луной вспыхнул ножик. Человек пилил натянутый канат.

Корма была привязана на две снасти. Одна сейчас была со слабиной, а другая, основная, внатяг держала барку за причальный столб. Вот её-то и резал вор. Вором был Поздей.

Весь день он работал на потеси тише воды ниже травы, Осташа и забыл о его существовании. Только вот сам Поздей о себе не забывал.

Осташа кинулся к Поздею. Но в этот миг снасть, которую Поздей допилил, оборвалась и со свистом улетела в тальник. Барка качнулась. Осташа поскользнулся на изморози и боком полетел на палубу. А Поздей метнулся к другому огниву, к последней снасти. Но барка уже сплыла, выбрала её слабину. В тот миг, когда Поздей схватился за снасть, барка дёрнула её всей своей тысячепудовой тяжестью. На берегу из темноты облаком ледяной пыли выскочил тополь, к которому была примотана лёгость: он встряхнулся от рывка каната, взблеснул обмёрзшими ветвями. Канат тонко заныл от натуги, как тетива, и вдруг бабахнул — лопнул. Его увесистый хвост, извиваясь змеей, пронёсся над водою и шарахнул над палубой, над Осташей, словно бич пастуха. Он ударил Поздея поперёк груди, и Поздея как стёрло с палубы. Барка медленно пошла вниз по течению.

— Наро-од!.. — вскочив, заорал Осташа.

Обрывок снасти булькнул с борта в воду. Осташа ринулся к огниву, цапнул снасть, принялся выбирать её из воды, широко работая локтями. Не было даже возможности оглянуться на берег — бежит ли подмога? ...Сколько времени он проспал в казёнке? Может, полночи уже прошло, и все дрыхнут замертво?..

Барка плыла всё так же наискосок — носом далеко от берега, кормой поближе. В руках у Осташи качнулся оборванный конец каната. Только этим обрывком ещё и можно успеть примотать барку к берегу...

Тальник у приплёска затрещал: сквозь него продирался человек.

— Кидай, блядь, снасть!.. — услышал Осташа рыдающий крик полуночника Федьки.

Скользя по индевелой выстилке, Осташа что было сил раскрутил над головой мокрый и тяжёлый конец и метнул его куда-то в сторону Федьки. Конец плеснулся в воду, и тотчас где-то там же могуче бултыхнуло. Федька ахнулся в Чусовую.

Он вынырнул со снастью в зубах: толстая верёвка еле влезла в раззявленный рот. Федька заколотился, по-собачьи подгребая к берегу, шумно выскочил на приплёсок. Чтобы набрать запас длины каната, он побежал за баркой, поднимая тучу брызг, обогнал судно и сунулся в заросли. Он упал возле дерева и начал обматывать ствол верёвкой — один оборот, другой, третий... Снасть кончилась. Барка опять выбрала слабинку и рванула Федькино дерево. В воду посыпались ледышки, прошлогодние листья, сосульки. Дерево не вывернулось из земли, снасть выдержала. Барка, колыхаясь, остановилась. Мимо неё медленно проплыла доска-сходня. На берегу слышался сбивчивый топот и заполошная ругань — это бежали бурлаки.

Осташа, успокаиваясь, быстро поскидывал с двух других огнив кольца снастей и швырнул их с борта. Федька, словно уже не мог удержаться, ещё дважды кидался в Чусовую за верёвками, как собака за палкой. Матерясь, путаясь руками, топча тальник, бурлаки подтянули барку ближе к берегу и примотали к деревьям крепко-накрепко.

Осташа оглядел палубу и пошёл к палатке. Сюда уда-ром снасти забросило Поздея. Осташа с трудом перевернул его на спину. Лицо Поздея превратилось в сплошную чёрно-блестящую яишню-болтуню, из которой торчал

съехавший набок веник бороды. Бурлаки, что забрались на барку, столпились у Осташи за спиной: разглядывали мёртвого Поздея.

— Ты его так уделал? — спросил кто-то.

— Я что, Илья Муромец, что ли? — буркнул Осташа.

Бурлаки молчали, переминались с ноги на ногу.

— Его снастью убило, — неохотно пояснил Осташа. — Снасть лопнула. Господь вора сам наказал.

— А почто ему было барку спускать?..

— А почто он вас, дураков, за тринадцать копеек против меня натравливал? — зло спросил Осташа. — Почто он на смерть зарёб под Мосиным бойцом? Почто вообще такой богатырь на наш караван нанялся, коли сам из Ревды, а в Ревде подгубщикам платят куда больше, чем в Каменке?

Бурлаки сопели, почёсывались.

— Кто-то, видать, хорошую цену дал, чтобы ни ты, ни барка твоя не дошли до Лёвшиной, — негромко прозвучало из толпы.

Осташа уже понял — кто. Колыван. Кому ещё он нужен, кроме Колывана? У кого Чупря плывёт, стрелявший в Осташу на мартьяновской переволоке?

— Ну что, братцы, — оглядываясь, громко спросил Осташа, — среди вас другой вор найдётся, или можно спать лечь?

Обиженно бурча, бурлаки полезли с барки на берег. Осташа обошёл барку, потрогал натянутые снасти и, подумав, тоже перепрыгнул с палубы в кусты. Не укладываться же почивать в казёнку рядом с мертвецом.

Бурлаки подновили костёр, но не удержались возле огня — потихоньку друг за другом ушли под свою парусовку. У костра на бревне остались только трое. Федька красовался в одном белье — в рубахе и подштанниках, насквозь мокрых. Рожа его была исцарапана тальником. Федька рассказывал о своём подвиге Фиске, которую вытащил из шалаша и не отпускал обратно. Фиска сидела пригорюнившись, дремала. Федька стучал кулаком в грудь и размахивал ополовиненным штофом с водкой — штоф он забрал у Логина.

Третьим на ослядке бревна сидел и спал, уткнувшись лбом в колени, какой-то тщедушный и лохматый мужичонка. Видно, это и был Федыкин дружок Спирька, без которого Федыка смог обойтись только в илимской тюрьме. Рядом со Спирькой под ногами валялась пустая чарка. Осташа молча стащил с плеч свой армяк и повесил Федыке на плечи. Фиска, моргая, посмотрела на Осташу снизу вверх — виновато и заискивающе. Федыка, даже не оглянувшись, деловито полез руками в рукава. Осташа повернулся и отошёл в темноту. Ему тошно было глядеть на людей, как волку тошно ощущать их вблизи.

Он прислонился спиной к сосне и сполз по стволу, обхватил себя руками. Пусто было в голове, пусто в душе. Только глухо гудело в ночи пространство, только широко стелилась и журчала река. Никогда у Осташи не получалось быть не думая — а вот вышло. Он устал от всего, устал. Ничего не надо — ни бати, ни Чусовой, ни Бойтэ... Холод оцепил тело, и Остахе хотелось замёрзнуть, исчезнуть. Он начал засыпать, ронять голову, только изредка расклеивал глаза и тупо смотрел на костёр вдалеке. Вот Федыка уже обнимает Фиску, что-то шепчет на ухо и мнёт её грудь. Вот встаёт и тянет за руку. Вот уводит в лес, подталкивая в зад ладонью, — герою нужна награда... Осташа долго смотрел на догорающий костёр. У него уже все суставы заломило от холода. Опираясь о ствол сосны, он с трудом поднялся и поковылял к огню.

Он опустился на бревно, подобрал какой-то сучок и пошурудил им в углях. Костёр обрадованно затрещал. Остахе показалось, что стрельнула головня, — но вдруг из леса донёсся истошный бабий визг. Это не в костре что-то лопнуло, это в лесу ударили из ружья.

Осташа сорвался с бревна и опрометью побежал вдоль опушки, ещё сам не понимая зачем. Фиска всё орала взахлёб. Осташа ломанулся в подлесок, отмахиваясь от еловых лап, и вскоре выскочил на полянку, еле освещённую звёзда-

ми. Посреди полянки ничком лежал Федька. Под Федькой орала и билась Фиска. Волосы её разметались. Она отталкивала Федьку руками, впустую лягала в воздухе голыми, белыми ногами. А Федька лежал без всякого движенья: не хватал Фиску за руки, не зажимал рот. В светлой прорехе на армяке посреди Федькиной спины дымилась чёрная дырка.

Осташа схватил Федьку за плечо и перевернул, освободив бабу. Федька подался тяжело, мягко и безвольно. Голова его перекатилась на плечах, как привязанная. Фиска, завывая, на спине отползла назад, села и принялась рвать на себе сарафан, рубаху. Руки её вмиг почернели от крови.

— У... у... у-убил!.. — задыхаясь, выла Фиска.

Она вытащила из порванного ворота рубахи круглое плечо — на сарафан вывалилась грудь, перепачканная кровью. Осташа поразился: сосок стоял торчком, будто Фиска не смертельную рану искала, а любила с мужиком. Но смертельной раны у Фиски и не было. И вообще никакой раны не было. Только на боку под мышкой кровоточила глубокая и длинная царапина. Осташа упал перед Фиской на колени, поднял ей локоть и отодрал от царапины ладонь. Фиска тряслась и взвизгивала, вырывалась, лезла рукой к порезу. Осташа в остервенении с размаху хлестнул её по щеке, по другой, потом снова и снова. Фиска, потеряв всякое понятие, только мотала головой, пытаясь закрыться.

— Жива ты, не ори! — рявкнул Осташа. — Не умрёшь, слышишь!..

Фиска икала и сглатывала, прятала лицо в ладонях, всхлипывала:

— Не-не... не бей!.. Не бей, миленький!..

Осташа оглянулся. Вокруг Федьки уже стояли на коленях бурлаки. Платоха бережно держал голову Федьки, а другой бурлак лежал ухом у Федьки на груди.

— Мёртвый... — распрямляясь, растерянно сказал он.

Никешка дрожащими руками убирал в раскрытую прореху Федькиных штанов вывалившийся срам.

— На бабе, вишь, его застрелили, — сказал кто-то кому-то. — В спину навывлет — и бабе бок поранили...

— Могли и наповал обоих...

Чья-то рука схватила Осташу за загривок и поставила на ноги. Осташа увидел перед собой перекошенное лицо незнакомого бурлака.

— Это чего ж такое? — хрипло закричал бурлак. — И на камень нас хотели кинуть, и барку спустили, и водолива застрелили!.. Давай ответ, сплавщик!.. Кто это сделал? Почему? На тебя небось охота!..

Осташа отбил державшую его руку и что было сил ударил кулаком бурлака в зубы. Бурлака унесло во тьму. Осташа чувствовал, как по рассечённому до костей кулаку потекла горячая кровь.

— Я не знаю! — зарычал Осташа, взглядом раздвигая толпу вокруг себя. — Но ей-богу — дознаюсь!

В него будто вложили второго человека. Один осатанел от ярости, от гнева, а другой был спокоен, как мёртвый. Один и вправду не знал ничего — а другой знал всё, давно всё понял.

Не зря сегодня приплывал косный с нелепым приказом делать завтра хватку перед Кумышем. Разве сплавщики и сами бы не догадались схватиться перед Царь-бойцами, если даже караванный уже схватился? Нет! Этот косный просто в разведку был послан — узнать, где Переход оставился. Узнал. Донёс. И ночью Чупря пришёл с ружьём. Сначала науськал Поздея. У Поздея не вышло. Тогда подождет на опушке, когда Осташа в лес пойдёт. На Осташу в темноте и приметка была заготовлена — светлое пятно на спине, где из армяка был вырван клочок. Не спутать. Только армяк-то Федька напялил... И получил пулю меж лопаток. Не в Федьку же стрелял Чупря — в Осташу стрелял.

— Я узнаю, братцы, — успокаиваясь, повторил Осташа с такой решимостью и тяжестью в голосе, что никто и усомниться не посмел. — Узнаю. И убью вора. Своими руками убью. Слово сплавщика.

КОНЕЦ КАРАВАННОГО ВАЛА

Солнце оглаживало поляну и скалу, а те никак не прогревались, словно перестывшая печь. Пока бабы чистили котёл, бурлаки как попало расселись и развалились у костра. Осташа кочетом взгромоздился на бревно, сунув под себя босую ногу, и подбивал булыжником ржавые гвоздики в подошве сапога. Рядом пристроился мужик, одетый в зипун и накрепко перепоясанный. Он словно больше не собирался вставать у потеси, где жаркая работа раздевает до рубах. Мужик мялся и всё оглядывался на кого-то.

— Ну, говори, — подтолкнул его Осташа, не поднимая головы.

— Ты, сплавщик, прости нас, но уходим мы со сплава, — вздохнув, признался мужик.

Осташа опустил булыжник и внимательно оглядел бурлака от драных лаптей до мятой шапки.

— Кто это «мы»? — мёртво спросил он.

— Я, да Иван Мантуров, да Иван Сонин, и ещё Любим Петрович, и Терёшка. Мы с Грошевой волости. Домой побежим.

— Почему?..

— Ты обиду на нас не держи. — Бурлак стащил шапку и, глядя в сторону, выворачивал её то наизнанку, то обратно налицо. — Что ты не продажен, то все увидели... И веру тебе дали... Не твоя вина... Но ты бедовик, — наконец с трудом признался он. — Боязно нам с тобой. Мрёт народ-то вокруг тебя... А после Кашки и вовсе Царь-бойцы пошли, вдвое страшнее стало.

Осташа молча вытащил из-под себя ногу, намотал онучу и принялся натягивать сапог.

— Денег больше не заплачу, — предупредил он.

— Живот дороже...

— Тогда проваливайте. Держать не буду.

— Мы упокойников с собой заберём, — виновато и заискивающе сказал бурлак. — Похороним их в Пермяковой деревне...

— Хотя на том спасибо. — Осташа встал, больше не глядя на мужика. Мужик тоже поднялся.

— Мы могли бы и так убежать, — обиженно добавил он. — А решили по-хорошему — сплавщику ответить...

— Что, я должен обнять вас да в обе щеки расцеловать? — огрызнулся Осташа.

Бурлак нахлобучил шапку, сбил её на глаза.

— И ещё Логин Власыч с нами пойдёт, — сказал он. — Куда ему без руки у потеси стоять?

— Пускай идёт. Воля.

— И баба эта, которую под водоливом подранили...

Осташа огляделся, отыскивая взглядом Фиску. Фиска в стороне сидела на чурбачке. Она отвернулась от костра, от людей, ссутулилась, плотно обмотала голову платком и подняла ворот шабура. Как и прочий народ, она, конечно, слышала этот разговор, но не обернулась.

— И Спирька... — всё добавлял мужик.

Спирька всё утро не отходил от покойников. Он расстелил холстину и, скрестив ноги, торчал на ней в головах у Федьки вогульским болванчиком. Федька и Поздей были накрыты общей парусовкой. Осташа отличил бы Федьку от Поздея, только если бы приподнял край покрыва и посмотрел. А Спирька не лазил под пелёну — собачьим нюхом сразу почуял, кто справа, кто слева.

— Я Федю обмою, гроб ему сколочу, канон прочту, — тонко и тихо пояснил Спирька Осташе. — Я с Федей побуду, ещё поговорю с ним...

— Всю жизнь, что ли, на его могиле просидеть собрался? — зло буркнул Осташа и тёмным, гневным взглядом обвёл молчащих бурлаков: — Кто ещё сбегнуть хочет? Сразу говори, не убью ведь!..

Бурлаки не отвечали, отворачивались, кривили рожи.

Осташа в тишине прошёл мимо них и пошагал к барке — она теперь была зачалена далеко от стана. Выйдя на берег, Осташа увидел плывущую мимо барку с флагами Каменского караванного. На скамейке стояли трое: наверное, Колыван, Пасынков и Прошка Крицын. Осташа сунул в рот два пальца и оглушительно засвистел. Колыван, который пристально разглядывал Осташину барку, повернулся на свист всем телом. «Пусть видит, враг, что я живой!» — подумал Осташа, стащил шапку и помахал над головой.

К костру Осташа вернулся с мешком денег, бросил его к ногам Корнилы Нелюбина. Корнила вроде был грамотнее всех прочих, и самого Осташа тоже.

— Корнила, ты посчитай деньги и подели на всех, кто не убежал, — сказал Осташа. — Логину его долю тоже посчитай сполна. Хочу сейчас плату раздать.

— Эй, сплавщик, так не положено! — заволновались бурлаки. — Почему сейчас? Почему не в Лёвшиной?

— А чем сейчас плохо? — опять разозлился Осташа.

— Дурная примета, — напрямик заявил один из бурлаков.

Осташа уже отметил его для себя — Ульяха Бесов.

— Не с твоей фамилией каркать, — отрезал Осташа. — Чего напугались, дурьё? Вы что, за табачком сюда явились? Не знаете, какое дело делаем? Всё может быть. И убится может наша барка.

— С тобой и убьётся!.. — выкрикнул кто-то.

— Может! — твёрдо повторил Осташа. — Я не Господь бог! И я могу ошибиться — и убью барку! От этого греха никто из сплавщиков не защищён, кроме... — Осташа сбился, вспомнив об истязателях. — Никто! — повторил он, чтобы не мутить душу бурлакам. — Я всё сделаю, чтобы спастись. Обещаю миру. Но кто же знает, удастся то или нет? И если убьётся наша барка, то денежки ваши на дно уйдут. А так — при каждом своё останется. Плохо это разве?

— Ну, хорошо, да всё равно не по-людски — искушать-то... — сомневались бурлаки.

— А за себя ты не боишься? — насмешливо спросил Осташу Бесов. — Вздует тебя караванный-то за щедрость твою.

— А я на Федьку свалю, — нагло и с вызовом ответил Осташа. — С мёртвого спросу нет. А Федька добрый был. Он бы для народа не поскупился.

Бурлаки отворачивались и плевали.

— Что-то не то с тобой, — испытующе глядя на Осташу, сказал Платоха. — Ты чего делаешь-то, подумай! Получается, что народу мёртвый водолив деньги выплатил за непройденные вёрсты!

— Нечего по старушым наговорам жить! — взбесился Осташа. — Своего ума, своих сил, что ли, нету? Ваше дело — у потесей гнуться, а не судить! Приметы все ваши — суть суеверие, а не вера! Ересь! В бога ли вы верите, коли на всякую дьяволову привычку свой обряд вершить готовы?

— Кто не хочет — не бери денег! — хмуро сказал Корни-ла, выкладывая монеты кучками на пожухлой прошлогодней стерне. — Я в мешке при себе оставлю. В Лёвшиной честно отдам, коли все дойдут и сам жив буду...

— Да пёс с вами, двоеданами... — забурчали бурлаки, поднимаясь на ноги и окружая Корнилу. — Давай деньги!

Пора было отваливать. Бурлаки крестились над покойниками, совали медяшки в руки остающихся мужиков: пусть поставят свечки за упокой души безвинно убиенного крестьянина Фёдора Милькова. Остающиеся, сняв шапки, кланялись уходящим.

На барке Осташа пересчитал народ. Двое убитых, да Бакир, да пятеро из Грошевской волости, да Логин, да Фиска со Спирькой... Вместе с собой у Осташи должны были быть тридцать один человек. Осташа без себя насчитал только двадцать восемь. Значит, ещё двое сбежали — уже с расчётом за весь сплав. Подлюги... Зато теперь народ совсем поровну делился: по семь человек на потесь. Это вместо десяти. Тяжело бурлакам придётся. Может, схватиться где при деревне — в Усть-Серебрянке или в Бабёнках? Или на пристанях новых бурлаков поискать — в Кыну, в Ослянке?..

Ловко было бы кыновлян нанять: эти Чусовую как бабу свою знают, и на Разбойнике кыновляне всегда меньше всех бьются... Но каждая хватка — это пятнашки с сатаной. Нет, не стоит овчинка выделки. Придётся без подмоги обойтись. Может, в Кумыше, на ночлеге кого удастся подгрести под себя?..

— Эй, сплавщик, — крикнули бурлаки от левой носовой потеси, — а нам вместо Логина кого в подгубщики поставишь?

— А кто у вас больше всех на сплавы ходил?

— Я, — ухмыльнулся мужик, которому ночью Осташа захватил в зубы. — Пятнадцать сплавов за плечами. Берёшь меня?

Осташа смерил его взглядом. Он хорошо запомнил, как этот зипунник властно цапнул его за шкирку, словно щенка. Такого Осташа прощать не умел.

— А ты в чью сторону потесь поведёшь? — спросил он. — Куда я велю или куда самому верным покажется?

Мужик стёр ухмылку, задумался.

— Куда ты велишь, — тяжело сказал он.

— Ну, тогда будь подгубщиком. Пускай Корнила тебе на рубль больше заплатит, у него ещё неделимый остаток есть. Как звать-то тебя, человек?

— Тоже Логин, — ответил мужик и словно против воли опять разъехался в недоброй ухмылке.

— Дурная примета! — тотчас рядом брякнул Ульяха Бесов, оказавшийся на этой же потеси.

Осташа схватил Ульяху за бороду и дёрнул так, что с Ульяхиной плечи слетела шапка, покатилась по палубе и упала за борт.

— Горлану наука, — сказал Осташа и закричал: — Отвал барке!

Он поднимался на скамейку, а барка, чуть колыхаясь, медленно отходила к стрежню. Бурлаки отталкивались длинными потесями от кромки берега, заросшего ивняком, и Осташе казалось, что они отталкиваются от дурных примет, от страха гибели, от боязни принять жизнь такой, какова она будет.

Осташа уже пропустил весь свой караван и даже следующий караван пропустил — трёкский. Теперь пришлось затесаться в строй бегущих барок сразу за головной баркой курьинского каравана. Он усмехнулся, представив, как сейчас его костерит курьинский караванный, которому он заслонил его суда.

Еловый мыс оттягивался назад. Река, избоченившись, поворачивала. Слева, качаясь, вырастали до неба чудовищные идолища каменных Столбов. За Столбами над окоёмом стелились плоские сизые облака. Между ними желтели жидким солнцем узкие протоки, и по одной из них за скалами плыла вдали гусиная стая. Чусовая разноголосо шумела на прибрежных валунах, и не понять было, то ли за излучиной плещет на переборах волна, а то ли в облачных теснинах курлычут возвращавшиеся гуси.

Осташе всё казалось, что рядом стоит Федька, бубнит под руку, трусит, шмыгает носом... Но Федьки, конечно, не было. И ветер как-то нелепо шарахался над рекой, словно глупый жеребёнок без привязи: Федьки не стало, будто не стало колышка, к которому жеребёнок был привязан. Хотя и при Федьке ветер баловал всю дорогу, но всё же не так, не с бездумной тоской... Сумрачно было на душе, сумрачно на реке. Молча ждали впереди угрюмые бойцы, оттачивая лезвия стрежней. Чёрная тень Пугача летела по теснинам: если не убежишь — накроет с головой.

Пугач ведь говорил Осташе: все вокруг тебя гибнут. Вот сегодня накроется землёй Федька, а в соседних ямах будут лежать Калистрат Крицын и Поздей. Сатана, забавляясь, лупил молотком, целя в Осташу, но раз за разом промахивался. Удары попадали на то место, с которого Осташа только что ушёл. Он не знал, был ли он вогульским Холитан Хар Ампом, завтрашним псом. Но ведь и вправду молнии секли только вчерашний его след... Неужели той страшной и дивной ночью в Ёкве он потерял свою душу? Неужели превратился в вогульское чудище? Но ведь батя своей жизнью всем доказал, и ему тоже, что есть путь в теснинах, что

и на нём можно душу сберечь. Если ему, Осташе, больно, значит, он не ургалан, есть в нём душа. Он пронёс её сквозь все вогульские искушения, как мокрую, скользкую рыбу в ладонях. Мог выронить, но не выронил, не упустил, не позволил выпрыгнуть из рук.

Пугач убеждал: люди вокруг Осташи гибнут оттого, что он своего бати Петра Фёдорыча ургалан. Ургалан от лукавого толкует правду человека, чью душу в себе несёт. А от сатаны ничего иного, кроме гибели, быть не может. «Пугач врал, врал! — заклинал себя Осташа. — Жива моя душа! И батиной души я не поганил!»

Ведь чего он сделал-то, Осташа? Ничего не сделал! Нагрешил только без меры — вот и всё! Он ничего в мире не изменил, чтобы в мнениях народа щель появилась, куда сатана смог бы протиснуться. Царёвой казны он не откопал, имя батино не обелил, правды батиной ни до кого не донёс. Только и всего, что дознался, как Колыван батю сгубил. Ну да о том, что Колыван и есть убивец, Осташа и без доказательств догадывался. Это не новость...

...А что это вообще значит — батину правду донести? Кому, как? Людям? Люди Колывану верят, Конону Шелегину, Мирону Галанину. Нет у народа лика — верно Корнила говорил, — чтобы этим ликом народ в грязь ткнуть. Народ батиной правде, батиному пути в теснинах не поверит. Об этом Конон и твердил Осташе в своей каплице. Народ в ургалана поверит, как поверил в Пугача. И кому же тогда батиной правдой глаза промывать?

Самому Конону? Конон, как Бакирка про Шакулу сказал, — «обманул, умер». Конон уже ушёл, усмехаясь; ничего не услышал. Старцу Гермону про батину правду поведать? Но Гермон свою правду лелеет, серебряную: последнее таинство. Мирону Галанину батина правда тоже не нужна: к чему чусовская правда в трещинниках Ирюмских болот? Колывану о правде спеть? Да Колыван плевал на неё. Колывану царёва казна нужна, а правда хоть чья будь, он всё одно — обочь. Некуда с правдой-то ид-

ти. С этой правдой Осташа как немой среди глухих — попробуй покричи.

Если бы у Осташи души не было, если бы украли его душу дырник, или жлудовка, или вогульские бесы, то Осташа людей бы губил не своей гордыней, а батиной правдой. А он ею никого не сгубил. Сгубил своими грехами. Да чего уж там: и за собственные грехи люди жизнью расплачивались. А более всего за царёву казну убивали — за неё, родимую. За батину правду ещё никто не полёг. Не знает о ней никто, не нужна она никому. Одному Осташе нужна. За неё он и грех вершит, за неё и расплату примет.

Он не истязалец, которому всё даётся даром. Значит, ему придётся платить очень дорого. Вон слева стоят в ряд утёсы бойца Сплавщик. Батя рассказывал: был в старину какой-то сплавщик, который обещал чёрту душу, если чёрт будет его барку по теснинам невредимой проводить. И чёрт служил. Сплавщик состарился, и страшно ему стало умирать: пекло его ждёт. Решил он обмануть чёрта и самому разбить свою барку. Если барка убьётся — значит, не выполнил чёрт уговора, и не видать ему человеческой души. И вот на первый-то утёс этого бойца сплавщик свою барку и направил. Барка со всего разбегу ударилась — и отскочила без царапины. Сплавщик её на второй утёс поворотил. И то же самое. Он на третий утёс — опять. Так обо все утёсы и колотился без толку. А на последней скале чёрт устал, взял да и отодвинул скалу от берега. Увидел это сплавщик и понял, что не отвертеться от расплаты. Подбежал к якорю, обмотался цепью и вместе с якорем ахнул под воду. Только и от Господа не было ему прощенья, потому что он сам себя порешил, не понадеялся на божье спасенье.

Батя говорил Осташе: есть грехи, которых Господь простить не захочет, но нет грехов, которых он не может простить. А потому, чего бы ты ни натворил, не строй на грехе гордыню — мол, всё равно мне прощенья нету! Проси о нём. Не тебе судить, что будет прощено, а что — нет. Живи по правде и проси за неё прощенья — а как ещё в миру жить иначе?

Вон они, грехи его, — скалами стоят. Осташа, шурясь, глядел на Дужной боец. Барка бежала по тому месту, на котором в снегу лежал мёртвый Шакула, сброшенный с обрыва Яшкой-Фармазоном. Или Шакула тогда ещё не мёртвым был?.. Развалины Ростучего камня, лепёха Коврижки, а вот и скала с Юнтуп Пупом. И вправду: за ёлками совсем не видно дыры, которой кончается колодец, начавшийся у скалы на темени. Не ходят тут добрые люди... Висит ли ещё на сучьях костяк Яшки-Фармазона?.. Над ёлками вилась и граяла воронья стая.

За Гаревой речкой глыбились развалы камня Котёл. Котлом его прозвали за впадину-пещеру. Но Осташа не боялся этого Котла. Только в Печках сплавщики высматривали те котлы, в которых их живьём варить будут. Однако здесь Осташа поневоле чуть подался в сторону, на край скамейки. Отсюда начиналась ещё одна дуга Чусовой, вроде Мартьяновской. Не прячется ли снова за валунами Чупря, выцеливая его ружьём?.. Нет, никто с Котла в Осташу не стрелял.

Следом за Котлом белел в ельнике камень Кобыльи Рёбра. Отчего такое имя? Худобой камень не отличался. Но Чусовая пробежала мимо и плеснула в длинную рыжую стену огромного бойца Ростуна. Всё тот же скос солнечно-го луча, прежние узоры кипучих лишайников на скале, которая повернулась всё тем же боком... Осташа будто наяву увидел, как он шёл под этой скалой с горной стражей. И потом они своротили на Серебрянку и на Шурыш, и горная стража растаяла во мленье...

Вон и Серебрянка — катит в Чусовую тёмную волну. Белый гребень отчертил воды двух рек, бурливо побежал по Чусовой. Он словно был уверен, что до устья сумеет разделять два течения. Но на повороте чусовской стрежень порвал его, смял и затопил, поглощая в себя Серебрянку: словно жеребец покрыл кобылицу. Здесь, у Серебрянки, кончался караванный вал. Он и сюда-то докатывался уже

разбавленный, выдохшийся. Сколько бы ни накопили воды заводы, им всё равно не налить раздвинувшую берега Чусовую так, как наливают её Илим и Сулём, Кашка и Ёк-ва, Межевая Утка и Серебрянка, что собрали дань вешних ручьёв со всех крутояров горного края.

МОЛЕНИЕ ПОД ЦАРЬ-БОЙЦОМ

Осташа уже не думал о бойцах, не заметил он и мелкого дождика. Он кричал в трубу команды, но уже не отдавал себе отчёта, почему приказывает так, а не иначе. Душа словно раскатилась по бурому полотенцу реки и медленно растворялась в просторе створов и широких поворотов. Казалось, что ещё немного, и Осташа начнёт обводить барку мимо скал, просто отходя по скамейке на пару шагов в сторону. Время перестало существовать. Это было редкое и дивное, бесценное и желанное, безошибочное чувство пути. Про него старики-сплавщики даже сквозь боль застуженных, заостеневших суставов вспоминали с блаженством: «Душа ходом пошла...»

Скалы проплывали мимо, как облака, — какие-то были на что-то похожи и получили имена, а другие так и остались безымянными, словно кончилась выдумка сплавщиков или иссякла опасность боя. Каменным татарским малахаем лежала в лесах Юрта, а за ней — речка Кисели и неожиданно зелёный Весёлый луг. Здесь в Пасху кыновляне катали крашенные яйца, а на Ивана Купалу отчаянные парни и девки, тайком от учителей, прыгали через костры, бегали телешом, плавали наперегонки и любили под кустами... Потом справа сгрудились серые утёсы Жёлтого бойца. На одном из них расплылось удивительное рыжее пятно, будто о грудь скалы с размаха лягнули медовыми сотами. Лёщадью — гладкими плитами — обрывалась в Чусовую гора Дмитриевская. Багровым лишайником были раскрашены плас-

ты Красной горы. Несколько невзрачных глыб очередного Темняша торчали из крутого лесистого склона, как кедровые орехи из шишки, расшеперенной гнутым клювом клеста. Переполненная вешней водой земля выдавила в складку лошины угрюмый ручей Колган Лог, который жарким летом тёк по тайным земным недрам, рокоча подо мхами.

Огромный боец Кирпичный, весь словно закопчённый, будто старая домна, отлого и отвесно был иссечён трещинами. Говорили, что здесь первый Демид решил плотину через Чусовую строить и подрядил чертей, а у тех мастер дурнем оказался и плотину вдоль реки построил, а не поперёк. В доверчивом своём отрочестве, когда батина барка сделала хватку на Кирпичном ручье, Осташа сбегал к бойцу и увидел: нет, это были не кирпичи, а обычная скала, расстрескавшаяся, как старый левкас на иконе. Сказку рассказывали о Демиде и глупом чёрте. Но всё же... Бывают люди, что влезают в свою власть плотно и без зазора, что сидят в ней, как змея в чешуе, что сливаются со своей властью нераздельно, как металлы в сплаве. И такие люди всегда мысли на сатану наводят. Не важно, что там за человек: великий царь Иван Грозный, патриарх Никон, заводчик Никита Демидов, беглый казак Емельян Пугачёв или старый слепой крепостной крестьянин Конон Шелегин. Все они властвуют яро и без сомненья, а потому владычат не только над судьбами, но и над душами. Народ перед ними млеет, как в оторопи. И волей-неволей чудится в их всевластии дьяволова подмога. Не может Господь быть с теми, для кого никакого иного закона, кроме воли своей, не значитя.

«А ведь батя, хоть и не названный, но из той же человеческой породы», — тяжело подумал Осташа. Нет, конечно, батя с чёртом не братался. В том и был его путь в теснинах — путь без лукавого. Но ведь путь этот был и без божьей помощи, без ангела-хранителя. Потому батя и сгинул под Разбойником... Осташа не замечал, что уже бормочет вслух. Его и самого приняли бы за колдуна, если б кто увидел или ус-

лышал. Но Осташа не волхвовал: он, будто был совсем один, говорил с рекой; он читал, как книгу, её каменные страницы — и спорил, и возражал, и прозревал, и смирялся.

Но всё же «ход души» споткнулся, потому что приближались Царь-бойцы — Печка и Великан. Царь-бойцы тем и отличались от простых бойцов, что их на «ходе души» не обойдёшь: они душе «ходу» не давали. Если жить хочешь, то перед Царь-бойцами только о них и надо думать. Осташа увидел, как впереди с барки курьинского караванного спускают косную лодку, и в лодку лезут гребцы в нарядных красных рубахах и сам караванный приказчик. Шибко опасные места караванные проплывали на более надёжных косных лодках. Такая уж подлая привычка велась у начальства.

Справа за соснами мелькнули белые, как из бересты, развалы камня Коробейного. Слева берег шустро побежал-побежал вверх, к острому колену бойца Печки. Что там боец Дужной с его дугами-коромыслами! Печка была пластом, который неведомая сила сложила пополам и вздыбила горбом-гребнем. В подножии скалы чернела пещера, ступенчато уходящая вглубь. Небольшая, но уёмистая, она взахлёб глотала волну, давилась ею и вдруг страшными жидкими глыбами изрыгала воду обратно. Так же было с пещерой Владычного бойца, но тамошний отбой в сравнении с пушечным залпом Печки казался просто пьяным сблёвом. От жерла пещеры наискосок через Чусовую нёсся вздутый пенный майдан и разбивался вдребезги о твердыню Великана. Так они и стояли друг перед другом, скованные цепью пенных майданов: тощая старая ведьма Печка и безумный богатырь Великан, самый длинный и самый высокий боец на Чусовой.

А Великан начинался по правому берегу после Печки и почти сразу вырастал стеной до небес. Стена тянулась на целую версту, огибая поворот. Чугунно-серая, она была сложена стопой длинных слоёв. Посерёдке на изгибе она просела от собственной тяжести и выдавила из камня родники. Лога впустую пытались поверху нарубить кромку стены на

части, но обессиленно зависали в высоте; только один про-
рёзал толщу до подножия. На осыпях этого лога стояли не
жалкие кривые сосенки, проклятые до веку, а могучие древ-
ние ёлки, словно пудовые свечи на богатом иконостасе.

Великан обнял Чусовую широко разнесёнными лапища-
ми, и Чусовая, вывернувшись из объятий, в страхе летела
прочь, распластав платок и платье. Даже солнце тускло вы-
глянуло из-за туч: как там людишки прорываются сквозь
теснину? И река меж скал засверкала огнями, словно рас-
плавилась от давки ущелья.

Добра от Царь-бойцов не ждал никто. Осташа помнил
предание о Великане. Будто бы ехал Илья-пророк по зем-
ле на колеснице, и набежала его колесница на Каменные
горы. Конь подковы сбил, ось сломалась, шины лопнули.
И Чусовая — колея от того вихлявшегося колеса, потому она
так извилиста. Скалы на ней — разлетевшиеся осколки
шин. Сам же Великан — сорванная подкова. Увидел Илья-
пророк, что стряслось с его колесницей, и брякнул в серд-
цах: «Чёрт бы побрал эти горы!..» Чёрт услышал и рад ста-
раться. С тех пор чёрт здесь и хозяин.

Осташа видел, как косные курьинского караванного
яростно гребут назад распашными вёслами: кланяясь, зад-
ние гребцы бьют лбами в спины передних. Косная лодка
яростно боролась с течением, с набегом реки. Её, лёгкую
посудину, стрезень играючи мог сдуть в страшный клоко-
тун во впадине Великана. Но она всё же вырвалась из при-
тяженья струи и пошла ровнее, минуя опасный уклон. А вот
барка, рукасто размахивая потесями, уже укатилась далеко
вперёд. Осташа заметил место, где она разрежала носом
цепь бурунов — пригодится для расчёта. Но зря: похоже,
у барки дело было мёртвое...

— Корнила, Никешка, что есть силы — работай! — закри-
чал Осташа в трубу. — Платоха, подтабань на ползамаха!..

Осташа опять ощутил, что раздваивается, — даже озноб
лизнул по затылку под шапкой и брюхо прилепилось

к хребту. Одной парой глаз Осташа следил за своими бурлаками и словно бы другой парой одновременно глядел, как будет гибнуть барка. Нет, сразу две барки!.. Перед курьинской в тот же залёт угодило чьё-то другое судно. Курьинская барка бежала в его пенном следе точно привязанная. Как сплавщик ни орал в трубу, как ни наваливались бурлаки на потеси, страшная привязь эта не обрывалась. Выставив вёсла, чтобы смягчить удар, передняя барка погрузла в пенном вареве и с треском въехала мордой в скалу.

Круто развернувшись в огнивах, её потеси сгребли половину бурлаков в воду: водоворот под Великаном усыпал человеческие головы и шапки, будто омут на старице закидало болотной кугой. Передняя палуба, отскочив, поднялась дыбом, словно барка закричала, раззявив пасть. Загрохотал чугун, выкатываясь из льяла под волну. Барку точно начало выжимать, перекручивать пополам, и чёрная осмолённая корма всё выше задиралась вверх, уродливо кособоچась. Мачта-щегла уткнулась в скалу и обломилась, как лучинка. И в этот миг в гузно погибающей барки носом въехала курьинская казёнка.

Сквозь гул реки Осташа слышал пыточный треск рвущихся бортовин. Погибшая барка вздёгнула зад почти стоймя. Курьинскую барку отбросило вспять. Она отурилась, разворачиваясь против течения. Её передняя палуба оказалась пуста — всех бурлаков снесло. Из пробитых скул иглами торчали доски и обломки брусьев — кости погибшей барки. А погибшая барка ещё стояла ожившим упырём, прислонившись к скале. На её днище пламенели кровавые пятна от раздавленных людей. И вдруг она отвесно пошла вниз, в кипенье, и ещё успела грузно поворотиться вокруг себя, словно с натугой всверливалась в пучину.

Поломанная курьинская барка ошалело неслась задом наперёд прочь от каменного улова. Её неодолимо прижимало к стене Великана. Осташа видел, как курьинский сплавщик, стоя на коленях, ещё кричит в трубу, а бурлаки

на корме мотаются косматыми кучами, ворочая уцелевшие потеси. Но всё было бесполезно. Барка громыхнула, чиркнув бортом по каменной лёщади, отскочила, снова ударилась о камень, снова отскочила, будто плиточка-блинчик от плоского плёса, и наконец наехала всей тяжестью. Её даже не разбило — её размазало, растёрло, растеребило о скалу. Она рассыпалась на огрызки, и деревянное месиво этих огрызков, не снижая скорости, понеслось вдоль каменной стены. Всё в пузырях, оно вращалось, перемешивалось, кувыркалось, ныряло и подпрыгивало.

Но некогда было смотреть дальше: колпак Печки уже нахлобучивался на Осташину барку.

— Корнила, Никешка, отбой! Логин, загребай!

Осташина барка ощутимо заваливалась набок, даже заплеснуло ноги крайних бурлаков. Но уклон как по скользкой горке спустил барку отбойным валом меж белых майданов — точно в тот прогал, что Осташа и наметил. Печка ошпаренной ведьмой крутанулась над головой Осташи. Сзади, вываливаясь из пещеры, оглушительно хлопнула водяная глыба. Пеной, как пухом, закидало подножие скалы.

— Корнила, загребай, Платоха, табань по малой!..

Осташа глядел, как Великан с пьяным, безумным радением разводит каменные объятья. Казалось, что Великан ждёт именно его, Осташу, — ждёт с самого начала. Может, Великан и есть тот самый Боец Неназванный, что назначен сатаной любому сплавщику? Может, Великану суждено разбить его барку и пожрать его душу?.. Страх пьяной балалайкой забренчал в брюхе Осташи, перекошил мысли так, что вдруг начало подмывать пуститься в пляс. И это было даже опаснее, чем промах с командой. Осташа понимал, что его душу оплетает, закручивает бесовщина. И он схватился памятью за то, что было неколебимо прочно: за батю.

— Батюшка мой, — зашептал он, глядя в надвигающуюся грудь Великана, — где бы ты ни был на небе, я всё сделаю, чтобы не сквернили имя твоё, чтобы услышали прав-

ду твою, сам жить буду, как ты на земле жил... Спаси меня и в сей день, и в грядущий, и прости меня за грехи сполна, как сполна за них я сам себя виню, и не дай мне убиться, и отведи бесовство от души моей, и тогда восторжествуют правда твоя, и сила, и слава...

И Осташа наяву увидел мощь веры, словно почуял батину руку на незримом кормиле: барка его всё так же боком, словно своротив башку, начала упрямо уводить нос от клокочущего улова под изгибом Великана. Обиженными бесенятами посыпались из-под погружённого борта пузыри, заскакали вдоль майданов. Растревоженный Великан полез из реки вверх, тяжело ворочая плечами-утёсами. Его загребущая каменная лапа белыми когтями взрыла стрёжень вдоль борта Осташинной барки.

— Логин, Корнила, Никешка — разом!.. Платоха — отбой!

Выпрямляясь, барка вставала на ровный ход, словно поймала попутный ветер. Серая стена Великана задрожала щербинами, замельтешила сколами, оставаясь в отдалении, будто застряла в ухабе. По её гребню, обгоняя друг друга, со всех ног бросились назад сосны, точно поспешили к уху Великана с доносом на беглеца.

«Пронесло тучу мороком...» — подумал Осташа, хотя в душе всё ещё что-то вздымалось и опадало, а со скул не сходило онемение, будто на череп, как на старый барабан, натянули свежую кожу. Но и морок пока не рассеялся совсем — по реке россыпью несло бурлаков с погибших барок. Кто-то очумело орал и бултыхал руками и ногами. Кто-то, захлёбываясь, бешено вертелся в воде, освобождаясь от армяка. Кто-то цеплялся за обломки, нырявшие по волнам. Впереди Осташинной барки прямо в горохе человеческих голов плыла косная лодка курьинского караванного.

— Не подбирай! Отгребай!.. — издалека услышал Осташа истошный рёв приказчика. — Уйди, сука!.. Уйди от порубня!..

Косные гребцы отталкивали утопающих бурлаков вёслами, а бурлаки цеплялись за лопасти, и косные отбрасыва-

ли вёсла, точно их веретёна вмиг раскалялись. Мокрые головы окружили лодку; из взбаламученных волн тянулись руки, хватались за борта; вокруг лодки блинами колыхались искажённые бородатые рожи. Не выдержав, косные принялись вытаскивать мужиков из реки, валить их на дно лодки, как мокрые снопы, бить. Увидев это, даже те бурлаки, что цеплялись за обломки, бросали свои спасительные доски и брусья и сажёнками рвались к косной. Лодка закачалась, черпанула краем. Приказчик повалился на бок, визжа свиньёй, выхватил откуда-то длинный пистолет, пальнул. Ещё немного, и бурлаки опрокинули бы лодку. И косные, крестясь, заматались, вытаскивая топоры. С испуганных замахов они принялись по бортам отрубать руки бурлаков. Кое-кто из косных, навалившись брюхом на обвод, даже бил топором по головам в воде. Дикий крик частоколом огородил лодку:

- Господи Иисусе!..
- Спаси, православные!..
- Не дайте сгибнуть, братцы!..
- Уйди!.. Уйди, тебе говорят!..
- Затонем же, черти!..
- Получи, сука!..

Тупой и беспощадный звук ударов был слышен сквозь вопли и брань, сквозь мольбу, стоны, угрозы и рыдающий мат.

Перегруженная косная лодка выдиралась из человеческих рук, как из болотной ряски. За ней в воде, в копошении и плеске барахтающихся бурлаков, мелькала красная рубашка косного, которого тонувшие сумели стащить к себе и теперь колотили, рвали на куски, топили.

Осташины бурлаки все как один молчали, налегали на потеси, глядели только в палубу, словно их против воли принудили прийти на казнь. А косная лодка всё же не перекувырнулась, отбилась, вырвалась. Скинутая со стрежня, она медленно скользила по прибрежному тихострую, а стрежень уносил редешую россыпь человеческих голов даль-

ше, вперёд, чтобы окончательно расшибить её о твердыню бойца Воробья. Осташина барка неспешно обгоняла косную лодку, и все Осташины бурлаки видели, что её борта изрублены топорами, исцарапаны ногтями до щепы, облиты яркой кровью. Косные сидели без движения и не выпускали топорниц из судорожно стиснутых ладоней. Расхристанные и обезумевшие, они глядели на бурлаков снизу вверх как на самых лютых врагов, ненавистных до стога, до скрипа зубовного, до передавленного горла.

СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕБОР

Погода враз переломилась: отвернулось солнце, хлынул ветер, а с неба посыпалась крупа, словно Господь хотел поскорее замести следы. И сама Чусовая не давала ничего запомнить, без всякой передышки надвигала на барку нового бойца.

Воробей сидел на левом берегу через версту от Великана. Маленький и нахохленный, под моховым крылом он укрывал каменного птенчика. Для барок Воробей был не очень опасен, хотя навал реки на него шёл мощный. Тяжёлые барки силой набега продавливали притяжение Воробья и проносились мимо. Зато для всякой плавучей мелочи вроде лодок или плотов Воробей оказывался сущим бесом: греби не греби, а всё равно долбанёт тупым рылом шитику в бок или отключит от плота пару брёвен.

За Воробьём начинала взлёт Мёрзлая гора, заросшая густой шерстью ельника. Напротив неё скалился Денежный боец: сам-друг убивец с последышем в лесной засаде. Денежным его прозвали давно, ещё при государыне Елизавете Петровне. Какой-то сплавщик вёз на барке бочки с медными деньгами, какие чеканил монетный двор в Екатеринбурге. Екатеринбургский приказчик и соблазнил сплавщика разбить барку. Сплавщик направил судно на этого бойца и раз-

нёс борт в щепки. Пока барка тонула, воры ринулись в льяло, выбили у бочки с медяками крышку, вспороли мешок и принялись набивать карманы и пазухи. Денег-то награбили, из утонувшей барки выплыли, а до берега добраться не смогли — утонуло их на дно. А барку потом растормошило течением так, что все бочки из неё выкатились и побились. Монеты рассыпались по реке. Как паводок сошёл, власти нагнали к бойцу горной стражи и солдат, оцепили место и принялись обшаривать донные валуны. Собрали деньги, сколько смогли, но, понятно, не всё. И долго ещё в кабаках Кына и Ослянки мужики, ухмыляясь, расплачивались квадратными копейками или пятаками с таким затейливым вензелем, что его переплетенье прозвали «решёткой», решкой. Весело пил народ за здоровье матушки-государыни...

Спихнув со склона деревеньку Зябловку, Мёрзлая гора оборвалась распадком. По распадку скакала речка Кын, Кын — золотое донышко. С другой стороны распадок подпирала круча Плакун-горы. Из лощины, как из норы, осторожно выглянуло строгановское село Кын-завод. Его так сдавило горами, что казалось, будто здесь всё от тесноты стоит торчком. Торчали на кручах среди мелких белых скал высокие ёлки — узкие и плотные, как зелёная морковь. Торчали трубы завода со стоймя взметнувшимися столбами дымов. Торчал гранёный тесовый шатёр церковки. На плотине топорщились задранные вобжи запорных рычагов над водобойными колёсами. Тянулся вверх тощий лесок мачт на барках, что были собраны в гаванях ниже плотины. Хозяйственный, хитрый Кын всегда был себе на уме: на караванный вал не надеялся, редко когда торопился и барки свои отпускал на Чусовую только после пробега караванов. За устьем речки Кын Чусовая заворачивала и расплеталась Кыновским перебором: завод не хотел бросать свои свежие барки в перебор промеж уже осатаневших барок с верхних пристаней.

— Логин, Платоха, загребай! — закричал Осташа под Плакун-горой. — Корнила, Никешка, наготове быть!..

Перебор бурлил — сейчас неопасный, но докучной. Осташа обогнал барку из северского каравана, сидевшую на мели. На барке бурлаки скидывали рубахи и стаскивали портки, готовясь прыгнуть в воду. Добротные кыновские хоромины стояли на бровке под Плакун-горой в ряд, насмешливо щурясь на неудачников маленькими окошками. Осташа уже давно заметил, что в Кашке и выше неё по течению жители ставили свои дома задом к реке, а ниже Кашки — крыльцами. Когда Осташа спросил о том у бати, батя объяснил всё просто: деревне надо простоять на берегу сто лет, тогда она повернётся к реке лицом. Хотя Кын был и помоложе Старой Шайтанки или Старой Утки, но заселили его Строгановы своими людишками из Чусовских Городков, Нижних и Верхних, а городковские казаки были самым крепким русским корнем на этой когда-то дремуче-вогульской реке.

— Корнила, Никешка, загребай на раз! — крикнул Осташа. — Логин, Платоха, через раз тоже один раз возьми!..

Барка неуклюже подалась в сторону, словно корова обогнула пенёк. Справа, сердито ворча, проплыла мимо здоровенная белая шапка буруна. Этот камень на дне перебора опытные бурлаки называли кратко и понятно: Варнак. Он один такой торчал прямо на стрежне и бил барки под дых. Осташа оглянулся — точно: барка, что бежала за ним, грохнула о камень днищем. Будет тамошним бурлакам забота воду отчерпывать...

На левом берегу в отдалении блеснул белыми заснеженными рёбрами камень Гребешок с еловым острожком на темени. Потом потянулись просторные косогоры Долгого лука. Справа вышла из леса и встала над водой ровная стена бойца Стенового, длинная и невысокая. По плоскости словно гладко выструганная, поверху она была безжалостно иззубрена логами, а потому вся была увешана стеклянными нитками водопадиков. На повороте, почти напротив Стенового, потихоньку выросла бурая громада бойца Мултык.

Осташа не мог припомнить бойца уродливее и безобразнее. Весь из ломаных, растрескавшихся глыб, весь закиданный серым буреломом, полузатянутый лохмотьями мхов, сикось-накось заросший кривыми сосенками... Да ещё башка немного свёрнута набок, будто его удар хватил. Мултык громоздился грудой скал, словно ссыпанный с неба, как руда из тачки. И хоть бог не обидел его ростом и мощью, но среди прочих бойцов он казался калекой: могуче наваливал на себя реку, да промахивался. Чусовая, задев его скользом, бежала дальше и только чуть потряхивала гривой. Мултыком этот боец прозвали за то, что приходилось крепко мултычить на перепутанных струях — грести потесями, чтобы не угодить в противотоки и сұводи. Осташа, командуя, чуть не сорвал глотку, пока его барка проталкивалась сквозь чехарду бурунов к чистой воде.

Ровный, мерный ход успокаивал. Справа в ельнике махнули на прощание тонкие пластины камня Востряка, и начался длинный, нудный тягун — Бабёнский плёс. Осташа поставил трубу на перильце и молча смотрел вперёд, где даль заволакивало моросью и крупка мела по чёрной воде. После Великана всеми этими поворотами, переборами и неопасными бойцами Чусовая словно зубы заговаривала, глаза отводила. Но Осташа с мысли не соскакивал: зрелище косных, топорами рубивших утопающим руки, было вбито в глаза, как кованые гвозди.

Ведь там, под Великаном, все спасались — и косные, и бурлаки... Великое и святое это дело — спасение. Но как у любого большого дела, есть у него и чёрная, дьявольская сторона, когда во имя его ничто другое не свято. Кому повезло в лодке оказаться, тот рубит руки всем прочим, кто за борта цепляется. Да, конечно, — в запале рубит, в страхе. Но всё же это не истинная злоба, не подлинная ярость, не бесовское наущенье. Это тоже смысл спасения. Без тех ударов топора спасения вообще никакого не будет...

И Конон, и Гермон, и батя — все они об одном говорили: о спасении. И Аввакум о том кричал из горящего сру-

ба, и повенецкие старцы о том сотни книг полууставом написали. О том твердили и керженские скитники, и яицкие учителя. Только спасения во имя в огненные купели окунали таёжные слободы. Только спасенья именем Пугач никонианских попов на воротах вешал... И ладно там Пугач, ладно — огнепальные игумены или кержацкие старосты, что живьём закапывали в дудках пытливых рудознатцев: с ними всё понятно, как и с теми, кто под Великаном в лодке топором махал. А вот батя?..

На батином пути в теснинах всё светло и чисто. Нету ни лжи, ни гордыни. И он, Осташа, сколько ни нагрешил, а батиного пути не осквернил. Он ремесло сплавщицкое до дна вызнал: на триста вёрст от Ревды до Чусовских Городков мог все бойцы перечислить, как часослов наизусть прочесть. Он не обобрал своих бурлаков, даже баб. Боже упаси — он никогда бы не польстился за мзду барку убить. Он не отринул души своей, как истязельцы отринули, чтобы пройти Чусовую невредимым. И он никогда не станет даже у врага своего барку поддыривливать, не станет глухой полночью снасти ей резать, не станет про кого-либо наговаривать караванному: «Этого не бери!» Но ведь именно потому, что он честен, что он батиным путём в теснинах идёт, он-то и есть чёрная батина сторона!

Ведь батя-то правду только для себя сказал. А правда на то и нужна, чтобы для всех была. Для себя самого своя правда всегда непорочна. А вот для народа правда только через кровь живёт.

Но с кровью только язычники камлают, а Господь бескровной жертве учил. Потому, видать, и не приходит царство божие, что народ, лика лишённый, одну только плеть понимает, а божьего гласа не слышит. Может, потому и добрее было бы, чтобы народом тайна беззакония правила? Чтобы торжествовал порядок Конона — тайная власть, тайная милость, тайная кара?.. Конон-то батин путь в теснинах понимал, да не верил в него; а верил в свою тайну беззакония. И она у Конона доброму делу служила. Может,

и лучше приять истязельство, чтобы последнее таинство старца Гермона отводило грех? А может, умнее всего жить, как Колыван рассудил: правда и вовсе не нужна. Живи, как можешь. Твори, чего задумал. А если Трифон Вятский тебе не поклонится, то спасайся сам своей ценой. К чему людская правда на земле, если есть божья правда — и будет Страшный Суд? Может, одна гордыня это — путь в теснинах искать? Или всё же так Господом человеку заповедано?

А может, правда совсем в другом? В том, что есть пастыри, которые ищут пути, и есть паства, которая идёт. Есть сплавщики — и есть бурлаки. Всякому — свой закон. И кому кем быть — не миру решать: каждый сам собою свыше определён. И хоть у пастыря с паствой разный удел, но спасение будет общим, ежели за всё ответ держать без лжи и страха. Не зря же лучшие сплавщики старость и смерть в скитах на Весёлых горах встречали, и даже сам Конон Шелегин дела свои тайные и незаконные вёл из капличы.

И верна ли для всех батина правда? Стоит ли назвать её народу — ведь через кровь называть придётся?.. Правду царя Петра Фёдорыча Пугач народу назвал — и что из того вышло? Но всё ж таки Пугач ургаланом был, а ведь Осташа — живая душа... Не было у Осташи ответа. Не разрешить эту загадку никому и никогда. Можно только верить, а судить народ и бог будут. И, наверное, рассудят по-разному...

Слева на обрывчике показались макушки вогульских чумов и односкатных избышек с рогатыми лосиными черепами на концах стрех. Это была вогульская деревенька со смешным названием Бабёнки. Батя говорил, что название неверное. Правильное название — Бебяки, только народ переделал его в понятное для себя.

По преданию, в этой деревушке двести лет назад и жил вогульский князец Бебяк, который вместе с князьцами Амбалом и Зевендуком решил убить святого Трифона. Трифон срубил священную вогульскую ель на Гляденовской горе на Каме, вот князьцы и осерчали. Пошли в Сылвенский острожек к строгановскому приказчику Третьяку

Моисееву, чтобы спросить: можно им сейчас убить Трифона, или пока обождать? Третьяк, слава богу, наотрез запретил вогулам.

Это лишь у святых получалось — правду народу говорить только через свою кровь, а не через чужую. А простым людям на то ни ума, ни души не хватает — не тот удел. Вон даже Чусовая — тёмная река, а и то без кровавого цвета не обошлась. Излучина вокруг мыса перед Ослянской пристанью так и называется: Кровавой берег. Здесь то слева, то справа оголяются под лесом коренные берега поймы: тянутся высокие и длинные откосы, словно выкрашенные сукровицей. Не глина, не камень — земля слежалась, сдавилась, сплюснулась намертво, а чуть-чуть крепости ей всё же не хватило. Так и не превратился берег в скалу.

Обогнув большой и низкий мыс с покосами и выгоном, Чусовая подкатилась к Ослянской пристани. У причалов стояли три пустые барки, на которые не хватило груза. Прочие суда уже отпустили. В Ослянке заканчивался Гороблагодатский тракт, протянутый от далёкого Кушвинского завода. Казённой пристани никто не был указом — ни Демидовы, ни Строгановы, ни Яковлев-Собакин. Даже караванный вал её не тревожил: как загрузили пустые барки, пришедшие из Илама, так и отправили. Ослянка встречала караваны молча, равнодушно. Но в этом равнодушии была пощада. Глупо радостно палить из пушек, приветствуя вереницы барок, если помнишь, что эти барки уже пробежали полтора ста вёрст и досыта нахлебались страха и смерти.

Ручей Камыка отстригнул околицу Ослянки, берега вздохнули горой, и по обеим сторонам реки рассыпались худые домишки Нижней Ослянки. Казна завсегда свой народ держала в худобе. После кондовых кержацких посадов стыд было смотреть на русскую нищету и голь. В Нижней Ослянке жили те работники с пристани, которым не хватило места на рósчисти у магазинов и амбаров.

Река повернула налево, забурила под невысокими обрывами ещё одного Синего бойца. Этот боец, как тёрка,

был весь из каменных чешуй, блескучих от слюды. Хоть река его и выгладила покатым лбом, а забраться по этому лбу без сапог и рукавиц не смог бы никто — ладони и ступни начисто стешешь до костей.

На левом берегу под сосновым бором поднялась некрутая глыба камня Девичьи Слёзы. Помахать суженому платочком сюда прибегали ослянские девки. При отвале каравана, у всей пристани на глазах, они смущались прощаться, а здесь их никто из деревенских уже не видел. Словно набираясь сил перед прыжком, Чусовая лилась ровно и мощно. Она копила ярость в омуте под камнем Стерляжий Омут и наконец, как припадочная, ударялась теменем в скалистый берег, низенький и мятый. Казалось, что реке так хотелось взбеситься, что уж и подходящего бойца искать она не стала: будто гулящую бабу так сблудить потянуло, что некогда было и мужика получше подобрать, сойдёт и этот — кривой да горбатый. Взревев Стерляжьем перебором, словно в долгожданном блядском неистовстве, ошалевшая, взбодрившаяся стремнина, урча и встряхивая пенными косами, покатилась под занозистым склоном Дуниной горы. На верхушке горы издалека виднелись огромные мёртвые кедры. Они вздёрнули над лесом чёрные лапищи с шаманскими тряпицами и лентами на запястьях. Это были священные вогульские кобёлы. И только под ними становилось ясно, отчего плакали девки на камне Девичьи Слёзы. Не от страха они плакали, что сгинут их любимые, а от обиды, что мужики и парни помчались в блудовство и камланье теснин. А оно по страсти едино было с безбожной похотью со жлудовками.

А за Дуниной горой слева на лугу показалась русская деревня Луговая, с укором смотревшая через реку на вогульскую деревушку Копчик. Луговая просторно расплзлась по лугу, а Копчик сбился на лесной поляне табунном островерхих чумов. Отгораживаясь от реки, он всем назло выставил по берегу ряд красноротых идолов, которые словно охраняли свальный грех вогульских жилищ.

Потом справа гора наконец затонула в просторной болотистой луговине. Осташа подал барку левее. Вверх по реке, распуская буруны, плыл высокий остров с осинами на холке. Осины были сплошь изломаны ледоходами, торчали, как раскудаченные кикиморы. За островом пряталось устье реки Сылвицы, нелюдимою и хмурой, на которой и селений-то вообще никаких не было. Кушва пробовала на её берегу завести рудник, прозванный Бутоновским, да что-то неладное всё время с ним приключалось: то вода пойдёт, то выработка сомкнётся, то голоса слышны. Рудник от греха подальше забросили. Здесь, в волбёжке между островом и мысом, Шакула прошлым маем и набрёл на лодку, в которой без памяти лежал простывший Осташа. Шакула утащил лодку к себе, и в жизнь Осташа навеки вошла Бойтэ...

А за камнем Сылвицким, оплетённым корнями соснового бора, мелькнул камень Антонов, будто раздавленный чьим-то огромным каблуком. Курлыкнула справа речка Ермаковка, и вздыбился сам боец Ермак. Ржавый и помятый, как бывалый богатырский шлем, прямо во лбу он был пробит чёрной дыркой пещеры. Бурлаки Ермака не боялись. Не может того быть, чтобы боец такого святого имени чинил их баркам обиду. И верно: редко-редко когда находилась дурак, который исхитрился хлопнуть судно об эту скалу.

«Крикнуть, что ли, “Кивыр, кивыр, ам оссам!”?» — подмывало Осташу. Он задрал голову на кручу Ермака, которая до сосновых бровей заросла рыжей щетиной лишайника. Но бурлаки опередили сплавщика.

— Ермак, дай на табак! — закричал кто-то от потеси Корнилы.

«...абак!...» — глухо отозвалась скала.

Бурлаки радостно загомонили: если Ермак отвечал, это считалось хорошей приметой. Какой-то знаток из бурлаков уже бросил свой кочеток и махал руками, показывая товарищам, как Ермак, сидевший в пещере, натягивал цепь, прикованную концом во-он к тому лиственю, и цепью пе-

ревёртывал купеческие ладьи, а друзья его — ермачки — грабили купцов и деньги народу раздавали. Когда же царёвы войска подошли с пушками и осадили скалу, Ермак бросился из пещеры и утонул в омуте. Сказка, конечно: какие купцы, какая цепь?.. Зипуны, одно слово.

— Не зевать! — раздражённо рявкнул Осташа на бурлаков. — Басни после хватки сказывать станете!

Бурлаки только-только налегли на потеси, как опять отвлеклись. Да Осташа и сам ничего не смог с собой поделаться, вытарашил глаза. На огрудке меж устьев речек Долговок сидела барка; судя по болтавшимся флагам — караванная Уктусского завода. Бурлаки слегами спихивали её с мели. По левому борту корячились мужики, по правому — бабы. Караванные начальники любили такое развлечение: нанимали побольше баб, с которых навар поиметь можно, да брали к себе на барку молодух и девок. На каком безопасном месте сплавщик по уговору с караванным сажал барку на огрудок. Бурлаки, понятно, лезли за борт. Понятно, телешом: ведь потом и работать пришлось бы в мокрой одежде, а это верное дело ночью жар, а на третий день до смерти спечёшься. Караванный со сплавщиком и глазели на голых баб под бортом: потеха! Опять же и выбрать можно, какую на ночь в казёнке оставить, чтоб потитястее да пожопастее была.

— Корнила, загребай! — опомнившись, закричал Осташа. Барка едва не чиркнула бортом по краю огрудка.

— Хорош таращиться, захребетники! — заругался Осташа на бурлаков, которые и после огрудка выворачивали шеи.

Так, не глядя, проскочили и второй камень Котёл. Его будто кто выскреб изнутри — получилась пещера. Про неё много баек рассказывали, да всё врал, потому что глубоко в пещере было три шага. Хоть гляделась она страшно, жили в ней только летучие мыши: тихо висели себе на потолке вверх ногами и никому не мешали.

У Тёмного бойца, что зябко синел на левом берегу, Осташа услышал дальний гулкий раскат — это кто-то из кара-

ванных, что бежали впереди, пальнул из пушки. Караванные всегда стреляли под бойцами Стрельными, предупреждали народ. За Стрельными начинались самые глухие и дикие места. И не то чтобы здесь деревень не было — деревни-то были... Но какими-то совсем уж чёртовыми становились берега: сплошь гористые, все в косматом ельнике с вековыми буреломами, и даже приплёски и склоны гор были засыпаны битым камнем. А Чусовая, которая раньше то бесновалась, то успокаивалась, за Стрельными бойцами словно и вовсе совсем ума решалась. Поворот ложился на поворот, вода неслась под уклон, а переборы лезли друг на друга, как овцы в тесных воротах.

Два утёса, разделённых ущельем в полсотни сажен шириной, и назывались бойцом Малым Стрельным. Еловая опушка за ними была закидана треснувшими досками, сломанными брусьями. Видно, кто-то здесь убился, но не сегодня — вчера: Чусовая уже успела разодрать барку в мочало. А над блеском угрюмого створа вдали поднимался боец Свадебный: кривая иззубренная гряда из скал и каменных рёбер. Лес обсадил его по всем лощинам, забрался на плечи, на гребни. Не шибко опасным был боец, но больно уж мрачным и тоскливым. На луговине в устье Свадебной речки даже жердей от стогов не стояло: никто не любил это урочище с таким обманным и весёлым названием. Кто, когда его так назвал? Кто придумал здесь свадьбу сыграть?.. Говорили, что не человечья эта свадьба была. Бесы здесь на своей свадьбе гуляли. Но батя как-то раз объяснил Остахе коренной, тайный смысл имени: отсюда начиналась самая горячая работа, самая жуткая свадьба, на которой Чусовая немало живого народа повенчала с холодной смертью.

Широко и просторно зарокотал Свадебный перебор. Он подхватил барку — как девку в седло посадил. Белые пенные языки кружились, бегали по волнам, словно пламя по головням. Остаха слышал, как чугунно забренчало у барки под палубой, будто зубы залязгали. Вихляясь, валясь с борта на борт, барка пьяно неслась сквозь перебор. То справа,

то слева чертями выскакивали из бурунов чёрные макушки ташей. Волосатой рыбой-кит вдруг всплыл впереди затопленный огрудок, но Осташа помнил про него и вёл барку левее. Не страшен был Свадебный перебор, но тянул душу, как гнетущее языческое мленье. Да и ветер раздёргал тучи на ключья, точно воды неба и сами перекатились через перебор.

Деревенька Полякова отползла от реки на увал, и боец Большой Свадебный стоял в лесу один, как жених без невесты. Он в точности походил на своего младшего братца, только ущелье между утёсами было вдвое шире. Река надувала сизые утёсы, будто сиверко — паруса.

У берега мелькнула схватившаяся барка, за ней другая, третья. Это караваны рассыпались перед ночлегом. Осташа удивлённо посмотрел через плечо — туда, где сейчас был запад. Петушино-красный блин солнца уже наполовину окунулся в сметану вечерней мглы. Блёкая, изрытая оспинами тарелка луны выкатилась из-за вздыбленных плит бойца Веер.

«На Чизме хватку сделать?...» — подумал Осташа.

За лощиной в мелких ёлочках лежала рассохшаяся, расстрескавшаяся колода камня Печка — четвёртая Печка на пути. Осташа уже не стал всматриваться в её расщелины в поисках котла — некогда было. Барка обогнула скалу, и как на скатерти раскрылся створ. Слева из распадка падала в Чусовую речка Чизма. На правом берегу тремя длинными извилистыми порядками вытянулась деревня Чизма. Но весь её край был сплошь уставлен барками, будто все караваны разом прилипли к приплёску. Приткнуться некуда... Осташа услышал, как разочарованно закряхтели его бурлаки, лишённые тёплого ночлега на чьём-нибудь сеновале. Борта барок струились мимо, как прясла длиннющего забора.

«Что ж, тогда за Острым камнем хвататься будем», — решил Осташа. Острый камень шучьим плавником рассекал лес по склону. За огрудком начинался Круглый мыс — нудная излучина, на которой и местечко-то ровное трудно было найти.

— Корнила, Никешка, загребай! — крикнул Осташа. — Логин, табань помалу!..

В распадке речки Бедьки тоже столпились барки, изда-лека похожие на тараканов. Осташина барка потихоньку подтягивалась к левому берегу. Но Чусовая однообразно заворачивала всё влево, влево, влево, будто обвивалась вокруг какого-то ствола, и барку упрямо отжимало к правой стороне. Осташа понял, что схватиться на Кругом мысу ему вряд ли удастся. Но надо было спешить: за мысом его протрясёт на переборе Цветники и сразу выбросит к Кумышским камням, а плыть за Кумыш нельзя. И не потому, что Колыван встанет на Кумыше, а потому что за Кумышем ждут самые страшные бойцы — Горчак, Молоков и Разбойник. Идти мимо них под вечер и усталым всё равно что в драку бросаться со сломанной рукой.

Словно опомнившись, Чусовая поворотила вправо и на стиге вскипела перебором Цветники. Весь перебор был в пене — в речном цвете. Солнце сумасшедше и косо, как припадочное, глянуло сквозь еловые макушки, и речной цвет заалел. Осташе показалось, что здесь на острых камнях Чусовая пропорола себе брюхо и мученически выгнулась, распотрошённая, вывалила дрожащие, кровавые кишки. Барка опять закачалась, и Осташа увидел, что вон там, вон за той глыбой отбой волны проломит набег, и можно будет рвануться к берегу.

— Корнила, Логин! — закричал Осташа. — Хватка!..

СПЛАВЩИЦКАЯ ТАЙНА

Осташа и Никешка присмотрели на склоне две ёлки, у которых нижние ветки были размашистее и плотнее прочих. Ветки они приподняли колышком и сверху накрыли пластуншинами мха. Обломали на стволах тоненькие мёртвые сушочки — паутинки, навалили на корни лапника, и получи-

лось убежище не хуже шалаша. Едва поужинали — стемнело. Хрупкая, невесомая стынь незримыми покроями стелилась по земле и чуть посверкивала в ночи. Иней пополз по еловой коре. И мох, и хвоя стали жёсткими. Лапник зачерствел и перестал мяться. Ветки уже не сгибались; одежда залубенела; шею и запястья охватило холодом, словно наматало мокрые тряпки. Бурлаки потихоньку расползались кто куда, только у большого костра сидело с десяток мужиков, собиравшихся переждать ночь возле огня. Костёр словно высосал весь свет из окружающего пространства, и вокруг него костенела непроглядная, земляная тьма. Люди превратились в половинки людей: рожа, борода, грудь и колени; скула, плечо, бок и бедро; затылок, спина и пятерня, почёсывающая нагретую поясницу. Где-то рядом и внизу журчал и чирикал перебор Цветники, а за ним на правом берегу заунывно ухал филин.

Осташа первым залез в еловую берлогу. Он повозился, устраиваясь, потихоньку угрелся, и глаза сразу будто потянуло за уголки враскос, а лицо потеплело от собственного дыхания в ворот армяка. Запахло оттаявшей хвоей, талой водой, рекой, ветром, простором, и всё закачалось, поплыло, замелькали ёлки, скалы, повороты, чужие барки... Никешка потряс Осташу за плечо.

— Уже утро, что ль?.. — подскочил Осташа.

— Да нет, — виновато зашептал Никешка, — всего-то час спишь...

За еловым стволом внизу по склону костёр малость поугас, и мужики возле огня стали видны целиком. Кто-то поворошил палкой в углях. Облако огненной пыли, истаивая, поплыло вверх. Бурлаки сидели и лежали, закутавшись во что нашлось. Они казались корягами на дне глубокого елового колодца. Зубчатое горло этого колодца поперхнулось луной.

— Какого пса тогда будишь меня? — сердито спросил Осташа.

— Слышь, Осташка, дай я ночью домой сбегаю, а? — попросил Никешка. — Рядом же Кумыш-то... Маманю с тобой повидаю, а то они извелись небось... Боятся, что сгибну я на сплаве.

Осташа внимательно оглядел Никешку.

— Ты не думай чего! — горячо зашептал Никешка. — Я не сбегну, я вернусь! Я же говорил тебе, что до конца с тобой буду!

— Ну... сходи, — растерянно согласился Осташа.

— Я ещё до рассвета ворочусь! — пообещал Никешка и задом наперёд принялся выползать из берлоги.

Осташа улёгся обратно, закутался, но сон пропал. Осташа дышал на озябшие пальцы и слушал негромкие пересуды бурлаков.

— Эй, подгубщик, а тебе на боковую не пора? — насмешливо спрашивал кто-то. — Дарья-то на тебя третий день поглядывает, а бочок у неё тё-опленький...

— Разве я наушник? — услышал Осташа усталый голос Корнилы. — Говорите при мне... Я не донесу. И так про вас всё ясно...

— Чего тебе ясно?

— Да чего... Сбежать хотите со сплава. Так?

— Догадливый... А что делать нам, скажи? Страшно.

— А чего все прочие делают? Дальше плывут. Не заплатил бы вам сплавщик денежки сполна, так ведь не столь бы хотелось дёру давать...

— Ну, верно. Искушенье, понятно.

— А от кого искушенье бывает — не помнишь?

— А ты к нам беса не приваживай, — обиженно сказали Корниле. — Тут и без того нечисто.

— Тёмный он, сплавщик твой. Тёмный.

Осташа по голосам не различал, кто говорил: у всех бурлаков голоса казались одинаковыми. Только Корнила узнавался — да и то лишь потому, что возражал.

— Нам ведь Поздей-то много успел растрясти... Говорил, что у нашего сплавщика батя пугачёвскую казну украл...

— И что, наш сплавщик тем золотом с головы до пят усыпан? За те же копейки шею гнёт. А Поздею с чего вера-то?

— А с чего ему врать? Он до сплава Перехода и не видал...

— Не видал, а говорил. Да ещё ведь и сам именно к нему пришёл да нанялся... И под бойцом загрёб, чтоб всех убить, — и вас тоже, не одного Перехода. И барку ночью отпустил. Откуда ненависть такая к человеку, про которого ты раньше ни сном ни духом? Ну-ка вон ты, лысый, ты ведь тоже на Перехода только в Каменке первый раз посмотрел, да? Скажи мне: вот узнал ты о сплавщике дрянь всякую. Стал бы ты, как Поздей, барку на бойца править, снасти резать?

— Да уж нет, пожалуй, — согласился кто-то из бурлаков. — Пушай сам пропадает, как бог накажет. Своя-то шкурка себе милее...

— И о чём тогда говорить? Купили Поздея. Хорошо купили.

— А кто?

— Почём я знаю? Кто Фёдора Милькова застрелил?

— Братцы, а ведь не в Фёдора стреляли-то! — взволнованно заговорил какой-то молодой голос. — Понял я! Это ведь тоже в Перехода стреляли! На Фёдоре-то сплавщиков армяк был с дырой на спине — по армяку и спутали! А убить хотели Перехода!

— Да то уж давно все поняли, дурень.

— И всё равно я нюхом чую — нечист сплавщик! — упорствовал кто-то.

— Серой, что ли, от него тянет?

— Ну, не серой, а нечист...

— Я, братцы, видел — у него на шее сразу гроздь крестов-то!

— Крестов же, не лягушачьих лапок.

— Он ведь кержак. Кто его знает, какого толка. Может, у них положено так...

— А может, и еретик какой.

— Может, и еретик...

— Нам, Корнила, не то страшно, что барка уьётся. Страшен тот, кто её ведёт, понял? Будь другой сплавщик — ладно ещё... А с этим — дело на кромочке.

— А вы сами до сих пор не убедились, что он не хочет барку убивать? У него сколь возможностей-то было всех утопить, а? Вспомните, как сегодня под большим бойцом, где руки рубили, прямо в камень нас потащило — и ведь вывел он! Чего боитесь? Он не меньше вашего хочет всех живыми в Лёвшину привести. И идёт чисто, как по гладкому.

— То и боязно, что больно чисто.

— Ну, тебе не угодить!

— А я, братцы, даже подумал грешным делом: разбей он барку или на огрудок вылези — ну, всё понятно, человек есть человек. И конь, сами знаете, о четырёх ногах, да спотыкается. А этот как заговорённый — всяка беда мимо!

— Тут, Митрий, и есть наука сплавщицкая. Она от деда к отцу, от отца к сыну.

— Наука, Корнила, это когда ясно: вот так можно, а так — нельзя. А здесь какая же наука, коли не видно, как расчёт делать? И у Перехода когда — наука, а когда он без всякой науки голым глазом видит, волчьим нюхом чует.

— Где чует, там душа, — веско добавил кто-то из бурлаков. — А где душа, да без храма, там всё может быть... И бесы тоже.

— Я, Корнила Данилыч, всего второй раз на сплав хожу, а понял уже: у сплавщиков этих — свой счёт. Наше дело крестьянское, земляное, медленное. А у них — быстрая вода. И в ней и до бога, и до чёрта ближе. Не знаю, в какую сторону наш Переход поворотил, да боюсь, что не в ту...

— Ведь пустое мелешь, пустое! — с досадой закричал Корнила. — Платон, хоть ты зипунам своё слово скажи!..

— А чего говорить? — буркнул Платоха. — Зипунам науки сплавщицкой вовек не понять, вот им колдовство и мерещится. Я сам рос-рос до сплавщика, но так и не дорос.

Зато теперь цену им знаю и вижу с лёту. И скажу вам, что парню нашему цена — дорогая. Он уж точно своего бати сын. А про науку, которая колдовством кажется, вот что расскажу. Был у нас в Ревде знатный сплавщик, Довмонт Ватуров звали его. У Довмонта сын был. И влюбилась в Довмонтова сына приказчикова дочка, гнилушка девка. Парню, понятно, на что она? У него невеста была. И тогда девка-гнилушка побежала к ведьме и денег ей дала, а ведьма на парня сухоту наслала. Довмонт же не трусом оказался, пошёл к ведьме на выселки и выбил дух из гадины. Это положено так: сухоту только с ведьминой гибели отвести можно. И ведьма, сдыхая, пообещала Довмонту: или парень твой на барке убьётся ещё до свадьбы, или тебе самому, коли на барку подымешься, света белого больше не видать.

— Сука, — сказал кто-то из бурлаков.

— А парня-то женить хотели сразу после сплава. И тогда Довмонт сказал сыну: я с тобой на барке пойду. Сумею, мол, доведу барку, не убью. Оба живы останемся, бесу не дадимся. А потом ты женишься, и рассыплется проклятье. Сын туда-сюда, а Довмонт непреклонен. И взошёл-таки на барку вслед за сыном, встал на скамейку. Только встал, и вдруг говорит бурлакам да подгубщикам: хотите целыми дойти — молчите всю дорогу. Чтоб ни звука, ни вздоха. Так и отвалили. И дошли ведь до Оханска, и парень опосля женился, и Довмонт ещё долго в скиту под Крестовой горой прожил.

Платоха замолчал.

— И всё, что ли? — удивлённо спросил кто-то. — А наука-то где?

— А наука в том, что сбылось ведьмино проклятье. Довмонт как встал на скамейку — так и ослеп начисто. Не увидел больше света белого. И ничего о том ни сыну, ни кому другому не сказал, чтобы сын его место не занял и не убился. Довмонт барку по памяти, по шуму воды провёл. Потому он и приказывал всем молчать. И никакой чертовщины. Вот она, сплавщицкая наука. Поняли?

— Может, твой Довмонт и не был колдуном, — вдруг ломким, высоким от волнения голосом заговорил бурлак из молодых, — только есть бесовство на сплаве, есть! Я сам видел! Я четвёртый раз уже хожу, знаю! В позапрошлый год шёл я на барке Тимошки Колобова из Косого Брода. Слышали про такого? Прозвище у него ещё было — Могилка. И уж не ведаю, чем наш Могилка бога прогневил... На второй день за камнем Гамаюном встали мы на хватку ото всех отдельно — так вышло. Утром отвалили как обычно. Бежим — и всё вокруг не то! Вроде — то, а не то! И скалы вроде похожи, а не те, и ни единой деревни на берегу, ни единого человека, ни одной барки ни спереди, ни сзади... Одни мы на реке! Бежим, бежим, бежим — а у самих волосы дыбом! Где мы? Как здесь очутились? Как выбраться? Тишина! Страх божий! Так до сумерек и неслись. Схватились вечером, всю ночь молились. И как рассвело, увидели: стоим мы за камнем Гамаюн на вчерашнем месте! Вот так, братцы!

— Это вы на обратную реку попали, — вдруг скрипучим, не своим голосом заговорил подгубщик Логин. — Есть эта обратная сторона — бесова сторона божьего мира... Повезло вам ещё, что выбрались. Как-то перевернуло вас назад без вреда. А бывает, что и остаются там люди насовсем, пропадают. Или же возвратятся — да лучше бы там оставались. Звери зверьём явятся или ума решатся. Опасно это — на обратную сторону смотреть...

— А ты смотрел?

— Смотрел единожды, — неохотно признался Логин. — Дурак был...

— И как смотрел? — вскинулись бурлаки. — Чего видел?

— Неохота, братцы, вспоминать.

— Дуди уж, коль в губы взял...

— До Пугача ещё со мной то приключилось... Варнак какой-то, каторжанин беглый, за корку хлеба отдал мне булку с заговором. Надо в полночь встать на переборе спи-

ной против течения, нагнуться так, чтоб макушка в воду ушла, меж ног своих назад смотреть и заговор читать. Тогда увидишь оборотную реку.

— И чего, читал ты? Увидел?

— Залез в перебор, нагнулся, прочёл заговор, глянул...

— Да не тяни душу! — рассвирепели бурлаки.

— Увидел барку свою, на которой шёл... Она зачалена неподалёку была... Только не барку... Не барка была зачалена... Ну, увидел я, что вместо барки моей у берега зачален огромный гроб! Чуть я не захлебнулся...

— И к чему это? — недоверчиво спросили у Логина.

— К тому, что следующим днём барка моя убилась. И все, кто шёл на ней, потонули. А я в ту же ночь со сплава бежал. Потому и жив.

Бурлаки молчали, раздумывая.

— Я тоже слышал про оборотную реку, — сказал ещё один бурлак. — Говорят, бывали сплавщики, что плавали по ней. И кто проплывёт той рекой — многое о своей жизни узнает тайного... Иные сплавщики чёрту душу отдавали, чтобы проплыть по оборотной Чусовой. Потому как для сплавщика на той оборотной стороне только те скалы стоят, на которых он в жизни своей барки убивать будет. Вот сплавщик эту тайну вызывает — и те заповеданные скалы трижды бережно обходит.

— Бесова насмешка это — сплавщицкую тайну на оборотной реке искать, — возразил Логин. — Не помогает, даже хуже. Потому как ежели сплавщик вызывает, какой скалы ему бояться, значит, убьётся он на Неназванном Бойце.

— Что за боец такой?..

— Да вот такой... То есть, то нету... То здесь, то там... Где хошь объявится в самый жуткий миг. Блуждает он по реке. Из одного бойца в другой превращается. Ныряет с нашей стороны на оборотную, и обратно. Он всё одно сплавщика подкараулит и встанет на пути — не отгребёшь от него, не ускользнёшь.

— А ведь я видал тех, что на Неназванном Бойце убились! — вдруг охнул молодой бурлак, который один день плыл по оборотной реке. — В прошлом году на Сулёмском плёсе встретили мы бурлаков, у них барка убилась на Журавлином Горле, и сплавщик утонул. И все как один талдычили: огромный такой боец стоит на правом берегу вскоре за Пленичным! Никто им не поверил, потому как за Пленичным до самой Сулёмской пристани нету на правом берегу никаких бойцов!..

— Он, значит, и был, — согласился Логин.

— А я басню слышал, что какой-то сплавщик с оборотной реки принёс пророчество, что погибнуть ему под Дыроватым камнем, — заговорил долго молчавший Корнила. — Кто знает, тот подтвердит, что на Чусовой три Дыроватых. Вот тот сплавщик и взял привычку: как его барка обходит какой из них, он шаст в косную лодку и стороночкой, стороночкой. А ведь не уберётся хитрец. Ездил как-то на мельницу за мукой, и там поломка случилась: на поста́ве с оси слетел жёрнов, да сплавщику этому по башке. А жёрнов — все видали — тоже ведь камень с дыркой...

— Неча народ оборотной стороной пугать, — угрюмо сказал Платоха. — Чтобы бесу в пасть не попасться, надо правила бурлацкие соблюдать. Утром встал — помолись. На барку восходишь — пальцы держи скрещённые. Не свисти, на палубу не плюй. Под бойцами своего святого проси. На сплаве не блуди. И главное — псов на барке не держи.

— А псы тут при чём?

— В пса бес обращается. Поплывёт на барке — верная гибель. Коли барку на бойца потащит, то люди-то раскаются в грехах, и Господь их спасёт, а бес никогда не раскается, и будет верный бой.

— Ежели бы только в пёсий род бесы вселялись — полбеды, — мрачно сказал старый и лысый бурлак. — Сколь сплавщиков сами свою душу бесу отдают...

— Есть такое, — сказал Корнила.

— Мне дядька как-то рассказывал, он водоливом ходил. Однажды на сплаве свалился за борт и совсем бы утоп, да сумел ухватиться за снасть другой барки, что мимо проплывала. Вылез. И увидел, что попал на судно к знаменитому тогда сплавщику Елизарке Колтырину из Полднево́й. Горбуном ещё Елизарку звали. Тот Елизарка ни единой барки не убил. Обрадовался мой дядька-то, думал — повезло. Горбун его ласково встретил, в казёнку пустил обогреться. А казёнка чуток над палубой выставлялась, и в стенках под самым потолком окошки были малые. Их скобами так и смяк напоперёк заколотили, чтобы воры не залезли. И получился из скоб на окне крест! Дядька сквозь то окошко поглядел ненароком и увидел, что не люди у Горбуна бурлаками стоят, а бесы на потесях! Вот и слава вся откуда у Горбуна: бесы его вокруг скал обводили! Горбун тот уж лет десять как помер. Говорят, когда поп полдневской велел миру вокруг кладбища ограду поставить, подрядил мир по дешёвке какую-то пьяную артель. И пьянчуги так ограду провели, что ровно одна могилка снаружи осталась — Горбуна могилка!

— Суеславие — вот сплавщиков грех, — сурово сказал Корнила. — За-ради славы сплавщицкой на что только люди не идут. Слышали байку про бахвала с Каменки? Был, дескать, там такой сплавщик — Плюха Помело. Языком как помелом мёл — и всё про себя песни пел. Бесы над ним и пошутили. Как-то вёз он пушки Каменского завода. Даже, кажись, караванным был. И плыла с ним начальника караванного жена, ожги-баба. Пока караванный пьяный в казёнке валялся, Помело вокруг бабы вился и хвастался, хвастался, хвастался... И тут все пушки у барки в брюхе разом как пальнут — ну будто на параде, когда генерал покажется. Барку вдребезги разнесло вместе с Плюхой. А бурлакам, бабе-дуре, даже пьяному караванному — ничегошеньки не сделалось, только вымокли. Вот про такую погибель никакая оборотная сторона не расскажет.

— Ты, Корнила, на шутку сводишь, чтобы народ не пугать, а я о другом говорю, — раздумчиво произнёс Логин. — Обратная река — она ведь не для того, чтобы всякому сплавщику подсказать, под каким бойцом тот убьётся... Она для того, чтобы сплавщик свою тайну сплавщицкую извёдал. Узнал, как ему идти в теснинах-то. Что за бесы его там стерегут. Мы же люди тёмные, совсем тёмные, а потому и свет нам белым кажется. И всё на нём нам понятно. Это — грех, а это — дозволено, всей-то и разницы... И главная тайна для нас, дурацкая тайна, — вызнать, где и как богу душу отдадим. Будто ничего важнее и нету. Идёт такой дурак на обратную реку и приносит знание про то, где ему убиться. Бесполезное это знание, обманка. А человек, простота эдакая, думает, что сплавщицкую тайну на свою душу у сатаны выменял... Был, говорят, такой сплавщик, что вернулся с обратной реки и рассказал: плыл я там, дескать, и ничего не увидел — темнота! Другой остолоп ему разъяснил: значит, погибнешь ночью. Ну, понимаете, бывает так: не сумели в сумерки схватиться, и плывёт барка ночью, а в темноте первый же встречный боец — последний. И вот этот сплавщик-дурак пообещал чёрту душу, чтоб для него все скалы в темноте светились. Чёрт дураку всегда пособить рад. Стал с тех пор тот сплавщик и ночами плавать. Скалы горят ему, как пни трухлявые, — всё видно. И как-то раз плыл вот так до самого рассвета, а на рассвете туман на реку лёг, и ни зги не видно. Тут и убился тот сплавщик о свою скалу. Вот тебе и тайна сплавщицкая. За что душу отдал?

— Тайна сплавщицкая и на своей стороне, и на обратной — одна, — сурово сказал Корнила. — Незачем за ней туда ходить. Бес если и подскажет, то навыворот, чтоб ты не понял. А тайна всегда очень проста... У каждого, наверное, своя. А может, и на всех одна — не знаю... Но простая тайна. В два-три слова сказать можно.

— Чего ж никто не говорит?

— На то и тайна. Знаешь, к примеру, какая тайна у Пугача была? Тоже тайна простенькая, а он её хранил исто-

вее, чем душу. И вся тайна его в трёх словах заключалась, вот эти слова: «Я не царь!» И у любого эдак. Бывает, что человек тайну эту так хранит, что даже сам от себя прячет, сам её знать не хочет, чтоб не выдать. Тайна эта уста жжёт, её и немой выговорит. Вот я вам правду расскажу, не сказку. Это воистину было. Я не буду вам имени того сплавщика называть — он и сейчас ходит. Он смолodu был в чести, и дочь у него была — Павлина, Павушка, красавица и любимица. Мальчонку он взял из сирот себе в выученики — Егорушку, и тот, по всему видать, в хорошего сплавщика вырастал. Но дело ясное: в одном доме жили молодые. Слюбились, понятно. Убежали и обвенчались. Вернулись — и в ноги батюшке. А он осерчал, пинками прогнал обоих. Дочь проклял, парня выгнал, не доучив. Вырвал обоих из сердца, как волк в капкане себе лапу отгрызает. И сколько-то там лет прошло. Егорушка этот всё ж таки стал сплавщиком, но недоучкой, бедолагой. Не набрал он сноровки у приёмного батюшки и однажды убился под бойцом. Сплавщик же тот, как узнал, только сплюнул, а к дочери и внучеку даже жене своей ходить запретил. И вот однажды вёл он барку, и перед тем бойцом, где Егорушка убился, вдруг словно в глазах у него полыхнуло и в темя ударило, когда он Егорушкин крест на скале увидел. И отнялся у него язык. А как сплавщику-то без команды, без голоса? Гибель! И понесло его барку на Егорушкин боец. Но сплавщик тот о смерти-то своей и не подумал вовсе. При виде того голбца, кривого да неухоженного, вспомнил он, как живого, приёмыша Егорушку, которому он сам надежду дал, сам же и отнял. Вспомнил Павушку свою, которая с внучеком жила у какой-то старухи-нищенки в бане на хлебе да воде. Вспомнил жену свою, которая иссохлась по дочери. Вспомнил всю жизнь свою — светлую, пока молодые в доме его смеялись, да пели, да целовались за занавеской, и тёмную, сухую, когда опустел и обветшал большой дом и почернели образа в кивоте. И страшно ему стало за душу свою бессмертную. Жалко ему стало всех —

и Павушку, и Егорушку, и жену Настасью Герасимовну, и внучека, которого и как звать-то, он не знал, — вроде бы тоже Егорушкой. И бурлаков своих стало жалко, что за его вину они сейчас смерть примут. Вся душа у старика вздыбилась и переверотилась, всего его вперехлёст адовым пламенем обожгло и на сердце будто кованым каблуком наступили. Да только что он сделает-то теперь, обезьязичев? Как скомандует бурлакам и подгубщикам?.. Всего-то он и смог, что тайну свою выкрикнуть, и душу свою до капли в неё вложил, весь свой грех, всю свою любовь. И тогда истинным чудом барка ушла из-под скалы, вырвалась, спаслась, на чистую воду выкатилась. Вот оно что такое — сплавщицкая тайна.

— А чего он крикнул-то? Знаешь эту тайну, Корнила?.. — загомонили бурлаки.

— Знаю, — сказал Корнила.

Осташа даже подался вперёд из-за елового ствола, чтоб не прослушать заветные слова.

— Ну скажи, чего он кричал?..

Корнила оглядел всех, снял шапку и сказал:

— «Господи, прости!»

СКАЗКА

Осташа проснулся. Никешки рядом не было — то-то холод и продрал до костей. Дрожа, Осташа выполз из своей берлоги. Кругом стоял туман. В белой мгле можно было видеть лишь полянку на пять шагов вокруг себя. Деревья превратились в комли высотой в человеческий рост, дальше словно обломленные буревалом. Сверху словно из ниоткуда свисали густые еловые лапы. Костёр почти прогорел. Мужики спали вокруг углей, завернувшись в лопотину, замёрзшую, как береста. Где-то, неведомо где, пинькала лесная синичка. Журчание недалёкого перебора Цветники превратилось в холстяной шорох.

Осташа навалил в костёр разбросанные вокруг сушины, сквозь колючие еловые объята напрямик спустился к реке. Казалось, что он всё время находится в тесовой, выбеленной горенке без окон. Мучнистый свет висел в воздухе сырой пылью. Островок битых камней под ногами, накрываясь, наполовину уходил в тёмную воду.

Осташа присел, умылся и остался сидеть на корточках, свесив руки с колен. Вода беззвучно капала с ладоней. Надо было прочесть молитву, но мешал какой-то непонятный страх. Где он сейчас?.. Не на оборотной ли стороне, про которую говорили бурлаки вчера ночью?

Сегодняшний день будет решающим. Вечером барка должна пробежать Гребешок и вырваться из теснин. Дальше уже будут только холмы да покатые горы, а скалы кончатся, и Чусовая разольётся спокойная, словно пруд. Но это будет вечером, а с утра его ждут Царь-бойцы, и сердце их — сам Разбойник. Сумеет ли он пройти Разбойник, как хотел — отуром? Сегодня решится: явится ли батина правда на Чусовой, или он, Осташа, убив свою барку, уйдёт во вреющие воды. Боязно было читать утреннюю молитву — словно проявить себя перед богом. А вдруг Господь уготовил ему на сегодня сон под бегучей волной? Прочтёшь молитву — и сразу увидишь, как в тумане плывёт лодка святого Трифона...

— Отче наш, — зажмурившись, зашептал Осташа. — Иже еси на небеси...

Он шептал и всё яснее начинал слышать тюканье подкованного лодочного шеста по донным камням.

Он открыл глаза. Серым, размытым пятном в тумане двигалась лодка. Осташа помертвел и замер, словно надеялся, что святой Трифон проплывёт мимо, не заметит его.

— Вон она, точно! Правь к берегу! — донёсся глухой, как из-под шубы, но всё же узнаваемый голос Никешки.

Лёгкий шитик ткнулся носом в валуны. Из тумана вдруг вылетел Никешка и шумно рухнул рядом с Осташей, едва не переломив ногу.

— Провалиться вам, каменюки чёртовы!.. — заругался он. — Всё, дядя Митрей, спасибочки! Плыви домой!

— Храни бог, Никифор! — ответили из тумана.

Лодка с хрустом сползла с отмели и растворилась в белизне.

— Еле отыскал вас, ни пса не видно! — пожаловался Никешка Остахе. — Пошли к огню, замёрз вусмерть!

Несколько бурлаков уже возились у костра, сгребая его в кучу. Свежий огонь радостно шнырял по дровам, с треском грыз сучья.

— Мама с батяней тебе поклон передали, — сказал Никешка Остахе и сразу горячо зашептал: — Чего узнал-то я!.. У Колывана беда случилось, как я на сплав ушёл! Говорят, воры к нему залезли: всё в доме разнесли, окна выбили. Жене евонной косу выдрали с мясом — она и сейчас ещё лёжнем лежит. Петруньку избили до беспамятства... — Никешка наклонился к самому уху Остахи: — Говорят, Нежданку насиливали. Колыван её сразу отправил к сестре своей в скит, чтобы плод вытравить! А вчера Колыван приехал с Прошкой — ну, женихом для Нежданки-то, а ему говорят, что Нежданка из скита пропала совсем!..

— Что за вор такой лютый? — поразился Остаха.

Никешка выпучил глаза и развёл руками.

На душе Остахи стало тягостно и даже досадно. Он хоть и не корил себя за то, что лишил девку девства, но знал, что нельзя так. А вот явился молодец и таких дел натворил, что любой Осташин укор своей совести казался стыдом мальчонки, который у матушки ватрушку стащил. А тягостно было потому, что не желал он Неждане таких бед.

— Куда ж она делась из скита? — спросил Остаха.

— Черницы тамошние боятся, что она руки на себя наложила.

— Искали её окрест?

— Искали — нету.

— А Колыван чего?

— Да ничего, — удивлённо сказал Никешка, словно и сам только сейчас осознал, как всё это странно. — Пожрал, помолился да спать лёг. А Прощке — тому всё едино про Нежданку. Он, как теля, по своему батьке плачет, сопли ведрами выплёскивают...

Осташа помолчал, бездумно глядя в костёр, и вдруг неожиданно даже для себя сказал Никешке:

— Колыван небось сгинет сёдня на бойцах. Мне Конон Шелегин говорил, что не жилец Колыван. Конону перед смертью многое ясно сделалось... Вот и нету Колывану дела ни до чего — ни до жены, ни до Нежданки... Кончилась семья.

Никешка ошарашенно таращился на Осташу.

— Пойду по нужде, — жёстко сказал Осташа, вставая. — А ты набери водички в котелок наш, поставь в угли. Хотя отвару горячего попью, пока бабы завтрак сготовят.

Ему не хотелось, чтобы Никешка расспрашивал, когда и как Конон Колывана приговорил.

Осташа зашёл в лес поглубже и вдруг услышал в тумане какую-то непонятную возню чуть дальше по склону. Ближайшая ёлочка затряслась, нагнулась в сторону, и через неё прямо в руки Остахе упало какое-то мелкое лесное чудище — мокрое и ледяное. Осташа подхватил его, отодвинул от себя — и узнал колывановского Петруньку. Хотя узнать его было трудно: лицо у мальчонки было чёрное, как у удушенника. Петрунька бессильно обвис в руках у Осташи, не сказав ни слова.

Осташа сгрёб его в охапку и ломанулся к костру.

— Это что за лешачонок с тобой, сплавщик? — весело загомонили бурлаки, но осеклись.

Осташа поставил Петруньку у костра, но мальчишка не держался на подламывающихся ногах, падал. Он был босой, в одной рубашке и штанах, насквозь сырых и заледеневших.

— Держи его! — рывкнул Осташа ближайшему бурлаку.

Бурлак приподнял Петруньку под мышки, а Осташа сволок с мальчишки одёжу. Вид у Петруньки был страшен.

— Матерь божья!.. — по-бабьи охнул кто-то из бурлаков.

Спина и ягодицы у Петруньки были во вспухших багровых рубцах. На рёбрах вздулись опухоли и кровоподтёки. На руках и на бёдрах друг на друга лезли синячищи. Половина лица была блёкло-чёрно-рыжая от старых побоев, другая половина — ярко-чёрно-сизая от свежих. Глаза — как щёлочки, бровь рассечена. Петрунька болтался в руках у бурлака, словно шенок.

— Никешка, водки принеси и мой армяк! — заорал Осташа.

Водки на донышке ещё оставалось в том штофе, что не допили Логин и Федька.

Кто-то из мужиков уже протягивал Осташе свой зипун.

Осташа завернул Петруньку в зипун и опустился у костра, держа мальчонку на коленях. Глаза у Петруньки оставались закрыты. Подскочил Никешка, протянул штоф, обомлел:

— Да это ж Петро!..

Осташа сунул горлышко штофа Петруньке в рот и вылил водку. Петрунька сглотнул её, как молоко из мамкиной титьки.

— Силён мужик, — серьёзно сказал Платоха Мезенцев.

Петрунька лежал без движения — и вдруг открыл глаза, почуяв в животе взрыв огня. И тотчас его начало колотить.

— Что за малец? — тихо спросил Корнила у Никешки.

Оказывается, почти все бурлаки уже толпились у костра.

— Да из деревни нашей, из Кумыша... — пояснял потрясённый Никешка. — Колывана Бугрина младший сын...

— Колывана? Какого Колывана?.. Который сплавщик, что ли?.. — изумлённо загомонили бурлаки.

— Живой ты? — наклонился над Петрунькой Осташа. — Тебя как сюда вынесло-то?..

— Его ув-видел... — продолжая трястись, спалённым от водки голосом просипел Петрунька и указал глазами на Никешку. — П-п-побеж-жал з-за н-ним... Ку-ку-кумыш переп-плыл... К те-тебе бе-беж-жал...

— Почто? — тихо спросил Осташа.

Бурлаки вокруг замолчали, ожидая ответа.

— Ба-батька вчера... сказ-зал ка-караванному... что нынче... уб-бьёт тв-вою ба-барку... — проклацал зубами Петрунька.

Осташа обвёл бурлаков ненавидящим взглядом. Они всё слышали. Колыван их тоже приговорил.

— Чего столпились? — зарычал Осташа. — Идите по делам своим!

Ни единый человек ему не ответил, ни единый не отвёл глаз.

Осташа вскочил и с Петрунькой на руках побежал в лес.

Он остановился за ёлками, тяжело дыша.

— Как убьёт? — спросил он Петруньку.

Мальчишка, спелёнутый зипуном, не шевелился, только глядел умоляюще и виновато.

— Он-н н-на я-якоре... за-за К-кликуном вс-станет... Твою ба-барку толкнёт н-на Раз-збойника...

Осташа застонал сквозь стиснутые зубы, по-волчьи запрокинув лицо к небу. Душа его вытянулась и истончилась, будто сверху сквозь горло кто-то высасывал её из Осташиной груди. Петрунька затрепыхался, но Осташа только крепко прижал его к себе.

— П-прости... — прошептал Петрунька.

Левой рукой притиснув парнишку к груди, Осташа схватил себя за лицо и стал мять скулы, нос, лоб, точно вминал в себя эту страшную мысль: ему не пройти Разбойникотуром. Ему никогда не доказать батину правду. Всё зря. Колыван победит.

— Ладно, ладно... — обморочно забормотал Осташа и для себя, и для мальчонки. — Ладно... — Он подхватил Петрунь-

ку другой рукой и стал качать, как младенца. — А тебя-то кто так уделал? Воры?..

— Н-не было воров... Их ба-ба-тька придумал... С-сам он всех н-н-нас бил... У-узнал, что ты-ты Н-неждан-нку... с-с-с... с-сп-п... В скит её отп-правил... До-до П-прошки...

— Что ж она там — повесилась?

— У-убеж-жала...

— Куда?

— Н-не знаю... Я с-сам из до-дома убеж-жал... К те-теб-бе...

— Ну что мне делать с ба-ба-тькой твоим? — с мукой спросил Остаха у Петруньки. — Что мне делать с тобой? Что с бурлаками делать, с собою?..

— П-прости...

— Заладил: «прости», «прости»!.. — сорвав сердце, крикнул Остаха и напролом сквозь ельник пошагал обратно к костру.

Его молча ждали. Он сел на прежнее место и снова пристроил Петруньку на колени, чтобы мальчонка отогревался от огня.

— Что скажешь? — наконец спросил Корнила Нелюбин.

— Ничего, — буркнул Остаха.

— На одной барке идём... Где ты — там и мы.

Остаха упрямо смотрел на угли.

— Мы ещё посмотрим, чья возьмёт! — вдруг заорал он и поднял на народ бешеные глаза. — Я тоже сплавщик! Тоже не из шишки выковырян! Боится кто — не держу!

Оказывается, все бурлаки сидели вокруг костра, как на ночных пересудах. И вот один не торопясь встал, встал второй, третий, пятый... Они разошлись по полянке и скоро небольшой толпой вернулись обратно, уже плотно одетые в зипуны и перепоясанные.

— Бог в помощь мимо смерти пробежать, братцы, — печально сказал кто-то из них. — А мы со сплава уходим.

Они поклонились, опасаясь посмотреть на Осташу, развернулись и пошли прочь. Хруст их шагов затих в лесу на склоне.

— Давай уж, сплавщик, расскажи нам: кто, что, как и почему, — раздумчиво произнёс в тишине Корнила.

— Нечего мне рассказывать, — сквозь зубы ответил Осташа.

— Тебе бурлаки нужны или один пойдёшь? — прорычал Платоха.

Корнила, осаживая подгубщика, положил ладонь ему на плечо.

— Один! — крикнул Осташа.

— Ты скажи, — спокойно, без нажима, продолжил Корнила, — Поздей — он Колывана засланец был?

— Его, — кивнул Осташа.

— А Федьку за тебя убили?

— За меня.

— И тоже Колыван стрелял?

— У него есть кому стрелянуть.

Никешка смотрел на Осташу, открыв рот. Видно, в его простом уме такое и уложиться не могло.

— А басня, что батька твой царёву казну украл и барку убил, — колывановская?

— А ещё-то чья? — Осташа впервые глянул Корниле в лицо.

Но Корнила не пытал Осташу — размышлял сам с собою, смотрел в землю, чертил прутиком в пепле костра.

— Расскажи начистоту, — попросил Корнила. — Открой душу народу... Тебе же нужен народ, верно? Кто же с тобой пойдёт вслепую, ежели у тебя за спиной такая тайна? Уважь...

Осташа обвёл всех глазами. Вот так взять — и рассказать всё с самого начала? Со всеми хитростями, со всем стыдом, со всем бесполезным смыслом?.. Нет. Это и невозможно, не по силам. По силам только сказку рассказать, чтобы в неё поверили. А совесть — это когда правда твоя и сказка твоя об одном и том же. Да и не поверят в правду. После прав-

ды надо делать поневоле, а поневоле не всякий пожелает. Зато после сказки — сделают то же самое, но своей охотой.

— По мамкам соскучились? — спросил Осташа у всех. — Давно сказок не слушали? Ну ладно. Моя байка не длинная...

После капитана Берга уже привычно было из своей истории складывать другую: похожую, но не ту, что была.

— Поздей уже нашептал вам, что батя мой пугачёвскую казну закопал, да? Это правда. Белобородовская казна в Старой Утке сплавщикам досталась, а от них случаем — батю. Батя её и зарыл. Где зарыл — никому не сказал, даже мне. Казну эту только настоящий царь должен взять. А чтобы он нашёл её, батя пустил гулять загадку про четырёх братьев Гусевых, которые на клад положены. На самом деле Гусевых он не убивал. Живы они были почти все, а последний из них — Чупря — и сейчас Колывану служит. Это он Федьку застрелил.

Бурлаки слушали внимательно, даже бабы, стоящие поодаль и одинаково прикрывшие рты ладонями. Осташа привстал, чтобы перевернуть Петруньку к огню другим боком, и увидел, что мальчишка спит.

— А батя мой на Чусовой лучшим сплавщиком был. Он ни под кого не нагибался, сам ходил. А под Кононом Шелегиным лучшим был Колыван Бугрин. При Кононе и Гусевы от властей прятались. Видно, Колыван-то от Гусевых и догадался, где казна схоронена. Разгадал, значит, батину загадку. И батя мой стал ему мешать: что же за тайна, коли на двоих поделена? А батя хотел сплавщицкий подвиг совершить: пройти Разбойник отуром. Такой путь найти, чтобы любой этим путём мог Разбойник обогнуть, даже когда гибель вроде бы и неминуема... Колыван на то и рассчитал. Батину барку поддырявил, и батя убится об Разбойника, утонул. А Колыван всем сказал, будто батя мой нарочно барку убил, чтобы убежать и казну унести. Чтоб никто ни его, ни казну на Чусовой больше не искал. Нелзя, мол, Разбойника отуром пройти, и если уж Переход пошёл, значит, хотел барку убить и золото забрать. И теперь

казна только Колывану бы и досталась. Он и без того уже на Чусовой себя царём возомнил. Конон помер, а Калистрата Крицына, наследыша его, позавчера застрелили. Думаю, что это по Колыванову наущенью Чупря Гусев и застрелил.

— Калистрата убили?.. — загомонили бурлаки. — Ну и дела!..

— Один я остался Колывану поперёк горла, — продолжил Осташа. — Потому что мне обиден поклёп на батю. Потому что с того поклёпа меня к сплаву не допускали. И нынче я хочу Разбойник отуром пройти. Пройду — и всем станет ясно, что возможно такое. А значит, честен был Переход. Значит, сгубил его Колыван, который больше всех про чёрный умысел кричал. И не посмеет Колыван казну выкопать, и не возьмёт верх на сплаве, как Конон брал. Понятно теперь, что за ярость у Колывана?

— Да уж понятно, — вразнобой закивали бурлаки в раздумье.

— Не одолеть тебе, парень, — с сожалением сказал Платоха. — Сильный ты сплавщик, слов нету... Но Колывана не переломишь.

— Переломлю, — упрямо ответил Осташа.

Платоха подумал и повторил:

— Не переломишь.

Осташа отвернулся. Глупо за последнее слово перепираться.

— А мальчонка Колыванов тут при чём? — напомнил Корнила.

— Осташка с ним прошлое лето подружился, — влез Никешка, покосившись на Осташу: верно ли говорит? — Колыван за то бил Петруньку смертным боем... Вся деревня видела.

— И что же теперь? — спросил Платоха о самом главном. Осташа передёрнул плечами.

— А теперь Колыван на якоре будет поджидать меня перед Разбойником, чтобы баркой мою барку толкнуть и убить

об скалу. Ни с Поздеем, ни с Чупрей у него не вышло меня убить. Ему только так и остаётся.

— А ты?..

Осташа усмехнулся, не поднимая взгляда.

— Может, пересидеть здесь денёк? — робко предложил кто-то из бурлаков. — Или два... Не будет же караванный столько ждать...

Осташа отрицательно покачал головой.

— Я сплавщик, — сказал он. — Я с Колываном буду мериться. Я не спрячусь.

— Он всё одно пойдёт, — сдвинув бороду на сторону, раздумчиво согласился Корнила. Теперь он не сводил глаз с Осташа.

Бурлаки помолчали, потом начали переговариваться. Осташа ждал, баюкая Петруньку.

— Отойдём, братцы, — вставая, распорядился Платоха. — Давай не при человеке...

Бурлаки гурьбой отошли за ёлки. У костра остались только Осташа с мальчонкой, Никешка, Корнила да ещё пара мужиков.

— Уйдёт от тебя народ, — негромко сказал Осташе Корнила. — Не ту сказку ты рассказал...

Осташа не ответил.

Бурлаки возвращались россыпью и поодиночке. Кто-то что-то негромко и горячо втолковывал товарищу, взяв того за локоть, кто-то угрюмо помалкивал. Кто-то сразу вывернул к костру и присел на брёвнышко. Кто-то заполз в свой шалаш, кто-то полез на барку — в мурью, где хранились пожитки.

Платоха остановился перед Осташей, постоял, странно кривя рожу и шевеля усами.

— Уходим мы, сплавщик, — сказал он. — Свой живот дороже. Тебе это уже говорили.

— Ну и не повторяй, — окаменев скулами, посоветовал Осташа.

— Дай тебе бог удачи, — без ожесточения продолжил Платоха. — Не со зла всё... Сам понимаешь почему.

— Зря я вам сразу все деньги выплатил, — ответил Осташа.

Платоха усмехнулся.

— Давай мне мальчонку, — вдруг предложил он. — Я ведь через Илим пойду — отправлю его тебе в Кашку. Я знаю, ты бобыль. Жив будешь — вдвоём легче, а сгинешь — его всё равно Колыван забьёт.

Осташа поднял глаза: Платоха стоял в одной рубахе, шапку сжал в руке.

— Одежда-то моя, — напомнил он про зипун, в который был завернут Петрунька.

Осташа неуверенно, криво улыбнулся и неловко встал. Платоха, нахлобучив шапку, бережно перехватил у него зипунный куколь с Петрунькой.

— Прощаться не будем, — сказал он. — Дурная примета.

Платоха повернулся и пошёл прочь.

Осташа стоял спиной к поляне, глядел на Чусовую. Туман уже исчез — как-то незаметно его размело. По реке бежали барки. Сзади слышались шаги, голоса, шаги, голоса. Осташу не окликали. Шуршали ёлочки; трещали сучки на тропе, уводящей к Кумышу. И вдруг затюкал топор: кто-то рубил дрова на огонь для завтрака.

Осташа быстро оглянулся. Больше десятка человек, накупившись, сидели вокруг костра. Даже одна баба была.

— Сплавщик, пожрать ведь надо перед отвалом, — сварливо и укоризненно сказал кто-то.

РАЗБОЙНИК

Считая бабу и не считая сплавщика, на барке осталось четырнадцать человек. Ровно половина. Осташа такого и не ожидал. С четырнадцатью бурлаками ещё можно было плыть.

Платоха и Логин ушли, но сейчас хватало и двух подгубщиков — Корнилы и Никешки. Осташа незаметно оглядывал бурлаков: почти всех он уже знал в лицо, но кого как зовут, помнил нетвёрдо. Этот лысый старикан — вроде Бажен Иваныч; тот мужик — Дементий Крохин; рыжий — Касьян; угрюмый парень — Тараска из Мраморского завода; а вот у этого с перевязанной щекой прозвище Теремок. Почему-то не сбежал Уляха Бесов, всюду видевший дурные приметы. А в общем, понятно было. Сбежали приписные и оброчные зипуны, остались чусовляне. Чусовляне знали, что на реке никогда не бывает так, как боишься. Река — не поле, на котором из года в год на Петровки начинает колоситься рожь, всегда одинаковая. На реке вчера знатный сплавщик вдруг гибнет под пустяковым бойцом, а сегодня битая и ломаная барка добегают до Лёвшиной пристани. Да и с бабой всё объяснилось, едва Осташа поглядел на её мордашку, круглую и конопатую, поглядел в глупые карие глазёнки. Бабе было лет семнадцать. Только глухая нужда могла заставить девку идти на сплав, где приходится тереться среди оголодавшего мужичья, часто и пьяного. Только святая дурь могла оставить её возле молодого холостого сплавщика.

— Корнила, Никифор, вы бурлаков разделите друг с другом по силам, а потеси переложите на «сопляки», — распорядился Осташа. — Корнила, ты на носу встанешь. А сейчас забирайте всех и идите на барку. Мне подумать надо...

После тумана день разыгрался ясный, солнечный. Барки пробегали мимо уже нечасто, и больше попадались суда с малиновыми купеческими флагами. Купцов всегда вытесняли в хвост заводских караванов. Перебор Цветники расчирикался птичьей стаей, свет и блеск крутились в волнах. Лес на дальнем берегу подобрался, распрямился, встряхнулся. Небо надулось пузырьём. Бурлаки на зачаленной барке валялись на палубе, на пригреве. Из мощных брусковых связок «сопляков», надетых на пыжи как угловатые терновые венцы, наискосок торчали вверх длинные ре-

бристые рукояти вёсел. Низкое солнце поперёк досок палубной выстилки нарисовало кривой, но чёткий узор теней. Ветер был уже нежным и тёплым, как девичье дыхание.

Осташа расчистил от золы полосу земли у кострища и сучком начертил излучину между Кликуном и Разбойником. Где будет ждать его Колыван? Вот здесь, больше нигде. При такой воде, как нынешняя, здесь и здесь барку Колывана снесёт, здесь ждать бесполезно, а здесь сшибут другие барки. Так. А как же пойдёт он сам, чтобы взять Разбойник отуром? Пойдёт вот так, по струе. Здесь его оттянет, здесь разворот, отсюда его докинёт вот сюда, и тут он начнёт табанить, чтобы войти в отур. Что должен сделать Колыван? Чтобы успеть набрать ход, Колыван должен сбросить якорь, когда Осташа будет ещё вот туточки, на излучине. Колыван может ударить только на этом месте, иначе или промахнётся, или Осташа всё же отурится. Да, только на этом. И тогда Осташу развернёт задом наперёд и швырнёт кормой на скалу. Другого хода Колывану нет. Но ведь Осташа может пойти правее — да ведь он и пойдёт правее, когда увидит Колывана... Почему Колыван уверен, что Осташа того не сделает?..

Осташа всматривался и вдумывался в свой чертёж, вспоминал речную лúку, положение струй, суводей, прикидывал скорости... Он взял две щепочки — они означали барки — и двигал их по земле, как играющий несмышлёныш. Нет, никак не получается у Колывана ударить Осташу вовремя. Колывану будет нужно, чтобы Осташа пошёл левее. А с чего Осташе идти левее?.. Левее он пойдёт, только если заезвается под Кликуном. Но он не будет зевать. Колыван не дурак, должен это понимать. Почему же тогда он считает, что Осташа зевнёт этот гребок?..

Тут ответа не было никакого. Осташа не верил в то, что Колыван может ошибиться в расчёте. Из них двоих никто не ошибётся, это без сомнений. Два самых сильных сплавщика под самой опасной скалой спорят о самом главном —

ошибок не будет. Значит, они столкнутся. И победит не расчёт. Не измышленная заранее хитрость. Сила духа победит. Твёрдость руки. Смётка. Вера. Значит, они всё равно столкнутся... Что делать?..

Осташа распинал шепки, затоптал свой рисунок, словно бы какой соглядатай после его ухода мог всё рассмотреть, понять, помчаться и доложить о том Колывану. Осташа подхватил с бревна свой армяк и спустился на берег, поднялся по сходне на барку.

— Эй, захребетники! — крикнул он дремавшим бурлакам. — Вытаскивайте из льяла второй якорь с цепью!..

...Якоря уложили на корме справа, снасти смотали, сходню вытянули. Свободными потесами бурлаки оттолкнулись от берега. Барка неуклюже отошла, всё ещё сонно пытаясь ткнуться рылом обратно в приплёсок. Волны перебора синичками запрыгали вдоль бортов. Небо в клине речного створа вздёрнуло крылья, как петух, собравшийся запеть.

Чусовая нехотя подхватила барку, потянула. Барка, что шла впереди Осташинной, была уже очень далеко; барка, что нагоняла, была ещё дальше сзади. Осташа стоял на скамейке. Одной рукой он вцепился в перила, а в другой держал на отлёте жестяную трубу. Хорошо, что караваны уже пробежали. На реке нет тесноты, толкотни, и его подгубщики успеют приспособиться к новой гребле, когда на барке не четыре, а две потеси. Да и вообще: на просторе, на свободном стрежне яснее станет, чья жила крепче на разрыв — Переходова или Колыванова.

Пробежав изогнутый быстроток, барка заколыхалась на переборе Кумыш. Слева и справа в лесах белели две некрупные скалы. В створ между ними втиснулся остров-огрудок. Осташа двинул барку левой протокой. Ему и самому приходилось перестраиваться: оказалось, что командовать можно только стоя боком, иначе не понять, чего кричать. Ладно — Корниле на носу; но вот в команде для Никешки на корме в запале он вполне мог спутать правое и левое. Что

ж, придётся побегать по скамейке, повертеться. И ещё вот в чём он сглупил: не догадался приказать, чтобы стесали лопасти потесей с лицевой стороны. Теперь на поворот влево требовалось три гребка, а на такой же ход вправо — четыре. Зато барка вдруг научилась двигаться вбок бортом: немного, конечно, но всё равно хорошо.

Река заворачивала вправо. На вытянувшемся левом берегу за горой показались дома Кумыша. Неровная вымостка крыш опятами облепила пологое взгорье. Вон и конёк баньки, в которой Осташа положил Неждану грудью на скамью... Никешка тоже таращился на деревню, высматривая свой дом.

— Никешка, на потесь гляди! — рявкнул Осташа.

Он дышал глубоко, словно перед битвой вбирал в себя этот простор, воздух и солнце. Тающее небо накрывало сверху живой, дробный, шевелящийся мир: деревню, взгорье, лощины, покосы, леса, речное горло, Осташину барку. Из-за поворота навстречу шагали грозные Царь-бойцы, и первым был Горчак, который наступил в Чусовую мятым, грязным, бурым сапогом.

Он и не старался казаться бойцом, голым и выпяченным, будто напоказ. Он выступал на бой, как толстый, обрюзглый татарский мурза, сразу со всем своим хозяйством: на коне, покрытом расписным ковром, в кольчуге и шлеме с ненужным в бою бунчуком, со связанным пленником сзади на седле, с кривой саблей в руке, с пикой и луком за плечом, с саадаком, полным пернатых стрел, с круглым витым щитом у бедра, с кибиткой, где сидели жёны и невольницы, где стояли сундуки и звенели золотые чеканные кумганы. Вся эта громада пёрла вверх по реке, как по тракту. Блёклой ковыльной зеленью Чусовая распласталась у колен каменного коня.

Осташа нацелил барку обойти островок перед Горчаком справа: хоть и ближе к скале, да безопаснее. Здесь отбой поможет вывернуться. А вот если пройти остров слева, то напрямик вылетишь под копыта мурзы. У подножия бойца вздувался пенный водяной бугор. Сквозь его кипенье про-

глядывало что-то чёрное, кривое, уродливое — обломки погибшей барки. Осташина барка сначала окунулась в облако огромного, тяжёлого шума, а потом этот шум напитался вкусом и сыростью густой водяной пыли. И сразу похолодало, как зимой.

— Корнила, вправо, Никешка, влево! — стоя спиной к деревне, зычно командовал Осташа.

Непривычно глазу, барка всем телом отдалась от Горчака. Пенные круги расходились от скалы даже против течения. Осташе показалось, что его тысячепудовая барка так же легка, как речной цвет. Туша скалы проходила мимо, словно грозное войско. В глазах замелькали огоньки — это в водяной взвеси взблёскивали осколки радуги, которая разбилась на стекляшки об уступы скалы. Горчак искоса сверху вниз глянул на пробежавшую барку и без спешки отвёл взгляд, повернулся боком, а потом и вовсе спиной, уходя дальше своей дорогой.

И за хвостом каменного коня стало видно, кого порубил беспощадный мурза. Берега были закиданы досками. Журча, торчал над быстротоком гребень палатки затонувшей барки. Другая барка лежала поодаль на боку. На выпуклом смоляном окате её поднятого борта сидело трое мокрых мужиков. Не зря Горчак звался Горчаком — много горя приносил. Подлесок по берегам шевелился: это сквозь него шли в деревню бурлаки с прочих побитых Царь-бойцами барок. На реке шныряли три или четыре косные лодки, хотя никто уже не барахтался в волнах. Косные гребцы с удивлением провожали взглядом Осташину барку: такое здоровенное судно — и вдруг всего две крошечные горсточки людей у двух тонких потесей?..

— Молодцы, братцы! — крикнул Осташа своим гребцам и подумал, что ведь до сих пор он ещё ни разу ни за что не похвалил своих бурлаков. Но бурлаки не ответили, даже не услышали Осташиных слов: не ради задора и лихости они ворочали потеси, не ради похвалы и восхищения.

Прямой быстроток нёсся дальше, к бойцу Молокову. Вдоль уреза воды слева в зелени мха белели гладкие проплешины каменных лещадей. Это Молоков мостил к себе дорожку. Он был самым хитрым из всех чусовских бойцов. Черти выстроили его так, что и осмотреть-то его можно было только сделав оборот вокруг себя. Так домового можно увидеть только спятившись в подклет по лесенке с пятничной свечой в руке, а потом надо нагнуться и меж собственных ног глянуть в дальний угол.

Молоков ровной невысокой стеной охватывал поворот реки, но в самом конце эта стена вдруг дико вырастала вверх и клином врезалась в стрежень. И Чусовая здесь была словно наклонённая тарелка — вся вода валилась под скалу. Ей не хватало места, она лезла на камень грядой белых зубцов и рушилась обратно. Ловушка Молокова перехватывала потоки и завязывала их в узел. Бешеное молоко бурлило в улове бойца, урчало, ныло. Осташе казалось, что рано или поздно скала не выдержит этого несмолкаемого воя — развалится и рухнет. Здесь и сейчас всё уже было сумасшедшим.

Барка заходила в поворот, и её неодолимо сдвигало, ставило, свозило к бойцу. Осташа чувствовал, что его бурлакам попросту не хватает силы, чтобы удержать барку на струе, которая пробегала мимо каменного клина. Набег барки был сильнее, чем вязкость струи: скорость выдавливала барку на тот путь, что обрывался в кипящем молоке под каменным колуном.

— Наддай! — орал Осташа. — Наддай, братцы!..

Барку тащило юзом. Осташа колебался только мгновение. Жаль было якоря — Осташа берёг его для Колывана...

— Бажен, Ульяха, кидай якорь! — закричал Осташа.

Два бурлака бросили кочетки и кинулись к якорям. Бажен приподнял железную лапу, а Ульяха толкнул цевьё. Якорь ухнул за борт. Звонко взрыгнула цепь, улетаая вслед за якорем. Тотчас барка страшно дёрнулась. Бурлаки полетели на палубу, Осташу швырнуло на перильца. Барка осе-

ла кормой, как лошадь, вставшая на дыбы. Нос её приподнялся со страдальческим всхлипом, распутив вокруг кружево пузырей. Течение волокло барку дальше, но уже куда медленнее. Барка тряслась, прыгала — это по дну, загребая лапами валуны, волокся и кувыркался якорь. Цепь отзывалась чистым колокольным звяком. Набег скорости «съедался». Река принялась водить барку слева направо и справа налево, как рыбу на лесе. Молоков впереди закачался, словно не знал, в какую сторону прыгнуть.

— Бажен, готовься! — крикнул Осташа, глядя, казалось, сразу и вперёд, и назад.

Когда барку отвело носом от скалы, Осташа махнул рукой: — Давай!..

Бажен выдернул железный прут, продетый сквозь кольцо в кнеке и сквозь последнее звено в цепи. Цепь стрелой улетела в воду — якорь был сброшен. Барка встала на живую струю и пошла свободно. Струя пронеслась вдоль ревуших зубцов, гибко уклонилась от каменного клина, который даже словно бы наклонился над баркой, и вплелась в Рубец — длинный гребень кипунов. Он протянулся от Молокова до излучины реки и там с разгона ключьями вылетал прямо в поломанный лес под Кликуном. Теперь надо было свалиться с Рубца налево, иначе вышвырнет на берег всем пузом.

— Корнила, направо, Никешка, налево! — закричал Осташа, разворачиваясь назад. — Что сил есть, давай!..

У Молокова не было спины — всюду рыло. И теперь это рыло взметнулось до небес — откуда только взялась такая высота?.. Молоков бил барки и о свою оборотную сторону: здесь тоже клокотало варево, в котором носились и ныряли какие-то совсем измочаленные обломки. От Рубца отслаивался коварный противоток, который вдруг с шипеньем разворачивался назад, разметаив брызги дугой, и бился в скалу, словно каялся, как грешник, ударивший лбом в половицу. Барка Осташа колыхнулась на этом повороте, но не поддавалась.

Рубец хоть и был вздутой водяной межой, но держал барку точно в оковах — не вырваться. Бурлаки валились на потеси, а не видно было, чтобы судно хоть чуть-чуть сдвинулось. Осташа знал странную повадку здешней воды: гребёшь — и нет ответа барки. Надо словно бы набрать силы, нагрести её под судно лопастями. Корнилы и Никешка упрямо метались на рукоятях. Вдруг барка медленно, грузно повалилась набок и съехала с Рубца, погрузившись левым бортом почти до палубы. Никешкина потесь зарылась в волну так, что бурлаки повисли на кочетках. Потесь Корнилы вхолостую черкнула по воде и вздёрнулась — бурлаки полетели спиной на доски. Один из них споткнулся и с воплем кувыркнулся за борт. Осташа широко перекрестился трубой: прими, Господи, бессмертную душу...

Умытая бойцом, барка чисто и ровно бежала по быстроту дальше, потихоньку отдаваясь в сторону от полосы воспалённого Рубца. От напряжения, от губительного азарта, от страха и от гордости Осташу словно корёжило изнутри. Он прошёл! Он не дался! Он выбьет Колывана с Чусовой, потому что он сильнее любого другого сплавщика!

Впереди был высокий еловый берег с маленьким камнем Кликуном на круче. Кликун и вправду напоминал лебедя-кликуна: каменная тушка, и слева узкий выступ, будто длинная и тонкая шея с головкой. Кликун плыл по еловым волнам высоко над Чусовой.

И вдруг откуда-то оттуда донёсся ружейный выстрел, словно пастух щёлкнул кнутом. Потом бабахнул второй выстрел. Осташа поневоле поднял глаза. На площадке Кликуна стояли два мужика, на отличку от зелени хвои одетые в красные рубахи. Мужики опустили ружья и принялись махать шестами с белыми тряпками. Они что-то орали, но их невозможно было услышать сквозь расстояние и шум воды. «Кому они кричат?..» — удивился Осташа. Кроме его барки, других судов на реке не было. Люди, что изредка мелькали по лесу на склоне, тоже не могли ни увидеть, ни

услышать тех, что на скале. «Мне, что ли?..» — Осташа прищурился на Кликун.

А барка уже добегала до поворота, и пора было отдавать команду. Но мужики на Кликуне вдруг бросили свои шесты с тряпками и под мышки подняли на ноги кого-то, кто лежал на площадке скалы. Лица человека не увидеть было — далеко. Но Осташа разглядел серую вогульскую одежду из шкур и длинные светлые волосы.

«Бойтэ?.. — не поверил он. — Нет, не может быть!.. Откуда?.. Почему?.. Бойтэ?.. Нет! Нет!»

— Сплавщик, команду!.. — требовательно закричал Корнила.

Осташа уронил взгляд на реку, поднёс ко рту трубу и сказал едва ли чуть громче обычного:

— Корнила, вправо... Никешка, влево помалу..

А потом глаза Осташа вздёрнулись обратно на Кликун.

Мужики на скале даже приплясывали, приподнимая и встряхивая девку-вогулку. Сейчас уже слышны стали их невнятные вопли. Барка заходила в поворот и разворачивалась. Осташа, задрав голову, не сводил взгляда с Кликуна и тоже разворачивался на скамейке, только смотрел назад, а не вперёд.

— Осташка, ты чего? Осташка!.. — надрывался с кормы Никешка.

Барка уже миновала Кликуна.

Мужики на скале тоже следили за баркой. И едва каменная шея скалы-лебеда должна была закрыть их от Осташа, они толкнули девку-вогулку в пустоту. Осташа увидел, как взвились светлые волосы Бойтэ, когда она полетела в пропасть. Она падала медленно, как жёлтый берёзовый листок, — сто жизней прошло, прежде чем она исчезла за макушками елей. Осташа не охнул, не вздрогнул, не пошевелился, вперившись глазами в высоту.

— Остафий!.. Вон Колыван! — орал сзади Корнила.

Осташа как неживой послушно поворотился лицом по течению, но сквозь картину открывшегося створа всё ещё

видел еловый склон, скалу и падающую девчонку с разлетевшимися волосами. А слева, возле берега, на заплёске громоздилась барка Колывана. Вблизи она казалась огромной. На полреки топырились четыре потеси. Целая толпа бурлаков и косных толкалась, как на базаре, возле рукоятей-кочетков. Косная лодка громоздилась на кровле палатки. На скамейке, посмеиваясь, стояли пятеро человек: сам Колыван, Прошка Крицын, караванный Пасынков, водолив дядя Гурьяна и Чупря Гусев. Колыван уже сбросил якорь, и его барка шла вдоль берега, набирая ход.

Осташа, приоткрыв рот и забыв о своей трубе, глядел на створ пустыми плазами. Ну, река... Ну, скала большая впереди; до середины, похоже, реку перегородила. Вода горой стоит, пенится. Шумно. Ёлки по берегам. Вон сосна, похожая на суксунский светец. Слева и впереди другая барка плывёт. Колыванова барка. Плывёт она медленнее, чем его судно. Он её обгонит. Потом начнёт разворот, чтобы отуриться, потеряет ход, и барка Колывана толкнёт его в корму. Это случится вон там. Он развернётся больше, чем надо, и его понесёт на скалу. Он ударится в скалу кормой. Его барка разобьётся. Все утонут. Ну и что?

Ничего не трогало души. Не было уже души в теле. Тепло стояло на скамейке полое, как берестяной короб: ни боли, ни тоски, ни ярости, ни гнева. Осташа был как пустая рубашка, надутая ветром. И всё вокруг враз стало бесцветным, словно бы нарисованным по сплошной блёклости мира тонкими тёмными линиями. Надо было пристально вглядеться, чтобы понять, что цвет-то ещё есть где-то в глубине — лесá еле зелёные, небо чуть синее...

— Остафий!! — страшно орал с носа Корнила.

Осташа мёртвым движеньем согнул руку в локте, воткнув трубу в губы, и ответил:

— Тиха!

Обе барки бежали по реке почти вровень. Осташа смотрел, как вода несётся вдоль смоляных бортов Колывана. Пятеро на скамейке чужой барки смотрели на него, на Ос-

ташу. Интересно, сколько Колыван заплатил Пасынкову, чтобы караванный разрешил утопить барку своего каравана?.. Они ведь понимают, что уже сделали и что ещё собираются сделать. Понимают, что убили девчонку-вогулку, что хотят потопить чужую барку и сгубить полтора десятка человек. Как там у них в душе-то: совесть не торкается в горло? А тем, кто на потесах работает, не хочется ли бросить кочетки, чтоб не случилось беды?..

Осташина барка начала перегонять Колыванову. Но Осташа бежал по внешней, по длинной дуге поворота, а Колыван — по внутренней, по короткой. Кто впереди сейчас — это не важно. Всё равно впереди всех — Разбойник, похожий на закрытые ворота.

...Вот, значит, почему Колыван был уверен, что Осташа пойдёт не справа, а левее, где его можно будет достать. У Колывана была приготовлена ловушка — Бойтэ. Так ведь и случилось. Осташа зевнул тот миг, когда надо было подгрести и остаться на правой струе... Да ладно. Прямоугольная стена Разбойника дулась, как на дрожжах. Утреннее солнце зашло за скалу, и всё небо оказалось в зареве. Скала превратилась в ледяную стену: обведённая сияющей каймой плита многослойной тени, в которой не видно ни выступов, ни выбоин, ни лишаёв...

«Господи!! — Осташу вдруг рвануло поперёк живота. — Сделай хоть что, лишь бы она осталась жива!.. Пусть ведьма она, пусть язычница, пусть грешница! Пусть грешен и я, и трижды, и семижды, — прости её, спаси!! Ты же добрый, ты всё понимаешь! Возьми меня всего взамен, возьми царёву казну, возьми батину правду, возьми всех, возьми Чусовую, всё, что хочешь, всё, что потребуешь, — но только спаси её, ты же можешь! Я не буду больше искать её, я никогда о ней не подумаю — но спаси её, не дай мне потерять веру в тебя!..»

Один Осташа упал на колени на скамейке, а другой, оборотный, стоял и смотрел на Разбойник. Пора.

— Уляха, Бажен, кидай якорь!

Спасибо Петруньке: если бы он не прибежал сегодня утром, второй якорь Осташа бы не приготовил.

Пробороздив доски палубы лапами якоря, Бажен и Ульяха пихнули якорь за борт. Цепь как живая тотчас напряглась струной. Барку рвануло, по самую корму осаживая в воду. Бурлаки опять полетели друг на друга. Зато барка Колывана, как по волшебству, сделала огромный рысий прыжок и сразу оказалась прямо впереди, прямо перед носовой потесью Осташинной барки.

Цепь, жалобно тинькнув, лопнула. Барка качелью качнулась на нос и, окутываясь пеной, в изнеможении зашипела — будто её придушили и отпустили. Под бортами снова заурчало: стрежень всасывал в себя освобождённое судно.

— Корнила, затащи потесь! — крикнул Осташа.

На чужой барке только Колыван понял, что случилось. Осташа увидел, что он сразу поднял трубу... поднял, и опустил. Ему сейчас нечего было командовать. Он уже ничего не мог изменить.

Осташина барка медленно догнала Колыванову и нежно ткнулась скулой в её пыж, словно поцеловала. На обеих барках никто из бурлаков не грёб, все смотрели друг на друга. И Осташа смотрел на Колывана, а тот отвечал угрюмым, ненавидящим, тоскливым взглядом исподлобья. Осташина барка наваливалась всё весомее, всё тяжелее, как кобель, который сначала ластится к суке, лижется, повизгивает, а потом прижимает её к земле и насакивает сверху и сзади. Колыванова барка, и без того шедшая наискосок, чтобы толкнуть Осташину, потихоньку продолжила разворот. Её пыж со скрипом скользил по скуле Осташинного судна. Неявный уклон пути всё быстрее делался явным. Осташины бурлаки молчали, а бурлаки Колывана завертели головами, глядя то на Разбойника, то на Осташу, заорали, замахали кулаками, нелепо задёргались, делая вид, что хотят перепрыгнуть с барки на барку и всех поубивать. Побагровев, со скамейки ревел что-то Пасынков, а Чупря,

оскалясь, куда-то рыпнулся бежать — небось за ружьём. Колыван молча схватил его за шкирку.

Осташа поднял трубу и, помедлив, крикнул Колывану:
— Держи на сосну как суксунский светец!..

Колыван тотчас отвернулся, выглядывая примету.

И наконец пыж Колывановой барки отлепился от Осташино борта. Барка Колывана окончательно встала поперёк струи боком к Разбойнику. Осташа и Колыван одновременно схватились за трубы.

— Корнила, потесь на воду, вправо! — закричал Осташа. — Никешка, влево!

— Макар, загребай, Никита, табань! — услышал Осташа команду Колывана.

Барки расходились. Колыван оставался сзади.

Справа поток начал вздыматься, отталкивая Осташу к левому, безопасному берегу. Не плеск, не шум, не рёв царили у Разбойника, а могучий и просторный гул, как по окоёму в грозу. Разбойник словно постепенно подымался со дна, подымая на груди и поток, а потом выпрямился отвесно. Стрежень взбежал по его стене и свернулся набок, обламываясь водяными глыбами. Разбойник стоял неколебимо, подпирая собой текучую гору воды. Он так взбивал Чусовую, что уже не морось, не взвесь, не водяную пыль, а настоящий пар срывало с гребней, как в бане с каменки, и клочьями несло вниз по течению. Осташа обходил Царьбойца на уважительном расстоянии. Его бурлаки с ужасом и благоговением смотрели на страшный, мгновенный и вечный бой скалы и реки, когда скала вспарывает, выворачивает наизнанку водяную толщу. В этом зыбком и нерушимом равновесии оба они — боец и поток — стоят дыбом, упираясь друг в друга, и не падают.

Обдав стужей, громада Разбойника ушла за корму. Барка Осташа осела, облегчённо раскачиваясь. Солнце полыхнуло в глаза. Осташа прошёл Разбойника, но прошёл просто так, по прямой — не отуром.

Осташа оглянулся, ожидая увидеть, как из-за скалы начнёт выбрасывать людей и доски. Но увидел он совсем другое. Вперёд кормой из-за угла каменной стены, накренившись, по склону водяного отбоя вылетает барка Колывана — целая и невредимая.

Колыван прошёл Разбойника отуром.

«СПАСИ ИХ ВСЕХ»

Это было хуже всего: батина правда оставалась в руках Колывана. Теперь Колыван вправе был сказать: да, можно пройти Разбойник отуром и Переход барки не убивал. Но ведь не скажет же Колыван такого! Он скажет: нельзя пройти Разбойник отуром, а у меня это получилось случайно, такая уж вода в нынешний сплав, повезло мне... Или даже так: можно пройти Разбойник, но как это сделать знаю только я, а Переход не знал и убил барку по умыслу.

Всё ожесточало, ничего не примиряло — потому что ничего не давалось в руки, будто заколдованное. Мимо неслись рёбра Четырёх Братьев: неприступные отвесные пласты, меж которых в распадах тесно стояли маленькие ёлочки. Батя как-то говорил Осташе: ты не смотри, что они маленькие, это не подро́ст; им каждой по сотне лет, но растут они в такой теснине, что весь век свой остаются в древесном отрочестве. Как-то раз Осташа срубил такую ёлочку и посмотрел на годовые кольца. Колец не было; весь ствол был такой мелкослойный, что паутинно-тонкие колечки слились и перемешались... А вон из урёмы с рычаньем выпрыгивает Четырёхру́чий ручей, бухается в Чусовую и тотчас тонет без следа. На полянке за ивняком мелькнул и крест на могиле Сашки Гусева; крест уже упал и упёрся одной лапой в землю...

Сашка Гусев — вор, но могила, хоть и такая, у него есть. А у бати нету. Это ведь батя нашёл путь мимо Разбойника — а Колыван скажет, что этот путь нашёл он. И Осташе

возразить будет нечего — он так и не прошёл Разбойник отуром. Колыван перехитрил его. Колыван велел сбросить Бойтэ с Кликуна и всей её жизнью заплатил за краткий миг Осташино вниманья...

На совести Колывана и батя, и вогулка, а Колыван живым-невредимым вырвался из-под Царь-бойца... Где же справедливость, где же бог?.. Или в этом бог и есть? Или только так и надо, чтобы своя правда в свои руки не давалась? Может, правда в своих руках — это как чужая душа в ургалане: в чудище она превращается?

Чусовая неслась в еловых берегах чистая и неопасная. Она была волнистой, блещущей, то рыжей на просвет, то зелёной в тени лесных отражений. Как журавли, курлыкали в струях валуны по приплёскам. Небо подмигивало, словно встряхивало гривой. Река после бойцов стала весёлой и лихой, как погоня за разбежавшимися врагами, чьё войско только что сокрушили вдребезги. Бурлаки отдыхали. Барка катилась сама, точно санки с горы.

«А чего я хочу? — спрашивал себя Осташа. — Ведь вот оно — счастье!» Он сплавщик. Никто уже этого не оспорит. Уже летом по всей Чусовой станут рассказывать, как молодой Переход на барке с десятком бурлаков отпихнул самого Колывана Бугрина и прошёл Разбойник. И караванные начальники, и пристанские приказчики, и купцы осенью с оказиями начнут подсылать к Остахе человечков: как, Остафий Петрович, на будущую весну подрядитесь к нам, а? Вот и всё. Так будет. И он пройдёт второй раз, третий, десятый. И уваженьем к нему отмоется батино имя. Никто и не вспомнит Колыванова поклёпа. У отца-вора такого сына быть не может. А царёва казна — да пусть она себе лежит под землёй, ждёт хозяина. Колыван же всё равно рухнет: или сгинет, как про то Конон говорил, или перепрет злобой так, что никто к нему не подойдёт. Чупрю власти изловят: Чупря прятаться перестал, значит, скоро попадётся. Бойтэ — пёс с ней. Осташа ведь сам отказался от неё.

Пусть черти забирают её из-под Кликуна. А он найдёт себе другую девку: добрую, с титьками и жопой, и чтоб на рожу была покраше, и родни поменьше. Всё хорошо. Страшное позади. Чего надо? Чем он недоволен? Почему всё сердце в непросыхающей крови?..

Глухой рокот пополз из-за поворота. Это бурлил Отмётыш. Он тоже был бы царь-бойцом, если бы встал чуть поближе к Разбойнику и Молокову. А так — опоздал. Барка заходила в пологую излучину. Отмётыш двумя гребнями сползал с вершины правобережной горы, взрывал Чусовую. Он словно бы пёр вверх по течению что было сил, ломился на подмогу Царь-бойцам, подымая могучие буруны. Но Отмётыш и был отмётышем — слишком далеко судьба отметнула его от собратьев.

— Не трожь потесей! — крикнул Осташа своим подгубщикам, поворачиваясь спиной к левому берегу. — И так не заденем. Пробежим, побалуем...

Чусовая словно в оторопи замедляла ход. На самом деле это боец давал реке обратный подпор. На таком подпоре и гибли барки, которые без тяги стрелня вдруг начинали рыскать и врезались мордами в скалу. Но Осташа видел: его набега хватит пройти мимо бойца.

Отмётыш приближался, бессмысленно-грозный и уже не страшный. Он казался даже нелепым, как глухой мертвец, который прослушал пенье петуха и всё ещё торчит на перекрёстке, желая пугать народ, хотя заря уже брезжит по окоёму. Два каменных долота Отмётыша далеко выдвинулись в Чусовую, срезая кудрявую стружку волны. Барка шла совсем рядом, её заколыхало на отбое, обмахнуло водяной пылью. Отмётыш быстро отворачивался, словно не хотел видеть, что он никого не устрасил. И Осташа, и бурлаки глядели назад, на затылок обиженного бойца. И тут барка словно врылась носом в воду, и вокруг победно зашипела пена.

Нет, даже напоследок не стоило баловать с бойцами! От загровка Отмётыша начиналась такая же обратная струя,

как на Молокове. Она подхватывала судно и била его об лопатки скалы. Осташа едва не вцепился себе в волосы. Его барка попала в сети Отмётыша. Она замедлила бег, потом остановилась, а потом неохотно подалась вправо и вбок. Даже деревья на берегу удивлённо зашумели. А Отмётыш ласково и мстительно потянул барку назад, и барка потихоньку двинулась кормой на скалу.

Бурлаки заругались, схватились за потеси.

— Никешка, влево, Корнила, вправо! — крикнул Осташа.

Барка шла по мутному, бурому, мусорному улову за спиной Отмётыша. Осташа почувствовал, как старый подлый бес, сидящий в глубине скалы, злорадно скалится, глядя на Осташу сквозь мёртвую толщу камня. Он разворачивается задом наперёд и наматывает на локоть верёвку с петлёй, которой он заарканил барку.

Бурлаки успели загрести только пару раз.

— Никешка, бросай потесь! — злобно крикнул Осташа.

Никешкины бурлаки отскочили от весла. Лопасть ткнулась в скалу. Барка продолжала напирать дальше. Потесь вставала дыбом. Только молодой Тараска, не сообразив, крепче вцепился в кочетки, и его словно чудом вознесло в воздух и уронило с саженной высоты обратно на палубу. Барка рамой «сопляков» въехала в камень. Ломаясь и лопаюсь, затрещали бруссы, разлетелась щепка. Удар был не сильный — всех только качнуло. Барка вжалось пыжом в камень и на мгновение замерла. «Спасибо, дядя Кафтаныч, за добрую работу!» — успел подумать Осташа.

Отдачей от удара барка пошла назад и вправо; вдоль правого борта радостно зажурчала коварная отбойная струя. Барка попала в кольцо водоворота. Сейчас всё повторится.

— Не греби! Просто стой! — крикнул Осташа Корниле.

Барка, как баран, тупо отступила, остановилась, съехала к берегу и опять пошла на скалу. Стукнула в неё кормовым пыжом и снова откатилась, подхваченная оборотной струей. Бурлаки стояли, держась за огнива, и мрачно гля-

дели на каменный обрыв. Такое неторопливое кружение с вязкими, несильными, но увесистыми ударами могло продолжаться долго — до тех пор, пока не расшатается корма. А потом сквозь щели вода хлынет в барку. Так и тонули невезучие суда под заливком Отмётыша.

Из-за скалы показалась барка Колывана. Она взяла куда ближе к левому берегу, а потому обратная струя ей не грозила. Колыван победно пробегал мимо, а с его барки свистели, улюлюкали, смеялись над Осташиной незадачей.

— Корнила, тащи на корму снасть с кошкой! — крикнул Осташа.

Кажется, он придумал, чего надо сделать, чтобы вырваться из цепкой круговерти.

— Дементий, Касьян, скидывайте снасть с огнива всю до перевязки! Мужики, следите, чтоб она не перепуталась! Топор готовьте!..

Корнила с разлапистым четверным якорем-кошкой в руках пробежал по скату палатки, остановился внизу, возле скамейки.

— Чего замыслил? — спросил он.

— Сейчас как торкнемся снова — закинь кошку вон туда, в расщелину! — нагибаясь к нему и тыча пальцем, пояснил Осташа. — Засади намертво!..

Корнила кивнул и побежал на корму, волоча хвост толстой просмолённой снасти.

— Место, православные! — крикнул он, расталкивая Никешкиных подручных и забираясь на обломки «сопляков».

Широким движением он ловко стравил лёгость, повисшую из его кулака петлями. Скала приближалась. Корнила развернулся плечами, изготовившись кидать якорь.

Барка вновь ударилась пыжом в камень. Под палубой звякнуло. Осташа переступил с ноги на ногу, бурлаки дружно поклонились. Корнила качнулся вперёд и вслед за движением тела махнул рукой, посылая якорь за выступ скалы.

Кошка перелетела выступ и упала где-то на другой стороне утёса. Корнила тотчас потянул за лёгость, проверяя.

— Села! — крикнул он, оглянувшись.

— Дементий, топор бери! — тотчас приказал Осташа.

Барка отходила от скалы и опять окуналась в оборотную струю. Снасть на палатке, на палубе зашевелилась, поползла и вдруг прыгнула вверх, натянувшись струной. Барка качнулась. Теперь она за носовое огниво была привязана к скале и дальше назад отойти не могла. Но струя тащила её и разворачивала свободную корму.

— Пошла-а!.. — радостно закричали никешкины бурлаки.

Корма выходила из-за скалы — барку ставило носом в правый берег: поперёк течения, поперёк оборотной струи.

Осташа дождался, пока барка не укажет кормой на устье ручья Отмётыша по левому берегу.

— Руби! — решительно крикнул он Дементию.

Тюкнул топор, и снасть, извиваясь в воздухе, улетела к скале, упала на камень и бессильно ссыпалась в воду.

Барка поплыла боком вперёд. Она ещё наполовину сидела в струе водоворота. На загибе струи она словно в колебании замедлилась, чуть подалась к берегу, но всё же будто передумала: перекатилась через струю и вышла из притяжения улова.

— Касьян, гребь вправо! — командовал Осташа.

Корнила уже бежал по палатке на своё место.

— Никешка, потесь пристройишь? — спросил Осташа.

— Да пристрою, — оглядывая обломки «сопляков», пообещал Никешка. — Неловко, конечно, будет...

— Ничего, к вечеру уже вырвемся из камней. Двадцать вёрст всего осталось!..

Освобождённая барка выправилась и пошла, понемногу набирая ход. Разозлённый и раздосадованный своим промахом, Осташа с прищуром всматривался в берега. Вот слева прополз Коровий камень, отличный от прочих вонючего целебного родника у подножия. Потом справа — ещё одна Ко-

врижка, а за ней через устье речки — камень Щит, серо-бурый, плоский. Его и не разглядеть было под пухом мелких ёлочек, проросших из всех трещин и складок. Через версту слева впала говорливая речка Шумиловка. На поляне в её устье над горбом моховой крыши домика Ерана подымался дымок. Сам Еран стоял на берегу, одетый для охоты: в меховой перепоясанной яге, с длинным луком через плечо. Осташа вспомнил, как год назад на Рассольной пристани дядя Федот рассказал ему, что Еран отдал его артели медведя, подстреленного им на Гусельном бойце. Будто бы медведь человечину ел, и Еран не решился связываться с духом хозяина-людоеда... И почти сразу после жилища Ерана справа поднялся могучий кремль камня Воронки со звонницей соснового бора на вершине.

— Глянь! Глянь! — вдруг загалдели бурлаки. — Гуси прилетели!

Осташа повернул голову. Перед Воронками в Чусовую впадала речка Вороновка. Из урёмной пещеры её устья на простор Чусовой один за другим важно выплывали серые лесные гуси — словно струги Ермака. Они сразу поворачивали и плыли дальше цепочкой вдоль берега, но не пугались барки, не взлетали.

И вдруг у Осташа словно что-то покатилося в голове, искры заплясали перед глазами. Рассыпáлось то, что было неправильным, неверным, непрочным, — и тут же выстраивалось то, что и должно было быть. Еран с его медведем, убитым на Гусельном бойце; Отмётыш, отнесённый вдаль от Разбойника, от Четырёх Братьев; Колыван с Чупрей Гусевым; братья Гусевы; царёва казна; перелётные гуси... Вот она, простенькая разгадка батиной загадки: четыре брата Гусевых — это не боец Четыре Брата, а боец Гусельный! Батя закопал царёву казну на Гусельном бойце! Вот в чём подсказка: Гусевы — это Гусельный, а не братья — Четыре Брата! Гусевы догадывались об этом друг за другом: сначала Сашка, потом Фармазон, а теперь Чупря!..

А ведь Колыван подряжался плыть с караваном только до пристани Рассольной... Но от Рассольной до Гусельного — меньше версты! Вот в чём хитрость!

Осташу затрясло. Колыван отнял у него всё: он сгубил батю, опорочил его имя, отогнал Осташу от Чусовой, присвоил батин путь отуром вокруг Разбойника, убил Бойтэ... Осташа одолел Царь-бойцов и в ребячьей гордости посчитал, что всех победил... Но побеждал только Колыван, один лишь Колыван! Даже терпя поражение, он всегда побеждал!.. И сейчас он заберёт последнее — царёву казну! И пусть Осташа хоть всю жизнь дальше ходит по Чусовой сплавищем, пусть женится на любой девке с титьками и жопой — жизнь его всё равно будет гнила изнутри, пуста, как берестяной поплавок-бабашка!.. Ошибайся, как хочешь, и греши, как можешь, — но всё это мелкая рябь, а не крутая волна, если жизнь твоя застойный пруд, а не свободная река... Словно тетива соскочила с запорного крючка — Осташу даже кинуло вперёд так, что он вцепился в перильца.

Барка уже подкатывала к Рассольной пристани. Домишки, кровли амбаров, гребень плотины в распадке, ряды свай у причалов, свежее судно, приготовленное для Усть-Койвинского кордона... Колыван уже убежал дальше... Нет, не Колыван! Убежала его барка с караванным Пасынковым, со сплавщиком Прошкой Крицыным, с водоливом дядей Гурьяной. А Колыван и Чупря здесь съехали на берег в косной лодке.

Осташа взглядом, как пушечным ядром, прошибал проулки деревни. Вон они — Колыван и Чупря! У обоих за спинами ружья! Стоят у раскрытого прореза плотины и ругаются с пристанским приказчиком. Понятно: хотели перейти на другой берег пруда, а прорез в плотине распахнут, и мостка нету! Сколько времени потребуется Колывану и Чупре, чтобы найти на Рассольной пристани лодку?

Колыван и Чупря одинаково оглянулись на Осташину барку. Осташа окаменел лицом, словно по лицу они могли прочесть его мысли. Барка его миновала причалы, минова-

ла устье Рассольной речки. Впереди раскрывался совсем недлинный створ, который замыкала треугольная плита Гусельного бойца.

Что делать, как остановить Колывана? У Осташи нет косной лодки, чтобы высадиться на берег! Осташа не сделает хватку, потому что справа — скалы, да и не достанет для хватки простора! Осташа не может даже броситься с барки в воду и доплыть до приплёска — вдруг не доплывёт, ледяная ж вода!.. Бить барку о Гусельный и прыгать на скалу?

Можно... Да, можно.

Барка неслась мимо расписного, сказочного теремка Гнутаго камня. Можно убить барку... Но как же честь сплавщицкая? Как же доброе имя сплавщика, не убивающего барок на бойцах? Как дальше жить, — если он выживет, конечно, — когда следующей весной никто не позовёт его в сплавщики?.. И ладно, если бы только это... Но ведь бураки его, скорее всего, погибнут! Из сорока человек, вставших у потесей в Каменке, только тринадцать поверило ему и дошло с ним до Гусельного бойца — и здесь он всех предаст?.. Осташу раздирало на две, на три, на десять частей.

Можно пробежать мимо... И будет дальше сытая жизнь, чистая совесть... Но ведь жгло разум и душу что-то такое, совсем недоступное, неподвластное, сразу и доброе до святости, и по-сатанински злое, необоримое, непреодолимое... Бойтэ — она была оттуда, из этой жгучей выси. Но Бойтэ — ведьма! А Господь? А Господь?.. Ну почему он, Осташа, не истязалец? Истязельцу нет греха, потому что душа его, заговорённая на крест, тихо лежит в кармане Мирона Галанина и ничего не знает, ни в чём не виновата! Почему он не Конон Шелегин, который без колебаний только вздохнул бы сурово: простите, мужики, выпало вам за дело правое пострадать — испейте чашу. Конон воистину был сплавщик: он и спасал народ в теснинах, и приговаривал к гибели, потому что и в жизни-то мыслил себя только сплавщиком, который в одиночку любое решение прини-

мает, какое нужным сочтёт. А что бы сделал на месте Осташи батя? Батя пробежал бы мимо бойца. Что бы сделал на месте Осташи Пугачёв? Пугач бы убил барку.

— Бью барку! — заорал Осташа в трубу. — Бью барку!

Бурлаки оглядывались на него, не могли ничего понять, тарасили глаза и разевали рты. Но Осташа уже не смотрел ни на кого — только на глыбу Гусельного в венце створа. Вот он, его Боец Неназванный. Вот она — его оборотная сторона. Вот она, его страшная сплавщицкая тайна: «Бью барку!» Осташа уже задыхался, ничего не соображал, ничего не видел. Всё было решено — оставалось только доделать. Но душу разбивало последнее заклинанье, как при набате язык разбивает медный купол своего колокола: «Господи, спаси их всех! Господи, спаси их всех! Спаси их всех!...»

БОЕЦ ГУСЕЛЬНЫЙ

— Ты что творишь, сплавщик?! — отчаянно кричал Корнила от носовой потеси. — Командуй!.. Ты что задумал?..

Осташа молча глядел на него. Челюсти у Осташи занемели, будто на уста наложило печать. Скулы расцвели нежным девичьим румянцем. Барку несло прямо на скалу — лоб в лоб. Треугольная, срезанная поверху стена Гусельного с клином елового леса на вершине казалась огромным погребальным голбцом.

И Корнила вдруг всё понял. Лицо его не дрогнуло, только глаза провалились и стали бешеными. Он сорвал с себя шапку, швырнул за борт, отвернулся и вцепился в рукоять потеси.

— Пошли, православные! — страшно взревел он на бурлаков.

И носовая потесь заработала сама по себе, без сплавщика. Корнила, казалось, ворочал её в одиночку, двигал вместе с грудой бурлаков, повисших на кочетках. Бурлаки осатанело носились по палубе вправо и влево. Потесь замаха-

ла, как водобойное колесо на плотине в вешняке, сквозь который прёт шальная талая вода.

Осташа разжал судорожно сцепленные пальцы. Сплавищная труба с жестяным бряком упала на кровлю палатки, покатила по дуге и булькнула в воду. Осташа слышал эти звуки отчётливее, чем нарастающий клёкот бурунов под бойцом. Мимо барки по берегу бежал ельник, точно стая остроухих вогульских собак. За остриями ёлок мелькал толстый, разбухший столб камня Башня.

Осташа оглянулся. Никешка ещё ничего не понял. Он не видел Гусельного за скамейкой и палаткой барки. Он только вопросительно вздёрнул брови и приготовился налечь на потесь. Осташа отрицательно покачал головой. Никешка закивал.

Корнила разворачивал барку перед бойцом, но это всё равно бы не помогло избежать удара. Барку требовалось обеими потесями стаскивать по струе налево, а не поворачивать. Корнила добился лишь того, что барка налетала на бойца бортом, а не носом.

И тут Никешка тоже увидел Гусельный.

— Осташка!.. Осташка!.. — в ужасе завопил он, будто Осташа каким-то образом мог не замечать скалы.

До неё оставалось два десятка сажен. Осташа уже задрал голову, глядел на гребень вершины. Барка качнулась — и всё, огрузла в страшном свальном потоке, из которого выхода уже не было. Гадючье шипенье зашелестело вдоль бортов и угасло, растворившись в рёве бурунов. Пенный вал трясся и прыгал вдоль подножия скалы.

Осташа опустил на колени, крепко цепляясь за перильца. Он должен был при ударе удержаться на скамейке. Потом уж, когда барку начнёт переворачивать...

— Все на левый борт!.. — успел крикнуть Осташа.

Бурлаки заорали, бросая потеси. Белая пена, как метель, вмиг забила глаза. Барку могуче приподняло и всем бортом плашмя ударило в скалу.

Осташу кинуло вправо, но он повис на перилах. Он ничего не видел в клубящемся тумане пены, только слышал вопли, треск и хруст борта, klokотание воды. Вот оно как — биться о бойца самому... Совсем не то что глядеть, как бьются другие.

С натужным стоном гвоздей, которые вытягивало из брусьев, палатка начала горбиться и задирается. Она складывалась, как книга. Робко звякнул, заскрежетал где-то под ногами чугун, трогаясь с места, и тотчас зазвенела под палубой чугунная речка посыпавшегося груза, потом загрохотала водопадом. Барка словно даже с облегчением повалилась на правый борт. И всё можно было стерпеть — крики. грохот, треск, толчки, но только не это опрокидывание палубы под собою.

Она непрочной опорой была, конечно, барка-то. Но за дни этого сплава Осташа успел привыкнуть и к тряске, и к раскачке скамейки под ногами. Он успел поверить в зыбкую надёжность палубы, и вдруг палуба начала дыбиться стоймя. Осташе показалось, будто на подмытом склоне земля плывуном потекла у него из-под ног, будто весь мир вокруг него переворачивается и небо опрокидывается на землю.

Осташа не боялся конца света, о котором талдычили учителя. Что в нём, в этом конце? Ведь за ним последует Страшный суд, и добрый Господь наверняка спасёт его, Осташу, который к тому времени давно уже умрёт после долгой и славной жизни и будет спокойно ожидать божьего приговора. Осташа боялся другого: что, если конец света придётся именно на его жизнь? После смерти — хоть сто концов, но лишь бы не в его время! Осташа не мог представить картины страшнее той, где огненные столбы стоят по всей земле, и ангелы сворачивают мир, как свиток. Неужели он всё-таки угодил в это полымя? Ужас толкнул Осташу рваться вон отсюда, из одежды выскочить, из кожи. Барка всё заваливалась и заваливалась вправо, словно была огромная, как мир, и не могла согнуться в мгновение ока.

Осташа прыгнул через перильца и упал грудью на обносный брус левого борта. А борт всё шёл вверх, из отвесного превращаясь в лежащий. Это чугуны в брюхе барки катились обвалом на правый борт, и барка вставала на ребро, задирая левую сторону.

Осташа перебросил себя на мокрый, холодный и липкий порубень, чёрный от осмолки. Вознесённый борт вынырнул из тучи пены и брызг. Осташа увидел вздымающуюся над собой стену бойца — побитую, неровную, глыбистую. Как-то совсем обыденно кое-где она была покрыта лишайниками и мхом — и это показалось Остахе диким. Кровь напугала бы его меньше. А сверху наклонилось сияющее небо. Под стеной скалы, вытянувшись огромной плоской рыбой, в перехлёсте пенного варева лежала на боку его барка. Рядом с Остахой корячились какие-то люди, сумевшие выбраться с палубы. Тех, кто останется на палубе, раздавит между баркой и скалой, как комаров — хлопком ладоней. Смятая палатка веером досок выползала по скале вверх, будто крыло растоптанного жука.

Всё так долго, так долго!.. Другие барки убивались — моргнуть не успеешь. Ему казалось, что барка — трах! Он — прыг! И уже на скале! А ещё полжизни должно пройти, прежде чем барку плотно прижмёт к камню!

Осташа оглянулся — и никого из спасшихся не узнал. Все были одинаковы: просто хрипящие мокрые люди. Осташа успел ещё перекреститься, даже успел вспомнить «Отче наш», но не долгим бормотаньем слова за словом, а разом всё: не как молитву, а как икону. И тут барку наконец прислонило, прижало к скале плашмя — словно приклеило. Из щели выбило пенные буруны. Полоса блестящего, чёрного борта под ногами ощутимо потянула Остаху вниз. Барка, скребя палубой по стене, начала погружаться ко дну.

Осташа приподнялся, расклячившись. и растопырил руки. Взглядом он искал выступ, на который можно прыгнуть. Вон — выступ!.. Осташа прыгнул, как кошка, что вы-

пускает все когти. Сейчас он смог бы удержаться на скале, как муха на потолке, смог бы вбить в скалу пальцы, как гвозди. Он и не понял, как это у него вышло: он почувствовал под собой камень Гусельного и, продолжив движение, двумя лёгкими толчками перекинул себя вверх на мшистую полочку — словно горшок поставил на поставец.

Он оглянулся через плечо: длинная чёрная полоса борта была уже пуста. Несколько бурлаков, схватившись за обломки, плыли от бойца прочь. Осташа не смог сосчитать, сколько человек плывёт, — забыл счёт, как деревенский дурочок. Пена завертелась на досках борта, потом борт перехлестнули прозрачные волны, а потом он весь ушёл под воду и растворился, только ещё какое-то время из-под воды выбуривало кучи пузырей. На скале осталось висеть прямоугольное полотнище оторванной кровли палатки; оно за что-то зацепилось углом и громко брякало о камень.

Вот и не стало его барки. Пропал труд Кафтаныча. Отныне не быть уже Остахе непобедимым, как батя, сплавщиком... Он сам убил свою барку. Чем теперь он лучше Колывана?

— Прости, батя... — шептал Осташа трясущимися губами.

Теперь всё надо начинать заново. Ничего в будущем нету. Он снова — никто. Даже хуже, чем никто, потому что его ещё пекла совесть. Нет, не пекла, а сдавила, защемила и расплющила, словно он всё-таки угодил меж баркой и скалой... И ведь совсем чуть-чуть оставалось до победы — всего-то боец Дыроватый, и боец Плакун, и боец Гребешок, а дальше Чусовая выбегает из камней! Ну чего же батя стоило увезти эту дьяволову казну на пятнадцать вёрст ниже!..

— Осташка, не падай! Руку давай!.. — вдруг услышал Осташа чей-то рыдающий голос.

Он едва не сорвался со своего выступа. Повернувшись в другую сторону, он увидел Никешку, который тоже висел на скале, только немного подальше и повыше. Никешка тянул Остахе руку.

— Ты... Ты как здесь?.. — потеряв голос, спросил Осташа.

— Дак ты прыгнул, и я... Руку давай!..

— Дурак! Дурак!.. — закричал Осташа и едва не заколотился лбом о камень. — Ты почему не поплыл, как другие?.. Поднырнул бы под струю — а там десять сажен, и берег!.. Ты зачем за мной прыгнул, дурак?!..

Осташа не боялся скалы. Все мальчишки лазали по скалам — по тому же Дождевому бойцу в Кашке. Но Никешка всегда был толще, неуклюжее прочих, всегда ползал хуже, медленнее, всегда трусил и, бывало, ревел. А однажды он слетел так, что расшибся в кровь и едва не убится, и ба-тя — единственный раз! — врезал Осташе по загривку: за-чем мучаете Никифора, если он вам не ровня?..

— Руку давай! Не падай!.. — просил Никешка и тянулся к Осташе.

— Да сам я!

Осташа быстро и ловко вскарабкался к Никешке, встал во весь рост, прислонившись спиной, и оглядел створ.

Маленькая лодка с двумя человечками плыла уже мимо Башни, примериваясь зачалиться на шорохе перед Гусельным. Конечно, это были Чупря и Колыван. Конечно, они видели Осташу и Никешку посреди стены бойца.

— Ты со мной дальше не полезешь! — отрезал Осташа.

— Дак как же... — растерялся Никешка.

— Нет! — заорал Осташа. — Нет! Ты на себя посмотри! Ты же меня вдвое тяжелыше! У тебя же брюхо на аршин вперёд торчит! Ты же сорвёшься, свалишься!..

— Куда ты, туда и я, — опасно ответил Никешка. — Я ведь уж говорил тебе...

— Нет! — Осташа застучал в камень кулаком. — Ты детство наше вспомни — кто с Дождевого падал? Стой здесь! Держись и стой! Я до Рассольной сбегая — верёвку тебе принесу!..

— Я столь долго не выстою...

— Стой! Держись! Сгинешь ведь со мной!.. Нам ещё десять сажен вверх!..

— Да я ж посильнее тебя буду... Долезу..
— Здесь не мешки таскать надо! Сорвёшься! Стой!..

Никешка помолчал.

— Я за тобой полезу, — тихо ответил он.

Они стояли, как приколотенные к стенке. Осташа за-
скрипел зубами. Ну что ему делать?..

— Я тебя сам скину, — предупредил он. — Выплывешь...

Никешка начал потихоньку отползать в сторону.

— Не дамся, — предупредил он. — Лезь давай... Я за тобой.

Не было времени убеждать Никешку. Не успеют они за-
браться на вершину раньше Чупри с Колываном — им ко-
нец. Столкнёт их Чупря, это верно.

Осташа развернулся так легко, словно стоял в своей из-
бе на лавке. Он пауком быстро вскарабкался на сажень
и остановился, оглянулся. Никешка лез. Осташа, прищу-
рившись, рассмотрел скалу, наметил путь и взобрался ещё
на пару сажен. Он совсем не боялся. Никешка пыхтел, полз
позади и внизу. Осташа поднялся ещё и замер. Дальше шло
самое трудное.

Вот дотуда он ещё залезет, это можно... Оттуда... Отту-
да, если на пальцах повиснуть, можно вон на тот выступ.
С него почти дорожка... И всё. Больше некуда. Всего с ар-
шин остаётся до свисающего елового корня — а как до-
браться? Прыгнуть?.. Он бы прыгнул. А Никешка?..

— Никифор Константиныч, Христом богом молю тебя,
останься тут, — дыша в камень, сказал Осташа, не огляды-
ваясь. — Я смогу дальше, а ты — нет. Там прыгнуть придёт-
ся, и для того надо чуть присесть. Я-то присяду, а у тебя —
брюхо... Я ведь не со злости, не с досады... Я за тебя бо-
юсь... Ну как я бабе Груне в глаза посмотрю?

Никешка засопел совсем рядом.

— Ты прости, Остафий Петрович, — тихо ответил он, —
раньше надо было бояться... Я здесь не устою. Я тоже
прыгну. Давай, давай вперёд. Давай, пока силы не кон-
чились...

Осташа злобно полез вверх. Почти не примериваясь, он сунул пальцы в щель и качнулся над пропастью, перелетев на выступ. Потом по мшистой, покато́й полочке поднялся до последнего уступа. Дальше надо было прыгать и хвататься за корень. Вершина скалы была совсем близко.

Осташа ждал. Он был готов к тому, что услышит крик, а потом всплеск — но услышал над ухом тяжёлое сопенье.

— Вишь, перекачился же, — сипло сказал Никешка, вставая рядом.

— Последний...

— Не надо, — оборвал Никешка. — Решено уже.

Осташа повернул лицо и посмотрел на Никешку. Тот стоял, весь вытянувшись и плотно прижавшись животом к скале. Руки у Никешки были подняты; окровавленными пальцами он держался за какую-то каменную морщину над головой.

— Давай попрошаемся, мало ли чего, — сдавленно предложил Никешка, не глядя на Осташу. — Простите мне вины мои перед вами, Остафий Петрович.

— Прошаю, — ответил Осташа. — А вы меня трижды простите, Никифор Константиныч... Я перед вами трижды виноватее...

— И я прошаю.

Осташа стащил через голову гайтан с гроздьё крестов и повесил его на выступ так, чтобы ни ветер, ни дождь не сорвали.

— Если я сгибну, — сказал Осташа Никешке, — а ты выберешься, то потом достань эти кресты и отдай Колывану Бугрину. Это сплавщиков родильные крестики. Колыван знает, чего делать с ними. Не забудешь?

— Не забуду.

Осташа перекрестился, царапая руку. Потом он чуть отдался от скалы, задрал голову и уставился на извив елового корня вверх. Ну, на аршин бы подлететь... Осташа ещё отодвинулся от стены, поднялся на цыпочки, распластался

грудью по камню, вздёрнул руки, скрючив пальцы, оттопырил зад над пропастью, выдохнул, напрягся... Второго прыжка не будет. Осташа метнул себя вверх.

Корень ткнулся в ладони. Осташа висел на руках.

— Взял! Я взял! — закричал он Никешке. — Можно!..

Он подтянулся, прижался к корню щекой, потом забросил на извив локоть, заскрёб ногами — и полез, полез наверх. Голый камень сменился мхом, отвес — крутым скатом. Уже через миг Осташа наступил на извив корня ногой и выпрыгнул на верхушку Гусельного.

И тотчас развернулся, лёг брюхом на землю и высунул голову обратно за край обрыва, чтобы видеть Никешку. Эх, была бы у него верёвка, хоть пару сажен — сбросил бы другу... Рубаху, штаны порвать — так не выдержат они тяжести Никешки, совсем изопрели... Был бы хоть ножик с собой — срезал бы ёлку длинную, опустил Никешке ствол... Ничего нету... Только вина.

Осташа видел Никешкины руки и макушку. Никешка стоял всё так же. Далеко-далеко, глубоко-глубоко внизу под ним шумели, пенились, пучились и сверкали буруны у подножия бойца.

— Ну... — выдохнул Осташа. — Давай, братец... Молюсь за тебя, родной... Давай... Не теряй силы...

Он врал: он не мог сейчас молиться. Он не мог думать ни о чём, кроме Никешкиного прыжка. Но пусть в Никешку вдохнёт силы вера в то, что за него молятся.

Никешка поднял голову. Всё лицо у него было залито слезами.

— Я... боюсь, Осташа... — выдавил он.

— Давай, чтоб тебя! — закричал Осташа.

Никешка закусил губу, чуть присел и прыгнул.

Осташе показалось, что он не допрыгнул... Но Никешка повис на корне!

— Есть! — заорал Осташа, ужом отползая назад. — Есть, братец!.. Теперь давай, подтягивайся, лезь!..

Но Никешка безвольно висел безвольно, тряпкой, и только вяло шарил ногами по скале. Было видно, что даже корень дрожит — так Никешку трясло.

— Не могу... — прошептал он.

— Да ты чего! — надрывался Осташа. — Допрыгнул же! Допрыгнул! Всё! Давай же, милый, — ну!..

Никешка поднял на Осташу мокрое бледное лицо.

— Не могу...

Осташа молчал, впиваясь пальцами в землю.

— Ма... матушке... не говори... — по-детски, как про шалость, вдруг попросил Никешка.

Пальцы его ослабли, ладони разжались — и вдруг его уже не стало на корне. Он канул вниз, как тяжёлая весенняя капля. Он упал без крика. На полполёте его мазнуло ногами о выступ, кувыркнуло в воздухе и ударило о скалу головой. Он плашмя рухнул в буруны и исчез даже без всплеска.

ЧУПРЯ

— Задремал, племянничек?

Осташа повернул голову и увидел над собой Чупрю. Чупря в упор нацелил на него ружьё — будто змею прижал к земле палкой.

— Вставай давай.

Осташа отполз назад и поднялся на ноги. Ствол ружья подымался вместе с ним. Чупря был спокоен, доволен, даже весел. Осташа тупо разглядывал его красивое, крепко вылепленное лицо. Чуприну красоту не портил даже косой глаз, смотревший по-бесовски куда-то в сторону, за обрыв Гусельного бойца. Кудрявый чуб упал из-под шапки на бровь, словно бурун из-под носа барки.

Осташа ничуть не испугался ни Чупри, ни ружья, ни крушения своей надежды первому найти клад. Он вообще ничего не чувствовал. Он был так истерзан всем, что слу-

чилося на этом сплаве, что если Чупря сейчас выстрелит в него, он молча ляжет и без гнева умрёт.

— Свалился твой дружок-то? — ухмыльнулся Чупря.

Осташа не ответил.

Чупря не знал, что ещё сказать, молча глядел и улыбался, словно наконец-то встретил Осташу после долгой разлуки.

— А ловко ты меня с армяком-то провёл, — вспомнил он.

Осташа всё равно не отвечал.

Возле обрыва скалы ёлки росли редко, а дальше лес сгущался в тёмный и непролазный глушинник. Осташа бесчувственно вспомнил, как прошлой весной, когда он хлебал щербу с артелью дяди Федота Михеева, кто-то из артельных говорил, что лес на Гусельном считается нехорошим местом. Никто сюда не ходит, кроме охотника Ерана. И вправду: лес в глубине не просто дичал, а ещё и как-то ломался, обрушивался. Земля местами проваливалась каменными ямами, рвалась трещинами, замшелыми и сырыми. Деревья здесь стояли на разной высоте: вот чехарда комлей, а вот рядом веретёна стволов, а тут вот одни макушки торчат, а там, за буреломом, — опять комли, прикрытые плесневелыми подолами нижних ветвей. Воистину, здесь тоже были теснины, но другие, чужие. Пути в них Осташа не только не знал, но и знать не мог.

В тёмной гуще стволов, ветвей и валежин Осташа вдруг уловил лёгкое, бесшумное, почти невидимое скольжение прячущегося человека.

— От кого Колыван прячется? — хрипло спросил Осташа у Чупри. — От меня, что ли?..

Чупря пренебрежительно усмехнулся и оглянулся. И тотчас прыгнул в сторону, толкнул Осташу и укрылся у него за спиной, выставив ружьё. Заскорузлая ладонь Чупри схватила Осташино горло. Разбойничья повадка — дёрнется Осташа, и Чуприны пальцы порвут кожу, вырвут кадык. Чуприно ружьё легло на Осташино плечо, как на подставку.

Осташа увидел, что и Колыван остановился шагах в двадцати, тоже схоронился за дерево, целя в Чупрю из своего ружья.

— Разодрались, подельнички, над золотом? — прохрипел Осташа.

— Молчи, сука, — ответил Чупря и тряхнул его за кадык. Колыван ничего не говорил, стоял и целился.

— Нашёл ли казну, Колыванушка? — ласково крикнул Чупря.

— Нашёл, — глухо сказал Колыван.

— И я подарочек тебе нашёл — видишь?..

— Ну и кончай его, — посоветовал Колыван.

— А ты потом меня кончишь, да? — насмешливо спросил Чупря. — И казну себе заберёшь, верно?

— А почто ты мне теперь нужен?

— Нехорошо-о!.. — укоризненно закричал Чупря. — Нехорошо, Колыванушка! Не по-товарищески! Ведь уговор был — тебе бочонок и мне бочонок.

— Не я тебя, так ты меня бы кончил.

— Нехороший тот, кто первый! А первый — ты!

— Что, — опять захрипел Осташа, — обоих-то одной пулей тебе не прострелить, дядя Колыван?..

Чупря счастливо захохотал у него над ухом.

— Смотри, какой у меня племянничек понятливый вырос!.. А у тебя, милостивец, ружжо-то не пальнёт! Веточка вон в замок воткнулась...

Колыван на мгновение высунул голову, чтобы взглянуть на замок ружья, и Чупря тотчас выстрелил. Осташу оглушило — будто с размаха по уху железным листом звездануло. Но Колыван успел спрятаться.

Чупря бросил ружьё на землю и мгновенно выхватил нож. Он убрал с Осташиногo кадыка ладонь, но пережал горло лезвием. Колыван словно нехотя вышел из-за ствола и пошagal к Осташе и Чупре, не опуская ружья.

— Дурак ты, Куприян, — презрительно сказал он. — Так и знал я, что какую хитрость мне подкинешь, чтобы я из-

за дерева высунулся... Вся ваша воровская подлость умному человеку на три шага вперёд понятна... — Колыван подошёл совсем близко. — Ты чего под ножом щенка держишь? Думаешь, мне его жизнь дорога?..

— Пулька-то у тебя одна, — всё так же весело пояснил Чупря. — Я под пульку племянничка суну, а для тебя у меня ножик.

— Ножички и у нас найдутся...

— Ну, померяемся, чьи острее.

Сцепка Колывана и Чупри, похоже, зашла в тупик. Колыван угрюмо молчал, целясь то ли в Осташу, то ли в Чупрю, а Чупря посмеивался, фыркая Осташе в затылок.

— Нельзя тебе меня убивать, дядя Колыван, — вдруг опять хрипло зашептал Осташа. — У меня ведь крест твой...

— Какой крест?

— Родильный, на который истяжлецы душу заговаривают...

Рука Чупри тотчас сунулась к вороту Осташиной рубахи. Осташа смело оттолкнул её плечом.

— Не на себе, — прохрипел он. — Спрятан...

— Врёшь, — уверенно сказал Колыван.

— Не вру. Я его у Фармазона отбил.

— Это как?

— Я Фармазона в Ёкве подкараулил и стрельнул, да не дострелил. Он убежал и торбу бросил. В торбе грамота была про смерть Чики на Яике и шесть крестов. Летом то случилось. С тех пор крест у меня. Верно говорю.

Колыван тяжело, без выражения глядел Осташе в глаза. Его плотная борода подрагивала.

— Убьют меня — стинет твоя душа, — добавил Осташа.

— Оставь его, Куприян, — вдруг сказал Колыван Чупре. — Я тебя не трону, слово.

— Угу, — насмешливо согласился Чупря. — Ты и казну пополам дуванить тоже слово давал...

— Теперь другое слово.

— Твоё слово, Колыванушка, всегда одно... А мне племянничек залогом будет, что ты меня не пристрелишь.

Чупря вдруг попятился, увлекая Осташу за собой.

— Не рыпайся, — выдохнул он Осташе в ухо. — Сорвёт-ся рука — сам понимаешь...

Колыван сделал пару шагов вслед Чупре и Осташе, не опуская ружья и не позволяя отдалиться.

— Я не отстану, — предупредил он.

— А я и мёртвый ему горло перережу, — ответил Чупря.

Чупря и Осташа уже выпятились на обрыв.

У этих двоих, Чупри и Колывана, как у нищих, всё оказалось только на одного: казна — кому-то одному, и жизнь тоже кому-то одному. Из них никто не доверял друг другу и на самую малость, а потому и развязочка должна у них стать кровавой. Колыван выстрелит в Чупрю, Чупря полоснёт Осташе по горлу. Если Колыван промажет, Чупря потом и его зарежет. Но кто бы из них двоих ни выжил, Осташе всё одно умереть.

...А почему-то не страшила смерть. Поджатая под челюсть ножом, Осташина голова была задрана, и Осташа глядел в лучезарное небо над еловыми макушками. В это небо смотрел и падавший Никешка... Осташа был виноват, что Никешка оказался на скале, но не был виноват, что Никешка упал. У него с Никешкой, пусть и без зла, всё оказалось так же, как у Чупри с Колываном, — на одного. Они вместе лезли по стене Гусельного, они оба допрыгнули до корня, но Осташа уцелел, а Никешка упал. И чтобы чувство вины не было таким же острым и смертельно опасным, как ножик Чупри на горле, Осташе надо разделить с Никешкой весь путь до конца: не только вверх, но и вниз. Если он и внизу останется жив, тогда можно будет обмануть себя словами: это не я Никешку сгубил — так Господь пожелал. Ведь у обоих всё было одинаково. Почему же тогда я жив, а Никешка умер? Господь так повелел, не я.

Осташа что было сил оттолкнулся ногами и повалился в пропасть спиной вперёд, опрокидывая собою Чупрю. Чупря заорал, махнул ножом, но было уже поздно. Оба они ле-

тели вниз. Осташа медленно переворачивался в воздухе, поражаясь своему ангельски-бесстрастному полёту. Небо кувыркнулось куда-то назад. На голову мешком нахлобучилась картина речного поворота: горы, леса, блещущая излучина реки и косматый боец Кобыльи Рёбра, перевернутый вверх тормашками.

Удар об воду оглушил Осташу и едва не выбил из сознания. Его со всех сторон от ног до макушки плотно обжало холодом, закрутило в каких-то тугих потоках, пронизанных цепочками пузырьков. Было очень-очень тихо, словно уши заложило, и как-то очень зыбко, словно весь мир беззвучно вращался колесом. Появились и отшатнулись куда-то вглубь угловатые камни, обросшие зелёными волосами. Осташа махнул руками, как крыльями. Его начало послушно поднимать наискосок к шевелящемуся зелёному стеклу, а потом он вынырнул.

Голову тотчас окутало рёвом прибоя. Стена Гусельного была совсем рядом. На этой стене, зацепившись за выступ, висела и колыхалась, грохая о камни, огромная рама от кровли его барки. Кое-где на раме ещё сохранились доски, пока ещё не сорванные прибоем. И рама эта вдруг начала падать на Осташу.

Осташа взлягнул ногами и опять ушёл под воду. Выгнувшись, он увидел снизу, как колышущееся бело-синее пятно солнца неожиданно очертилось тёмным прямоугольником и гневно рассыпалось на осколки. Они ринулись во все стороны, ударились изнутри о чёрный прямоугольник рамы и схлынули обратно, вновь образовав солнечное пятно.

Осташа вынырнул и схватился за брус палатки, чтобы прибоем его не швырнуло на скалу. С другой стороны за противоположный брус уже цеплялся Чупря. Его мокрая голова торчала над рамой. В зубах Чупря держал нож. Рама, раскачиваясь, ударилась углом в скалу, отдалась в сторону, пробороздила пенный вал за краем бойца и, вращаясь, вылетела на излучину реки. Осташа выпрыгнул из воды, на-

сколько смог, навалился на брус грудью, вытащил ноги и сел верхом. С другой стороны на раму вылезал Чупря.

Оба они тяжело дышали, глядя друг на друга. Кругом шумела вода. Рама плыла по стрежню. В ней словно в клетке, в каких сплавляют дрова, плавали обломки досок былой кровли барки. Осташа вытер лицо — ладонь заалела кровью. Кровь текла из носа. Осташа молча слизывал её и сплёвывал, смотрел на Чупрю. Рама неспешно вращалась. За спиной Чупри пробежал высокий боец Кобыльи Рёбра, потом два каменных зубца бойца Сосуна, потом вдали задрожала гряда бойца Дыроватые Рёбра, потом нахлынул густой еловый лес вдоль берега, и лес вдруг ринулся вверх на спину бойца Гусельного. Громада бойца оборвалась каменным откосом, и карусель пошла по второму кругу — снова Кобыльи Рёбра, Сосун, Дыроватые Рёбра, лес, Гусельный...

Чупря с силой воткнул нож перед собою в брус и высморгался в Чусовую. Побултыхав рукой в воде, Чупря издалека закричал:

— Слышь, Осташка, скажи, где ты крест Колыванов спрятал?

— У бабки-гадалки спроси, — хрипло крикнул Осташа в ответ.

— Порежу суку!..

— Сначала достань.

Нет, Чупря его не убьёт, ведь Колыванов крест — это ключ к казне. Точнее, Чупря его не убьёт, пока не узнает, где он спрятал крест. Но и даться Чупре в руки нельзя: страшно подумать, на что этот упырь способен. А как уйти от Чупри? Здесь, на раме, Чупря его не достанет. Пока Чупря будет подползать, Осташа отползёт. В воду Чупря не полезет: холодно. Но если и полезет, то и Осташа соскочит с бруса. А хорошо было бы, чтобы Чупря сунулся в воду: Осташа схватил бы обломок доски и ударил Чупрю по башке... В общем, Чупре Осташу не достать. Но и Осташе от Чупри не уйти.

По правому берегу потянулись Дыроватые Рёбра — высокие отвесные пласты, друг за другом торчавшие из крутого склона. По левому берегу вешняя вода вплотную подступала к густой урёме, занявшей крутое, но невысокое взгорье. Если Осташа бросится в Чусовую и поплывёт к левому берегу, Чупря поплывёт за ним. Но в непролазном ивняке Осташа застрянет, и Чупря его настигнет. Значит, надо ждать.

Дыроватые Рёбра вперились в Осташу страшной зияющей дырой, словно выбитым глазом. Это были Царские Ворота. Чусовая здесь успокаивалась. Дальше длинный створ был только слегка изогнут. По правому берегу за скалой замелькали дома деревни Усть-Койвы. Левый берег взгорбился крутизной. На крутизну не выберешься быстро, Чупря успеет сцапать, но вот в деревне можно укрыться. Однако рама перестала вращаться, и Осташина сторона была обращена к левому берегу. Нырять сейчас — значит, плыть мимо Чупри. Точнее, прямо Чупре под нож. Осташа выловил ближайший обломок доски и начал грести им, чтобы развернуть раму наоборот. Чупря оглянулся, понимающе оскалится, повалился на брюхо и руками принялся грести в обратную сторону, не давая Осташе довершить замысел.

— Не уйдёшь, племянничек! — крикнул он.

Осташа бросил доску, ненавидяще глядя на Чупрю.

— Ну скажи! — снова крикнул Чупря. — Отпущу, богом клянусь!..

Осташу уже колотило от холода. Всё-таки в майской реке не покупаешься. На солнышке уже пригревает, а в воде чуть-чуть пересидел — и всё, конец. Судорога сведёт, и утонешь. Коли даже выгребешь — одинаково умрёшь, сердце не выдержит. Осташа видал такое на сплавах. Людей — ещё живых, плачущих от счастья, благодаривших своих спасителей — снимали с обломков, грели у огня, поили и растирали водкой, а они с блаженной улыбкой вдруг затихали и мёрли. Хотя и кипящая вода под железными караванами, а ледяная, гиблая.

Не спуская с Чупри глаз, Осташа лёг на спину, задрал ноги в рваных, насквозь сырых сапогах и принялся растирать икры. Чупря сразу сделал то же самое. Он повторял Осташины движения и поступки, как глупый младший братишка повторяет поступки старшего. Только вот смешного тут ничего не было. А вот Чупря веселился. Его можно было понять. Куда Осташа денется? Никуда. Значит, тайна родильного крестика Колывана, считай, у Чупри уже в кулаке. И Колывану не отвертеться. Хочет душу вернуть — пусть отдаёт казну. А потом и Колывана можно взять на ножик, и башкой в омут. Главное было — уйти из-под Колыванова ружья. Чупря ушёл. Теперь всё в его власти.

— До Камы поплывём? — задорно крикнул Осташе Чупря.

Домики Усть-Койвы кончились. Пробежал перелесок, и за ним встали заплоты Кузьинского кордона. Осташа посмотрел на Чуприн нож и вспомнил, как год назад на кордоне он отдал свой нож невезучему Кирюхе Бирюкову, запертому в амбар под замок. И вдруг Осташа сел, словно поднятый какой-то силой. Ведь Кирюха рассказал ему, что хочет сбежать и укрыться в пещере! Эта пещера на речке Пóныше, под Кладóвым камнем, и путик к ней обозначает кедр-иезуитка!.. Если Осташа скинется на берег, Чупря, конечно, бросится за ним в погоню. Но ведь Чупря не должен знать о той пещере — он же не Сашка Гусев, по пещерам не прятался, а жил в тайнике у Конона... До Пóныша от кордона было две версты.

Даже солнце стало греть теплее. Осташа победно посмотрел на Чупрю и вместо усмешки оскалился, но кричать ничего не стал. Чупря тоже сел, завертел башкой, тревожно озираясь и не понимая.

— Чего лыбишься? — заорал он.

Справа широко блеснуло устье Койвы. Слева над Чусовой распростёр сизые крылья камень Филин. Чупря выдернул нож из бруса и принялся ловко вертеть его между пальцев. Он угрюмо глядел на Осташу и словно разминал паль-

цы перед тем, как начать Осташу резать. Но Осташа уже думал о своём. Он прикидывал, как река понесёт их раму.

Так: за устьем Койвы койвинский отбой придвинет их к левому берегу... Точно. Статный и красивый Красный боек, набекрень надевший зелёную шапку, проплывал вдали, совсем не опасный. За распадком калекор корёжился камень Таш. За Ташем течение всё же поволокло раму на середину реки. Осташа высчитал, что к устью Поньша стрелень придвинет раму обратно к левому берегу. Но трудно было сдержаться, и Осташа опять выловил из воды доску и принялся грести. Чупря оценивающе осмотрелся вокруг, хмыкнул, нагнулся и, дразня Осташу, принялся палкать в воде ладонью, изображая, что он гребёт в другую сторону. Осташа не обратил внимания на издёвку.

Длинный, плавно изогнутый створ и сам относил раму влево. Закатное солнце висело прямо впереди, слепило, рикошетом отстреливало от гладких волн. Леса по крутым берегам порыжели, как осенние. Здесь Чусовая сделалась совсем широкой; близок был выход из теснин. Щурясь, Осташа еле различил впереди за щёткой ровного ельника такую же ровную кромку стены камня Шаков. Перед ним Чусовая опять плавно выгибалась, но изгиб был так полог, что рама должна была остаться всё же у левого берега.

Шаков разворачивался к Осташе плоскостью — и тут раму тихо качнуло и толкнуло ещё левее. Здесь из дна бил вынырок — выход подземной речки. С облизанного буруна, как с пригорка, рама съехала в нужную сторону.

Проклятущее солнце не давало смотреть. Глаза резало, текли слёзы. Осташа смотрел сквозь резь — и видел уже Поньшские камни. Меж ними и падала в Чусовую речка Поньш.

Поньшские камни были обтёсаны на ровные углы, как два сруба. Весной Поньш заливал всю теснину между скалами. Значит, надо миновать устье — и тогда ринуться к берегу.

Рама плыла мимо утёсов-двойняшек. И можно сейчас добраться до первого, но потом не преодолеть речки. Уж на что холодна Чусовая, а в Поныше вода — воистину могильная стынъ. Да и течение бешеное. Чусовая в сравнении с Понышем — как корова и жеребёнок. Нет, надо переждать устье...

Скалы, такие мирные издалека, вблизи поднялись страшными, грубо высеченными громадами. Поныш гулко ревел, вповалку нёсся между высоких скальных стен, затопив измочаленную урёму. Приток злобно толкнул раму так, что Осташа с Чупрей качнулись. Рама понеслась по чёрно-прозрачной воде Поныша, не желавшей смешиваться с чусовской водой. Второй утёс грузно поворотился боком. И тут Осташа кузнечиком сиганул в воду.

Опять обожгло, опалило холодом, но Осташа так остервенело замолотил руками и ногами, что кровь, наверное, забурила в его жилах. Он ожидал, что будет плыть долго, а оказалось, что только прыгнул — и вот уже, насквозь мокрый, он лезет сквозь мелкие ёлочки на крутой склон. Осташа оглянулся. С высоты, на которую он взлетел, он увидел, что Чупря не решился прыгать вслед за ним, и теперь бешено гребёт доской, подтягивая раму к берегу.

«Пока он причалит, я уже полверсты по лесу пробегу, — радостно-злобно подумал Осташа. — Пускай ищет, аукает...»

На разгоне Осташа взобрался на плоскую вершину. Здесь он стащил сапоги и вылил воду, быстро скинул одежду и выжал её так, что та затрещала. Обувшись и одевшись, он, дрожа, стремительно зашагал по мягкой земле, по хрустящему опáду, по трухлявому бурелому. Зашагал туда, где слышался шум Поныша.

К ущелью речки он вышел не над устьем, а намного выше его. С кручи склона ущелье Поныша даже пугало: просто рана какая-то в матушке-земле, богатырский разруб. Или ров, пробитый молоньёй Ильи Пророка... Неужели эту бездну прорыл Поныш — крохотная речонка, которая си-ней тесьмой вьётся понизу?..

Осташин берег ущелья был уже в тени, в тени лежало и дно провала. Но противоположный берег был освещён петушино-ярко, и даже ельник по склону казался медовым, а белая скала за его веретёнами — масляной. Осташа перевёл дух, высмотрел спуск попроще и полез вниз. Сверху, с макушки Кладового камня, ему пещеры не найти: не различить внизу кедр-езуитку.

Осташа ссыпался вниз и с разбега едва не свалился в речку, но схватился за ёлочку и остановился. Он присел на валежину отдохнуть и почувствовал, как крупно трясутся у него ноги. Он ужасно устал. Ведь это сегодня — не вчера, не в прошлую пятницу, а сегодня! — от него ушла половина бурлаков, а другую половину он погубил вместе с баркой. Это сегодня он увидел, как сбросили с Кликуна Бойтэ. Это всё было сегодня — Колыван и Разбойник, Гусельный и Никешка, Чупря и царёва казна... Неужели столько всего можно вместить в один день?

Осташа поплёлся дальше вдоль Поныша. Тропинки не было. Но здесь ущелье расходилось шире и не стискивало речонку так, как в устье. Можно было пробраться, хоть и приходилось карабкаться вверх-вниз по склону, скакать с колоды на колоду. Поныш, затопивший ивняк и ёлки на своих берегах, бурлил и кудрявился совсем рядом. Сикось-накось он был перегорожен завалами. Он кувыркался по чёрным, бескорым стволам, как по костям, и злился, хрипел, рычал. Вокруг уже густел синий, сырой, зябкий сумрак, но высоко над Понышем на верхней кромке ущелья горела под закатным солнцем полоса соснового леса.

Осташа сразу узнал кедр-езуитку. Толстый медный ствол раздваивался вилами, и вместо одного кедра получалось два. От кедра Осташа полез в гору. Над зелёным мшистым склоном, загромождённым ветровалом, мертвенно белела гладь отвесной скалы — Кладового камня. Подъём вывел Осташу на ровную площадку с проплешиной кострища и покосившимися рогульками. Дальше хода не было: начинался каменный шорох, а за ним — откос скалы.

Из-под большого валуна росла корявая сосенка, и Осташа увидел, что на её сучке подвешен холщовый мешочек. Осташа снял его, развязал и вытащил огниво и жжённый трут. В развилку другого сучочка был вставлен свёрток бересты, а в нём — снопик лучин. «От Кириухи, что ли, подарок?..» — удивлённо подумал Осташа. И вдруг его изодранная душа мелко задрожала от этой незамысловатой, бескорыстной и совсем непривычной заботы. Даже ноги ослабели, и Осташа присел на камень, начал испуганно тереть ладонями лицо. Потом он с подозрением оглянулся, словно хотел убедиться, что никто не видел его слабости. Конечно, никого вокруг не было. А вот за большим валуном Осташа увидел под скальным выступом у самой земли чёрную дыру. Она толсто обросла льдом. Это и была пещера.

Скоро должно было совсем стемнеть — надо было развести костёр. Осташа набрал сухостоя, высек огонь, сел на корягу. Стемнело, только небо не угасло. Одежда дымилась, высыхая. Стреляли сучья в костре. И сквозь их треск Осташа услышал внизу на склоне хруст чьих-то шагов. Он подскочил.

— Да не беги, не беги, — донёсся до него добродушный голос Чупри. — Куда бежать ночью в камнях? Ногу сломишь, башку расшибёшь, глаза выколешь... А потом будешь всем жалиться, что это тебя Куприян Гусев пытал...

«Как он меня нашёл?.. — без сил подумал Осташа, уже расслабившийся возле тепла. — Что делать? Бежать и вправду нельзя!.. И всё равно не дамся!»

Он выхватил из костра горящую ветку, кинулся к пещере, сел, сунул ноги в дыру и скользнул вниз, в чёрную ледяную трубу.

Его помчало, тряхнуло и выбросило куда-то на мокрые, угловатые, грязные валуны.

Осташа подтянул ноги, распрямил спину и поднял горящую ветку над головой. Ветка упёрлась в потолок. Оста-

ша находился в кривой и горбатой подземной полости. Вся она была засыпана битым камнем. С потолка свисали ледяные сосульки. На камнях стояли сказочные ледяные свечи. Дальние края пещеры съедала шевелящаяся темнота.

— Эге-ей!.. — гулко слышалось откуда-то сверху. — Тук-тук! Гостей примешь?..

Осташа оглянулся и увидел дыру, сквозь которую попал сюда. Из дыры вытекал ледяной язык.

«Неужто за мной полезет? — с тоской подумал Осташа про Чупрю. — А почему и нет? Вдруг он побоится, что пещера другой выход имеет, — значит, надо меня догнать. Здесь это просто... Да кончится когда-нибудь это всё или нет?!»

От отчаянья и злобы у него даже раздвоилось в глазах. Он поднял обломок и швырнул его вверх в трубу. В трубе постукало, а потом булыжник вылетел обратно и ударил Осташу в грудь.

— Ладно, Чупря, — вслух сказал Осташа, потирая ушиб. — Ладно... Я доделаю дело... Ты сам того захотел.

Тот же Кирюха Бирюков говорил, что в пещере имеется подземная петля... Надо её отыскать, пока есть свет. Осташа вывернул шею и принялся осматривать потолок. Закопчённая полоса вела вглубь пещеры.

Ломая ледяные столбики, Осташа полез по глине и камням под этой полосой, словно под Млечным Путём. Сзади раздался стук. Осташа посмотрел на вход — из него вылетали тлеющие поленья. Чупря решил обезопасить себя в пещере костром.

Больше не оглядываясь, Осташа согнулся пополам и пауком продолжал карабкаться дальше, куда-то вниз. Хорошо, что подмётки на сапогах ещё держались, хотя пальцы ног торчали наружу. Босому здесь совсем невмочь было бы... Горящая ветка тряслась в руке, и свет бесконечно и многообразно мялся и переламявался на выступах и впадинах стен и потолка.

Откуда-то сзади и сверху долетел гулкий голос Чупри. Невозможно было разобрать ни единого слова. Осташа с запоздалым сожаленьем подумал, что по борозде сбитых ледяных столбиков Чупря легко найдёт его след. Где же эта развилка подземной петли?..

В косой и безобразной щели откуда-то сбоку по своду выползла другая полоса копоты. Вот она, развилка! Тяжело дыша, Осташа замер на месте, чтобы решить, куда ему лучше лезть: вниз и левее или наверх и прямо? Он представил, как придётся выбираться, и решил, что лучше лезть вниз. Тем более Чупря, который пойдёт по ледяному крошеву, верхний лаз может и вовсе не заметить — смотреть-то он станет под ноги... Пока Осташа размышлял, сзади послышались каменный бряк и какое-то невнятное гавканье. Это Чупря ругался — то ли оступился и упал, то ли башкой задел о потолок.

Ветка угасала. Если бы не Чупря позади, Осташа бы ни за что не полез дальше. Жутко даже представить такое — остаться в здешних ходах без огня. Темнота столь густая, что берёшь себя за озябший нос холодной рукой, а кажется, будто взялся за чужой нос, а твой нос шупают пальцы того самого чужака... Осташа подул на уголья тлевших сучков и чуть-чуть помахал веткой, чтоб разгорелась. Даже не темнота страшна. Здесь такие мятые стены и потолки, что шупай не шупай, всё равно не поймёшь, проход это или просто ямина. Здесь так сложно пробираться во тьме по зыбким камням, что не сохранишь чувство пути и не сообразишь, прямо ты ползёшь или давно повернул... Отсюда на ощупь не выбраться. Это могила.

И Осташа быстро, насколько мог, полез вперёд. Решимость его была соразмерна огню на ветке. Огонь гас, и глиняный ужас холодом и тьмой облеплял со всех сторон. Осташа то и дело задира голову к потолку, отыскивая путеводный след копоты. Проходы тянулись бесконечно, потому что здесь каждая сажень казалась верстой. Порою стены оп-

ливали каменными потёками, словно грязь застыла каплями, наползающими друг на друга. Последние отсветы с Осташинной ветки звёздными россыпями блестели на этих потёках. Тяжёлые каменные занавеси небрежно лежали на стенах. Всё было изуровнено, изурочено, словно кто-то в темноте абы как резал завитушки на кривых окладах скальных икон. Только вот чьи уродливые рыла глядели с этих образов мёртвыми, холодными глазами?..

Гора, такая суровая и цельная снаружи, внутри была вся изъедена дырками, как трухлявый пенёк. Какие-то причудливые громады вставали то справа, то слева. Осташа старался не думать ни о бесах в скалах, ни о вогульских чудищах, которые прогрызли, проели, проточили эти нечеловеческие пути. Можно сойти с ума, можно захлебнуться тоской и разбить лоб о камень — лишь бы всё поскорее кончилось.

Ветка погасла, когда Осташа ползком пробирался сквозь какую-то чёртову глотку. Осташа полежал, слыша только бой своего сердца. Даже голос Чупри затерялся в изгибах всех этих кишок. Но потом Осташа пополз снова, пока не почувял, что куда-то выбрался. Он осторожно сел и принялся дуть на красный уголёк на конце своей ветки. Уголёк затлел поярче. Осташа начал махать им в пустоте, пока не выскочил робкий язычок огня. Язычок выглянул — и тотчас спрятался опять, но Осташа увидел, куда пробираться дальше.

В темноте, в тишине, вздрагивая от каждой упавшей капли, Осташа лез по самому краешку безумия. Саднящими, окровавленными ладонями он ощупывал склизкие валуны перед собою. С тягучим бережением упирался избиными коленями в каждый камень.

«Ты мне заплатишь, Чупря, за весь этот страх... Ты мне за всё заплатишь... Я тебя убью, страшно убью, Чупря...» — истоково повторял он про себя как молитву.

И вдруг призрачный, потусторонний звук, тихий, но ошеломляющий шёпот словно дымкой скользнул вдоль его ушей. Слипшиеся от глины волосы шевельнулись на вис-

ках. «Демоны за мной пришли? — подумал Осташа. — Это за то, что я барку убил?..»

Он приник к каменной груди, будто надеялся, что демоны его не заметят.

«Осташ-шка... Осташ-шка...» — ползло в темноте.

Осташа искал на груди крест, сжал его, боясь сорвать с гайтана. Без креста ему отсюда не выбраться. Он хотел что-нибудь прочесть, но замёрзшие губы прыгали, бессмысленно повторяя: «Ма-ма-матерь Богородица... Де-дева пречистая... Спаси и помилуй... Спаси и помилуй!..»

«Осташ-шка... Ты где?..» — явственно различил Осташа.

Капля упала ему на лицо. Потом другая. И Осташа вдруг вспомнил, что такие же капли разбудили его ночью в чуме Бойтэ после той дикой любви. Осташа заметался, но обхватил себя руками, словно верёвками обвязал.

И вдруг всё без света засияло вокруг волнами, заколыхалось незримыми позарями. Осташа изумлённо взирал на этот невидимый свет, который обернулся вокруг него раз, другой, третий, расплылся тонким-тонким кругом и растаял, как не было.

— Господи, выведи меня! — в тоске и отчаянии закричал Осташа.

Его крик наполнил всю пещеру, заколотился в стены и своды, как заживо погребённый. Осташа и сам чуть не оглох. Роса посыпалась с потолка. А потом замогильный шёпот вдруг стал отчётливее: «Лезь обратно, обратно!..»

«Это же Чупря Гусев орёт, меня подзывает! — осенило Осташу. — Я уже близко к выходу из петли — вот и услышал!..»

И всё стало понятно, и тьма вдруг сделалась плоской, как слепота, как зрение при завязанных глазах. Но чувство бессветного сиянья не угасло. Оно, это сиянье, было не добрым и не злым, не тёплым и не холодным — оно просто было. А с ним всё остальное было уже не страшно.

Осташа выглянул из дыры и увидел Чупрю. Чупря не полез в петлю. Он наверняка не знал про петлю, но звериным

воровским чутьём понял, что не стоит туда соваться. И теперь Чупря лежал на брюхе, светил в проход пучком лучин и кричал:

— Да вылазь же ты, идолище!.. Нету там другого выхода!..

За пятками у Чупри горел неплохой костёр из сучьев, что Чупря притащил с собой. Чупря звал Осташу и ждал, держа в одной руке лучины, а в другой — нож.

— Думаешь, один ты про пещеру за езуиткой слышал? — орал он. — Да многие про неё знают! И я знаю! Я сразу понял, куда ты с Чусовой стреканул! Не спешил даже, знал, что туточки тебя найду! Вылезай давай! Замёрз я!..

Осташа выбрался и поднялся на ноги, насколько позволял потолок. Чупря орал и сам себя оглушал, ничего не слышал. Осташа нагнулся и выбрал камень поухватистее. Постоял, глядя Чупре на спину. Подумал. А потом прыгнул на эту спину коленями и с размаху ударил камнем Чупрю в затылок.

Чупря уронил голову, обмяк и вмиг затих. Нож со звяком выпал из пальцев, лучинки рассыпались и разгорелись ярче. Осташа стоял коленями на спине Чупри и видел, что затылок у Чупри заблестел, и кромка камня у него в руке тоже.

— Получи, — без ярости, без гнева, с одной только бесконечной усталостью сказал Осташа. — Получи, гад. Сейчас затушу костёр и оставлю тебя в темноте. Ползай, ищи выход, как я ползал. Не буду тебя убивать. Очнёшься — и пусть тебя Господь судит. Решит помиловать — так выведет...

Осташа слез с Чупри, поднялся и принялся пинками разбрасывать поленья. Угли и искры светляками усеяли весь пол.

Осташа вдруг вздрогнул, оглянулся. Чупря лежал без движения, но дыхание его было слышно.

— Я сегодня столько народу хорошего убил... — вдруг с ужасом сказал Осташа. — Таких людей! Таких людей погубил!.. А ты... А ты Алфёра Гилёва с Чегена скинул, ты Федь-

ку Милькова застрелил!.. И чтобы после этого я — убивец тебя — убийца живым здесь оставил?!..

Осташа словно сломался пополам, наклонился, схватился за края огромного валуна и со стоном вырвал его из россыпи. Извиваясь всем телом под тяжестью камня, Осташа шагнул к Чупре.

— Принимай! — прохрипел он и уронил валун Чупре на голову.

А потом утёр лицо грязной рукой, поднял ещё горящее полено и полез к выходу.

Как выбраться сквозь ледяную трубу, где и зацепиться не за что, он даже и не подумал. А думать и не пришлось. Едва Осташа приблизился к этой трубе, из неё, будто сама собой, выпала верёвка.

ШТУЦЕР И КРЕСТ

По верёвке Осташа вытянул себя сквозь ледяную трубу и вывалился наружу — словно из промёрзшего подпола поднялся в натопленную избу. И первым, что он увидел, был гранёный ствол его собственного штуцера, глядевший на него пустой дыркой дула.

В темноте на площадке под Кладовым камнем ярко и щедро горел костёр. Верёвка, брошенная в пещеру, другим концом была привязана к стволу сосны. У сосны со штуцером в руках и стоял Колыван.

— Не целься зря, — просипел Осташа, не подымаясь на ноги. — Мой штуцер в меня стрелять не будет.

— Отчего это? — недоверчиво хмыкнул Колыван.

— Он заговорённый. Я на него камлал.

Колыван покрутил штуцер в руках, посмотрел замок.

— А я с Гусельного стрелял в тебя из него, — сказал он. — Ничего, сработал штуцер. Только вот не попал я. В раму от кровли твоей барки попал. Потому и упала рама.

Осташа замученно посмотрел на Колывана.

— Врёшь ведь, — устало возразил Осташа. — Я что, не помню, где ты стоял, где мы с Чупрей вынырнули?.. Ты в Чупрю стрелял. Меня ты убить не можешь — иначе как крест свой вернёшь?

Колыван не ответил и штуцера не убрал.

— А Чупря где?

— В пещере.

— Чего не лезет?

— Не может уже.

— Мёртвый, что ли? — как-то тускло и странно спросил Колыван. — Чего ты с ним сделал?..

— Защекотал.

Колыван убрал штуцер, отвернулся, пошёл к костру и присел на камень, застеленный лапником.

— Иди, погрейся у огня, — издалика позвал он.

Осташа с трудом поднялся на четвереньки, встал и тоже подошёл к костру. Колыван пихнул ему ногой комель толстой сушины. Осташа опустил на комель и протянул к теплу ладони.

— А пожрать чего дашь?.. — спросил он.

Колыван молча достал откуда-то из-за спины краюху хлеба в тряпице, развернул, отломил половину и кинул Осташе.

— Видишь, котелок только поставил... Жри пока хлеб, похлёбка ещё не скоро будет...

Глядя в угли, Осташа жевал хлеб, хрустел горбушкой. Колыван молчал, о чём-то думал, шевеля бородой. Штуцер лежал на земле.

— Убери ружьё от тепла, — сказал Осташа. — Нагреется — пальнёт. У меня такое было однажды.

Колыван послушно нагнулся, поднял штуцер и убрал его себе за спину, прислонил к дереву.

— А Фармазона ты тоже убил? — нехотя спросил он Осташу.

— Тоже.

Колыван поднял на Осташу красные от костра глаза. Взгляд их был страдальческим и слепым.

— Недооценил я тебя, — негромко признался Колыван. — Да кто бы мог подумать?.. Мальчишка, шенок... А ведь двух таких лютых воров уложил... Скит разорил, царёву казну отыскал, меня — меня! — Разбойник-боец отуром пройти заставил!.. Ещё Конон всех от тебя остерегал, да я не поверил... Старый я. Пора мне.

— Пора — дак уходи, — не пожалел Колывана Осташа.

Свет костра доставал только до половины шороха, и стена Кладового была совсем невидима. Но всё равно как-то ощущалось, что рядом — огромная холодная скала, и костёр горит на склоне, и вокруг буреломный лес, а внизу — дикая речка. Рокот Поныша тёмным крылом обмахивал полянку с одной стороны, тяжкая тишина скалы — с другой. Рокот был ниже, а тишина — выше полянки. Казалось, что полянка с костром, с Колываном и с Осташей несётся на спине огромного орла, который завалился набок, заходя в поворот.

— А Нежданку тоже ты спортил? — спросил Колыван так, как парнишки друг у друга спрашивают, а не взрослые мужики.

— Не Прошка же Крицын.

— Женишься?..

Осташа усмехнулся:

— У кого ты мой штуцер добыл?

Штуцер он оставил в чуме Бойтэ, когда в ужасе бежал от вогулки, чтобы в своём доме увидеть ужас ещё больший: повесившуюся Макариху и Пугачёва с отрубленной головой.

— У кого, помнишь? — повторил Осташа. — Ну, и сам должен догадаться, кто мне люб.

— Нету её теперь. Или не видел, как её с Кликуна скинули?

Ничего не дрогнуло, не качнулось в душе Осташа.

— Нету — ну и нету. Её нету, а любовь есть.

— Был бы жив Переход, мы бы с ним о свадьбе вашей толковались, — неожиданно горько признался Колыван.

— С чего это бате к тебе на поклон идти?

— Не Переходу ко мне... И не мне к Переходу... Сам знаешь, не было промеж нас никакой приязни. А толковались бы.

Осташа разговаривал с Колываном, будто строптивый ученик с терпеливым наставником. Необычно всё это было... Точно перемирие на войне. Завтра они снова вцепятся друг другу в глотки зубами. То, что сейчас, — это ложь, морок, наваждение.

— Опоздал сетовать. Сам же ты батину барку поддырявил.

— Ты с чего такое взял?

— Дырку я ещё прошлой весной увидел, когда барку осматривал, чтобы Кусьинскому кордону её продать. Да вот не знал я тогда, что это за дырка такая. А в Каменке на плотбище мастер Кафтаныч рассказал мне об этой уловке. Ну, и на сплаве Бакирка растрепал, что ты его подучил перед Молоковым-бойцом с борта прыгнуть и за верёвку доску из дыры выдрать. Я всё разузнал, дядя Колыван. Не отпирайся.

— Что ж, было, — тяжело согласился Колыван. — Только Перехода я губить не хотел. Славу его — да, хотел стучить. Но его самого — нет. А барку его я поддырявил, чтобы в суматохе под Разбойником Сашка Гусев смог сбежать. Я ж ему и ключ от кандалов дал...

— Зачем же ты капитана Берга упросил, чтоб он Сашку на батину барку пересадил? Со своей барки сам бы и отпустил Сашку.

— А что, мне свою барку бить? Я же сплавщик. А коли я бы вора отпустил, тот же капитан меня потом под следствие и упёк бы.

— Всегда у тебя так, — зло сказал Осташа. — Своя шкура дороже!

— Не шкура, — тихо возразил Колыван. — Не шкура... Душа.

— Я камлал, и людей убивал, и с бесами лицом к лицу встретился — а и то у меня душа, небось, чище твоей.

— Понимал бы ты ещё, у кого чего душа сто́ит.

— Твоя душа, дядя Колыван, свечного огарка не сто́ит, а ты её дороже царёвой казны оценил. Чего ты мне тут жалишься? Ты же сгубить меня хотел, на Разбойник выпихнуть! Ты меня заставил барку убить, со скалы прыгнуть. Это ведь ты меня сюда загнал, в теснину Поныша. Ты меня в пещеру толкнул, Чупрю на меня натравил. И что, я должен сейчас сидеть да жалеть тебя? Ты батю моего убил, девушку мою со скалы сбросил...

— Твоя девка из твоего ружья Калистрата Крицына застрелила.

Осташа замолчал, осмысляя сказанное Колываном.

— К-как — Калистрата?..

— А так. Калистрат с Чупрей на лодке поплыли в Ёкву за твоей девкой, залезли к ней в чум, а она Калистрату в грудь из штуцера и саданула. Никто бы не стал её со скалы сбрасывать, ежели бы она Калистрата не убила. А ты думал, что это я подучил Чупрю застрелить Калистрата, что-бы на Чусовой скамейку Конона занять?

Осташа молчал, еле двигая неподъёмными мыслями.

— А почто Калистрат с Чупрей к ней в чум полезли?

— Хотели её с собой увезти. Чтобы выставить на Кликуне и отвлечь тебя. Сбрасывать не хотели. Ну а если уж она — так, то и с ней — так же.

Осташа вспоминал те полтора дня — от хватки на Демидовском кресте до разворота барки под Кликуном. Там, ночью у креста, так хотелось ему бабьего тепла... Ждал, что Фиска придёт к нему на барку в казёнку, а пришёл Поздей... И чёрт бы с баркой, пускай спустил бы её Поздей на Столбы, — надо было бежать в Пермякову деревню, где связанная, в плену у Колывана была его Бойтэ... Да кто же знал... Кто же знал!

— Я убью тебя, Колыван! — с мукой и страстью сказал Осташа.

Он уже смирился с болью, что нет больше на свете Бой-тэ. А вот теперь эта боль взвыла с новой, свежей силой, когда он узнал, что был так близок к своему счастью, да никто ему о том не сказал. Промолчали, иуды, чтобы сейчас ему стало ещё больнее...

Колыван чуть кивал головой, словно дожидался, пока все эти мысли займут свои места в сознании Осташи.

— Я тебе ещё и не то скажу, — продолжил он. — Я тебе про батьку твоего скажу. Хочешь?

— Ну, говори, — сквозь зубы ответил Осташа.

— А скажу я тебе, что не убивал я Перехода под Разбойником. Переход из-под Разбойника жив-здоров вывернулся. Да, прошёл он отуром, это верно. Но как только барка его затонула, бросил он всё и убежал. Знаешь, куда убежал?

— Куда? — хрипло спросил Осташа, ожидая услышать худшее.

Колыван помолчал, усмехаясь.

— Ты и сам уже догадался. На Гусельный он побежал. За казной.

— Врёшь!

— Не вру. Я ведь нашёл казну на Гусельном. Переход бочонки в яму поставил, укрыл сверху и сбоку плитками каменными и пластушинами мха всё заровнял. Я сегодня ту ямку не отыскал бы... если бы сам Переход мне её не указал. Он и сейчас там в яме, в снегу на казне лежит. Мёртвый, понятно. Одни кости из наста торчат. Вот так, Остафий.

Никакой тайны, страшнее этой, Осташа ещё не открывал. Он схватился за голову и согнулся. Нет!.. Нет!.. Батя... Батя с убитой барки побежал за золотом?.. Да как же так?

— Переход понял, что Гусевы разгадали его загадочку, — добавил Колыван. — Пришлось спешить, бежать казну перепрятывать...

...Значит, в его, Осташином, зверстве и язычестве не было ничего страшного? Значит, он просто продолжил батин путь? Никакой оборотной стороны — кругом одна и та же

сторона, сторона лжи, обмана, корысти?.. Нету, значит, правды? Нету добра, как Конон говорил, — только зло во имя его и просто зло? Все муки Осташи, все жертвы, за которые он себя казнил, — всё зря? Так и надо? К тому и шло?..

Осташа поднял лицо на Колывана. Лицо у Осташи было такое, словно он вынырнул со страшной глубины.

— А мне плевать, — тихо сказал он. — Я тебе не верю.

— Ну, не верь, — согласился Колыван.

— Не верю! Никому не верю! Только богу верю! Своими глазами увижу, как батя в барском тереме хмельное пьёт, жлуудовок тискает и золото царское сыплет, — и не поверю! Да хоть чего — не поверю! Поверишь в такое — так свой грех праведностью покажется, а страшнее того и выдумать не могу! Своего греха и крупницы не отдам, а кроме грехов, и нет у меня ничего больше!

— Вот за свои грехи и говори. — Колыван веточкой забросил в костёр выскочивший уголёк. — А за чужую праведность не ручайся.

Осташа долго сидел, бессмысленно расчёсывая сквозь штанины раскалившиеся от огня колени. Нет, не понимает он этого мира... Только покажется, что понял, — и сразу мир другой, чужой стороной к нему оборачивается...

— А мне царёва казна не нужна, — вдруг сказал Колыван. — Мне моя душа нужна. А душа на крест заговорена. А крест у тебя.

— Почто же ты за казной-то рвался? — глухо спросил Осташа.

— Я Трифона Вятского видал. Я умру скоро. Зачем мне золото, зачем скамейка Конона, зачем девство Нежданкино? Ничего мне не надо. Мне душу мою надо обратно. Я не хочу в пекло. Я зимой к Мирону Галанину на Ирюм ходил. Просил его отдать мой крест. Мирон сказал, чтобы я царёву казну ему добыл, а он мне крест вернёт. Вот и всё, Остафий.

— Так ведь не было креста у Мирона Галанина...

— Не было, — кивнул Колыван. — Как я тебе про вогулку не сказал, так и ты мне не говорил, что крест у тебя. И Мирон Галанин молчал, и старец Гермон, и Конон Шелегин, и Калистрат Крицын. Все молчали. Всем нужен был сплавщик Колыван. Все хотели до царёвой казны добраться, а душа сплавщика никому не была нужна. Да и не было её у них.

— Всё истязательство ваше, весь порядок Конона на лжи и держались... — с ненавистью выдохнул Осташа. — Потому гора скит и раздавила. Потому и расползся порядок Конона, едва Конон умер.

— За всё говорить не буду. Но про душу мою они мне правды не сказали — это верно. Так что я с тобой торговаться не хочу. Не хочу тебя под дулом держать. Забирай казну себе, а мне отдай крест. Сам же ты мне тоже не нужен.

— Завтра отдам я тебе крест, — угрюмо сказал Осташа. — Я его на Гусельном и спрятал.

...Они спали у костра на лапнике, прижавшись спинами друг к другу, словно отец и сын. Их разбудил холодный и мокрый утренний туман. Туман заполнил всё ущелье Поныша, как снег, набивающийся в тележную колею.

Возрождать костёр и завтракать они не стали. Пошагали вниз по берегу речки, оскальзываясь на валежнике. Во мгле ущелье казалось совсем незнакомым, новым, нехоженым. Колыван первым отыскал на склоне взрытую борозду: здесь и Осташа спускался к речке с вершины, и Чупря, и сам Колыван. По этой борозде они выбрались наверх, выше тумана. С гребня скалы странно было видеть расседину Поныша: холмы вокруг, лес, и вдруг посреди леса, вровень с землёй, клубится плотным белым паром широкая и дымная полоса реки. Под блёклыми лазоревыми небесами раннего утра этот пар потихоньку опускался, мелел, оседал: туман из ущелья вытекал на Чусовую.

Свою лодку Колыван оставил на берегу рядом с рамой, на которой приплыли Осташа и Чупря. Чупря зачем-то за-

ботливо подтянул раму на приплёсок и даже надел её на здоровенный валун, чтобы не снесло волной. По раме Колыван вчера и догадался, где ему искать упавших со скалы Осташу и Куприяна. В пещере на Поныше, где же ещё? Многие беглые рассказывали друг другу об этом спасительном подземелье.

В шитике Колывана имелся второй шест. Осташа встал на нос, а Колыван — на корму. Вдвоём они погнали шитик против течения.

Земля ещё спала, неподвижная, только вода текла, словно ей ни до чего не было дела. В раскрытых каменных воротах Понышских скал ворохами громоздились кучи тумана. Мгла неспешно вываливалась на простор Чусовой. Казалось, что ущелье, отсырев от росы, догорает и дымит. Шитик пробрался сквозь мутные облака, и Чусовая привольно распротёрлась во всю ширь, не помрачённая уже ничем. Каждая чёрточка, каждая краска были здесь словно протёрты мокрой тряпочкой.

Чусовая отдыхала после сплава. Шитик миновал спящую Усть-Койву, где только бабы на поскотиных звонко звякали подойниками. Бешеный глаз скалы на Дыроватых Рёбрах был затянут птичьей плёнкой прелой лесной испарины. Бойцы не рычали над рекой бурунами, а глухо сопели, как старики, что весь день ворчат и ругаются, а ночью мирно свистят носами на печках. Даже отбой от утёсов был какой-то вялый, ненастойчивый. Колыван и Осташа заменили шесты вёслами, прошли мимо Сосуна, еле выгребли по стрежню между Кобыльими Рёбрами и Гусельным бойцом и, развернувшись, причалили перед Гусельным на шорохе.

Осташа снизу оглядывал мокрую, подёрнутую дымкой плоскость каменной стены. Нет, с реки он не мог крестик увидеть и даже путь свой вчерашний найти не мог.

Колыван поднимался по шороху первым, забросив за спину штуцер. Он ступал тяжело, грузно, спускал вниз мелкие оползни, которые оставляли на светлом шорохе тёмные

пятна. Осташа двигался чуть в стороне, чтобы камни из-под сапог Колывана не били его по лодыжкам.

— Штуцер-то тебе на что? — тяжело дыша, ревниво спросил Осташа.

— Медведёй стрелять, — буркнул Колыван.

Конечно, это была отговорка. Но Осташа тотчас вспомнил, что на этом шорохе в прошлом году Еран убил медведя с порезанным брюхом.

Колыван и Осташа выбрались наверх, прошлись по кромке скалы. Осташа думал, что всё здесь намертво отпечаталось в его памяти: каждая ёлка, каждый обломанный сучок на мху. Но сейчас всё оказалось каким-то незнакомым, иным. Осташа еле отыскал то место, где из склона торчал над пустотой выгнутый корень. Удивительно: неужели вчера всё приключилось именно здесь, на этом неприятном пятачке?.. Не может быть! Не вмещается сюда громада вчерашней беды!

Всё вокруг было по-другому. И боль от ночной тайны тоже стала другой. Ну не могло быть, чтобы батя сбежал за золотом, не могло! Зачем ему сбежать, если он всегда свободно мог пойти и взять казну? И почему он умер на этом золоте, будто какой Кашей?.. Или соврал Колыван, или опять чего-то недоговорил. Тут снова была тайна. Осташа глядел в широкую спину Колывана и думал: вот достанет он кресты — и возьмёт Колывана за горло. Пусть Колыван скажет правду до конца. И не может быть, чтобы правда эта оказалась подлой! Вчера столько всего страшного навалилось на душу, что разум расплылся, разъехался, как слякоть, размяк. Потому и поверил Осташа словам Колывана. А сегодня Осташа уже собран, напряжён, внимателен: он получил передышку, охолонул и больше не подпустит к сердцу лжу.

— Вот здесь надо верёвку спустить, — сказал Осташа.

Колыван молча снял с плеча моток и, присев, принялся привязывать конец верёвки к еловому комлю. Осташа

тем временем обвязывал себя под мышками другим концом верёвки. Штуцер лежал на земле.

— Может, выбросим ружьё в воду? — предложил Осташа и тотчас пожалел: зачем сказал? Если захотел выбросить — надо было пнуть по штуцеру, и всё.

Колыван за ремень быстро подтащил штуцер к себе.

— Тебе не надо — а мне пригодится, — сказал он. — Хорошее ружьё — вещь полезная.

— Ты же помирать собрался.

— Может, мне тогда и порты с себя снять да со скалы бросить?

Осташа хмыкнул.

Они проверили узлы, подёргали, Колыван распутал верёвку. Осташа лёг на живот ногами в обрыв.

— Теперь стравливай меня помалу, — велел он Колывану.

— А глубоко ли полезешь?

— Сажени на три.

Колыван перекинул верёвку себе через шею, обмотал верёвкой запястье и отошёл от обрыва.

— Давай, — сказал он. — А я собою попридержу... Шагочками буду к краю идти, а ты кричи мне снизу. Дальше пяти сажений не улетишь, не трусь.

— Кто бы трусил ещё... — проворчал Осташа, сползая по мокрому моху к кромке скалы.

Он снизу глядел на изготовившегося Колывана, а Колыван отворачивался, не показывал глаза. Тогда Осташа подобрал длинный корявый сучок и сунул его за ворот — пригодится.

Вот ноги его повисли в пустоте, вот и живот начал опускаться в никуда — пальцы против воли впились в мох.

— Держи внатяг и по вершку, — придушенно приказал Осташа.

Он ещё оттолкнулся и повис на верёвке, чувствуя, как она врезалась под мышки. Осташа пошарил ногами и нащупал корень, до которого они с Никешкой допрыгивали.

Прижавшись к скале, Осташа встал на корень коленями. Потом чуть изогнулся и схватился за корень руками. Потом сбросил себя в пустоту, стоя на корне на руках. Потом осторожно опустил себя так, что корень пришёлся уже под подбородок. И наконец он повис на корне. Вниз не глядел, только слышал, как под скалой удивлённо курлюкает вода.

— По вершку на полтора аршина спусти! — крикнул Осташа наверх.

Ломая сопротивление собственных пальцев, он отцепился от корня и повис совсем. Теперь самое страшное было позади.

Мелкими бабьими толчками Колыван спустил Осташу на полтора аршина. Осташа висел, опустив руки, как удушенник. Под мышками резало и жгло, но он не обращал на это внимания.

Осташа обыскивал взглядом все выступы скалы. Ничего не узнавалось... Неужели вот на этой полочке они с Никешкой вчера стояли?... Да как же тут устоять можно?!

Вот!.. Крошечный выступ, а на него по-прежнему нацеплена гроздь зелёных крестиков. Перебирая по скале ладонями и коленями, Осташа чуть передвинул себя в сторону и снял с выступа гайтан.

— Видишь крест?.. — донёсся сверху крик Колывана.

— Вижу!.. — крикнул в ответ Осташа. — Сейчас заберу! Больше не стравливай!..

Он разорвал гайтан и ссыпал кресты на ладонь, перевернул их пальцем, читая буквы, процарапанные на исподе. «КЛВН БГРН». Осташа губами снял с ладони четыре крестика и во рту языком задвинул их за щеку. Нитку гайдана продел обратно в ушко крестика Колывана и связал. Потом вытащил из-за ворота подобранный сучок и накрутил гайтан на его развилку у самого кончика.

— Тафай! — крикнул он наверх. — Тяни!..

Колыван потащил Осташу наверх. Осташа висел тряпкой, не помогал себе. Когда его доволокло коленями до

корня, он быстро поднял ногу, наступил на корень носком сапога и выбросил себя на край обрыва.

Колыван оглянулся и сразу скинул со спины верёвку. Осташа тотчас отполз и от Колывана, и от обрыва. Опираясь рукой о ствол сосны возле края скалы, он поднялся на ноги. Отвязать от груди верёвку времени не было. Верёвка и не позволила Остахе прыгнуть куда-нибудь за дерево, укрывшись, убежать в лес.

Колыван уже держал штуцер.

— Покажи крест, — шёпотом сказал он.

Осташа вытянул в сторону обрыва руку с сучком. Сучок был уже за кромкой скалы. Крестик висел над пустотой. Не сводя взгляда с Колывана, Осташа поднёс ко рту ладонь и выплюнул другие крестики.

— Твой — вот, — сказал он Колывану и покачал крестиком над пропастью.

— Мой ли? — опять шёпотом переспросил Колыван.

— Твой. Можешь в голос говорить, наушников тут нет.

— Ну, и отдай его мне...

Колыван не поднимал ружья, но выстрелить в Остаху он мог и от живота.

— Выстрелишь — я крест в воду уроню, — предупредил Осташа. — Брось штуцер в Чусовую — я тебе отдам крест.

Колыван молчал, молчал страшно долго. Лицо его оставалось неподвижным. Опять у него всё получалось как с Чупрей. Теперь вот Осташа ему не доверял, и сам он не мог себя сломать, чтобы Остахе довериться. Душа Колывана, заговорённая на медный крестик, висела и покачивалась в пустоте над Чусовой.

— Я штуцер выброшу — и ты крест выбросишь, — хрипло сказал Колыван. — На сучок его привязал... Это чтобы крест не утонул, и я за ним со скалы прыгнул?

— Я убивец, но не душегуб, — ответил Осташа.

— Я тебе не верю, парень, — с мукой признался Колыван.

— Я убивец, но не клятвопреступник. Богом клянусь: выбросишь штуцер — отдам крест. Я ведь святого Трифона не встречал, я ещё жить собираюсь.

— Казной попользоваться?

— А тебе какая разница? — спокойно спросил Осташа. — Тебе ведь не нужна казна. Жалко тебе, что ли, если я её себе заберу?

Борода у Колывана зашевелилась, как живая.

— Убью щенка... — он опять перешёл на шёпот.

— Нет. Вот в этот раз ты уже свою душу убьёшь, не меня.

Колыван вздёрнул штуцер и приложил его к плечу, нацелившись на Осташу.

— Поверь человеку хоть раз в жизни, — предложил Осташа.

На него уже столько раз прицеливались и Фармазон, и Чупря, в него уже столько раз стреляли, что он как-то даже привык, что ли.

— Поверь... И реши для себя, что тебе важнее: царёва казна или своя душа? На твоей совести народу не меньше моего... Для чего ты людей губил? За казну или за душу свою дрался?

— Все, кто погублены, — в истязеньи погублены. За них на мне никакой вины нету... Душа моя чистая, — глухо выдавил Колыван.

— Тем более, — усмехнулся Осташа. — Решай: царёва казна или чистая душа?

— Искушаешь, сатанёныш...

— Спасаясь.

— Будь ты проклят!.. — отрывая голову от приклада штуцера, яростно сказал Колыван. — За что же ты мне встретился!..

— А ты мне за что?

— Отдай крест... Чего тебе меня бояться? Ты же говорил, что камлал на ружьё, и оно в тебя стрелять не будет...

— Я камлал, — кивнул Осташа. — И каюсь в том. И бесу не поверю. Выброси штуцер в Чусовую. Выброси и возьми душу свою.

— Никому никогда не верил... — медленно сказал Колыван. — И тебе не верю.

Он опять наклонил голову над прикладом и нажал на курок.

Штуцер сухо щёлкнул. Из замка вырвался кислый синий дымок. Осечка.

Колыван какое-то время стоял, согнувшись, словно не верил, что ружьё не пальнуло, а потом распрямился и растерянно улыбнулся.

— Н-ну вот... — пробормотал он. — А ты боялся...

И только сейчас ядовитая, гнилая, могильная волна ужаса прокатилась по лицу, по груди, по животу Осташа, стекая в ноги, как грязь, окатившая из-под тележного колеса.

Колыван вдруг повернулся к обрыву и швырнул штуцер вниз. Донёсся плеск.

— Всё! — улыбаясь, сказал Колыван. — Я ружьё выбросил! Давай крест!

Колени у Осташа играли так, что крестик на сучке прыгал, словно привязанный за хвост чёртик. Но вслед за ледяной волной страха по лбу, по скулам потекла обжигающая волна гнева.

— Не всё... — тихо ответил Осташа. — Я из-за тебя и под ружьём постоял, и со скалы спрыгнул... Теперь из-за меня ты хотя бы спрыгни. И поторопись, пока не уплыло...

И он разжал пальцы. Ветка с крестом полетела вниз.

Колыван молча кинулся на Осташу, сбил его с ног, швырнул с края скалы и прыгнул сам. Осташа пролетел всего сажень, и его рвануло обратно вверх, перепоясав под мышками огнём — он ведь по-прежнему был привязан на верёвку. Длины верёвки едва хватило на сажень падения.

Осташа висел, задохнувшись от рывка, и сквозь синие звёзды в глазах видел, как Колыван упал в воду, потом вынырнул, покрутил мокрой чёрной башкой и сажёнками погрёб куда-то прочь, за гребень Гусельного бойца. Туда отбой уносил торчащую над волною веточку.

ПЁТР — ЗНАЧИТ «КАМЕНЬ»

Осташа отлежался на краешке скалы, потом поднялся и пошёл вглубь леса отыскивать яму с царёвой казной. Не нужна ему была казна. Он хотел увидеть кости бати. Хотя по костям разве узнаешь человека? Но Осташа не мог не взглянуть в яму с кладом. Однажды он уже чуть не отказался от погони за Фармазоном, когда с вершины Дужного бойца увидел мертвяка внизу на льду Чусовой. Тогда он совсем было решил, что это лежит Яшка, сброшенный с утёса Шакулой. Но всё же он спустился на реку и подошёл к покойнику — и узнал, что это не Фармазон, а сам Шакула, а Фармазон, значит, жив, и надо продолжать погоню. Нет, всегда надо дойти до конца, до самой стенки. Так и Бакирка мечтал о сокровищах Ермаковой пещеры: «Дойдёшь до стенки, а там золото!»

Осташа не спешил. Он долго блудил по тёмному буреломному ельнику: оскальзывался на камнях, цеплялся ногами за валежины. Ёлки исхлестали его ветвями, вымочили. Осташа замёрз, исцарапался. Колыван отыскал яму с кладом чуть ли не сразу — а вот Осташа никак не мог.

Он зашёл уже слишком далеко, а ведь батя в одиночку тащил две тяжеленные бочки с золотом и не полез бы в глухомань. Спрятал бы, где поближе. Осташа вернулся к шороху и сразу наткнулся на батину яму.

Это была даже не яма, а разрыв в земле, каменный ров длиною шагов в десять и шириной в два шага. Отвесные стенки его толсто заросли мхом. Ров был почти до верху за-

полнен снегом — мертвенно-белым от вечного елового сумрака, ноздреватым, густо засыпанным хвойными иголками. Дважды ров перечёркивали стволы упавших деревьев. Вокруг стеной стояли вековые ёлки, которые почти укрывали полосу рва своими лапами.

Осташа отодвинул ветку и присел, разглядывая лесную могилу. Из снега торчали бурые рёбра, облепленные чёрными лоскутьями одёжи, и голый череп. Череп тоже был забит снегом, а потому особенно ярко выделялись белые глазницы. Неужели это батя?.. Дико было представить батю в этом страшном, гнилом костяке...

Там, под остовом, укрытые двумя каменными плитками, стоят бочонки с царёвой казной. Золото. Золото Пугача, золото бунта, золото Чусовой, золото сплавщиков... Осташа без сожаленья, разом бы обменял всё это золото на живого батю. Чтобы не надо было ничего доказывать, чтобы не было в его жизни этого поганого года. Осташа глядел на череп, на рёбра, уходящие в снег, и вдруг заметил на костях истлевший шнурок гайтана.

Осташа встал на колени и потянулся в яму. Стараясь не коснуться костей, он подцепил шнурок пальцем и вытащил из снега нательный крест мертвеца. Крест лёг в его ладонь, тяжёлый, как пуля. Он словно бы впитал в себя тяжесть пули. Пуля ударила вот сюда, прямо в перекрестье, и крест выгнулся, словно хотел лапками прикрыть живот. Это был не батин крест. Это был крест Сашки Гусева.

Той пугачёвской зимой Гусевы с варнаками Митьки Оловягина прикатили в Кашку, ударились в загул. В доме дяди Прохора Зырянкина они изнасиловали Настю и Маруську, дочерей Прохора. Пока в утаре воры вешали дядю Прохора и его мёртвую жену, девчонки поднялись и перерезали глотки тем упившимся разбойникам, что оставались в доме. Потом они оделись в чёрное, забрали ружья и ушли в скиты по Алапаевскому тракту. Гусевы с толпой кинулись вдогонку. А девчонки не стали прятаться. Вышли с ружья-

ми на опушку. Настя успела выстрелить два раза, а Маруська — только раз, но попала в Сашку Гусева. Прямо в грудь ему. Пулей прямо в крест. Осташа помнил, как пьяный Сашка, умываясь слезами, рвал рубаху и совал всем в лицо этот крест: вот, мол, сучка какая, а меня бог бережёт!..

Осташа прыгнул в яму и ушёл в снег почти по пояс. Он схватил склизкие рёбра, выдернул их из снега и швырнул прочь. Потом подцепил череп за глазницы — череп со снегом внутри был тяжёлый, как горшок с водой, — и запустил черепом в другую сторону. Осташу словно корчило: то ли от холода снега, то ли от омерзения. Это было не людски — разбрасывать кости человечьи, но человеком ли был Сашка Гусев, подменёныш? Да и мало ли Осташа уже нагрешил, бросив тело Чупри в пещере, спустив тело Шакулы под лёд, оставив тело Фармазона на сучьях сухого дерева?.. Уж кто-кто, а Сашка человеческого погребенья не заслуживал.

Дрожа, Осташа выбрался из ямы, выбрался из леса и лёг на шорохе на солнечном пригреве. Он всхлипывал, живот его дрожал. Батя, прости, прости, прости... Они все не стоят твоего мизинца. И я не стою твоего мизинца, потому что я ведь почти поверил, почти поверил, что ты — вор... Да сколь же черна душа была у Колывана, если он мог так лгать! Сыну про отца лгать; лгать, когда говорил о святом; лгать перед смертью своей!.. Когда же он, Осташа, научится ощущать подлость человечью так же, как он умеет ощущать токи речных струй?.. Батя, прости!..

И всё становилось понятным, всё. Колыван поддёрывал батину барку, чтобы батя не прошёл Разбойник отуром и затонул. Так и случилось. Но более того! Колыван не только знал, что батя честен, но и рассчитывал на эту честность. Колыван не сомневался: когда барка начнёт тонуть, батя бросится в казёнку освобождать прикованного колодника — Сашку Гусева, чтобы Сашка не захлебнулся на своей цепи. И батя бросился — как дурак побежал... А у Сашки давно

уже ключ от кандалов был. Видно, Сашка встретил батю ударом железного кольца по голове. А потом добил насмерть. И лицо разбил вдребезги так, что и опознать-то стало невозможно. Они ведь были немного схожи, батя и Сашка, — ростом схожи, разлётom плеч, мастью волос... Сашка напялил на мёртвого Перехода свой армяк, как Осташа напялил свой армяк на Федьку Милькова, и надел на шею мертвеца своё кольцо. А потом бежал. Никто в суматохе не обратил на него вниманья. И вечером нашли в казёнке прикованного колодника с разбитой рожей... Кто мог подумать, что это не Сашка-вор, а сплавщик?!

А Сашка похерил и Колывана тоже. Сашка разгадал батину загадку про четырёх братьев Гусевых — боец Четыре Брата — боец Гусельный. Сашка понял, где батя зарыл казну. Колывану Сашка разгадки не сказал, чтобы Колыван помогал ему освободиться в надежде потом вдвоём отыскать клад. Поэтому Колыван и на сплав-то нанимался только до Кумыша, чтобы за Разбойником встретиться с Сашкой и идти за золотом. Но Сашка, значит, на встречу не пришёл, а побегал за казной в одиночку. И почти добегал. Почти. На Гусельном бойце, безлюдном и окутанном дурной славой, Сашка попался медведю. И медведь поломал, помял, порвал Сашку, а Сашка истыкал брюхо зверя ножом. Медведь отступился. Умирая, Сашка всё ж таки добрался до ямы с золотом, лёг на бочки и испустил дух. А раненого медведя на шорохе подстрелил Еран. Подстрелил, да увидел, что брюхо хозяина так порезано, как только человек мог сделать. Зверей-человекоубийц, зверей-людоедов люди леса не едят. И Еран отдал тушу медведя весёлой пьяной артели дяди Федота Михеева.

Вот как дело было. Вот как развязались-завязались все узелки.

Значит, там, на Четырёх Братях, в могиле лежит не Сашка Гусев, а батя. И Чусовая его не губила. Чусовая хранила его двадцать лет.

...Уже днём Осташа спустился по шороху к лодке Колывана, взял шест и дотолкался до деревни Рассольной. Он нашёл избу дяди Федота и попросился на постой. Он чувствовал себя больным, смертельно больным, но теперь никакая вогулка не смогла бы его вылечить.

Дяди Федота дома не было. Он уже укатил хозяйничать на Бисер, на рудник, где барыни Строгановы утвердили его приказчиком. С дядей Федотом ушла и его жена, почуяв неладное: слишком уж счастлив супругник-то стал. В доме остались только три старших дочери дяди Федота и всякая мелочь ребятня, которая счёту не поддавалась.

Девки у дяди Федота были как ложки одного мастера-ложжаря: толстые, круглые, весёлые, похожие одновременно и друг на друга, и на батюшку. Девки обрадовались отцовому знакомцу — такой молодой, такой холостой!.. Но знакомец девок разочаровал. День и ночь лежал на лавке, молчал, смотрел в стену, ел без радости. Ночью он метался во сне, хрипел, кричал, падал с лавки. Девки не умели заговорами отгонять алецов и постёнов, а потому только испуганно тарасились с полатей. Станный этот парень убрался только на третий день. Услышал в случайном разговоре, что в Рассольную из Камасиной деревни пришёл человек, который по пути видел, как хоронят знаменитого сплавщика из Кумыша; услышал — и вон из избы.

Осташа отыскал в Рассольной того мужика и навалился с расспросами. Мужик рассказал. Сплавщика Колывана Бугрина нашли в пещере бойца Баюн. Боец этот стоит в восьми верстах ниже Гусельного. В подножии бойца есть пещера, куда можно заплыть на лодке. Баюна ещё зовут Плакунном, потому что в пещеру, забавляясь, парни завозят девок, ссаживают и уплывают. Девки, дуры, сидят в пещере и плачут, так как понимают: пока они перед парнями подола не задерут да не нагнутся, их отсюда не вывезут. Весной пещеру заливают почти под потолок. Вот сюда-то и закинула Чусовая тело Колывана. Колыван, когда плыл из-под Гусель-

ного, поймал какую-то доску и подложил под себя, чтобы не утонуть. Он и не утонул — умер от холода.

— А крест на сплавщике был? — спросил Осташа у рассказчика.

— Чай, все православные, как без креста-то? — обиделся мужик. — Был крест, понятно! Я сам его видел, когда сплавщика в гроб заколачивали.

После этого Осташа забрал у дяди-Федотовых девок свои пожитки, погрузился в лодку и упором ушёл вверх.

Жизнь словно замерцала в его глазах — тёмные, пустые куски проваливались в никуда, будто их и не было вовсе. История догорала, как утренний костёр, и огонь выбивался из углей последними вспышками.

Вечером следующего дня Осташа добрался до Четырёх Братьев. Он сел на пенёк возле могилы с рухнувшим голбцом и устало сказал:

— Здравствуй, батюшка... Вот я тебя и нашёл.

Он просидел недолго. Встал, подгрёб ладонями расплывшуюся землю холмика, поправил крест и подпёр его колышком. У него не было ни топора, ни заступа, чтобы привести могилу в порядок. Да и рано ещё было — земля не оттаяла до глубины. Он вернётся сюда летом и всё сделает как надо. А потом ещё доплывёт до Гусельного и засыплет, заровняет с землёй яму с кладом.

С Четырёх Братьев Осташа пошёл упором дальше.

Разбойник.

Кликун.

Похоронил ли кто Бойтэ?..

Осташа причалил под Кликуном, выбрался из шитика и полез вверх по склону.

Лес под скалой долго обшаривать не пришлось. Осташа издалека увидел светлую одежду. Он пробрался сквозь валежник, и ноги его подкосились.

На мелких ёлочках валялась... валялось... Нет, не Бойтэ. Кукла. Мешок, набитый соломой и обряженный в вогуль-

скую ягу. Вместо головы был другой мешок, поменьше, к которому сверху прикрутили соломенные патлы, чтобы походило на светлые волосы вогулки.

Осташа разорвал мешки, разорвал на клочки одежду — словно искал вогулку. Потом взбежал на Кликун, исползал всю площадку. Сел и завыл, стуча кулаками в камень. Колыван обманул и здесь!.. Никто не убивал Бойтэ! Она жива! Она жива! Господи, она жива!

Осташа всю ночь просидел на Кликуне. Думал. Алый рассвет поднялся над горами. И Осташа понял, что как обогланный батя для него всё равно был честен, так и живая вогулка для него всё равно мертва. Нечего в жизни больше менять. Он просил у Господа, чтобы тот сберёг, спас Бойтэ, и обещал за это всё что угодно — обещал отказаться от неё навеки. Ну и вот. Господь добр. Господь исполнил. Теперь и ему надо отслужить своё. Иначе нечестно.

Осташа спустился к берегу, залез в шитик и стал толкаться дальше, к Кумышу.

По береговой улочке пастушок вёл коровье стадо, собирая скотину по подворьям. Осташа нагнал мальчонку и спросил:

— Послушай, добрый молодец, а дома ли Колыван Бугрин?

— Он же сплавщик, — ответил парнишка. — Он ещё на сплаве.

— А сын его, Пётр Колыванович?

Парнишка хмуро поглядел на Осташу.

— Петро ушёл к названому брату жить, в Кашку.

— А дочь его, Неждана Колывановна?

— Она потерялась. Сбежала. Никто не знает, где она.

— Ну, помогай тебе бог, — хрипло сказал Осташа.

Пастушонок отвернулся и злобно щёлкнул кнутом.

Следом за стадом Осташа дошёл до дома Никешки Долматова.

Баба Груня выводила из ворот свою корову, крестила её и грозно кричала пастушку:

— Ты, Евстигней, брось эту привычку дрыхнуть за кустами! Я тебя знаю! Я тебя вицей выдеру! Лучше следи в оба глаза, а я тебя вечером творожком угощу!

— Да нужен мне твой творожок... — бурчал пастушонок.

Коровы медленно проплыли мимо, качая рогатыми головами, и баба Груня увидела на другой стороне улицы Осташу.

Осташа не подходил, стоял и смотрел на бабу Груню.

Старушка тихо села на скамеечку возле своей калитки и закрыла рот уголком платочка. Осташа подошёл.

— Никеша?.. — беззвучно спросила баба Груня, глядя на Осташу снизу вверх сухими огромными глазами.

— Барка убила под Гусельным бойцом, — хрипло сказал Осташа.

Баба Груня больше ничего не спрашивала, только смотрела.

Осташа начал мять горло, замотал головой.

— Я... я летом приду, всё расскажу... — прохрипел он и пошёл прочь.

...Он плыл по Чусовой дальше, и на него плыла весна. Зелёным пухом покрывалась земля, зелёный дым за клубился в урёмах. Чирикали птицы, перепеваясь друг с другом через реку. Вода отступала, обнажая подошвы бойцов. Пали голбцы на свежих, только что провалившихся могилах бурлаков, словно весна не желала слышать о смерти. Стали светлой вода дождей и согрелись утренние росы.

На поляне за бойцом Столбы всё так же дымил стан каменотёсов. Крест Никите Демидову до сих пор не поставили. Сейчас каменотёсы, стоя на лесенках, ровняли скалу напротив поляны и выбивали на скале буквы надписи. Осташа проплыл мимо.

Осташа не хотел, не хотел заходить в Ёкву, но на приплёске стоял и рыбачил какой-то вогул, и Осташа подтолкнулся поближе.

— А девка, внучка Шакулы, жива?.. — спросил он.

Вогул искоса глянул на Осташу.

— Жива, — кратко ответил он.

Осташа не мог больше произнести ни слова, только нелепо указал ладонью на берег и кивнул.

— Нету её, — сказал вогул. — Она на Кондү жить ушла. Навсегда.

Осташа едва справился с собой.

— Расскажи... Расскажи мне, — попросил он. — Я тебе денег дам...

Вогул помолчал, разглядывая Осташу.

— Чего рассказывать? — печально спросил он. — Я тебя помню. Ты в прошлом году жил. Ты Бойтэ любил, да... Весной два человека на лодке приплыли. Хотели взять Бойтэ. Бойтэ одного застрелила. Другой закричал, убежал. Потом вернулся — Бойтэ нет. Он забрал мертвеца, забрал ружьё, уплыл. Бойтэ ночью появилась. Сказала: боится, что солдаты за ней придут. Собралась и ушла. На Конде много воголов живёт. Там ещё наша земля.

Осташа дал вогулу рубль. Тот перепугался, долго не хотел брать.

Теперь впереди была только Кашка.

Осташа причалил на переборе, против пепелища дома Зырянкиных. Вытащил шитик на берег, через гарь пошагал к своему дому.

Дом выглядел жилым, бодрым. Окошки были открыты. Из трубы курился дымок. Хозяистым мужиком оказался Петрунька.

Переступая порожек калитки, Осташа увидел Петруньку на крыльце, но не успел и окликнуть, как Петрунька порскнул в дом. Удивляясь, Осташа поднялся по лесенке, прошёл сени, открыл дверку в горницу.

Петрунька прятался за печью. На лавке у окошка в простеньком и бедном домашнем платье сидела Неждана и грудью кормила младенца. Она повернула к Остахе лицо —

удивительно истончавшее, понежневшее, — и следила за Осташей испуганными, виноватыми глазами.

Осташа постоял у дверей, потом снял шапку, перекрестился на медный образ, вытер ноги о тряпку у входа.

— Это твой сын, — тихо сказала Остахе Неждана.

Осташа прошёл к ней по половицам, как по качающейся палубе барки. Присел на корточки, разглядывая лицо младенца.

— Я его недоносила, — виновато сказала Неждана. — Но он крепенький родился, выживет..

Осташа положил ладони на колени Неждане и задумчиво ответил:

— Значит, будет сплавщиком.

Неждана осторожно освободила одну руку и робко, с благодарностью погладила Осташу по голове.

— А как придёт учитель толка вашего, каким именем крестить велишь, отец? — спросила она.

Осташа не задумывался.

— Пётр, — негромко и упрямо сказал он.

Закрывая пол-окошка, на тёплом ветерке полоскалась занавеска. Солнечные полосы лежали на полу, на бревенчатой стене. Слышался плеск перебора. Суровый боец Дождевой смотрел сквозь окно на Осташу, а Осташа смотрел на Неждану, кормившую грудью младенца. И в памяти Осташа плыли, как барки, чеканные и огненные слова: «И Я говорю тебе: ты — Пётр, и на сём камне Я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют её».

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ КУПЛИ ЖИТЕЙСКИЕ

ОТЦОВА БАРКА	9
ПЫТАРЬ БАКИР	19
СЧАСТЬЕ ВЫШЕ БОГАТЫРСТВА	29
В УСТЬ-КОЙВЕ	37
КОЛЫВАН	50
ЛЮДИ ЛЕСА	61
ЖЛУДОВКА	71
ПСЫ	82
ФЛЕГОНТ	91
КОНОН	106
МЕЖЕУМОК	116
ЗА КАМНЕМ ЧЕГЕН	128

ЧАСТЬ ВТОРАЯ ТАЙНА БЕЗЗАКОНИЯ

БОЕЦ САРАФАННЫЙ	143
НА ВЕСЁЛЫЕ ГОРЫ	152
ТАЙНА БЕЗЗАКОНИЯ	158

ОТЧИТКА	169
КОКУЙСКИЙ ЛЕШИЙ	174
ХИТНИКИ НА ТИСКОСЕ	181
ДЫРНИК	193
ПРОЧЬ С КОСТЁР-ГОРЫ	205
«В МОЁМ ДОМУ – НЕ В МИТЬКИНОМ»	216
ДЕВЯТАЯ ПУГОВКА	231
ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ В ЁКВЕ	245
ПОДМЕНЁНЫШИ	261

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ РАССЕДИНЫ ЗЕМНЫЕ

ОСЛЯНАЯ В ИЛИМЕ	275
БУСЫГИ	289
В ШАЛЫГАНКЕ	298
КОЛОДЕЦ И ПОДЗЕМЕЛЬЕ	307
КАПЛИЦА КОНОНА	315
ВОИНСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ	326
ГОРНАЯ СТРАЖА	344
МЛЕНЬЕ	366
СЕРЕБРЯНАЯ ПРАВДА	383
ПО ЗАВТРАШНЕМУ СЛЕДУ	404
БОЙТЭ	429
ПУГАЧЁВ	442

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ ЖЕЛЕЗНЫЕ КАРАВАНЫ

СВОЯ БАРКА	453
КАФТАНЫЧ	463
СПИШКА	470
КАРАВАННАЯ КОНТОРА	478
ТРИНАДЦАТЬ КОПЕЕК	485

ОТВАЛ	.495
БОЛЬШАЯ СОЛЬ	.501
МОСИН БОЕЦ	.510
ДВА СТАНА	.517
СТАРАЯ ШАЙТАНСКАЯ ДОРОГА	.525
ЕЛЕНКИНЫ ПЕСНИ	.534
УЛЬЯНКА-ЧУСОВЛЯНКА	.544
У ДЕМИДОВСКОГО КРЕСТА	.554

ЧАСТЬ ПЯТАЯ
ВРЕЮЩИЕ ВОДЫ

ФЕДЬКА МИЛЬКОВ	.565
КОНЕЦ КАРАВАННОГО ВАЛА	.573
МОЛЕНИЕ ПОД ЦАРЬ-БОЙЦОМ	.582
СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕБОР	.590
СПЛАВЩИЦКАЯ ТАЙНА	.602
СКАЗКА	.614
РАЗБОЙНИК	.625
«СПАСИ ИХ ВСЕХ»	.639
БОЕЦ ГУСЕЛЬНЫЙ	.648
ЧУПРЯ	.657
ШТУЦЕР И КРЕСТ	.675
ПЁТР – ЗНАЧИТ «КАМЕНЬ»	.690

Иванов Алексей Викторович

ЗОЛОТО БУНТА

Роман

Главный редактор *Елена Шубина*
Редактор *Алексей Портнов*
Технический редактор *Татьяна Тимошина*
Художественный редактор *Константин Парсаданян*
Корректоры *Мария Уланова, Надежда Власенко*
Компьютерная верстка *Юлии Анищенко*



<http://facebook.com/shubinabooks>



<http://vk.com/shubinabooks>

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры

ООО «Издательство АСТ»
129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, строение 3, комната 5
Наш электронный адрес: www.ast.ru
E-mail: astpub@aha.ru

«Баспа Аста» деген ООО
129085, г. Мәскеу, жұлдызды гүлзар, д. 21, 3 құрылым, 5 бөлме
Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru
E-mail: astpub@aha.ru

Қазақстан Республикасында дистрибьютор
және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының
екілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3«а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8(727) 2 51 59 89, 90, 91, 92
Факс: 8 (727) 251 58 12, вн. 107; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Өндірген мемлекет: Ресей
Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 04.04.2017. Формат 84х108 1/32.
Усл. печ. л. 36,96. Доп. тираж 2000 экз. Заказ № 8862/17.

Содержит нецензурную брань

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт», 170546, Тверская область,
Промышленная зона Боровлево-1, комплекс №3А, www.pareto-print.ru



ISBN 978-5-17-091528-6



9 785170 915286 >



ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

shop.ast.ru

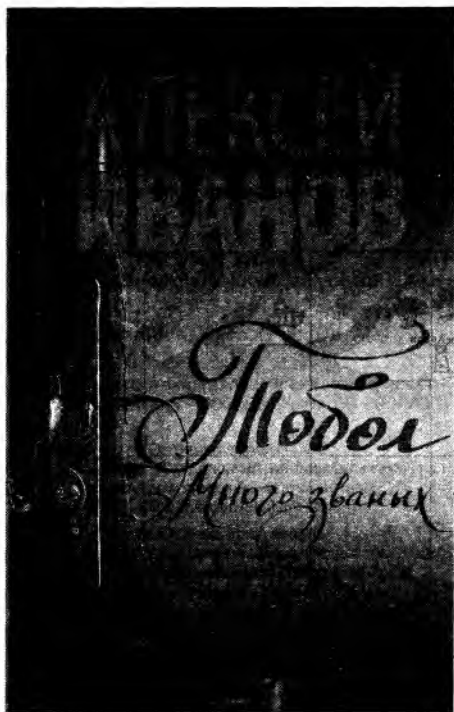
shop.ast.ru

A C T

Алексей Иванов

ТОБОЛ

Много званных



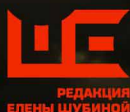
В эпоху великих реформ Петра I «Россия молодая» закипела даже в дремучей Сибири. Нарождающаяся империя крушила в тайге воеводское средневековье. Народы и веры перемешались. Пленные шведы, бухарские купцы, офицеры и чиновники, каторжники, инородцы, летописцы и зодчие, китайские контрабандисты, беглые раскольники, шаманы, православные миссионеры и воинственные степняки джунгары — все они вместе, враждуя между собой или спасая друг друга, творили судьбу российской Азии. Эти обжигающие сюжеты Алексей Иванов сложил в роман-пепплум «Тобол».

«Тобол. Много званных» — первая книга романа.

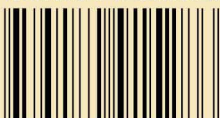
«1778 год. Урал дымит горными заводами, для которых существует только одна дорога в Россию — бурная река Чусовая. Но здесь барки с заводским железом безжалостно крушат береговые скалы-бойцы. У сплавщиков, которые проводят барки по стремнинам реки, есть способ избежать крушений: попросить о помощи старцев, что правят Рекой из тайных раскольничьих скитов и держат в кулаке грандиозный сплав “железных караванов”. Однако молодой сплавщик Осташа, пытаясь разгадать причины гибели своего отца, поднимает бунт против сложившегося на Чусовой порядка. Чтобы вернуть честное имя себе и отцу, он должен будет найти казну самого Пугачёва, спрятанную где-то на бойцах...

А подлинное “золото бунта” — это не пугачёвский клад, но ответ на вопрос: как сделать непосильное дело и не потерять душу?»

Алексей Иванов



ISBN 978-5-17-091528-6



9 785170 915286

Содержит
нецензурную
брань